

М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

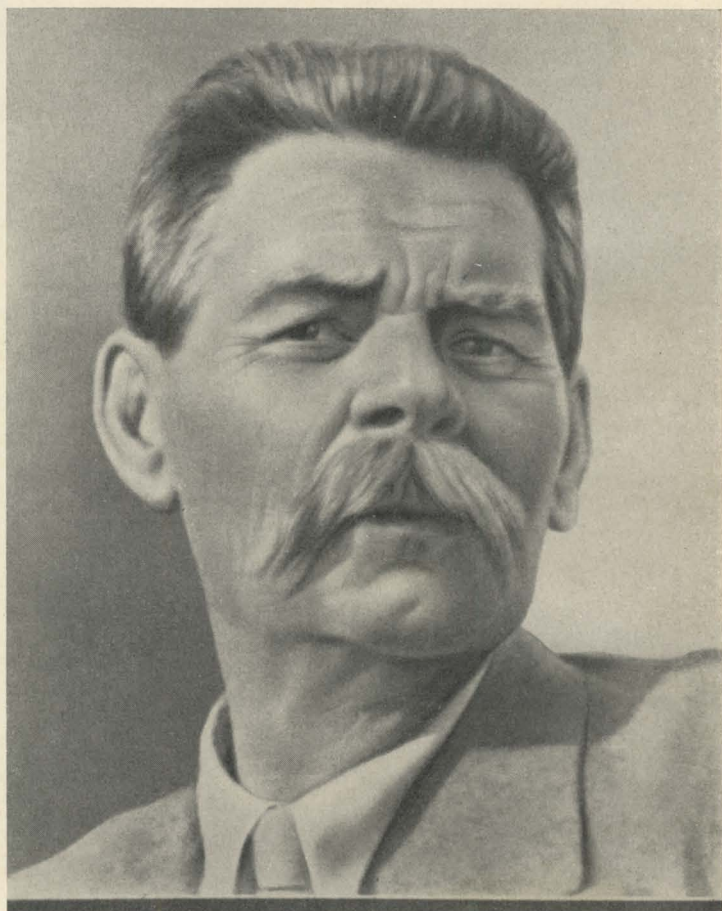
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1953

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ 22

ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА

1925—1936



А. М. ГОРЬКИЙ
Москва. 1934 г.

ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА

(СОРОК ЛЕТ)

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Берлин встретил его неприветливо: сыпался хорошо знакомый по Петербургу мелкий, серый дождь, и бастовали носильщики вокзала. Пришлось самому тащить два тяжелых чемодана, шагать подземным коридором в толпе сердитых людей, подниматься с ними вверх по лестнице. Люди, в большинстве рослые, толстые, они ворчали и рычали, бесцеремонно задевая друг друга багажом и, кажется, не извиняясь. Впереди Самгина, мешая ему, шагали двое военной выправки, в костюмах охотников, в круглых шляпах, за ленты шляп воткнуты перышки какой-то птицы. Должно быть, пытаюсь рассмешить людей, обиженных носильщиками, мужчины с перышками несли на палке маленькую корзинку и притворялись, что изнемогают под тяжестью ноши. Но смеялась только высокая, тощая дама, обвешанная с плеч до колен разнообразными пакетами, с чемоданом в одной руке, несесером в другой; смеялась она визгливо, напряженно, из любезности; ей было очень неудобно идти, ее толкали больше, чем других, и, прерывая смех свой, она тревожно кричала шутникам:

— Мой бог! Там стекло есть! О, Рихард, там ваза...

На площади, пред вокзалом, не было ни одного извозчика. По мокрым камням мостовой, сквозь частую сеть дождя, мрачно, молча шагали прилично одетые люди. Дождь был какой-то мягкий, он падал на камни совершенно бесшумно, но очень ясно был слышен однообразный плеск воды, стекавшей из водосточных труб, и сердитые шлепки шагов. Стояли плотные ряды тяжелых зданий, сырость придавала им почти однообразную окраску

ржавого железа. Чувствуя, как в него сквозь платье и кожу просачивается холодное уныние, Самгин поставил чемоданы, снял шляпу, вытер потный лоб и напомнил себе:

«Безвыходных положений не бывает».

Из-за его спины явился седоусый, коренастый человек, в кожаной фуражке, в синей блузе до колен, с медной бляхой на груди и в огромных башмаках.

— Две марки до ближайшего отеля, — предложил ему Самгин.

— Нет, — сказал носильщик, не взглянув на него, и вздернул плечо так, как будто отталкивал.

«Пролетарская солидарность или — страх, что товарищи вздуют?» — иронически подумал Самгин, а носильщик сбоку одним глазом заглянул в его лицо, движением подбородка указав на один из домов, громко сказал:

— Бальц пансион.

Забыв поблагодарить, Самгин поднял свои чемоданы, вступил в дождь и через час, взяв ванну, выпив кофе, сидел у окна маленькой комнатки, восстанавливая в памяти сцену своего знакомства с хозяйкой пансиона. Толстая, почти шарообразная, в темнорыжем платье и сером переднике, в очках на носу, стиснутом подушечками красных щек, она прежде всего спросила:

— Вы — не еврей, нет?

Она сама быстро и ловко приготовила ванну и подала кофе, объяснив, что должна была отказать в работе племяннице забастовщика. Затем, бесцеремонно рассматривая гостя сквозь стекла очков, спросила: что делается в России? Проверяя свое знание немецкого языка, Самгин отвечал кратко, но охотно и думал, что хорошо бы, переехав границу, закрыть за собою какую-то дверь так плотно, чтоб можно было хоть на краткое время не слышать утомительный шум отечества и даже забыть о нем. А хозяйка говорила звонко, решительно и как бы не для одного, а для многих:

— Место Бебеля не в рейхстаге, а в тюрьме, где он уже сидел. Хотя и утверждают, что он не еврей, но он тоже социалист.

Улыбаясь, Самгин спросил: разве она думает, что все евреи — социалисты, и богатые тоже?

— О, да! — гневно вскричала она. — Читайте речи Евгения Рихтера. Социалисты — это люди, которые хотят ограбить и выгнать из Германии ее законных владельцев, но этого могут хотеть только евреи. Да, да — читайте Рихтера, это — здравый, немецкий ум!

И уже с клекотом в горле она продолжала, взмахивая локтями, точно курица крыльями:

— Германия не допустит революции, она не возьмет примером себе вашу несчастную Россию. Германия сама пример для всей Европы. Наш кайзер гениален, как Фридрих Великий, он — император, какого давно ждала история. Мой муж Мориц Бальц всегда внушал мне: «Лизбет, ты должна благодарить бога за то, что живешь при императоре, который поставит всю Европу на колени пред немцами...»

Она была так толста и мягка, что правая ягодица ее свешивалась со стула, точно пузырь, такими же пузырями вздувались бюст и живот. А когда она встала — пузыри исчезли, потому что слились в один большой, почти не нарушая совершенства его формы. На верху его вырос красненький нарывчик с трещиной, из которой текли слова. Но за внешней ее неприглядностью Самгин открыл нечто значительное и, когда она выкатилась из комнаты, подумал:

«Русская баба этой профессии о таких вопросах не рассуждает...»

Дождь иссяк, улицу заполнила сероватая мгла, посвистывали паровозы, гроыхало железо, сотрясая стекла окна, с четырехэтажного дома убирали клетки лесов однообразно коренастые рабочие в синих блузах, в смешных колпаках — вполне такие, какими изображает их «Симплициссимус». Самгин смотрел в окно, курил и, прислушиваясь к назойливому шороху мелких мыслей, настраивался лирически.

«Моя жизнь — монолог; а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет кто-то чужой. враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его. Существуют ли люди, умеющие думать без слов? Может быть, музыканты... Устал я. Чрезмерно развитая наблюдательность обременительна. Механически поглощаешь слишком много пошлого, бессмысленного.»

Закрыв глаза, и во тьме явилось стройное, нагое, розоватое тело женщины.

«Если б я влюбился в нее, она вытеснила бы из меня все... Что — все? Она меня назвала неизлечимым умником, сказала, что такие, как я, болезнь мира. Это неверно. Неправда. Я — не книжник, не догматик, не моралист. Я знаю много, но не пытаюсь учить. Не выдумываю теории, которые всегда ограничивают свободный рост мысли и воображения».

Тут, как осенние мухи, на него налетели чужие, недавно прочитанные слова: «последняя, предельная свобода», «трагизм мнимого всеведения», «наивность знания, которое, как Нарцисс, любит себя» — память подсказывала все больше таких слов, и казалось, что они шуршат вне его, в комнате.

Достал из чемодана несколько книг, в предисловии к одной из них глаза поймали фразу: «Мы принимаем все религии, все мистические учения, только бы не быть в действительности».

«Если это не поза, это уже отчаяние», — подумал он.

В окно снова хлестал дождь, было слышно, как шумит ветер. Самгин начал читать поэму Миропольского.

Чтение художественной литературы было его насущной потребностью, равной привычке курить табак. Книги обогащали его лексикон, он умел ценить ловкость и звучность словосочетаний, любовался разнообразием словесных одежд одной и той же мысли у разных авторов, и особенно ему нравилось находить общее в людях, казалось бы, несоединимых. Читая кошачье мурлыканье Леонида Андреева, которое почти всегда переходило в тоскливый волчий вой, Самгин с удовольствием вспоминал басовитую воркотню Гончарова:

«Зачем дикое и грандиозное? Море, например. Оно наводит только грусть на человека, глядя на него, хочется плакать. Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха, они все твердят свою, от начала мира, одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания».

Эти слова напоминали тревожный вопрос Тютчева: «О чем ты воешь, ветр ночной?» и его мольбу:

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос...

И снова вспоминался Гончаров: «Бессилен рев зверя пред этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал и слаб...»

Затем память услужливо подсказывала «Тьму» Байрона, «Озимандию» Шелли, стихи Эдгара По, Мюссе, Бодлера, «Пламенный круг» Сологуба и многое другое этого тона — все, что было когда-то прочитано и уцелело в памяти для того, чтоб изредка прозвучать.

Но слова о ничтожестве человека пред грозной силой природы, пред законом смерти не портили настроение Самгина, он знал, что эти слова меньше всего мешают жить их авторам, если авторы физически здоровы. Он знал, что Артур Шопенгауэр, прожив 72 года и доказав, что пессимизм есть основа религиозного настроения, умер в счастливом убеждении, что его не очень веселая философия о мире, как «призраке мозга», является «лучшим созданием XIX века».

Религиозные настроения и вопросы метафизического порядка никогда не волновали Самгина, к тому же он видел, как быстро религиозная мысль Достоевского и Льва Толстого потеряла свою остроту, снижаясь к блудному пустословию Мережковского, становилась бесстрастной в холодненьких словах полунигилиста Владимира Соловьева, разлагалась в хитроумии чувственника Василия Розанова и тонула, исчезала в туманах символистов.

Достоевского он читал понемногу, с некоторым усилием над собой и находил, что этот оригинальнейший художник унижает людей наиболее осведомленно, доказательно и мудро. Ему нравилась скорбная и покорная усмешка Чехова над пошлостью жизни. Чаще всего книги показывали ему людей жалкими, запутавшимися в мелочах жизни, в противоречиях ума и чувства, в пошленьких состязаниях самолюбий. В конце концов художественная литература являлась пред ним как собеседник неглупый, иногда — очень интересный, — собеседник, с которым можно было спорить молча, молча смеяться над ним и не верить ему.

За окном по влажным стенам домов скользили желтоватые пятна солнца. Самгин швырнул на стол странную книжку, торопливо оделся, вышел на улицу и, шагая по панелям, как-то особенно жестким, вскоре отметил

сходство Берлина с Петербургом, усмотрев его в обилии военных, затем нашел, что в Берлине офицера еще более напыщенны, чем в Петербурге, и вспомнил, что это уже многократно отмечалось. Шел он торговыми улицами, как бы по дну глубокой канавы, два ряда тяжелых зданий двигались встречу ему, открытые двери магазинов дышали запахами кожи, масла, табака, мяса, пряностей, всего было много, и все было раздражающе однообразно. Вспомнились слова Лютова:

«Германия — прежде всего Пруссия. Апофеоз культуры неумеренных потребителей пива. В Париже, сопоставляя Нотр Дам и Тур Эйфель, понимаешь иронию истории, тоску Мопассана, отвращение Бодлера, изящные сарказмы Анатоля Франса. В Берлине ничего не надо понимать, все совершенно ясно сказано зданием рейхстага и Аллеей Победы. Столица Пруссии — город на песке, нечто вроде опухоли на боку Германии, камень в ее печени...»

Серые облака снова начали крошиться мелким дождем. Самгин взял извозчика и возвратился в отель. Вечером он скучал в театре, глядя, как играют пьесу Ведекинда, а на другой день с утра до вечера ходил и ездил по городу, осматривая его, затем посвятил день поездке в Потсдам. К знакомым, отрицательным оценкам Берлина он не мог ничего добавить от себя. Да, тяжелый город, скучный, и есть в нем — в зданиях и в людях — что-то угнетающе напряженное. Коренастые, крупные каменщики, плотники работают молча, угрюмо, машинально. У них такие же груди «колесом» и деревянные лица, как у военных. Очень много толстых. Самгин решил посмотреть музеи и уехать.

Вот он в музее живописи.

После тяжелой, жаркой сырости улиц было очень приятно ходить в прохладе пустынных зал. Живопись не очень интересовала Самгина. Он смотрел на посещение музеев и выставок как на обязанность культурного человека, — обязанность, которая дает темы для бесед. Картины он обычно читал, как книги, и сам видел, что это обесцвечивает их.

Останавливаясь на секунды пред изображениями тела женщин, он думал о Марине:

«Она — красивее».

О Марине думалось почему-то неприязненно, может быть, было досадно, что в этом случае искусство не возвышается над действительностью. В пейзаже оно почти всегда выше натуры. Самгин предпочитал жанру спокойные, мягкие картинки доброжелательно и романтически подкрашенной природы. Не они ли это создают настроение незнакомой ему приятной печали? Присев на диван в большом зале, он закрыл утомленные глаза, соображая: чему можно уподобить сотни этих красочных напоминаний о прошлом? Память подсказала элегические стихи Тютчева:

...элизиум теней,
Безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам години буйной сей,
Ни радости, ни горю не причастных...

Он встал, пошел дальше, взволнованно повторяя стихи, остановился пред темноватым квадратом, по которому в хаотическом беспорядке разбросаны были странные фигуры фантастически смешанных форм: человеческое соединялось с птичьим и звериным, треугольник, с лицом, вписанным в него, шел на двух ногах. Произвол художника разорвал, разъединил знакомое существующее на части и комически дерзко связал эти части в невозможное, уродливое. Самгин постоял пред картиной минуты три и вдруг почувствовал, что она внушает желание повторить работу художника, — снова разбить его фигуры на части и снова соединить их, но уже так, как захотел бы он, Самгин. Протестуя против этого желания и недоумевая, он пошел прочь, но тотчас вернулся, чтоб узнать имя автора. «Иероним Босх» — прочитал он на тусклой, медной пластинке и увидел еще две маленьких, но столь же странных. Он сел в кресло и, рассматривая работу, которая как будто не определялась понятием живописи, долго пытался догадаться: что думал художник Босх, создавая из разрозненных кусков реального этот фантастический мир? И чем более он всматривался в соединение несоединимых форм птиц, зверей, геометрических фигур, тем более требовательно возникало желание разрушить все эти фигуры, найти смысл, скрытый в их урюмой фантастике. Имя — Иероним Босх — ничего не напоминало из

истории живописи. Странно, что эта раздражающая картина нашла себе место в лучшем музее столицы немцев.

Самгин спустился вниз к продавцу каталогов и фотографий. Желтолицый человек, в шелковой шапочке, не отрывая правый глаз от газеты, сказал, что у него нет монографии о Босхе, но возможно, что они имеются в книжных магазинах. В книжном магазине нашлась монография на французском языке. Дома, после того, как фрау Бальц накормила его жареным гусем, картофельным салатом и карпом, Самгин закурил, лег на диван и, поставив на грудь себе тяжелую книгу, стал рассматривать репродукции.

Крылатые обезьяны, птицы с головами зверей, черти в форме жуков, рыб и птиц. Около полуразрушенного шалаша испуганно скорчился святой Антоний, на него идут свинья, одетая женщиной, обезьяна в смешном колпаке; всюду ползают различные гады; под столом, неведомо зачем стоящим в пустыне, спряталась голая женщина; летают ведьмы; скелет какого-то животного играет на арфе; в воздухе летит или взвешен колокол; идет царь с головой кабана и рёгами козла. В картине «Сотворение человека» Саваоф изображен безбородым юношей, в раю стоит мельница, — в каждой картине угрюмые, но все-таки смешные анахронизмы.

«Кошмар», — определил Самгин и с досадой подумал, что это мог бы сказать всякий.

В тексте монографии было указано, что картины Босха очень охотно покупал злой и мрачный король Испании, Филипп Второй.

«Может быть, царь с головой кабана и есть Филипп, — подумал Самгин. — Этот Босх поступил с действительностью, как ребенок с игрушкой, — изломал ее и затем склеил куски, как ему хотелось. Чепуха. Это годится для фельетониста провинциальной газеты. Что сказал бы о Босхе Кутузов?»

Отсыревшая папироса курилась туго, дым казался невкусным.

«И дым отечества нам сладок и приятен». Отечество пахнет скверно. Слишком часто и много крови проливается в нем. «Безумство храбрых»... Попытка выскочить

«из царства необходимости в царство свободы»... Что обещает социализм человеку моего типа? То же самое одиночество, и, вероятно, еще более резко ощущаемое «в пустыне — увь! — не безлюдной»... Разумеется, я не доживу до «царства свободы»... Жить для того, чтоб умереть, — это плохо придумано.

Вкус мыслей — горек, но горечь была приятна. Мысли струились с непрерывностью мелких ручейков холодной, осенней воды.

«Я — не бездарен. Я умею видеть нечто, чего другие не видят. Своеобразие моего ума было отмечено еще в детстве...»

Ему казалось, что в нем зарождается некое новое настроение, но он не мог понять, что именно ново? Мысли самосильно принимали точные словесные формы, являясь давно знакомыми, он часто встречал их в книгах. Он дремал, но заснуть не удавалось, будили толчки непонятной тревоги.

«Что нравилось королю Испании в картинах Босха?» — думал он.

Вечером — в нелепом сарае Винтергартена — он подозрительно наблюдал, как на эстраде два эксцентрика изощряются в комических попытках нарушить обычное. В глумливых фокусах этих ловких людей было что-то явно двусмысленное, — публика не смеялась, и можно было думать, что серьезность, с которой они извращали общепринятое, обижает людей.

«Босх тоже был эксцентрик», — решил Самгин.

Впереди и вправо от него сидел человек в сером костюме, с неряшливо растрепанными волосами на голове; взмахивая газетой, он беспокойно оглядывался, лицо у него длинное, с острой бородкой, костлявое, большеглазое.

«Русский. Я его где-то видел», — отметил Самгин и стал наклонять голову каждый раз, когда этот человек оглядывался. Но в антракте человек встал рядом с ним и заговорил глухим, сиповатым голосом:

— Самгин, да? Долганов. Помните — Финляндия, Выборг? Газеты читали? Нет?

Оттолкнув Самгина плечом к стене и понизив голос до хриплого шопота, он торопливо пробормотал:

— Взорвали дачу Столыпина. Уцелел. Народу пере-
крошили человек двадцать. Знакомая одна — Люби-
мова — попала...

— Как — попала? Арестована? — вздрогнув, спросил
Самгин.

— Убита. С ребенком.

— Любимова?

— Что — знали? Я — тоже. В юности. Привлекалась
по делу народоправцев — Марк Натансон, Ромась,
Андрей Лежава. Вела себя — неважно... Слушайте —
ну его к чорту, этот балаган! Идемте в трактир, посидим.
Событие. Потолкуем.

Он дергал Самгина за руку, задышался, сухо покашли-
вал, хрипел. Самгин заметил, что его и Долганова бесце-
ремонно рассматривают неподвижными глазами какие-то
краснорожие, спокойные люди. Он пошел к выходу.

«Любимова... Неужели та?»

Хотелось расспросить подробно, но Долганов не давал
места вопросам, покачиваясь на длинных ногах, толкал
его плечом и хрипел отрывисто:

— Да, вот вам. Фейерверк. Политическая ошибка.
Террор при наличии представительного правления.
Черти... Я — с трудовиками. За черную работу. Вы что —
эсдек? Не понимаю. Ленин сошел с ума. Беки не поняли
урок Московского восстания. Пора опаматоваться. Задача
здоровомыслящих — организация всей демократии.

Самгин толкнул дверь маленького ресторана. Свобод-
ный стол нашли в углу у двери в комнату, где щелкали
шары бильярда.

— Мне черного пива, — сказал Долганов. — Пиво —
полезно. Я — из Давоса. Туберкулез. Пневмоторакс.
Схватил в Тотье, в ссылке. Тоже — дыра, как Давос.
Соскучился о людях. Вы — эмигрировали?

— Нет. Вояжирую.

— Ага. Как думаете: кадеты возьмут в тиски всю
сволочь — октябристов, монархистов и прочих? Интели-
генция вся, сплошь организованна ими, кадетами...

В густом гуле всхрапывающей немецкой речи глухой,
бесцветный голос Долганова был плохо слышен, отрыви-
стые слова звучали невнятно. Самгин ждал, когда он
устанет. Долганов жадно глотал пиво, в груди его хлю-

пало и хрустело, жаркие глаза, шурясь, как будто щипали кожу лица Самгина. Пивная пена висела на бороде и усах, уныло опущенных ниже подбородка, — можно было вообразить, что пенятся слова Долганова. Из-под усов неприятно светились два золотых зуба. Он говорил, говорил, а глаза его разгорались все жарче, лихорадочней. Самгин вдруг представил его мертвым: на белой подушке серое, землистое лицо, с погасшими глазами в темных ямах, с заостренным носом, а рот — приоткрыт, и в нем эти два золотых клыка. Захотелось поскорее уйти от него.

— Любимова, это фамилия по отцу? — спросил он, когда Долганов задохнулся.

— По мужу. Истомина — по отцу. Да, — сказал Долганов, отбрасывая пальцем вправо-влево мокрые жгутики усов. — Темная фигура. Хотя — кто знает? Савелий Любимов, приятель мой, — не верил, пожалел ее, обвенчался. Вероятно, она хотела переменить фамилию. Чтоб забыли о ней. Нох эйн маль *, — скомандовал он кельнеру, проходившему мимо.

Самгину хотелось спросить: какая она, сколько ей лет, но Долганов откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и этим заставил Самгина быстро вскочить на ноги.

— Мне — пора, будьте здоровы!

— Что вы делаете завтра? Идем в рейхстаг? Не заседает? Вот черти! Где вы остановились?

Самгин сказал, что завтра утром должен ехать в Дрезден, и не очень вежливо вытянул свои пальцы из его влажной, горячей ладони. Быстро шагая по слабо освещенной и пустой улице, обернув руку платком, он чувствовал, что нуждается в утешении или же должен оправдаться в чем-то пред собой.

«Любимова...»

Она давно уже истлела в его памяти, этот чахоточный точно воскресил ее из мертвых. Он вспомнил осторожный жест, которым эта женщина укладывала в корсет свои груди, вспомнил ее молчаливую нежность. Что еще осталось в памяти от нее?.. Ничего не осталось.

Он чувствовал, что встреча с Долгановым нарушила, прервала новое, еще неясное, но очень важное течение

* Еще одну (нем.). — Ред.

его мысли, вспыхнувшее в этом городе. Раздраженно постукивая тростью по камню панели, он думал:

«Плох. Может умереть в вагоне по дороге в Россию. Немцы заруют его в землю, аккуратно отправят документы русскому консулу, консул пошлет их на родину Долганова, а — там у него никого нет. Ни души».

Вздвогнув, он сунул трость под мышку, прижал локти к бокам, пошел тише, как бы чувствуя, что приближается к опасному месту.

«Родится человек, долго чему-то учится, испытывает множество различных неприятностей, решает социальные вопросы, потому что действительность враждебна ему, тратит силы на поиски душевной близости с женщиной, — наиболее бесплодная трата сил. В сорок лет человек становится одиноким...»

Поняв, что он думает о себе, Самгин снова и уже озлобленно попробовал возвратиться к Долганову.

«В сущности — ничтожество».

Но оторвать мысли от судьбы одинокого человека было уже трудно, с ними он приехал в свой отель, с ними лег спать и долго не мог уснуть, представляя сам себя на различных путях жизни, прислушиваясь к железному грохоту и хлопотливым свисткам паровозов на вагонном дворе. Крупный дождь похлестал в окна минут десять и сразу оборвался, как проглоченный тьмой.

Утром, неохотно исполняя обязанности путешественника, вооруженный красной книжкой Бедкера, Самгин шагал по улицам сплошь каменного города, и этот аккуратный, неуютный город вызывал у него тяжелую скуку. Сыроватый ветер разгонял людей по всем направлениям, цокали подковы огромных мохнатоногих лошадей, шли солдаты, трещал барабан, изредка скользил и трубил, как слон, автомобиль, — немцы останавливались, почтительно уступая ему дорогу, провожали его ласковыми глазами. Самгин очутился на площади, по которой аккуратно расставлены тяжелые здания, почти над каждым из них, в сизых облаках, сиял собственный кусок голубого неба — все это музеи. Раньше чем Самгин выбрал, в который идти, — грянул гром, хлынул дождь и загнал его в ближайший музей, там было собрано оружие, стены пестро и скучно раскрашены живописью, всё эпизоды

австро-прусской и франко-прусской войн. В стойках торчали ружья различных систем, шпаги, сабли, само-стрелы, мечи, копья, кинжалы, стояли чучела лошадей, покрытых железом, а на хребтах лошадей возвышалась железная скорлупа рыцарей. От множества разнообразно обработанного железа исходил тошнотворно масляный и холодный запах. Самгин брезгливо подумал, что, наверное, многие из этих инструментов исполнения воинского долга разрубали черепа людей, отсекали руки, прокалывали груди, животы, обильно смачивая кровью грязь и пыль земли.

«Идиотизм, — решил он. — Зимой начну писать. О людях. Сначала напишу портреты. Начну с Лютова».

Каждый раз, когда он думал о Лютове, — ему вспоминалась сцена ловли несуществующего сома и вставал вопрос: почему Лютов смеялся, зная, что мельник обманул его? Было в этой сцене что-то аллегорическое и обидное. И вообще Лютов всегда хитрит. Может быть, сам с собой хитрит? Нельзя понять: чего он хочет?

«Буду писать людей такими, как вижу, честно писать, не давая воли антипатиям. И симпатиям», — добавил он, сообразив, что симпатии тоже возможны.

Память произвольно выдвинула фигуру Степана Кутузова, но сама нашла, что неуместно ставить этого человека впереди всех других, и с несодолжимой, только ей доступной быстротою отодвинула большевика в сторону, заместив его вереницей людей менее антипатичных. Дунаев, Поярков, Иноков, товарищ Яков, суховатая Елизавета Спивак с холодным лицом и спокойным взглядом голубых глаз. Стратонов, Тагильский, Дьякон, Диомидов, Безбедев, брат Димитрий... Любаша... Маргарита, Марина...

Потребовалось значительное усилие для того, чтоб прекратить парад, в котором не было ничего приятного.

«Большинство людей — только части целого, как на картинах Иеронима Босха. Обломки мира, разрушенного фантазией художника», — подумал Самгин и вздохнул, чувствуя, что нашел нечто, чем объяснялось его отношение к людям. Затем он искал: где его симпатии? И — усмехнулся, когда нашел:

«Анфимьевна. Раба. Святая рабыня. В конце дней она соприкоснулась бунту, но как раба...»

В окна заглянуло солнце, ржавый сумрак музея постветлел, многочисленные гребни штыков заблестели еще холоднее, и особенно ледянисто осветилась железная скорлупа рыцарей. Самгин попытался вспомнить стихи из былины о том, «как перевелись богатыри на Руси», но [вспомнил] внезапно кошмар, пережитый им в ночь, когда он видел себя расколотым на десятки, на толпу Самгиных. Очень неприятное воспоминание...

Вечером он выехал в Дрезден и там долго сидел против Мадонны, соображая: что мог бы сказать о ней Клим Иванович Самгин? Ничего оригинального не нашлось, а все пошлое уже было сказано. В Мюнхене он отметил, что баварцы толще пруссаков, картин в этом городе, кажется, не меньше, чем в Берлине, а погода — еще хуже. От картин, от музеев он устал, от солидной немецкой скуки решил перебраться в Швейцарию, — там жила мать. Слово «мать» потребовало наполнения.

«Красива, умела одеться, избалована вниманием мужчин. Книжной мудростью не очень утруждала себя. Рациональна. Правильно оценила отца и хорошо выбрала друга, — Варавка был наиболее интересный человек в городе. И — легко «делал деньги»...

Затем вспомнился рыжеволосый мудрец Томилин в саду, на коленях пред матерью.

«У него тоже были свои мысли, — подумал Самгин, вздохнув. — Да, «познание — третий инстинкт». Оказалось, что эта мысль приводит к богу... Убого. Убожество. «Утверждение земного реального опыта как истины требует служения этой истине или противодействия ей, а она, чрез некоторое время, объявляет себя ложью. И так, бесплодно, трудится, кружится разум, доколе не восчувствует, что в центре круга — тайна, именуемая бог».

Он заставил память найти автора этой цитаты, а пока она рылась в прочитанных книгах, поезд ворвался в туннель и, оглушая грохотом, покатился как будто под гору в пропасть, в непроницаемую тьму.

Поутру Самгин был в Женеве, а около полудня отправился на свидание с матерью. Она жила на берегу озера, в маленьком домике, слишком щедро украшенном лепкой, похожем на кондитерский торт. Домик уютно прятался

в полукруге плодовых деревьев, солнце благосклонно освещало румяные плоды яблонь, под одной из них, на мраморной скамье, сидела с книгой в руке Вера Петровна в платке небесного цвета, поза ее напомнила сыну снимок с памятника Мопассану в парке Монсо.

— О, дорогой мой, я так рада, — заговорила она по-французски и, видимо опасаясь, что он обнимет, поцелует ее, — решительно, как бы отталкивая, подняла руку свою к его лицу. Сын поцеловал руку, холодную, отшлифованную, точно лайка, пропитанную духами, взглянул в лицо матери и одобрительно подумал:

«Молодчина».

— Ты пришел на ногах? — спросила она, переводя с французского. — Останемся здесь, это любимое мое место. Через полчаса — обед, мы успеем поговорить.

Встала, освобождая место на скамье, и снова села, подложив под себя кожаную подушку.

— Ты имеешь очень хороший вид. Но уже немножко седой. Так рано...

Самгин отвечал междометиями, улыбками, пожиманием плеч, — трудно было найти удобные слова. Мать говорила не своим голосом, более густо, тише и не так самоуверенно, как прежде. Ее лицо сильно напудрено, однако сквозь пудру все-таки просвечивает какая-то фиолетовая кожа. Он не мог рассмотреть выражения ее подкрашенных глаз, прикрытых искусно удлиненными ресницами. Из ярких губ торопливо сыпались мелкие, ненужные слова.

— Что же делается там, в России? Всё еще бросают бомбы? Почему Дума не запретит эти эксцессы? Ах, ты не можешь представить себе, как мы теряем во мнении Европы! Я очень боюсь, что нам перестанут давать деньги, — займы, понимаешь?

Самгин, усмехаясь, сказал:

— Дадут.

Он слышал тревогу в словах матери, но тревога эта казалась ему вызванной не соображениями о займах, а чем-то другим. Так и было.

— Многие предсказывают, что Россия обанкротится, — поспешно сказала она и, касаясь его руки, спросила:

— Надеюсь, ты приехал просто так... не эмигрировал, нет? Ах, как я рада! Впрочем, я была уверена в твоём благоразумии.

И, вздохнув, она заговорила более спокойно:

— Я — не понимаю: что это значит? Мы протестовали, нам дали конституцию. И вот снова эмигранты, бомбы. Дмитрий, конечно, тоже в оппозиции, да?

— Не думаю. А впрочем — не знаю, он давно не писал мне.

Утвердительно качнув пышно причесанной головою, мать сказала:

— О, наверное, наверное! Революции делают люди бездарные и... упрямые. Он из таких. Это — не моя мысль, но это очень верно. Не правда ли?

Самгин хотел согласиться с этой мыслью, но — воздержался. Мать вызывала чувство жалости к ней, и это связывало ему язык. Во всем, что она говорила, он слышал искусственное напряжение, неискренность, которая, должно быть, тяготила ее. Яблоко сорвалось с ветки, упало в траву, и — как будто розовый цветок вдруг расцвел в траве.

— Здесь очень много русских, и — представь! — неделях я, кажется, видела Алину, с этим ее купцом. Но мне уже не хочется бесконечных русских разговоров. Я слишком много видела людей, которые всё знают, но не умеют жить. Неудачники, все неудачники. И очень озлоблены, потому что неудачники. Но — пойдем в дом.

Она привела сына в маленькую комнату с мебелью в чехлах. Два окна были занавешены кисеей цвета чайной розы, извне их затеняла зелень деревьев, мягкий сумрак был наполнен крепким запахом яблок, лента солнца висела в воздухе и, упираясь в маленький круглый столик, освещала на нем хоровод семи слонов из кости и голубого стекла. Вера Петровна говорила тихо и поспешно:

— Мне удалось очень дешево купить этот дом. Половину его я сдаю доктору Ипполиту Донадьё...

«Дань богу?» — мысленно перевел Клим, — лицо матери он видел в профиль, и ему показалось, что ухо ее дрожит.

— Очень культурный человек, знаток музыки и замечательный оратор. Вице-президент общества гигиенистов.

Ты, конечно, знаешь: здесь так много больных, что нужно очень оберегать здоровье здоровых.

Настроение Самгина становилось тягостным. С матерью было скучно, неловко и являлось чувство, похожее на стыд за эту скуку. В двери из сада появился высокий человек в светлом костюме и, размахивая панамой, заговорил грубоватым басом:

— И вот, машер *, как я знал, как убеждал тебя...

Взмахнув руками, точно желая обнять или оттолкнуть его, не пустить в комнату, Вера Петровна сказала неестественно громко:

— Мой сын, Клим.

Доктор Донадьё сильно обрадовался, схватил руку Самгина, встряхнул ее и осыпал его градом картавых слов. Улавливая отдельные слова и фразы, Клим понял, что знакомство с русским всегда доставляло доктору большое удовольствие; что в 903 году доктор был в Одессе, — прекрасный, почти европейский город, и очень печально, что революция уничтожила его. Возможно, что он, Донадьё, не все понимает, но не только он, а вообще все французы одного мнения: революция в России — преждевременна. И, подмигнув, улыбаясь, он добавил:

— В этом французы кое-что понимают — не так ли?

Длинный, тощий, с остатками черных, с проседью, курчавых и, видимо, жестких волос на желтом черепе, в форме дыни, с бородкой клином, горбоносый, он говорил неумоимо, взмахивая густыми бровями, такие же густые усы быстро шевелились над нижней, очень толстой губой, сияли и таяли влажные, точно смазанные маслом, темные глаза. Заметив, что сын не очень легко владеет языком Франции, мать заботливо подсказывала сыну слова, переводила фразы и этим еще более стесняла его.

— Мир вдохновляется Францией, — говорил доктор, размахивая левой рукой, а правой вынул часы из кармана жилета и показал циферблат Вере Петровне.

— Сейчас, — сказала она, а квартирант и нахлебник ее продолжал торопливо воздавать славу Франции, вынудив Веру Петровну напомнить, что Тургенев был другом знаменитых писателей Франции, что русские декаденты —

* Моя дорогая (франц.). — Ред.

ученики французов и что нигде не любят Францию так горячо, как в России.

— Нас любят все, кроме немцев, — турки, японцы, — возгласил доктор. — Турки без ума от Фаррера, японцы — от Лоти. Читали вы «Рай животных» Франсис Жамм? О, — это вещь!

Он не очень интересовался, слушают ли его, и хотя часто спрашивал: не так ли? — но ответов не ждал. Мать позвала к столу, доктор взял Клима под руку и, раскачиваясь на ходу, как австрийский тамбур-мажор, растроганно сказал:

— Я — оптимист. Я верю, что все люди более или менее, но всегда удачные творения величайшего артиста, которого именуем — бог!

«Донадьё», — вспомнил Самгин, чувствуя желание придумать каламбур, а мать безжалостно спросила его:

— Ты — понял?

В столовой доктор стал менее красноречив, но еще более дидактичен.

— Я — эстет, — говорил он, укрепляя салфетку под бородой. — Для меня революция — тоже искусство, трагическое искусство немногих сильных, искусство героев. Но — не масс, как думают немецкие социалисты, о, нет, не масс! Масса — это вещество, из которого делаются герои, это материал, но — не вещь!

Затем он принялся есть, глубоко обнажая крепкие зубы, прищуривая глаза от удовольствия насыщаться, сладостно вздыхая, урча и двигая ушами в четкой форме цифры 9. Мать ела с таким же наслаждением, как доктор, так же много, но молча, подтверждая речь доктора только кивками головы.

«Проживет она с этим гигиенистом все свои дни», — грубо подумал Самгин, и чувство жалости к матери вдруг окрасилось неприязнью к ней. Доктор угощал:

— Попробуйте это вино. Его присылает мне из Прованса мой дядя. Это — чистейшая кровь нашего южного солнца. У Франции есть все и — даже лишнее: Эйфелева башня. Это сказал Мопассан. Бедняга! Венера была немилостива к нему.

После обеда Донадьё осовел, отказался от кофе и, закулив маленькую сигару, сообщил, тяжело вздыхая:

— К сожалению — через час у меня заседание. Но мы, конечно, увидимся...

— Да, — сказала мать, но так неуверенно, что Клим Иванович понял: она спрашивает.

— Я сегодня же еду в Париж, — сообщил он.

Доктор оживленно простился, мать, помолчав, размешивая кофе, осведомилась:

— Ты очень торопишься?

— Да, ждет клиент.

— Твои дела не плохи?

— Вполне приличны. Не обидишься, если я уйду? Хочется взглянуть на город. А ты, наверное, отдыхаешь в этот час?

Вера Петровна встала. Клим, взглянув в лицо ее, — отметил: дрожит подбородок, а глаза жалобно расширены. Это почти испугало его.

«Начнет объясняться».

— Ты понимаешь, Клим, в мире так одиноко, — начала она. Самгин взял ее руку, поцеловал и заговорил ласково, как только мог.

— А он очень интересный человек.

Хотелось прибавить: «Ограбит он тебя», но сказалось:

— Будь здорова, мама! Очень уютно устроилась ты.

Вера Петровна молчала, глядя в сторону, обмахивая лицо кружевным платком. Так молча она проводила его до решетки сада. Через десяток шагов он обернулся — мать еще стояла у решетки, держась за копыя обеими руками и вставив лицо между рук. Самгин почувствовал неприятный толчок в груди и вздохнул так, как будто все время задерживал дыхание. Он пошел дальше, соображая:

«Что она думает обо мне?»

Затем упрекнул себя:

«Следовало сказать ей что-нибудь... лирическое».

Но упрек тотчас же обратился на мать.

«С ее средствами она могла бы устроиться не так... шаблонно. Донадьё! Какой-то ветеринар».

Он долго, до усталости, шагал по чистеньким улицам города, за ним, как тень его, ползли растрепанные мысли. Они не мешали ему отметить обилие часовых магазинов, а также стариков и старушек, одетых как-то особенно

скучно и прочно, — одетых на долгую, спокойную жизнь. Вспомнились свои, домашние старики и прежде всех — историк Козлов, с его старомодной фразой: «Как истый любитель чая и пьющий его безо всяких добавлений...» Тот же Козлов во главе монархической манифестации, с открытой, ревущей, маленькой пастью, с палкой в руке. Дьякон. Седобородый беллетрист-народник...

«Стариков я знал мало».

Вечером он сидел за городом на террасе маленького ресторана, ожидая пива, курил, оглядывался. Налево, в зеленой долине, блестела Рона, направо — зеркало озера отражало красное пламя заходящего солнца. Горы прикрыты и смягчены голубоватым туманом, в чистенькое небо глубоко вонзился пик Дан-дю-Миди. По берегам озера аккуратно прилеплены белые домики, вдали они сгруппировались тесной толпой в маленький город, но висят и над ним, разбросанные по уступам гор, вползая на обнаженные, синеватые высоты к серебряным хребтам снежных вершин. Из города, по озеру, сквозь голубую тишину плывет музыка, расстояние, смягчая медные вопли труб, придает музыке тон мечтательный, печальный. Над озером в музыке летают кривокрылые белые чайки, но их отражения на воде кажутся розовыми. В общем все очень картинно и природа с полной точностью воспроизводит раскрашенные почтовые открытки.

«Почти нет мух, — отмечал Самгин. — И вообще — мало насекомых. А — зачем нужен мне этот изломанный, горбатый мир?»

Пиво, вкусное и в меру холодное, подала широкобедрая, пышногрудая девица, с ласковыми глазами на большом, румяном лице. Пухлые губы ее улыбались как будто нежно или — утомленно. Допустимо, что это утомление от счастья жить ни о чем не думая в чистенькой, тихой стране, — жить в ожидании неизбежного счастья замужества...

«Нищенски мало внесли женщины в мою жизнь».

Четверо крупных людей умеренно пьют пиво, окутывая друг друга дымом сигар, они беседуют спокойно: должно быть, решили все спорные вопросы. У окна два старика, похожие друг на друга более, чем братья, безмолвно играют в карты. Люди здесь угловаты соот-

ветственно пейзажу. Улыбаясь, обнажают очень белые зубы, но улыбка почти не изменяет солидно застывшие лица.

«Живут в согласии с природой и за счет чахоточных иностранцев», — иронически подумал Клим Иванович Самгин, — подумал и рассердился на кого-то.

«Почему мои мысли укладываются в чужие, пошлые формы? Я так часто замечаю это, но — почему не могу избегать?»

Мимо террасы поспешно шагали двое, один, без шляпы на голове, чистил апельсин, а другой, размахивая платком или бумагой, говорил по-русски:

— Плеханов — прав.

— Так что же — с кадетами идти? — очень звонко спросил человек без шляпы, из рук его выскочила корка апельсина, он нагнулся, чтоб поднять ее, но у него соскользнуло пенснэ с носа, быстро выпрямясь, он поймал шнурок пенснэ и забыл о корке. А покуда он проделывал все это, человек с бумагой успел сказать:

— Социализм без демократии — нонсенс, а демократия — с ними.

Прошли. В десятке шагов за ними следовал высокий старик, брезгливо приподняв пышные белые усы, он тростью гнал пред собой корку апельсина, корка непослушно увертывалась от ударов, соскакивала на мостовую, старик снова загонял ее на панель и наконец, затискав в решетку для стока воды, победоносно взмахнул тростью.

«Хозяин», — отметил Самгин.

Становилось темнее, с гор повеяло душистой свежестью, вспыхивали огни, на черной плоскости озера являлись медные трещины. Синеватое туманное небо казалось очень близким земле, звезды без лучей, похожие на куски янтаря, не углубляли его. Впервые Самгин подумал, что небо может быть очень бедным и грустным. Взглянул на часы: до поезда в Париж оставалось больше двух часов. Он заплатил за пиво, обрадовал картинную девицу крупной прибавкой на чай и не спеша пошел домой, размышляя о старике, о корке:

«Широкие русские натуры обычно высмеивают бытовую дисциплину Европы, но...»

Из переулка, точно с горы, скатилась женщина и, сильно толкнув, отскочила к стене, пробормотала по-русски:

— О, чорт, — простите...

И тотчас же, схватив его одной рукой за плечо, другой — за рукав, она, задыхаясь, продолжала:

— Ты? Ой, идем скорее. Лютов застрелился... Идем же! Ты — что? Не узнал?

— Дуняша, — ошеломленно произнес Самгин, заглядывая в ее лицо, в мерцающие глаза, влажные от слез, она толкала его, тащила и, сухо всхлипывая, быстро рассказывала:

— Вчера был веселый, смешной, как всегда. Я пришла, а там скандалит полиция, не пускают меня. Алины — нет, Макарова — тоже, а я не знаю языка. Растолкала всех, пробилась в комнату, а он... лежит, и револьвер на полу. О, чорт! Побежала за Иноковым, вдруг — ты. Ну, скорее!..

— Ты мешаешь мне идти, — пожаловался Клим Иванович.

— Ах, пустяки! Сюда, сюда...

Она втиснула его за железную решетку в сад, там молча стояло человек десять мужчин и женщин, на каменных ступенях крыльца сидел полицейский; он встал, оказался очень большим, широким, заткнув собою дверь в дом, он сказал что-то негромко и невнятно.

— Пусти, дурак, — тоже негромко пробормотала Дуняша, толкнула его плечом. — Ничего не понимают, — прибавила она, протаскивая Самгина в дверь. В комнате у окна стоял человек в белом с сигарой в зубах, другой, в черном, с галунами, сидел верхом на стуле, он строго спросил:

— Вы — родственник?

Клим Иванович молча кивнул головой, а Дуняша сердито сказала:

— Иди, иди! Нечего с ними церемониться. Они с нами не церемонятся.

Протолкнув его в следующую комнату, она прижалась плечом к двери, вытерла лицо ладонями, потом, достав платок, смяла его в ком и крепко прижала ко рту. Клим Иванович Самгин понимал, что ему нужно смотреть

не на Дуняшу, а направо, где горит лампа. Но туда он не сразу повернул лицо свое. Там, на кушетке, лежал вверх лицом Лютов в белой рубашке с мягким воротом. На столе горела маленькая лампа под зеленым абажуром, неприятно окрашивая лицо Лютова в два цвета: лоб — зеленоватый, а нижняя часть лица, от глаз до бородки, устрашающе темная. Самгину казалось, [что он видит] знакомую, кривенькую улыбочку, прищуренные глаза. Захотелось уйти, но в двери стоял полицейский с галунами, размахивал квадратным куском бумаги пред лицом Дуняши и сдержанно рычал. Он шагнул к Самгину и поставил сразу четыре вопроса:

— Вы — русский? Это — ваш родственник? Это он писал? Что здесь написано?

Самгин взял из его руки конверт, там, где пишут адрес, было написано толстыми и прямыми буквами:

«Прости, милый друг, Аля, что наскандалил, но, понимаешь, больше не могу. Влад. Л.».

Он машинально перевел полицейскому слова записки и подвинулся к двери, очень хотелось уйти, но полицейский стоял в двери и рычал все более громко, сердито, а Дуняша уговаривала его:

— Да пошел ты вон!

Время шло медленно и все медленнее, Самгин чувствовал, что погружается в холод какой-то пустоты, в состояние бездумья, но вот золотистая голова Дуняши исчезла, на месте ее величественно встала Алина, вся в белом, точно мраморная. Несколько секунд она стояла рядом с ним — шумно дыша, становясь как будто еще выше. Самгин видел, как ее картинное лицо побелело, некрасиво выкатились глаза, неестественно низким голосом она сказала:

— Ой, нет, нет... Володька!

Упала на колени и, хватая руками в перчатках лицо, руки, грудь Лютова, перекатывая голову его по пестрой подушке, встряхивая, — завывала, как воют деревенские бабы.

Завывала и Дуняша, Самгин видел, как с лица ее на плечо Алины капая слезы. Рядом с ним встал Макаров, пробормотав:

— Удрал Володя...

С кушетки свесилась правая рука Лютова, пальцы ее нехорошо изогнуты, растопырены, точно готовились схватить что-то, а указательный вытянут и указывает в пол, почти касаясь его. Срывая перчатки с рук своих, Алина причитала:

— Милая моя душа, нежная душа моя... Умница.

Дуняша, всхлипывая, снимала шляпку с ее пышных волос, и когда сняла — Алина встала на ноги, растрепанная так, как будто долго шла против сильного ветра.

— Небрежничала я с ним, — стонала она. — Уставала от его тревог. Володя — как же это? Что же мне осталось?

Голос ее звучал все крепче, в нем слышалось нарастающее ярости. Без шляпы на голове, лицо ее, осыпанное волосами, стало маленьким и жалким, влажные глаза тоже стали меньше.

— Не любил он себя, — слышал Самгин. — А людей — всех, как нянька. Всех понимал. Стыдился за всех. Шутом себя делал, только бы не догадывались, что он все понимает...

Макаров взял Алину за плечи.

— Ну — довольно! Перестань. Здесь шума не любят.

— Молчи, ты! — крикнула она, расстегивая воротник блузы, разрывая какие-то тесемки.

— Полиция просит убрать тело скорее. Хоронить будем в Москве?

— Ни за что! — яростно вскричала женщина. — Здесь. И сама останусь здесь. Навсегда. Будь она проклята, Москва, и вы, все!

Дуняша положила руку Лютова на грудь его, но рука снова сползла и палец коснулся паркета. Упрямство мертвой руки не понравилось Самгину, даже заставило его вздрогнуть. Макаров молча отеснил Алину в угол комнаты, ударом ноги открыл там дверь, сказал Дуняше: «Иди к ней!» — и обратился к Самгину:

— Последни, чтоб женщины не делали глупостей, я, на полчаса, в полицию.

Пожав плечами, Самгин вслед за ним вышел в сад, сел на чугунную скамью, вынул папиросу. К нему тотчас же подошел толстый человек в цилиндре, похожий на берлинского извозчика, он объявил себя агентом «Бюро похоронных процессий».

«Как это все не нужно: Лютов, Дуняша, Макаров... — думал Самгин, отмахиваясь от агента. — До смешного тесно на земле. И однообразны пути людей».

Закурил. Посмотрел на часы, — до поезда в Париж с лишком два часа. Тусклый кружок луны наливался светом, туман над озером тоже светлел, с гор ползли облака, за ними влачились тени. В двух точках города звучала музыка, в одной особенно выделялся корнет-алистон, в другой — виолончель. Музыка не помогала Самгину найти в памяти своей печальный афоризм, приличный случаю, и ощущение пустоты усиливалось от этого. Все-таки он вспомнил, что, когда умирал Спивак и над трубой флигеля струился гретый воздух, Варвара, заметив это едва уловимое глазом колебание прозрачности, заставила его почувствовать тоже что-то неуловимое словами. Пред глазами плавало серое лицо, с кривенькой усмешкой тонких, темных губ, указательный палец, касавшийся пола. Быстро, одна за другою, вспоминались встречи с Лютовым, беспокойные глаза его, игривые, двусмысленные фразы. Что скрывалось за всем этим? Неужели Алина сказала правду: «Стыдился за всех, шутю себя делал, чтоб не догадались, что он все понимает»? Вспомнилась печальная шутка Питера Алтенберга: «Так же, как хорошая книга, прочитанная до последней строки, — человек иногда разрешает понять его только после смерти».

Вышла Дуняша, мигая оплуканными глазами, посмотрела на Самгина, села рядом, говоря вполголоса:

— Выгнала. Ой, боюсь я за нее! Что она будет делать? Володя был для нее отцом и другом...

— А — Макаров любовником? — спросил Самгин, вставая.

— Нет, нет — что ты! Он? Такой... замороженный... Ты — куда? Пожалуйста — не уходи! Макарову надобно идти в полицию, я — немая, Алину нельзя оставлять, нельзя!

Схватив его за руку, посадила рядом с собой.

— Ты — эмигрант?

— Нет.

— А Иноков — эмигрировал.

— Он — здесь?

— Да. Я с ним живу.
— Вот как! Давно?
— Уже больше года. Он — хороший.
— Поздравляю, — сказал Самгин и неожиданно для себя прибавил: — Берегись, не усадил бы он тебя в тюрьму.

— Ой, что это? Ревнуешь? — удивленно спросила женщина. Самгин тоже был удивлен, чувствуя, что связь ее с Иноковым обидела его. Но он поспешно сказал:

— Разумеется — нет!.. Может быть — немножко.

Вышел Макаров и, указывая папиросой на окно, сказал Самгину:

— Хочет поговорить с тобой...

Внутренно протестуя, Самгин вошел в дом. Алина в расстегнутой кофте, глубоко обнажив шею и плечо, сидела в кресле, прикрыв рот платком, кадык ее судорожно шевелился. В правой руке ее гребенка, рука перекинута через ручку кресла и тихонько вздрагивает, казалось, что и все ее тело тихонько дрожит, только глаза неподвижно остановились на лице Лютова, клочковатые волосы его были чем-то смазаны, гладко причесаны, и лицо стало благообразнее. Самгин с минуту стоял молча, собираясь сказать что-нибудь оригинальное, но не успел, — заговорила Алина, сочный низкий голос ее звучал глухо, невыразительно, прерывался.

— Все-таки это — эгоизм, рвать связи с людьми... так страшно!

— Да, — согласился Самгин.

— Он тебя не любил.

— Разве?

— Говорил, что все люди для тебя безразличны, ты презираешь людей. Держишь — как песок в кармане — умишко второго сорта и швыряешь в глаза людям, понемногу, щепотками, а настоящий твой ум прячешь до времени, когда тебя позовут в министры...

— Это... остроумно, — сказал Самгин вполголоса и спросил себя: «Что это она — бредит?»

Затем он быстро встряхнул в памяти сказанное ею и не услышал в словах Лютова ничего обидного для себя.

— Он всегда о людях говорил серьезно, а о себе — шутя, — она, порывисто вставая, бросив скомканный пла-

ток на пол, ушла в соседнюю комнату, с визгом **выдвинула** там какой-то ящик, на пол упала связка ключей, — Самгину почудилось, что Лютов вздрогнул, даже **приоткрыл** глаза.

«Это я вздрогнул», — успокоил он себя и, поправив очки, заглянул в комнату, куда ушла Алина. Она, стоя на коленях, выбрасывала из ящика комода какие-то тряпки, коробки, футляры.

«Она револьвер ищет?»

Но она встала на ноги и, встряхнув что-то черное, **пошатнулась**, села на кровать.

— Как страшно, — пробормотала она, глядя в лицо Самгина, влажные глаза ее широко открыты и рот **полусоткрыт**, но лицо выражало не страх, а скорее растерянность, удивление. — Я все время слышу его слова.

Самгин спросил: не дать ли воды? Она отрицательно покачала головой.

— Я хотела узнать у тебя... забыла о чем. Я — **вспомню**. Уйди, мне нужно переодеться.

Уйти Самгин не решался.

«Уйду, а она — тоже... Невменяема...»

Вспомнил, как она, красивая девочка, декламировала **стихи** Брюсова, как потом жаловалась на тяжкое бремя своей красоты, вспомнил ее триумф в капище Омона, **истерическое** поведение на похоронах Туробоева.

— Иди, пошли мне Дуняшу, — настойчиво повторила она, готовясь снять блузку.

Он вышел на крыльцо, встречу ему со скамейки **вскочила** Дуняша:

— Меня зовет?

На скамье остался человек в соломенной шляпе, сидел он положив локти на спинку скамьи, вытянув ноги, шляпа его, освещенная луною, светилась, точно медная, на дорожке лежала его тень без головы.

— Здравствуйте, — сказал он вполголоса, не вставая, только протянул руку и, притягивая Самгина к себе, спросил:

— В странных обстоятельствах встречаемся, а?

Он был в новом, необмятом костюме серого цвета и металлически блестел. Руку Самгина он сжал до боли крепко.

«Начнет вспоминать о своих подвигах и, вероятно, будет благодарить меня», — с досадой подумал Самгин, а Иноков говорил вполголоса, раздумчиво:

— Кончал базар купец. Странно: вчера был веселый, интересный, как всегда, симпатичный плутяга... Это я — от глагола плутать.

Искоса присматриваясь к нему, Клим Иванович нашел, что Иноков постарел, похудел, скулы торчат острыми углами, в глазницах — черные тени.

— Хворали?

— Да, избили меня. Вешают-то у нас как усердно? Освирепели, свиньи. Я тоже почти с вешалки соскочил. Даже — с боем, конвойный хотел шашкой расколоть. Теперь вот отдыхаю, прислушиваюсь, присматриваюсь. Русских здесь накапливается не мало. Разговаривают на все лады: одни — каются, другие — заикаются, вообще — развлекаются.

Он стал говорить громче и как будто веселее, а после каламбура даже засмеялся, но тотчас же, прикрыв рот ладонью, подавился смехом — потому что из окна высулась Дуняша, укоризненно качая головой.

— Виноват, виноват, — прошептал Иноков и даже снял шляпу. Из-под волос на левую бровь косо опускался багровый рубец, он погладил его пальцем.

«Боевое отличие показывает», — подумал Самгин, легко находя в старом знакомом новое и неприятное. Представил Дуняшу в руках этого человека.

«Вероятно — жесткие, грубые руки».

Подумал о Лютове:

«Он был проникателен, умел разбираться в людях».

Из окна, точно дым, выплывало умоляющее бормотанье Дуняши, Иноков тоже рассказывал что-то вполголоса, снизу, из города, доносился тяжелый, но мягкий, странно чавкающий звук, как будто огромные подошвы шлепали по камню мостовой. Самгин вынул часы, посмотрел на циферблат — время шло медленно.

— Вы — анархист? — спросил он из вежливости.

— Читал Кропоткина, Штирнера и других отцов этой церкви, — тихо и как бы нехотя ответил Иноков. — Но я — не теоретик, у меня нет доверия к словам. Помните — Томилин учил нас: познание — третий инстинкт? Это,

пожалуй, верно в отношении к некоторым, вроде меня, кто воспринимает жизнь эмоционально.

«Как дикарь», — мысленно вставил Самгин, закури-
вая папиросу.

— Томилин инстинктом своим в бога уперся, ну — он трус, рыжий боров. А я как-то задумался: по каким мотивам действую? Оказалось — по мотивам личной обиды на судьбу, да — по молодечеству. Есть такая теория: театр для себя, вот я, должно быть, и разыгрывал сам себя пред собою. Скучно. И — безответственно.

— Пред кем? — невольно вырвалось у Самгина.

— Ну, как это — пред кем? Шутите...

Он тоже закурил папиросу, потом несколько секунд смотрел на обтаявший кусок луны и снова заговорил:

— На Урале группочка парнишек эксы устраивала и после удачного поручили одному из своих товарищей передать деньги, несколько десятков тысяч, в Уфу, не то — серым, не то — седым, так называли они эсеров и эсдеков. А у парня — сапоги развалились, он взял из тысяч три целковых и купил сапоги. Передал деньги по адресу, сообщив, что три рубля — присвоил, вернулся к своим, а они его за присвоение трешницы расстреляли. Дико? Правильно! Отличные ребята. Понимали, что революция — дело честное.

Собираясь резко возразить ему, Самгин бросил недокуренную папиросу, наступил на нее, растер подошвой.

— Революция направлена против безответственных, — вполголоса, но твердо говорил Иноков. Возразить ему Самгин не успел — подошел Макаров, сердито проворчал, что полиция во всех странах одинаково глупа, попросил папиросу. Элегантно одетый, стройный, седовласый, он зажег спичку, подержал ее вверх огнем, как свечу, и, не закулив папиросу, погасил спичку, зажег другую, прислушиваясь к тихим голосам женщин.

— Как ты понимаешь это? — спросил Самгин, кивнув головой на окно. Макаров сел, пошаркал ногой, вздохнул.

— Под одним письмом ко мне Лютов подписался: «Московский, первой гильдии, лишний человек». Россия, как знаешь, изобилует лишними людьми. Были из дворян лишние, те — каялись, вот — явились кающиеся купцы.

Стреляются. Недавно в Москве трое сразу — двое мужчин и девушка Грибова. Все — богатых купеческих семей. Один — Тарасов — очень даровитый. В массе буржуазия наша невежественна и как будто не уверена в прочности своего бытия. Много нервных больных...

Говорил Макаров медленно и как бы нехотя. Самгин искоса взглянул на его резко очерченный профиль. Не так давно этот человек только спрашивал, допрашивал, а теперь вот решается объяснять, поучать. И красота его, в сущности, неприятна, пошловата.

— Человек несимпатичный, но — интересный, — тихо заговорил Иноков. — Глядя на него, я, бывало, думал: откуда у него эти судороги ума? Страшно ему жить или стыдно? Теперь мне думается, что стыдился он своего богатства, безделья, романа с этой шалой бабой... Умный он был.

— Н-да... Есть у нас такие умы: трудолюбив, но бесплоден, — сказал Макаров и обратился к Самгину: — Помнишь, как сома ловили? Недавно, в Париже, Лютов вдруг сказал мне, что никакого сома не было и что он договорился с мельником пошутить над нами. И, представь, эту шутку он считает почему-то очень дурной. Аллегория какая-то, что ли? Объяснить — не мог.

Самгин чувствовал, что эти двое возмущают его своими суждениями. У него явилась потребность вспомнить что-нибудь хорошее о Лютове, но вспомнилась только изношенная латинская пословица, вызвав ноющее чувство досады. Все-таки он начал:

— У меня не было симпатии к нему, но я скажу, что он — человек своеобразный, может быть, неповторимый. Он вносил в шум жизни свою, оригинальную ноту...

Макаров швырнул папиросу в куст и пробормотал:

— Ну да, известно: существуют вещи практически бесполезные, но затейливо сделанные, имитирующие красоту.

— Я говорю не о вещах...

— Есть и среди людей имитации необыкновенных...

Вышла из дома Дуняша.

— Идите вниз, в кухню, там чай есть и вино.

— Что Алина? — спросил Макаров.

— Лежит, что-то шепчет... Ночь-то какая прекрасная, — вздохнув, сказала она Самгину. Те двое ушли, а

женщина, пристально посмотрев в лицо его, шопотом **выговорила**:

— Вот как люди пропадают. Идем?

Самгин подумал, что опоздает на поезд, но пошел за нею. Ему казалось, что Макаров говорит с ним обидным тоном, о Лютове судит как-то предательски. И, наверное, у него роман с Алиной, а Лютов застрелился из ревности.

В кухне — кисленький запах газа, на плите, в большом чайнике, шумно кипит вода, на белых кафельных стенах солидно сияет медь кастрюль, в углу, среди засушенных цветов, прячется ярко раскрашенная статуэтка мадонны с младенцем. Макаров сел за стол и, облокотясь, сжал голову свою ладонями, Иноков, наливая в стаканы вино, вполголоса говорит:

— Это — верно: он не фанатик, а математик. Если в Москве губернатор Дубасов приказывает «истреблять бунтовщиков силою оружия, потому что судить тысячи людей невозможно», если в Петербурге Трепов командует «холостых залпов не давать, патронов не жалеть» — это значит, что правительство объявило войну народу. Ленин и говорит рабочим через свиные башки либералов, меньшевиков и прочих: вооружайтесь, организуйтесь для боя за вашу власть против царя, губернаторов, фабрикантов, ведите за собой крестьянскую бедноту, иначе вас уничтожат. Просто и ясно.

Дуняша налила чашку чая, выслушала Инокова и ушла, сказав:

— Не очень шумите.

Иноков подал Самгину стакан вина, чокнулся с ним, хотел что-то сказать, но заговорил Клим Самгин:

— А не слишком ли упрощено то, что вам кажется простым и ясным?

И вызывающе обратился к Макарову:

— Силу буржуазии ты недооцениваешь...

Макаров хлебнул вина и, не отнимая другую руку от головы, глядя в свой бокал, неохотно ответил:

— Я её лечу. Мне кажется, я ее — знаю. Да. Лечу. Вот — написал работу: «Социальные причины истерии у женщин». Показывал Форелю, хвалит, предлагает издать, рукопись переведена одним товарищем на немецкий.

А мне издавать — не хочется. Ну, издам, семь или семьдесят человек прочитают, а — дальше что? Лечить тоже не хочется.

Где-то близко около дома затопала по камню лошадь. Басовитый голос сказал по-немецки:

— Здесь.

Лошадь точно провалилась сквозь землю, и минуту в доме, где было пятеро живых людей, и вокруг дома было неприятно тихо, а затем прогреготало что-то металлическое.

— Гроб привезли, — ненужно догадался Иноков и, сильно дунув в мундштук папиросы, выстрелил в угол кухни красненьким огоньком, а Макаров угрюмо сказал:

— Это — цинковый ящик, в гроб они уложат там, у себя в бюро. Полиция потребовала убрать труп до рассвета. Закричит Алина. Иди к ней, Иноков, она тебя слушается...

Мимо окна прошли два человека одинаково толстых, в черном.

— Доктора должны писать популярные брошюры об уродствах быта. Да. Для медиков эти уродства особенно резко видимы. Одной экономики — мало для того, чтоб внушить рабочим отвращение и ненависть к быту. Потребности рабочих примитивно низки. Жен удовлетворяет лишний гривенник заработной платы. Мало у нас людей, охваченных сознанием глубочайшего смысла социальной революции, все какие-то... механически вовлеченные в ее процесс...

Говорил Макаров отрывисто, все более сердито и громко.

«Мысли Кутузова», — определил Самгин, невольно прислушиваясь к возне и голосам наверху.

— Где, в чем видишь ты социальную... — начал он, но в это время наверху раздался неистовый, потрясающий крик Алины.

— Ну, вот, — пробормотал Макаров, выбегая из кухни; Самгин вышел за ним, остановился на крыльце.

— Не дам, не позволю, — густо и хрипло рычала Алина. В сад сошли сверху два черных толстяка, соединенные телом Лютова, один зажал под мышкой у себя ноги его, другой вцепился в плечи трупа, а голова его,

неестественно свернутая набок, качалась, кланялась. Алина, огромная, растрепанная, изгибаясь, ловила голову одной рукой, на ее другой руке повисла Дуняша, всхлипывая. Макаров, Иноков пытались схватить Алину, она отбивалась от них пинками, ударила Инокова затылком своим, над белым ее лицом высоко взметнулись волосы.

— Не смейте, — храпела она, задыхаясь; рот ее был открыт и вместе с темными пятнами глаз показывал лицо разбитым.

— Перестань, — громко сказал Макаров. — Ну, куда ты, куда?

Она храпела, как лошадь, и вырывалась из его рук, а Иноков шел сзади, фыркал, сморкался, вытирал подбородок платком. Соединясь все четверо в одно тело, пошатываясь, шаркая ногами, они вышли за ограду. Самгин последовал за ними, но, заметив, что они спускаются вниз, пошел вверх. Его догнал железный грохот, истерические выкрики:

— Сундук... какая пошлость... В сундук... Уйдите!

Самгин шел торопливо и в темноте спотыкался.

«Надобно купить трость», — подумал он, прислушиваясь. Там, внизу, снова тяжело топала по камню лошадь, а шума колес не было слышно.

«Резиновые шины».

Затем вспомнил, что, когда люди из похоронного бюро несли Лютова, втроем они образовали букву Н.

Однако он чувствовал, что на этот раз мелкие мысли не помогают ему рассеять только что пережитое впечатление. Осторожно и медленно шагая вверх, он прислушивался, как в нем растет нечто неизведанное. Это не была привычная работа мысли, автоматически соединяющей слова в знакомые фразы, это было нарастание очень странного ощущения: где-то глубоко под кожей назревало, пульсировало, как нарыв, слово:

«Смерть».

Соединение пяти неприятных звуков этого слова как будто требовало, чтоб его произносили шопотом. Клим Иванович Самгин чувствовал, что по всему телу, обессиливая его, растекается жалостная и скучная тревога. Он остановился, стирая платком пот со лба, оглядываясь. Впереди, в лунном тумане, черные деревья похожи на

холмы, белые виллы напоминают часовни богатого кладбища. Дорога, путаясь между этих вилл, ползет куда-то вверх...

«Невежливо, что я не простился с ними», — напомнил себе Самгин и быстро пошел назад. Ему уже показалось, что он спустился ниже дома, где Алина и ее друзья, но за решеткой сада, за плотной стеной кустарника, в тишине четко прозвучал голос Макарова:

— Идиоты, держатся за свою власть над людьми, а детей родить боятся. Что? Спрашивай.

Самгин встал, обмахивая лицо платком, рассматривая, где дверь в сад.

— Нет, никогда, — сказал Макаров. — Родить она не может, изуродовала себя абортами. Мужчина нужен ей не как муж, а как слуга.

— Кормилец, — вставил Иноков.

Не находя двери, Самгин понял, что он подошел к дому с другой его стороны. Дом спрятан в деревьях, а Иноков с Макаровым далеко от него и очень близко к ограде. Он уже хотел окрикнуть их, но Иноков спросил:

— А что ты думаешь о Самгине?

Макаров ответил невнятно, а Иноков, должно быть, усмехнулся, голос его звучал весело, когда он заговорил:

— Вот, именно! Аппарат не столько мыслящий, сколько рассуждающий...

Самгин поспешно пошел прочь, вниз, напомнив себе:

«Я дважды оказал ему помощь. Впрочем — чорт с ними. Следует предохранять душу от засорения уродством маленьких обид и печалей».

Фраза понравилась ему, но возвратила к большой печали, испытанной там, наверху.

Он провел очень тяжелую ночь: не спалось, тревожили какие-то] незнакомые, неясные и бессвязные мысли, качалась голова Владимира Лютова, качались его руки, и одна была значительно короче другой. Утром, полубольной, сходил на почту, получил там пакет писем из Берлина, вернулся в отель и, вскрыв пакет, нашел в нем среди писем и документов маленький и легкий конверт, надписанный почерком Марины. На тонком листике сиреневой бумаги она извещала, что через два дня выезжает

в Париж, остановится в «Терминус», проживет там дней десять. Это так взволновало его, что он даже смутился, а взглянув на свое отражение в зеркале — смутился еще более и уже тревожно.

«Мальчишество, — упрекнул он себя, хмурясь, но глаза улыбались. — Меня влечет к ней только любопытство, — убеждал он себя, глядя в зеркало и покручивая бородку. — Ну, может быть, некоторая доля романтизма. Не лишнего иронии. Что такое она? Тип современной буржуазки, неглупой по природе, начитанной...»

Но радость не угасала, тогда он спросил себя:

«А что и почему смущает меня?»

Найти ответ на вопрос этот не хватило времени, — нужно было определить: где теперь Марина? Он высчитал, что Марина уже третьи сутки в Париже, и начал укладывать вещи в чемодан.

В Париже он остановился в том же отеле, где и Марина, заботливо привел себя в порядок, и вот он — с досадой на себя за волнение, которое испытывал, — у двери в ее комнату, а за дверью отчетливо звучит знакомый, сильный голос:

— Нет, нет, Захар Петрович, на это я не пойду.

Ей ответил голосок тоненький и свистящий:

— Пожалеете-с! Прощайте.

Дверь распахнулась, из нее вывалился тучный, коротконогий человек с большим животом и острыми глазами на желтом, оплывшем лице. Тяжело дыша, он уколол Самгина сердитым взглядом, толкнул его животом и, мягко топая ногой, пропел, как бы угрожая:

— Однако советую, — подумайте-с! Ой, подумайте!

И, легко выкидывая вперед коротенькие ножки, бесшумно поплыл по ковру коридора.

— А-а, приехал, — ненужно громко сказала Марина и, встряхнув какими-то бумагами в левой руке, правую быстро вскинула к подбородку Клима. Она никогда раньше не давала ему целовать руку, и в этом ее жесте Самгин почувствовал нечто.

— Что — хороша Мариша? — спросила она, бросив бумаги на стол.

— Очень.

— Скупое хвалишь.

— Слишком хороша.

— Ну, хорошего слишком не бывает, — небрежно заметила она. — Садись, рассказывай, где был, что видел...

«Взволнована», — отметил Самгин. Она казалась еще более молодой и красивой, чем была в России. Простое, светлосерое платье подчеркивало стройность ее фигуры, высокая прическа, увеличивая рост, как бы короновала ее властное и яркое лицо.

«Излишне велика, купечески здорова, — с досадой отмечал Самгин, досаду сменило удовлетворение тем, что он видит недостатки этой женщины. — И платье безвкусно», — добавил он, говоря: — Ты отлично вооружилась для побед над французами.

— Здесь — только причесали, а платье шито в Москве и — плохо, если хочешь знать, — сказала она, укладывая бумаги в маленький, черный чемодан, сунула его под стол и, сопроводив пинком, спросила:

— Следишь, как у нас банки растут и капитал организуется? Уже образовалось «Общество для продажи железной руды» — Продаруд. Синдикат «Медь».

— Что это за чудовище было у тебя?

— Это — Захар Бердников.

В ее сочном голосе все время звучали сердитые нотки. Закурив папиросу, она бросила спичку, но в пепельницу не попала и подождала, когда Самгин, обжигая пальцы, снимет горящую спичку со скатерти.

— Сегодня он — между прочим — сказал, что за хороший процент банкир может дать денег хоть на устройство землетрясения. О банкире — не знаю, но Захар — даст. Завтракать — рано, — сказала она, взглянув на часы. — Чаю хочешь? Еще не пил? А я уже давно...

Позвонив, она продолжала:

— Поболталась я в Москве, в Питере. Видела и слышала в одном купеческом доме новоявленного пророка и водителя умов. Помнится, ты мне рассказывал о нем: Томилин, жирный, рыжий, весь в масляных пятнах, как блинник из обжорки. Слушали его поэты, адвокаты, барышни всех сортов, раздгерганные умы, растрепанные

души. Начитанный мужик и крепко обозлен: должно быть, честолюбие не удовлетворено.

Внизу, за окнами, как-то особенно разнообразно и весело кричал, гремел огромный город, мешая слушать сердитую речь, мешала и накрахмаленная горничная с птичьим лицом и удивленным взглядом широко открытых, черных глаз.

— Говорил он о том, что хозяйственная деятельность людей, по смыслу своему, религиозна и жертвенна, что во Христе сияла душа Авеля, который жил от плодов земли, а от Каина пошли окаянные люди, корыстолюбцы, соблазненные дьяволом инженеры, химики. Эта ерунда чем-то восхищала Тугана-Барановского, он изгибался на длинных ногах своих и скрипел: мы — аграрная страна, да, да! Затем курносенький стихотворец читал что-то смешное: «В ладье мечты утешимся, сны горе утолят», — что-то в этом роде.

Она усмехалась, но усмешка только расправляла складку между нахмуренных бровей, а глаза поблескивали неулыбчиво сердито. Холеные руки ее, как будто утратив мягкость, двигались порывисто, угловато, толкали посуду на столе.

— Вообще — скучновато. Идет уборка после домашнего праздника, людишки переживают похмелье, чистятся, все хорошенькое, что вытащили для праздника из нутра своего, — прячут смущенно. Догадались, что вчера вели себя несоответственно званию и положению. А начальство все старается о упокоении, вешает злодеев. Погодило бы души, они сами выдохнутся. Вообще, живя в провинции, представляешь себе центральных людей... ну, богаче, что ли, с начинкой более интересной...

«Чего она хочет?» — соображал Самгин, чувствуя, что настроение Марины подавляет его. Он попробовал перевести ее на другую тему, спросив:

— А как Безбедов?

— Прислал письмо из Нижнего, гуляет на ярмарке. Ругается, просит денег и прощения. Ответила: простить — могу, денег не дам. Похоже, что у меня с ним плохо кончится.

У Самгина с языка невольно сорвалось:

— Мне кажется, — ты едва ли способна прощать.

Он ожидал, что женщина ответит резкостью, но она, пожав плечами, небрежно сказала:

— Почему — не способна? Простить — значит наплевать, а я очень способна плюнуть в любую рожу.

«Никогда она не говорила так грубо», — отметил Самгин, испытывая нарастание тревоги, ожидая какой-то неприятности. Движения и жесты ее порывисты, угловаты, что совершенно не свойственно ей.

«Расстроена чем-то...»

Он торопливо спросил: где она была, что видела? Она дважды посетила Лувр, послезавтра идет в парламент, слушать Бриана.

— Вчера была в Булонском лесу, смотрела парад кокоток. Конечно, не все кокотки, но все — похожи. Настоящие «артикль де Пари» и — для радости.

И, озорниково прищурив правый глаз, она сказала:

— Припасай денежки! Тебе надобно развлечься, как вижу, хмуро настроен!

— А мне кажется, что это ты...

— Я? Да! Я — злюсь. Злюсь, что не мужчина.

Закурив папиросу, она встала, взглянула на себя в зеркало, пустила в отражение свое струю дыма.

— Была я у генеральши Богданович, я говорила тебе о ней: муж — генерал, староста Исакиевского собора, полудиот, но — жулик. Она — бабочка неглупая, очень приметлива, в денежных делах одинаково человеколюбиво способствует всем ближним, без различия национальностей. Бывала я у ней и раньше, а на этот раз она меня пригласила для беседы с Бердниковым, — об этой беседе я тебе после расскажу.

Она говорила шагая из угла в угол, покуривая, двигая бровями и не глядя на Клима.

— Я, наивная, провинциальная тетеха, обожаю, когда меня учат уму-разуму, а генеральша любит это бесплодное ремесло. Теперь я знаю, что с Россией — очень плохо, никто ее не любит, царь и царица — тоже не любят. Честных патриотов в России — нет, а только — бесчестные. Столыпин — двоедушен, тайный либерал, готов продать царя кому угодно и хочет быть диктатором, скотина! Кстати: дачу Столыпину испортили не эсеры, а — максималисты, группочка, отколовшаяся

от правоверных, у которых будто бы неблагополучно в центре, — кого-то из централистов подозревают в дружбе с департаментом полиции.

Небрежно сообщив это, она продолжала говорить о генеральше.

— Люди там все титулованные, с орденами или с бумажниками толщиной в библию. Все — веруют в бога и желают продать друг другу что-нибудь чужое.

Самгин смотрел на ее четкий профиль, на маленькие, розовые уши, на красивую линию спины, смотрел, и ему хотелось крепко закрыть глаза.

Она остановилась пред ним, золотистые зрачки ее напряженно искрились.

— Если б я пожелала выйти замуж, так мне за сотню — за две тысяч могут продать очень богатого старичка...

Клим Иванович Самгин, чувствуя себя ослепленным неожиданно сверкнувшей тревожной догадкой, закрыл глаза на секунду.

«Что могло бы помешать ей служить в департаменте полиции? Я не вижу — что...»

Сняв очки, он стал протирать стекла куском замши, — это помогало ему в затруднительных случаях.

— Ты что съезжился, точно у тебя колики в желудке? — спросила она, и ему показалось, что голос Марины прозвучал оглушительно.

— Тяжелые мысли вызываешь, — пробормотал он.

Она снова начала шагать, говоря вполголоса и мягче:

— Да. Невесело. Теперь, когда жадные дураки и лентяи начнут законодательствовать, — распродадут они Россию. Уже лезут в Среднюю Азию, а это у нас — голый бок! И англичане прекрасно знают, что — голый...

Она утомительно долго рассуждала на эту тему, считая чьи-то деньги, называя имена известных промышленников, землевладельцев, имена министров. Самгин почти не слушал ее, теснимый своими мыслями.

«Сектантство — игра на час. Патриотизм? Купеческий. Может быть — тоже игра. Пособничество Кутузову... Это — всего труднее объяснить. Департамент...

Все возможно. Какие идеи ограничили бы ее? Неглупа, начитанна. Авантюристка. Верует только в силу денег, все же остальное — для критики, для отрицания...»

И Клима Ивановича Самгина почти радовало то, что он может думать об этой женщине враждебно.

— Однако — пора завтракать! — сказала она. — Здесь в это время обедают. Идем.

Она вышла в маленькую спальную, и Самгин отметил, что на ходу она покачивает бедрами, как не делала этого раньше. Невидимая, щелкая какими-то замками, она говорила:

— Видела Степана, у него жену посадили в Кресты. Маленькая такая куколка, бесцветная, с рыбьей фамилией...

— Сомова.

— Кажется — так. Он присылал ее ко мне один раз. Он настроен несокрушимо. Упрям. Уважаю упрямых.

Вышла. На плечах ее голубая накидка, обшитая мехом песца, каштановые волосы накрыты золотистым кружевом, на шее внушительно блестят изумруды.

— Что — хороша Мариша? — спросила она.

— Да.

— То-то.

Завтракали в ресторане отеля, потом ездили в коляске по бульварам, были на площади Согласия, посмотрели Нотр Дам, — толстый седоусый кучер в смешной клеенчатой шляпе поучительно и не без гордости сказал:

— Это надо видеть при луне.

— Московский извозчик не скажет, когда лучше смотреть Кремль, — вполголоса заметил Самгин, Марина промолчала, а он тотчас вспомнил: нечто подобное отмечено им в поведении хозяйки берлинского пансиона. — «У нас, русских, нет патриотизма, нет чувства солидарности со своей нацией, уважения к ней, к ее слугам пред человечеством», — это сказано Катковым. Вспомнилось, что на похороны Каткова приезжал Поль Дерулед и назвал его великим русским патриотом. Одолевали пестрые, мелкие мысли, с досадой отталкивая их, Самгин нетерпеливо ждал, что скажет Марина о Париже, но она скупо бросала незначительное:

— Гулевой городок, народу-то сколько на улицах. А мужчины — мелковаты, — замечаешь? Вроде наших вятских...

Искоса поглядывая на нее, Самгин подумал, что она говорит пошленькое нарочно, неискренно, маскируя что-то.

Она предложила посмотреть «ревью» в Фоли-Бержер. Поехали, взяли билеты в партер, но вскоре Марина, усмехаясь, сказала:

— Следовало взять ложу.

Да, публика весьма бесцеремонно рассматривала ее, привставая с мест, перешептываясь. Самгин находил, что глаза женщин светятся завистливо или пренебрежительно, мужчины корчат слащавые гримасы, а какой-то смуглолицый, курчавый полуседой красавец с пышными усами вытаращил черные глаза так напряженно, как будто он когда-то уже видел Марину, а теперь вспоминал: когда и где?

— Как думаешь: маркиз или парикмахер? — прошептала она.

— Нахал. И, кажется, пьян, — сердито ответил Самгин.

На сцене разыгрывалось нечто непонятное: маленький, ловкий артист изображал боксера с карикатурно огромными бицепсами, его личико подростка оклеено седой, коротко подстриженной бородкой, он кувыркался на коврике и быстро, непрерывно убеждал в чем-то краснорожего великана во фраке.

— Это — Лепин, кажется — мэр Парижа или префект полиции, — сказала Марина. — Неинтересно, какие-то домашние дела.

Появлялись, исчезали певицы, эксцентрики, танцоры негры. Марина ворчливо заметила, что в Нижнем, на ярмарке, все это предлагается «в лучшем виде». Но вот из-за кулис, под яростный грохот и вой оркестра выскочило десятка три искусно раздетых девиц, в такт задорной музыки они начали выбрасывать из ворохов кружев и разноцветных лент голые ноги; каждая из них была похожа на огромный махровый цветок, ноги их трепетали, как пестики в лепестках, девицы носились по сцене с такой быстротой, что, казалось, у всех одно и то же

ярко накрашенное, соблазнительно улыбающееся лицо и что их гоняет по сцене бешеный ветер. Потом, в бурный вихрь пляски, разорвав круг девиц, вынеслась к рампе высокая гибкая женщина, увлекаемая за собой солдата в красных штанах, в измятом кепи и с глупым, красно-носом лицом. Сотни рук встретили ее аплодисментами, криками, стройная, гибкая, в коротенькой до колен юбке, она тоже что-то кричала, смеялась, подмигивала в боковую ложу, солдат шаркал ногами, кланялся, посылал кому-то воздушные поцелуи, — пронзительно взвизгнув, женщина схватила его, и они, в профиль к публике, делая на сцене дугу, начали отчаянно плясать матчиш.

— Ого! Наглядно, — тихонько сказала Марина, и Самгин видел, что щека ее густо покраснела, ухо тоже налилось кровью. Представив ее обнаженной, как видел на «Заводе искусственных минеральных вод», он недоуменно подумал:

«Этот цинизм не должен бы смущать ее».

Танцовщица визжала, солдат гоготал, три десятка полуголых женщин, обнявшись, качались в такт музыки, непрерывный плеск ладоней, бой барабана, пение меди и струн, разноцветный луч прожектора неотступно освещал танцоров, и все вместе создавало странное впечатление, — как будто кружился, подпрыгивал весь зал, опрокидываясь, проваливаясь куда-то.

— Да, умеют, — медленно и задумчиво сказала Марина, когда опустился занавес. — Красиво подают это... идоложертвенное мясо.

Неожиданный конец фразы возмутил Самгина, он хотел сказать, что мораль не всегда уместна, но вместо этого спросил:

— Ты бывала в Москве, у Омона?

— Да. Один раз. А — что?

— Там все было интереснее, богаче.

— Не помню.

Домой пошли пешком. Великолепный город празднично шумел, сверкал огнями, магазины хвастались обилием красивых вещей, бульвары наполнял веселый говор, смех, с каштанов падали лапчатые листья, но ветер был почти неощутим и листья срывались как бы веселой силой говора, смеха, музыки.

— Приятно устроились бывшие мастера революции, — сказала Марина, а через несколько секунд добавила: — Ныне — кредиторы наши.

На людей, которые шли впереди, падали узорные тени каштанов.

— Смотри: всё — точно в лохмотьях, — заметила Марина.

Идти под руку с ней было неудобно: трудно соразмерять свои шаги с ее, она толкала бедром. Мужчины оглядывались на нее, это раздражало Самгина. Он, вспомнив волнение, испытанное им вчера, когда он читал ее письмо, подумал:

«Почему я обрадовался? Откуда явилась мысль, что она может служить в политической полиции? Как странно все...»

Марина заявила, что хочет есть. Зашли в ресторан, в круглый зал, освещенный ярко, но мягко, на маленькой эстраде играл струнный квартет, музыка очень хорошо вторила картавому говору, смеху женщин, звону стекла, народа было очень много, и все как будто давно знакомы друг с другом; столики расставлены как будто так, чтоб удобно было любоваться костюмами дам; в центре круга вальсировали высокий блондин во фраке и тоненькая дама в красном платье, на голове ее, точно хохол необыкновенной птицы, возвышался большой гребень, сверкая цветными камнями. Слева от Самгина одиноко сидел, читая письма, солидный человек с остатками курчавых волос на блестящем черепе, с добродушным, мягким лицом; подняв глаза от листка бумаги, он взглянул на Марину, улыбнулся и пошевелил губами, черные глаза его неподвижно остановились на лице Марины. Портреты этого человека Самгин видел в журналах, но не мог вспомнить — кто он? Он сказал Марине, что на нее смотрит кто-то из крупных людей Франции.

— Не знаешь — кто?

Бесцеремонно осмотрев француза, она равнодушно сказала:

— Олицетворение телесной и духовной сытости.

Самгин плотно сжал губы. Ему все более не нравилось, как она ведет себя. Золотистые зрачки ее потемнели, она хмурилась, сдвигая брови, и вытирала губы

салфеткой так крепко, как будто желала, чтоб все поняли: губы у нее не накрашены... Три пары танцевали неприятно манерный танец, близко к Марине вышагивал, как петух, косоглазый, кривоногий человек, украшенный множеством орденов и мертвенно неподвижной улыбкой на желтом лице, — каждый раз, когда он приближался к стулу Марины, она брезгливо отклонялась и подбирала подол платья.

— Это они исказили менюэт, — выговорила она. — Помнишь Мопассана? «Король танцев и танец королей».

Самгину казалось, что все мужчины и дамы смотрят на Марину, как бы ожидая, когда она будет танцевать. Он находил, что она отвечает на эти взгляды слишком пренебрежительно. Марина чистит грушу, срезая толстые слои, а рядом с нею рыжеволосая дама с бриллиантами на шее, на пальцах ловко срезает кожу с груши слоями тонкими, почти как бумага.

«Что она — играет роль русской нигилистки? А пожалуй, в ней есть это — нигилизм...»

Он снова наткнулся на острый вопрос: как явилась мысль о связи Марины с департаментом полиции?

«Если б она служила там, ее, такую, вероятно, держали бы не в провинции, а в Петербурге, в Москве...»

Затем он попытался определить, какое чувство разбудила у него эта странная мысль?

«Тревогу? У меня нет причин тревожиться за себя».

Подумав, он нашел, что мысль о возможности связи Марины с политической полицией не вызвала в нем ничего, кроме удивления. Думать об этом под смех и музыку было неприятно, досадно, но погасить эти думы он не мог. К тому же он выпил больше, чем привык, чувствовал, что опьянение настраивает его лирически, а лирика и Марина — несоединимы.

— Французы, вероятно, думают, что мы женаты и поссорились, — сказала Марина брезгливо, фруктовым ножом расшвыривая франки сдачи по тарелке, не взяв ни одного из них, она не кивнула головой на тихое «мерси, мадам!» и низкий поклон гарсона. — Я не в ладу, не в ладу сама с собой, — продолжала она, взяв Клина под руку и выходя из ресторана. — Но, знаешь, пере-

прыгнуть вот так, сразу, из страны, где вешают, в страну, откуда вешателям дают деньги и где пляшут...

Самгин почувствовал желание крикнуть:

«Не верю я тебе, не верю!»

Но не посмел и тихо сказал:

— Не совсем понимаю я тебя.

Она продолжала:

— Чувствуешь себя... необычно. Как будто — несчастной. А я не люблю несчастий... Ненавижу страдание, наше русское, излюбленное ремесло...

Замолчала. Отель был близко, в пять минут дошли пешком.

Самгин вошел к себе, не снимая пальто и шляпу, подошел к окну, сердито распахнул створки рамы, посмотрел вниз...

«Самое непонятное, темное в ней — ее революционные речи. Конечно, речи — это еще не убеждения, не симпатии, но у нее...» — Он не сумел определить, в чем видит своеобразие речей этой женщины. Испытывая легкое головокружение, он смотрел, как там, внизу, по слабо освещенной маленькой площади бесшумно скользили темные фигурки людей, приглушенно трещали колеса экипажей. Можно было думать, что все там устало за день, хочет остановиться, отдохнуть, — остановиться в следующую секунду, на точке, в которой она застанет. Самгин сбросил на кресло пальто, шляпу, сел, закурил папиросу.

В том углу памяти, где слезались думы о Марине, стало еще темнее, но как будто легче.

«Что я нашел, что потерял? — спросил он себя и ответил: — Я приобрел, утратив чувство тяготения к ней, но — исчезла некая надежда. На что надеялся? Быть любовником ее?»

И, представив еще раз Марину обнаженной, он решил:

«Нет. Конечно — нет. Но казалось, что она — человек другого мира, обладает чем-то крепким, непоколебимым. А она тоже глубоко заражена критицизмом. Гипертрофия критического отношения к жизни, как у всех. У всех книжников, лишенных чувства веры, не охраняющих ничего, кроме права на свободу слова, мысли. Нет, нужны идеи, которые ограничивали бы эту свободу... эту анархическую мышления».

Затем он подумал, что она все-таки оригинальный характер.

«Тип коренной русской женщины.

Коня на скаку осановят,
В горящую избу войдет...

А в конце концов, черт знает, что в ней есть, — устало и почти озлобленно подумал он. — Не может быть, чтоб она в полиции... Это я выдумал, желая оттолкнуться от нее. Потому что она сказала мне о взрыве дачи Столыпина и я вспомнил Любимову...»

Несколько секунд он ухитрился не думать, затем сознался:

«Ты много видел женщин и хочешь женщину, вот что, друг мой! Но лучше выпить вина. Поздно, не дадут...»

Но все-таки он позвонил, явился дежурный слуга, и через пяток минут, выпив стакан вкусного вина, Самгин осмотрел комнату глазами человека, который только что вошел в нее. Мягкая, плюшевая мебель, толстый ковер, драпри на окнах, на дверях — все это делало комнату странно мохнатой. С чем можно сравнить ее? Сравнения не нашлось. Он медленно разделся до ночного белья, выпил еще вина и, сидя на постели, почувствовал, что возобновляется ощущение зреющего нарыва, испытанное им в Женеве. Но теперь это не было ощущением неприятным, напротив — ему казалось, что назревает в нем что-то серьезнейшее и что он на границе важного открытия в самом себе. Он забыл прикрыть окно, и в комнату с площади вдруг ворвался взрыв смеха, затем пронзительный свисток, крики людей.

— Идиоты, — выругался Самгин, подходя к окну. — Смеются... потом — умирают...

Ему показалось, что последние три слова он подумал шопотом.

«Чепуха. Шопотом не думают. Думают беззвучно, даже — без слов, а просто так... тенями слов».

Тут он почувствовал, что в нем точно лопнуло что-то, и мысли его настойчиво, самосильно, огорченно закричали:

«Одиночество. Один во всем мире. Затискан в какое-то идиотское логовище. Один в мире образно и линейно

оформленных ощущений моих, в мире злой игры мысли моей. Леонид Андреев — прав: быть может, мысль — болезнь материи...»

Самгин сидел наклонясь, опираясь ладонями в колени, ему казалось, что буйство мысли раскачивает его, как удары языка в медное тело колокола.

«Прометей — маска дьявола» — верно... Иероним Босх формировал свое мироощущение смело, как никто до него не решался...»

В мохнатой комнате все качалось, кружилось, Самгин хотел встать, но не мог и, не подняв ног с пола, ткнулся головой в подушку. Проснулся он поздно, позвонил, послал горничную спросить мадам Зотову, идет ли она в парламент? Оказалось — идет. Это было не очень приятно: он не стремился посмотреть, как работает законодательный орган Франции, не любил больших собраний, не хотелось идти еще и потому, что он уже убедился, что очень плохо знает язык французов. Но почему-то нужно было видеть, как поведет себя Марина, и — вот он сидит плечо в плечо с нею в ложе для публики.

— Вот она, правящая демократия, — полушопотом говорит Марина.

Самгин пристально смотрел на ряды лысых, черноволосых, седых голов, сверху головы казались несоразмерно большими сравнительно с туловищами, вlepленными в кресла. Механически думалось, что прадеды и деды этих головастиков сделали «Великую революцию», создали Наполеона. Вспоминалось прочитанное о 30-м, 48-м, 71-м годах в этой стране.

— Либертэ, эгалитэ *, а — баб в депутаты парламента не пускают, — ворчливо заметила Марина.

Человек с лицом кардинала Мазарини сладким тенорком и сильно картавя читал какую-то бумагу, его слушали молча, только на левых скамьях изредка раздавались ворчливые возгласы.

— Вот и Аристид-предатель, — сказала Марина.

На трибуне стоял веселый человек, тоже большеголовый, шатен с небрежно растрепанной прической, фигура

* Свобода, равенство (франц.) — *Ред.*

плотная, тяжеловатая, как будто немного сутулая. Толстые щеки широкого лица оплыли, открывая очень живые, улыбчивые глаза. Прищурился, вытянув шею вперед, он утвердительно кивнул головой кому-то из депутатов в первом ряду кресел, показал ему зубы и заговорил домашним, приятельским тоном, поглаживая левой рукой лацкан сюртука, край пюпитра, тогда как правая рука медленно плавала в воздухе, как бы разгоняя невидимый дым. Говорил он легко, голосом сильным, немножко сиповатым, его четкие слова гнались одно за другим шутиливо и ласково, патетически и с грустью, в которой как будто звучала ирония. Его слушали очень внимательно, многие головы одобрительно склонялись, слышны были краткие, негромкие междометия, чувствовалось, что в ответ на его дружеские улыбки люди тоже улыбаются, а один депутат, совершенно лысый, двигал серыми ушами, точно заяц. Потом Бриан начал говорить усилив голос, высоко подняв брови, глаза его стали больше, щеки покраснели, и Самгин поймал фразу, сказанную особенно жарко:

— Наша страна, наша прекрасная Франция, беззаветно любимая нами, служит делу освобождения человечества. Но надо помнить, что свобода достигается борьбой...

— И давайте денег на вооружение, — сказала Марина, глядя на часы свои.

Бриану аплодировали, но были слышны и крики протеста.

— Ну, с меня довольно! Имею сорок минут для того, чтоб позавтракать, — хочешь?

— С удовольствием.

— Да, вот как, — говорила она, выходя на улицу. — Сын мелкого трактирщика, был социалистом, как и его приятель Мильеран, а в шестом году, осенью, распорядился стрелять по забастовщикам.

В небольшом ресторане, наискось от парламента, она, заказав завтрак, продолжала:

— Гибкие люди. Ходят по идеям, как по лестницам. Возможно, что Бриан будет президентом.

Она вздохнула, подумала, наливая водку в рюмки.

— Замечательно живучий, ловкий народ. Когда-ни-

будь побьют они неуклюжих, толстых немцев. Давай выпьем за Францию.

Выпили, и она молча принялась насыщаться, а кончив завтракать и уходя, сказала:

— Вечером на Монмартр, в какой-нибудь веселый кабачок, — идет?

— Отлично.

Но вечером, когда Самгин постучал в дверь Марины, — дверь распахнул пред ним коренастый, широкоплечий, оборотился спиной к нему и сказал сиповатым тенором:

— А он, мерзавец, посмеивается...

— Входи, входи, — предложила Марина, улыбаясь. — Это — Григорий Михайлович Попов.

— Да, — подтвердил Попов, небрежно сунув Самгину длинную руку, охватил его ладонь длинными, горячими пальцами и, не пожав, — оттолкнул; этим он сразу определил отношение Самгина к нему. Марина представила Попову Клима Ивановича.

— Ага, — равнодушно сказал Попов, топая и шаркая ногами так, как будто он надевал галоши.

— Продолжай, — предложила Марина. Она была уже одета к выходу — в шляпке, в перчатке по локоть на левой руке, а в правой кожаный портфель, свернутый в трубку; стоя пред нею, Попов лепил пальцами в воздухе различные фигуры, точно беседуя с глухонемой.

— «Если, говорит, в столице, где размещен корпус гвардии, существует департамент полиции и еще многое такое, — оказалось возможным шестинедельное существование революционного совета рабочих депутатов, если возможны в Москве баррикады, во флоте — восстания и по всей стране — дьявольский кавардак, так все это надобно понимать как репетицию революции...»

— Вот какой догадливый, — сказала Марина, взглянув на часы.

— Я ему говорю: «Ваши деньги, наши знания», а он — свое: «Гарантируйте, что революции не будет!»

— Ну да, понятно! Торговать деньгами легче, спокойней, чем строить заводы, фабрики, возиться с рабочими, — проговорила Марина, вставая и хлопая портфелем по своему колену. — Нет, Гриша, тут банкира мало,

нужен крупный чиновник или какой-нибудь придворный... Ну, мне — пора, если я не смогу вернуться через час, — я позвоню вам... и вы свободны...

Попов проводил ее до двери, вернулся, неловко втиснул себя в кресло, вынул кожаный кисет, трубку и, набивая ее табаком, не глядя на Самгина, спросил небрежно:

— Мы не встречались?

— Нет, — решительно ответил Самгин.

— Мм... Значит — ошибся. У меня плохая память на лица, а человека с вашей фамилией я знавал, вместе шли в ссылку. Какой-то этнограф.

«Брат», — хотел сказать Самгин, но воздержался и сказал: — Фамилия эта не часто встречается.

Пытаясь закурить трубку и ломая спички одну за другой, Попов возразил:

— На Оке есть пароходство Качкова и Самгина, и был горнопромышленник Софрон Самгин.

Лицо его скрылось в густом облаке дыма. Лицо было неприятное: широколобое, туго обтянутое смуглой кожей и неподвижно, точно каменное. На щеках — синие пятна сбритой бороды, плотные, черные усы коротко подстрижены, губы — толстые, цвета сырого мяса, нос большой, измятый, брови — кустиками, над ними густая щетка черных с проседью волос. Движения, жесты у него тяжелые, неловкие, все вокруг него трясется, скрипит. Одет в темносинюю куртку необычного покроя, вроде охотничьей. Неприятен и сиповатый тенорок, в нем чувствуется сердитое напряжение, готовность закричать, сказать что-то грубое, злое, а особенно неприятны маленькие, выпуклые — как вишни, темные глаза.

«Нахал и, кажется, глуп», — определил Самгин и встал, желая уйти к себе, но снова сел, сообразив, что, может быть, этот человек скажет что-нибудь интересное о Марине.

— Замечательная bestия, Софрон этот. Встретил я его в Барнауле и предложил ему мои геологические услуги. «Я, говорит, ученым — не доверяю, я сам их делаю. Дело моим управляет бывший половой в трактире, в Томске. Лет тридцать тому назад было это: сижу я в ресторане, задумался о чем-то, а лакей, остроглазый такой,

молоденький, пристаёт: «Что прикажете подать?» — «Птичьего молока стакан!» — «Простите, говорит, птичье молоко всё вышло!» Почтительно сказал, не усмехнулся. Ну, я ему и говорю: «Ты, парень, лакействовать брось, а иди-ко служить ко мне». Через одиннадцать лет я его управляющим сделал. Домовладелец, гласный городской думы, капиталец имеет, тысчонок сотню, наверняка. Таких у меня еще трое есть. Верные слуги. А с ученым дела делать — нельзя, они цены рубля не знают. Поговорить с ними — интересно, иной раз даже и полезно».

Попов начал говорить лениво, а кончил возбужденно всхрапывая и таким тоном, как будто он сам и есть замечательная бестия.

— О птичьем молоке — это старый анекдот, — заметил Самгин.

— Все — старо, все! — угрюмо откликнулся Попов и продолжал: — Ему, Софрону, было семьдесят три года, а он верхом ездил по двадцать, тридцать верст и пил водку без всякой осторожности.

Самгин слушал равнодушно, ожидая момента, когда удобно будет спросить о Марине. О ней думалось непрерывно, все настойчивее и беспокойней. Что она делает в Париже? Куда поехала? Кто для нее этот человек?

«Это — что же — ревность?» — спросил он себя, усмехаясь, и, не ответив, вдруг почувствовал, что ему хотелось бы услышать о Марине что-то очень хорошее, необыкновенное.

— В болотном нашем отечестве мы, интеллигенты, поставлены в трудную позицию, нам приходится внушать промышленной буржуазии азбучные истины о ценности науки, — говорил Попов. — А мы начали не с того конца. Вы — эсдек?

Самгин молча наклонил голову.

— Я тоже отдал дань времени, — продолжал Попов, выковыривая пепел из трубки в пепельницу. — Пять месяцев тюрьмы, три года ссылки. Не жалуясь, ссылка — хороший добавок годам учения.

Он сунул трубку в карман, встал, потянулся, что-то затрещало на нем, озабоченно пощупал под мышками у себя, сдвинул к переносью черные кустики бровей и сердито заговорил:

— Напутал Ленин, испортил игру, скомпрометировал социал-демократию в России. Это — не политика, а — эпатаж, вот что! Надо брать пример с немцев, у них рост социализма идет нормально, путем отбора лучших из рабочего класса и включения их в правящий класс, — говорил Попов и, шагнув, задел ногой ножку кресла, потом толкнул его коленом и, наконец, взяв за спинку, отставил в сторону. — Плохо мы знаем нашу страну, отсюда и забеги в фантастику. Сумбурная страна! Население — сплошь нигилисты, символисты, максималисты, вообще — фантазеры. А нужна культурно грамотная буржуазия и технически высоко квалифицированная интеллигенция, — иначе — скушают нас немцы, да-с! Да еще англичане японцев науськают, а сами влезут к нам в Среднюю Азию, на Кавказ...

Самгин не стерпел и спросил, куда поехала Марина.

— Не знаю, — сказал Попов. — Кто-то звонил ей, похоже — консул.

— Вы ее давно знаете?

— От времен студенческих. А — что?

Самгину показалось, что рачьи глаза Попова изменили цвет, он покачнулся вперед и спросил:

— Жениться на ней собираетесь?

— Разве нет других мотивов, — начал Самгин, но Попов перебил его, продолжая со свистом:

— В девицах знавал, в одном кружке мудростям обучались, теперь вот снова встретились, года полтора назад. Интересная дама. Наверное — была бы еще интересней, но ее сбил с толку один... фантазер. Первая любовь и прочее...

Он замолчал, снова вынул трубку из кармана. Его тон вызвал у Самгина чувство обиды за Марину и обострил его неприязнь к инженеру, но он все-таки начал придумывать еще какой-то вопрос о Марине.

— В общем она — выдуманная фигура, — вдруг сказал Попов, поглаживая, лаская трубку длинными пальцами. — Как большинство интеллигентов. Не умеем думать по исторически данной прямой и всё налево скользим. А если направо повернем, так уж до сочинения книг о религиозном значении социализма и даже вплоть до соединения с церковью... Я считаю, что прав Плеха-

нов: социал-демократы могут — до определенного пункта — ехать в одном вагоне с либералами. Ленин прокламирует пугачевщину.

Набивая трубку табаком, он усмехнулся, так что пятнистое лицо его неестественно увеличилось, а глаза спрятались под бровями.

— О том, как люди выдумывают себя, я расскажу вам любопытнейший факт. Компания студентов вспоминала, при каких условиях каждый из них познал женщину. Один — хвастается, другой — сожалеет, третий — врет, а четвертый заявил: «Я — с родной сестрой». И сплел историю, которая удивила всех нелепостью своей. Парнишка из богатой купеческой семьи, очень скромный, неглупый, отличный музыкант, сестру его я тоже знал, — милейшая девица, строгого нрава, училась на курсах Герье, серьезно работала по истории ренессанса во Франции. Я говорю ему: «Ты соврал!» — «Соврал», — признался он. «Зачем?» — «Стыдно стало пред товарищами, я, видишь ли, еще девственник!» Каков?

— Забавно, — откликнулся Самгин.

Попов встал и свирепо засипел:

— Вы — что же — смысла анекдота этого не чувствуете? Забавно!..

— Прошу извинить меня, — сказал Самгин, — но я думал о другом. Мне хочется спросить вас о Зотовой...

Попов стоял спиной к двери, в маленькой прихожей было темно, и Самгин увидал голову Марины за плечом Попова только тогда, когда она сказала:

— Что же у вас дверь открыта?

— Ого, как ты быстро, — удивился Попов.

Она молча прошла в спальню, позвенела там ключами, щелкнул замок, позвала:

— Григорий! Помоги-ко...

Он ушел, слышно было, как щелкают ремни, скрипит кожа чемодана, и слышен был быстрый говор, пониженный почти до шопота. Потом Марина решительно произнесла:

— Так и скажи.

Вышла она впереди Попова, не сняв шляпку и говоря:

— Ну-с, я с вами никуда не поеду, а сейчас же отправляюсь на вокзал и — в Лондон! Проживу там не более недели, вернусь сюда и — кутнем!

Попов грубовато заявил, что он провожать не любит, к тому же хочет есть и — просит извинить его. Сунув руку Самгину, но не взглянув на него, он ушел. Самгин встал, спрашивая:

— Можно проводить тебя?

— Нет, не надо.

— Тогда — до свиданья!

Не приняв его руку и усмехаясь, она нехорошим тоном заговорила:

— А ты тут выспрашивал Попова — кто я такая, да?

— Я спросил его только, давно ли вы знакомы...

Марина стерла платком усмешку с губ и вздохнула.

— Это был, конечно, вопрос, за которым последовали бы другие. Почему бы не поставить их предо мной? На всякий случай я предупреждаю тебя: Григорий Попов еще не подлец только потому, что он ленив и глуп...

— Послушай, — прервал ее Самгин и заговорил тихо, поспешно и очень заботливо выбирая слова: — Ты женщина исключительно интересная, необыкновенная, — ты знаешь это. Я еще не встречал человека, который возбуждал бы у меня такое напряженное желание понять его... Не сердись, но...

— Нимало не сержусь, очень понимаю, — заговорила она спокойно и как бы вслушиваясь в свои слова. — В самом деле: здоровая баба живет без любовника — неестественно. Не брезгует наживать деньги и говорит о примате духа. О революции рассуждает не без скепсиса, однако — добродушно, — это уж совсем чертовщина!

Она подала ему руку.

— Мне пора на вокзал. В следующую встречу здесь, на свободе, мы поговорим... Если захочется. До свиданья, иди!

Самгин задержал ее руку в своей, желая сказать что-то, но не нашел готовых слов, а она, усмехаясь, спросила:

— Уж не кажется ли тебе, что ты влюбился в меня?

И, стяхнув его руку со своей, поспешно проговорила:

— Все очень просто, друг мой: мы — интересны друг другу и поэтому нужны. В нашем возрасте интерес к человеку следует ценить. Ой, да — уходи же!

Явился слуга со счетом, Самгин поцеловал руку женщины, ушел, затем, стоя посредине своей комнаты, закурил, решив идти на бульвары. Но, не сходя с места, глядя в мутносерую пустоту за окном, над крышами, выкурил всю папиросу, подумал, что, наверное, будет дождь, позвонил, спросил бутылку вина и взял новую книгу Мережковского «Грядущий хам».

Утром, выпив кофе, он стоял у окна, точно на краю глубокой ямы, созерцая быстрое движение теней облаков и мутных пятен солнца по стенам домов, по мостовой площади. Там, внизу, как бы подчиняясь игре света и тени, суетливо бегали коротенькие люди, сверху они казались почти кубическими, приплюснутыми к земле, плотно покрытой грязным камнем.

Клим Самгин чувствовал себя так, точно сбросил с плеч привычное бремя и теперь требовалось, чтоб он изменил все движения своего тела. Покручивая бородку, он думал о вреде торопливых объяснений. Определенно хотелось, чтоб представление о Марине возникло снова в тех ярких красках, с тою интригующей силой, каким оно было в России.

«Что беспокоит меня? — размышлял он. — Боязнь пустоты на том месте, где чувство и воображение создали оригинальный образ?»

За спиной его щелкнула ручка двери. Вздрыгнув, он взглянул через плечо назад, — в дверь втиснулся толстый человек, отдуваясь, сунул на стол шляпу, расстегнул верхнюю пуговицу сюртука и, выпятив живот величиной с большой бочонок, легко пошел на Самгина, размахивая длинной правой рукой, точно собираясь ударить.

— Бердников, Захарий Петров, — сказал он высоким, почти женским голосом. Пухлая, очень теплая рука, сильно сжав руку Самгина, дернула ее книзу, затем Бердников, приподняв полы сюртука, основательно уселся в кресло, вынул платок и крепко вытер большое, рыхлое лицо свое как бы нарочно для того, чтоб оно стало виднее.

— Простите, что вторгаюсь, — проговорил он и, надув щеки, выпустил в грудь Самгина сильную струю воздуха.

На бугристом его черепе гладко приклеены жиденькие пряди светлорыжих волос, лицо — точно у скопца — совсем голое, только на месте бровей скупо рассеяны желтые щетинки, под ними выпуклые рачьи глаза, голубовато-холодные, с неуловимым выражением, но как будто веселенькие. Из-под глаз на пухлые щеки, цвета пшеничного теста, опускаются синеватые мешки морщин, в подушечки сдобных щек воткнут небольшой хрящеватый и острый нос, чужой на этом обширном лице. Рот большой, лягушечий, верхняя губа плотно прижата к зубам, а нижняя чрезмерно толста, припухла, точно мухой укушена, и брезгливо отвисла.

«Комический актер», — определил Самгин, найдя в лице и фигуре толстяка нечто симпатичное.

— Изучаете? — спросил Бердников и, легко качнув голову, прибавил: — Да, не очарователен. Мы с вами столкнулись как раз у двери к Маринушке — не забыли?

Напомнил он об этом так строго, что Самгин, не ответив, подумал:

«Кажется, нахал».

— Вот и сегодня я — к ней, — продолжал гость, вздохнув. — А ее не оказалось. Ну, тогда я — к вам.

— Чем могу служить? — спросил Самгин.

Бердников закрыл правый глаз, помотал головою, осматривая комнату, шумно вздохнул, на столе пошевелилась газета.

— Водички бы стакашничек, аполлинарису, — сказал он. Острые глаза его весело улыбнулись.

«Интересное животное», — продолжал определять Самгин.

Ожидая воды, Бердников пожаловался на неприятную погоду, на усталость сердца, а затем, не торопясь, выпив воды, он, постукивая указательным пальцем по столу, заговорил деловито, но как будто и небрежно:

— Нуте-с, не будем терять время зря. Человек я как раз коммерческий, стало быть — прямой. Явился с предложением, взаимно выгодным. Можете хорошо заработать, оказав помощь мне в серьезном деле. И не только мне, а и клиентке вашей, сердечного моего приятеля почтенной вдове...

«Вот кто расскажет мне о ней», — подумал Самгин, а гость, покачнув вперед жидкое тело свое, сказал вздыхая:

— Женщина-то, а? В песню просится.

— Редкой красоты, — подтвердил Самгин.

— Как раз — так: редкой! — согласился Бердников, дважды качнув головою, и было странно видеть, что на такой толстой, короткой шее голова качается легко. Затем он отодвинулся вместе с креслом подалше от Самгина, и снова его высокий, бабий голосок зазвучал пренебрежительно и напористо, ласково и как будто безнадежно: — Нуте-с, обратимся к делу! Прошу терпеливого внимания. Дело такое: попала Маринушка как раз в компанию некоторых шарлатанов, — вы, конечно, понимаете, что Государственная дума открывает шарлатанам широкие перспективы и так далее. Внушают Маринушке заключить договор с какими-то англичанами о продаже кое-каких угодьев на Урале... Вам, конечно, известно это?

— Нет, — сказал Самгин.

— Ой-ли? — весело воскликнул Бердников и, сложив руки на животе, продолжал, удивляя Самгина пестрой неопределенностью настроения и легкостью витиеватой речи: — Как же это может быть неведомо вам, ежели вы поверенный ее? Шутите...

В лицо Самгина смотрели, голубовато улыбаясь, круглые, холодненькие глазки, брезгливо шевелилась толстая нижняя губа, обнажая желтый блеск золотых клыков, пухлые пальцы правой руки играли платиновой цепочкой на животе, указательный палец левой беззвучно тыкался в стол. Во всем поведении этого человека, в словах его, в гибкой игре голоса было что-то обидно несерьезное. Самгин сухо спросил:

— Предположим, что я знаю договор, интересующий вас. Что же следует дальше?

— А дальше разрешите сообщить, что это дело крупно денежное и мне нужно знать договор во всех его подробностях. Вот я и предлагаю вам ознакомить...

Самгин, вскочив со стула, торопливо крикнул:

— Прошу вас прекратить... это! Как вы могли решиться сделать мне такое предложение?

Он безотчетно выкрикивал еще какие-то слова, чувствуя, что поторопился рассердиться, что сердится слишком громко, а главное — что предложение этого толстяка не так оскорбило, как испугало или удивило. Стоя перед Бердниковым, он сердито спрашивал:

— Почему вы считаете меня способным... вы знаете меня?

— Нет, как раз — не знаю, — мягко и даже как бы уныло сказал Бердников, держась за ручки кресла и покачивая рыхлое, бесформенное тело свое. — А решимости никакой особой не требуется. Я предлагаю вам выгодное дело, как предложил бы и всякому другому адвокату...

— Я для вас — не всякий! — крикнул Самгин.

— А какой же? — спросил Бердников с любопытством, и нелепый его вопрос еще более охладил Самгина.

«Нахален до комизма», — определил он, закуривая папиросу и говоря строгим тоном:

— Повторяю: о договоре, интересующем вас, мне ничего неизвестно. «Напрасно сказал, и не то, не так!» — тотчас догадался он; спичка в руке его дрожала, и это было досадно видеть.

Упираясь ладонями в ручки кресла, Бердников медленно приподнимал расплывчатое тело свое, подставляя под него толстые ноги, птичьи глаза, мигая, метал и любоватые искорки. Он бормотал:

— Сегодня — неизвестно, а завтра — можно узнать. Марина-то, наверно, гроши платит вам, а тут...

— Довольно об этом, — уже почти попросил Самгин.

— Ну, ну, ладно, — не шумите, — откликнулся Бердников, легко дрыгая ногами, чтоб опустить взъехавшие брюки, и уныло взвизгнул: — На какого дьявола она работает, а! Ну, мужчина бы за сердце схватил, — так мужчины около нее не видно, — говорил он, плачевно подвизгивая, глядя в упор на Самгина и застегивая пуговицы сюртука. — За миллионы хватается, за большие миллионы, — продолжал он, угрожающе взмахнув длинной рукой. — Время-то какое, господин Самгин! Из-за пустяков, из-за выручки виновных лавок люди убивают, бомбы бросают, на виселицу идут, а?

Бердников засмеялся странно булькающим смехом:
— Пу-бу-бу-бу!

Раскачиваясь, он надул губы, засопел, и губы, соединясь с носом, образовали на лице его смешную шишку.

— Вы ей не говорите, что я был у вас и зачем. Мы с ней еще, может, как раз и сомкнемся в делах-то, — сказал он, отплывая к двери. Он исчез легко и бесшумно, как дым. Его последние слова прозвучали очень неопределенно, можно было понять их как угрозу и как приятельское предупреждение.

«Приятельское, — мысленно усмехнулся Клим, шагая по комнате и глядя на часы. — Сколько времени сидел этот человек: десять минут, полчаса? Наглое и глупое предложение его не оскорбило меня, потому что не могу же я подозревать себя способным на поступок против моей чести...»

И, успокоив себя, он подумал, что следовало задержать Бердникова, расспросить его о Марине.

«Я глупо делаю, не записывая такие встречи и беседы. Записать — значит оттолкнуть, забыть; во всяком случае — оформить, то есть ограничить впечатление. Моя память чрезмерно перегружена социальным хламом».

Ему очень понравились слова: социальный хлам. Он остановился, закрыл глаза, и с быстротою, которая доступна только работе памяти, пред ним закружился пестрый вихрь пережитого, утомительный хоровод несоединимых людей. Особенно видны были Варавка и Кутузов, о котором давно уже следовало бы забыть, Лютов и Марина — нет ли в них чего-то сродного? — Митрофанов и Любимова, рыжий Томилин, зеленоватой тенью мелькнула Варвара, и так же, на какую-то часть секунды, ожили покорные своей судьбе Куликова, Анфимьевна, еще и еще знакомые фигуры. Непонятен, неуловим смысл их бытия.

В эту минуту возврата в прошлое Самгин впервые почувствовал нечто новое: как будто все, что память показывала ему, ожило вне его, в тумане отдаленном, но все-таки враждебном ему. Сам он — в центре тесного круга теней, освещаемых его мыслью, его памятью. Среди множества людей не было ни одного, с кем он позволил бы себе свободно говорить о самом важном для него,

о себе. Ни одного, кроме Марины. Открыв глаза, он увидел лицо свое в дыме папиросы отраженным на стекле зеркала; выражение лица было досадно неумное, унылое и не соответствовало серьезности момента: стоит человек, приподняв плечи, как бы пытаясь спрятать голову, и через очки, прищурясь, опасливо смотрит на себя, точно на незнакомого. Он сердито встряхнулся, нахмурился и снова начал шагать по комнате, думая:

«Истина с теми, кто утверждает, что действительность обезличивает человека, насилует его. Есть что-то... недопустимое в моей связи с действительностью. Связь предполагает взаимодействие, но как я могу... вернее: хочу ли я воздействовать на окружающее иначе, как в целях самообороны против его ограничительных и тлетворных влияний?»

Вспомнились слова Марины: «Мир ограничивает человека, если человек не имеет опоры в духе». Нечто подобное же утверждал Томилин, когда говорил о познании как инстинкте.

«Да, познание автоматически и почти бессмысленно, как инстинкт пола», — строго сказал Самгин себе и снова вспомнил Марину; улыбаясь, она говорила:

«Свободным-то гражданином, друг мой, человека не конституции, не революции делают, а самопознание. Ты вот возьми Шопенгауэра, почитай прилежно, а после него — Секста Эмпирика о «Пирроновых положениях». По-русски, кажется, нет этой книги, я по-английски читала, французское издание есть. Выше пессимизма и скепсиса человеческая мысль не взлетала, и, не зная этих двух ее полетов, ни о чем не догадаешься, поверь!»

Самгин остановился, прислонясь к стене, закуривая. Ему показалось, что никогда еще он не думал так напряженно и никогда не был так близко к чему-то чрезвычайно важному, что раскроется пред ним в следующую минуту, взорвется, рассеет все, что тяготит его, мешая найти основное в нем, человеке, перегруженном «социальным хламом». Папиросу он курил медленно, стоял у стены долго, но ничего не случилось, не взорвалось, а просто он почувствовал утомление и необходимость пойти куда-нибудь. Пошел, смотрел картины в Люксембургском музее, обедал в маленьком уютном ресторане.

До вечера ходил и ездил по улицам Парижа, отмечая в памяти все, о чем со-временем можно будет рассказать кому-то. По бульварам нарядного города, под ласковой тенью каштанов, мимо хвастливо богатых витрин магазинов и ресторанов, откуда изливались на панели смех и музыка, шумно двигались встречу друг другу веселые мужчины, дамы, юноши и девицы; казалось, что все они ищут одного — возможности безобидно посмеяться, покричать, похвастаться своим умением жить легко. Жизнерадостный шум возбуждал приятно, как хорошее старое вино. Отдаваясь движению толпы, Самгин думал о том, что французы философствуют значительно меньше, чем англичане и немцы. Трудно представить на бульварах Парижа Иммануила Канта и Шопенгауэра или Гоббса. Трудно допустить, что в этом городе может родиться человек, подобный Достоевскому. Невозможен и каноник Джонатан Свифт за столиком одного из ресторанов. Но очень понятны громогласный, жирный смех монаха Рабле, неисчерпаемое остроумие Вольтера, и вполне на месте Анакреон XIX века — лысый толстяк Беранже. Возможен ли француз-фанатик? Самгин наскоро поискал такого в памяти своей и — не нашел. Вспомнились стихи Полежаева:

Француз — дитя,
Он вам шутя
Разрушит трон,
Издаст закон...

Эти стихи вполне совпадали с ритмом шагов Самгина. Мелькнуло в памяти имя Бодлера и — погасло, не родив мысли. Подумалось:

«Буржуазия Франции оправдала кровь и ужасы революции, показав, что она умеет жить легко и умно, сделав свой прекрасный, древний город действительно Афинами мира...»

Вечером сидел в театре, любуясь, как знаменитая Лавальер, играя роль жены депутата-социалиста, комического буржуа, храбро пляшет, показывая публике коротенькие черные панталонки из кружев, и как искусно забавляет она какого-то экзотического короля, гостя Парижа. Домой пошел пешком, соблазняло желание взять женщину, но — не решился.

«Надоели мне ее таинственные дела и странные знакомства», — ложась спать, подумал он о Марине сердито, как о жене. Сердился он и на себя; вчерашние думы казались ему наивными, бесплодными, обычного настроения его они не изменили, хотя явились какие-то бескостные мысли, приятные своей отвлеченностью.

«Мир — гипотеза», — сказал некий «объясняющий господин», кажется — Петражицкий? Правильно сказал: мир для меня — непрерывный поток противоречивых явлений, которые вихрем восходят или нисходят куда-то по какой-то спирали, которая позволяет мыслить о сходстве, о повторяемости событий. Взгляд из прошлого — снизу вверх — или из желаемого будущего — из гипотетического верхнего кольца спирали вниз, в настоящее, — это, в сущности, игра, догматизирующая мысли. Не больше. Мысль всегда догматизирует, иначе она — не может. Формула, форма — это уже догма, ограничение. Мысль — один из феноменов мира, часть, которая стремится включить в себя целое. Душа? Душа полудикого деревенского мужика, «дух» Марины. Встает вопрос о праве додумывать до конца, о праве создания и утверждения догматов, гипотез, теорий. «Объясняющие господа» не ставят перед собой этого вопроса. Нельзя отрицать этого права за аристократами духа, за рыцарями красоты, здесь вполне допустимо оправдание эстетическое. Но когда это право присваивает сын деревенского мельника Кутузов, ученик недоучившегося студента Ульянова... И должна быть ответственность за мысли. Кто это утверждал? Кажется, Жозеф де-Местр. У нас — Константин Победоносцев...» Незаметно и насильственно мысль приводила в угол, где сгущена была наиболее неприятная действительность. Самгин хмурился, курил и, пытаясь выскользнуть из тесного круга бесплодных размышлений, сердито барабанил пальцами по томику рассказов Мопассана. Он все более часто чувствовал себя в области прочитанного, как в магазине готового платья, где однако не находил для себя костюма по фигуре. И самолюбие все настойчивее внушало ему, что он сам должен скроить и сшить такой удобный, легкий, прочный костюм. Часа в три он сидел на террасе ресторана в Булонском лесу, углубленно читая карту кушаний.

— Слушайте-ко, Самгин, — раздался над головой его **сиповатый, пониженный голос** Попова, — тут **тесть мой сидит, интересная фигура, богатейший человечик!** Я **сказал** ему, что вы **поверенный** Зотовой, а она — старая **знакомая** его. Он **хочет познакомиться с вами...**

Попов **говорил просительно**, на **лице его застыла гримаса смущения**, он **пожимал плечами**, **точно от холода**, и вообще был **странно не похож на того размашистого человека**, **каким Самгин наблюдал его у Марины**.

— Я **собрался обедать**, — **сказал Клим**, **заинтересованный ужимками Попова** и **соображая**: «Должно быть, не очень **хочет**, чтоб **тесть познакомился со мной**».

— **Вместе и пообедаем**, — **пробормотал Попов**, и **Самгин решил подчиниться маленькому насилию действительности**.

Пошли в **угол террасы**; там за **трельяжем цветов**, под **лавровым деревом** сидел у **стола большой, грузный человек**. Близорукость **Самгина** позволила ему **узнать Бердникова**, только когда он **подошел вплоть к толстяку**. Сидел **Бердников** **положив локти на стол** и **высунув голову вперед**, **насколько это позволяла толстая шея**. В этой **позе он очень напоминал жабу**. **Самгину показалось**, что **птичьи глазки Бердникова** **блестят испытующе**, **точно спрашивая**:

«Нуте-с, как вы себя поведете?»

Неясное какое-то **подозрение** укололо **Самгина**, он **сердито взглянул на Попова**, а **инженер, подвигая стул**, **больно задел Самгина по ноге** и, не **извиняясь**, **сказал**:

— **Самгин... Клим Иванович — так?**

— **Захар Петров**, — **откликнулся Бердников веселым голосом** и, не **вставая**, **протянул Самгину свою мягкую лапу**. — **Садитесь-ко, прошу покорно**.

«Если **посмеет заговорить о договоре — оборву!**» — **решил Самгин**.

— **Мы с зятем для возбуждения аппетита вопросы кое-какие шевелили**, **вдруг вижу**: как раз **русский идет**, **значит — тоже говорун**, а тут **оказалось**, что **Григорий знаком с вами**. — Он **говорил с благосклонной улыбочкой**, от нее **глаза его ласково и масляно помутнели**. — **Нуте-с, заказывайте!** Мне, **Григорий**, **спаржи побольше** и **сыру швейцарского**, — **самый чистый и здоровый сыр**. Я как

раз поклонник пищи растительной и молочной, а также фрукты обожаю. В чем французы совершенно артистически тонко понимают, так это в женщинах и овощах. Женщину воспитали столь искусно, что она подает вам себя даже как бы музыкально, а овощи у них лучшие в мире, это всеми признано. На Центральном рынке поутру не бывали? Посетите. Изумителен не менее Лувра.

Самгин слушал молча и настороженно. У него росло подозрение, что этот тесть да и Попов, наверное, попробуют расспрашивать о делах Марины, за тем и пригласили. В сущности, обидно, что она скрывает от него свои дела...

Бердников, говоря, поправляя галстук с большой черной жемчужиной в нем, из-под галстука сверкала крупная бриллиантовая запонка, в толстом кольце из платины горел злым зеленым огнем изумруд. Остренькие зрачки толстяка сегодня тоже блестели зеленовато.

— Папаша большой шалун по женской части, — проворчал Попов, прервав деловую беседу с гарсоном.

— Не верьте ему, — сказал Бердников, пошевелив грузное тело свое, подобрал, обсосал нижнюю губу и, вздохнув, продолжал все так же напевно, благосклонно: — Он такую вам биографию мою сочинит, что ужаснетесь.

«Вероятно, чудак, вроде Лютова», — подумал Самгин, слушая гладкую речь толстяка, она успокаивала его подозрения. Но Попов, внимательно рассматривая поданные закуски, неожиданно и грубовато спросил:

— Зотова в Англию уехала?

Самгин выпрямился, строго, через очки взглянул в лицо Бердникова, — оно расплывалось, как бы таяло в благодушной улыбке. Казалось, что толстяк пропустил вопрос Попова мимо своих ушей. Покачнувшись в сторону Самгина, весело говорил:

— Папашей именует меня, а право на это — потерял, жена от него сбежала, да и не дочью она мне была, а племянницей. У меня своих детей не было: при широком выборе не нашел женщины, годной для материнства, так что на перекладных ездил... — Затем он неожиданно спросил: — К политической партии какой-нибудь принадлежите?

— Нет, я не занимаюсь политикой, — сухо вато ответил Самгин.

— Большая редкость в наши дни, когда как раз даже мальчишки и девочки в политику вторглись, — тяжело вздохнув, сказал Бердников и продолжал комически скорбно: — Особенно девочек жалко, они совсем несъедобны стали, как, примерно, мармелад с уксусом. Вот и Попов тоже политикой уязвлен, марксизму привержен, угрожает мужика социалистом сделать, хоша мужик, даже когда он совсем нищий, все-таки не пролетар...

Попов, разливая водку в рюмки, угрюмо сдвинул к переносью кустики бровей, чмокнул, облизал губы и вполголоса просипел:

— А вы для чего? Вы, такие вот, кругленькие, перевоспитаєте его в пролетария, это же и есть ваша задача...

— Ну, ладно, я не спорю, пусть будет и даже в самом совершенном виде! — живо откликнулся Бердников и, подмигнув Самгину, продолжал: — Чего при мне не случится, то меня не беспокоит, а до благоденственного времени, обещанного Чеховым, я как раз не дотяну. Нуте-с, выпьемте за прекрасное будущее!

Подняв рюмку к носу, он понюхал ее, и лицо его сморщилось в смешной, почти бесформенный мягкий комок, в косые складки жирноватой кожи, кругленькие глаза спрятались, погасли. Самгин второй раз видел эту гримасу на рыхлом, бабьем лице Бердникова, она заставила его подумать:

«Забавный болтун. И, кажется, не глуп».

Его особенно удивляла легкость движений толстяка, легкость его речи. Он даже попытался вспомнить: изображен в русской литературе такой жизнерадостный и комический тип? А Бердников, как-то особенно искусно смазывая редиску маслом, поглощая ее, помахивая пред лицом салфеткой, распевал тонким голоском:

— Люблю почесать язык о премудрости разные! Упрекают нас, русских, что много разговариваем, ну, я как раз не считаю это грехом. Церковь предупреждает: «Во многоглаголании — несть спасения», однако сама-то глаголет неустанно, хотя и пора бы ей видеть, что нас, пестрый народ, глаголы ее не одноцветят, а как раз

наоборот. Нам, господин Самгин, есть о чем поговорить. Европейцы не беседуют между собой на темы наши, они уже благоустроены: пьют, едят, любят, утилизируют наше сырье, хлебец наш кушают, живут себе помаленьку, а для разговора выбирают в парламенты соседей своих, которые почтостолубивее, поглупее. Социалистов выкармливают на эту роль, они и разговаривают публично о расширении условий для еды, питья, семейной жизни. О душе в парламентах не разговаривают, это даже и неприлично было бы, и даже смешно. А мы ведь все как раз о душе. Мы — кочевой народ, на полях мысли не так давно у Лаврова с Михайлевским паслись, вчера у Фридриха Ницше, сегодня вот травку Карла Маркса жуем и отрыгаем.

Попов неумело и жестоко резал утку, хрустели кости, из-под ножа выскальзывали куски, он ворчал:

— О, чорт...

Самгин, насыщаясь и внимательно слушая, видел вдаль, за стволами деревьев, медленное движение бесконечной вереницы экипажей, в них яркие фигуры нарядных женщин, рядом с ними покачивались всадники на красивых лошадях; над мелким кустарником в сизоватом воздухе плыли головы пешеходов в соломенных шляпах, в котелках, где-то далеко оркестр отчетливо играл «Кармен»; веселая задорная музыка очень гармонировала с гулом голосов, все было приятно пестро, но не резко, все празднично и красиво, как хорошо поставленная опера. И над этим праздником, легко пронзая его шум, извивалась тонкогласая, остренькая речь Бердникова; обсасывая спаржу, он говорил:

— Мы — народище не волевой, а мыслящий, мы не столько стремимся нечто сделать, как хотим что-нибудь выдумать для всеобщего благополучия. Мессианство, оно же как раз и ротозейство. Извините. Воля у нас не воспитывалась, а подавлялась, извне — государством, а изнутри разлагала ее свободная мысль. О народе усердно беспокоились, все спрашивали его: «Ты проснешься ль, исполненный сил?» И вот он проснулся, как мы того желали, и нанес государству огромнейшие убытки, в дребезг, в прах и пепел разорив культурнейшие помещичьи хозяйства.

— У него именишко сожгли, — равнодушно сказал Попов, разливая шампанское.

— И скот прирезали, — добавил Бердников. — Ну, я однако не жалею. Будучи стоиком, я говорю: «Бей, но — выучи!» Охо-хо! Нуте-кось, выпьемте шампанского за наше здоровье! Я, кроме этого безвредного напитка, ничего не позволяю себе, ограниченный человек. — Он вылил в свой бокал рюмку коньяка, чокнулся со стаканом Самгина и ласково спросил: — Надоела вам моя болтовня?

— Я слушаю вас с глубоким интересом, — вполне искренно ответил Самгин.

— Однако помалкиваете.

— Неразговорчив.

— Осторожность — хорошее качество, — сказал Бердников, и снова Самгин увидел лицо его комически сморщенным. Затем толстяк неожиданно и как-то беспричинно засмеялся. Смеялся он всем телом, смех ходил в нем волнами, колыхая живот, раздувая шею, щеки, встряхивая толстые бабьи плечи, но смех был почти бесшумен, он всхлипывал где-то в животе, вырываясь из надутых щек и губ глухими булькающими звуками:

— Ппу-бу-бу-бу...

Самгин подумал:

«Он должен бы смеяться визгливо».

— Великий мастер празднословия, — лениво, однако с явной досадой сказал Попов, наливая Климу красного вина. — Вы имейте в виду: ему дорого не то, что он говорит, а то — как!

— Слышите? — подхватил Бердников. — В эстеты произвел меня. А то — нигилистом ругает. Однако чем же я виноват, ежели у нас свобода-то мысли именно к празднословию сводится и больше никуда? Нуте-ко, скажите, где у нас свободная-то мысль образцово дана? Чаадаев? Бакунин и Кропоткин? Герцен, Киреевский, Данилевский и другие этого гнезда?

— Это он, кокет, вам товар лицом показывает, вот, дескать, как я толсто начитан, — все так же лениво и уже подрачивая проговорил Попов. Тело Бердникова заколебалось, точно поплыло, наваливаясь на стол, кругленькие глазки зеленовато яростно вспыхнули, он заговорил быстрее, с присвистами и взвизгиваньем:

— Нет, погоди! Ты покажи-ко мне, вместо Бакуниных с Кропоткиными, русских Оуэнов, Фурье, Сен-Симонов, покажи, ну? Ду-шеч-ка, у нас их заменяют блаженненькие Сютаевы, Бондаревы да чудаковатый граф, соблазненный ими по бедности разума его. Ой, нехорошо, дерзко сказал я, — воскликнул он, неумело притворяясь испуганным. — Но вы, господин Самгин, не думайте, я ведь гения не отрицаю, художника всесветного превозношу совокупно со всеми. Однако же полагаю себя вправе сказать: глуп, как гений! И это касается не одного кого-либо, а вообще гения в искусстве...

— Чернышевский... — начал Попов, сердито сдвинув брови.

Тесть махнул рукой на него:

— Отстань! Семинарист этот был прилежным учеником, а чудотворца из него литераторы сделали за мужиколюбие. Я тебе скажу, что бурят Шапов был мыслителем как раз погуще его, да! Есть еще мыслитель — Федоров, но его «Философия общего дела» никому не знакома.

Он всем телом покачнулся к Самгину, усмехаясь, широко обнажив золотые клыки:

— Дорогой... Кирилл Иванович, старообрядцы мы, заплесневели, мохом обросли! Славянофилы эти наши, народники всякие — старообрядцы всё! И пусть только какой-нибудь Петр, большой или маленький, начнет нас к Европе поворачивать, мы орем: «Антихрист! Блаженные кроткие»...

— Мне кажется, вы недооцениваете событий, которые только что... — заговорил Самгин, но Бердников, схватив его за рукав пиджака, быстро и уже озлобленно продолжал:

— Не выношу кротких! Сделать бы меня всемирным Иродом, я бы как раз объявил поголовное истребление кротких, несчастных и любителей страдания. Не уважаю кротких! Плохо с ними, неспособные они, нечего с ними делать. Не гуманный я человек, я как раз железо произвожу, а — на что оно кроткому? Сказку Толстого о «Трех братьях» помните? На что дураку железо, ежели он обороняться не хочет? Избу кроет соломой, землю пашет сохой, телега у него на деревянном ходу, гвоздей потребляет полфунта в год.

Самгин, немножко захмелев, уставал слушать этот тонкий, резкий голос. Интересно, но — много... Да, вот какие мысли носит в себе такой человек.

«Какой человек?» — спросил себя Клим, но искать ответа не хотелось, а подозрительное его отношение к Бердникову исчезало. Самгин чувствовал себя необычно благодушно, как бы отдыхая после длительного казуистического спора с назойливым противником по гражданскому процессу.

Приятно было наблюдать за деревьями спокойное, парадное движение праздничной толпы по аллее. Люди шли в косых лучах солнца встречу друг другу, как бы хвастливо показывая себя, любуясь друг другом. Музыка, смягченная гулом голосов, сопровождала их лирически ласково. Часто доносился веселый смех, ржание коня, за углом ресторана бойко играли на скрипке, масляно звучала виолончель, женский голос пел «Матчиш»; и Попов, свирепо нахмурясь, отбивая такт мохнатым пальцем по стакану, вполголоса, четко выговаривал:

Су втр жюп бланш
Брийе ля анш... *

Бердников все время пил, подливая в шампанское коньяк, но не пьянел, только голос у него понизился, стал более тусклым, точно отсырев, да вздыхал толстяк все чаще, тяжелей. Он продолжал показывать пестроту словесного своего оперения, но уже менее весело и слишком явно стараясь рассмешить.

Самгину подумалось, что настал момент, когда можно бы заговорить с Бердниковым о Марине, но мешал Попов, — в его настроении было что-то напряженное, подстерегающее, можно было думать, что он намерен затеять какой-то деловой разговор, а Бердников не хочет этого, потому и говорит так много, почти непрерывно. Вот Попов угрюмо пробормотал что-то о безответственности, — толстый человек погладил ладонями бескостное лицо свое и заговорил более звонко, даже как бы ехидно:

* Под вашей белой юбкой
Сверкает бедро... (франц.). — Ред.

— А перед кем отвечать? Сам знаешь: я делаю историю, может — скверно, а все-таки делаю, предоставляя интеллигентам свободу судить и порицать меня. Но — чтобы в дела мои не лезли иначе, как словесно! Тебе дана историей роль повара-марксиста, мне — роль кота Васьки, а пролетарий даже в Германии к делу фабрикации истории не доспел. Однако я понимаю: революцию на сучок не повесить, а Столыпин — весьма провинциальный дурак: он бы сначала уступил, а потом понемножку отнял, как делают умные хозяева. А он вот хочет деревню отрубам раскрошить, полагая, что создаст на русских-то полях американских фермеров, а создать он может токмо миллионы нищих бунтарей, на производство фермеров у него как раз сельскохозяйственного инвентаря не хватит, даже если он половинку России французским банкирам заложил бы.

— Соединение бойкости языка с наивностью поверхностной мысли — не велика мудрость, — докторально и даже сердито начал Попов, но тесть прервал его:

— Это ты про меня? Спасибо.

И, выпив бокал шампанского с коньяком, продолжал, обращаясь к Самгину:

— Бунт обнаружил слабосилие власти, возможность настоящей революции, кадетики, съездив в Выборг, как раз скомпрометировали себя до конца жизни в глазах здравомыслящих людей. Теперь-с, ежели пролетарий наш решит идти за Лениным и сумеет захватить с собою мужичка — самую могущественную фигуру игры, — Россия лопнет, как пузырь.

Он засмеялся:

— Ппу-бу-бу-бу.

И, поглаживая животище, вздувшийся почти до подбородка, похлопывая его ладонью, сверкая изумрудом на пальце и улыбочкой в глазах, он dokonчил:

— Единственное, Кирилл Иванович, спасение наше — в золоте, в иностранном золоте! Надобно всыпать в нашу страну большие миллиарды франков, марок, фунтов, дабы хозяева золота в опасный момент встали на защиту его, вот как раз моя мысль!

— Чепуха, — сказал Попов, качая голову от плеча к плечу и крепко закрыв глаза.

— Патриот! — откликнулся Бердников, подмигнув Самгину. — Патриот и социалист от неудачной жизни. Открытие сделал — украли, жена — сбежала, в картах — не везет.

— Будет вам! Едемте кататься, — устало предложил Попов, а Бердников, особенно ласково глядя в лицо Самгина, говорил:

— Люблю дразнить! Мальчишкой будучи, отца дразнил, отец у меня штейгером был, потом докопался до дела — в большие тысячники вылез. Драл меня беспощадно, но, как видите, не повредил. Чехов-то прав: если зайца бить, он спички зажигать выучится. Вы как Чехова-то оцениваете?

— Отличный и правдивейший художник, — сказал Самгин и услышал, что сказано это тоном неуместно строгим и вышло смешно. Он взглянул на Попова, но инженер внимательно выбирал сигару, а Бердников, поправив галстук, одобрительно сунул голову вперед, — видимо, это была его манера кланяться.

— Изящнейший писатель, — говорил он. — Некоторые жалуются — печален. А ведь нерезонно жаловаться на октябрь за то, что в нем плохая погода. Однако и в октябре бывают превосходные дни...

— Когда октябристы родятся, — угрюмо вставил Попов.

— Ну, поздравляю, сострил! — одобрительно произнес Бердников, и лягушечьи губы его раздвинулись широкой улыбкой. — Закаты хороши в октябре. И утренние зори. Я ведь до сорока лет охотник был, одиннадцать медведей извел...

Попов вызвал коляску, толстяк упросил Самгина «не разрушать компанию», но Самгин и не имел этого намерения. Бердников любезно предложил ему сесть рядом, Попов, с сигарой в зубах, сел на переднее сиденье, широко расставив ноги. Он, видимо, опьянел, курил, смешно надувая щеки, морщился, двигал бровями, пускал дым в лицо Самгина, и Самгин все определенной чувствовал, что инженер стесняет его. Коляска выехала на широкую аллею и включилась звеном в бесконечную цепь разнообразно причудливых экипажей. Самгин почувствовал, что его приятно возбуждает парадное движение празд-

нично веселой, нарядно одетой толпы людей, зеркальный блеск разноцветного лака, металлических украшений экипажей и сбруи холеных лошадей, которые, как бы создавая свою красоту, шагали медленно и торжественно, позволяя любоваться мощной грацией их движений. Ослепительно блестело золото ливрей идолоподобно неподвижных кучеров и грумов, их головы в лакированных шляпах казались металлическими, на лицах застыла суровая важность, как будто они правили не только лошадьми, а всем этим движением по кругу, над небольшим озером; по спокойной, все еще розовой в лучах солнца воде, среди отраженных ею облаков плавали лебеди, вопросительно и гордо изогнув шеи, а на берегах шумели ярко одетые дети, бросая птицам хлеб. Мелькали бронзовые лица негров, подчеркнутые белыми улыбками, блеском зубов и синеватым фарфором веселых глаз, казалось, что эти матовые глаза фосфорически дымятся. Вслед экипажам и встречу им густо двигалась толпа мужчин, над ними покачивались, подпрыгивали в седлах военные, красивые, точно игрушки, штатские в цилиндрах, амазонки в фантастических шляпах, тонконогие кони гордо взмахивали головами. Ритмический топот лошадей был едва слышен в пестром и гулком шуме голосов, в непрерывном смехе, иногда неожиданно и очень странно звучал свист, но все же казалось, что толпа пешеходов подчиняется глухому ритму ударов копыт о землю. Тесная группа мужчин дружно аплодировала, в середине ее важно шагали чернобородые, с бронзовыми лицами, в белых чалмах и бурнусах, их сопровождали зуавы в широких красных штанах. Все время, то побеждая шум толпы, то утопая в нем, звучала музыка военного оркестра. Солнце, освещая пыль в воздухе, окрашивало его в розоватый цвет, на розоватом зеркале озера явились две гряды перистых облаков, распростертых в небе, точно гигантские крылья невидимой птицы, и, влияя в отражения этих облаков, лебеди становились почти невидимы. Это было очень красиво, грустно, напомнило Самгину какие-то сказки, стихи о лебедях, печальный романс Грига. Хотелось отдать себя во власть дремотного бездумья, забыться в созерцании этой красочной жизни. Мешало нахмуренное лицо Попова, туповатый, хмельной

взгляд его глаз, мешал слащаво ласковый голос Бердникова.

— Мирок-то какой картинный, а? — говорил он, как бы додумывая неясные мысли Самгина. — Легкость, радость бытия, подлинно демократично и непритязательно.

— Да, — неожиданно для себя сказал Самгин. — Они умеют отдыхать от будничных забот и насилий действительности.

Этими словами он очень обрадовал Бердникова.

— Вот именно! Как раз — так! Умнейшая буржуазия Европы живет здесь. А у нас, в Питере, на Стрелке, — монументальная скука, напыщенность — едут, как будто важного покойника провожая...

Покачиваясь, он толкал Самгина теплым, мягким плечом. Самгин, искоса поглядывая на него, кивал головой. Любуясь женщинами, он не хотел, чтоб это было замечено, и даже сам себе не хотел сознаться, что любит. Глядя, как они, окутанные в яркие ткани, в кружевах, цветах и страусовых перьях, полулежат на подушках причудливых экипажей, смотрят на людей равнодушно или надменно, ласково или вызывающе улыбаясь, он вспоминал суровые романы Золя, пряные рассказы Мопассана и пытался определить, которая из этих женщин родня Нана или Рене Саккар, мадам де-Бюрен или героиням Октава Фелье, Жоржа Онэ, героиням модных пьес Бернштейна? Было совершенно ясно, что эти изумительно нарядные женщины, величественно плывущие в экипажах, глубоко чувствуют силу своего обаяния и что сотни мужчин, любящих их красотой, сотни женщин, завидуя их богатству, еще более, если только это возможно, углубляют сознание силы и власти красавиц, победоносно и бесстыдно показывающих себя.

— Да, — говорил Самгин каким-то своим еще не оформленным мыслям. — Да, да. — И вспоминал Алину около трупы Лютова.

Говор толпы становился как будто тише, когда появлялись особенно оригинальные экипажи. Рядом с коляской, обгоняя ее со стороны Бердникова, шагала, играя удилами, танцуя, небольшая белая лошадь, с пышной, длинной, почти до копыт, гривой; ее запрягли в игрушечную коробку на двух высоких колесах, покрытую

сияющим лаком цвета сирени; в коробке сидела, туго натянув белые вожжи, маленькая пышная смуглолицая женщина с темными глазами и ярко покрашенным ртом. Она ласково и задорно улыбалась, правя лошадей, горяча ее, на ней голубая курточка, вышитая серебром, спицы колес экипажа тоже посеребрены и, вращаясь, как бы разбрызгивают белые искры, так же искрится и серебро шитья на рукавах курточки. Сзади экипажа, на высокой узенькой скамейке, качается, скрестив руки на груди, маленький негр, весь в белом, в смешной шапочке на курчавой голове, с детским личиком и важно или обиженно надутыми губами. Бердников почтительно приподнял шляпу и сунул голову вперед, сморщив лицо улыбкой; женщина, взглянув на него, приподняла черные брови и ударила лошадь вожжой. Бердников вздохнул, накрываясь шляпой.

— С-стервоза, — сказал он, присвистывая. — В большой моде... Высокой цены. Сейчас ее содержит один финансист, кандидат в министры торговли...

В черной коляске, формой похожей на лодку, запряженной парой сухощавых, серых лошадей, полулежала длинноногая женщина; пышные рыжеватые волосы, прикрытые черным кружевом, делали ее лицо маленьким, точно лицо подростка. Ее золотистые брови нахмурены, глаза прикрыты ресницами, плотно сжатые, яркие губы придавали ее лицу выражение усталости и безразличия. Под черной пеной кружев четко видно ее длинное, рыбье тело, туго обтянутое перламутровым шелком, коляска покачивалась на мягких рессорах, тело женщины тихонько вздымалось и опадало, как будто таяло. Лошадьми правил большой синешеккий кучер с толстыми черными усами, рядом с ним сидел человек в костюме шотландца, бритый, с голыми икрами, со множеством золотых пуговиц на куртке, пуговицы казались шляпками гвоздей, вбитых в его толстое тело.

— Это что же? Аллегория какая-то, что ли? — спросил Попов, ухмыляясь.

Бердников тотчас откликнулся:

— Применяют безобразное, чтоб подчеркнуть красоту, понимаешь? Они, милейший мой, знают, кого чем взять за жабры. Из-за этой душечки уже две дуэли было...

— На булавках дуэли-то?

Бердников хотел что-то сказать, но только свистнул сквозь зубы: коляску обогнал маленький плетеный шарабан, в нем сидела женщина в красном, рядом с нею, выгнув длинный язык, качала башкой большая собака в пестрой, гладкой шерсти, ее обрезанные уши торчали настороженно, над оскаленной пастью старческие опустились кровавые веки, тускло блестели рыжие, каменные глаза.

— Собаки, негры, — жаль, чертей нет, а то бы и чертей возили, — сказал Бердников и засмеялся своим странным, фыркающим смехом. — Некоторые изображают себя страшными, ну, а за страх как раз надобно прибавить. Тут в этом деле пущена такая либертэ, что уже моралитэ — места нету!

Лицо Попова налилось бурой кровью, глаза выкатились, казалось, что он усиленно старается не задремать, но волосатые пальцы нервозно барабанили по коленям, голова вращалась так быстро, точно он искал кого-то в толпе и боялся не заметить. На тестя он посматривал сердито, явно не одобряя его болтовни, и Самгин ждал, что вот сейчас этот неприятный человек начнет возражать тестю и затрещит бесконечный, бесплодный, юмористически неуместный на этом параде красивых женщин диалог двух русских, которые все знают.

«Все, кроме самих себя, — думал Самгин. — Я предпочитаю монологи, их можно слушать не возражая, как слушаешь шум ветра. Это не обязывает меня иметь в запасе какие-то истины и напрягаться, защищая их сомнительную святость...»

Пара темнобронзовых, монументально крупных лошадей важно катила солидное ландо: в нем — старуха в черном шелке, в черных кружевах на седовласой голове, с длинным, сухим лицом; голову она держала прямо, надменно, серенькие пятна глаз смотрели в широкую синюю спину кучера, рука в перчатке держала золотой лорнет. Рядом с нею благодушно улыбалась, кивая головою, толстая дама, против них два мальчика, тоже неподвижные и безличные, точно куклы.

— Де-Лярош-Фуко, — объяснял Бердников, сняв шляпу, прикрывая ею лицо. — Маркиза или графиня... что-то в этом роде. Моралистка. Ханжа. Старуха — тоже

аристократка, — как ее? Забыл фамилию... Бульон, котилён... Крильон? Деловая, острозубая, с когтями, с большим весом в промышленных кругах, чорт ее... Филантропит... Нищих подкармливает... Вы, господин Самгин, моралист? — спросил он, наваливаясь на Самгина.

— Предпочитаю воздерживаться, — ответил Клим и упрекнул себя за необдуманный ответ.

— Приятно знать, — услышал он одобрительный возглас. — Я как раз женщин этих не осуждаю. Более того, ежели подсчитать, какой доход дают кокотки Парижу, так можно даже как раз уважение почувствовать к ним. Не шучу! Текстиль, ювелирное, портновское дело, домашняя обстановка и всякий эдакий «артикл де Пари» — это всё кокоточки двигают, поверьте! Сначала — кокотка, а за нею уже и всякая другая фамма *. И ведь заметьте, что кокотка преимущественно стрижет не француза, а иностранца. Вот банкиры здешние заемчик дали нам для погашения волнений, — ведь в этом займе кокоточный заработок серьезную частицу имеет...

— Чорт знает что вы говорите, — проворчал Попов.

— Правду говорю, Григорий, — огрызнулся толстяк, толкая зятя ногой в мягком замшевом ботинке. — Здесь иная женщина потребляет в год товаров на сумму не меньшую, чем у нас население целого уезда за тот же срок. Это надо понять! А у нас дама, порченная литературой, старается жить, одеваясь в ризы мечты, то воображает себя Анной Карениной, то сумасшедшей из Достоевского или мадам Роллан, а то — Софьей Перовской. Скушная у нас дама!

Самгин слушал рассеянно и пытался окончательно определить свое отношение к Бердникову. «Попов, наверное, прав: ему все равно, о чем говорить». Не хотелось признать, что некоторые мысли Бердникова новы и завидно своеобразны, но Самгин чувствовал это. Странно было вспомнить, что этот человек пытался подкупить его, но уже являлись мотивы, смягчающие его вину.

«Привык вращаться в среде продажного чиновничества...» Он пропустил мимо ушей какое-то замечание Попова, Бердников пренебрежительно кричал зятю:

* Женщина (искаж. франц.). — Ред.

— Что ты мне все указываешь, чье то, чье это? Я везде беру все, что мне нравится. Суворин — не дурак. Для кого люди философствуют? Для мужика, что ли? Для меня!

Разгорался спор, как и ожидал Самгин. Экипажей и красивых женщин становилось как будто все больше. Обогнала пара крупных, рыжих лошадей, в коляске сидели, смеясь, две женщины, против них тучный, лысый человек с седыми усами; приподняв над головою цилиндр, он говорил что-то, обращаясь к толпе, надувал красные щеки, смешно двигал усами, ему аплодировали. Подул ветер и, смешав говор, смех, аплодисменты, фырканье лошадей, придал шуму хоровую силу.

«Нужен дважды гениальный Босх, чтоб превратить вот такую действительность в кошмарный гротеск», — подумал Самгин, споря с кем-то, кто еще не успел сказать ничего, что требовало бы возражения. Грусть, которую он пытался преодолеть, становилась острее, вдруг почему-то вспомнились женщины, которых он знал. «За эти связи не поблагодаришь судьбу... И в общем надо сказать, что моя жизнь...»

Он искал определения и не нашел. Попов коснулся пальцем его колена, говоря:

— Я здесь слезаю. До свидания.

— А мы еще покатаемся по городу, — весело и тонко вскричал Бердников. — Потом — в какое-нибудь увеселительное место; вы не против?

— Отлично, — сказал Самгин. Наконец пред ним открывалась возможность поговорить о Марине. Он взглянул на Бердникова, тот усмехнулся, сморщил лицо и, толкая его плечом, спросил:

— Устали?

— Нимало.

— Терпеливый вы. Однако побледнели. Знаете: живешь-живешь, говоришь-говоришь, а все что-то как раз не выговаривается, какое-то небольшое, однако же — самое главное слово. Верно?

— Да, — охотно согласился Самгин, — это верно.

Бердников, усмехаясь, чмокнул, как бы целуя воздух.

— Так и умрешь, не выговорив это слово, — продолжал он, вздохнув. — Одолеваю я вас болтовней моей? —

спросил он, но ответа не стал ждать. — Стар, а в старости разговор — единственное нам утешение, говоришь, как будто встряхиваешь в душе пыль пережитого. Да и редко удается искренно поболтать, невнимательные мы друг друга слушатели...

Самгин отметил: человек этот стал серьезнее и симпатичней говорить после того, как исчез Попов.

«Вероятно, очень одинокий человек и устал от одиночества», — подумал он, слушая Бердникова более внимательно.

— К тому же, подлинная-то искренность — цинична всегда, иначе как раз и быть не может, ведь человек-то — дрянцо, фальшивец, тем живет, что сам себе словесно приятные фокусы показывает, несчастное чадо.

И, уже совсем наваливаясь жидким телом своим, Бердников воскликнул пониженным, точно отсыревшим голосом:

— До чего несчастны мы, люди, милейший мой Иван Кириллович... простите! Клим Иванович, да, да... Это понимаешь только вот накануне конца, когда подкрадывается тихонько какая-то болезнь и нашептывает по ночам, как сводня: «Ах, Захар, с какой я тебя дамочкой хочу познакомить!» Это она — про смерть...

Бердников засмеялся странным своим смехом, а Самгин признал смех этот совершенно неуместным и, неприятно удивленный, подумал:

«Какой... хамелеон...» Слово «хамелеон» показалось ему незаслуженно обидным. «Гибкость какая... Разнужданность?»

Но и эти слова не определяли Бердникова. Коляска катилась по какой-то очень красивой улице, по обе стороны неспешно плыли изящные особняки, связанные железными решетками. На железе сияла обильная позолота, по панелям шагали люди, обгоняя тяжелое движение зданий. Самгину хотелось пить, хотелось неподвижности и тишины, чтобы в тишине внимательно взвесить, обдумать бойкие, пестрые мысли Бердникова, понять его, поговорить о Марине. Ему показалось, что никто никогда не говорил с ним так свободно, в тоне такой безграничной интимности, и он должен был признать, что некоторые фразы толстяка нравятся ему. «Нет, он глубже, своеобразней Лютова...»

— Хорошо бы чаю выпить, — предложил он.

— Чаю? Как раз в пору!

— Где-нибудь в тихом месте...

— Именно в тихом! — воскликнул Бердников и, надув щеки, удовлетворенно выдохнул струю воздуха. — По-русски, за самоварчиком! Прошу ко мне! Обитаю в пансионе, отличное убежище для сирот жизни, русская дама содержит, посольские наши охотно посещают...

Не ожидая согласия Самгина, он сказал кучеру адрес и попросил его ехать быстрее. Убежище его оказалось близко, и вот он шагает по лестнице, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, как резиновый, снова удивляя Самгина легкостью своего шарообразного тела. На тесной площадке — три двери. Бердников уперся животом в среднюю и, посторонясь, пригласил Самгина:

— Покорнейше прошу.

Вслед за этим он откатился куда-то в красноватый сумрак, восклицая:

— Анна Денисовна! Анеточка-а?

Самгин, протирая очки, осматривался: маленькая, без окон, комната, похожая на приемную дантиста, обставленная мягкой мебелью в чехлах серой парусины, посредине — круглый стол, на столе — альбомы, на стенах — серые квадраты гравюр. Сквозь драпри цвета бордо на дверях в соседнее помещение в комнату втекает красноватый сумрак и запах духов, и где-то далеко, в тишине звучит приглушенный голос Бердникова:

— Самоварчик и прочее. Да, да. Верочка и Жоржет? Чтобы не уходили. Ясно! Ну да, как раз так... Ппубу-бу-бу...

Через минуту он выкатился из-за драпри, радостно восклицая:

— Пож-жалуйста, Клим Иванович!

И пошел рядом с Климом, говоря вполголоса:

— Похоже на бардачок, но очень уютно и «вдали от шума городского».

В тишине прошли через три комнаты, одна — большая и пустая, как зал для танцев, две другие — поменьше, тесно заставлены мебелью и комнатными растениями, вышли в коридор, он переломился под прямым углом и уперся в дверь, Бердников открыл ее пинком ноги.

— Вот мы и у пристани! Если вам жарко — лишнее можно снять, — говорил он, бесцеремонно сбрасывая с плеч сюртук. Без сюртука он стал еще более толстым и более остро засверкала бриллиантовая запонка в мягкой рубашке. Сорвал он и галстук, небрежно бросил его на подзеркальник, где стояла ваза с цветами. Обмахивая платком лицо, высунулся в открытое окно и удовлетворенно сказал:

— Благодать!

Его хозяйская бесцеремонность несколько покорила Самгина. Он нахмурился, но, увидав в зеркале свою фигуру комически тощей рядом с круглой тушей Бердникова, невольно усмехнулся, и явилось неизбежное сравнение:

«Дон-Кихот, Санчо...»

Вслед за этим он услышал шутливые слова:

— Мы с вами в комнатенке этой — как рубль с гривенником в одном кошельке...

И тотчас же заиграли как будто испуганные слова:

— Ой, простите, глупо я пошутил, уподобив вас гривеннику! Вы, Клим Иванович, поверьте слову: я цену вам как раз весьма чувствую! Душевнейше рад встретить в лице вашем не пустозвона и празднословия, не злыдня, подобного, скажем, зятю моему, а человека сосредоточенного ума, философически обдумывающего видимое и творимое. Эдакие люди — редки, как, примерно... двуглавые рыбы, каких и вовсе нет. Мне знакомство с вами — удача, праздник...

«Он, кажется, стихами говорить способен», — подумал Самгин и, примирясь с толстяком, сказал с улыбкой:

— Но позвольте, я ведь имею право думать, что вы не меня, а себя уподобили мелкой монете...

Бердников сунул голову вперед, звучно шлепнул губами, точно закрыв во рту какое-то неудобное и преждевременное слово, глядя на Самгина с удивлением, он помолчал несколько секунд, а затем голосок его визгливо звизжал:

— Господи, боже мой, ну конечно! Как раз имеете полное право. Вот они, шуточки-то. Я ведь намекал на объемное, физическое различие между нами. Но вы же знаете: шутка с правдой не считается...

Явилась крупная чернобровая женщина, в белой полупрозрачной блузке, с грудями, как два маленькие арбуза, и чрезмерно ласковой улыбкой на подкрашенном лице, — особенно подчеркнуты были на нем ядовито красные губы. В руках, обнаженных по локоть, она несла на подносе чайную посуду, бутылки, вазы, за нею следовал курчавый усатенький человечек, толстогубый, точно негр; казалось, что его смуглое лицо было очень темным, но выцвело. Он внес небольшой серебряный самовар. Бердников командовал по-французски:

— Уберите бенедиктин, дайте куантро... Огня!

Самгин оглядывался. Комната была обставлена, как в дорогом отеле, треть ее отделялась темносиней драпировкой, за нею — широкая кровать, оттуда доносился очень сильный запах духов. Два открытых окна выходили в небольшой старый сад, ограниченный стеною, сплошь покрытой плющом, вершины деревьев поднимались на высоту окон, сладковато пахучая сырость втекала в комнату, в ней было сумрачно и душно. И в духоте этой извивался тонкий, бабий голосок, вычерчивая словесные узоры:

— Да-а, шутка с правдой не считается, это как раз так! В третьем году познакомился, случайно, знаете, мимоходом, в Москве с известным литератором, пессимистом, однако же — не без юмора. Конечно, — знаете кто? Выпили. Спрашиваю: «Что это вы как мрачно пишете?» А он отвечает: «Пишу, не щадя правды». Очень много смеялись мы с ним и коньячку выпили мало-мало за беспощадное отношение к правде. Интересный он: идеалист и даже к мистике тяготеет, а в житейской практике — жестокий ловкач, я тогда к бумаге имел касательство и попутно с издательским делом ознакомился. Без ошибки мистик-то торговал продуктами душевной своей рвоты. Ой, — засмеялся, забулькал он. — Нехорошо как обмолвился я! Вы словцо «рвота» поймите в смысле рвения и поползновения души за пределы реального...

Самгин слушал равнодушно, ожидая удобного момента поставить свой вопрос. На столе, освещенном спиртовой лампой, самодовольно и хвастливо сиял самовар, блесстел фарфор посуды, в хрустале ваз сверкали беловатые искры, в рюмках — золотистый коньяк.

«Послушать бы, как он говорит с Мариной», — думал Самгин. Он пропустил какие-то слова.

— Как в цирке, упражняются в головоломном, Достоевским соблазнены, — говорил Бердников. — А здесь интеллигент как раз достаточно сыт, буржуазия его весьма вкусно кормит. У Мопассана — яхта, у Франса — домик, у Лоти — музей. Вот, надобно надеяться, и у нас лет через десять — двадцать интеллигент получит норму корма, ну и почувствует, что ему с пролетарием не по пути...

— Вы давно знаете Зотову? — спросил Самгин, отхлебнув коньяку.

Бердников ответил не сразу. Он снял чайник с конфорки самовара, закрыл трубу тушилкой, открыл чайник, понюхал чай и начал разливать его по чашкам.

— Углем пахнет, — объяснил он заботливые свои действия. Затем спросил: — Примечательная фигуряшка? Н-да, я ее знаю. Даже сватался. Не соблаговолила. Думаю: бережет себя для дворянина. Возможно, что и о титулованном мечтает. Отличной губернаторшей была бы!

Помолчал и, глядя в чашку, давая в ней ложкой лимон, продолжал раздумчиво, не спеша:

— Знаком я с нею лет семь. Встретился с мужем ее в Лондоне. Это был тоже затейливых качеств мужичок. Не без идеала. Торговал пенькой, а хотелось ему заняться каким-нибудь тонким делом для утешения души. Он был из таких, у которых душа вроде опухоли и — чешется. Все с квакерами и вообще с английскими попами вожжался. Даже и меня в это вовлекли, но мне показалось, что попы английские, кроме портвейна, как раз ничего не понимают, а о боге говорят — по должности, приличия ради.

Подмигнув Самгину на его рюмку, он вылил из своей коньяк в чай, налил другую, выпил, закусил глотком чая. Самгин, наблюдая, как легки и уверенны его движения, нетерпеливо ждал.

— Он, Зотов, был из эдаких, из чистоплотных, есть такие в купечестве нашем. Вроде Пилата они, всё ищут, какой бы водицей не токмо руки, а вообще всю плоть свою омыть от грехов. А я как раз не люблю людей

с устремлением к святости. Сам я — великий грешник, от юности прокопчен во грехе, меня, наверное, глубоко уважают все черти адовы. Люди не уважают. Я людей — тоже...

Самгин увидел, что пухлое, почти бесформенное лицо Бердникова вдруг крепко оформилось, стало как будто меньше, угловатей, на скулах выступили желваки, заострился нос, подбородок приподнялся вверх, губы плотно сжались, исчезли, а в глазах явился какой-то медно-зеленый блеск. Правая рука его, опущенная через ручку кресла, густо налилась кровью.

«Кажется, он пьянеет», — соображал Самгин, а его собеседник продолжал пониженным, отсыревшим голосом:

— Я деловой человек, а это все едино как военный. Безгрешных дел на свете — нет. Прудоны и Марксы доказали это гораздо обстоятельней, чем всякие отцы церкви, гуманисты и прочие... безграмотные души. Ленин совершенно правильно утверждает, что сословие наше следует поголовно уничтожить. Я сказал — следует, однакож не верю, что это возможно. Вероятно, и Ленин не верит, а только страшает. Вы как думаете о Ленине-то?

— Это — несерьезный мыслитель, — сказал Самгин.

Бердников как будто удивился и несколько секунд молча, мигая, смотрел в лицо Самгина.

— Это вы — искренно?

— Да. Все, что я читал у него, — крайне примитивно.

— Та-ак, — неопределенно протянул Бердников и усмехнулся. — А вот Савва Морозов — слышали о таком? — считает Ленина весьма... серьезной фигурой, даже будто бы материально способствует его разрушительной работе.

— Тоже — Пилат? — иронически спросил Самгин.

— Н-не знаю. Как будто умен слишком для Пилата. А в примитивизме, думаете, нет опасности? Христианство на заре его дней было тоже примитивно, а с лишком на тысячу лет ослепило людей. Я вот тоже примитивно рассуждаю, а человек я опасный, — скучно сказал он, снова наливая коньяк в рюмки.

Помолчали. Розовато-пыльное небо за окном поблекло, серенькие облака явились в небе. Прерывисто и тонко пищал самовар.

«Не хочет он говорить о Марине, — подумал Самгин, — напился. Кажется, и я хмелею. Надо идти...»

Но Бердников заговорил — неохотно и с усмешкой на лице, оно у него снова расплылось.

— Значит, Зотова интересует вас? Понимаю. Это — кусок. Но, откровенно скажу, не желая как-нибудь задеть вас, я могу о ней говорить только после того, как буду знать: она для вас только выгодная клиентка или еще что-нибудь?

— Только клиентка, и не могу сказать — выгодная, — ответил Самгин очень решительно.

— Ага, — оживленно воскликнул Бердников. — Да, да, она скупа, она жадная! В делах она — палач. Умная. Грубейший мужицкий ум, наряженный в книжные одежды. Мне она — враг, — сказал он в три удара, трижды шлепнув ладонью по своему колену. — Росту промышленности русской — тоже враг. Варягов зовут — понимаете? Продает англичанам огромное дело. Ростовщица. У нее в Москве подручный есть, какой-то хлыст или скопец, дисконтом векселей занимается на ее деньги, хитрейший грабитель! Раб ее, сукин сын...

Он нехорошо возбуждался. У него тряслись плечи, он совал голову вперед, желтоватое рыхлое лицо его снова окаменело, глаза ослепленно мигали, губы, вспухнув, шевелились, красные, неприятно влажные. Тонкий голос взвизгивал, прерывался, в словах кипело бешенство. Самгин, чувствуя себя отвратительно, даже опустил голову, чтоб не видеть пред собою противную дрожь этого жидкого тела.

— Уголовный тип, — слышал он. — Кончит тюрьмой, увидите! И еще вас втискает в какую-нибудь уголовщину. Наводчица, ворами дорогу показывает.

Он неестественно быстро вскочил со стула, пошатнув стол, так что все на нем задрезжалось, и, пока Самгин удерживал лампу, живот Бердникова уперся в его плечи, над головой его завизжали торопливые слова:

— Слушайте... Я возобновляю мое предложение. Достаньте мне проект договора. Я иду до пяти тысяч, понимаете?

Самгин попробовал встать, но рука Бердникова тяжело надавила на его плечо, другую руку он поднял, как бы

принимая присягу или собираясь ударить Самгина по голове.

— Стойте! — спокойнее и трезвее сказал Бердников, его лицо покрылось, как слезами, мелким потом и таяло. — Вы не можете сочувствовать распродаже родины, если вы честный, русский человек. Мы сами поднимем ее на ноги, мы, сильные, талантливые, бесстрашные...

— Я уже сказал: я ничего не знаю об этом договоре. Зотова не посвящает меня в свои дела, — успел выговорить Самгин, безуспешно пытаясь выскользнуть из-под тяжелой руки.

— Не верю, — крикнул Бердников. — Зачем же вы при ней, ну? Не знаете, скрывает она от вас эту сделку? Узнайте! Вы — не маленький. Я вам карьеру сделаю. Не дурачьтесь. К чорту Пилатову чистоплотность! Вы же видите: жизнь идет от плохого к худшему. Что вы можете сделать против этого, вы?

Последние слова Бердников сказал явно пренебрежительно и этим дал Самгину силу оттолкнуть его, встать, схватить с подзеркальника шляпу.

— Я не желаю слушать, — крикнул он, заикаясь от возмущения. — Вы с ума сошли...

Бердников толкнул его животом, прижал к стене и завизжал в лицо ему:

— А ты — умен! На кой чорт нужен твой ум? Какую твоим умом дыру заткнуть можно? Ну! Учитесь в университетах, — в чьих? Уйди! Иди к чорту! Вон...

И Бердников похабно выругался. Самгин не помнил, как он выбежал на улицу. Вздрагивая, задыхаясь, он шагал, держа шляпу в руке, и мысленно истерически вопил, выл:

«Я должен был ударить его по роже. Нужно было ударить».

Он не скоро заметил, что люди слишком быстро уступают ему дорогу, а некоторые, приостанавливаясь, смотрят на него так, точно хотят догадаться: что же он будет делать теперь? Надел шляпу и пошел тише, свернув в узенькую, слабо освещенную улицу.

«Подлое животное! Он вовсе не так пьян, свинья! Таких нужно уничтожать, безжалостно уничтожать».

Улицу наполняло неприятно пахучее тепло, почти у каждого подъезда сидели и стояли группы людей, непрерывный говор сопровождал Самгина. Люди смеялись, покрикивали, может быть, это не относилось к нему, но увеличивало тошнотворное ощущение отравы обидой. Захотелось выйти на открытое место, на площадь, в поле, в пустоту и одиночество. Переходя из улицы в улицу, он не скоро наткнулся на старенький экипаж: тощей, уродливо длинной лошадью правил веселый, словоохотливый старичок, экипаж катился медленно, дребезжал и до физической боли, до головокружения ощутимо перетряхивал в памяти круглую фигуру взбешенного толстяка и его визгливые фразы.

Дома он спросил содовой воды, разделся, сбрасывая платье, как испачканное грязью, закурил, лег на диван. Ощущение отравы становилось удушливее, в сером облаке дыма плавало, как пузырь, яростно надутое лицо Бердникова, мысль работала беспорядочно, смятенно, подсказывая и отвергая противоречивые решения.

«Да, уничтожать, уничтожать таких... Какой отвратительный, цинический ум. Нужно уехать отсюда. Завтра же. Я ошибочно выбрал профессию. Что, кого я могу искренно защищать? Я сам беззащитен пред такими, как этот негодяй. И — Марина. Откажусь от работы у нее, перееду в Москву или Петербург. Там возможно жить более незаметно, чем в провинции...»

Ему показалось, что он принял твердое решение, и это несколько успокоило его. Встал, выпил еще стакан холодной, шипучей воды. Закурил другую папиросу, остановился у окна. Внизу, по маленькой площади, огранченной стенами домов, освещенной неяркими пятнами желтых огней, скользили, точно в жидком жире, мелкие темные люди.

«Разве я хочу жить незаметно? Независимо хочу я жить. Этот... бандит нашел независимость мысли в цинизме».

Механически припомнилось, что циника Диогена греки называли собакой.

«Греки — правы: жить в бочке, ограничивать свои потребности — это ниже человеческого достоинства. В цинизме есть общее с христианской аскезой...»

Самгин сердито отмахнулся от насилия книжных воспоминаний. Бердников тоже много читал. Но кажется, что прочитанное крепко спаялось в нем с прожитым, с непосредственным опытом.

«Нельзя отрицать, что это животное умеет думать и говорить очень своеобразно. Для него мир — не только «система фраз», каким он был для Лютова. Мыслью, как оружием самозащиты, он владеет лучше меня. Он пошел? Едва ли. Он — страстный человек, а страсти не бывают пошлыми, они — трагичны... Можно подумать, что я оправдываю его. Но я хочу быть только объективным. Я столкнулся с человеком класса, который живет конкуренцией. Он правильно назвал себя военным: жизнь его проходит в нападении на людей, в защите против нападений на него. Он искал в моем лице союзника...»

«Может быть, я хочу внушить себе, что поражение в единоборстве с великаном — не постыдно? Но разве я поражен? Я понимаю причину его гнусной выходки, а не оправдываю ее, не прощаю...»

Кружилась голова. Самгин разделся, лег в постель и, лежа, попытался подвести окончательный итог всему, что испытано и надумано в этот чрезвычайно емкий день. Очень хотелось, чтоб итог был утешителен.

«Становлюсь умнее...»

Память, хотя уже утомленно, все еще перебирала игривые фразы:

«Человек-то дрянцо, фальшивец, тем и живет, что сам себе словесно приятные фокусы показывает, несчастное чад...»

И звучал сырой булькающий смех.

Проснулся поздно, ощущая во рту кислый вкус ржавчины, голова налита тяжелой мутой, воздух в комнате был тоже мутносерый, точно пред рассветом. Нехотя встал, раздернул драпри на окне, — ветер бесшумно брызгал в стекла водяной пылью, сизые облака валились на крыши. Так же, как вчера, как всегда, на площади шумели, суетились люди. Очень трудно внести свою, заметную ноту в этот всепоглощающий шум. Одинаковые экипажи катятся по всем направлениям, и легко

представить, что это один и тот же экипаж суется во все стороны в поисках выхода с тесной, маленькой площади, засоренной мелкими фигурками людей.

Город шумел глухо, раздраженно, из улицы на площадь вышли голубовато-серые музыканты, увешанные тусклой медью труб, выехали два всадника, один — толстый, другой — маленький, точно подросток, он подчеркнуто гордо сидел на длинном, бронзовом, тонконогом коне. Механически шагая, выплыли мелкие плотно сплюснутые солдатики свинцового цвета.

«Идущие на смерть приветствуют тебя», — вспомнил Самгин латинскую фразу и с досадой отошел от окна, соображая:

«Рассказать Марине об этом... о вчерашнем?»

Вопрос остался без ответа. Позвонил, спросил кофе, русские газеты, начал мыться, а в памяти навязчиво звучало:

«Morituri te salutant!»

Растирая спину мокрым жгутом полотенца, Самгин подумал:

«Возможно, что кто-нибудь из цезарей — Тиберий, Клавдий, Вителлий — был похож на Бердникова», — подумал Самгин и удивился, что думает безобидно, равнодушно.

За кофе читал газеты. Корректно ворчали «Русские ведомости», осторожно ликовало «Новое время», в «Русском слове» отрывисто, как лает старый пес, знаменитый фельетонист скучно упражнялся в острословии, а на второй полосе подсчитано было количество повешенных по приговорам военно-полевых судов. Вешали ежедневно и усердно.

«Morituri...»

Чтение газет скоро надоело и потребовало итога. Засоренная и отягченная память угодливо, как всегда, подсказывала афоризмы, стихи. Наиболее уместными показались Самгину полторы строки Жемчужникова:

...в наши времена

Тот честный человек, кто роднику не любит ..

Затем вспомнилась укоризна Якубовича-Мельшина:

За что любить тебя? Какая ты нам мать?

Время двигалось уже за полдень. Самгин взял книжку Мережковского «Грядущий хам», прилег на диван, но скоро убедился, что автор, предвосхитив некоторые его мысли, придал им дряблую, уродующую форму. Это было досадно. Бросив книгу на стол, он восстановил в памяти яркую картину парада женщин в Булонском лесу.

«Мирок-то какой картинный», — прозвучала в памяти фраза Бердникова.

Вошла горничная и спросила: не помешает она мсье, если начнет убирать комнату? Нет, не помешает.

— Мерси, — сказала горничная. Она была в смешном чепчике, тоненькая, стройная, из-под чепчика выбивались рыжеватые кудряшки, на остроносом лице весело и ласково улыбались синеватые глаза. Прибирая постель, она возбудила в Самгине некое игривое намерение.

— Вы похожи на англичанку, — сказал он.

— О, нет! Я из Эльзаса, мсье.

Она посмотрела на Самгина так уверенно, как будто уже догадалась, о чем он думает. Это смутило его, и он предупредил себя:

«Конечно, она на все готова и за маленькие деньги, но — можно схватить насморк».

Он встал и вышел в коридор, думая:

«А у Бердникова там, вероятно, маленький гарем».

Держа руки в карманах, бесшумно шагая по мягкому ковру, он представил себе извилистый ход своей мысли в это утро и остался доволен ее игрой. Легко вспоминались стихи Федора Сологуба:

Я — бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.

...Самгин сел к столу и начал писать, заказав слуге бутылку вина. Он не слышал, как Попов стучал в дверь, и поднял голову, когда дверь открылась. Размашисто бросив шляпу на стул, отирая платком отсыревшее лицо, Попов шел к столу, выкатив глаза, сверкая зубами.

— Поругались с Бердниковым? — тоном старого знакомого спросил он, усаживаясь в кресла, и, не ожидая ответа, заговорил, как бы извиняясь: — Вышло так, как будто я вас подвел. Но у меня дурацкое положение

было: не познакомить вас с бандитом этим я — не мог, да притом, оказывается, он уже был у вас, чортов кум...

Несколько ошеломленный внезапным явлением и бесцеремонностью гостя, но и заинтересованный, Самгин сообразил:

«Прислан извиниться. Не извиню», — решил он. И спросил: — Он сказал вам, что был у меня?

— Ну, да! А — что: врет?

— Нет.

— Не врет? Гмм...

Помывав и чем-то обрадованный, Попов вытащил из кармана жилета сигару, выкатил глаза, говоря:

— Вы заметили, как я вчера держался? Вот видите. Могу откровенно говорить?

— Иначе — не стоит, — сухо сказал Самгин.

Тугое лицо Попова изменилось, из-под жесткой щетки темных волос на гладкий лоб сползли две глубокие морщины, сдвинули брови на глаза, прикрыв их, инженер откусил кончик сигары, выплюнул его на пол и, понизив сиповатый голос, спросил:

— Простите слово — он вас пытался подкупить?

— Предположим. Ну-с?

Гость махнул на него рукой, с зажженной спичкой в ней, и торопливо, горячо засипел:

— Мы — в равных условиях, меня тоже хотят купить, — понимаете? Чорт их побери, всех этих Бердниковых в штанах и в юбках, но ведь — хочешь не хочешь — а нам приходится продавать свои знания.

— Но не честь, — напомнил Самгин. Попов поднял брови, удивленно мигнул.

— Ну... разумеется!

И, закулив сигару, дымно посапывая, он задумчиво выговорил:

— Знания нужно отделять от чести... если это возможно.

«Я глупо сказал», — с досадой сообразил Самгин и решил вести себя с этим человеком осторожнее.

— Вы — из твердокаменных? — спросил Попов.

Слуга принес вино и помог Самгину не ответить на вопрос, да Попов и не ждал ответа, продолжая:

— Впрочем, этот термин, кажется, вышел из употребления. Я считаю, что прав Плеханов: социал-демократы могут удобно ехать в одном вагоне с либералами. Европейский капитализм достаточно здоров и лет сотню проживет благополучно. Нашему, русскому недорослю надобно учиться жить и работать у варягов. Велика и обильна земля наша, но — засорена нищим мужиком, бессильным потребителем, и если мы не перестроимся — нам грозит участь Китая. А ваш Ленин для ускорения этой участи желает организовать пугачевщину.

Самгин, прихлебывая вино, ожидал, когда инженер начнет извиняться за поведение Бердникова. Конечно, он пришел по поручению толстяка с этой целью. Попов начал говорить так же возбужденно, как при первой встрече. Держа в одной руке сигару, в другой стакан вина, он говорил, глядя на Самгина укоризненно:

— Вас, юристов, эти вопросы не так задевают, как нас, инженеров. Грубо говоря — вы охраняете права тех, кто грабит и кого грабят, не изменяя установленных отношений. Наше дело — строить, обогащать страну рудой, топливом, технически вооружать ее. В деле призвания варягов мы лучше купца знаем, какой варяг полезней стране, а купец ищет дешевого варяга. А если б дали денег нам, мы могли бы обойтись и без варягов.

Сразу выпив полный стакан вина и все более возбуждаясь, он продолжал:

— Нам нужен промышленник европейского типа, организатор, который мог бы занять место министра, как здесь, во Франции, как у немцев. И «не беда, что потерпит мужик» или полумужик-рабочий. Исторически необходимо, чтоб терпели, — не опаздывай! А наш промышленник — безграмотное животное, хищник, крохобор. Недавно выскочил из клетки крепостного права и все еще раб...

— Вы давно знаете Зотову? — неожиданно вырвалось у Самгина.

Попов сомкнул губы, надул щеки и, вытерев платком потное лицо, пробормотал:

— Жениться на ней собираетесь?

Самгину показалось, что в глазах гостя мелькнул смех...

...— Ее Бердников знает. Он — циник, враль, презирает людей, как медные деньги, но всех и каждого насквозь видит. Он — невысокого... Впрочем, пожалуй, именно высокого мнения о вашей патронессе. <Зовет ее — темная дама.> У него с ней, видимо, какие-то большие счета, она, должно быть, с него кусок кожи срезала... На мой взгляд она — выдуманная особа...

...В комнате стало светлее. Самгин взглянул на пелену дыма, встал, открыл окно.

За спиною барабанил пальцами по столу инженер, Самгин подумал:

«Когда же он начнет извиняться за тестя?»

И, желая услышать еще что-нибудь о Марине, спросил:

— Вы Кутузова — знаете?

— Знал. Знаю. Студентом был в его кружке, потом он свел меня с рабочими. Отлично преподавал Маркса, а сам — фантаст. Впрочем, это не мешает ему быть с людьми примитивным, как топор. Вообще же парень для драки. — Пробормотав эту характеристику торопливо и как бы устало, Попов высунулся из кресла, точно его что-то ударило по затылку, и спросил:

— Слушайте — сколько предлагал вам Бердников за ознакомление с договором?

Самгин подумал о чем-то не ясном ему и ответил, усмехаясь:

<— Кажется — пять тысяч, свинья.

Попов, глядя в пол, щелкнул пальцами.

— Н-да... чортов кум! Наверняка — дал бы и больше.

И, откинувшись на спинку кресла, выпустив морщины, выкатив круглые, птичьи глаза, он хвалебно произнес:

— Крепко его ущемила Зотова! Он может ве-есьма широко размахнуться деньгами. Он — спортсмен!

Взгляд Попова и тон его были достаточно красноречивы. Самгин почувствовал что-то близкое испугу.

— Я не желаю говорить на эту тему, — сказал он и понял, что сказано не так строго, как следовало бы.

Инженер неуклюже вылез из кресла, оглянулся, взял шляпу и, стоя боком к Самгину, шумно вздохнув, спросил:

— Не желаете? Решительно?

— Убирайтесь к чорту! — закричал Самгин, сорвав очки с носа, и даже топнул ногой, а Попов, обернувшись к нему широкую спину свою, шагая к двери, пробормотал невнятное, но, должно быть, обидное.

У Самгина дрожали ноги в коленях, он присел на диван, рассматривая пружину очков, мигая.

— Мерзавцы. Жулики. >

Никогда еще он не ощущал так горестно своей беззащитности, бессилия своего. Был момент нервной судороги в горле, и взрослый, почти сорокалетний человек едва подавил малодушное желание заплакать от обиды. Выкуривая папиросу за папиросой, он лежал долго, мысленно плутая в пестроте пережитого, и уже вспыхнули вечерние огни, когда пред ним с небывалой остротой встал вопрос: как вырваться из непрерывного потока пошлости, цинизма и из непрерывно кипящей хитрой болтовни, которая не щадит никаких идей и «высоких слов», превращая все их в едкую пыль, отравляющую мозг?

Думать в этом направлении пришлось недолго. Очень легко явилась простая мысль, что в мире купли-продажи только деньги, большие деньги, могут обеспечить свободу, только они позволят отойти в сторону из стада людей, каждый из которых бешено стремится к независимости за счет других.

«Если существуют деньги для нападения — должны быть деньги для самозащиты. Рабочие Германии, в лице их партии, — крупные собственники».

Он представил себя богатым, живущим где-то в маленькой уютной стране, может быть, в одной из республик Южной Америки или — как доктор Руссель — на островах Гаити. Он знает столько слов чужого языка, сколько необходимо знать их для неизбежного общения с туземцами. Нет надобности говорить обо всем и так много, как это принято в России. У него обширная библиотека, он выписывает наиболее интересные русские книги и пишет свою книгу.

«Я не Питер Шлемиль и не буду страдать, потеряв свою тень. И я не потерял ее, а самовольно отказался от мучительной неизбежности влачить за собою тень, которая становится все тяжелее. Я уже прожил половину срока жизни, имею право на отдых. Какой смысл в этом

непрерывном накоплении опыта? Я достаточно богат. Каков смысл жизни?.. Смешно в моем возрасте ставить «детские вопросы».

Но пришлось поставить практический вопрос:

«Значит ли все это, что я могу уступить Бердникову?»

Он решительно ответил:

«Нет, не могу».

Так решительно, как будто он знал о договоре и мог снять копию с него.

В этом настроении он прожил несколько ненастных дней, посещая музеи, веселые кабачки Монпарнаса, и, в один из вечеров, сидя в маленьком ресторане, услышал за своей спиной русскую речь:

— Рассказывают, что жена Льва Толстого тоже занимала ингушей охранять Ясную Поляну.

«Макаров», — определил Самгин.

— Значит — помещики на казаков уже не надеются, приглашают, так сказать, — колониальные войска? Интересно. А может быть, кавказцы дешевле берут? — Это было сказано голосом Кутузова. Не желая, чтоб его узнали, Самгин еще ниже наклонил голову над тарелкой, но земляки уже расплатились и шли к двери. Самгин искоса посмотрел вслед им, увидел стройную фигуру и курчавую голову Макарова, круто стесанный затылок Кутузова, его плечи грузчика, неприятенно вспомнил чью-то кислую шутку: «Фигура хотя эпизодическая, но — неприятная».

Дома его ждала телеграмма из Антверпена. «Париж не вернусь еду Петербург Зотова». Он изорвал бумагу на мелкие куски, положил их в пепельницу, поджег и, размешивая карандашом, дождался, когда бумага превратилась в пепел. После этого ему стало так скучно, как будто вдруг исчезла цель, ради которой он жил в этом огромном городе. В сущности — город неприятный, избалован богатыми иностранцами, живет напоказ и обязывает к этому всех своих людей.

«Парад кокоток в Булонском лесу тоже пошлость, как «Фоли-Бержер». Коше смотрит на меня как на человека, которому он мог бы оказать честь протрясти его в дрянненьком экипаже. Гарсоны служат мне снисходи-

тельно, как дикарю. Вероятно, так же снисходительны и девицы».

Все-таки он решил пожить еще, сколько позволят деньги, побывать в «Мулен Руж», «Ша Нуар», съездить в Версаль. Купил у букиниста набережной Сены старую солидную книгу «Париж» Максима дю-Кан, приятеля Флобера, по утрам читал ее и затем отправлялся осматривать «старый Париж». Была минута, когда он охаял этот город, но ему очень нравилось ходить по историческим улицам города, и он чувствовал, что Париж чему-то учит его. Стекла витрин, более прозрачные, чем воздух, хвастались обилием жирного золота, драгоценных камней, мехов, неисчерпаемым количеством осенних материй, соблазнительной невесомостью женского белья, парижане покрикивали, посмеивались, из дверей ресторанов вылетали клочья музыки, и все вместе, создавая вихри звуков, подсказывало ритмы, мелодии, напоминало стихи, афоризмы, анекдоты. Беспокоили «девушки для радости». На улицах Москвы, Петербурга они просят, а здесь как будто уверены в своем праве на внимание и требуют быстрых решений.

— Идем, старик, — говорят они, смело заглянув в лицо, и, не ожидая ответа, проходят мимо.

«Боятся полиции, — думал Самгин. — Но все-таки слишком воинственны. Амазонисты. Да, здесь власть женщины выражена определеннее, наглядней. Это утверждается и литературой».

Вспомнив давно прочитанную статью философа Н. Федорова о Парижской выставке 89 года, он добавил:

«И промышленностью».

Он ощущал позыв к женщине все более определенно, и это вовлекло его в приключение, которое он назвал смешным. Поздно вечером он забрел в какие-то узкие, кривые улицы, тесно застроенные высокими домами. Линия окон была изломана, казалось, что этот дом уходит в землю от тесноты, а соседний выжимается вверх. В сумраке, наполненном тяжелыми запахами, на панелях, у дверей сидели и стояли очень демократические люди, гудел негромкий говорок, сдержанный смех, воющее позевывание. Чувствовалось настроение усталости.

Самгин <почувствовал>, что его фигура вызывает настороженное молчание или же неприязненные восклицания. Толстый человек с большой головой и лицом в седой щетине оттянул подтяжку брюк и отпустил ее, она так звучно щелкнула, что Самгин вздрогнул, а человек успокоительно сказал:

— Нет, нет, мосье, это не револьвер!

«Вероятно, шут своего квартала», — решил Самгин и, ускорив шаг, вышел на берег Сены. Над нею шум города стал гуще, а река текла так медленно, как будто ей тяжело было уносить этот шум в темную щель, прорванную ею в нагромождении каменных домов. На черной воде дрожали, как бы стремясь растаять, отражения тусклых огней в окнах. Черная баржа прилепилась к берегу, на борту ее стоял человек, щупая воду длинным шестом, с реки кто-то невидимый глухо говорил ему:

— Правее, Андре. Правее. Еще правей. Баста. Безнадежно.

Бросив шест в баржу, человек звучно и озлобленно сказал:

— Чорт возьми! Этот бык влепит нам штраф!

Из двери дома быстро, почти наскочив на Самгина, вышла женщина в белом платье, без шляпы, смирила его взглядом и пошла впереди, не торопясь. Среднего роста, очень стройная, легкая.

«Вот», — вдруг решил Самгин, следуя за ней. Она дошла до маленького ресторана, пред ним горел газовый фонарь, по обе стороны двери — столики, за одним играли в карты маленький, чем-то смешной солдатик и лысый человек с носом хищной птицы, на третьем стуле сидела толстая женщина, сверкали очки на ее широком лице, сверкали вязальные спицы в руках и серебряные волосы на голове.

— Ты сегодня поздно, Лиз! — сказала она. Женщина в белом села к свободному столу, звучно ответив:

— Хозяева считают время по своим часам.

— А часы у них всегда отстают, — приятным голосом добавил солдат.

Самгин, спросив стакан вина, сел напротив Лиз, а толстая женщина пошла в ресторан, упрекнув кого-то из игроков:

— Ты ужасно рискуешь! Я считала: ты проиграл уже почти франк.

Лиз — миловидна. Ее лицо очень украшают изящно выгнутое, темные брови, смелые, весело открытые карие глаза, небольшой, задорно вздернутый нос и твердо очерченный рот. Красивый, в меру высокий бюст.

«Похожа на украинку», — определил Самгин, придумывая первую фразу обращения к ней, но Лиз начала беседу сама:

— Мосье — иностранец? О-о, русский? Что же ваша революция? Крестьяне не пошли с рабочими?

— Сколько вопросов, — сказал Самгин, улыбаясь, а она прибавила еще два:

— Революционер? Эмигрант?

— Почему вы так думаете?

— О, буржуа-иностранцы не посещают наш квартал, — пренебрежительно ответила она. Солдат и лысый, перестав играть в карты, замолчали. Не глядя на них, Самгин чувствовал — они ждут, что он скажет. И, как это нередко бывало с ним, он сказал:

— Да, я участвовал в Московском восстании.

Он даже едва удержался, чтоб не назвать себя эмигрантом. Знакомство развивалось легко, просто и, укрепляя кое-какие намерения, побуждало торопиться. Толстая женщина поставила пред ним графин вина, пред Лиз — тарелку с цветной капустой, положила маленький хлебец.

— Садитесь за мой стол, — предложила Лиз, а когда он сделал это, спросила:

— Итак? Что же у вас делают теперь?

Самгин начал рассказывать о том, что прочитал утром в газетах Москвы и Петербурга, но Лиз требовательно заявила:

— Это — меньше того, что пишут в наших буржуазных газетах, не говоря о «Юманите». Незнакомые люди, это стесняет вас?

Указывая на лысого, она быстро и четко сказала:

— Это — мой дядя. Может быть, вы слышали его имя? Это о нем на-днях писал камрад Жорес. Мой брат, — указала она на солдата. — Он — не солдат, это только костюм для эстрады. Он — шансонье, пишет и

поет песни, я помогаю ему делать музыку и аккомпанирую.

Мужчины пожали руку Самгина очень крепко, но Лиз еще более сильно стиснула его пальцы и, не выпуская их, говорила:

— Через десять минут мы должны начать нашу работу. Это — близко отсюда — две минуты. Это займет полчаса...

— Час, — сказал солдат.

— Молчи! Мы — кончим, вернемся сюда, и вы скажете нам...

Вмешался лысый. Хрипло, сорванным голосом он заговорил:

— Возвращаться — нет смысла. Проще будет, если я там выйду на эстраду и предложу выслушать сообщение камрада о текущих событиях в России.

«Я попал в анекдот, в водевиль», — сообразил Самгин. И, с огорчением глядя в ласковые глаза, на высокий бюст Лиз, заявил, что он, к сожалению, через час уезжает в Швейцарию. Лиз выпустила его руку, говоря с явной досадой:

— Это я могу понять, там много ваших. Странно все-таки: в Париже немало русских эмигрантов, но они... недостаточно общительны. Вас как будто не интересует французский рабочий...

Самгин тотчас предложил выпить за французского рабочего, выпили, он раскланялся и ушел так быстро, точно боялся, что его остановят. Он не любил смеяться над собой, он редко позволял себе это, но теперь, шагая по темной, тихой улице, усмехался.

«Случай, о котором не расскажешь друзьям. Хорошо, что у меня нет друзей».

Он размышлял еще о многом, стараясь подавить неприятное, кисловатое ощущение неудачи, неумелости, и чувствовал себя охмелевшим не столько от вина, как от женщины. Идя коридором своего отеля, он заглянул в комнату дежурной горничной, комната была пуста, значит — девушка не спит еще. Он позвонил, и когда горничная вошла, он, положив руки на плечи ее, спросил, улыбаясь:

— Вы можете подарить мне удовольствие, да?

Прищуриив острые глаза свои, девушка не сразу поняла вопрос, а поняв, прижалась к нему, и ее ответ он перевел так:

«О, мсье, это всегда приятно, для того, кто умеет!»

Быстрые поцелуи ее тоже были остры, они как-то необыкновенно щекотали губы Самгина, и это очень возбуждало его. Между поцелуями она шопотом спрашивала:

— Немножко позднее, мсье, когда кончу дежурство, да? Двадцать пять франков, мсье?

Выскользнув из его рук — исчезла.

«Деловито, просто, никакой лжи», — мысленно одобрил ее Самгин. Он ждал ее недолго, но весьма нетерпеливо. Явилась и, раздеваясь, сказала вполголоса:

— Мне очень лестно, что в Париже, где так много красивых женщин, на все вкусы, мсье не нашел партерши, достойной его более, чем я. Я буду очень рада, если докажу, что это — комплимент вкусу мсье!

Гибкая, сильная, она доказывала это с неутомимостью и усердием фокусника, который еще увлечен своим искусством и ценит его само по себе, а не только как средство к жизни.

Самгин прожил в Париже еще дней десять, настроенный, как человек, который не может решить, что ему делать. Вот он поедет в Россию, в тихий мещанско-купеческий город, где люди, которых встряхнула революция, укладывают в должный, знакомый ему, скучный порядок свои привычки, мысли, отношения — и где Марина Зотова будет развертывать пред ним свою сомнительную, темноватую мудрость.

«Я, должно быть, единственный, на ком она развешивает эту мудрость, чтоб любоваться ею. Соблазнительна, как жизнь, и так же непонятна».

Думал о том, что, если б у него были средства, хорошо бы остаться здесь, в стране, где жизнь крепко налажена, в городе, который считается лучшим в мире и безгранично богатом соблазнами...

«Для дикарей и полудикарей, на деньги которых он живет и украшается», — напомнил он себе недавнее свое отношение к Парижу.

«Нет, люди здесь проще, ближе к простому, реальному смыслу жизни. Здесь нет Лютовых, Кутузовых, нет философствующих разбойников вроде Бердникова, Попова. Здесь и социалисты — люди здравомыслящие, их задача сводится к реальному делу: препятствовать ухудшению условий труда рабочих». Мысли этого порядка развивались с приятной легкостью, как бы самосильно. Память услужливо подсказывала десятки афоризмов: «Истинная свобода — это свобода отбора впечатлений». «В мире, где все непрерывно изменяется, стремление к выводам — глупо». «Многие стремятся к познанию истины, но — кто достиг ее, не искажая действительности?»

В мозге Самгина образовалась некая неподвижная точка, маленькое зеркало, которое всегда, когда он желал этого, показывало ему все, о чем он думает, как думает и в чем его мысли противоречат одна другой. Иногда это свойство разума очень утомляло его, мешало жить, но все чаще он любовался работой этого цензора и привыкал считать эту работу оригинальнейшим свойством психики своей.

Доживая последние дни в Париже, он с утра ходил и ездил по городу, по окрестностям, к ночи возвращался в отель, отдыхал, а после десяти часов являлась Бланш и между делом, во время пауз, спрашивала его: кто он, женат или холост, что такое Россия, спросила — почему там революция, чего хотят революционеры. О себе он наговорил чепухи, а на вопрос о революции строго ответил, что об этом не говорят с женщиной в постели, и ему показалось, что ответ этот еще выше поднял его в глазах Бланш. Деловито наивное бесстыдство этой девушки и то, что она аккуратно, как незнакомый врач за визит, берет с него деньги, вызывало у Самгина презрение к ней. Но однажды, когда она, устав, заснула, сунув под мышку ему голову, опутанную прядями растрепанных волос, Самгин почувствовал к ней что-то близкое жалости. Он тоже хотел спать, а рядом с нею было тесно. Он приподнялся, опираясь на локоть, и посмотрел в ее лицо с полуоткрытым ртом, с черными тенями в глазницах, дышала она тяжело, неровно, и было что-то очень грустное в этом маленьком лице, днем — приятно окра-

шенном легким румянцем, а теперь неузнаваемо обесцвеченном. Закурив папиросу, он подумал:

«Что же, она, в сущности, неплохая девушка. Возможно — накопит денег, найдет мужа, откроет маленький ресторан, как та, в очках».

Затем вспомнил, что элегантный герой Мопассана в «Нашем сердце» сделал своей любовницей горничную. Он разбудил Бланш, и это заставило ее извиниться перед ним. Уезжая, он подарил ей браслет в полтораста франков и дал еще пятьдесят. Это очень тронуло ее, вспыхнули щеки, радостно заблестели глаза, и тихонько, смеясь, она счастливо пробормотала:

— О, вы — великодушны! Я всю жизнь буду помнить о русском, который так...

И, не найдя слова, она повторила:

— Великодушен.

Самгин милостиво похлопал ее по плечу.

На четвертые сутки, утром, он ехал с вокзала к себе домой. Над городом, среди мелко разорванных облаков, сияло бледноглубое небо, по мерзлой земле скользили холодные лучи солнца, гулял ветер, срывая последние листья с деревьев, — все давно знакомо. И хорошо знакомы похожие друг на друга, как спички, русские люди, тепло, по-осеннему, одетые, поспешно шагающие в казенную палату, окружный суд, земскую управу и прочие учреждения, серые гимназисты, зеленоватые реалисты, шоколадные гимназистки, озорниковатые ученики городских школ. Все знакомо, но все стало более мелким, ничтожным, здания города как будто раздвинуты ветром, отдалились друг от друга, и прозрачность осеннего воздуха безжалостно обнажает дряхлость деревянных домов и тяжелое уродство каменных.

«При первой же возможности перееду в Москву или в Петербург, — печально подумал Самгин. — Марина? Сегодня или завтра увижу ее, услышу снисходительные сентенции. Довольно! Где теперь Безбедов?»

Все четыре окна квартиры его были закрыты ставнями, и это очень усилило неприятное его настроение. Дверь открыла сухая, темная старушка Фелицата, она показала еще более сутулой, осевшей к земле, всегда молчаливая, она и теперь поклонилась ему безмолвно,

но тусклые глаза ее смотрели на него, как на незнакомого, тряпичные губы шевелились, и она разводила руками так, как будто вот сейчас спросит:

«Вам — кого?»

А когда Самгин осведомился о Безбедове, она беззвучно сказала:

— В тюрьму посадили.

— Вот как? За что?

— Марину Петровну убил.

Самгин успел освободить из пальто лишь одну руку, другая бессильно опустилась, точно вывихнутая, и пальто соскользнуло с нее на пол. В полутемной прихожей стало еще темнее, удушливей, Самгин прислонился к стене спиной, пробормотал:

— Позвольте... Что такое? Когда?

— На другой день, как приехала. Из пистолета застрелил.

Старушка прошла в комнаты, загремела там железными болтами ставен, в комнату ворвались, одна за другой, две узкие полосы света.

— Самовар подавать? — спросила Фелицата.

Кивнув головой, Самгин осторожно прошел в комнату, отвратительно пустую, вся мебель сдвинута в один угол. Он сел на пыльный диван, погладил ладонями лицо, руки дрожали, а пред глазами как бы стояло в воздухе обнаженное тело женщины, гордой своей красотой. Трудно было представить, что она умерла.

«Убита. Кретином...»

Образ Марины вытеснил неуклюжий, сырой человек с белым лицом в желтом цыплячем пухе на щеках и подбородке, голубые, стеклянные глазки, толстые губы, глупый, жадный рот. Но быстро шла отрезвляющая работа ума, направленного на привычное ему дело защиты человека от опасностей и ненужных волнений.

«Придется участвовать в качестве свидетеля в предварительном следствии да и на суде».

Вспыхнуло возмущение, и в сотый раз явился знакомый вопрос:

«Почему, почему я должен участвовать в событиях отвратительных?»

В двери встала Фелицата, сложив руки на груди так, как будто она уже умерла и положена в гроб.

— Велено сказать в полицию, когда вы приедете, надо сказать-то?

— Разумеется.

— Самовар Саша подаст.

В соседней комнате шлепали тяжелые шаги, прозвучал медный звон подноса, дребезжала посуда. Самгин перешел туда, — там, счастливо улыбаясь, поклонилась ему пышная, румянощекая девица с голубыми глазами и толстой, светловолосой косой ниже пояса. Самгин сказал ей, что он посмотрит за самоваром, а она пойдет и купит ему местные газеты за пятнадцать дней. Потом он вспомнил, что не успел вымыться в вагоне, пошел в уборную, долго мылся, забыл о самоваре и внес его в столовую бешено кипящим, полосатым от засохших потоков воды. Почти час он просидел у стола, нетерпеливо ожидая газет, а самовар все кипел, раздражал гудением и свистом, наполнял комнату паром.

«Куда, к чорту, они засунули тушилку?» — негодовал Самгин и, боясь, что вся вода выкипит, самовар распаяется, хотел снять с него крышку, взглянуть — много ли воды? Но одна из шишек на крышке отсутствовала, другая качалась, он ожег пальцы, пришлось подумать о том, как варварски небрежно относится прислуга к вещам хозяев. Наконец он догадался налить в трубу воды, чтоб погасить угли. Эта возня мешала думать, вкусный запах горячего хлеба и липового меда возбуждал аппетит, и думалось только об одном:

«Да, нужно уехать».

К его удивлению, в газетах было напечатано только две заметки; одна рассказывала:

«Вчера весь город потрясен был убийством известной и почтенной М. П. Зотовой. Преступление открыто при таких обстоятельствах: обычно по воскресеньям М. П. Зотова закрывала свой магазин церковной утвари в два часа дня, но вчера торговцы Большой Торговой улицы были крайне удивлены тем, что в обычное время магазин не закрыт, хотя ни покупателей, ни хозяйки не замечалось в нем. Первым, кто решился узнать, в чем дело, был владелец меняльной лавки К. Ф. Храпов. Войдя

в магазин и окликнув хозяйку, он не получил ответа, а проследовав в комнатку за магазином, увидел ее лежащей на полу».

«Идиоты, писать грамотно не умеют», — отметил Самгин.

«Думая, что Зотова находится в обморочном состоянии, он вышел и сообщил об этом торговцу галантерейным товаром Я. П. Перцеву, предложив ему позвонить квартиранту Перцева доктору Евгеньеву. Но как раз в это время по улице проходил К. Г. Бекман, врач городской полиции, который и констатировал, что Зотова убита выстрелом в затылок и что с момента смерти прошло уже не меньше двух часов. Дальнейшие подробности этой потрясающей драмы мы, за поздним временем, откладываем до завтра». Но в следующем номере газета сообщила только об аресте «племянника убитой, Безбедова, в нетрезвом состоянии». И через номер кратко сообщала о торжественных похоронах убитой, «гроб которой провозжал до места последнего успокоения весь город».

Самгин выпустил газету из рук, она упала на колени ему, тогда он брезгливо сбросил ее под стол и задумался. Хотя арест Безбедова объяснял причину убийства — все-таки явились какие-то мутные мысли.

«Свинья. Кретин. Как он мог... решиться? Он — боялся ее...»

После полудня он сидел у следователя в комнате с окном во двор и видом на поленицу березовых дров. Комнату наполнял похожий на угар запах табачного дыма и сухого тления. Над широким, но невысоким шкафом висела олеография — портрет царя Александра Третьего в шапке полицейского на голове, отлично приспособленной к ношению густой, тяжелой бороды. За стареньким письменным столом сидел, с папиросой в зубах, в кожаном кресле с высокой спинкой сероглазый старичок, чисто вымытый, аккуратно зашитый в черную тужурку. Его желтые щеки густо раскрашены красными жилками, седая острая бородка благородно удлиняет лицо, закрученные усы придают ему нечто воинственное, на голом черепе, над ушами, торчат, как рога, седые вихры, — в общем судебный следователь Гудим-Черновикский похож на героя французской мелодрамы. Он за-

служил в городе славу азартнейшего игрока в винт, и Самгин вспомнил, как в комнате присяжных поверенных при окружном суде рассказывали: однажды Гудим и его партнеры играли непрерывно двадцать семь часов, а на двадцать восьмом один из них, сыграв «большой шлем», от радости помер, чем и предоставил Леониду Андрееву возможность написать хороший рассказ.

— Так вот-с, — тихо журчавшим мягким басом говорил следователь, — беспокоил я вас, почтенный Клим Иванович, по делу о таинственном убийстве клиентки вашей...

— Почему — таинственном? — спросил Самгин. — Ведь убийца — арестован?

Следователь вздохнул, погладил усы пальцем и сказал с сожалением:

— Так как он не сознался в преступлении, то, как вам известно, <до> решения суда он только подозреваемый.

Глаза следователя были бесцветны, белки мутные, серые зрачки водянисты, но Самгину казалось, что за этими глазами прячутся другие. Он чувствовал себя тревожно, напряженно и негодовал на себя за это.

— Я не вижу писмоводителя вашего, — сказал он.

— Совершенно правильно изволили заметить, — откликнулся Гудим, наклонив голову, снова закуривая папиросу, — курил он непрерывно. — Это потому, почтенный Клим Иванович, что я и не намерен снимать с вас законом требуемое показание. Если б не мешало нездоровье, — ноги болят, ходить не могу, — так я сам, лично явился бы на квартиру вашу для этой беседы. Конечно, вы будете допрошены со всей строгостью, необходимой в этом случае и установленной законом. Кое-какие моменты показаний Безбедова настоятельно требуют этого. По условиям времени субъекту этому угрожает весьма жестокое наказание, он это чувствует — и, выгораживая себя, конечно, не склонен щадить других.

Самгину показалось, что стул под ним качнулся назад.

Он вонзил карандаш в бороду себе и, почесывая подбородок, глядя куда-то в угол, за шкаф, продолжал журчать:

— Пригласил я вас, так сказать, для... информации.
— То есть? — поторопился спросить Самгин, удивленный и еще более встревоженный.

— То есть... в некотором роде как бы осведомить вас о... состоянии дела.

Следователь говорил с паузами, и они были отвратительны.

— Буду говорить откровенно, начистоту, — продолжал он, понизив голосок. — Суть в том, что делом этим заинтересован Петербург, отсюда прислали товарища прокурора для наблюдения за предварительным следствием. Имел удовольствие видеть его: между нами говоря — нахал и, как все столичные карьеристы, не пожалует ни папу, ни маму. Наш прокурор, как вам известно, зять губернатора и кандидат в прокуроры палаты. Разумеется, его оскорбляет явление наблюдателя. Этим — не все сказано... Так что тут, знаете, вообще, может быть...

Задребезжал звонок телефона, следователь приложил трубку к серому хрящу уха.

— Слушаю. Честь имею. Да. Приказ прокурора. Прервать? Да, но — мотив... Слушаю. Немедленно? Слушаю...

Красные жилки на щеках следователя выступили резче, глаза тоже покраснели, и вздрогнули усы. Самгин определенно почувствовал что-то неладное.

— Вызывают в суд, немедленно, — сказал он и сухо кашлянул. — А вы, кажется, сегодня из-за границы?

— Из Парижа.

— Эх, Париж! Да-а! — следователь сожалительно покачал головой. — Был я там студентом, затем, после свадьбы, ездил с женой, целый месяц жили. Жизнь-то, Клим Иванович, какова? Сначала — Париж, Флоренция, Венеция, а затем — двадцать семь лет — здесь! Скучный городок, а?

— Да.

— Тя-ажелый город, — убежденно сказал Гудим-Чарновицкий. — Зотова тоже была там?

— Несколько дней. Затем уехала в Лондон.

— Так. В Лондоне — не был. А — можно спросить: не знаете — какие у нее связи были в Петербурге?

— Она говорила, что бывает у генерала Богданович, — не подумав, ответил Самгин.

— О-о! — произнес следовательно, упираясь руками в стол и приподняв брови. — Это — персона! Говорят даже, что это в некотором роде... рычаг! Простите, — сказал он, — не могу встать — ноги!

«А как же ты в суд пойдешь?» — уныло подумал Самгин, пожимая холодную руку старика, а старик, еще более обесцветив глаза своей легкой усмешкой, проговорил полушопотом и тоном совета:

— По чувству уважения и симпатии к вам, Клим Иванович, разрешите напомнить, что в нашей практике юристов — и особенно в наши дни — бывают события, которые весьма... вредно раздуваются.

Он сказал что-то о напуганном воображении обывателей, о торопливости провинциальных корреспондентов и корыстном многословии прессы, но Самгин не слушал его, едва сдерживая желание выдернуть свою руку из холодных пальцев.

На улице было солнечно и холодно, лужи, оттаяв за день, снова покрывались ледком, хлопотал ветер, загоняя в воду перья куриц, осенние кожаные листья, кожуру лука, дергал пальто Самгина, раздувал его тревогу. И, точно в ответ на каждый толчок ветра, являлся вопрос:

«Что мог наболтать про меня Безбедов? Способен он убить? Если не он — кто же?»

Тут он вспомнил, что газетная заметка ни слова не сказала о цели убийства. О Марине подумалось не только равнодушно, а почти враждебно:

«Темная дама».

Снова явилась мысль о возможности ее службы в департаменте полиции, затем он вспомнил, что она дважды поручала ему платить штрафы за что-то: один раз — полтораста рублей, другой — пятьсот.

«Вероятно, это были взятки. Чего от меня хотел Гудим? Действовал он незаконно. Заключительный совет его — странная выходка».

Какие-то неприятные молоточки стучали изнутри черепа в кости висков. Дома он с минуту рассматривал в зеркале возбужденно блестящие глаза, седые нити

в поредевших волосах, отметил, что щеки стали полнее, лицо — круглей и что к такому лицу борода уже не идет, лучше сбрить ее. Зеркало показывало, как в соседней комнате ставит на стол посуду пышнотелая, картинная девица, румянощекая, голубоглазая, с золотистой косой ниже пояса.

«Наверное — дура», — определил Самгин.

— Барин-то — дома? — спросила ее Фелицата.

— Дома, — звучно и весело ответила девица.

«Дома у меня — нет, — шагая по комнате, мысленно возразил Самгин. — Его нет не только в смысле реальном: жена, дети, определенный круг знакомств, приятный друг, умный человек, приблизительно равный мне, — нет у меня дома и в смысле идеальном, в смысле внутреннего уюта... Уот Уитмэн сказал, что человеку надоела скромная жизнь, что он жаждет грозных опасностей, неизведанного, необыкновенного... Кокетство анархиста...

Есть наслаждение в бою
И бездны мрачной на краю.

Романтизм подростков... Майн-Рид, бегство от гимназии в Америку».

Вошла Фелицата, молча сунула ему визитную карточку, Самгин поднес ее к очкам и прочитал:

— «Антон Никифорович Тагильский».

— Да, да, — нерешительно пробормотал Самгин. — Просите... Пожалуйста!

К нему уже подкатился на коротких ножках толстенький, похожий на самовар красной меди, человечек в каком-то очень рыжем костюме.

— Здравствуйте! Ого, постарели! А — я? Не узнали бы? — покрикивал он звонким тенорком. Самгин видел лысый череп, красное, бритое лицо со щетиной на висках, заплывшие, свиные глазки и под широким носом темные щеточки коротко подстриженных усов.

— Не узнал бы, — согласился он.

— Вы извините, что я так, без церемонии... Право старого знакомства. Дьявольски много прав у нас, а? Следует сократить, — как думаете?

Придав лицу своему деловое, ожидающее выражение, Самгин суховаато предложил:

— Пожалуйста..

— Обедать? Спасибо. А я хотел пригласить вас в ресторан, тут, на площади у вас, не плохой ресторанос, — быстро и звонко говорил Тагильский, проходя в столовую впереди Самгина, усаживаясь к столу. Он удивительно не похож был на человека, каким Самгин видел его в строгом кабинете Прейса, — тогда он казался сдержанным, гордым своими знаниями, относился к людям учительно, как профессор к студентам, а теперь вот сорит словами, точно ветер.

«Пришел, как в трактир. Конечно — спрашивать о Марине».

Так и оказалось. Тагильский, расстегнув визитку, обнаружив очень пестрый жилет и засовывая салфетку за воротник, сообщил, что командирован для наблюдения за следствием по делу об убийстве Зотовой.

— Говорят — красавица была?

— Да. Очень красива.

— Ага. Ну, что же? Красивую вещь — приятно испортить. Красивых убивают более часто, чем уродов. Но убивают мужья, любовники и, как правило, всегда с фасада: в голову, в грудь, живот, а тут убили с фасада на двор — в затылок. Это тоже принято, но в целях грабежа, а в данном случае — наличие грабежа не установлено. В этом видят — тайну. А на мой взгляд — тайны нет, а есть трус!

Расширив ноздри, он понюхал пар супа, глазки его вспыхнули, и он благостно сказал:

— Суп с потрохами? Обожаю!

«Хитрит, скотина», — подумал Самгин.

— Следовательно, старый осел, вызывал вас, но я прекратил эту процедуру. Дельце это широкой огласке не подлежит. Вы спросите — почему? А я — не знаю. Вероятно — по глупости, возможно — по глупости, соединенной с подлостью. Ваше здоровье!

Он опрокинул в рот рюмку водки, щелкнув языком, на секунду закрыл глазки и снова начал сорить:

— Видимость у вас — элегантнейшая. Видимость же-ниха для богатой вдовы.

«Негодяй», — мысленно выругался Клим.

— Вот что значит побывать в Париже! А я расцвел красочно, однако — не привлекательно для изысканного зрения, — говорил Тагильский, поглядывая на горничную, а когда она вышла — вздохнул:

— Какая вкусная девушка, дьяволица...

И тотчас же спросил:

— Готова имела любовника?

— Не знаю.

— Имела, — сказал Тагильский, качнув головой, выпил еще рюмку и продолжал: — Существует мнение, что последнее время любовником ее были вы.

— Чепуха, — сухо откликнулся Самгин.

— Чепуха — значит: правдоподобно, но — не правда. У нас, в России, чепуха весьма часто является подлинной правдой.

Ел Тагильский не торопясь, и насыщение не мешало ему говорить. Глядя в тарелку, ловко обнажая вилкой и ножом кости цыпленка, он спросил: известен ли Самгину размер состояния Марины? И на отрицательный ответ сообщил: деньгами и в стойких акциях около четырехсот тысяч, землею на Урале и за Волгой в Нижегородской губернии, вероятно, вдвое больше.

— А может быть — втрое. Да-с. Родственников — нет. Стало быть: имеем выморочное имущество, кое, по законам империи нашей, отходит в казну. Это очень волнует некоторых... людей со вкусом к жизни.

Он выпустил из толстеньких пальцев орудия труда — нож, вилку, пошлепал себя ладонями по щекам и, наливая вино в стаканы, уже не шутливо, а серьезно сказал:

— Я — пью, а вы — не пьете, и ваша осторожность, хмурое личико ваше... не то чтобы стесняют меня, — я стесняться не мастер, — но все-таки мешают. Среди племени, населяющего этот город, я — чужой человек, туземцы относятся ко мне враждебно. У них тут сохранилось родовое начало и вообще... как будто преобладают мошенники.

Опираясь локтями на стол, поддерживая ладонью подбородок, он протянул над столом левую руку с бокалом вина в ней, и бесцветные глаза его смотрели в лицо Самгина нехорошо, как будто вызывающе. В его звонком голосе звучали едкие, задорные ноты.

«С ним нужно вести себя мягче», — решил Самгин, вспомнив Бердникова, чокнулся с его стаканом и сказал:

— Вероятно, на моем настроении сказывается усталость, я — с дороги.

— Предположим, — полусогласился Тагильский. — И вспомним, что хотя убита как будто и ростовщица, но ведь вы не Раскольников, я — не Порфирий. Вспомним также, что несколько лет тому назад мы рассуждали о Марксе... и так далее. Ваше здоровье!

Выпили. Тагильский продолжал:

— Итак: с одной стороны — богатое выморочное имущество и все документы на право обладания оным — в руках жуликоватых туземцев. Понимаете?

— Понимаю, — сказал Самгин.

— С другой: в одном из шкафов магазина найдено порядочное количество нелегальной литературы эсдеков и дружеские — на ты — письма к Зотовой какого-то марксиста, вероучителя и остроумца. На кой дьявол богатой бабе хранить у себя нелегальщину? А посему предполагается, что это ваше имущество.

Самгин выпрямился и сердито спросил:

— Вы — допрашиваете?

— Не допрашиваю и не спрашиваю, а рассказываю: предполагается, — сказал Тагильский, прикрыв глаза жирными подушечками век, на коже его лба шевелились легкие морщины. — Интересы клиентки вашей весьма разнообразны: у нее оказалось солидное количество редчайших древнепечатных книг и сектантских рукописей, — раздумчиво проговорил Тагильский.

Воздух на улице как будто наполнился серой пылью, стекла окон запотели, в комнате образовался дымный сумрак, — Самгин хотел зажечь лампу.

— Не стоит, — тихо сказал Тагильский. — Темнота отлично сближает людей... в некоторых случаях. Правом допрашивать вас я — не облечен. Пришел к вам не как лицо прокурорского надзора, а как интеллигент к такому же, пришел на предмет консультации по некоему весьма темному делу. Вы можете поверить в это?

— Да, — не сразу сказал Самгин, очень встревоженный. Вспомнилось заявление следователя о показаниях Безбедова, а теперь вот еще нелегальщина.

— Да, я вам верю, — повторил он, и ему показалось, что даже мускулы его напряглись, как пред прыжком через яму.

«Ловит он меня или — что?» — думал он, а Тагильский говорил:

— Из этого дела можно состряпать уголовный процесс с политической подкладкой, и на нем можно хапнуть большие деньги. Я — за то, чтоб разворовали деньги и — успокоились. Для этого необходимо, чтоб Безбедов сознался в убийстве. Как вы думаете — был у него мотив?

— Да, был, — уверенно ответил Самгин.

— Какой?

— Мечь.

— Правильно, подтверждается его письмами, — с удовольствием произнес Тагильский. — Расскажите о нем, — предложил он, закуривая папиросу, взятую у Самгина. Самгин тоже закурил и начал осторожно рассказывать о Безбедове. Он очень хотел верить этому круглому человечку со свинными глазками и лицом привычного пьяницы, но — не верил ему. Во всем, что говорил Тагильский, чувствовалась какая-то правда, но чувствовалась и угроза быть вовлеченным в громкий уголовный процесс, в котором не хотелось бы участвовать даже в качестве свидетеля, а ведь могут пристегнуть и в качестве соучастника. Оправдают за недоказанностью обвинения, так — все равно на него будет брошена тень.

«Я — не Иванов, не Ефимов, а — Самгин. Фамилия — редкая. Самгин? Это тот, который... Я — беззащитен», — тревожно соображал Самгин. Тагильский прервал его рассказ:

— Ну, вообще — кретин, ничтожество этот Безбедов. Для алиби ему не хватает полутора или двух десятков минут. Он требует, чтоб вы защищали его...

Самгин молчал, повторяя про себя:

«Беззащитен».

В комнате стало совсем темно. Самгин тихо спросил:

— Я зажгу лампу?

— Зажгите лампу, — в тон ему ответил Тагильский, и покуда Клим зажигал спички, а они ломались, гость сказал нечто значительное:

— Мы мало знаем друг друга и, насколько помню, в прошлом не испытывали взаимной симпатии. Наверняка, мой визит вызывает у вас кое-какие подозрения. Это — естественно. Вероятно, я еще более усилию подозрения ваши, если скажу, что не являюсь защитником кого-то или чего-то. Защищаю я только себя, потому что не хочу попасть в грязную историю. Возможность эта грозит и вам. А посему мы, временно, должны заключить оборонительный союз. Можно бы и наступательный, то есть осведомить прессу, но — это, пока, преждевременно.

«Успокаивает, — сообразил Самгин. — Врет». — И сказал вполголоса:

— Я очень хорошо помню вас, но не могу сказать, что вы возбуждали у меня антипатию.

— Ну, и не говорите, — посоветовал Тагильский.

При огне лицо его стало как будто благообразнее: похудело, опали щеки, шире открылись глаза и как-то добродушно заершились усы. Если б он был выше ростом и не так толст, он был бы похож на офицера какого-нибудь запасного батальона, размещенного в глухом уездном городе.

— Стратонова — помните? — спросил он. — Октябрист. Построил большой кожевенный завод на правительственную субсидию. Речи Прейса, конечно, читаете. Не блестяще ораторствует. Унылое зрелище являет собою русский либерал. А Государственная дума наша — любительский спектакль. Н-да. Пригласили на роль укротителя и спасителя саратовского губернатора. Мужчина — видный, но — дуракоподобный и хвостун... В прошлом году я с ним и компанией на охоту ездил, слышал, как он рассказывал родословную свою. Невежда в генеалогии, как и в экономике. Забыл о предке своем, убитом в Севастополе матросами, кажется — в тридцатых годах.

Он насадил пробку на вилку и, говоря, ударял пробкой по краю бокала, аккомпанируя словам своим стеклянным звоном, звон этот был неприятен Самгину, мешал ему определить: можно ли и насколько можно верить искренности Тагильского? А Тагильский, прищутив левый глаз, продолжая говорить все так же быстро и едко, думал, видимо, не о том, что говорил.

— Хвастал мудростью отца, который писал против общины, за фермерское — хуторское — хозяйство, и называл его поклонником Иммануила Канта, а папаша-то Огюсту Конту поклонялся и даже сочиненьишко написал о естественно-научных законах в области социальной. Я, знаете, генеалогией дворянских фамилий занимался, меня интересовала роль иностранцев в строительстве российской империи...

И вдруг, перестав звонить, он сказал:

— Безбедов очень... верит вам. Я думаю, что вы могли бы убедить его сознаться в убийстве. Участие защитника в предварительном судебном следствии — не допускается, до вручения обвиняемому обвинительного акта, но... Вы подумайте на эту тему.

Гость встал и этим вызвал у хозяина легкий вздох облегчения.

— Чтоб не... тревожить вас официальностями, я, денечка через два, зайду к вам, — сказал Тагильский, протянув Самгину руку, — рука мягкая, очень горячая. — Претендую на доверие ваше в этом... скверненьком дельце, — сказал он и первый раз так широко усмехнулся, что все его лицо как бы растаяло, щеки расползлись к ушам, растянув рот, обнажив мелкие зубы грызуна. Эта улыбка испугала Самгина.

«Нет, он — негодяй!»

Но толстенький человек перекатился в прихожую и там, вполголоса, сказал:

— Вот что — все может быть! И если у вас имеется какая-нибудь нелегалщина, так лучше, чтоб ее не было...

Ощувив нервную дрожь, точно его уколола игла, Самгин глухо спросил:

— Зотова служила в департаменте полиции?

— Ка-ак? Ах, дьявольщина, — пробормотал Тагильский, взмахнув руками. — Это — что? Догадка? Уверенность? Есть факты?

— Догадка, — тихо сказал Самгин.

Тагильский свистнул:

— А — фактов нет?

— Нет. Но иногда мне думалось...

— Догадка есть суждение, требующее фактов. А, по Канту, не всякое суждение есть познание, — раздумчиво

бормотал Тагильский. — Вы никому не сообщали ваших подозрений?

— Нет.

— Товарищам по партии?

— Я — вне партии.

— Разве? Очень хорошо... то есть хорошо, что не общали, — добавил он, еще раз пожав руку Самгина. — Ну, я — ухожу. Спасибо за хлеб-соль!

Ушел. Коротко, точно удар топора, хлопнула дверь крыльца. Минутный диалог в прихожей несколько успокоил тревогу Самгина. Путешествуя из угла в угол комнаты, он начал искать словесные формы для перевода очень сложного и тягостного ощущения на язык мысли. Утомительная путаница впечатлений требовала точного, ясного слова, которое, развязав эту путаницу, установило бы определенное отношение к источнику ее — Тагильскому.

«Кажется, он не поверил, что я — вне партии. Предупредил о возможности обыска. Чего хочет от меня?»

Вспомнилось, как однажды у Прейса Тагильский холодно и жестко говорил о государстве как органе угнетения личности, а когда Прейс докторально сказал ему: «Вы шаржируете» — он ответил небрежно: «Это история шаржирует». Стратонов сказал: «Ирония ваша — ирония нигилиста». Так же небрежно Тагильский ответил и ему: «Ошибаетесь, я не иронизирую. Однако нахожу, что человек со вкусом к жизни не может прожевать действительность, не сдобрив ее солью и перцем иронии. Учит — скепсис, а оптимизм воспитывает дураков».

Тагильский в прошлом — человек самоуверенный, докторально действующий цифрами, фактами или же пьяный циник.

«Да, он сильно изменился. Конечно — он хитрит со мной. Должен хитрить. Но в нем явилось как будто новое нечто... Порядочное. Это не устраняет осторожности в отношении к нему. Толстый. Толстые говорят высокими голосами. Юлий Цезарь — у Шекспира — считает толстых неопасными...»

Тут Самгину неприятно вспомнился Бердников.

«Я — напрасно сказал о моих подозрениях Марины. У меня нередко срывается с языка... лишнее. Это — от

моей чистоплотности. От нежелания носить в себе... темное, нечестное, дурное, внушаемое людьми».

В зеркале скользила хорошо знакомая Самгину фигура, озабоченное интеллигентное лицо. Искоса следя за нею, Самгин решил:

«Нет, не стану торопиться с выводами».

«Марина?» — спросил он себя. И через несколько минут убедился, что теперь, когда ее — нет, необходимость думать о ней потеряла свою остроту.

«Приходится думать не о ней, а — по поводу ее. Марина... — Вспомнил ее необычное настроение в Париже. — В конце концов — ее смерть не так уж загадочна, что-нибудь... подобное должно было случиться. «По Сеньке — шапка», как говорят. Она жила близко к чему-то, что предусмотрено «Положением о наказаниях уголовных».

Дня три он провел усердно работая — приводил в порядок судебные дела Зотовой, свои счета с нею, и обнаружил, что имеет получить с нее двести тридцать рублей. Это было приятно. Работал и ожидал, что вот явится Тагильский, хотелось, чтоб он явился. Но Тагильский вызвал его в камеру прокурора и встретил там одетый в тужурку с позолоченными пуговицами. Он казался <выше> ростом, <тоньше>, красное лицо его как будто выцвело, побурело, глаза открылись шире, говорил он сдерживая свой звонкий, едкий голос, ленивее, более тускло.

— Прокурор заболел. Болезнь — весьма полезна, когда она позволяет уклониться от некоторых неприятностей, — из них исключается смерть, освобождающая уже от всех неприятностей, минус — адовы мучения.

В середине этой речи он резко сказал в трубку телефона:

— Прошу пожаловать.

— Ну-с, вопросы к вам, — официально начал он, подвигая пальцем в сторону Самгина какое-то письмо. — Не знаете ли: кто автор сего послания?

Письмо было написано мелким, но четким почерком, слова составлены так плотно, как будто каждая строка — одно слово. Самгин читал:

«Сомнения и возражения твои наивны, а так как я знаю, что ты — человек умный, то чувствую, что наивность искусственна. Маркса искажают дворовые псы буржуазии, комнатные собачки ее, клички собак этих тебе известны, лай и вой, конечно, понятен. Брось фантазировать, читай Ленина. Тебя «отталкивает его грубая ирония», это потому, что ты не чувствуешь его пафоса. И многие неспособны чувствовать это, потому что такое сочетание иронии и пафоса — редчайшее сочетание, и до Ильича я чувствую его только у Марата, но не в такой силе».

«Кутузов», — сообразил Самгин. — Это его стиль. Назвать? Сказать — кто?»

Вошел местный товарищ прокурора Брюн-де-Сент-Ипполит, щеголь и красавец, — Тагильский протянул руку за письмом, спрашивая: — Не знаете? — Вопрос прозвучал утвердительно, и это очень обрадовало Самгина, он крепко пожал руку щеголя и на его вопрос: «Как — Париж, э?» — легко ответил:

— Изумителен!

Брюн самодовольно усмехнулся, погладил пальцами шелковые усики, подобранные волосок к волоску.

— Мой друг, князь Урусов, отлично сказал: «Париж — Силоамская купель, в нем излечиваются все душевные недуги и печали».

— Силоамская купель — это какая-то целебная грязь, вроде сакской, — заметил Тагильский и — строго спросил:

— А кто это Бердников?

О Бердникове Самгин говорил с удовольствием и вызвал со стороны туземного товарища прокурора лестное замечание:

— О, у вас дарование беллетриста!

— Так, — прервал Тагильский, зажигая папиросу. — Значит: делец с ориентацией на иностранный капитал? Французский, да?

— Не знаю.

— А Зотова — на английский, судя по документам?

— В эти ее дела она меня не посвящала. Дела, которые я вел, приготовлены мною к сдаче суду.

— Отлично, — сказал Тагильский, Сент-Ипполит скучно посмотрел на него, дважды громко чмокнул и

ушел, а Тагильский, перелистывая бумаги, пробормотал:

— Вот этот парнишка легко карьерочку сделает! Для начала — женится на богатой, это ему легко, как муху убить. На склоне дней будет сенатором, товарищем министра, членом Государственного совета, вообще — шишкой! А по всем своим данным, он — болван и невежда. Ну — чорт с ним!

Похлопав ладонью по бумагам, он заговорил с оттенком удивления:

— Однако Зотова-то — дама широкого диапазона! А судя по отзывам на ее дела — человек не малого ума и великой жадности. Я даже ошеломлен: марксисты, финансисты, сектанты. Оснований для догадки вашей о ее близости к департаменту полиции — не чувствую, не нахожу. Разве — по линии сектантства? Совершенно нельзя понять, на какую потребу она собирала все эти книжки, рукописи? Такая грубая, безграмотная ерунда, такое нищенское недомыслие... Рядом с этим хламом — библиотека русских и европейских классиков, книги Ле-Бона по эволюции материи, силы. Лесли Уорд, Оливер Лодж на английском языке, последнее немецкое издание «Космоса» Гумбольдта, Маркс, Энгельс... И все читано с карандашом, вложены записочки с указанием, что где искать. Вы, конечно, знаете все это?

— Нет, — сказал Самгин. — Дома у нее был я раза два, три... По делам встречались в магазине.

— Магазин — камуфляж? А?

Самгин молча пожал плечами и вдруг сказал:

— Она была кормчей корабля хлыстов. Местной богородицей.

— О-она? — заикаясь, повторил Тагильский и почти беззвучно, короткими вздохами засмеялся, подпрыгивая на стуле, сотрясаясь, открыв зубастый рот. Затем, стирая платком со щек слезы смеха, он продолжал:

— Ей-богу, таких путаников, как у нас, нигде в мире нет. Что это значит? Богородица, а? Ах, дьяволы... Однако — идем дальше.

Он стал быстро спрашивать по поводу деловых документов Марины, а через десяток минут резко спросил:

— Кому она могла мешать — как вы думаете?

— Безбедову. Бердникову, — ответил Самгин.

— Убил — Безбедов, — сердито сказал Тагильский, закуривая. — Встает вопрос инициативы: самосильно или по уговору? Ваша характеристика Бердникова...

Он замолчал, читая какую-то бумагу, а Самгин, несколько смущенный решительностью своего ответа, попробовал смягчить его:

— Очень трудно вообразить Безбедова убийцей...

— Почему? Убивают и дети. Быки убивают.

Швырнув бумагу прочь, он заговорил очень быстро и сердито:

— На Волге, в Ставрополе, учителя гимназии баран убил. Сидел учитель, дачник, на земле, изучая быт каких-то травок, букашек, а баран разбежался — хлоп его рогами в затылок! И — осиротели букашки.

Он встал, живот его уперся в край стола, руки застегивали туужурку.

— Предварительное следствие закончено, обвинительный акт — готов, но еще не подписан прокурором. — Он остановился пред Самгиным и, почти касаясь его животом, спросил:

— Евреи были среди ее знакомых, деловых людей, а?

— Нет. Не знаю.

— Не было или не знаете?

— Не знаю.

— А я думаю: не было, — заключил Тагильский и чему-то обрадовался. — Вот что: давайте пойдем к Безбедову, попробуйте уговорить его сознаться — идет?

Предложение было неожиданно и очень не понравилось Самгину, но, вспомнив, как Тагильский удержал его от признания знакомства с Кутузовым, — он молча наклонил голову.

— Так, — пробормотал Тагильский, замедленно протягивая ему руку.

На другой день, утром, он и Тагильский подъехали к воротам тюрьмы на окраине города. Сеялся холодный дождь, мелкий, точно пыль, истреблял выпавший ночью снег, обнажал земную грязь. Тюрьма — угрюмый квадрат высоких толстых стен из кирпича, внутри стен врос в землю давно не беленный корпус, весь в пятнах, точно

пролежни, по углам корпуса — четыре башни, в середине его на крыше торчит крест тюремной церкви.

— Елизаветинских времен штучка, — сказал Тагильский. — Отлично, крепко у нас тюрьмы строили. Мы пойдем в камеру подследственного, не вызывая его в контору. Так — интимнее будет, — поспешно ворчал он.

Их встретил помощник начальника, маленькая, черная фигурка с бесцветным, стертым лицом заигранной тряпичной куклы, с револьвером у пояса и шашкой на боку.

— В камеру Безбедова, — сказал Тагильский. Человечек, испуганно мигнув мышиными глазами, скомандовал надзирателю:

— Приведи подследственного Безбедова из...

— Я сказал — в камеру! — строго напомнил Тагильский.

— Так точно. Но он — в карцере.

— За что?

— Буйствует несносно, дерется.

— Освободить, привести в камеру...

— Свободных камер нет, ваше высокородие. Господин Безбедов содержится в общеуголовной. У нас все переполнено-с...

Держа руку у козырька фуражки, осторожно вмешался надзиратель:

— Левая, задняя башня свободна, как вчера вечером политического в карцер отвели.

Эта сцена настроила Самгина уныло. Неприятна была резкая команда Тагильского, его лицо, надутое, выпуклое, как полушарие большого резинового мяча, как будто окаменело, свинные, красные глазки сердито выкатились. Коротенькие, толстые ножки, бесшумно, как лапы кота, пронесли его по мокрому булыжнику двора, по чугунным ступеням лестницы, истоптанным половицам коридора; войдя в круглую, как внутренность бочки, камеру башни, он быстро закрыл за собою дверь, точно спрятался.

— Стулья принеси, — сказал помощник смотрителя надзирателю. Тагильский остановил его.

— Не надо. Давайте подследственного. Вы подождете в коридоре.

Самгин сел на нары. Свет падал в камеру из квадратного окна под потолком, падал мутной полосой, оставляя

стены в сумраке. Тагильский сел рядом и тихонько спросил Самгина:

— Вы сидели в тюрьме?

— Да. Недолго.

— А я — сажал, — так же тихо откликнулся Тагильский. — Интеллигенты сажают друг друга в тюрьмы. Это не похоже на... недоразумение? На анекдот?

Самгин не успел ответить, — вошел Безбедов. Он точно шагнул со ступени, высоту которой рассчитал неверно, — шагнул, и ноги его подкосились, он как бы перепрыгнул в полосу мутного света.

— Встаньте к стене, — слишком громко приказал Тагильский, и Безбедов послушно отшатнулся в сумрак, прижался к стене. Самгин не сразу рассмотрел его, сначала он видел только грузную и почти бесформенную фигуру, слышал ее тяжелое сопение, нечленораздельные восклицания, похожие на икоту.

— Слушайте, Безбедов, — начал Тагильский, ему ответил глухой, сияющий вой:

— Меня избili. Топтали ногами. Я хочу доктора, в больницу меня...

— Кто вас бил? — спросил Тагильский.

— Уголовные, надзиратели, все. Здесь все бьют. За что меня? Я подам жалобу... Вы — кто такой?

Напрягая зрение, Самгин смотрел на Безбедова с чувством острой брезгливости. Хорошо знакомое пухлое, широкое лицо неузнаваемо, оплыло, щеки, потеряв жир, обвисли, точно у бульдога, и сходство лица с мордой собаки увеличивалось шерстью на щеках, на шее, оскаленными зубами; растрепанные волосы торчали на голове клочьями, точно изорванная шапка. Один глаз был закрыт опухолью, другой, расширенный, непрерывно мигал. Безбедова сотрясала дрожь, ноги его подгибались, хватаясь одной рукой за стену, другой он натягивал на плечо почти совсем оторванный рукав измятого пиджака, рубаха тоже была разорвана, обнажая грудь, белая кожа ее вся в каких-то пятнах.

— Как я, избитый, буду на суде? Меня весь город знает. Мне трудно дышать, говорить. Меня лечить надо...

— Вам нужно сознаться, Безбедов, — снова и строго начал Тагильский. И снова раздался сиплый рев:

— Ага, это — вы? Опять — вы? Нет, я не дурак. Бумаги дайте... я жаловаться буду. Губернатору.

— К вам пришел защитник, — громко сказал Тагильский. Самгин тотчас же тревожно, шопотом напомнил ему:

— Я отказываюсь, не могу...

А Безбедов, царапая стену, закричал:

— Не желаю! Я заявил: Самгин или не надо! Давите! Вашим адвокатам не верю.

— Он — здесь, Самгин, — сказал Тагильский.

— Да, я вот пришел, — подтвердил Клим, говоря негромко, чувствуя, что предпочел бы роль безмолвного зрителя.

Безбедов оторвался от стены, шагнул к нему, ударился коленом об угол нар, охнул, сел на пол и схватил Самгина за ногу.

— Клим Иванович, — жарко засопел он. — Господи... как я рад! Ну, теперь... Знаете, они меня хотят повесить. Теперь — всех вешают. Прячут меня. Бьют, бросают в карцер. Раскачали и — бросили. Дорогой человек, вы знаете... Разве я способен убить? Если б способен, я бы уже давно...

— Вы говорите... безумно, во вред себе, — предупредил его Самгин, осторожно дергая ногой, стараясь освободить ее из рук Безбедова, а тот судорожно продолжал выкрикивать икающие слова:

— Вы знаете, какой она дьявол... Ведьма, с медными глазами. Это — не я, это невеста сказала. Моя невеста.

— Успокойтесь, — предложил Самгин, совершенно подавленный, и ему показалось, что Безбедов в самом деле стал спокойнее. Тагильский молча отошел под окно и там распух, расплылся в сумраке. Безбедов сидел согнув одну ногу, глядя колено ладонью, другую ногу он сунул под нары, рука его все дергала рукав пиджака.

— Она испортила мне всю жизнь, вы знаете, — говорил он. — Она — все может. Помните — дурак этот, сторож, такой огромный? Он — беглый. Это он менялу убил. А она его — спрятала, убийцу.

— Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? — спросил Тагильский. Безбедов, оторвав рукав, взмахнул им в сторону Тагильского и стал совать рукав под мышку себе.

— Отдаю, понимаю, не боюсь я вас... Эх вы, прокурор. Теперь — не боюсь. И ее — не боюсь. Умерла, могу все сказать про нее. Вы — что думаете, Клим Иванович, — думаете, она вас уважала? Она?

— Я — не верю вам, не могу верить, — почти закричал Самгин, с отвращением глядя в поднятое к нему мохнатое, дрожащее лицо. Мельком взглянул в сторону Тагильского, — тот стоял, наклонив голову, облако дыма стояло над нею, его лица не видно было.

«Он все-таки строит мне какую-то ловушку», — тревожно подумал Самгин, а Безбедов, хватая его колено и край нар, пытаясь встать, шипел, должно быть, изумленный, испуганный:

— Не верите? Как же — защищать? Вам надо защищать меня. Как же это вы?

— Я не намерен защищать вас, — твердо, как мог, сказал Самгин, отодвигаясь от его рук. — Если вы сделали это — убили... Вам легче будет — сознайтесь! — прибавил он.

Безбедов встал на ноги, пошатнулся, взмахнул руками, он как будто не слышал последних слов Самгина, он стал говорить тише, но от этого речь его казалась Климу еще более кипящей, обжигающей.

— Как это вы? Я — уважаю вас. Вы — страшно умный, мудрый человек, а она смеялась над вами. Мне рассказывал Миша, он — знает... Она Крэйтону, англичанину говорила...

— Перестаньте, — <крикнул> Самгин, отшвырнув рукав пиджака, упавший на ногу ему. — Все это выдуманно вами. Вы — больной человек.

— Я? Нет! Меня избили, но я — здоровый.

— Не кричите, Безбедов, — сказал Тагильский, подходя к нему. Безбедов, прихрамывая, бросился к двери, толкнул ее плечом, дверь отворилась, на пороге встал помощник начальника, за плечом его возвышалось седое лицо надзирателя.

— Закрывать, — приказал Тагильский. Дверь, торопливо звякнув железом, затворили, Безбедов прислонился спиной к ней, прижал руки ко груди жестом женщины, дергая лохмотья рубашки.

— Вот что, Безбедов, — звонко заговорил товарищ прокурора. — Прекратите истерику, она не в вашу пользу, а — против вас. Клим Иванович и я — мы знаем, когда человек притворяется невинным, испуганным мальчиком, когда он лжет...

Безбедов стукнул затылком о дверь и закричал почти нормальным, знакомым Самгину голосом:

— Я — не лгу! Я жить хочу. Это — ложь? Дурак! Разве люди лгут, если хотят жить? Ну? Я — богатый теперь, когда ее убили. Наследник. У нее никого нет. Клим Иванович... — удушливо и рыдая закричал он. Голос Тагильского заглушил его:

— Говорите прямо: сами вы убили ее, или же кто-то другой, наведенный вами? Ну-с?

Безбедов зарычал, шагнул вперед, повалился набок и бесформенно расплылся по полу.

— А-а, чорт, — пробормотал Тагильский, отскочив к нарам, затем, перешагнув через ноги Безбедова, постучал в дверь носком ботинка.

— Фельдшера, доктора, — приказал он. — Этого оставить здесь, в башне. Спросит бумаги, чернил — дать.

Идя коридором, он вполголоса спросил:

— Симулирует?

— Не уверен.

— Ф-фу, чорт, душно как! — вытирая лицо платком, сказал Тагильский, когда вышли во двор, затем снял шляпу и, потряхивая лысой головой, как бы отталкивая мелкие капельки дождя, проворчал:

— Дрянь человечешка. Пьяница?

— Нет. Дурак и мот.

Тагильский проворчал:

— Вредный субъект. Способен заварить такую кашу... чорт его возьми!

«Он меня пугает», — сообразил Самгин.

Тагильский вытер платком лысину и надел шляпу. Самгин, наоборот, чувствовал тягостный сырой холод в груди, липкую, почти ледяную мокрядь на лице. Тревожил вопрос: зачем этот толстяк устроил ему свидание с Безбедовым? И, когда Тагильский предложил обедать в ресторане, Самгин пригласил его к себе, пригласил любезно, однако стараясь скрыть, что очень хочет этого.

Затем некоторое время назойливо барабанил дождь по кожаному верху экипажа, журчала вода, стекая с крыш, хлюпали в лужах резиновые шины, экипаж встряхивало на выбоинах мостовой, сосед толкал Самгина плечом, извозчик покрикивал:

— Бер-регись, эй!

«Да, с ним нужно держаться очень осторожно», — думал Самгин о соседе, а тот бормотал почему-то о Сологубе:

— И талантлив и пессимист, но — не Бодлер. Тепленький и мягкий, как подушка.

Вздрагивая от холода, Самгин спрашивал себя:

«Мог Безбедов убить?»

Ответа он не искал, мешала растрепанная, жалкая фигура, разбитое, искаженное страхом и возмущением лицо, вспомнилась завистливая жалоба:

«Меня женщины не любят, я откровенен с ними, болтлив, сразу открываю себя, а бабы любят таинственное. Вас, конечно, любят, вы — загадочный, прячете что-то в себе, это интригует...»

У Самгина Тагильский закурил папиросу, прислонился к белым изразцам печки и несколько минут стоял молча, слушая, как хозяин заказывает горничной закуску к обеду, вино.

— Славная какая, — сказал он, когда девушка ушла, и вздохнул, а затем, держа папиросу вертикально, следя, как она дымит, точно труба фабрики, рассказал:

— У меня года два, до весны текущего, тоже была эдакая, кругленькая, веселая, мещаночка из Пскова. Жена установила с нею даже эдакие фамильярные отношения, давала ей книги читать и... вообще занималась «интеллектуальным развитием примитивной натуры», как она объяснила мне. Жена у меня была человек наивный.

— Была? — спросил Самгин.

— Да. Разошлись. Так вот — Поля. Этой весной около нее явился приличный молодой человек. Явление — вполне естественное:

Это уж так водится:
Тогда весна была.
Сама богородица
Весною зачала.

Поехала жена с Полей устраиваться на даче, я от скуки ушел в цирк, на борьбу, но борьбы не дождался, прихожу домой — в кабинете, вижу, огонь, за столом моим сидит Полин кавалер и углубленно бумажки разбирает. У меня — револьверишко, маленький браунинг. Спрашиваю: «Нашли что-нибудь интересное?» Он хотел встать, ноги у него поехали под стол, шлепнулся в кресло и, подняв руки вверх, объявил: «Я — не вор!» — «Вы, говорю, дурак. Вам следовало именно вором притвориться, я позвонил бы в полицию, она бы вас увела и с миром отпустила к очередным вашим делам, тут и — конец истории. Ну-ко, расскажите, «как дошли вы до жизни такой?» Оказалось: сын чиновника почты, служил письмоводителем в женской гимназии, давал девицам нелегальную литературу, обнаружили, арестовали, пригрозили, предложили — согласился. Спрашиваю: «А как же — Поля?» — «А она, говорит, тоже со мной служит». Пришлось раскланяться с девушкой. Я потом в палате рассказываю: дело, очевидно, плохо, если начались тайные обыски у членов прокурорского надзора! Вызвало меня непосредственное мое начальство и внушает: «Вы, говорит, рассказываете анекдоты, компрометирующие власть. Вы, говорит, забыли, что Петр Великий называл прокурора «государевым оком».

Говорил Тагильский медленно, утомленно воркующим голосом. Самгин пытался понять: зачем он рассказывает это? И вдруг прервал рассказ, спросив:

— Не объясните ли вы: какой смысл имело для вас посещение мною... тюрьмы?

— А я — ждал, что вы спросите об этом, — откликнулся Тагильский, сунул руки в карманы брюк, поддержал их, шагнул к двери в столовую, прикрыл ее, сунул дымный окурок в землю кадки с фикусом. И, гуляя по комнате, выбрасывая коротенькие ноги смешно и важно, как петух, он заговорил, как бы читая документ:

— Подозреваемый в уголовном преступлении — в убийстве, — напомнил он, взмахнув правой рукой, — выразил настойчивое желание, чтоб его защищали на суде именно вы. Почему? Потому что вы — квартирант его? Маловато. Может быть, существует еще какая-то иная

связь? От этого подозрения Безбедов реабилитировал вас. Вот — один смысл.

Он подошел к Самгину и, почти упираясь животом в его колени, продолжал:

— Есть — другой. Но он... не совсем ясен и мне самому.

Красное лицо его поблекло, прищуренные глаза нехорошо сверкнули.

— Я понимаю вас; вам кажется, что я хочу устроить вам некую судебную пакость.

— Вы ошибаетесь...

— Бросьте, Самгин.

Махнув рукой, Тагильский снова начал шагать, говоря в тоне иронии:

— Получается так, что я вам предлагаю товар моей откровенности, а вы... не нуждаетесь в нем и, видимо, убеждены: гнилой товар.

— Вы, конечно, знаете, что люди вообще не располагают к доверию, — произнес Самгин докторально, но тотчас же сообразил, что говорит снисходительно и этим может усилить иронию гостя. Гость, стоя спиной к нему, рассматривая корешки книг в шкафе, сказал:

— Даже сами себе плохо верят.

Он повернулся, как мяч, и добавил:

— Русский интеллигент живет в непрерывном состоянии самозащиты и непрерывных упражнениях в эристике.

— Это — очень верно, — согласился Клим Самгин, опасаясь, что диалог превратится в спор. — Вы, Антон Никифорович, сильно изменились, — ласково, как только мог, заговорил он, намереваясь сказать гостю что-то лестное. Но в этом не оказалось надобности, — горничная позвала к столу.

— Есть я люблю, — сказал Тагильский.

Самгин налил водки, чокнулись, выпили, гость тотчас же налил по второй, говоря:

— Я начинаю с трех, по завету отца. Это — лучший из его заветов. Кажется, я — заболеваю. Температура лезет вверх, какая-то дрожь внутри, а под кожей пузырьки вскакивают и лопаются. Это обязывает меня крепко выпить.

Стараясь держаться с ним любезнее, Самгин усердно угощал его, рассказывал о Париже, Тагильский старательно насыщался, молчал и вдруг сказал, тряхнув головой:

— В Москве, когда мы с вами встретились, я начинал пить. — Сделав паузу, он прибавил: — Чтоб не думать.

— Вы — москвич? — спросил Самгин.

— Туляк. Отец мой самовары делал у братьев Баташевых.

Он вытер губы салфеткой и, не доверяя ей, облизал языком.

— Я — интеллигент в первом поколении. А вы? — спросил он, раздув щеки усмешкой.

— В третьем, — сказал Самгин. Тагильский, готовясь закурить папиросу, пробормотал:

— Уже аристократ, в сравнении со мной.

Самгин, тоже закулив, вопросительно посмотрел на него.

— Интересная тема, — сказал Тагильский, кивнув головой. — Когда отцу было лет под тридцать, он прочитал какую-то книжку о разгульной жизни золгоискателей, соблазнился и уехал на Урал. В пятьдесят лет он был хозяином трактира и публичного дома в Екатеринбурге.

Тагильский, прищутив красненькие глазки, несколько секунд молчал, внимательно глядя в лицо Самгина, Самгин, не мигнув, выдержал этот испытующий взгляд.

— Мать, лицо без речей, умерла, когда мне было одиннадцать лет. В тот же год явилась мачеха, вдова дьякона, могучая, циничная и отвратительно боголюбивая бабища. Я ее хотел стукнуть бутылкой — пустой — по голове, отец крепко высек меня, а она поставила на колени, сама встала сзади меня тоже на колени. «Проси у бога прощения за то, [что] поднял руку на меня, богоданную тебе мать!» Молиться я должен был вслух, но я начал читать непотребные стихи. Высекли еще раз, и отец до того разгорелся, что у него «сердце зашлось», и мачеха испугалась, когда он, тоже большой, толстый, упал, задыхаясь. Потом оба они плакали. Люди чувствительные...

Самгин слушал и, следя за лицом рассказчика, не верил ему. Рассказ напоминал что-то читанное, одну

из историй, которые сочинялись мелкими писателями семидесятых годов. Почему-то было приятно узнать, что этот модно одетый человек — сын содержателя дома терпимости и что его секли.

— Жили тесно, — продолжал Тагильский не спеша и как бы равнодушно. — Я неоднократно видел... так сказать, взрывы страсти двух животных. На дворе, в большой пристройке к трактиру, помещались подлые девки. В двенадцать лет я начал онанировать, одна из девиц поймала меня на этом и обучила предпочитать нормальную половую жизнь...

Самгин спрятал лицо в дым папиросы, соображая:

«Зачем ему нужно рассказывать эти гадости? Если б я испытал подобное, я счел бы своим долгом забыть об этом... Мотивы таких грязных исповедей невозможно понять».

Тагильский говорил расширив глаза, глядя через голову Самгина, там, за окном, в саду, посвистывал ветер, скрипел какой-то сучок.

— Меня так били, что пришлось притвориться смиренным, хотя я не один раз хотел зарезать отца или мачеху. Но все-таки я им мешал жить. Отец высоко ценил пользу образования, понимая его как независимость от полиции, надоедавшей ему. Он взял репетитора, я подготовился в гимназию и кончил ее с золотой медалью. Не буду говорить, чего стоило это мне. Жил я не в трактире, а у сестры мачехи, она сдавала комнаты со столом для гимназистов. От участия в кружках самообразования не только уклонялся, но всячески демонстрировал мое отрицательное, даже враждебное отношение к ним. Там были дети легкой жизни — сыновья торговцев из уездов, инженеров, докторов с заводов — аристократы. Отец не баловал меня деньгами, требовал только, чтоб я одевался чисто. Я обыгрывал сожителей в карты и копил деньги.

Настроение Самгина двоилось: было приятно, что человек, которого он считал опасным, обнажается, разружается пред ним, и все более настойчиво хотелось понять: зачем этот кругленький, жирно откормленный человек откровенничает? А Тагильский ворковал, сдерживая звонкий голос свой, и все чаще сквозь скучноватую воркотню вырывались звонкие всхлипывания.

«Он чем-то напоминает Бердникова», — предостерег себя Самгин.

— Был в седьмом классе — сын штейгера, руководитель кружка марксистов, упрямый, носатый парень... В прошлом году я случайно узнал, что его третий раз отправили в ссылку... Кажется, даже — в каторгу. Он поучал меня, что интеллигенты — такая же прислуга буржуазии, как повара, кучера и прочие. Из чувства отвращения ко всему, что меня обижало, я решил доказать ему, что это — неверно. Отец приказал мне учиться в томском университете на врача или адвоката, но я уехал в Москву, решив, что пойду в прокуратуру. Отец отказал мне в помощи. Учиться я любил, профессора относились ко мне благосклонно, предлагали остаться при университете. Но на четвертом курсе я женился, жена из солидной судейской семьи, отец ее — прокурор в провинции, дядя — профессор. Имел сына, он помер на пятом году. Честный был, прямодушный человечек. Запрещал матери целовать его. «У тебя, говорит, губы в мыле». Мылом он называл помаду. «Ты, говорит, мама, кричишь на папу, как на повара». Повара он терпеть не мог. После его смерти с женой разошелся.

Тагильский вдруг резко встряхнулся на стуле, заморгав глазами и торопливо проговорил:

— Вы извините мне... этот монолог...

— Полноте, что вы! — воскликнул Самгин, уверенно чувствуя себя человеком более значительным и сильным, чем гость его. — Я слушал с глубоким интересом. И, говоря правду, мне очень приятно, лестно, что вы так...

— Ну, и прочее, — прервал его Тагильский, подняв бокал на уровень рта. — Ваше здоровье!

Выпил, чмокнул, погладил щеки ладонями и шумно вздохнул.

— Как видите, пред вами — типичный неудачник. Почему? Надо вам сказать, что мою способность развязывать процессуальные узлы, путаницу понятий начальство весьма ценит, и если б не это, так меня давно бы уже вышибли из седла за строптивость характера и любовь к обнажению противоречий. В практике юристов важны не люди, а нормы, догмы, понятия, — это вам должно быть известно. Люди, с их деяниями, потребны только

для проверки стойкости понятий и для вящего укрепления оных.

Тагильский встал, подошел к окну, подышал на стекло, написал пальцем икс, игрек и невнятно произнес:

— А люди построены на двух противоречивых началах, биологическом и социальном. Первое повелительно диктует: стой на своем месте и всячески укрепляй оное, иначе — соседи свергнут во прах. А социальное начало требует тесного контакта с соседями по классу. Вот уже и — причина многих скандалов. Кроме того, существует насилие класса и месть его. Вы, интеллигент в третьем поколении, едва ли поймете, в чем тут заковыка. Я же вот отлично понимаю, что мой путь через двадцать лет должен кончиться в кассационном департаменте сената, это — самое меньшее, чего я в силах достичь. Но обстановочка министерства юстиции мне противна. Органически противна. Противно — все: люди, понятия, намерения, дела. — Бормотал он все более невнятно.

«Пьянеет, — решил Самгин, усмехаясь и чувствуя, что устал от этого человека. — Человек чужого стиля. По фигуре, по тому, как он ест, пьет, он должен быть весельчаком».

Опасаясь, что гость внезапно обернется и заметит усмешку на его лице, Самгин погасил ее.

«Сын содержателя дома терпимости — сенатор».

Снова вспомнилось, каким индюком держался Тагильский в компании Прейса. Вероятно, и тогда уже он наметил себе путь в сенат. Грубоватый Поярков сказал ему: «Считать — нужно, однако не забывая, что посредством бухгалтерии революцию не сделаешь». Затем он говорил, что особенное пристрастие к цифрам обнаруживают вульгаризаторы Маркса и что Маркс не просто экономист, а основоположник научно обоснованной философии экономики.

Товарищ прокурора откатился в угол, сел в кресло, продолжая говорить, почесывая пальцами лоб.

Самгин, отвлеченный воспоминаниями, слушал невнимательно, полудремотно и вдруг был разбужен странной фразой:

— Душа, маленькая, как драгоценный камень.

— Простите, это — у кого?

— У Сомовой. За год перед этим я ее встретил у одной теософки, есть такая глупенькая, тощая и тщеславная бабенка, очень богата и влиятельна в некоторых кругах. И вот пришлось встретиться в камере «Крестов», — она подала жалобу на грубое обращение и на отказ поместить ее в больницу.

— Сомову?

— Да.

«Я ее знал», — хотел сказать Самгин, но воздержался.

— Акулька, — нормальным голосом, очень звонко произнес Тагильский. Тонкий мастер внешних наблюдений, Самгин отметил, что его улыбка так тяжела, как будто мускулы лица сопротивляются ей. И она совершенно закрывает маленькие глазки Тагильского.

— Знаете Акульку? Игрушка, выточенная из дерева, а в ней еще такая же и еще, штук шесть таких, а в последней, самой маленькой — деревянный шарик, он уже не раскрывается. Я имел поручение открыть его. Девица эта организовала побег из ссылки для одного весьма солидного товарища. И вообще — девица, осведомленная в конспиративной технике. Арестовали ее на явочной квартире, и уже третий раз. Я ожидал встретить эдакую сердитую волчицу и увидел действительно большую фигурку, однолюбку революционной идеи, едва ли даже понятой ею, но освоенной эмоционально, как верование.

Тагильский вздохнул и проговорил как будто с сожалением:

— Такие — не редки, чорт их возьми. Одну — Ванскок, Анну Скокову — весьма хорошо изобразил Лесков в романе «На ножах», — читали?

— Нет, — сказал Самгин, слушая внимательно.

— Плохо написанная, но интересная книга. Появилась на год, на два раньше «Бесов». «Взбаламученное море» Писемского тоже, кажется, явилось раньше книги Достоевского?

— Не помню.

— Ну, чорт с ним, с Достоевским, не люблю!

«Должен бы любить», — подумал Самгин.

— Так вот, Акулька. Некрасива, маленькая, но обладает эдакой... внутренней миловидностью... Умненькая

душа, и в глазах этакая нежность... нежность няньки, для которой люди прежде всего — младенцы, обреченные на трудную жизнь. Поэтому сия революционная девица сказала мне: «Я вас вызвала, чтоб вы распорядились перевести меня в больницу, у меня — рак, а вы — допрашиваете меня. Это — нехорошо, нечестно. Вы же знаете, что я ничего не скажу. И — как вам не стыдно быть прокурором в эти дни, когда Столыпин...» ну, и так далее. Почему-то прибавила, что я умный, добрый и посему — особенно должен стыдиться. Вообще — отчитала меня, как покойника. Это был момент глубоко юмористический. Разумеется, я сказал ей, что прокурор обязан быть умным, а доброта его есть необходимая по должности справедливость. Лицо ее сделалось удивительно скучным. И мне тоже стало скучно. Ну, откланялся и ушел. Тут и сказке конец.

— А она? — спросил Самгин, наблюдая, как Тагильский ловит папиросу в портсигаре.

— А ее вскоре съел рак.

Тагильский встал и, подходя к столу, проговорил вполголоса:

— Утомил я вас рассказами. Бывают такие капризы памяти, — продолжал он, разливая вино по стаканам. — Иногда вспоминают, вероятно, для того, чтоб скорее забыть. Разгрузить память.

Он протянул руку Самгину, в то же время прихлебывая из стакана.

— Ну, я — ухожу. Спасибо... за внимание. Родился я до того, как отец стал трактирщиком, он был грузчиком на вагонном дворе, когда я родился. Трактир он завел, должно быть, на какие-то темные деньги.

В прихожей, одеваясь, он снова заговорил:

— Воспитывают нас как мыслящие машинки и — не на фактах, а для искажения фактов. На понятиях, но не на логике, а на мистике понятий и против логики фактов.

Самгин осторожно заметил:

— Воспитывают как носителей энергии, творщей культуру...

— Ну-у — где там? Культура создается по предуказаниям торговцев колониальными товарами.

— Кормите вы — хорошо, — сказал он на прощание.

— Очень рад, что нравится. Заходите.

— Не премину.

Самгин посмотрел в окно, как невысокая, плотненькая фигурка, шагая быстро и мелко, переходит улицу, и, протирая стекла очков куском замши, спросил себя:

«Почему необходимо, чтоб этот и раньше неприятный, а теперь подозрительный человек снова встал на моем пути?»

Но тотчас же подумал:

«Жаловаться — не на что. Он — едва ли хитрит. Как будто даже и не очень умен. О Любаше он, вероятно, выдумал, это — литература. И — плохая. В конце концов он все-таки неприятный человек. Изменился? Изменяются люди... без внутреннего стержня. Дешевые люди».

Мелькнула догадка, что в настроении Тагильского есть что-то общее с настроением Макарова, Инокова. Но о Тагильском уже не хотелось думать, и, торопясь покончить с ним, Самгин решил:

«Должно быть [боролся против] каких-то мелких противозаконностей, подлостей и — устал. Или — испугался».

Мелкие мысли одолевали его, он закурил, прилег на диван, прислушался: город жил тихо, лишь где-то у соседей стучал топор, как бы срубая дерево с корня, глухой звук этот странно был похож на ленивый лай большой собаки и медленный, мерный шаг тяжелых ног.

«Смир-рно-о!» — вспомнил он командующий крик унтер-офицера, учившего солдат. Давно, в детстве, слышал он этот крик. Затем вспомнилась горбатенькая девочка: «Да — что вы озорничаете?» «А, может, мальчика-то и не было?»

«Да, очевидно, не было Тагильского, каким он казался мне. И — Марины не было. Наверное, ее житейская практика была преступна, это вполне естественно в мире, где работают Бердниковы».

Он закрыл глаза, представил себе Марину обнаженной.

«Медные глаза... Да, в ней было что-то металлическое. Не допускаю, чтоб она говорила обо мне — так... как сообщил этот идиот. Медные глаза — не его слово».

И — вслед за этим Самгин должен был признать, что Безбедов вообще не способен выдумать ничего. Вспыхнуло негодование против Марины.

«Варавка в юбке».

Вино, выпитое за обедом, путало мысли, разрывало их.

Выскользнули в памяти слова товарища прокурора о насилии, о мести класса.

«Что он хотел сказать?»

За стеклами шкафа блеснули золотые надписи на корешках книг, в стекле отражался дым папиросы. И, стремясь возвыситься над испытанным за этот день, — возвыситься посредством самонасыщения словесной мудростью, — Самгин повторил про себя фразы недавно прочитанного в либеральной газете фельетона о текущей литературе; фразы звучали по-новому задорно, в них говорилось «о духовной нищете людей, которым жизнь кажется простой, понятной», о «величии мучеников независимой мысли, которые свою духовную свободу ценят выше всех соблазнов мира». «Человек — общественное животное? Да, если он — животное, а не создатель легенд, не способен быть творцом гармонии в своей таинственной душе».

На этом Самгин задремал и уснул, а проснулся только затем, чтобы раздеться и лечь в постель.

Следующий день с утра до вечера он провел в ожидании каких-то визитов, событий.

«В городе, наверное, говорят пошлости о моем отношении к Марине».

Он впервые пожалел о том, что, слишком поглощенный ею, не создал ни в обществе, ни среди адвокатов прочных связей. У него не было желания поискать в шести десятках [тысяч] жителей города, одного или двух хотя бы менее интересных, чем Зотова. Он был уверен, что достаточно хорошо изучил провинциалов во время поездок по делам московского патрона и Марины. Большинство адвокатов — старые судейские волки, картежники, гурманы, театралы, вполне похожие на людей, избранных Боборыкиным в романе «На ущербе». Молодая адвокатура — щеголи, «кадеты», двое проповедуют модернистские течения в искусстве, один — неплохо

играет на виолончели, а все трое вместе — яростные винтеры. Изредка Самгин приглашал их к себе, и, так как он играл плохо, игроки приводили с собою четвертого, старика со стеклянными глазами, одного из членов окружного суда. Был он человек длинный, тощий, угрюмый, горбоносый, с большой бородой клином, имел что-то общее с голенастой птицей, одноглазие сделало шею его удивительно вертявой, гибкой, он почти непрерывно качал головой и был знаменит тем, что изучил все карточные игры Европы.

От этих людей Самгин знал, что в городе его считают «столичной штучкой», гордецом и нелюдимом, у которого есть причины жить одиноко, подозревают в нем человека убеждений крайних и, напуганные событиями пятого года, не стремятся к более близкому знакомству с человеком из бунтовавшей Москвы. Все это Самгин припомнил вечером, гуляя по знакомым, многократно исхоженным улицам города. В холодном, голубоватом воздухе звучал благовест ко всенощной службе, удары колоколов, догоняя друг друга, сливались в медный гул, он настраивал лирически, миролюбиво. Луна четко освещала купеческие особняки, разъединенные дворами, садами и связанные плотными заборами, сияли золотые главы церквей и кресты на них. За двойными рамами кое-где светились желтенькие огни, но окна большинства домов были не освещены, привычная, стойкая жизнь бесшумно шевелилась в задних комнатах. Самгин не впервые подумал, что в этих крепко построенных домах живут скучноватые, но, в сущности, неглупые люди, живут недолго, лет шестьдесят, начинают думать поздно и за всю жизнь не ставят пред собою вопросов — божество или человечество, вопросов о достоверности знания, о...

«Я тоже не решаю этих вопросов», — напомнил он себе, но не спросил — почему? — а подумал, что, вероятно, вот так же отдыхала французская провинция после 1795 года. Прошел мимо плохонького театра, построенного помещиком еще до «эпохи великих реформ», мимо дворянского собрания, купеческого клуба, повернул в широкую улицу дворянских особняков и нерешительно задержал шаг, приближаясь к двухэтажному каменному дому, с тремя колоннами по фасаду и с вывеской на во-

ротах: «Белошвейная мастерская мадам Ларисы Нольде». Вспомнил двустеги:

Не очень много шили там,
И не в шитье была там сила.

Там, среди других, была Анюта, светловолосая, мягкая и теплая, точно парное молоко. Серенькие ее глаза улыбались детски ласково и робко, и эта улыбка странно не совпадала с ее профессиональной опытностью. Очень забавная девица. В одну из ночей она, лежа с ним в постели, попросила:

— Подарите мне новейший песенник! Такой, знаете, толстый, с картинкой на обложке, — хоровод девицы водят. Я его в магазине видела, да — постеснялась зайти купить.

Он спросил: почему — песенник? Она любит стихи?

— Нет, стихов — не люблю, очень трудно понимать. Я люблю простые песни.

И тихонько, слабеньким голосом, она пропела две песни, одну, пошлую, Самгин отверг, а другую даже записал. На его вопрос — любила Анюта кого-нибудь? — она ответила:

— Нет, не случалось. Знаете, в нашем деле любовь приедается. Хотя иные девицы заводят «кредитных», вроде как любовников, и денег с них не берут, но это только так, для игры, для развлечения от скуки.

Потом он спросил: бывает ли, что мужчины грубо обращаются с нею? Она как будто немножко обиделась.

— За что же грубить? Я — ласковая, хорошенькая, пьяной — не бываю. Дом у нас приличный, вы сами знаете. Гости — очень известные, скандалить — стесняются. Нет, у нас — тихо. Даже — скучно бывает.

Говорила она стоя перед зеркалом, заплетая в косу обильные и мягкие светлорусые волосы, голая, точно куриное яйцо.

— А вот во время революции интересно было, новые гости приходили, такое, знаете, оживление. Один, совсем молодой человек, замечательно плясал, просто — как в цирке. Но он какие-то деньги украл, и пришла полиция арестовать его, тогда он выбежал на двор и — трах! Застрелился. Такой легкий был, ловкий.

«Я мог бы написать рассказ об этой девице, — подумал Самгин. — Но у нас, по милости Достоевского, так много написано и пишется о проститутках. «Милость к падшим». А падшие не чувствуют себя таковыми и в нашей милости — не нуждаются».

Он вышел на берег реки, покрытой серой чешуей ледяного «сала». Вода, прибывая, тихонько терлась о засоренный берег, поскрипывал руль небольшой баржи, покачивалась ее мачта, и где-то близко ритмически стонали невидимые люди:

— О-ой — раз, еще раз...

Здесь особенно чувствовалась поздняя осень, воздух пропитан тяжелым, сырым холодом.

Через полчаса Самгин сидел в зале купеческого клуба, слушая лекцию приват-доцента Аркадия Пыльникова о «культурных задачах демократии». Когда Самгин вошел и сел в шестой ряд стульев, доцент Пыльников говорил, что «пошловато-зеленые сборники «Знания» отжили свой краткий век, успев однако посеять все эстетически и философски малограмотное, политически вредное, что они могли посеять, засорив, на время, мудрые, незабвенные произведения гениев русской литературы, бессмертных сердцеведов, в совершенстве обладавших чарующей магией слова».

Доцент был среднего роста, сытенький, широкобедный, лысоватый, с большими красными ушами и бородкой короля Генриха IV.

Шаркая лаковыми ботинками, дрыгая ляжками, отталкивал ими фалды фрака, и ягодицы его казались окрыленными. Правую руку он протягивал публичке, как бы на помощь ей, в левой держал листочки бумаги и, размахивая ею, как носовым платком, изредка приближал ее к лицу. Говорил он легко, с явной радостью, с улыбками на добродушном, плоском лице.

— Тон и смысл городской, культурной жизни, окраску ее давала та часть философски мощной интеллигенции, которая [шла] по пути, указанному Герценом, Белинским и другими, чьи громкие имена известны вам. Именно эта интеллигенция, возглавляемая Павлом Николаевичем Милюковым, человеком исключительной политической прозорливости, задолго до того, как сложиться в мощную

партию конституционалистов-демократов, самозабвенно вела работу культурного воспитания нашей страны. Была издана замечательная «Программа домашнего чтения», организовано издание классиков современной радикально-демократической мысли, именитые профессора ездили по провинции, читая лекции по вопросам культуры. Цель этой разнообразной и упорной работы сводилась к тому, чтоб воспитать русского обывателя европейцем и чтоб молодежь могла противостоять морально разрушительному влиянию людей, которые, грубо приняв на веру спорное учение Маркса, толкали студенчество в среду рабочих с проповедью анархизма. Вы знаете, чего стоила народу эта безумная игра, эта игра авантюристов...

Самгин сидел на крайнем стуле у прохода и хорошо видел перед собою пять рядов внимательных затылков женщин и мужчин. Люди первых рядов сидели не очень густо, разделенные пустотами, за спиною Самгина их было еще меньше. На хорах не более полусотни безмолвных.

«Три года назад с хор освистали бы лектора», — скучно подумал он. И вообще было скучно, хотя лектор говорил все более радостно.

— Создателем действительных культурных ценностей всегда был инстинкт собственности, и Маркс вовсе не отрицал этого. Все великие умы благоговели пред собственностью, как основой культуры, — возгласил доцент Пыльников, щупая правой рукою графин с водой и все размахивая левой, но уже не с бумажками в ней, а с какой-то зеленой книжкой.

— К чему ведет нас безответственный критицизм? — спросил он и, шелкнув пальцами правой руки по книжке, продолжал: — Эта книжка озаглавлена «Исповедь человека XX века». Автор, некто Ихоров, учит: «Сделай в самом себе лабораторию и разлагай в себе все человеческие желания, весь человеческий опыт прошлого». Он прочитал «Слепых» Метерлинка и сделал вывод: все человечество слепо.

Тут с хор как бы упали густо, грубо и медленно сказанные слова:

— Ну, это — неверно! Воруем и воюем, как зрячие.

Лектор взмахнул головой, многие из публики тоже подняли головы вверх, в зале раздалось шипение, точно лопнуло что-то, человек пять встали и пошли к двери.

«Возможен скандал», — сообразил Самгин и тоже ушел, вдруг почувствовав раздражение против лектора, находя, что его фразы пошловаты и компрометируют очень серьезные, очень веские мысли. Он, Самгин, мог бы сказать на темы, затронутые доцентом Пыльниковым, нечто более острое и значительное. Особенно раздражали: выпад против критицизма и неуместная, глуповатая цитата из зеленой книжки.

«Надо пречитать, — что это такое?» — решил он.

Обиженно подумалось о том, что его обгоняют, заскакивая вперед, мелкие люди, одержимые страстью проповедовать, поучать, исповедоваться, какие-то пустые люди, какие-то мыльные пузыри, поверхностно отражающие радужную пестроту мышления. Он шел, поеживаясь от холода, и думал:

«Мне уже скоро сорок лет. Это — более чем половина жизни. С детства за мною признавались исключительные способности. Всю жизнь я испытываю священную неудовлетворенность событиями, людьми, самим собою. Эта неудовлетворенность может быть только признаком большой духовной силы».

Это не успокоило его так легко, как успокаивало раньше.

«Вся жизнь моя — цепь бессвязных случайностей, — подумал он. — Именно — цепь...»

Дня три он прожил в непривычном настроении досады на себя, в ожидании событий. Дела Марины не требовали в суд, не вызывали и его лично. И Тагильский не являлся.

«Идиоты», — ругался он и думал, что, пожалуй, нужно уехать из этого города.

«Интеллигенция — кочевое племя. Хорошо, что у меня нет семьи».

Тагильский пришел к обеду, и первым его словом было:

— Покормите?

Он явился в каком-то затейливом, сером сюртуке, похожем на мундир, и этот костюм сделал его выше ро-

стом, благообразней. Настроен он был весело, таким Самгин еще не наблюдал его.

— Удивляюсь, как вас занесло в такое захолустье, — говорил он, рассматривая книги в шкафе. — Тут даже прокурор до того одичал, что Верхарна с Ведекиндом смешивает. Погибает от диабета. Губернатор уверен, что Короленко — родоначальник всех событий девятьсот пятидесяти года. Директриса гимназии доказывает, что граммофон и кинематограф утверждают веру в привидения, в загробную жизнь и вообще — в чертовщину.

И, взглянув на хозяина через плечо, он вдруг спросил:

— А — Безбедов-то, слышали?

— Что?

— Помер.

— От чего? — тревожно воскликнул Самгин.

— Паралич сердца.

— Он казался вполне здоровым.

— Сердце — коварный орган, — сказал Тагильский.

— Очень странная смерть, — откликнулся Самгин, все так же тревожно и не понимая причин тревоги.

— Умная смерть, — решительно объявил товарищ прокурора. — Ею вполне удобно и законно разрешается дело Зотовой. Единственный наследник, он же и подозреваемый в убийстве, — устранился. Выморочное имущество поступает в казну, и около его кто-то погreet ловкие руки. Люди, заинтересованные в громких уголовных процессах, как, например, процесс Тальма, убийство генеральши Болдыревой в Пензе, процесс братьев Святских в Полтаве, — проиграли. А также проиграли и те, кому захотелось бы сострять политический процесс на почве уголовного преступления.

Постучав пальцем в стекло шкафа, он заговорил небрежной, как бы шутя:

— Смерть Безбедова и для вас полезна, ведь вам пришлось бы участвовать в судебном следствии свидетелем, если бы вы не выступили защитником. И — знаете: возможно, что прокурор отвел бы вас как защитника.

«Он меня чем-то пугает», — догадался Самгин и спросил: — Почему?

Тагильский бесцеремонно зевнул, сообщил, что ночь, до пяти часов утра, он работал, и продолжал сорить словами.

— В городе есть слухок о ваших интимных отношениях с убитой. Кстати: этим объясняется ваша уединенная жизнь. Вас будто бы стесняло положение фаворита богатой вдовы...

Самгин понял, что здесь следует возмутиться, и возмутился:

— Какое идиотство!

А Тагильский, усаживаясь, долбил, как дятел:

— К тому же: не думайте, что департамент полиции способен что-нибудь забыть, нет, это почтенное учреждение обладает свойством вечной памяти.

— Что вы хотите сказать? — спросил Самгин, поправив очки, хотя они не требовали этого.

— Представьте, что некто, в беседе с приятелем, воздал должное вашему поведению во дни Московского восстания.

Укрепляя салфетку на груди, он объяснил:

— Я говорю не о доносе, а о похвале.

«Жулик», — мысленно обругал Самгин гостя, глядя в лицо его, но лицо было настолько заинтересовано ловлей маринованного рыжика в тарелке, что Самгин подумал: «А может быть, просто болтун». — Вслух он сказал, стараясь придать словам небрежный тон:

— Мое участие в Московском восстании объясняется топографией места — я жил в доме между двумя баррикадами.

И, боясь, что сказал нечто лишнее, он добавил:

— Разумеется, я не оправдываюсь, а объясняю.

Но Тагильский, видимо, не нуждался ни в оправданиях, ни в объяснениях, наклонив голову, он тщательно размешивал вилкой уксус и горчицу в тарелке, потом стал вилкой гонять грибы по этой жидкости, потом налил водки, кивнул головой хозяину и, проглотив водку, вкусно крикнув, отправив в рот несколько грибов, посапывая носом, разжевал, проглотил грибы и тогда, наливая по второй, заговорил наконец:

— Я был в Мюнхене, когда началось это... необыкновенное происшествие и газеты закричали о нем как о переезде с французского.

Выпил еще рюмку.

— Не верилось. Москва? Сытая, толстая, самодовлеющая, глубоко провинциальная, партикулярная Москва

делает революцию? Фантастика. И — однако оказалась самая суровая реальность.

Наливая суп в тарелку, он продолжал оживленнее:

— Я не знаю, какова роль большевиков в этом акте, но должен признать, что они — враги, каких... дай бог всякому! По должности я имел удовольствие — говорю без иронии! — удовольствие познакомиться с показаниями некоторых, а кое с кем беседовать лично. В частности — с Поярковым, — помните?

— Да.

— Его сослали на пять лет куда-то далеко. Бежал. Большевик, — волевой тип, крайне полезный в стране, где люди быстро устают болтаться между да и нет. Эстеты и любители приличного школьного мышления находят политическое учение Ленина примитивно грубым. Но если читать его внимательно и честно — эх, чорт возьми! — Тагильский оборвал фразу, потому что опрокинул на стол рюмку, только что наполненную водкой. Самгин положил ложку, снял салфетку с шеи, чувствуя, что у него пропал аппетит и что в нем закипает злоба против этого человека.

«Он ловит меня. Лжет. Издевается. Свинья».

— Вы, Антон Никифорович, удивляете меня, — начал он, а Тагильский, снова наполняя рюмку, шутовато проговорил:

— Не ожидал, что удивлю, и удивлен, что удивил.

Самгин, сдерживая озлобление, готовил убийственный вопрос:

«Как можете вы, представитель закона, говорить спокойно и почти хвалебно о проповеднике учения, которое отрицает основные законы государства?»

А Тагильский съел суп, отрезал кусок сыра и, намазывая хлеб маслом, сообщил:

— Сюда приехал сотрудник какой-то московской газеты, разносывает — как, что, кто — кого? Вероятно — сунется к вам. Советую — не принимайте. Это мне сообщил некто Пыльников, Аркашка, человечек всезнающий и болтливый, как бубенчик. Кандидат в «учителя жизни», — есть такой род занятий, не зарегистрированный ремесленной управой. Из новгородских дворян, дядя его где-то около Новгорода унитазы и урильники строит.

«Все это следовало бы сказать смеясь или озлобленно», — отметил Самгин.

— Редкий тип совершенно счастливого человека. Женат на племяннице какого-то архиерея, жену зовут — Агафья, а в словаре Брокгауза сказано: «Агафья — имя святой, действительное существование которой сомнительно».

Артистически насыщаясь, Тагильский болтал все топливее, и Самгин не находил места, куда ткнуть свой ядовитый вопрос, да и сообщение о сотруднике газеты, понизив его злость, снова обострило тревожный интерес к Тагильскому. Он чувствовал, что человек этот все более сбивает его с толка.

Люди были интересны Самгину настолько, насколько он, присматриваясь к ним, видел себя не похожим на них. Он довольно быстро находил и определял основную систему фраз, в которую тот или другой человек привык укладывать свой опыт. Он видел, что наиболее легко воспринимаются и врастают в память идеи и образы художественной литературы и критические оценки ее идей, образов. На основе этих идей и суждений он устанавливал свое различие от каждого и пытался установить свою независимость от всех. Тагильский был противоречив, неуловим, но иногда и все чаще в его словах звучало что-то знакомое, хотя обидно искаженное. И как будто Тагильский, тоже чувствуя это неуловимое сходство, дразнил им Самгина.

Вот он кончил наслаждаться телятиной, аккуратно, как парижанин, собрал с тарелки остатки соуса куском хлеба, отправил в рот, проглотил, запил вином, благодарно пошлепал ладонями по щекам своим. Все это почти не мешало ему извергать звонкие словечки, и можно было думать, что пища, попадая в его желудок, тотчас же переваривается в слова. Откинув плечи на спинку стула, сунув руки в карманы брюк, он говорил:

— Почему вы живете здесь? Жить нужно в Петербурге, или — в Москве, но это — на худой конец. Переезжайте в Петербург. У меня там есть хороший знакомый, видный адвокат, неославянофил, то есть империалист, патриот, немножко — идиот, в общем — <скот>. Он мне кое-чем обязан, и хотя у него, кажется,

трое сотрудников, но и вам нашлась бы хорошая работа. Переезжайте.

— Я подумаю, — сказал Самгин и подумал: «Кому-то нужно, чтоб я уехал отсюда».

Затем — спросил о работе:

— Хорошая, в смысле гонорара?

— Ну, а — какой же иной смысл? Защита униженных и оскорбленных, утверждение справедливости? Это рекомендуется профессорами на факультетских лекциях, но, как вы знаете, практического значения не может иметь.

Он тотчас же рассказал: некий наивный юрист представил Столыпину записку, в которой доказывалось, что аграрным движением руководили богатые мужики, что это была война «кулаков» с помещиками, что велась она силами бедноты и весьма предусмотрительно; при дележе завоеванного мелкие вещи высокой цены, поступая в руки кулаков, бесследно исчезали, а вещи крупного объема, оказываясь на дворах и в избах бедняков, служили для начальников карательных отрядов отличным указанием, кто преступник. Столыпин, ознакомясь с этой запиской, распорядился: «Выслать юмориста в Сибирь, подальше». Но юмориста уже задавили лошади пожарной команды, когда он ехал из бани домой. Самгин выслушал рассказ как один из анекдотов, которые сочиняются для того, чтоб иллюстрировать глупость администраторов.

«Старинная традиция «критически мыслящих», — думал он. — Странно, что и этот не свободен от анекдота...»

Его отношение к Тагильскому в этот день колебалось особенно резко и утомительно. Озлобление против гостя истлело, не успев разгореться, неприятная мысль о том, что Тагильский нашел что-то сходное между ним и собою, уступило место размышлению: почему Тагильский уговаривает переехать в Петербург? Он не первый раз демонстрирует доброжелательное отношение ко мне, но — почему? Это так волновало, что даже мелькнуло намерение: поставить вопрос вслух, в лоб товарищу прокурора.

Но красненькие и мутноватые, должно быть, пьяные глаза Тагильского — недобрые глаза. Близорукость Самгина мешала ему определить выражение этих глаз с необходимой точностью. И даже цвет их как будто изменялся

в зависимости от света, как изменяется перламутр. Однако почти всегда в них есть нечто остренькое.

«Глаза лгуна», — с досадой определил Самгин и заметил:

— Вы сегодня хорошо настроены.

— Заметно? — спросил Тагильский. — Но я ведь вообще человек... не тяжелых настроений. А сегодня рад, что это дельце будет сдано в архив.

Он встал, широко размахнул руками, и это заставило Самгина [вспомнить] ироническое восклицание, вызываемое хвастовством: «Руки коротки!»

«Ведет себя бесцеремонно, как студент», — продолжал Самгин наблюдать и взвешивать, а Тагильский, снова тихонько и ласково похлопав себя по щекам ладонями, закружился по комнате, говоря:

— Люблю противоречить. С детства приучился. Иногда, за неимением лучшего объекта, сам себе противоречу.

«Я еще не видал, как он смеется», — вспомнил Самгин, прислушиваясь к ленивеньким словам.

— К добру эта привычка не приведет меня. Я уже человек скомпрометированный, — высказал несколько неосторожных замечаний по поводу намерения Столыпина арестовать рабочих — депутатов Думы. В нашем министерстве искали, как бы придать беззаконию окраску законности. Получил внушение с предупреждением.

Тагильский остановился, вынул папиросу, замолчал, разминая ее пальцами.

«Видимо — ему что-то нужно от меня, иначе — зачем бы он откровенничал?» — подумал Самгин, подавая ему спички.

Тагильский, кивнув головой, взял спички, папироса — сломалась, он сунул ее в пепельницу, а спички — в карман себе и продолжал:

— Послан сюда для испытания трезвости ума и благонамеренности поведения. Но, кажется, не оправдал надежд. Впрочем, я об этом уже говорил.

Присев к столу, снова помолчал, закурил не торопясь.

— Думаю — подать в отставку. К вам, адвокатам, не пойду, — неуютно будет мне в сонме... профессиональных либералов, — пардон! Предпочитаю частную службу.

В промышленности. Где-нибудь на Урале или за Уралом. Вы на Урале бывали?

— Нет.

— Эх, — вздохнул Тагильский и стал рассказывать о красотах Урала даже с некоторым жаром. Нечто поддразнивающее исчезло в его словах и в тоне, но Самгин настороженно ожидал, что оно снова явится. Гость раздражал и утомлял обилием слов. Все, что он говорил, воспринималось хозяином как фальшивое и как предисловие к чему-то более важному. Вдруг встал вопрос:

«А — как бы я вел себя на его месте?»

Вопрос был неприятен так же, как неожидан, и Самгин тотчас погасил его, строго сказав себе:

«Между нами нет ничего общего».

А Тагильский, покуривая, дирижируя папиросой, разрисовывая воздух голубыми узорами дыма, говорил:

— Коренной сибиряк более примитивен, более серьезно и успешно занят делом самоутверждения в жизни. Толстовцы и всякие кающиеся и вообще болтуны там — не водятся. Там понимают, что ежели основной закон бытия — борьба, так всякое я имеет право на бесстыдство и жестокость.

— Гм, — произнес Самгин.

— Да, да, понимают!

Теперь, когда Тагильский перешел от пейзажа к жанру, внимание к его словам заострилось еще более и оно уже ставило пред собою определенную цель: оспорить сходство мысли, найти и утвердить различие.

— «Во гресех роди мя мати моя», с нее и взыскивайте, — а я обязан грешить, — слышал он. — А здесь вот вчера Аркашка Пыльников...

— Он еще здесь?

— Да. Он прибыл сюда не столько для просвещения умов, как на свадьбу сестры своей, курсисточки, она вышла замуж за сына первейшего здешнего богача Едкова, Ездокова...

— Извекова, — поправил Самгин.

— Пусть будет так, если это еще хуже, — сказал Тагильский. — Так вот Аркашка, после свадебного пира, открывал сердце свое пред полупьяным купечеством, развивая пред Разуваевыми тему будущей лекции своей:

«Религия как регулятор поведения». Перечислил, по докладу Мережковского в «Религиозно-философском собрании», все грехи Толстого против религии, науки, искусства, напомнил его заявление Льва, чтоб «затянули на старом горле его намыленную петлю», и объяснил все это болезнью совести. Совесть. Затем выразил пламенное убеждение, что Русь неизбежно придет к теократической организации государства, и вообще наболтал чорт знает чего.

Он встал, чтоб сунуть окурок в пепельницу, и опрокинул ее.

«Пьян», — решил Самгин.

— Однако купцы слушали его, точно он им рассказывал об операциях министерства финансов. Конечно, удивление невежд — стоит дешево, но — интеллигенция-то как испугалась, Самгин, а? — спросил он, раздвинув рот, обнажив желтые зубы. — Я не про Аркашку, он — дурак, дураки ничего не боятся, это по сказкам известно. Я вообще про интеллигентов. Испугались. Литераторы как завывали, а?

Вынув часы из кармана жилета, глядя на циферблат, он продолжал лениво:

— Достоевский считал характернейшей особенностью интеллигенции — и Толстого — неистовую, иступленную прямолинейность грузного, тяжелого русского ума. Чепуха. Где она — прямолинейность? Там, где она есть, ее можно объяснить именно страхом. Испугались и — бегут прямо, «куда глаза глядят». Вот и все.

Он встал, покачнулся.

— Ну, я наговорил... достаточно. На полгода, а? — спросил он, громко хлопнув крышкой часов. — Слушатель вы... идеальный! Это вы — прячетесь в молчании или — это от презрения?

— Вы интересно говорили, — ответил Самгин, Тагильский подошел вплоть к нему и сказал нечто неожиданное:

— Возможно, что я более, чем другие подобные, актер для себя, — другие, и в их числе Гоголи, Достоевские, Толстые.

Он снова показал желтые зубы.

— Это — плохо, я знаю. Плохо, когда человек во что

бы то ни стало хочет нравиться сам себе, потому что встревожен вопросом: не дурак ли он? И догадывается, что ведь если не дурак, тогда эта игра с самим собой, для себя самого, может сделать человека еще хуже, чем он есть. Понимаете, какая штука?

— Не совсем, — сказал Самгин.

Тагильский махнул рукой:

— Не верю. Понимаете. Приезжайте в Петербург. Seriously советую. Здесь — дико. Завтра уезжаю...

Он оставил Самгина в состоянии неиспытанно тяжелой усталости, измученным напряжением, в котором держал его Тагильский. Он свалился на диван, закрыл глаза и некоторое время, не думая ни о чем, вслушивался в смысл неожиданных слов — «актер для себя», «игра с самим собой». Затем, постепенно и быстро восстанавливая в памяти все сказанное Тагильским за три визита, Самгин попробовал успокоить себя:

«Это — верно: он — актер. Для себя? Конечно — нет, он актер для меня, для игры со мной. И вообще — со всяким, с кем эта игра интересна. Почему она интересна со мной?»

Пред ним почти физически ощутимо колебалась кругленькая, плотная фигурка, розовые кисти коротеньких рук, ласковое поглаживание лица ладонями, а лицо — некрасиво, туго наполненное жиром, неподвижное. И неприличные, красненькие глазки пьяницы.

«Фигура и лицо комика, но ничего смешного в нем не чувствуется. Он — злой и не скрывает этого. Он — опасный человек». Но, проверив свои впечатления, Самгин должен был признать, что ему что-то нравится в этом человеке.

«Я не мало встречал болтунов, иногда они возбуждали у меня чувство, близкое зависти. Чему я завидовал? Уменью связывать все противоречия мысли в одну цепь, освещать их каким-то одним своим огоньком. В сущности, это насилие над свободой мысли и зависть к насилию — глупа. Но этот...» — Самгин был неприятно удивлен своим открытием, но чем больше думал о Тагильском, тем более убеждался, что сын трактирщика приятен ему. «Чем? Интеллигент в первом поколении? Любовью к противоречиям? Злостью? Нет. Это — не то».

Об «актере для себя», об «игре с собою» он не вспомнил.

С мыслями, которые очень беспокоили его, Самгин не привык возиться и весьма легко отталкивал их. Но воспоминания о Тагильском держались в нем прочно, он пересматривал их путаницу охотно и убеждался, что от Тагильского осталось в нем гораздо больше, чем от Лютова и других любителей пестренькой домашней словесности.

В течение ближайших дней он убедился, что действительно ему не следует жить в этом городе. Было ясно: в адвокатуре местной, да, кажется, и у некоторых обывателей, подозрительное и враждебное отношение к нему — усилилось. Здоровались с ним так, как будто, снимая шапку, оказывали этим милость, не заслуженную им. Один из помощников, которые приходили к нему играть в винт, ответил на его приглашение сухим отказом. А Гудим, встретив его в коридоре суда, крикнул и спросил: — Этот, прокурорчик из Петербурга, давно знаком вам?

— Да.

— Угу! Морозище какой сегодня!

«Ну и — чорт с тобой, старый дурак, — подумал Самгин и усмехнулся: — Должно быть, Тагильский в самом деле насолил им».

К людям он относился достаточно пренебрежительно, для того чтоб не очень обижаться на них, но они настойчиво показывали ему, что он — лишний в этом городе. Особенно демонстративно действовали судейские, чуть не каждый день возлагая на него казенные защиты по мелким уголовным делам и задерживая его гражданские процессы. Все это заставило его отобрать для продажи кое-какое платье, мебель, ненужные книги, и как-то вечером, стоя среди вещей, собранных в столовой, сунув руки в карманы, он мысленно декламировал:

Я бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.

От этих строк самовольно вспыхнули другие:

И что мне помешает
Воздвигнуть все миры,
Которых пожелает
Закон моей игры?

Тут Самгин вспомнил о мире, изображенном на картинах Иеронима Босха, а затем подумал, что Федор Сологуб — превосходный поэт, но — «пленный мыслитель», — он позволил овладеть собой одной идеей — идеей ничтожества и бессмысленности жизни.

«Этот плен мысли ограничивает его дарование, заставляет повторяться, делает его стихи слишком разумными, логически скучными. Запишу эту мою оценку. И — надо сравнить «Бесов» Достоевского с «Мелким бесом». Мне пора писать книгу. Я озаглавлю ее «Жизнь и мысль». Книга о насилии мысли над жизнью никем еще не написана, — книга о свободе жизни».

Но тут Самгин нахмурился, вспомнив, что Иван Карамазов советовал: «Жизнь надо любить прежде логики».

«Попробуем еще раз напомнить, что человек имеет право жить для себя, а не для будущего, как поучают Чеховы и прочие эпигоны литературы, — решил он, переходя в кабинет. — Еще Герцен, в сороковых годах, смеялся над позитивистами, которые считают жизнь ступенью для будущего. Чехов, с его обещанием прекрасной жизни через двести, триста лет, развенчанный Горький с наивным утверждением, что «человек живет для лучшего» и «звучит гордо», — все это проповедники тривиального позитивизма Огюста Конта. Эта теория выросла до марксизма, своей еще более уродливой крайности...»

Самгин вздрогнул, ему показалось, что рядом с ним стоит кто-то. Но это был он сам, отраженный в холодной плоскости зеркала. На него сосредоточенно смотрели расплывшиеся, благодаря стеклам очков, глаза мыслителя. Он прищурил их, глаза стали нормальнее. Сняв очки и протирая их, он снова подумал о людях, которые обещают создать «мир на земле и в человецех благоволение», затем, кстати, вспомнил, что кто-то — Ницше? — назвал человечество «многоглавой гидрой пошлости», сел к столу и начал записывать свои мысли.

Через несколько дней он сидел в вагоне второго класса, имея в бумажнике 383 рубля, два чемодана с собою и один в багаже. Сидел и думал:

«Если у меня украдут деньги или я потеряю их, — я приеду в Петербург нищим».

Было обидно: прожил почти сорок лет, из них лет десять работал в суде, а накопил гроши. И обидно было, что пришлось продать полсотни ценных книг в очень хороших переплетах.

Ехал он в вагоне второго класса, пассажиров было немного, и сквозь железный грохот поезда звонким ручейком пробивался знакомый голос Пыльникова.

Мир должен быть оправдан весь,
Чтоб можно было жить,

— четко скандировал приват-доцент, а какой-то сердитый человек басовито кричал:

— Что это — одеколон пролили? Дышать нечем!

По вагону, сменяя друг друга, гуляли запахи ветчины, ваксы, жареного мяса, за окном, в сероватом сумраке вечера, двигались снежные холмы, черные деревья, тряслись какие-то прутья, точно грозя высечь поезд, а за спиною Самгина, покашливая, свирепо отхаркиваясь, кто-то мрачно рассказывал:

— Одного ингуша — убили, другого — ранили, трое остальных повезли раненого в город, в больницу и — пропали...

— Сударыня, — торжествующе взывал Пыльников. — Все-таки, все-таки — как же вы решаете вопрос о смысле бытия? Божество или человечество?

Против Самгина лежал вверх лицом, закрыв глаза, длинноногий человек, с рыжей, остренькой бородкой, лежал сунув руки под затылок себе. Крик Пыльникова разбудил его, он сбросил ноги на пол, сел и, посмотрев испуганно голубыми глазами в лицо Самгина, торопливо вышел в коридор, точно спешил на помощь кому-то.

— Разрыв дан именно по этой линии, — кричал Пыльников. — Отказываемся мы от культуры духа, построенной на религиозной, христианской основе, в пользу культуры, насквозь материалистической, варварской, — отказываемся или нет?

Как-то вдруг все запахи заглушил одеколон, а речь Пыльникова покрылась надсадным кашлем и суровой, громко сказанной фразой:

— Не пороть, а руки рубить надо было, руки!

— Ну, все же страха нагнали достаточно пеньковыми-то галстуками...

— А — убытки? Кто мне убытки возместит?

И снова всплыл победительный голосок Пыльникова:

— А вы убеждены в достоверности знания? Да и — при чем здесь научное знание? Научной этики — нет, не может быть, а весь мир жаждет именно этики, которую может создать только метафизика, да-с!

«Хаос, — думал Самгин, чувствуя, что его отравляют, насильно втискивая в мозг ему ненужные мысли. — Хаос...»

Еще недавно ему нравилось вслушиваться в растрепанный говор людей, он был уверен, что болтливые пассажиры поездов, гости ресторанов, обогащая его знанием подлинной житейской правды, насыщают плотью суховатые системы книжных фраз. Но он уже чувствовал себя перенасыщенным, утомленным обилием знания людей, и ему казалось, что пришла пора крепко оформить все, что он видел, слышал, пережил, в свою, оригинальную систему. Но вот, точно ветер в комнату сквозь щели плохо прикрытых окон и дверей, назойливо врывается нечто уже лишнее, ненужное, но как будто знакомое. Вспомнилось, как Пыльников, закрыв розовое лицо свое зеленой книжкой, читал:

«Я видел в приюте слепых, как ходят эти несчастные, вытянув руки вперед, не зная, куда идти. Но все человечество не есть ли такие же слепцы, не ходят ли они в мире тоже ощупью?»

«Я знаю, куда иду, знаю, чего хочу», — сказал Самгин себе.

В коридоре появился длинноногий человек с рыженькой бородкой, его как бы толкала дородная женщина, окутанная серой шалью.

— Понимаешь? — вполголоса, но очень внятно и басовито спрашивала она. — В самом центре.

— Не верится, — пробормотал сосед Самгина.

— Да, да! Провокатор в центре партии. Факт!

Отстранив длинного человека движением руки, она прошла в конец вагона, а он пошатнулся, сел напротив Самгина и, закусив губу, несколько секунд бессмысленно смотрел в лицо его.

«Сейчас начнет говорить», — подумал Самгин, но тут явился проводник, зажег свечу, за окном стало темно, загремела жесть, должно быть, кто-то уронил чайник. Потом в вагоне стало тише, и еще более четко зазвучал сверлящий голосок доцента:

— Вопрос не в том, как примирить индивидуальное с социальным, в эпоху, когда последнее оглушает, ослепляет, ограничивает свободу роста нашего «я», — вопрос в том, следует ли примирять?

— Дайте спичку, — жалобно попросил сосед Самгина у проводника; покуда он неловко закуривал, Самгин, повернувшись спиной к нему, вытянулся на диване, чувствуя злое желание заткнуть рот Пыльникову носовым платком.

Петербург встретил Самгина морозным, холодно сияющим утром. На бронзовой шапке и на толстых плечах царя Александра сверкал иней, игла Адмиралтейства казалась докрасна раскаленной и точно указывала на белое, зимнее солнце. Несколько дней он прожил плутая по музеям, вечерами сидя в театрах, испытывая приятное чувство независимости от множества людей, населяющих огромный город. Картины, старинные вещи, лаская зрение пестротой красок, затейливостью форм, утомляли тоже приятно. Артисты в театрах говорили какие-то туманные, легкие слова о любви, о жизни.

«Надо искать работы», — напоминал он себе и снова двигался по бесчисленным залам Эрмитажа, рассматривая вещи, удовлетворяясь тем, что наблюдаемое не ставит вопросов, не требует ответов, разрешая думать о них как угодно или — не думать. Клим Иванович Самгин легко и утешительно думал не об искусстве, но о жизни, сквозь которую он шел ничего не теряя, а, напротив, все более приобретая уверенность, что его путь не только правилен, но и героичен, но не умел или не хотел — может быть, даже опасался — вскрывать внутренний смысл фактов, искать в них единства. Ему часто приходилось ощущать, что единство, даже сходство мысли — оскорбляет его, унижает, низводя в ряд однообразностей. Его житейский, личный опыт еще не принял оригинальной формы, но — должен принять. Он, Клим Самгин, еще в детстве был признан обладателем исключительных спо-

собностей, об этом он не забывал да и не мог забыть, ибо людей крупнее его — не видел. В огромном большинстве люди — это невежды, поглощенные простецким делом питания, размножения и накопления собственно-сти, над массой этих людей и в самой массе шевелятся люди, которые, приняв и освоив ту или иную систему фраз, именуют себя консерваторами, либералами, социалистами. Они раскалываются на бесчисленное количество группочек — народники, толстовцы, анархисты и так далее, но это, не украшая их, делает еще более мелкими, менее интересными. Включить себя в любой ряд таких людей, принять их догматику — это значит ограничить свободу своей мысли. Самгин стоял пред окном, курил, и раздражение, все возрастая, торопило, толкало его куда-то. За окном все гуще падал снег, по стеклам окна ползал синеватый дым папиросы, щекотал глаза, раздражал ноздри, Самгин стоял не двигаясь, ожидая, что вот сейчас родится какая-то необыкновенная, новая и чистая его мысль, неведомая никому, явится и насытит его ощущением власти над хаосом.

«Всякая догма, конечно, осмыслена, но догматика — неизбежно насилие над свободой мысли. Лютов был адогматичен, но он жил в страхе пред жизнью и страхом убит. Единственный человек, независимый хозяин самого себя, — Марина».

Но он устал стоять, сел в кресло, и эта свободная всеразрешающая мысль — не явилась, а раздражение осталось во всей силе и вынудило его поехать к Варваре.

Сквозь холодное белое месиво снега, наполненное глуховатым, влажным [цоканьем] лошадиных подков и шорохом резины колес по дереву торцов, ехали медленно, долго, мокрые снежинки прилеплялись к стеклам очков и коже щек, — все это не успокаивало.

«На кой чорт еду? Глупо...»

Но он смутился, когда Варвара, встав с кресла, пошатнулась и, схватясь за спинку, испуганно, слабым голосом заговорила:

— Нет, нет, не подходи! Сядь — там, подальше, я боюсь заразить тебя. У меня — инфлюэнца... или что-то такое.

Он справился о температуре, о докторе, сказал несколько обычных в таких случаях — утешающих слов, посмотрелся к лицу Варвары и решил:

«Да, сильно нездорова». Лицо, в красных пятнах, казалось обожженным, зеленоватые глаза блестели неприятно, голос звучал повышенно визгливо и как будто тревожно, суховатый кашель сопровождался свистом.

— Вот все чай пью, — говорила она, спрятав <лицо> за самоваром. — Пусть кипит вода, а не кровь. Я, знаешь, трусиха, заболев — боюсь, что умру. Какое противное, не русское слово — умру.

— Ты — здоровый человек, — сказал Самгин.

— Нет, — возразила она. — Я — нездорова, давно. Профессор-гинеколог сказал, что меня привязывает к жизни надорванная нить. Аборт — не проходит бесследно, сказал он.

«Начнется пересмотр прошлого», — неприязненно подумал Самгин и, не спросив разрешения, закурил папиросу, а Варвара, протянув руку, сказала:

— И мне дай.

Закурив, она стала кашлять чаще, но это не мешало ей говорить.

— Такой противный, мягкий, гладкий кот, надменный, бессердечный, — отомстила она гинекологу, но, должно быть, находя, что этого еще мало ему, прибавила: — толстовец, моралист, ригорист. Моралью Толстого пользуются какие-то особенные люди... Верующие в злого и холодного бога. И мелкие жулики, вроде Ногайцева. Ты, пожалуйста, не верь Ногайцеву — он бессовестный, жадный и вообще — негодяй.

— Я думаю, что это верно, — согласился Клим; она дважды кивнула головой.

— Верно, верно, я знаю...

Все более неприятно было видеть ее руки, — поблескивая розоватым перламутром острых, заботливо начищенных ногтей, они неустанно и беспокойно хватали чайную ложку, щипцы для сахара, чашку, хрустели оранжевым шелком халата, ненужно оправляя его, щупали мочки красных ушей, растрепанные волосы на голове. И это настолько владело вниманием Самгина, что он не смотрел в лицо женщины.

— Какой ужасный город! В Москве все так просто... И — тепло. Охотный ряд, Художественный театр, Воробьевы горы... На Москву можно посмотреть издали, я не знаю, можно ли видеть Петербург с высоты, позволяет ли он это? Такой плоский, огромный, каменный... Знаешь — Стратонов сказал: «Мы, политики, хотим сделать деревянную Россию каменной».

«Что она — бредит?» — подумал Самгин, оглядываясь, осматривая маленькую неприбранную комнату, обвешанную толстыми драпировками; в ней стоял настолько сильный запах аптеки, что дым табака не заглушал его.

— Нигде, я думаю, человек не чувствует себя так одиноко, как здесь, — торопливо говорила женщина. — Ах, Клим, до чего это мучительное чувство — одиночество! Революция страшно обострила и усилила в людях сознание одиночества... И многие от этого стали зверями. Как это — которые грабят на войне?.. После сражений?

— Мародеры, — подсказал Самгин.

— Да, вот такие — мародеры...

— Ты говорила об этом, — напомнил он.

— Это ужасно, Клим... — свистящим шопотом сказала она.

«Серьезно больна, — с тревогой думал он, следя за судорожными движениями ее рук. — Точно падает или тонет», — сравнил он, и это сравнение еще более усилило его тревогу. А Варвара говорила все более невнятно:

— Ты, конечно, знаешь — я увлекалась Стратоновым.

— Нет, не знал, — откликнулся Самгин и тотчас сообразил, что не нужно было говорить этого. Но — ведь что-нибудь надо же говорить?

— Это ты — из деликатности, — сказала Варвара, задыхаясь. — Ах, какое подлое, грубое животное Стратонов... Каменщик. Мерзавец... Для богатых баб... А ты — из гордости. Ты — такой чистый, честный. В тебе есть мужество... не соглашаться с жизнью...

Она вдруг замолчала. Самгин привстал, взглянул на нее и тотчас испуганно выпрямился, — фигура женщины потеряла естественные очертания, расплылась в кресле, голова бессильно опустилась на грудь, был виден полужакрытый глаз, странно потемневшая щека, одна рука лежала на коленях, другая свесилась через ручку кресла.

Первая мысль, подсказанная Самгину испугом: «Надобно уйти», — вторая: «Позвать доктора!»

Он выбежал в коридор, нашел слугу, спросил: нет ли в гостинице доктора? Оказалось — есть: в 32 номере, доктор Макаров, сегодня приехал из-за границы.

— Позовите его.

— Они — вышли.

— Позвоните другому — немедленно!

Благовоспитанный человек с маленькой головой без волос, остановив Самгина, вполголоса предложил вызвать карету «Скорой помощи».

— Согласитесь — неудобно! Может быть, что-нибудь заразное.

— Да, конечно! Да, да, — согласился Самгин и, возвратясь к Варваре, увидел: она сидит на полу, упираясь в него руками, прислонясь спиною к сиденью кресла и высоко закинув голову.

— Хотела встать и упала, — заговорила она слабым голосом, из глаз ее текли слезы, губы дрожали. Самгин поднял ее, уложил на постель, сел рядом и, поглаживая ладонь ее, старался не смотреть в лицо ее, детски трогательное и как будто виноватое.

— Мне плохо, Клим, — тихонько и жалобно говорила она, — мне очень плохо. Задыхаюсь.

— Здесь — Макаров, — сказал Самгин. — Помнишь — Макарова?

Она утвердительно кивнула головой.

— Да. Красавец.

Он тоже чувствовал себя плохо и унизительно. Унижало бессилие, неумение помочь ей, сказать какие-то утешительные слова. Он все-таки говорил:

— Не теряй бодрости. Сила воли помогает лучше всех лекарств.

А Варвара, жадно хватая ртом воздух, бормотала:

— У нотариуса Зелинского — завещание. Я все отказала тебе... Не сердись, Клим. Тебе — надо, друг мой. Ты — честный. Дом и всё...

— Это — пустяки, — сказал он. — Ты молчи, — отдохни.

— Ты продашь все. Деньги — независимость, милый. В сумке. И в портфеле, в чемодане. Ах, боже мой!..

Неужели... нет — неужели я... Погаси огонь над кроватью... Режет глаза.

Она плакала и все более задыхалась, а Самгин чувствовал — ему тоже тесно и трудно дышать, как будто стены комнаты сдвигаются, выжимая воздух, оставляя только душные запахи. И время тянулось так медленно, как будто хотело остановиться. В духоте, в полутьме полубредовая речь Варвары становилась все тяжелее, прерывистой:

— Помнишь, умирал музыкант? Мы сидели в саду, и над трубой серебряные струйки... воздух. Ведь — только воздух? Да?

— Да, — только воздух, — подтвердил Самгин и подумал, что, может быть, лучше бы сказать:

«Я не знаю».

— Стратонов... негодяй! Ударил меня в живот... Как извозчик.

В комнату кто-то вошел, Самгин встал, выглянул из-за портьеры.

— Доктор Макаров, — сердито сказал ему странно знакомым голосом щеголевато одетый человек, весь в черном, бритый, с подстриженными усами, с лицом военного. — Макаров, — повторил он более мягко и усмехнулся.

«Кутузов, — сообразил Самгин, молча, жестом руки указывая на кровать. — Приехал с паспортом Макарова. Нелегальный. Хорошо, что я не поздоровался с ним».

Вежливый человек, стоявший у двери, пробормотал, что карета «Скорой помощи» сейчас прибует, и спросил:

— Вы — родственник госпожи Самгиной?

— Муж.

— Где изволите проживать?

Клим назвал гостиницу.

Человек почтительно поклонился, исчез.

— Вот как я... попал! — тихонько произнес Кутузов, выходя из-за портьеры, прищутив правый глаз, потирая ладонью подбородок. — Отказаться — нельзя: назвался груздем — полезай в кузов. Это ведь ваша жена? — шептал он. — Вот что: я ведь медик не только по паспорту и даже в ссылке немножко практиковал. Мне кажется:

у нее пневмония и — крупозная, а это — не шуточка. Понимаете?

И, наступая на Клима, предложил:

— Давайте условимся: как лучше — мы не знакомы?

— Да, — ответил Клима.

— Правильно. Есть Макаров — ваш приятель, но эта фамилия нередкая. Кстати: тоже, вероятно, уже переехал границу в другом пункте. Ну, я ухожу. Нужно бы потолковать с вами, а? Вы не против?

— Нет. Когда ее увезут.

— Отлично.

Кутузов ушел, а Самгин, прислушиваясь, как Варвара, кашляя, захлебывается словами, подумал:

«Зачем я согласился?»

— Поил вином... как проститутку, — слышал он, подходя к постели.

Варвара встретила его хриплым криком:

— Это — кто? Ты? Поди прочь!

— Это — я, Клима, — сказал он, наклоняясь к ней.

Но, не узнавая его, тревожно шупая беспокойными руками грудь, халат, подушки, она повторяла, всхрипывая:

— Прочь. Зверь...

Прошло еще минут пять, прежде чем явились санитары с носилками, вынесли ее, она уже молчала, и на потемневшем лице ее тускло светились неприятно зеленые, как бы злые глаза.

«Умирает, — решил Самгин. — Умрет, конечно», — повторил он, когда остался один. Неприятно тупое слово «умрет», мешая думать, надоедало, точно осенняя муха. Его прогнал вежливый, коротконогий и кругленький человечек, с маленькой головкой, блестящей, как миллиардный шар. Войдя бесшумно, точно кошка, он тихо произнес краткую речь:

— По закону мы обязаны известить полицию, так как все может быть, а больная оставила имущество. Но мы, извините, справились, установили, что вы законный супруг, то будто бы все в порядке. Однако для твердости вам следовало бы подарить помощнику пристава рублей пятьдесят... Чтобы не беспокоили, они это любят. И притом — напуганы, — время ненадежное...

У Самгина оказался билет в сто рублей и еще рублей двадцать. Он дал сто.

Тогда человек счастливым голоском заявил, что этот номер нужно дезинфицировать, и предложил перенести вещи Варвары в другой, и если господин Самгин желает ночевать здесь, это будет очень приятно администрации гостиницы.

Он ушел.

«Негодяй и, наверное, шпион», — отметил безглаголю Самгин и тут же подумал, что вторжение бытовых эпизодов в драмы жизни не только естественно, а, прерывая течение драматических событий, позволяет более легко переживать их. Затем он вспомнил, что эта мысль вычитана им в рецензии какой-то парижской газеты о какой-то пьесе, и задумался о делах практических.

«О чем хочет говорить Кутузов? Следует ли говорить с ним? Встреча с ним — не безопасна. Макаров — рискует...»

Открыл форточку в окне и, шагая по комнате, с папирсой в зубах, заметил на подзеркальнике золотые часы Варвары, взял их, взвесил на ладони. Эти часы подарил ей он. Когда будут прибирать комнату, их могут украсть. Он положил часы в карман своих брюк. Затем, взглянув на отраженное в зеркале озабоченное лицо свое, открыл сумку. В ней оказалась пудреница, перчатки, записная книжка, флакон английской соли, карандаш от мигрени, золотой браслет, семьдесят три рубля бумажками, целая горсть серебра.

«Она любила серебро, — вспомнил он. — Если она умрет, у меня не хватит денег похоронить ее».

Тот факт, что Варвара завещала ему дом, не очень тронул и не удивил его, у нее не было родных. Завещания и не нужно было — он, Самгин, единственный законный наследник.

Он сел, открыл на коленях у себя небольшой ручной чемодан, очень изящный, с уголками оксидированного серебра. В нем — несессер, в сумке верхней его крышки — дорогой портфель, в портфеле какие-то бумаги, а в одном из его отделений девять сторублевок, он сунул сторублевки во внутренний карман пиджака, а на их место положил 73 рубля. Все это он делал машинально, не

оценивая: нужно или не нужно делать так? Делал и думал:

«Она не мало видела людей, но я остался для нее наиболее яркой фигурой. Ее первая любовь. Кто-то сказал: «Первая любовь — не ржавеет». В сущности, у меня не было достаточно солидных причин разрывать связь с нею. Отношения обострились... потому что все вокруг было обострено».

В продолжение минуты он честно поискал: нет ли в прошлом чего-то, что Варвара могла бы поставить в вину ему? Но — ничего не нашел.

Когда он закуривал новую папиросу, бумажки в кармане пиджака напомнили о себе сухим хрустом. Самгин оглянулся — все вокруг было неряшливо, неприятно, пропитано душными запахами. Пришли двое коридорных и горничная, он сказал им, что идет к доктору, в 32-й, и, если позвонят из больницы, сказали бы ему.

Кутузов, сняв пиджак, расстегнув жилет, сидел за столом у самовара, с газетой в руках, газеты валялись на диване, на полу, он встал и, расшвыривая их ногами, легко подвинул к столу тяжелое кресло.

— Увезли? — спросил он, всматриваясь в лицо Самгина. — А я вот читаю отечественную прессу. Буйный бред и либерально-интеллигентские попытки заговорить зубы зверю. Существенное — столыпинские хутора и поспешность промышленников как можно скорее продать все, что хочет купить иностранный капитал. А он — не дремлет и прет даже в текстиль, крепкое московское дело. В общем — балаган. А вы — постарели, Самгин.

— Вам этого не скажешь, — ответил Самгин.

— Обо мне — начальство заботится, посылало отдохнуть далеко на север, четырнадцать месяцев отдыхал. Не совсем удобно, а — очень хорошо для души. Потом вот за границу сбегал.

Говорил Кутузов вполголоса, и, как всегда, в сиреневых зрачках его играла усмешка. Грубоватое лицо без бороды казалось еще более резким и легко запоминаемым.

— Видели Ленина? — спросил Самгин, наливая себе чаю.

— Как же.

— Что он — в прежних мыслях?

— Вполне и даже — крепче. Старик — удивителен. Иногда с ним очень трудно соглашаться, но — попрыгав, соглашаешься. Он смотрит в будущее сквозь щель в настоящем, только ему известную. Вас, интеллигентов,ругает весьма энергично...

— За что?

— За меньшевизм и всех других марок либерализм. Тут Луначарский с Богдановым какую-то ахинею сочинили?

— Не читал.

— Ильич говорит, что они шлифуют социализм буржуазной мыслью, — находя, что его нужно облагородить.

Кутузов встал, сунув руки в карманы, прошел к двери. Клим отметил, что человек этот стал как будто стройнее, легче.

«Похудел. Или — от костюма».

А Кутузов, возвратясь к столу, заговорил скучновато, без обычного напора:

— Вопрос о путях интеллигенции — ясен: или она идет с капиталом, или против его — с рабочим классом. А ее роль катализатора в акциях и реакциях классовой борьбы — бесплодная, гибельная для нее роль... Да и смешная. Бесплодностью и, должно быть, смутно сознаваемой гибельностью этой позиции Ильич объясняет тот смертный визг и вой, которым столь богата текущая литература. Правильно объясняет. Читал я кое-что, — Андреева, Мережковского и прочих, — чорт знает, как им не стыдно? Детский испуг какой-то...

Наклонясь к Самгину и глядя особенно пристально, он спросил, понизив голос:

— Слушайте-ко, вы ведь были поверенным у Зотовой, — что это за история с ней? Действительно — убита?

И, повторяя краткие, осторожные ответы Клим, он ставил вопросы:

— Кем? Подозревался племянник. Мотивы? Дурак. Мало для убийцы. Угнетала — ага! Это похоже на нее. И — что же племянник? Умер в тюрьме, — гм...

«Считает себя в праве спрашивать тоном судебного следователя», — подумал Самгин и сказал:

— Мне кажется — отравили его.

— Вполне уголовный роман. Вы — не любитель таких? Я — охотно читаю Конан-Дойля. Игра логикой. Не очень мудро, но — забавно.

Говоря это, он мял пальцами подбородок и смотрел в лицо Самгина с тем напряжением, за которым чувствуется, что человек думает не о том, на что смотрит. Зрачки его потемнели.

— Темная история, — тихо сказал он. — Если убили, значит, кому-то мешала. Дурак здесь — лишний. А буржуазия — не дурак. Но механическую роль, конечно, мог сыграть и дурак, для этого он и существует.

Самгин, сняв очки, протирая их стекла, опустил голову.

— Я почти два года близко знал ее, — заговорил он. — Знал, но — не мог понять. Вам известно, что она была кормчей в хлыстовском корабле?

— Что-о? Она? — Кутузов небрежно махнул рукой и усмехнулся. — Это — провинциальная ерунда, сплетня.

Он очень удивился, когда Самгин рассказал ему о радении, нахмурил брови, ежовые волосы на голове его пошевелились.

— Вот — балаган, — пробормотал он и замолчал, крепко растирая ладонями тугие щеки.

— Как о ней думаете — в конце концов? — спросил Самгин.

— Прежде всего — честолюбива, — не сразу ответил Кутузов. — Весьма неглупа, но возбудителем ума ее служило именно честолюбие. Здоровая плоть и потому — брезглива, брезгливость, должно быть, служила сдерживающим началом ее чувственности. Детей — не любила и не хотела, — сказал он, наморщив лоб, и снова помолчал. — Любознательна была, начитанна. Сектантством она очень интересовалась, да, но я плохо знаю это движение, на мой взгляд — все сектанты, за исключением, может быть, бегунов, то есть анархистов, — богатые мужики и только. Сектанты они до поры, покамест мужики, а становясь купцами, забывают о своих разноречиях с церковью, воинствующей за истину, то есть — за власть. Интерес к делам церковным ей привил муж.

Кутузов сразу и очень оживился:

— Вот это был — интересный тип! Мужчина великой ненависти к церкви и ко всякой власти. Паскаля читал по-французски, Янсена и, отрицая свободу воли, доказывал, что все деяния человека для себя — насквозь греховны и что свобода ограничена только выбором греха: воевать, торговать, детей делать... Считая благодать божию недоступной человеку, стоял на пути к сатанизму или полному безбожию. Горячий был человек. Договаривался, в задоре, до того, что однажды сказал: «Бог есть враг человека, если понимать его церковно».

Закурив папиросу, он позволил спичке догореть до конца, ожег пальцы себе и, помахивая рукою в воздухе, сказал:

— Теперь мне кажется, что Марина-то на этих мыслях и свихнулась в хлыстовство...

Но тотчас же, отрицательно встряхнув головой, встал и, шагая по комнате, продолжал:

— Но — нет! Хлыстовство — балаган. За ним скрывалось что-то другое. Хлыстовство — маскировка. Она была жадна, деньги любила. Муж ее давал мне на нужды партии щедрее. Я смотрел на него как на кандидата в революционеры. Имел основания. Он и о деревне правильно рассуждал, в эсеры не годился. Да, вот что я могу сказать о ней.

— Вы гораздо больше сказали о нем, — отметил Самгин; Кутузов молча пожал плечами, а затем, прислонясь спиной к стене, держа руки в карманах, папиросу в зубах и морщась от дыма, сказал:

— Была у нее нелепая идея накопить денег и устроить где-то в Сибири нечто в духе Роберта Оуэна... Фаланстер, что ли... Вообще — балаган. Интеллигентка. Хороший, здоровый мозг, развитие и свободное проявление которого тесно ограничено догмами и нормами классовых интересов буржуазии. Человечество деятельно организуется для всемирного боя — для драчки, как говорит Ильич. Турция, Персия, Китай, Индия охвачены национальным стремлением вырваться из-под железной руки европейского капитала. Сей последний, видя, чем это грозит ему, не менее стремительно укрепляет свои силы, увеличивает боевые промышленно-технические кадры за счет наиболее даровитых рабочих, делая из них высоко-

квалифицированных рабочих, мастеров, мелких техников, инженеров, адвокатов, ученых, особенно — химиков, как в Германии. Умело действуя на инстинкт собственности, на честолюбие, привлекает пролетариат интеллигентный, в качестве мелких акционеров, в дело обирания масс. Подготовку борьбы с Востоком не исключает, конечно, борьбы с пролетариатом у себя дома, — девятьсот пятый — шестой года кое-чему научили капиталистов. Буржуазия — не дурак, — повторил Кутузов, усмехаясь.

Говорил он глядя в окно, в густосерый сумрак за ним, на желтое, масляное пятно огня в сумраке. И говорил, как бы напоминая самому себе:

— Интеллигенты, особенно — наши, более голодные, чем в Европе, смутно чувствуют трагизм грядущего, и многих пугает не опасность временных поражений пролетариата, а — несчастье победы, Ильич — прав. Стократно прав. Пугает идея власти рабочего класса. И вот они прячутся в религиозно-философские дебри, в хлыстовство, в разврат, к чорту. А — особенно — в примиренчество разных форм и разного рода. А знаете, Самгин, очень хорошо, что у нас и самодержавие и буржуазия одинаково бездарны. Но очень плохо, что многовато мужика, — закончил он и, усмехаясь, погасил окурок папиросы, как мастеровой, о подошву сапога. А Самгин немедленно и торопливо закурил, и эта почти смешная торопливость требовала объяснения.

«Начнет выспрашивать, как я думаю. Будет убеждать в возможности захвата политической власти рабочими...»

Слушая Кутузова внимательно, Самгин не испытывал желания возражать ему — но все-таки готовился к самозащите, придумывая гладкие фразы:

«Человек имеет право думать как ему угодно, но право учить — требует оснований ясных для меня, поучаемого... На чем, кроме инстинкта собственности, можно возбудить чувство собственного достоинства в пролетарии?.. Мыслить исторически можно только отправляясь от буржуазной мысли, так как это она является родоначальницей социализма...»

Он заготовил еще несколько фраз, но все они не удовлетворяли его, ибо каждая обещала зажечь бесплодный, бесполезный спор.

«Он не сомневается в своем праве учить, а я не хочу слышать поучений». Самгиным овладевала все более неприятная тревога: он понимал, что, если разгорится спор, Кутузов легко разоблачит, обнажит его равнодушие к социально-политическим вопросам. Он впервые назвал свое отношение к вопросам этого порядка — равнодушным и даже сам не поверил себе: так ли это?

И поправил догадку:

«Временно пониженным...»

Кутузов, растирая щеки ладонями, говорил:

— Пренеприятно зудит кожа. Обморозил, когда шел из ссылки. А товарищ — ноги испортил себе.

— Вы знаете, что Сомова — умерла? — вдруг вспомнил Самгин.

— Да, знаю, — откликнулся Кутузов и, гулко кашлянув, повторил: — Знаю, как же... — Помолчав несколько секунд, добавил, негромко и как-то жестко: — Она была из тех женщин, которые идут в революцию от восхищения героями. Из романтизма. Она была человек морально грамотный...

— То есть? — спросил Самгин.

Кутузов, дважды щелкнув пальцами, ответил, как бы сердясь на кого-то:

— Безошибочное чутье на врага. Умная душа. Вы — помните ее? Котенок. Маленькая, мягкая. И — острое чувство брезгливости ко всякому негодяйству. Был случай: решили извинить человеку поступок весьма дряненький, но вынужденный комбинацией некоторых драматических обстоятельств личного характера. «Прощать — не имеете права», — сказала она и хотя не очень логично, но упорно доказывала, что этот герой товарищеского отношения — не заслуживает. Простили. И лагерь врагов приобрел весьма неглупого негодая.

— Она предлагала убить? — любознательно осведомился Самгин.

Кутузов усмехнулся, но не успел ответить: в дверь постучали, и затем почтительный голосок произнес:

— По телефону получено, что больная госпожа... Самкина очень опасна.

Кутузов молча взглянул на Клина, молча пожал руку его.

Клим Иванович Самгин признал себя обязанным поехать в больницу, но на улице решил пройти пешком.

Город был пышно осыпан снегом, и освещаемый полной луною снег казался приятно зеленоватым. Скрипели железные лопаты дворников, шуршали метлы, а сани извозчиков скользили по мягкому снегу почти бесшумно. Обильные огни витрин и окон магазинов, легкий, бодрящий морозец и все вокруг делало жизнь вечера чистенькой, ласково сверкающей, внушало какое-то снисходительное настроение.

«Сомову он расписал очень субъективно, — думал Самгин, но, вспомнив рассказ Тагильского, перестал думать о Любаше. — Он стал гораздо мягче, Кутузов. Даже интереснее. Жизнь умеет шлифовать людей. Странный день прожил я, — подумал он и не мог сдержать улыбку. — Могу продать дом и снова уеду за границу, буду писать мемуары или — роман».

Но тут он сообразил, что идет в сторону от улицы, где больница, и замедлил шаг.

«Поздно, едва ли допустят... к больной. И — какой смысл идти к ней? Присутствовать при акте умирания тяжело и бесполезно».

Он продолжал шагать и через полчаса сидел у себя в гостиной, разбирая бумаги в портфеле Варвары. Нашел вексель Дронова на пятьсот рублей, ключ от сейфа, проект договора с финской фабрикой о поставке бумаги, газетные вырезки с рецензиями о каких-то книгах, заметки Варвары. Потом спустился в ресторан, поужинал и, возвратясь к себе, разделся, лег в постель с книгой Мережковского «Не мир, но меч».

Проснулся рано, в настроении очень хорошем, позволил, чтоб дали кофе, но вошел коридорный и сказал:

— Вас дожидает человек из похоронной конторы...

Самгин минуту посидел на постели, прислушиваясь, как отзовется в нем известие о смерти Варвары? Ничего не услышал, поморщился, недовольный собою, укоризненно спрашивая кого-то:

«Разве я бессердечен?»

Одеваясь, он думал:

«Бедная. Так рано. Так быстро».

И, думая словами, он пытался представить себе порядок и количество неприятных хлопот, которые ожидают его. Хлопоты начались немедленно: явился человек в черном сюртуке, краснощекий, усатый, с толстым слоем черных волос на голове, зачесанные на затылок, они придают ему сходство с дьяконом, а черноусое лицо напоминает о полицейском. Большой, плотный, он должен бы говорить басом, но говорит высоким, звонким тенором:

— Наше бюро было извещено о кончине уважаемой...

— Когда она умерла? — осведомился Клим.

— В половине седьмого текущим утром, и я немедленно...

Самгин остановил его, сказав, что он сегодня в пять часов должен уехать из Петербурга и что церемония похорон должна быть совершена ускоренно.

— Для бюро похоронных процессий желание ваше — закон, — сказал человек, почтительно кланяясь, и объявил цену церемонии.

«Дорого», — сообразил Самгин, нахмурясь, но торговаться не стал, находя это ниже своего достоинства.

— Значит — священник не провожает, — сказал представитель бюро. — Как вам угодно, — добавил он.

Во втором часу дня он шагал вслед за катафалком, без шапки, потирая щеки и уши. День был яркий, сухо морозный, острый блеск снега неприятно ослеплял глаза, раздражали уколы и щипки мороза, и вспоминалось темное, остроносое лицо Варвары, обиженно или удивленно приподнятые брови, криво приоткрытые губы. Идти было неудобно и тяжело, снег набивался в галоши, лошади, покрытые черной попоной, шагали быстро, отравляя воздух паром дыхания и кисловатым запахом пота, хрустел снег под колесами катафалка и под ногами четырех человек в цилиндрах, в каких-то мантиях с капюшонами, с горящими свечами в руках. Пятый, с крестом в руках, шагал впереди лошадей. Ветер сдувал снег с крыш, падал на дорогу, кружился, вздымая прозрачные белые вихри, под ногами людей и лошадей, и снова взлетал на крыши.

«Идиоты», — сердито назвал их Самгин, исподлобья оглядываясь. Катафалк ехал по каким-то пустынным улицам, почти без магазинов в домах, редкие прохожие как будто не обращали внимания на процессию, но

все же Самгин думал, что его одинокая фигура должна вызывать у людей жалкое впечатление. И не только жалкое, а, пожалуй, даже смешное: костлявые, старые лошади ставили ноги в снег неуверенно, черные фигуры в цилиндрах покачивались на белизне снега, тяжело по снегу влачились их тени, на концах свечей дрожали ненужные бессильные язычки огня — и одинокий человек в очках, с непокрытой головой и растрепанными жидкими волосами на ней. Самгин догадывался, что во всем этом есть что-то чрезмерно, уродливо мрачное, способное вызвать усмешку, как вызывает ее карикатура. Вспомнились наиболее неприятные впечатления: похороны Туробоева, аллегорически указывающий в пол желтый палец Лютова, взорванный губернатор — Самгин чувствовал себя обиженно и тоскливо. Он очень обрадовался, когда его догнал лихач, из саней выскочил Дронов и, подойдя к нему, сказал:

— Вы не дойдете, ведь это — далеко! Едемте, встретим на кладбище.

Не ожидая согласия, он взял Самгина под руку, усадил в санки, посоветовал:

— Наденьте шапку-то...

Лихач тряхнул волосами, рыжая лошадь стремительно ворвалась в поток резкого холода, Самгин сжался и, спрятав лицо в воротник пальто, подумал уныло:

«Простужусь».

Быстро домчались до кладбища. Дронов сказал лихачу:

— Подождешь! — Спросил Самгина: — Озябли? — и выругался: — Морозец, чорт его возьми.

Толкнув Клина на крыльцо маленького одноэтажного дома, он отворил дверь свободно, как в ресторан, в тепле occhi Самгина немедленно запотели, а когда он снял их — пред ним очутился Ногайцев и высокая, большеносая мужеподобная дама, в котиковой шапке.

— Соболезную искренно — и тоже чрезвычайно огорчен, — сообщил он, встряхивая руку Самгина, а дама басовито сказала:

— Орехова, Мария, подруга Вари, почти четыре года не видалась, встретились случайно, в сентябре, и вот — пришла проводить ее туда, откуда не возвращаются.

Она величественно отошла в угол комнаты, украшенный множеством икон и тремя лампадами, села к столу, на нем буйно кипел самовар, исходя обильным паром, блестя посуда, комнату наполнял запах лампадного масла, сдобного теста и меда. Самгин с удовольствием присел к столу, обнял ладонями горячий стакан чая. Со стены, сквозь запотевшее стекло, на него смотрело лицо бородатого царя Александра Третьего, а под ним картонка: овечье стадо пасет благообразный Христос, с длинной палкой в руке.

— Да, вот как подкрадывается к нам смерть, — говорил Ногайцев, грея спину о кафли голландской печки.

— Нестерпимо жалко Варю, — сказала Орехова, макая оладью в блюдечко с медом. — Можно ли было думать...

Дронов, разыскивая что-то в карманах брюк и пиджака, громко откликнулся:

— О смерти думать — бесполезно. О жизни — тоже. Нужно просто — жить, и — больше никаких чертей.

— Ты, Ваня, молчи, — посоветовал Ногайцев.

— Это — почему?

— Ты — выпивши, — объяснил Ногайцев. — А это, брат, не совсем уместно в данном, чрезвычайном случае...

— Ба, — сказал Дронов. — Ничего чрезвычайного — нет. Человек умер. Сегодня в этом городе, наверное, сотни людей умрут, в России — сотни тысяч, в мире — миллионы. И — никому, никого не жалко... Ты лучше спроси-ка у зрителя водки, — предложил он.

— Вот уж это неприлично — пить водку здесь, — заметила Орехова.

Дронов, читая какую-то записку, пробормотал:

— Даже и на могилах пьют...

— А могила — далеко? — спросил Самгин. Орехова ответила:

— К сожалению — очень далеко, в шестом участке. Знаете — такая дороговизна!

Самгин вздохнул. Он согрелся, настроение его становилось более мягким, хмельной Дронов казался ему симпатичнее Ногайцева и Ореховой, но было неприятно думать, что снова нужно шагать по снегу, среди могил

и памятников, куда-то далеко, слушать заунывное пение панихиды. Вот открылась дверь и кто-то сказал:

— Привезли.

Ногайцев ответил Самгина в сторону и шептал ему:

— Тут начнется эдакая, знаете... пустяковина. Попы, нищие, могильщики, нужно давать на чай и вообще... Вам противно будет, так вы дайте Марье Ивановне рублей... ну, полсотни! Она уж распорядится...

Да, могила оказалась далеко, и трудно было добраться к ней по дорожкам, капризно изломанным, плохо очищенным от снега. Камни и бронза памятников, бугры снега на могилах, пышные чепчики на крестах источали какой-то особенно резкий и пронзительный холод. Чем дальше, тем ниже, беднее становились кресты, и меньше было их, наконец пришли на место, где почти совсем не было крестов и рядом одна с другой было выковыряно в земле четыре могилы. Над пятой уже возвышалась продолговатая куча кусков мерзлой земли грязножелтого цвета, и, точно памятник, неподвижно стояли, опустив головы, две женщины: старуха и молодая. Когда низенький, толстый поп, в ризе, надетой поверх мехового пальто, начал торопливо говорить и так же поспешно запел дьячок, женщины не пошевелились, как будто они замерзли. Самгин смотрел на гроб, на ямы, на пустынное место и, вздрагивая, думал:

«Вот и меня так же...»

В больнице, когда выносили гроб, он взглянул на лицо Варвары, и теперь оно как бы плавало пред его глазами, серенькое, остроносое, с поджатыми губами, — они поджаты криво и оставляют открытой щелочку в левой стороне рта, в щелочке торчит золотая коронка нижнего резца. Так Варвара кривила губы всегда во время ссор, вскрикивая:

«Ах, ост'афы!»

Он вообразил свое лицо на подушке гроба — неестественно длинным и — без очков.

«В очках, кажется, не хоронят...»

— Да, вот что ждет всех нас, — пробормотала Орехова, а Ногайцев гулко крикнул и кашлянул, оглянулся кругом и, вынув платок из кармана, сплюнул в него...

...Это было оскорбительно почти до слез. Поп, встряхивая русой гривой, возглашал:

— «Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи...»

Позванивали цепочки кадила, синеватый дымок летал над снегом, дьячок сиповато завывал:

— «Вечная па-амять, вечная...»

«Да, вот и меня так же», — неотвязно вертелась одна и та же мысль, в одних и тех же словах, холодных, как сухой и звонкий морозный воздух кладбища. Потом Ногайцев долго и охотно бросал в могилу мерзлые комья земли, а Орехова бросила один, — но большой. Дронов стоял, сунув шапку под мышку, руки в карманы пальто, и красными глазами смотрел под ноги себе.

— Ну — ладно, пошли! — сказал он, толкнув Самгина локтем. Он был одет лучше Самгина — и при выходе с кладбища нищие, человек десять стариков, старух, окружили его.

— К чорту! — крикнул он и, садясь в санки, пробормотал: — Терпеть не могу нищих. Бородавки на харе жизни. А она и без них — урод. Верно?

Самгин не ответил. Озябшая лошадь мчалась встречу мороза так, что санки и все вокруг подпрыгивало, комья снега летели из-под копыт, резкий холод бил и рвал лицо, и этот внешний холод, сливаясь с внутренним, обезволивал Самгина. А Дронов, просунув руку свою под локоть его, бормотал:

— Жаловалась на одиночество. Это последний крик моды — жаловаться на одиночество. Но — у нее это была боль, а не мода.

Слово «одиночество» тоже как будто подпрыгивало, разрывалось по слогам, угрожало вышвырнуть из саней. Самгин крепко прижимался к плечу Дронова и поблагодарил его, когда Иван сказал:

— Едемте ко мне, чай пить.

Остановились у крыльца двухэтажного дома, вбежали по чугунной лестнице во второй этаж. Дронов, открыв дверь своим ключом, втолкнул Самгина в темное тепло, помог ему раздеться, сказал:

— Налево, — и убежал куда-то в темноту.

Озябшими руками Самгин снял очки, протер стекла, оглянулся: маленькая комната, овальный стол, диван, три кресла и полдюжины мягких стульев малинового цвета у стен, шкаф с книгами, фисгармония, на стене большая репродукция с картины Франца Штука «Грех» — голая женщина, с грубым лицом, в объятиях змеи, толстой, как водосточная труба, голова змеи — на плече женщины. Над фисгармонией большая фотография «Богатырей» Виктора Васнецова. Рядом с книжным шкафом — тяжелая драпировка. За двумя окнами — высокая, красно-кирпичная, слепая стена. И в комнате очень крепкий запах духов.

«Женат», — механически подумал Самгин.

Неприятно проскрежетали медные кольца драпировки, высоко подняв руку и дергая драпировку, явилась женщина и сказала:

— Здравствуйте. Меня зовут — Тося. Прошу вас... А, дьявол!

И она так резко дернула драпировку, что кольца взвизгнули, в воздухе взвился шнур и кистью ударил ее в грудь.

Самгин прошел в комнату побольше, обставленную жесткой мебелью, с большим обеденным столом посредине, на столе кипел самовар. У буфета хлопотала маленькая сухая старушка в черном платье, в шелковой головке, вытаскивала из буфета бутылки. Стол и комнату освещали с потолка три голубых розетки.

— Петровна, — сказала Тося, проходя мимо ее, и взмахнула рукой, точно желая ударить старушку, но только указала на нее через плечо большим пальцем. Старушка, держа в руках по бутылке, приподняла голову и кивнула ей, — лицо у нее было остроносое, птичье, и глаза тоже птичьи, кругленькие, черные.

— Садитесь, пожалуйста. Очень холодно?

— Очень.

— Выпейте водки.

...Голос у нее низкий, глуховатый, говорила она медленно, не то — равнодушно, не то — лениво. На ее статной фигуре — гладкое, модное платье пепельного цвета, обильные, темные волосы тоже модно начесаны на уши и некрасиво подчеркивают высоту лба. Да и все на лице

ее подчеркнуто: брови слишком густы, темные глаза — велики и, должно быть, подрисованы, прямой острый нос неприятно хрящеват, а маленький рот покрашен чересчур ярко.

«Странное лицо. Неумело сделано. Мрачное. Вероятно — декадентка. И Леонида Андреева обожает. Лет тридцать — тридцать пять», — обдумывал Самгин. В комнате было тепло, кладбищенские мысли тихонько таяли. Самгин торопился изгнать их из памяти, и ему очень не хотелось ехать к себе, в гостиницу, опасался, что там эти холодные мысли нападут на него с новой силой. В тишине комнаты успокоительно звучал грудной голос женщины, она, явно стараясь развлечь его, говорила о пустяках, жаловалась, что окна квартиры выходят на двор и перед ними — стена.

— Напоминает «Стену» Леонида Андреева? — спросил Самгин.

— Нет. Я не люблю Андреева, — ответила она, держа в руке рюмку с коньяком. — Я все старичков читаю — Гончарова, Тургенева, Писемского...

— Достоевского, — подсказал Самгин.

— А я и его не люблю, — сказала она так просто, что Самгин подумал: «Вероятно — недоучившаяся гимназистка, третья дочь мелкого чиновника», — подумал и спросил:

— А — Горький?

— Этот, иногда, ничего, интересный, но тоже очень кричит. Также, должно быть, злой. И женщин не умеет писать. Видно, что любит, а не умеет... Однако — что же это Иван? Пойду, взгляну...

«Хорошая фигура, — отметил Самгин, глядя, как плавно она исчезла. — Чем привлек ее Дронов?»

Она вернулась через минуту, с улыбкой на красочном лице, но улыбка почти не изменила его, только рот стал больше, приподнялись брови, увеличив глаза. Самгин подумал, что такого цвета глаза обыкновенно зовут бархатными, с поволокой, а у нее они какие-то жесткие, шлифованные, блестят металлически.

— Представьте, он — спит! — сказала она, пожимая плечами. — Хотел переодеться, но свалился на кушетку и — уснул, точно кот. Вы, пожалуйста, не думайте, что

это от неуважения к вам! Просто: он всю ночь играл в карты, явился домой в десять утра, пьяный, хотел лечь спать, но вспомнил про вас, звонил в гостиницу, к вам, в больницу... затем отправился на кладбище.

Самгин любезно попросил ее не беспокоиться и заявил, что он сейчас уйдет, но женщина, все так же не спеша, заговорила, присаживаясь к столу:

— Нет, я вас не пушу, посидите со мной, познакомимся, может быть, даже понравимся друг другу. Только — верьте: Иван очень уважает вас, очень высоко ценит. А вам... тяжело будет одному в эти первые часы, после похорон.

«Первые часы», — отметил Клим.

— Иван говорил мне, что вы давно разошлись с женой, но... все-таки... не весело, когда люди умирают.

Помолчав, она добавила:

— Лучше не думать о том, о чем бесполезно думать, да?

— Да, — согласился Самгин, а она предложила:

— Чтобы вам было проще со мной, я скажу о себе: подкидыш, воспитывалась в сиротском приюте, потом сдали в монастырскую школу, там выучилась золотошвейному делу, (три года жила с одним живописцем, натурщицей была, потом меня отбил у него один писатель, но я через год ушла от него, служила) продавщицей в кондитерской, там познакомился со мной Иван. Как видите — птица невысокого полета. Теперь вы знаете, как держаться со мной.

— Невеселая жизнь, — смущенно сказал Самгин, она возразила:

— Нет, бывало и весело. Художник был славный человек, теперь он уже — в знаменитых. А писатель — дрянцо, самолюбивый, завистливый. Он тоже — известность. Пишет сладенькие рассказы про скучных людей, про людей, которые веруют в бога. Притворяется, что и сам тоже верует.

«Это о ком она?» — подумал Самгин и хотел спросить, но не успел, — вытирая полотенцем чашку, женщина отломила ручку ее (и), бросив в медную полоскательницу, продолжала:

— Очень революция, знаете, приучила к необыкновенному. Она, конечно, испугала, но учила, чтоб каждый

день приходил с необыкновенным. А теперь вот свелось к тому, что Столыпин все вешает, вешает людей и все быстро отупели. Старичок Толстой объявил: «Не могу молчать», вышло так, что и он хотел бы молчать-то, да уж такое у него положение, что надо говорить, кричать...

— Это едва ли правильно, — сказал Самгин.

— Неправильно? — спросила она. — Ну, что же? Я ведь очень просто понимаю, грубо.

Самгин, слушая, решал: как отнестись к этой женщине, к ее биографии, не очень похожей на исповедь?

«Зачем это она рассказала? Станный способ развлекать гостя...»

А она продолжала развлекать его:

— Знаете, если обыкновенный человек почувствует свою нищету — беда с ним! Начинает он играть пред вами, ломаться, а для вас это — и не забавно, а только тяжело. Вот Ванечка у меня — обыкновенный, и очень обижен этим, и все хочет сделать что-нибудь... потрясающее! Миллион выиграть на скачках или в карты, царя убить, Думу взорвать, все равно — что. И все очень хотят необыкновенного. Мы, бабы, мордочки себе красим, пудримся, ножки, грудки показываем, а вам, мужчинам, приходится необыкновенное искать в словах, в газетах, книжках.

Это было неприятно слышать. Говоря, она смотрела на Самгина так пристально, что это стесняло его, заставляя ожидать слов еще более неприятных. Но вдруг изменилась, приобрела другой тон.

— Ведь вот я — почему я выплясываю себя пред вами? Скорее познакомиться хочется. Вот про вас Иван рассказывает как про человека в самом деле необыкновенного, как про одного из таких, которые имеют несчастье быть умнее своего времени... Кажется, так он сказал...

— Ну, это слишком... лестно, — откликнулся Самгин.

— Почему же лестно, если несчастье? — спросила она.

Самгин указал несколько фактов личного несчастья единиц, которые очень много сделали для общего блага людей, и, говоря это, думал:

«Странная какая! Есть признаки оригинального ума, а вместе с этим — все грубо, наивно...»

— Общее благо, — повторила Тося. — Трудно понять, как это выходит? У меня подруга, учительница на заводе, в провинции, там у них — дифтерит, страшно мрут ребятки, а сыворотки — нет. Здесь, в городе, — сколько угодно ее.

— Случайность, — сказал Самгин. — Нераспорядительность...

Он чувствовал желание повторить вслух ее фразу — «несчастье быть умнее своего времени», но — не сделал этого.

«Да, именно этим объясняются многие тяжелые судьбы. Как странно, что забываются мысли, имеющие вес и значение аксиом».

В конце концов было весьма приятно сидеть за столом в маленькой, уютной комнате, в теплой, душистой тишине и слушать мягкий, густой голос красивой женщины. Она была бы еще красивей, если б лицо ее обладало большей подвижностью, если б темные глаза ее были мягче. Руки у нее тоже красивые и очень ловкие пальцы.

«Привыкла завязывать коробки конфет», — сообразил он и затем подумал, что к Дронову он относился несправедливо. Он просидел долго, слушая странно откровенные ее рассказы о себе самой, ее грубоватые суждения о людях, книгах, событиях.

— Вот — приходите к нам, — пригласила она. — У нас собираются разные люди, есть интересные. Да и все интересны, если не мешать им говорить о себе...

Когда он уходил, Тося, очень крепко пожав руку его горячей рукой, сказала:

— Вот мы уже и старые знакомые...

— Представьте, и у меня такое же чувство, — откликнулся он, и это была почти правда.

Остаток вечера он провел в мыслях об этой женщине, а когда они прерывались, память показывала темное, острое лицо Варвары, с плотно закрытыми глазами, с кривой улыбочкой на губах, — неплотно сомкнутые с правой стороны, они открывали три неприятно белых зуба, с золотой коронкой на резце. Показывала пустынь

ный кусок кладбища, одетый толстым слоем снега, кучи комьев рыжей земли, две неподвижные фигуры над могилой, только что зарытой.

«Жаловалась на одиночество, — думал он о Варваре. — Она не была умнее своего времени. А эта, Тося? Что может дать ей Дронов, кроме сносных условий жизни?»

Он решил завтра же поблагодарить Дронова за его участие, но утром, когда он пил кофе, — Дронов сам явился.

— Прости, Клим Иванович, я вчера вел себя свиньей, — начал он, встряхивая руки Самгина. — Пьян был с радости, выиграл в железку семь тысяч триста рублей, — мне в картах везет.

— Кажется, и в любви — тоже? — дружелюбно спросил Самгин, не обращая внимания на «ты».

— Интересная Тоська? — откликнулся Дронов, бросив себя в кресло, так что оно заскрипело. — Очень интересная, — торопливо ответил он сам себе. — Ее один большевичок обрабатывает, чахоточный, скоро его к праотцам отнесут, но — замечательный! Ты здесь — ненадолго или — жить? Я приехал звать тебя к нам. Чего тебе одному торчать в этом чулане?

Он очень торопился, Дронов, и был мало похож на того человека, каким знал его Самгин. Он, видимо, что-то утратил, что-то приобрел, а в общем — выиграл. Более сытым и спокойнее стало его плоское, широконосое лицо, не так заметно выдавались скулы, не так раздерганно бегали рыжие глаза, только золотые зубы блестели еще более ярко. Он сбрил усы. Говорил он более торопливо, чем раньше, но не так нагло. Как прежде, он отказался от кофе и попросил белого вина.

— Я, брат, знаю, что симпатии ко мне у тебя нет, — но это мне не мешает...

— О симпатиях я не умею говорить, — прервал его Самгин. — Но ты — неправ. Я очень тронут твоим отношением...

— Ладно, — оставим это, — махнул рукой Дронов и продолжал: — Там, при последнем свидании, я сказал, что не верю тебе. Так это я — словам не верю, не верю, когда ты говоришь чужими словами. Я все еще кружусь

на одном месте, точно теленок, привязанный веревкой к дереву.

Он выпил целый стакан вина, быстро вытер губы платком и взмахнул им в воздухе, продолжая:

— Я могу быть богатым. Теперь — самое удобное время богатеть, как богатеют вчерашние приказчики глупых хозяев: Второвы, Баторины и прочие. Революция сделала свое дело: встряхнула жизнь до дна. Теперь надобно удовлетворять и успокаивать, то есть — накормить жадных досыта. Всех — не накормишь. Столыпин решил накормить лучших. Я — из лучших, потому что — умный. Но я — как бы это сказать? Я люблю знать, и это меня... шатает. Это может погубить меня — понимаешь? Я хочу быть богатым, но не для того, чтоб народить детей и оставить им наследство — миллионы. Нет, дети богатых — идиоты. Я хочу разбогатеть для того, чтоб показать людям, которые мной командуют, что я не хуже их, а — умнее. Но я знаю, хорошо знаю, что купец живет за счет умных людей и силен не сам своей силой, а теми, кто ему служит. Я миллионы на революцию дам. Савва Морозов тысячи давал, а я — Иван Дронов — сотни тысяч дам.

— Ты фантазируешь, — сказал Самгин, слушая его с большим любопытством.

— Без фантазии — нельзя, не проживешь. Не устроишь жизнь. О неустройстве жизни говорили тысячи лет, говорят всё больше, но — ничего твердо установленного нет, кроме того, что жизнь — бессмысленна. Бессмысленна, брат. Это всякий умный человек знает. Может быть, это люди исключительно, уродливо умные, вот как — ты...

— Спасибо за комплимент, — сказал Самгин, усмехаясь и все более внимательно слушая.

— Не на чем. Ты — уродливо умен, так я тебя вижу издавна, с детства. Но — слушай, Клим Иванович, я не... весь чувствую, что мне надо быть богатым. Иногда — даже довольно часто — мне противно представить себя богатым, вот эдакого, на коротеньких ножках. Будь я красив, я уже давно был бы первостатейным мерзавцем. Ты — веришь мне?

— Не имею права не верить, — серьезно сказал Самгин.

— Так вот — скажи: революция — кончилась или только еще начинается?

Самгин не спеша открыл новую коробку папирос, взял одну — оказалась слишком туго набитой, нужно было размять ее, а она лопнула в пальцах, пришлось взять другую, но эта оказалась сырой, как всё в Петербурге. Делая все это, он подумал, что на вопрос Дронова можно ответить и да и нет, но — в обоих случаях Дронов потребует мотивации. Он, Самгин, не ставил пред собою вопроса о судьбе революции, зная, что она кончилась как факт и живет только как воспоминание. Не из приятных. Самгин ощущал, что вопросом Дронова он встревожен гораздо глубже, чем беседой с Кутузовым.

«Почему?»

И, высушивая папиросу о горячий бок самовара, он осторожно заговорил:

— Твой вопрос — вопрос человека, который хочет определить: с кем ему идти и как далеко идти.

— Ну да! — воскликнул Дронов, подскочив в кресле. — Это личный вопрос тысяч, — добавил он, дергая правым плечом, а затем вскочил и, опираясь обеими руками на стол, наклонясь к Самгину, стал говорить вполголоса, как бы сообщая тайну: — Тысячи интеллигентов схвачены за горло необходимостью быстро решить именно это: с хозяевами или с рабочими? Многие уже решили, подменив понятия: с божеством или с человечеством? Понимаешь? Решили: с божеством! Наплевать на человечество! С божеством — удобнее, ответственность дальше. Но это, брат, похоже на жульничество, на притворство.

Он выпрямился, толкнув стол, взмахнул рукой и, грозя кулаком, визгливо прокричал:

— Профессор Захарьин в Ливадии, во дворце, орал и топал ногами на придворных за то, что они поместили больного царя в плохую комнату, — вот это я понимаю! Вот это власть ума и знания...

Этот крик погасил тревогу Самгина, он смотрел на Дронова улыбаясь, кивая головой, и думал:

«Нет, он остался тем, каков был...»

Дронов вытер платком вспотевший лоб, красные щеки, сел, выпил вина и продолжал тише, даже как будто грустно:

— Ты — усмехаешься. Понимаю, — ты где-то, там, — он помахал рукою над головой своей. — Вознесся на высоты философические и — удовлетворен собой. А — вспомни-ко наше детство: тобой — восхищались, меня — обижали. Помнишь, как я завидовал вам, мешал играть, искал копейку?

— Да, я помню. Ты очень искусно и настойчиво делал это.

Дронов вздохнул и покачал головой.

— Вы, дети родовитых интеллигентов, относились ко мне, демократу, выскочке... аристократически. Как американцы к негру.

— Преувеличиваешь.

— Может быть. Но детские впечатления отлично запоминаются.

Оглядываясь вокруг и вопросительно глядя на Самгина, Дронов сказал:

— Знаешь, Клим Иванович, огромно количество людей униженных и оскорбленных. Огромно и все растет. Они — не по Достоевскому, а как будто уже по <Марксу...> И становятся все умнее.

«Он верит, что революция еще не кончена», — решил Самгин.

— Недавно прочитал я роман какого-то Лопатина «Чума», — скучновато стал рассказывать Дронов. — Только что вышла книжка. В ней говорится, что человечество — глупо, жизнь — скучна, что интересна она может быть только с богом, с чортом, при наличии необыкновенного, неведомого, таинственного. Доказывается, что гениальные ученые и все их открытия, изобретения — вредны, убивают воображение, умерщвляют душу, создают племя самодовольных людей, которым будто бы все известно, ясно и понятно. А сюжет книги — таков: некрасивый человек, но гениальный ученый отравил Москву чумой, мысль эту внушил ему пьяный студент. Москва была изолирована и почти вымерла. Случайно узнав, что чума привита искусственно, — ученого убили. Вот, брат, какие книжки пишут... некрасивые люди.

— Да, — согласился Самгин, — издается очень много хлама.

— Хлам? — Дронов почесал висок. — Нет, не хлам, потому что читается тысячами людей. Я ведь, как будущий книготорговец, должен изучать товар, я просматриваю все, что издается — по беллетристике, поэзии, критике, то есть все, что откровенно выбалтывает настроения и намерения людей. Я уже числюсь в знатоках книги, меня Сытин охаживает, и вообще — замечен!

Голос его зазвучал самодовольно, он держал в руке пустой стакан, приглаживая другою рукой рыжеватые волосы, и ляжки его поочередно вздрагивали, точно он поднимался по лестнице.

— Теперь дело ставится так: истинная и вечная мудрость дана проклятыми вопросами Ивана Карамазова. Иванов-Разумник утверждает, что решение этих вопросов не может быть сведено к нормам логическим или этическим и, значит, к счастью, невозможно. Заметь: к счастью! «Проблемы идеализма» — читал? Там Булгаков спрашивает: чем отличается человечество от человека? И отвечает: если жизнь личности — бессмысленна, то так же бессмысленны и судьбы человечества, — здорово?

— Я мало читал за последний год, — сказал Самгин.

— Леонид Андреев, Сологуб, Лев Шестов, Булгаков, Мережковский, Брюсов и — за ними — десятки менее значительных сочинителей утверждают, что жизнь бессмысленна. Даже — вот как.

Он выхватил из кармана записную книжку и, усмехаясь, вытаращив глаза, радостно воющим тоном прочитал:

— «Человечество — многомиллионная гидра пошлости», — это Иванов-Разумник. А вот Мережковский: «Люди во множестве никогда не были так малы и ничтожны, как в России девятнадцатого века». А Шестов говорит так: «Личная трагедия есть единственный путь к субъективной осмысленности существования».

Хлопнув книжкой по ладони, он сунул ее в карман, допил остатки вина и сказал:

— У меня записано таких афоризмов штук полтора. Целое столетие доили корову, и — вот тебе сливки! Хочу издать книжечку под титулом: «К чему пришли мы

за сто лет». И — знак вопроса. Заговорил я тебя? Ну — извини.

Клим Самгин нашел нужным оставить последнее слово за собой.

— Все это у тебя очень односторонне, ведь есть другие явления, — докторально заговорил он, но Дронов, взмахнув каракулевой шапкой, прервал его речь:

— Чехов и всеобщее благополучие через двести — триста лет? Это он — из любезности, из жалости. Горький? Этот — кончен, да он и не философ, а теперь требуется, чтоб писатель философствовал. Про него говорят — делец, хитрый, эмигрировал, хотя ему ничего не грозило. Сбежал из схватки идеализма с реализмом. Ты бы, Клим Иванович, зашел ко мне вечером посидеть. У меня всегда народишко бывает. Сегодня будет. Что тебе тут одному сидеть? А?

— Я подумаю, — сказал Самгин.

Дронов уже надел пальто, потопал ногами, обувая галоши, но вдруг пробормотал:

— А весь этот шум подняли марксисты. Они нагнали страха, они! Эдакий... очень холодный ветер подул, и все почувствовали себя легко одетыми. Вот и я — тоже. Хотя жирок у меня — есть, но холод — тревожит все-таки. Жду, — сказал он, исчезая.

Самгин прежде всего ощутил многократно испытанное недовольство собою: было очень неприятно признать, что Дронов стал интереснее, острее, приобрел умение сгущать мысли.

«Это — опасное умение, но — в какой-то степени — оно необходимо для защиты против насилия враждебных идей, — думал он. — Трудно понять, что он признаёт, что отрицает. И — почему, признавая одно, отрицает другое? Какие люди собираются у него? И как ведет себя с ними эта странная женщина?»

Еще более неприятно было убедиться, что многие идеи текущей литературы формируют впечатления его, Самгина, и что он, как всегда, опаздывает с формулировками.

«Мало читаю. И — невнимательно читаю, — строго упрекнул он себя. — Живу монологами и диалогами почти всегда».

Подумав еще, нашел, что мало видит людей, и принял решение: вечером — к Дронову.

Когда он пришел, Дронова не было дома. Тося полулежала в гостиной на широкой кушетке, под головой постельная подушка в белой наволочке, по подушке разбросаны обильные пряди темных волос.

— Вот — приятно, — сказала она, протянув Самгину голую до плеча руку, обнаружив небритую подмышку. — Вы — извините: брала ванну, угорела, сушу волосы. А это добрый мой друг и учитель, Евгений Васильевич Юрин.

В большом кожаном кресле глубоко увяз какой-то человек, выставив далеко от кресла острые колени длинных ног.

— Простите, не встану, — сказал он, подняв руку, протягивая ее. Самгин, осторожно пожав длинные сухие пальцы, увидел лысоватый череп, как бы приклеенный к спинке кресла, серое, костлявое лицо, поднятое к потолку, украшенное такой же бородкой, как у него, Самгина, и под высоким лбом — очень яркие глаза.

— Садитесь на кушетку, — предложила Тося, подвигаясь. — Евгений Васильевич рассказывает интересно.

— Я думаю — довольно? — спросил Юрин, закашлялся и сплюнул в синий пузырек с металлической крышкой, а пока он кашлял, Тося успела погладить руку Самгина и сказать:

— Очень хорошо, что вы пришли... Нет, продолжайте, Женечка...

— Так вот, — послушно начал Юрин, — у меня и сложилось такое впечатление: рабочие, которые особенно любили слушать серьезную музыку, — оказывались наиболее восприимчивыми ко всем вопросам жизни и, разумеется, особенно — к вопросам социальной экономической политики.

Говорил он характерно бесцветным и бессильным голосом туберкулезного, тускло поблескивали его зубы, видимо, искусственные, очень ровные и белые. На шее у него шелковое клетчатое кашне, хотя в комнате — тепло.

Тося укутана зеленым бухарским халатом, на ее ногах — черные чулки. Самгин определил, что под халатом

должна быть только рубашка и поэтому формы ее тела обрисованы так резко.

«Наверное — очень легко доступна, — решил он, присматриваясь к ее задумчиво нахмуренному лицу. — С распущенными волосами и лицо и вся она — красивее. Напоминает какую-то картину. Портрет одалиски, рабыни... Что-то в этом роде».

— В рабочем классе скрыто огромное количество разнообразно талантливых людей, и все они погибают зря, — сухо и холодно говорил Юрин. — Вот, например...

Вошли две дамы: Орехова и среднего роста брюнетка, очень похожая на галку, — сходство с птицей увеличилось, когда она, мелкими шагами и подпрыгивая, подскочила к Тосе, наклонилась, целуя ее, промывчала:

— М-мамочка, красавица моя.

Выпрямилась, точно от удара в грудь, и заговорила бойко, крикливо, с ужасом, явно неестественным и неумело сделанным:

— Юрин? Вы? Здесь? Почему? А — в Крым? Послушайте: это — самоубийство! Тося — как же это?

Тося, бесцеремонно вытирая платком оцелованное лицо, спустила черные ноги на пол и исчезла, сказав: — Знакомьтесь: Самгин — Плотникова, Марфа Николаевна. Пойду оденусь.

Орехова солидно поздоровалась с нею, сочувственно глядя на Самгина, потрясла его руку и стала помогать Юрину подняться из кресла. Он принял ее помощь молча и, высокий, сутулый, пошел к фисгармонии, костюм на нем был из толстого сукна, но и костюм не скрывал остроты его костлявых плеч, локтей, колен. Плотникова поспешно рассказывала Ореховой:

— Вырубова становится все более влиятельной при дворе, царица от нее — без ума, и даже говорят, что между ними эдакие отношения...

Она определила отношения шопотом и, с ужасом воскликнув: — Подумайте! И это — царица! — продолжала: — А в то же время у Вырубовой — любовник, какой-то простой сибирский мужик, богатырь, гигантского роста, она держит портрет его в евангелии... Нет, вы подумайте: в евангелии портрет любовника! Чорт знает что!

— Все это, друг мой, пустяки, а вот я могу сказать новость...

— Что такое, что?

— Потом скажу, когда придут Дроновы.

Юрин начал играть на фисгармонии что-то торжественное и мрачное. Женщины, сидя рядом, замолчали. Орехова слушала, благосклонно покачивая головою, оттопырив губы, поглаживая колено. Плотникова, попудрив нос, с минуту посмотрев круглыми глазами птицы в спину музыканта, сказала тихонько:

— Это ему, наверное, вредно... Это ведь, кажется, церковное, да?

Явилась Тося в голубом сарафане, с толстой косой, перекинутой через плечо на грудь, с бусами на шее, — теперь она была похожа на фигуру с картины Маковского «Боярская свадьба».

— Хорошо играет? — спросила она Клима, он молча наклонил голову, — фисгармония вообще не нравилась ему, а теперь почему-то особенно неприятно было видеть, как этот человек, обреченный близкой смерти, двигая руками и ногами, точно карабкаясь куда-то, извлекает из инструмента густые, угрюмые звуки.

— У него силы нет, — тихо говорила Тося. — А еще летом он у нас на даче замечательно играл, особенно на рояле.

— Вам очень идет сарафан, — сказал Самгин.

— Да, идет, — подтвердила Тося, кивнув головой, заплетая конец косы ловкими пальцами. — Я люблю сарафаны, они — удобные.

Она замолчала, и сквозь музыку Самгин услышал тихий спор двух дам:

— Поверьте мне: Думбадзе был ранен бомбой!

— Нет. Это неверно.

— Да, да! Оторвало козырек фуражки... и...

— Никаких — и!

— Ваше имя — Татьяна? — спросил Самгин.

— Таисья, — очень тихо ответила женщина, взяв пипиросу из его пальцев: — Но, когда меня зовут Тося, я кажусь сама себе моложе. Мне ведь уже двадцать пять.

Закурив, она продолжала так же тихо и глядя в затылок Юрина:

— Грозная какая музыка! Он всегда выбирает такую. Бетховена, Баха. Величественное и грозное. Он — удивительный. И — вот — болен, умирает.

Самгин взглянул в лицо ее, — брови ее сурово нахмурились, она закусила нижнюю губу, можно было подумать, что она сейчас заплачет. Самгин торопливо спросил: давно она знает Юрина?

Скучноватым полушопотом, искусно пуская в воздух кольца дыма, она сказала:

— Восемь лет. Он телеграфистом был, учился на скрипке играть. Хороший такой, ласковый, умный. Потом его арестовали, сидел в тюрьме девять месяцев, выслали в Архангельск. Я даже хотела ехать к нему, но он бежал, вскоре его снова арестовали в Нижнем, освобожденный уже в пятом году. В конце шестого опять арестовали. Весной освободили по болезни, отец хлопотал, Ваня — тоже. У него был брат слесарь, потом матрос, убит в Свеаборге. А отец был дорожным мастером, потом — подрядчиком по земляным работам, очень богатый, летом этим — умер. Женя даже хоронить его не пошел. Его вызвали сюда по делу о наследстве, но Женя говорит, что нарочно затягивают дело, ждут, чтоб он помер.

«Почему она так торопится рассказать о себе?» — подозрительно думал Самгин.

Слушать этот шопот под угрюмый вой фисгармонии было очень неприятно, Самгин чувствовал в этом соединении что-то близкое мрачному юмору и вздохнул облегченно, когда Юрин, перестав играть, выпрямил согнутую спину и сказал:

— Это — музыка Мейербера к трагедии Эсхила «Эвмениды». На сундуке играть ее — нельзя, да и забыл я что-то. А — чаю дадут?

— Идем, — сказала Тося, вставая.

Грузная, мужеподобная Орехова, в тяжелом шерстяном платье цвета ржавого железа, положив руку на плечо Плотниковой, стучала пальцем по какой-то косточке и говорила возмущенно:

— В «Кафе де Пари», во время ми-карем великий князь Борис Владимирович за ужином с кокотками сидел опутанный серпантинном, и кокотки привязали к его уху пузырь, изображавший свинью. Вы — подумайте, дорогая

моя, это — представитель царствующей династии, а? Вот как они позорят Россию! Заметьте: это рассказывал Рейнбот, московский градоначальник.

— Ужас, ужас! — шипящими звуками отозвалась Плотникова. — Говорят, что Балетта, любовница великого князя Алексея, стоит нам дороже Цусимы!

— А — что вы думаете? И — стоит!

Юрин, ведя Тосю под руку, объяснял ей:

— Эвмениды, они же эриннии, богини мщения, величавые, яростные богини. Вроде Марии Ивановны.

— Что, что? Вроде меня — кто? — откликнулась Орехова тревожно, как испуганная курица.

Из прихожей появился Ногайцев, вытирая бороду платком, ласковые глаза его лучисто сияли, за ним важно следовал длинноволосый человек, туго застегнутый в черный сюртук, плоскогрудый и неестественно прямой. Ногайцев тотчас же вытащил из кармана бумажник, взмахнул им и объявил:

— Чрезвычайно интересная новость!

— И у меня есть! — торопливо откликнулась Орехова.

— А — что у вас?

— Нет, сначала вы скажите.

Ногайцев, спрятав бумажник за спину, спросил:

— Почему я? Первое место — даме!

— Нет, нет! Не в этом случае!

Пока они спорили, человек в сюртуке, не сгибаясь, приподнял руку Тоси к лицу своему, молча и длительно поцеловал ее, затем согнул ноги прямым углом, сел рядом с Климом, подал ему маленькую ладонь, сказал вполголоса:

— Антон Краснов.

Самгин, пожимая его руку, удивился: он ожидал, что пальцы крепкие, но ощутил их мягкими, как бы лишенными костей.

Явился Дронов, пропустив вперед себя маленькую, кругленькую даму в пенсне, с рыжеватыми кудряшками на голове, с красивеньким кукольным лицом. Дронов прислушался к спору, вынул из кармана записную книжку, зачем-то подмигнул Самгину и провозгласил:

— Внимание!

Затем он громко и нараспев, подражая дьякону, начал читать:

— «О, окаянный и презренный российский Иуда...»

— Вот, вот, — вскричал Ногайцев. — И у меня это! А — у вас? — обратился он к Ореховой.

— Ну, да, — невесело сказала она, кивнув головой.

— Внимание! — повторил Дронов и начал снова:

— «...Иуда, удавивший в духе своем все святое, нравственно чистое и нравственно благородное, повесивший себя, как самоубийца лютый, на сухой ветке возгордившегося ума и развращенного таланта, нравственно сгнивший до мозга костей и своим возмутительным нравственно-религиозным злосмрадием заражающий всю жизненную атмосферу нашего интеллигентного общества! Анафема тебе, подлый, разбесившийся прелестник, ядом страстного и развращающего твоего таланта отравивший и приведший к вечной гибели многие и многие души несчастных и слабоумных соотечественников твоих».

Пока Дронов читал — Орехова и Ногайцев проверяли текст по своим запискам, а едва он кончил — Ногайцев быстро заговорил:

— Это — из речи епископа Гермогена о Толстом, — понимаете? Каково?

— Невежественно, — пожимая плечами, заявил Краснов: — Обратите внимание на сочетание слов — нравственно-религиозное злосмрадие? Подумайте, допустимо ли такое словосочетание в карающем глаголе церкви?

Рыженькая дама, задорно встряхнув кудрями, спросила тоном готовности спорить долго и непримиримо:

— А — если ересь?

— Ежели ересь злосмрадна — как же она может быть наименована религиозно-нравственной? Сугубо невежественно.

Публика зашумела, усердно обнаруживая друг пред другом возмущение речью епископа, но Краснов поступал чайной ложкой по столу и, когда люди замолчали, кашлянул и начал:

— Вульгарная речь безграмотного епископа не может оскорбить нас, не должна волновать. Лев Толстой — явление глубочайшего этико-социального смысла, явление,

все еще не получившее правильной, объективной оценки, приемлемой для большинства мыслящих людей.

Он, видимо, приучил Ногайцева и женщин слушать себя, они смиренно пили чай, стараясь не шуметь посудой. Юрин, запрокинув голову на спинку дивана, смотрел в потолок, только Дронов, сидя рядом с Тосей, бормотал:

— В Москву, обязательно, завтра. А — ты?

— Нет. Не хочу, — сказала Тося довольно громко, точно бросив камень в спокойно текущий ручей.

— В небольшой, но высоко ценной брошюре Преображенского «Толстой как мыслитель-моралист» дано одиннадцать определений личности и проповеди почтенного и знаменитого писателя, — говорил Краснов, дремотно прикрыв глаза, а Самгин, искоса наблюдая за его лицом, думал:

«Должно быть, он потому так натянуто прямо держится и так туго одет, что весь мягкий, дряблый, как его странные руки».

Черное сукно сюртука и белый, высокий, накрахмаленный воротник очень невыгодно для Краснова подчеркивали серый тон кожи его щек, волосы на щеках лежали гладко, бессильно, концами вниз, так же и на верхней губе, на подбородке они соединялись в небольшой клин, и это придавало лицу странный вид: как будто все оно стекало вниз. Лоб исчерчен продольными морщинами, длинные волосы на голове мягки, лежат плотно и поэтому кажутся густыми, но сквозь их просвечивает кожа. Глаза — невидимы, устало прикрыты верхними веками, нос — какой-то неудачный, слишком и уныло длинен.

«Вероятно, ему уже за сорок», — определил Самгин, слушая, как Краснов перечисляет:

— Пантеист, атеист, рационалист-деист, сознательный лжец, играющий роль русского Ренана или Штрауса, величайший мыслитель нашего времени, жалкий диалектик и так далее и так далее и, наконец, даже проповедник морали эгоизма, в которой есть и эпикурейские и грубо утилитарные мотивы и социалистические и коммунистические тенденции, — на последнем особенно настаивают профессора: Гусев, Козлов, Юрий Николаев, мыслители почтенные.

— И всё — ерунда, — сказал Юрин, бесцеремонно зевнув. — Ерунда и празднословие, — добавил он, а Тося небрежно спросила оратора:

— Чаю хотите?

Заговорили все сразу, не слушая друг друга, но как бы стремясь ворваться в прорыв скучной речи, дружно желая засыпать ее и память о ней своими словами. Рыженькая заявила:

— Я сомневаюсь, что речь Гермогена записана правильно...

— Верный источник, верный, — кричала Орехова, притопывая ногой.

Плотникова, стоя с чашкой чаю в руке, говорила Краснову:

— Анархист-коммунист — вы забыли напомнить! А это самое лучшее, что сказано о нем.

Ногайцев ласково уговаривал Юрина:

— Не-ет, вы чрезвычайно резко! Ведь надо понять, определить, с нами он или против?

— С кем — с нами? — спрашивал Юрин. А Дронов, вытаскивая из буфета бутылки и тарелки с закусками, ставил их на стол, гремел посудой.

— Вот так всегда и спорят, — сказала Тося, улыбаясь Самгину. — Вы — не любите спорить?

— Нет, — сказал он, женщина одобрительно кивнула головой:

— Это — хорошо. А Женя — любит, хотя ему вредно. Облако синеватого дыма колебалось над столом.

— Завтра еду в Москву, — сказал Дронов Самгину. — Нет ли поручения? Сам едешь? Завтра? Значит, вместе!

— Надо протестовать, — кричала рыжая, а Плотникова предложила:

— Послать речь Гермогена в Европу...

— Дорогой мой, — уговаривал Ногайцев, прижав руку к сердцу. — Сочиняют много! Философы, литераторы. Гоголь испугался русской тройки, закричал... как это? Куда ты стремишься и прочее. А — никакой тройки и не было в его время. И никто никуда не стремился, кроме петрашевцев, которые хотели повторить декабристов. А что же такое декабристы? Ведь, с вашей точки, они феодалы. Ведь они... комики, между нами говоря.

Юрин вскрикивал хрипло:

— Вы сами — комик...

— Ну, да, — с вашей точки, люди или подлецы или дураки, — благодушным тоном сказал Ногайцев, но желтые глаза его фосфорически вспыхнули и борода на скулах ошетижилась. К нему подкатился Дронов с бутылкой в руке, на горлышке бутылки вверх дном торчал и позванивал стакан.

— Идем, идем, — сказал он, подхватив Ногайцева под руку и увел в гостиную. Там они, рыженькая дама и Орехова, сели играть в карты, а Краснов, тихонько покачивая голову, занавесив глаза ресницами, сказал Тосе:

— Люди, милая Таисья Романовна, делятся на детей века и детей света. Первые поглощены тем, что видимо и якобы существует, вторые же, озаренные светом внутренним, взыскуют града невидимого...

— Вот такая у нас компания, — прервала его Тося, разливая красное вино по стаканам. — Интересная?

— Да, очень, — любезно ответил Самгин, а Юрин пробормотал [что-то], протягивая руку за стаканом.

— Ну — как? Читаете книжку Дюпреля? — спросил Краснов. Тося, нахмурясь, ответила:

— Пробую. Очень трудно понимать.

— Это «Философию мистики» — что ли? — осведомился Юрин и, не ожидая ответа, продолжал:

— Не читай, Тося, ерундовая философия.

— Докажите, — предложил Краснов, но Тося очень строго попросила:

— Нет, пожалуйста, не надо спорить! Вы, Антон Петрович, лучше расскажите про королеву.

Краснов, покорно наклонив голову, потер лоб ладонью, заговорил:

— Шведская королева Ульрика-Элеонора скончалась в загородном своем замке и лежала во гробе. В полдень из Стокгольма приехала подруга ее, графиня Стенбок-Фермор и была начальником стражи проведена ко гробу. Так как она слишком долго не возвращалась оттуда, начальник стражи и офицеры открыли дверь, и — что же представилось глазам их?

В гостиной люди громко назначали:

— Черви.

— Бубенцы, — выкрикивал Ногайцев.

— Королева сидела в гробу, обнимая графиню. Испуганная стража закрыла дверь. Знали, что графиня Стенбок тоже опасно больна. Послан был гонец в замок к ней, и — оказалось, что она умерла именно в ту самую минуту, когда ее видели в объятиях усопшей королевы.

— Ясно! — сказал Юрин. — Стража была вдребезги пьяная.

Краснов рассказал о королеве вполголоса и с такими придыханиями, как будто ему было трудно говорить. Это было весьма внушительно и так неприятно, что Самгин протестующе пожал плечами. Затем он подумал:

«Руки у него вовсе не дряблые».

Да, у Краснова руки были странные, они все время, непрерывно, по-змеиному гибко двигались, как будто не имея костей от плеч до пальцев. Двигались как бы нерешительно, слепо, но пальцы цепко и безошибочно ловили все, что им нужно было: стакан вина, бисквит, чайную ложку. Движения этих рук значительно усиливали неприятное впечатление рассказа. На слова Юрина Краснов не обратил внимания, покачивая стакан, глядя невидимыми глазами на игру огня в красном вине, он продолжал все так же вполголоса, с трудом:

— О событии этом составлен протокол и подписан всеми, кто видел его. У нас оно опубликовано в «Историческом и статистическом журнале» за 1815 год.

— Нашли место, где чепуху печатать, — вставил Юрин, покашливая и прихлебывая вино, а Тося, усмехаясь, сказала:

— Я очень люблю все такое. Читать — не люблю, а слушать готова всегда. Я — страх люблю. Приятно, когда мурашки под кожей бегают. Ну, еще что-нибудь расскажите.

— Охотно, — согласился Краснов.

— Без трех, — сердито, басом сказала Орехова.

— А — зачем ходили с дамы пик? — упрекнул ее Ногайцев.

— Иван Пращев, офицер, участник усмирения поляков в 1831 году, имел денщика Ивана Середу. Оный Середка, будучи смертельно ранен, попросил Пращева переслать его, Середу, домашним три червонца. Офицер ска-

зал, что пошлет и даже прибавит за верную службу, но предложил Середе: «Приди с того света в день, когда я должен буду умереть». — «Слушаю, ваше благородие», — сказал солдат и помер.

— А у меня — десятка, хо-хо! — радостно возгласил Дронов.

— Через тридцать лет Пращев с женой, дочерью и женихом ее сидели ночью в саду своем. Залаяла собака, бросилась в кусты. Пращев — за нею и видит: стоит в кустах Середа, отдавая ему честь. «Что, Середа, настал день смерти моей?» — «Так точно, ваше благородие!»

— Вот это — дисциплина! — восхищенно сказал Юрин, но иронический возглас его не прервал настойчивого течения рассказа:

— Пращев исповедался, причастился, сделал все распоряжения, а утром к его ногам бросилась жена повара, его крепостная, за нею гнался [повар] с ножом в руках. Он вонзил нож не в жену, а в живот Пращева, от чего тот немедленно скончался.

— Страшно жить, Тося! — вскричал Юрин.

— Страшно — слушать, а жить... жить-то не страшно, — ответила она, начиная убирать чайную посуду со стола.

В гостиной Ногайцев громко, тоскливо жаловался:

— Это не игра, а — уголовщина. Предательство.

Дронов — хохотал, а рыжая дама захлебывалась звонким смехом, и сокрушенно мычала Орехова.

— Вы, господин Юрин, все иронизируете, — заговорил Краснов, передвигая Тосе вымытые чашки. — Я, видимо, кажусь вам идиотом...

— Диагноз приблизительно верный.

— Вот видите, вам уже хочется оскорбить меня...

— Тем, что я считаю ваше самоопределение правильным? — спросил Юрин.

— Ага, вы уже отняли слово приблизительно!

Самгин поморщился, думая:

«Кажется, начнут ругаться».

И действительно, Краснов заговорил голосом повышенным и шипящим, как бы втягивая воздух сквозь зубы.

— Вам, человеку опасно, неизлечимо больному, следовало бы...

— Умереть, — закончил Юрин. — Я и умру, подождите немножко. Но моя болезнь и смерть — мое личное дело, сугубо, узко личное, и никому оно вреда не принесет. А вот вы — вредное... лицо. Как вспомнишь, что вы — профессор, отравляете молодежь, фабрикуя из нее попов... — Юрин подумал и сказал просительно, с юмором: — Очень хочется, чтоб вы померли раньше меня, сегодня бы! Сейчас...

— Убейте, — предложил Краснов, медленно, как бы с трудом выпрямив шею, подняв лицо. Голубовато блеснули узкие глазки.

— Сил нет, — ответил Юрин.

Держа в руках самовар, Тося сказала негромко:

— Вы — что? С ума сошли? Прошу прекратить эти... шуточки. Тебе, Женя, вредно сердиться, вина пьешь ты много. Да и куришь.

Самгин, поправив очки, взглянул на нее удивленно, он не ожидал, что эта женщина способна говорить таким грубо властным тоном. Еще более удивительно было, что ее послушали, Краснов даже попросил:

— Извините...

— Лучше помогите-ка мне стол накрыть, ужинать пора. Картежники, вы — скоро?

Поставив самовар на столик рядом с буфетом, раскладывая салфетки, она обратилась к Самгину:

— Одни играют в карты, другие словами, а вы — молчите, точно иностранец. А лицо у вас — обыкновенное, и человек вы, должно быть, сухой, горячий, упрямый — да?

— Не знаю. Я еще не познал самого себя, — неожиданно произнес Самгин, и ему показалось, что он сказал правду.

— Точно иностранец, — повторила Тося. — Бывало, в кондитерской у нас кофе пьют, болтают, смеются, а где-нибудь в уголке сидит англичанин и всех презирает.

— Я далек от этого, — сказал Клим, а она сказала:

— Вот уж не люблю англичан! Такие... индюки! — И крикнула в гостиную:

— Картежники, вы — скоро?

Картежники явились, разделенные на обрадованных и огорченных. Радость сияла на лице Дронова и в глазах

важно надутого лица Ореховой, — рыженькая дама нервно подергивала плечом, Ногайцев, сунув руки в карманы, смотрел в потолок. Ужинали миролюбиво, восхищаясь вкусом сига и огромной индейки, сравнивали гастрономические богатства Милютиных лавок с богатствами Охотного ряда, и все, кроме Ореховой, согласились, что в Москве едят лучше, разнообразней. Краснов, сидя против Ногайцева, начал было говорить о том, что непрерывный рост разума людей расширяет их вкус к земным благам и тем самым увеличивает количество страданий, отнюдь не способствуя углублению смысла бытия.

— Истина буддизма в аксиоме: всякое существование есть страдание, но в страдание оно обращается благодаря желанию. Непрерывный рост страданий благодаря росту желаний и, наконец, смерть — убеждают человека в иллюзорности его стремления достигнуть личного блага.

— Нет, уж о смерти, пожалуйста, не надо, — строго заявила Тося, — Дронов поддержал ее:

— Я — тоже против. К чорту!

— Женя правильно сказал: смерть — личное дело каждого.

— Однако, хотя и личное, — начал было Ногайцев, но, когда Тося уставила на него свои темные глаза, он изменил тон и быстро заговорил:

— А, знаете, ходит слух, что у эсеров не все благополучно.

— В головах? — спросил Юрин.

— В партии, в центре, — объяснил Дронов, видимо не поняв иронии вопроса или не желая понять. — Слух этот — не молод.

— Будто бы последние аресты — результат провокации...

Краснов сообщил, что в Петербург явился царицынский бунтовщик иеромонах Илиодор, вызванный Распутиным, и что Вырубова представила иеромонаха царице.

— Дела домашние, семейные дела, — сказал Ногайцев, а Дронов — сострил:

— Монах для дамы — вкуснее копченого сига...

— Ох, Ванечка, — вздохнула Тося.

Следя, как питается Краснов, как быстро и уверенно его гибкие руки находят лучшие куски пищи, Самгин подумал:

«Этот всегда будет сыт».

Встряхнув кудрями, звонко заговорила рыженькая дама.

— Ужасно много событий в нашей стране! — начала она, вздыхая, выкатив синеватые, круглые глаза, и лицо ее от этого сделалось еще более кукольным. — Всегда так было, и — я не знаю: когда это кончится? Всё события, события, и обо всем интеллигентный человек должен думать. Крестьянские и студенческие бунты, террор, японская война, террор, восстание во флоте, снова террор, 9 Января, революция, Государственная дума, и все-таки террор! В конце концов — страшно выйти на улицу. Я совершенно теряюсь! Чем же это кончится?

Юрин, усмехаясь, прошептал Тосе что-то, она, погрозив ему пальцем, сказала:

— Не нужно! Не шали.

Все молчали. Самгин подумал, что эта женщина говорит иронически, но присмотрелся к ее лицу и увидел, что на глазах ее слезы и губы вздрагивают.

«Напилась», — решил он, а рыженькая продолжала, еще более тревожно и протестующе:

— Во Франции, в Англии интеллигенция может не заниматься политикой, если она не хочет этого, а мы — должны! Каждый из нас обязан думать обо всем, что делается в стране. Почему — обязан?

Она тихонько всхлипнула, Орехова, глядя ее плечо, задушевно, басом посоветовала ей:

— Не волнуйтесь, милая Анна Захаровна, — вам вредно.

— Так хочется порядка, покоя, — нервно вскричала Анна Захаровна, отирая глаза маленьким платочком.

Самгин посмотрел на нее неприязненно и думая: «Как грубо можно исказить весьма ценную мысль!»

Примирительно заговорил Краснов:

— В нашей воле отойти ото зла и творить благо. Среди хаотических мыслей Льва Толстого есть одна христиански правильная: отрекись от себя и от темных дел мира сего! Возьми в руки плуг и, не озираясь, иди, рабо-

тай на борозде, отведенной тебе судьбою. Наш хлебопашец, кормилец наш, покорно следует...

Его не слушали. Орехова и рыженькая, встав из-за стола, прощались с Тосей, поднялся и Ногайцев. Дронов сказал Самгину:

— Значит — едем?

Идя домой, по улицам, приятно освещенным луною, вдыхая острый, но освежающий воздух, Самгин внутренне усмехался. Он был доволен. Он вспоминал собрания на кулебяках Анфимьевны у Хрисанфа и все, что наблюдалось им до Московского восстания, — вспоминал и видел, как резко изменились темы споров, интересы, как открыто говорят о том, что раньше замалчивалось.

«Конечно, это — другие люди, — напомнил он себе, но тотчас же подумал: — Однако с какой-то стороны они, пожалуй, интереснее. Чем? Ближе к обыденной жизни?»

Не решая этот вопрос, он нашел, [что] было приятно чувствовать себя самым умным среди этих людей. Неприятна только истерическая выходка этой глупой рыжей куклы.

«Какая дура».

В общем, чутко прислушиваясь к себе, Самгин готов был признать, что, кажется, никогда еще он не чувствовал себя так бодро и уверенно. Его основным настроением было настроение самообороны, и он далеко не всегда откровенно ставил пред собою некоторые острые вопросы, способные понизить его самооценку. Но на этот раз он спросил себя:

«Неужели это потому, что я, получив наследство, стал независимым человеком? Временно независимым», — добавил он, вспомнив, что ценность наследства неизвестна ему. Но этот вопрос почему-то не потребовал решения, может быть, потому, что в памяти встала фигура Тоси, ее бюст, воинственно приподнятый сарафаном. Самгин был в том возрасте, когда у многих мужчин и женщин большого сексуального опыта нормальное биологическое влечение становится физиологическим любопытством, которое принимает характер настойчивого желания узнать, чем тот или та не похожи на этого или эту. В подобных случаях память и воображение, соединясь, могут на некоторых

действовать так же тиранически, как и страстная любовь. Но Мессалина, вероятно, недолго удовлетворяла бы любопытство дон-Жуана, так же как и он ее любопытство. Тося казалась Самгину соблазнительной и легко доступной. Он думал о ней с удовольствием и, представляя ее раздетой, воображал похожей на Марину, какой видел ее после «радения». Она все еще оставалась мозолью его мозга, одним из наиболее обидных моментов жизни и, ночами, нередко мешала ему уснуть. К тому же с некоторого времени он в качестве средства, отвлекающего от неприятных впечатлений, привык читать купленные в Париже книги, которые, сосредоточивая внимание на играх чувственности, легко прекращали бесплодную и утомительную суету мелких мыслей.

Весь следующий день Самгин прожил одиноко все в том же бодром настроении, снисходительно размышляя о Дронове и его знакомых. За окном буйно кружилась, выла и свистела вьюга, бросая в стекла снегом, изредка в белых вихрях появлялся, исчезал большой, черный, бородатый царь на толстом, неподвижном коне, он сдерживал коня, как бы потеряв путь, не зная куда ехать. Самгин, покуривая, ходил, сидел, лежал и, точно играя в шахматы, расставлял фигуры знакомых людей, стараясь найти в них сходство. Сначала он отвел в сторону группу людей наименее интересных и наиболее неприятных ему. Это были люди, ограниченные определенной системой фраз, их возглавлял Кутузов, и заранее можно было знать, что каждый из них скажет по тому или иному данному поводу.

«Конченные люди, не способные к дальнейшему росту. — Попы социалистической церкви, — назвал он их. — Забыли, что социализм выдуман буржуазией и является производным от нищенской фантастики христианства. Проповедники классовой борьбы и абсолютно невозможной диктатуры пролетариата, всячески безграмотного. Я — не отрицаю социализм в той форме, как он понят немцами. В Германии он — естественный для буржуазной культуры шаг вперед. Там он — исторически понятен. Но у нас? В стране, где возможны Разин, Пугачев, аграрные погромы, Московское восстание... Безумие. Авантюризм честолубцев, которым нечего терять...»

Он сам был искренно удивлен резкостью и определенностью этой оценки, он никогда еще не думал в таком тоне, и это сразу приподняло, выпрямило его. Взглянув в зеркало, он увидел, что смоченные волосы, высохнув, лежат гладко и этим обнаруживают, как мало их и как они стали редки. Он взял щетку, старательно взбил их, но, и более пышные, они все-таки заставили его подумать: «Скоро буду лысым».

Это было очень неприятно.

Держа в одной руке щетку, приглаживая пальцами другой седоватые виски, он минуты две строго рассматривал лицо свое, ни о чем не думая, прислушиваясь к себе. Лицо казалось ему значительным и умным. Несколько суховатое, но тонкое лицо человека, который не боится мыслить свободно и органически враждебен всякому насилию над независимой мыслью, всем попыткам ограничить ее.

«Ин-те-лли-гент, — мысленно и с уважением назвал он себя. — Новая сила истории, сила, еще недостаточно осознавшая свое значение и направление». Затем счесал гребенкой со щетки выпавшие волосы, свернул их в комок, положил в пепельницу, зажег спичку, а когда волосы, затрещав, сгорели — вздохнул. После этого, несколько охлажденный своей жертвой времени, он снова начал соединять людей по признакам сходства характеров. Дронова он поставил рядом с Митрофановым. Затем присоединил к ним Тагильского. Подумав, прибавил к ним четвертого — Макарова, но тотчас же сообразил, что это — нехорошо, неудачно.

«К ним нужно Лютова. И Бердникова. Да, именно скота Бердникова».

Но тяжелая туша Бердникова явилась в игре Самгина медведем сказки о том, как маленькие зверки поселились для дружеской жизни в черепе лошади, но пришел медведь, спросил — кто там, в черепе, живет? — и, когда зверки назвали себя, он сказал: «А я всех вас давишь», сел на череп и раздавил его вместе с жителями.

Неприятное, унижающее воспоминание о пестрой, цинической болтовне Бердникова досадно спутало расстановку фигур, сделало игру неинтересной. Да и сами по себе фигуры эти, при наличии многих мелких сходств

в мыслях и словах, обладали только одним крупным и ясным — неопределенностью намерений.

«На чем пытаются утвердить себя Макаров, Тагильский? Чего хотят? Почему Лютов давал деньги эсерам? Чем ему мешало жить самодержавие?»

За окном, в снежной буре, подпрыгивал на неподвижном коне черный, бородатый царь в шапке полицейского, — царь, ничем, никак не похожий на другого, который стремительно мчался на Сенатской площади, попирая копытами бешеного коня змею.

Самгин отошел от окна, лег на диван и стал думать о женщинах, о Тосе, Марине. А вечером, в купе вагона, он отдыхал от себя, слушая непрерывную, возбужденную речь Ивана Матвеевича Дронова. Дронов сидел против него, держа в руке стакан белого вина, бутылка была зажата у него между колен, ладонью правой руки он растирал небритый подбородок, щеки, и Самгину казалось, что даже сквозь железный шум под ногами он слышит треск жестких волос.

— Понимаешь, какая штука, — вполголоса торопливо говорил Дронов, его скуластое лицо морщилось, глаза, как и прежде, беспокойно бегали, заглядывая в окно, в темноту, разрываемую искрами и огнями, в лицо Самгина, в стакан. — Не хочется оказаться в дураках. Жизнь — чорт ее знает — вдруг как будто постарела, сморщилась, а вместе с этим началось в ней что-то судорожное, эдакая, знаешь, поспешность... хватай, ребята! Ну, в промышленности, в торговле это — естественно, тут — как марксисты учат — или фабрикуй нищих, или сам нищим будешь. А — нищенство хотя и национальное ремесло, но — не из приятных, росту гордости — не способствует. А «человек — это звучит гордо», и он, чорт, хочет быть гордым. Ну, понимаешь...

Запрокинув голову, он вылил вино в рот, облил подбородок, грудь, сунул стакан на столик и, развязывая галстук, продолжал:

— Меня, брат, интеллигенция смущает. Я ведь — хочешь ты не хочешь — причисляю себя к ней. А тут, понимаешь, она резко и глубоко раскалывается. Идеалисты, мистики, буддисты, йогов изучают, «Вестник теософии» издают. Блаватскую и Анну Безант вспомнили... В Калуге

никогда ничего не было, кроме калужского теста, а теперь — жители оккультизмом занялись. Казалось бы, после революции...

— Это движение началось еще до революции, — напомнил Самгин.

— В качестве предохранительной прививки? Профилактика? — спросил Дронов, бережно поставив бутылку в угол дивана.

— Возможно, — согласился Самгин.

— Н-да. Значит, кто-то что-то предусмотрел? Кто же это командует?

Самгин, усмехаясь, молча пожал плечами.

— Литераторы-реалисты стали пессимистами, — бормотал Дронов, расправляя мокрый галстук на колене, а потом, взмахнув галстуком, сказал: — Недавно слышал я о тебе такой отзыв: ты не имеешь общерусской привычки залезать в душу ближнего, или — в карман, за неимением души у него. Это сказал Тагильский, Антон Никифоров...

— Я очень мало знаю его, — поторопился заявить Самгин.

— А он тебя, по-моему, правильно... оценил, — охлажденно и как будто обиженно продолжал Дронов. — К людям ты относишься... неблагоприятно. Даже как будто презгливо...

— Это — неверно, — строго сказал Самгин. — Он так же мало знает меня, как я — его. Ты давно знаком с ним?..

— Года два уже. Познакомились на бегах. Он — деньги потерял или — выкрали. Занял у меня и — очень выиграл! Предложил мне половину. Но я отказался, ставил на ту же лошадь и выиграл втрое больше его. Ну — кутнули... немножко. И познакомились.

— Что это за человек? — настороженно спросил Самгин.

— Чорт его знает, — задумчиво ответил Дронов и снова вспыхнул, заговорил торопливо: — Со всячинкой. Служит в министерстве внутренних дел, может быть в департаменте полиции, но — меньше всего похож на шпиона. Умный. Прежде всего — умен. Тоскует. Как безнадежно влюбленный, а неизвестно — о чем? Ухаживает

за Тоськой, но — надо видеть — как! Говорит ей дерзости. Она его терпеть не может. Вообще — человек, напечатанный курсивом. Я люблю таких... несовершенных. Когда — совершенный, так уж ему и чорт не брат.

«Это он — про меня», — сообразил Самгин и сказал: — Жена у тебя интересная...

— Все одобряют, — сказал Дронов, сморщив лицо. — Но вот на жену — мало похожа. К хозяйству относится небрежно, как прислуга. Тагильский ее давно знает, он и познакомил меня с ней. «Не хотите ли, говорит, взять девицу, хорошую, но равнодушную к своей судьбе?» Тагильского она, видимо, отвергла, и теперь он ее называет путешественницей по спальням. Но я — не ревнив, а она — честная баба. С ней — интересно. И, знаешь, спокойно: не обманет, не продаст.

— А Юрин? — спросил Самгин.

— Большевичок. Уменьшечка. Но, как видишь, отыгранная карта. Вот он — Тоськина любовь, но — материнская.

Он говорил таким скучным тоном, что заставил Самгина подумать:

«Притворяется».

Минуты две молчали, потом Дронов сказал:

— Ну, что же, спать, что ли? — Но, сняв пиджак, бросив его на диван и глядя на часы, заговорил снова: — Вот, еду добывать рукописи какой-то сногшибательной книги. — Петя Струве с товарищами изготавил. Говорят: сочинение на тему «играй назад!» Он ведь еще в 901 году приглашал «назад к Фихте», так вот... А вместе с этим у эсеров что-то неладно. Вообще — развальчик. Юрин утверждает, что все это — хорошо! Дескать — отсеивается мякина и всякий мусор, останется чистейшее, добротное зерно... Н-да...

— Взгляд — правильный, — сказал Самгин, чтобы сказать что-нибудь.

— Не знаю, — откликнулся Дронов и замолчал, но, сидя на постели уже в ночном белье и потирая подбородок, вдруг и сердито пробормотал:

— Знаешь, все-таки самое меткое и грозное, что придумано, — это классовая теория и идея диктатуры рабочего класса.

Самгин, наклонив голову, взглянул на него через очки, но Дронов уже лег, натянул на себя одеяло.

«Обиделся, — решил Самгин, погасив огонь. — Он стал интереснее и, кажется, умней. Но все-таки напрасно я допустил его говорить со мною на «ты».

— Смешно, — сказал Дронов.

— Что?

— Человек, родом — немец, обучает русских патриотизму.

Помолчав, а затем уступая желанию оборвать Дронова — Самгин сказал сухо и докторально:

— Струве имеет вполне определенные заслуги перед интеллигенцией: он первый указал ей, что роль личности в истории — это иллюзия, самообман...

— А — еще что? — спросил Дронов, помолчав.

«А еще — он признал за личностью право научного беспристрастного наблюдения явлений», — хотел сказать Самгин, но не решился и сказал сонным голосом:

— Поздно. Давай уснем...

Дронов, не уступая, лежа на боку и размешивая пальцем сумрак, говорил ядовито, повысив голос:

— Роль личности он отрицал, будучи марксистом, а затем, как тебе известно, перекрестился в идеализм, а идеализм без индивидуализма не бывает, а индивидуализм, отрицающий роль личности в жизни, — чепуха! Невозможен...

Самгин не ответил ему, но подумал, засыпая:

«Я мало читаю по вопросам философии».

— Москва! — разбудил его Дронов, одетый в толстый, мохнатый костюм табачного цвета, причесанный, солидный.

— Завтракаем в «Московской», в час? — предложил он.

— Если успею, — сказал Самгин и, решив не завтракать в «Московской», поехал прямо с вокзала к нотариусу знакомиться с завещанием Варвары. Там его ожидала неприятность: дом был заложен в двадцать тысяч частному лицу по первой закладной. Тощий, плоский нотариус, с желтым лицом, острым клочком седых волос на остром подбородке и красненькими глазами окуня, сообщил, что залогодатель готов приобрести дом в собственность, доплатив тысяч десять — двенадцать.

— Не больше? — спросил Самгин, сообразив, что на двенадцать тысяч одному можно вполне прилично прожить года четыре. Нотариус, отрицательно качая лысой головой, почмокал и повторил:

— Не больше.

Нотариус не внушал доверия, и Самгин подумал, что следует посоветоваться с Дроновым, — этот, наверное, знает, как продают дома. В доме Варвары его встретила еще неприятность: парадную дверь открыла девочка-подросток — черненькая, остроносая и почему-то с радостью, весело закричала:

— Варвары Кирилловны дома нет, в Петербург уехали!

Радость ее показалась Самгину неприличной, он строго сказал:

— Варвара Кирилловна — померла!

— Господи, — тихонько произнесла девочка, но, отшатнувшись, спросила: — А может, вы врете? — И тотчас же визгливо закричала: — Фелицата Назар-на!

Явилась знакомая — плоскогрудая, тонкогубая женщина в кружевной наколке на голове, важно согнув шею, она молча направила стеклянные глаза в лицо Самгина, а девчушка тревожно и торопливо говорила, указывая на него пальцем:

— Он говорит — померла Варвара-то Кирилловна.

— Мне ничего неизвестно, — сказала женщина, не помогая Самгину раздеться, а когда он пошел из прихожей в комнаты, встала на дороге ему.

— Позвольте-с, как же это...

— Подите прочь, — крикнул Самгин. — Что вы — не знаете меня?

— Знаю-с, но — не могу...

И, отступив на шаг в сторону, деревянным голосом скомандовала:

— Анка, позвони в участок, чтобы Мирон Петрович пришел.

— Вы — дура! — заявил Самгин. — Я вас выгоню, — крикнул он и тотчас устыдился своего гнева, а женщина, следуя за ним по пятам, говорила однотонно и убийственно скучно:

— Если право имеете — можете и выгнать, а ругать не имеете права. Я служащая, мне поручено имущество.

— Но ведь вы же знаете, кто я, — миролюбиво напомнил Самгин.

— Я Варваре Кирилловне служу, и от нее распоряжений не имею для вас... — Она ходила за Самгиным, оставаясь в дверях каждой комнаты и, очевидно, опасаясь, как бы он не взял и не спрятал в карман какую-либо вещь, и возбуждая у хозяина желание стукнуть ее чем-нибудь по голове. Это продолжалось минут двадцать, все время натягивая нервы Самгина. Он курил, ходил, сидел и чувствовал, что поведение его укрепляет подозрения этой двуногой шуки.

«Если ее оставить даже на сутки — она обворует», — соображал он.

Наконец пришел толстый, чернобородый помощник пристава, молча выслушал стороны и сказал внушительным басом:

— Как юрист, вы должны бы предъявить удостоверение врача или больницы о смерти.

— Удостоверение оставлено мною у нотариуса, можете справиться.

— Не обязаны, — сказал полицейский, вздохнув глубоко и прикрывая ресницами большие черные глаза на лице кирпичного цвета.

— Я оплачу хлопоты, — сказал Самгин, протянув ему билет в двадцать пять рублей.

— Прекрасно, — откликнулся полицейский, отдал честь, подняв широкую ладонь к плюшевому черепу, и ушел, поманив пальцем Фелицату.

Самгин чувствовал себя отвратительно. Одолевали неприятные воспоминания о жизни в этом доме. Неприятны были комнаты, перегруженные разнообразной старинной мебелью, набитые мелкими пустяками, которые должны были говорить об эстетических вкусах хозяйки. В спальне Варвары на стене висела большая фотография его, Самгина, во фраке, с головой в форме тыквы, — тоже неприятная.

«Чорт с ней, пусть эта дура ворует», — решил он и пошел на свидание с Дроновым.

Москва была богато убрана снегом, толстые пуховики его лежали на крышах, фонари покрыты белыми чепчиками, всюду блестело холодное серебро, морозная пыль

над городом тоже напоминала спокойный блеск оксидированного серебра. Под ногами людей хрящевато поскрипывал снег, шуршали и тихонько взвизгивали железные полозья саней.

«Уютный город», — одобрительно подумал Самгин.

Дронова еще не было в гостинице, Самгин с трудом нашел свободный столик в зале, тесно набитом едоками, наполненным гулом голосов, звоном стекла, металла, фарфора. Самгин не впервые сидел в этом храме московского кулинарного искусства, ему нравилось бывать здесь, вслушиваться в разноголосый говор солидных людей, ему казалось, что, хмельные от сытости, они, вероятно, здесь более откровенны, чем где-либо в другом месте. Однажды он даже подумал, что этот пестрый, сложный говор должен быть похож на «общие исповеди» в соборе Кронштадта, организованные знаменитым попом Иоанном Сергиевым. Ловя отдельные фразы и куски возбужденных речей, Самгин был уверен, что это лучше, вернее, чем книги и газеты, помогает ему знать, «чем люди живы». Вот и сейчас, сзади его, приятный басок говорил увещающим тоном:

— Мы, провинциалы, живем спокойней вас, москвичей, у нас есть время наблюдать за вами, и — что же мы видим?

— Возьмите еще осетрины, — посоветовал басу ленивый, бесцветный голос.

— С удовольствием возьму.

А впереди волнисто изгибалась длинная, узкая спина, туго обтянутая поддевкой, и звучно, немножко гнусаво жаловалась:

— Как же быть, Петр Васильевич, батюшко мой? Весной — объединенное дворянство заявило себя против политических реформ, теперь вот наше, московское, высказалось за неприкосновенность самодержавия, а — мы-то, промышленники-то, как же, а?

И, должно быть, скушав осетрину, снова увещевал басок:

— В быстрой смене литературных вкусов ваших все же замечаем — некое однообразие оных. Хотя антидемократические идеи Ибсена как будто уже приелись, но место его в театрах заступил Гамсун, а ведь хрен

редьки — не слаще. Ведь Гамсун — тоже антидемократ, враг политики...

— Но герой его, Карено, легко отказался от своих идей в пользу места в стортинге, — вставил ленивый голос.

— Вот, вот! То-то и есть — что отказался, как и у нас многие современные разночинцы отказываются, бегут общественной деятельности ради личного успеха, пренебрегая заветами отцов и уроками революции...

— Ну, что там: заветы, уроки! Дан завет новый: *enrichissez-vous* — обогащайтесь! Вот завет революции...

— Это вы — иронически?

Ленивый начал говорить сердито:

— Э, какая тут ирония! Все — жрать хотят.

— В ущерб своему человеческому достоинству...

— Вы, Нифонт Иванович, ветхозаветный человек. А молодежь, разночинцы эти... не дремлют! У меня письмоводитель в шестом году наблудил что-то, арестовали. Парень — дельный и неглуп, готовился в университет. Ну, я его вызволил. А он, ежа ему за пазуху, сукину сыну, снял у меня копию с одного документа да и продал ее заинтересованному лицу. Семь тысяч гонорара потерял я на этом деле. А дело-то было — беспронгрышное.

— Там — все наше, вплоть до реки Белой наше! — хрипло и так громко сказали за столиком сбоку от Самгина, что он и еще многие оглянулись на кричавшего. Там сидел краснолобый, большеглазый, с густейшей светлой бородой и сердитыми усами, которые не закрывали толстых губ яркокрасного цвета, одной рукою, с вилкой в ней, он писал узоры в воздухе. — От Бирской вглубь до самых гор — наше! А жители там — башкирье, дикари, народ негодный, нерабочий, сорье на земле, нищими по золоту ходят, лень им золото поднять...

Его слушали плешивый человек с сизыми ушами, с орденом на шее и носатая длинная женщина, вся в черном, похожая на монахиню.

Человек с орденом сказал, вставая:

— Будем смотреть это все, я и мой инженер, — а женщина спросила звонко и сердито:

— Тюда нюжни дольго понехат?

— Ну, чего там долго! Четверо суток на пароходе. Катнем по Волге, Каме, Белой, — там, на Белой, места такой красоты — ахнешь, Клариса Яковлевна, сто раз ахнешь. — Он выпрямился во весь свой огромный рост и возбужденно протрубил:

— Я государству — не враг, ежели такое большое дело начинаете, я землю дешево продам. — Человек в поддевке повернул голову, показав Самгину темный глаз, острый нос, седую козлиную бородку, посмотрел, как бородатый в сюртуке считает поданное ему на тарелке серебро сдачи со счета, и вполголоса сказал своему собеседнику:

— На чай оставил три пятака, боров! Самарский купец из казаков уральских. Знаменито богат, у него башкирской земли целая Франция. Я его в Нижнем на ярмарке видал, — кутнуть умеет! Зверь большого азарта, картежник, распутник, пьяница.

— Мамонтам этим пора бы вымереть.

— Вымрут... Скоро.

Освобожденный стол тотчас же заняли молодцеватый студент, похожий на переодетого офицера, и скромного вида человек с жидкой бородкой, отдаленно похожий на портреты Антона Чехова в молодости. Студент взял карту кушаний в руки, закрыл ею румяное лицо, украшенное золотистыми усиками, и сочно заговорил, как бы читая по карте:

— Ты, Борис, прочитай Оскара Уайльда «Социализм и душа человека».

— Я уже читал, — тихо, виновато ответил скромный.

— Помнишь у него: «Бедные своекорыстнее богатых».

— Это — парадокс...

— Парадокс, — это, брат, протест против общепринятой пошлости, — внушительно сказал студент, оглянувшись, прищурив серые, холодненькие глаза, и добавил:

— Парадокс надо понимать не как искажение, но как отражение.

Он мешал Самгину слушать интересную беседу за его спиной, человек в поддевке говорил внятно, но гнусавенький ручеек его слов все время исчезал в непрерывном вихре шума. Однако, напрягая слух, можно было поймать кое-какие фразы.

— Столыпина я одобряю; он затеял дело доброе, дело мудрое. Накормить лучших людей — это уже политика европейская. Все ведь в жизни нашей строится на отборе лучшего, — верно?

Кто-то насмешливо крикнул:

— Рассыпался ваш синдикат «Гвоздь», ни гвоздя не осталось!

— Ошибаешься, Степан Иванович, не рассыпался, а — расширился, теперь это — «Проволока».

— Продруд, Продрусь...

— Вот — в Германии, Петр Васильич, накормили лучших-то социал-демократов, посадили в рейхстаг: законодательствуйте, ребята! Они и сидят и законодательствуют, и всё спокойно, никаких вспышек.

— Все же стачки!

— А что — стачки? Выгнав болезнь наружу, лечить ее удобней. Нет, дорогой, вся мудрость — в отборе лучших. Юлий-то Цезарь правильно сказал о толстых, о сытых.

— После него, Цезаря, замечено было, что сытый голодного не разумеет.

— Ведь — вы подумайте, батюшко мой, как депутат и член правительства, ведь Емельян-то Пугачев, во-время взятый, мог бы рядом с Григорьем Потемкиным около Екатерины Великой вращаться...

— Это — шуточки-с!

«Революция научила людей оригинально думать, откровенней», — отметил Самгин.

И, как бы подтверждая его наблюдение, где-то близко заворчал угрюмый голос:

— Балканская политика стоила нам немало денег и сил, и — вот, признали аннексию Боснии, Герцеговины, значительно усилив этим Австрию, а — значит — и Германию...

Прибежал Дронов, неряшливо растрепанный, сердитый, с треском отодвинул стул.

— Прозевал книгу, уже набирают. Достал оттиски первых листов. Прозевал, чорт возьми! Два сборничка выпустил, а третий — ускользнул. Теперь, брат, пошла мода на сборники. От беков, Луначарского, Богданова, Чернова и до Грингмута, монархиста, все предлагают

товар мыслишек своих оптом и в розницу. Ходовой товар. Что будем есть?

— Ты представь себя при социализме, Борис, — что ты будешь делать, ты? — говорил студент. — Пойми: человек не способен действовать иначе, как руководясь интересами своего я.

Самгин вдруг почувствовал: ему не хочется, чтобы Дронов слышал эти речи, и тотчас же начал ему о своих делах. Поглаживая ладонью лоб и ершистые волосы на черепе, Дронов молча, глядя в рюмку водки, выслушал его и кивнул головой, точно сбросив с нее что-то.

— Дом продать — дело легкое, — сказал он. — Дома в цене, покупателей — немало. Революция спугнула помещиков, многие переселяются в Москву. Давай, выпьем. Заметил, какой студент сидит? Новое издание. Усовершенствован. В тюрьму за политику не сядет, а если сядет, так за что-нибудь другое. Эх, Клим Иванович, не везет мне, — неожиданно заключил он отрывистую, сердитую свою речь.

Нужно было что-то сказать, и Самгин спросил:

— Чем ты расстроен?

— Тем, что не устроен, — ответил Дронов, вздохнув, и выпил стакан вина.

— Устроишься... Жизнь как будто становится просторнее, свободней, — невольно прибавил он.

— Свободней? Не знаю. Суеты — больше, может быть, поэтому и кажется, что свободней.

Он торопливо и небрежно начал есть, а Самгин — снова слушать. Людей в зале становилось меньше, голоса звучали более отчетливо, кто-то раздраженно кричал:

— Интересы промышленности у нас понимал только Витте.

— А — интересы земледелия? Ага?

В другом месте спорили о театре:

— Нет — довольно Островского и осмеяния замоскворецких купцов. Эти купцы — прошлое Москвы, далекое прошлое!

— А — провинция?

— Ну, и пускай Малый театр едет в провинцию, а настоящий, культурно-политический театр пускай очистится от всякого босячества, нигилизма — и дайте ему место

в Малом, так-то-с! У него хватит людей на две сцены — не беспокойтесь!

Дронов съел суп, вытер губы салфеткой и заговорил:

— Ты вот молчишь. Монументально молчишь, как бронзовый. Это ты — по завету: «Не мечите бисера перед свиньями, да не попрут его ногами» — да?

— Я не люблю проповедей. И проповедников, — сухо сказал Самгин.

— Себя-то, конечно, любишь. Проповедников и я [не] люблю. Может быть — боюсь даже, — не всех однако. Нет, не всех. Ты — не сердись на меня, если я грубо сказал. Дело в том, что завидую я тебе, спокойствию твоему завидую. Иной раз думается, что ты хранишь мудрость твою, как девственность. Пачкать ее не хочешь.

Он махнул рукой. Помолчав, он задумчиво и с возрастающей уверенностью сказал:

— Жизнь — изнашивает. Давай, выпьем!

Самгин посмотрел на него и понял, что Дронов уже насытился, разбрасывал беспокойные глазки по залу и ворчал:

— Не люблю я это капище Мамоново. Поедем к тебе, я там прочитаю оттиски, их надо вернуть.

Самгин согласился, но спросил кофе, ему еще хотелось посидеть, послушать. В густой метели слов его слух все время улавливал нечто созвучное его настроению. И, как всегда, когда он замечал это созвучие, он с досадой, все более острой, чувствовал, что какие-то говоруны обворовывают его, превращая разнообразный и обширный его опыт в мысли, грубо упрощенные раньше, чем сам он успевает придать им форму, неотразимо точную, ослепительно яркую. В настроении такой досады он поехал домой, рассказав по дороге Дронову анекдот с Фелицатой. Дронов — захохотал.

— Это — дура! Она — английских романов читалась, Гемфри Уарда любит, играет роль преданной слуги. Я ее прозвал цаплей — похожа? Английский роман весьма способствует укреплению глупости — не находишь?

— Не всякий, — поправил его Самгин и вспомнил Анфимьевну.

Раздеваясь в прихожей и глядя в длинное, важное лицо Фелицаты, Дронов, посмеиваясь, грубовато говорил:

— Ты, Цапля, что же это какие фокусы делаешь, а?

Она тоже как будто улыбалась, тонкогубый рот ее, разрезав серые щеки, стал длиннее, голос мягче. Снимая пальто с плеч Дронова, она заговорила:

— Иван Матвееч, я обязана...

— Никто не обязан быть глупым. Налаживай самовар и добудь две бутылки белого вина «Грав», — знаешь?

— Как же-с...

— Действуй...

«Нахал», — механически отметил Самгин, видя, что Дронов ведет себя, как хозяин.

Затем Дронов прошел в гостиную, остановился посредине ее, оглянулся и, потирая лоб, пробормотал:

— Любила мелочишки Варвара Кирилловна, а — деловая была женщина и вкус денег знала хорошо. Была бы богатой.

Взглянув на часы, он тотчас же сел в кресло, вынул из бокового кармана пачку гранок набора и спросил:

— Ну-ко, в чем дело?

Сидя, он быстро, но тихонько шаркал подошвами, точно подкрадывался к чему-то; скуластое лицо его тоже двигалось, дрожали брови, надувались губы, ошетинивая усы, косые глаза щурились, бегая по бумаге. Самгин, прислонясь спиною к теплым изразцам печки, закурил папиросу, ждал.

— Ага, вот оно, — пробормотал Дронов и тотчас же внятно, даже торжественно прочитал:

— «Внутренняя жизнь личности есть единственно творческая сила человеческого бытия, и она, а не самодовлеющие начала политического порядка является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства».

Дронов закрыл левый глаз, взмахнул полосками бумаги, как флагом, и спросил:

— Формулировочка прямолинейная, а? Это — ударчик не только по марксистам...

— Читай дальше, — предложил Самгин, перестав курить, и не без чувства гордости напомнил себе:

«Я всегда протестовал против вторжения политики в область свободной мысли...»

— Тут много подчеркнуто, — сказал Дронов, шелестя бумагой, и начал читать возбужденно, взвизгивая:

— «Русская интеллигенция не любит богатства». Ух ты! Слышал? А может, не любит, как лиса виноград? «Она не ценит, прежде всего, богатства духовного, культуры, той идеальной силы и творческой деятельности человеческого духа, которая влечет его к овладению миром и очеловечению человека, к обогащению своей жизни ценностями науки, искусства, религии...» Ага, религия? — «и морали». — Ну, конечно, и морали. Для укрощения строптивых. Ах, черти...

«Отвратительно читает, дурак», — сердито отметил Самгин, очень заинтересованный, и, бросив погасшую папиросу, торопливо закурил новую, а Дронов читал:

— «И, что всего замечательнее, эту свою нелюбовь она распространяет даже на богатство материальное, инстинктивно сознавая его символическую связь с общей идеей культуры». Символическую? — вопросительно повторил Дронов, закрыв глаза. — Символическую? — еще раз произнес он, взмахнув гранками.

Читал он все более раздражающе неприятно, все шаркал ногами, подпрыгивал на стуле, качался, держа гранки в руке, неподвижно вытянутой вперед, приближая к ним лицо и почему-то не желая, не догадываясь согнуть руку, приблизить ее к лицу.

«Он чем-то доволен, — с досадой отметил Самгин. — Но — чем?»

Клим Иванович тоже слушал чтение с приятным чувством, но ему не хотелось совпадать с Дроновым в оценке этой книги. Он слышал, как вкусно торопливый голосок произносит необычные фразы, обсасывает отдельные слова, смакует их. Но замечания, которыми Дронов все чаще и обильнее перебивал текст книги, скептические восклицания и мимика Дронова казались Самгину пошлыми, неуместными, раздражали его.

— «Интеллигенция любит только справедливое распределение богатства, но не самое богатство, скорее она

даже ненавидит и боится его». Боится? Ну, это ерундоподобно. Не очень боится в наши дни. «В душе ее любовь к бедным обращается в любовь к бедности». Мм — не замечал. Нет, это чепуховидно. Еще что? Тут много подчеркнуто, чорт возьми! «До последних, революционных лет творческие, даровитые натуры в России как-то сторонились от революционной интеллигенции, не вынося ее высокомерия и деспотизма...»

«Это — верно», — подумал Самгин и подумал так решительно, что даже выпрямился и нахмурил брови: ему показалось, что он произнес эти два слова вслух, и вот сейчас Дронов спросит его:

«Почему — верно?»

Дронов увлеченно и поспешно продолжал выхватывать подчеркнутое:

— «Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, уничтожила интерес к ней». «Что есть истина?» — спросил мистер Понтий Пилат. Дальше! «Какковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна, своими штыками, охраняет нас от ярости народной...»

Дронов, тихонько свистнув, покачнулся на стуле, шлепнул гранками по колену и, мигая, забормотал ошеломленно:

— Эт-то... крепко сказано! М-мужественно. Пишут, как обручи на бочку набивают, чорт их дери! Это они со страха до бесстрашия дошли, ей-богу! Клим Иванович, что ты скажешь, а? Они ведь, брат, некое настроенье правильно уловили, а?

Крепко зажмурив глаза, он захохотал. Его смех показался Самгину искусственным и как будто пьяным. Самгина тяготила необходимость отвечать, а ответы требовали осторожности, обдуманности.

— Для серьезной оценки этой книги нужно, разумеется, прочитать всю ее, — медленно начал он, следя за узорами дыма папиросы и с трудом думая о том, что говорит. — Мне кажется — она более полемична, чем следовало бы. Ее идеи требуют... философского спокойствия. И не таких острых формулировок... Автор...

— Авторы, — поправил Дронов. — Их — семеро. Все — интеллигенты-разночинцы, те самые, которые... ах, чорт! Ну... доползли до точки! «Новое слово» — а?

Он снова захохотал, Дронов. А Клим Иванович Самгин, пользуясь паузой, попытался найти для Дронова еще несколько ценных фраз, таких, которые не могли бы вызвать спора. Но необходимые фразы не являлись, и думать о Дронове, определять его отношение к прочитанному — не хотелось. Было бы хорошо, если б этот пошляк и нахал ушел, провалился сквозь землю, вообще — исчез и, если можно, навсегда. Его присутствие мешало созреть каким-то очень важным думам Самгина о себе.

Как нельзя более своевременно в дверях явилась Фелицата.

— Чай готов. Прикажете подать сюда?

— Иди к чертям, Цапля, — сказал Дронов и, не ожидая приглашения хозяина, пошел в столовую. Хозяин сердито посмотрел на его коренастую фигуру, оглянулся вокруг себя. Уже вечерело, сумрак наполнял комнату, в сумраке искал себе места, расползлся дым папиросы. Знакомые, любимые Варварой вещи приобрели приятно мягкие очертания, в углу задержался тусклый отблеск солнца и напоминала о себе вызолоченная фигурка Будды. Странно чувствовать себя хозяином этой фигурки, комнаты, этого дома. Остаться одному в этом теплом уюте, свободно подумать...

В столовой вспыхнул огонь, четко осветил Дронова, Иван, зажав в коленях бутылку вина, согнулся, потемнел от натуги и, вытаскивая пробку, сопел.

Клим Иванович Самгин чувствовал себя встревоженным, но эта тревога становилась все более приятной. Была минута, когда он обиженно удивился:

«Почему я не мог оформить мой опыт так же просто и ясно?»

Но вскоре, вслед за этим, он отметил с чувством гордости:

«В этой книге есть идеи очень близкие мне, быть может, рожденные, посеянные мною».

Затем он вспомнил фигуру Петра Струве: десятка лет не прошло с той поры, когда он видел смешную, сутуловатую, тощую фигуру растрепанного, рыжего, судорожно

многоречивого марксиста, борца с народниками. Особенно комичен был этот книжник рядом со своим соратником, черноволосым Туган-Барановским, высоким, тонконогим, с большим животом и булькающей, тенористой речью.

«Вожди молодежи», — подумал Самгин, вспомнив, как юные курсистки и студенты обожали этих людей, как очарованно слушали их речи на диспутах «Вольно-экономического общества», как влюбленно встречали и провожали их на нелегальных вечеринках, в тесных квартирах интеллигентов, которые сочувствовали марксизму потому, что им нравилось «самодовлеющее начало экономики». Неприятно было вспомнить, что Кутузов был первым, кто указал на нелепую несовместимость марксизма с проповедью «национального самосознания», тогда же начатой Струве в статье «Назад к Фихте». Затем, с чувством удовлетворения самим собою, как человек, который мог сделать крупную ошибку и не сделал ее, Клиим Иванович Самгин подумал:

«Я никогда, ничего не проповедовал, у меня нет необходимости изменять мои воззрения».

А Иван Дронов снова был охвачен судорогами поисков «нового слова», он трепал гранки и торопливо вычитывал:

— «Западный буржуа беднее русского интеллигента нравственными идеями, но зато его идеи во многом превышают его эмоциональный строй, а главное — он живет сравнительно цельной духовной жизнью». Ну, это уже какая-то поповщина! «Свойства русского национального духа указывают на то, что мы призваны творить в области религиозной философии». Вот те раз! Это уже — слепота. Должно быть, Бердяев придумал.

Он глотал вино, грыз бисквиты и все шаркал ногами, точно полотер, и восхищался.

— Эта книжечка — наскандалит! Выдержит изданий пяток, а то и больше. Ах, черти...

Тут восхищение его вдруг погасло, поглаживая гранки ладонью, он сокрушенно вздохнул.

— Проморгал книжечку. Два сборника мы с Вар<юхой> поймали, а этот — ускользнул! Видал «Очерки по философии марксизма»? и сборник статей Мартова, Потресова, Маслова?

Закрыв правый глаз, он растянул губы широкой улыбкой, обнаружил два золотых клыка в нижней челюсти и один над ними.

— Всё очерчивают Маркса. Очертить — значит ограничить, а? Только Ленин прет против рожна, упрямый, как протопоп Аввакум.

Наконец, сунув гранки за пазуху, он снова спросил:

— Ну, так что же ты скажешь? Событие, брат! Знаешь, Азеф и это, — он ткнул себя пальцем в грудь, — это ударчики мордогубительные, верно?

Он ждал.

Нужно было сказать что-то.

— Я уже отметил излишнюю, полемическую заостренность этой книги, — докторально начал Самгин, шагая по полу, как по жердочке над ручьем. — Она еще раз возобновляет старинный спор идеалистов и... реалистов. Люди устают от реализма. И — вот...

Он помахал рукой в воздухе, разгоняя дым, искоса следя, как Дронов сосет вино и тоже неотрывно провождает его косыми глазами. Опустив голову, Самгин продолжал:

— Да. В таких серьезных случаях нужно особенно твердо помнить, что слова имеют коварное свойство искажать мысль. Слово приобретает слишком самостоятельное значение, — ты, вероятно, заметил, что последнее время весьма много говорят и пишут о логосе и даже явилась какая-то секта словобожцев. Вообще слово завоевало так много места, что филология уже как будто не подчиняется логике, а только фонетике... Например: наши декаденты, Бальмонт, Белый...

— Что ты, брат, дребедень бормочешь? — удивленно спросил Дронов. — Точно я — гимназист или — того хуже — человек, с которым следует конспирировать. Не хочешь говорить, так и скажи — не хочу.

Говорил он трезво, но, встав на ноги, — покачнулся, схватил одной рукою край стола, другой — спинку стула. После случая с Бердниковым Самгин боялся пьяных.

— Подожди, — сказал он мягко, как только мог. — Я хотел напомнить тебе, что Плеханов доказывал возможность для социал-демократии ехать из Петербурга в Москву вместе с буржуазией до Твери...

— На кой чорт надо помнить это? — Он выхватил из-[за] пазухи гранки и высоко взмахнул ими. — Здесь идет речь не о временном союзе с буржуазией, а о полной, безоговорочной сдаче ей всех позиций критически мыслящей разночинной интеллигенции, — вот как понимает эту штуку рабочий, приятель мой, эсдек, большевичок... Дунаев. Правильно понимает. «Буржуазия, говорит, свое взяла, у нее конституция есть, а — что выиграла демократия, служилая интеллигенция? Место приказчика у купцов?» Это — «соль земли» в приказчики?

Дронов кричал, топал ногой, как лошадь, размахивал гранками. Самгину уже трудно было понять связи его слов, смысл крика. Клим Иванович стоял по другую сторону стола и молчал, ожидая худшего. Но Дронов вдруг выкрикнул:

— Я буду говорить прямо, хотя намерен говорить о себе, — он тотчас замолчал, как бы прикусив язык, мигнул и нормальным своим голосом, с удивлением произнес:

— Здорово сказал, а? Ч-чорт! Для эпиграфа сказал, ей-богу! Есть в натурке моей кое-какой перец, а? Так вот — о себе. Я — не буржуй, не социалист. Я — рядовой армии людей свободных профессий. Человек, который должен бороться за себя, не имея никаких средств к жизни, не имея покровителя и ничего — кроме желания жить прилично. Это желание — основа всех талантов и действий, как награждаемых славой, так и наказуемых законами. Я должен быть гибок, изворотлив и так далее. С кем я? С пролетариатом физического труда? Не го-жусь, не способен на подвиги самозабвения. Я люблю вкусно есть, много пить, люблю разных баб. С хозяевами, с буржуями? Нет, это мне противно. Я умнее любого буржуя. Я не умею и не хочу притворяться миленьким. — Расправив плечи, выпятив живот, он добавил:

— И маленьким.

Захлебнулся последним словом, кашлянул, быстро выпил стакан вина, взглянул на часы и горячо пред-ложил:

— Клим Иванович, давай, брат, газету издавать! Просто и чисто демократическую, безо всяких эдаких загогулин от философии, однако — с Марксом, но — без Ленина, понимаешь, а? Орган интеллигентного пролета-

риата, — понимаешь? Будем морды бить направо, налево, а?

— Нужны деньги, — осторожно сказал Самгин.

— Святое слово! Именно — нужны деньги.

— И — большие.

— Божественно! Именно — большие. Ну, я уже опоздал, ах, чорт! Надо отвезти гранки. Я ночую у тебя — ладно?

— Пожалуйста, — сказал Самгин. В прихожей, забивая ноги в тяжелые кожаные ботинки, Дронов вдруг захотал.

— Нет, сообрази — куда они зовут? Помнишь гимназию, молитву — как это? «Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу».

Размахивая шапкой, он произнес тоном мальчишки, который дразнит товарища:

— А я — человек без рода, без племени, и пользы никому, кроме себя, не желаю. С тем меня и возьмите...

Тихонько свистнул сквозь зубы и ушел. Клим Иванович Самгин встряхнулся, точно пудель, обрызганный водою дождевой лужи, перешагнул из сумрака прихожей в тепло и свет гостиной, остановился и, вынимая папиросу, подвел итог:

«Негодяй. Пошляк и жулик. Газета — вот все, что он мог выдумать. Была такая ничтожная газета «Копейка». Но он очень хорошо характеризовал себя, сказав: «Буду говорить прямо, хотя намерен говорить о себе».

Клим Иванович щелкнул пальцами, ощущая, что вместе с Дроновым исчезло все, что держало в напряжении самообороны. Являлось иное настроение, оно не искало слов, слова являлись очень легко и самовольно, хотя беспорядочно.

«Семь епископов отлучили Льва Толстого от церкви. Семеро интеллигентов осудили, отвергают традицию русской интеллигенции — ее критическое отношение к действительности, традицию интеллекта, его движущую силу».

Тут почему-то вспомнилась поговорка: «Один — с сошкой, семеро — с ложкой», сказка «О семи Семионах, родных братьях». Цифра семь разбудила десятки мелких

мыслей, они надоедали, как мухи, и потребовалось значительное усилие, чтоб вернуться к «Вехам».

«Заменяют одну систему фраз другой, когда-то уже пытавшейся ограничить свободу моей мысли. Хотят, чтоб я верил, когда я хочу знать. Хотят отнять у меня право сомневаться».

Он бесшумно шагал по толстому ковру, голова его мелькала в старинном круглом зеркале, которое бронзовые амуры поддерживали на стене. Клим Иванович Самгин остановился пред зеркалом, внимательно рассматривая свое лицо. Это стало его привычкой — напоминать себе лицо свое в те минуты, когда являлись важные, решающие мысли. Он знал, что это лицо — сухое, мимически бедное, малоподвижное, каковы почти всегда лица близоруких, но он все чаще видел его внушительным лицом свободного мыслителя, который сосредоточен на изучении своей духовной жизни, на работе своего я. Он снял очки и, почти касаясь лбом стекла, погладил пальцем седоватые волосы висков, покрутил бородку, показал себе желтые мелкие зубы, закопченные дымом табака.

«Их мысли знакомы мне, возможно, что они мною рождены и посеяны», — не без гордости подумал Клим Иванович. Но тут он вспомнил «Переписку» Гоголя, политическую философию Константина Леонтьева, «Дневники» Достоевского, «Московский сборник» К. Победоносцева, брошюрку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером» и еще многое. В эту минуту явилась необходимость посетить уборную, она помещалась в конце коридора, за кухней, рядом с комнатой для прислуги. Самгин поискал в столовой свечу, не нашел и отправился, держа коробку спичек в руках. В коридоре кто-то возился, сопел, и это было так неожиданно, что Самгин, уронив спички, крикнул:

— Кто это?

Ему ответили вполголоса, но густо:

— Это — я, Клим Иванович, я, Миколай.

Вспыхнула спичка, осветив щетинистое лицо, темную руку с жестяной лампой в ней.

— Лампуправляю. Водопроводчики разбили стеклянную-то.

— Ах, это — вы? Я вас не узнал.

— Бороду обрил.

Сидя в уборной, Клим Иванович Самгин тревожно сообразил:

«Свидетель безумных дней и невольного моего участия в безумии. Полиция возлагает на дворников обязанности шпионов, — наивно думать, что этот — исключение из правила. Он убил солдата. Меня он может шантажировать».

Когда Самгин вышел в коридор — на стене горела маленькая лампа, а Николай подметал веником белый сор на полу, он согнулся поперек коридора и заставил домохозяина остановиться.

— Снова в городе? — спросил Самгин.

— Да, вот — вернулся. В деревне, Клим Иваныч, тяжело стало жить, да и боязно.

— Почему же?

— Начальство очень обозлилось за пятый год. Травят мужиков. Брата двоюродного моего в каторгу на четыре года погнали, а шабра — умнейший, спокойный был мужик, — так его и вовсе повесили. С баб и то взыскивают, за старое-то, да! Разыгралось начальство прямо... до бесстыдства! А помещики-то новые, отрубники, хуторяне действуют вровень с полицией. Беднота говорит про них: «бывало — сами водили нас усадьбы жечь, господ сводить с земли, а теперь вот...»

В коридоре стоял душный запах керосина, известковой пыли, тяжелый голос дворника как бы сгущал духоту. Чтоб пройти в комнату, нужно, чтоб Николай посторонился, — он стоял посредине коридора, держа в руке веник, а пальцами другой безуспешно пытаясь застегнуть ворот рубахи. Лампа, возвышаясь над его плечом, освещала половину угловатого, костлявого лица. Без бороды лицо утратило прежнее деревянное равнодушие, на щеках и подбородке шевелились рыжеватые иглы, из-под нахмуренных бровей требовательно смотрели серые глаза, говорил он вполголоса, но как будто упрекая и готовясь кричать.

«Убийца», — напомнил себе Самгин.

— Живут мужики, как завоеванные, как в плену, ей-богу! Помоложе которые — уходят, кто куда, хоша теперь пачпорта трудно дают. А которые многосемейные

да лошаденку имеют, ну, они стараются удержаться на своем горе.

«Возможно, что он считает меня виновником чего-то», — соображал Самгин.

— Фабричные, мастеровые, кто наделы сохранил, теперь продают их, — ломают деревню, как гнилое дерево! Продают землю как-то зря. Сосед мой, ткач, продал полторы десятины за четыреста восемьдесят целковых, сына обездолил, парень на крахмальный завод нанялся. А печник из села, против нас, за одну десятину взял четыреста...

— Вы давно здесь? — спросил Самгин.

— С весны. Варвара Кирилловна, спасибо ее душе, сразу взяли меня. Здесь, конечно, нет-нет да и услышишь человеческое слово, здесь люди внимательны, пятый год не забывают. Боялся я, соседи не вспомнили бы чего-нибудь про меня, да — нет, ничего будто. А полиция, в этом квартале, вся новая, из Петербурга. Она, конечно, требует сведений от нас, дворников, да — ведаешь-то нечего, обыватель тихо живет. Акушеркин сын недавно явился, студент, помните? Девять месяцев сидел, да сослали, ну — мать отхлопотала. Недавно Лаврушку на улице встретил, одет жуликовато, в галстук; сказал, что учится где-то. Похоже, что врет.

Понизив голос, Николай спросил:

— А не знаете, товарищ Яков — цел?

— Не знаю, — решительно ответил Самгин и, шагнув вперед, заставил Николая прижаться к стене.

«Или — шпион, или — считает меня... своим человеком», — соображал Клим Иванович, закулив папиросу, путешествуя по гостиной, меланхолически рассматривая вещи. Вещей было много, точно в магазине. На стенах приятно пестрели небольшие яркие этюды маслом, с одного из них смотрело, прищурясь, толстогубое бритое лицо, смотрело, как бы спрашивая о чем-то. На изящной полочке стояло десятка полтора красиво переплетенных в сафьян книжек: Миропольского, Коневского, стихи Блока, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Гиппиус, Вилье де-Лиль Адан, Бодлер, Верлен, Рихард Демель, «Афоризмы» Шопенгауэра.

«Да, — ответил Клим Иванович, — в Москве я не могу жить».

И — вздохнул, не без досады, — дом казался ему все более уютным, можно бы неплохо устроиться. Над широкой тахтой — копия с картины Франца Штука «Грех» — голая женщина в объятиях змеи, — Самгин усмехнулся, находя, что эта устрашающая картина вполне уместна над тахтой, заброшенной множеством мягких подушек. Вспомнил чью-то фразу: «Женщины понимают только детали». Затем он подумал, что Варвара довольно широко, но не очень удачно тратила деньги на украшение своего жилища. Слишком много мелочи, вазочек, фигурок из фарфора, коробочек. Вот и традиционные семь слонов из кости, из черного дерева, один — из топаза. Самгин сел к маленькому столику с кривыми позолоченными ножками, взял в руки маленького топазового слона и вспомнил о семерке авторов сборника «Вехи».

«Конечно, эта смелая книга вызовет шум. Удар в колокол среди ночи. Социалисты будут яростно возражать. И не одни социалисты. «Свист и звон со всех сторон». На поверхности жизни вздуется еще десяток пузырей».

Этот ход мысли раздражал его, и, крепко поставив слона на его место к шестерым, Самгин снова начал путешествовать по комнате. Знакомым гостем явилось более острое, чем всегда, чувство протеста: почему он не может создать себе крупное имя?

«Прожито полжизни. Почему я не взялся за дело освещения в печати убийства Марины? Это, наверное, создало бы такой же шум, как полтавское дело братьев Критских, пензенское — генеральши Болдыревой, дело графа Роникер в Варшаве... «Таинственные преступления — острая приправа пресной жизни обывателей», — вспомнил он саркастическую фразу какой-то газеты.

«Газета? Возможно, что Дронов прав — нужна газета. Независимая газета. У нас еще нет демократии, которая понимала бы свое значение как значение класса самостоятельного, как средоточие сил науки, искусства, — класса, независимого от насилия капитала и пролетариата».

Клим Иванович Самгин присел на ручку кресла и почти вслух произнес:

«Вот моя идея!»

В столовой, при свете лампы, бесшумно, как по воздуху, двигалась Фелицата.

— Чай готов, — тихо сказала она. Самгин промолчал, прислушиваясь, как в нем зреет незнакомое, тихо и приятно волнующее чувство.

Идея человечества так же наивна, как идея божества. Пыльников — болван. Никто не убедит меня, что мир делится на рабов и господ. Господа рождаются в среде рабов. Рабы враждуют между собой так же, как и владыки. Миром двигают силы ума, таланта».

В этот час мысли Клима Самгина летели необычно быстро, капризно, даже как будто бессвязно, от каждой оставалось и укреплялось сознание, что Клим Иванович Самгин значительно оригинальнее и умнее многих людей, в их числе и авторов сборника «Вехи».

Вдруг выскользнула посторонняя мысль:

«А может быть, Безбедова тоже убили, чтоб он молчал о том, что знает? Может быть, Тагильский затем и приезжал, чтобы устранить Безбедова? Но если мотив убийства — месть Безбедова, тогда дело теряет таинственность и сенсацию. Если б можно было доказать, что Безбедов действовал, подчиняясь чужой воле...»

«Нет, нужно отказаться от мысли возбудить это дело, — решил он. — Нужно попробовать написать рассказ. В духе Эдгара По. Или — Конан-Дойля».

Приятно волнующее чувство не исчезало, а как будто становилось все теплее, помогая думать смелее, живее, чем всегда. Самгин перешел в столовую, выпил стакан чаю, сочиняя план рассказа, который можно бы печатать в новой газете. Дронов не являлся. И, ложась спать, Клим Иванович удовлетворенно подумал, что истекший день его жизни чрезвычайно значителен.

«Это праздничный день, когда человек находит сам себя», — сказал он себе, закури́в на сон грядущий последнюю папиросу.

Дронов явился после полудня, держа ежовую голову свою так неподвижно, точно боялся, что сейчас у него переломятся шейные позвонки. Суетливые глазки его

были едва заметны на опухшем лице красно-бурого цвета, лиловые уши торчали смешно и неприглядно.

— Башка трещит, — хрипло сказал он и хозяйски грубовато зарычал:

— Цапля, вино какое-нибудь — есть? Давай, давай! Был вчера на именинах у одного жулика, пили до шести часов утра. Сорок рублей в карты проиграл — обида!

Но, выпив сразу два стакана вина, он заговорил менее хрипло и деловито. Цены на землю в Москве сильно растут, в центре города квадратная сажень доходит до трех тысяч. Потомок славянофилов, один из «отцов города» Хомяков, за ничтожный кусок незастроенной земли, необходимой городу для расширения панели, потребовал 120 или даже 200 тысяч, а когда ему не дали этих денег, загородил кусок железной решеткой, еще более стеснив движение.

— Вот тебе и отец города! — с восторгом и поучительно вскричал Дронов, потирая руки. — В этом участке таких цен, конечно, нет, — продолжал он. — Дом стоит гроши, стар, мал, бездоходен. За землю можно получить тысяч двадцать пять, тридцать. Покупатель — есть, продажу можно совершить в неделю. Дело делать надобно быстро, как из пистолета, — закончил Дронов и, выпив еще стакан вина, спросил: — Ну, как?

— Я решил продать.

— Правильно. Интеллигент-домовладелец — это уже не интеллигент, а — домовладелец, стало быть — не нашего поля ягода.

Самгин нахмурил брови, желая сказать нечто, но — не успел придумать, что сказать и как? А Дронов продолжал оживленно, деловито и все горячее:

— Значит, сейчас позвоним и явится покупатель, нотариус Животовский, спекулянт, держи ухо остро! Но, сначала, Клим Иванович, на какого чорта тебе тысячи денег? Не надобно тебе денег, тебе газета нужна или — книгоиздательство. На газету — мало десятков тысяч, надо сотни полторы, две. Предлагаю: давай мне эти двадцать тысяч, и я тебе обещаю через год взогнать их до двухсот. Обещаю, но гарантировать — не могу, нечем. Векселя могу дать, а — чего они стоят?

— В карты играть будешь? — спросил Самгин, усме-
хаясь.

— На бирже будем играть, ты и я. У меня верная рука
есть, человек неограниченных возможностей, будущий
каторжник или — самоубийца. Он — честный, но сума-
сшедший. Он поможет нам сделать деньги.

Дронов встал, держась рукой за кромку стола. Раска-
лился он так, что коротенькие ноги дрожали, дрожала
и рука, заставляя звенеть пустой стакан о бутылку. Сам-
гин, отодвинув стакан, прекратил тонкий звон стекла.

— Деньги — будут. И будет газета, — говорил Дро-
нов. Его лицо раздувалось, точно пузырь, краснело, глаза
ослепленно мигали, точно он смотрел на огонь слишком
яркий.

— Замечательная газета. Небывалая. Привлечем все
светила науки, литературы, Леонида Андреева, объявим
войну реалистам «Знания», — к чорту реализм! И — по-
литику вместе с ним. Сто лет политиканили — устали,
надоело. Все хотят романтики, лирики, метафизики,
углубления в недра тайн, в кишки дьявола. Властители
умов — Достоевский, Андреев, Конан-Дойль.

Самгин тихонько вздохнул, наполняя стакан белым
вином, и подумал:

«Сколько в нем энергии».

А Дронов, поспешно схватив стакан, жадно выхлеб-
нул из него половину, и толстые, мокрые губы его снова
задрожали, выгоняя слова:

— Мы дадим новости науки, ее фантастику, дадим
литературные споры, скандалы, поставим уголовную хро-
нику, да так поставим, как европейцам и не снилось. Мы
покажем преступление по-новому, возьмем его из глу-
бины...

Держа стакан у подбородка, он замахал правой
рукой, хватая воздух пальцами, сжимая и разжимая
кулак.

— Культура и преступность — понимаешь?

— Это будет политика, — вставил Самгин.

— Нет! Это будет обоснование права мести, — сказал
Дронов и даже притопнул ногой, но тотчас же как будто
испугался чего-то, несколько секунд молчал, приоткрыв
рот, мигая, затем торопливо и невнятно забормотал:

— Ну, это — потом! Это — программа. Что ты скажешь, а?

Протирая очки платком, Самгин не торопился ответить. Слово о мести выскочило так неожиданно и так резко вне связи со всем, что говорил Дронов, что явились вопросы: кто мстит, кому, за что?

«Он типичный авантюрист, энергичен, циник, смел. Его смелость — это, конечно, беспринципность, аморализм», — определял Самгин, предостерегая себя, — предостерегая потому, что Дронов уже чем-то нравился ему.

— В общем — это интересно. Но я думаю, что в стране, где существует представительное правление, газета без политики невозможна.

Дронов сел и удивленно повторил:

— Представительное...

Но тотчас же, тряхнув головой, продолжал:

— В нашей воле дать политику парламентариев в форме объективного рассказа или под соусом критики. Соус, конечно, будет политикой. Мораль — тоже. Но о том, что литераторы бьют друг друга, травят кошек собаками, тоже можно говорить без морали. Предоставим читателю забавляться ею.

После этого Дронов напористо спросил:

— Ты признал, что затея дельная, интересная, а — дальше?

И грубо добавил:

— Согласен дать деньги?

— Я должен подумать.

— Должен? Кому? Ведь не можешь же ты жалеть случайно полученные деньги?

«Какой нахал! Хам», — подумал Самгин, прикрыв глаза очками, — а Иван Дронов ожесточенно кричал:

— Вехисты — правы: интеллигент не любит денег, стыдится быть богатым, это, брат, традиция!

Он говорил еще долго и кончил советом Самгину: отобрать и свезти в склад вещи, которые он оставляет за собой, оценить все, что намерен продать, напечатать в газетах объявление о продаже или устроить аукцион. Ушел он, оставив домохозяина в состоянии приятной взволнованности, разбудив в нем желание мечтать. И первый раз в жизни Клим Иванович Самгин представил

себя редактором большой газеты, человеком, который изучает, редактирует и корректирует все течения, все изгибы, всю игру мысли, современной ему. К его вескому слову прислушиваются политики всех партий, просветители, озабоченные культурным развитием низших слоев народа, литераторы, запутавшиеся в противоречиях критиков, критики, поверхностно знакомые с философией и плохо знакомые с действительной жизнью. Он — один из диктаторов интеллектуальной жизни страны. Он наиболее крупный и честный диктатор, ибо не связан с какой-то определенной программой, обладает широчайшим опытом и, в сущности, не имеет личных целей. Не честолюбив. Не жаден на славу, равнодушен к деньгам. Он действительно независимый человек.

«Практическую, хозяйственную часть газеты можно поручить Дронову. Да, Дронов — циник, он хамоват, груб, но его энергия — ценнейшее качество. В нем есть нечто симпатичное, какая-то черта, сродная мне. Она еще примитивна, ее следует развить. Я буду руководителем его, я сделаю его человеком, который будет дополнять меня. Нужно несколько изменить мое отношение к нему».

Самгин напомнил себе Ивана Дронова, каким знал его еще в детстве, и решил:

«Да, он, в сущности, оригинальный человек».

На другой день утром Дронов явился с покупателем. Это был маленький человечек, неопределенного возраста, лысоватый, жиденькие серые волосы зачесаны с висков на макушку, на тяжелом, красноватом носу дымчатое пенсне, за стеклами его мутноватые, печальные глаза, личико густо расписано красными жилками, украшено острой французской бородкой и усами, воинственно закрученными в стрелку. Одет был в темносерый мохнатый костюм, очень ловко сокращавший действительные размеры его животика, круглого, точно арбуз. Он казался мягким, как плюшевая кукла медведя или обезьяны, сделанная из различных кусков, из остатков.

— Козьма Иванов Семидубов, — сказал он, крепко сжимая горячими пальцами руку Самгина. Самгин встречал людей такого облика, и почти всегда это были люди типа Дронова или Тагильского, очень подвижные, даже суетливые, веселые. Семидубов катился по земле не

спеша, осторожно, говорил вполголоса, усталым тенорком, часто повторяя одно и то же слово.

— Дом — тогда дом, когда это доходный дом, — сообщил он, шлепая по стене кожаной, на меху, перчаткой. — Такие вот дома — несчастье Москвы, — продолжал он, вздохнув, поскрипывая снегом, растирая его подошвой огромного валяного ботинка. — Расползлись они по всей Москве, как плесень, из-за них трамваи, тысячи извозчиков, фонарей и вообще — огромнейшие городу Москве расходы.

Голос его звучал все жалобнее, ласковей.

— Против таких вот домов хоть Наполеона приглашай.

И снова вздохнул:

— Мелкой жизнью живем, государи мои, мелкой!

— Правильно, — одобрил Дронов.

Расхаживая по двору, измеряя его шагами, Семидубов продолжал:

— Англичане говорят «мой дом — моя крепость», так англичане строят из камня, оттого и характер у них твердый. А из дерева — какая же крепость? Вы, государи мои, как оцениваете это поместье?

— Тридцать пять тысяч, — быстро сказал Дронов.

— Несерьезная цена. Деньги дороже стоят.

— А ваша цена?

— Половинку тридцати.

— Смеетесь.

— Тогда — до свидания, — грустно сказал Семидубов и пошел к воротам. Дронов сердито крикнул, прошипел: «Ж-жулик!» — и отправился вслед за ним, а Самгин остался среди двора, чувствуя, что эта краткая сцена разбудила в нем какие-то неопределенные сомнения.

Вечером эти сомнения приняли характер вполне реальный, характер обидного, незаслуженного удара. Сидя за столом, Самгин составлял план повести о деле Марины, когда пришел Дронов, сбросил пальто на руки длинной Фелицаты, быстро прошел в столовую, забыв снять шапку, прислонился спиной к изразцам печки и спросил, угрюмо покашливая:

— Ты знал, что на это имущество существует закладная в двадцать тысяч? Не знал? Так — поздравляю! —

существует. — Он снял шапку с головы, надел ее на колено и произнес удивленно, с негодованием: — Когда это Варвара ухитрилась заложить?

— Она была легкомысленна, — неожиданно для себя сказал Самгин, услышав, что сказалось слишком сердито, и напомнил себе, что у него нет права возмущаться действиями Варвары. Тогда он перенес возмущение на Дронова.

«Он говорит о Варваре, как о своей любовнице».

А Дронов, поглаживая шапку, пробормотал:

— Замечательно ловко этот бык Стратонов женщин грабил.

Самгин сорвал очки с носа, спрашивая:

— Ты хочешь сказать...?

— Я уже сказал. Теперь он, как видишь, законодательствует, отечество любит. И уже не за пазухи, не под юбки руку запускает, а — в карман отечества: занят организацией банков, пассажирское пароходство на Волге объединяет, участвует в комиссии водного строительства. Н-да, чорт... Деятель!

Говорил Дронов, глядя в угол комнаты, косенькие глазки его искали там чего-то, он как будто дремал.

— Все-таки это полезное учреждение — Дума, то есть конституция, — отлично обнаруживает подлинные намерения и дела наиболее солидных граждан. А вот... не солидные, как мы с тобой...

И, прервав ворчливую речь, он заговорил деловито: если земля и дом Варвары заложены за двадцать тысяч, значит, они стоят, наверное, вдвое дороже. Это надобно помнить. Цены на землю быстро растут. Он стал развивать какой-то сложный план залога под вторую закладную, но Самгин слушал его невнимательно, думая, как легко и катастрофически обидно разрушились его вчерашние мечты. Может быть, Иван жульничает вместе с этим Семидубовым? Эта догадка не могла утешить, а фамилия покупателя напомнила:

«Снова — семь».

Дронов посидел еще минут пять и вдруг исчез, даже не простясь.

«Дом надо продать», — напомнил себе Клим Иванович и, закрыв глаза, стал тихонько, сквозь зубы насви-

стывать романс «Я не сержусь», думая о Варваре и Стратонове:

«Свинство».

〈Дронов〉 возился с продажей дома больше месяца, за это время Самгин успел утвердиться в правах наследства, ввестись во владение, закончить план повести и даже продать часть вещей, не нужных ему, костюмы Варвары, мебель. Дронов даже похудел. Почти каждый день он являлся пред Самгиным полупьяный, раздраженный, озлобленный, пил белое вино и рассказывал диковинные факты жульничества.

— Состязание жуликов. Не зря, брат, московские жулики славятся. Как Варвару нагнали с этой идиотской закладной, чорт их души возьми! Не брезглив я, не злой человек, а все-таки, будь моя власть, я бы половину московских жителей в Сибирь перевез, в Якутку, в Камчатку, вообще — в глухие места. Пускай там, сукины дети, жрут друг друга — оттуда в Европы никакой вопль не долетит.

Самгин слушал эту пьяную болтовню почти равнодушно. Он был уверен, что возмущение Ивана жуликами имеет целью подготовить его к примирению с жульничеством самого Дронова. Он очень удивился, когда Иван пришел красный, потный, встал пред ним и торжественно объявил:

— Сделано. За тридцать две. Имеешь двенадцать шестьсот — наличными и два векселя по три на полгода и на год. С мясом вырвал.

Он сел в кресло, вытирая платком потное лицо, отдуваясь.

— Жарко. Вот так март. Продал держателю закладной. Можно бы взять тысяч сорок и даже с половиной, но, вот, посмотри-ка копию закладной, какие в ней узелки завязаны.

Он бросил на стол какую-то бумагу, но обрадованный Самгин, поддев ее разрезным ножом, подал ему.

— Не надо. Не хочу.

Дронов прищурился, посмотрел на него и пробормотал:

— Жест — ничего, добропорядочный. Ну, ладно. А за эту возню ты мне дашь тысячу?

— Возьми хоть две.

— Вот как мы! — усмехнулся Дронов. — Мне, чудак, и тысячи — много, это я по дружбе хватил — тысячу. Значит — получим деньги и — домой? Я соскучился по Тоське. Ты попроси ее квартиру тебе найти и устроить, она любит гнезда вить. Неудачно вьет.

Он дважды чихнул и спросил сам себя:

— Простудился, что ли?

Чихая, он, видимо, спугнул свое оживание, лицо его скучно осунулось, крепко вытирая широкий нос, крякнул, затем продолжал, размышляя, оценивая:

— Очень помог мне Семидубов. Лег в больницу, аппендицит у него. Лежит и философствует в ожидании операции.

Философия Семидубова не интересовала Самгина, но, из любезности, он спросил, кто такой Семидубов.

Дронов вдруг стер ладонью скуку с лица, широко улыбаясь, сверкнул золотом клыков.

— Он — интересный. Как это у вас называется? Кандидат на судебные должности, что ли? Кончив университет, он тот же год сел на скамью подсудимых по обвинению в продаже водопроводных труб. Лежали на Театральной площади трубы, он видит, что лежат они бесполезно, ну и продал кому-то, кто нуждался в трубах. Замечательный. Посадили его, на полгода, что ли. Вышел — стал в карты играть. Играет счастливо, но не шулер. Я познакомился с ним года два тому назад, проиграл ему тысячу триста, все, что было. Конечно, расстроился. А он говорит: «Возьмите рублей пятьсот у меня, продолжим». — «Мне, говорю, платить нечем». — «А — зачем платить? Я играю для удовольствия. Человек я холостой, деньги меня любят, третьего дня в сорок две минуты семнадцать тысяч выиграл». Я, знаешь, взял. Отыгрался, даже шестьдесят пять рублей выиграл. Поблагодарил и теперь играю с ним только в преферанс да в винт по маленькой.

Рассказал Дронов с удовольствием, почти не угашая улыбку на скуластом лице, и Самгин должен был отметить, что эта улыбка делает топорное лицо нянькина внука мягче, приятней.

— Пестрая мы нация, Клим Иванович, чудаковатая нация, — продолжал Дронов, помолчав, потише, задумчивее, сняв шапку с колена, положил ее на стол и, задев

лампу, едва не опрокинул ее. — Удивительные люди водятся у нас, и много их, и всем некуда себя сунуть. В революцию? Вот прошумела она, усмехнулась, да — и нет ее. Ты скажешь — будет! Не спорю. По всем видимостям — будет. Но мужичок очень напугал. Организаторов революции частью истребили, частью — припрятали в каторгу, а многие — сами спрятались.

Он посмотрел на Самгина и — закончил:

— Впрочем — что я тебе говорю? Сам все знаешь.

Самгин молча наклонил голову, а Иван, помолчав, сказал, как бы извиняясь:

— Конечно, Семидубов этот — фигура мутная. Чорт его знает — зачем нужны такие? Иной раз я себя спрашиваю: не похож ли на него?

Клим Иванович Самгин внутренне и брезгливо поморщился:

«Кажется — еще одна исповедь».

Но Дронов сказал:

— Меня Тоська научила думать о самом себе правдиво, без прикрас.

И предложил:

— Поедем к «Яру»?

Самгин отказался.

— Ну, в Художественный, сегодня «Дно»? Тоже не хочешь? А мне нравится эта наивнейшая штука. Барон там очень намекающий: рядился-рядился, а ни к чему не пригодился. Ну, я пошел.

Уходя, он неодобрительно отметил:

— Куришь ты — на страх врагам. Как головня дымишься.

Клим Иванович Самгин, поправив очки, взглянул на гостя подозрительно и даже озлобленно, а когда Дронов исчез — поставил его рядом с Лютовым, Тагильским.

«Такой же. Изломанный, двоедушный, хитрый. Бесчестный. Боится быть понятым и притворяется искренним. Метит в друзья. Но способен быть только слугой».

Покончив на этом с Дроновым, он вызвал мечту вчерашнего дня. Это легко было сделать — пред ним на столе лежал листок почтовой бумаги, и на нем мелким, но четким почерком было написано:

«Заострить отношение Безбедова к Марине, сделать его менее идиотом, придав настроению вульгарную революционность. Развернуть его роман. Любимая им — хитрая, холодная к нему девчонка, он интересен ей как единственный наследник богатой тетки. Показать радение хлыстов?»

Пред ним встала дородная, обнаженная женщина, и еще раз Самгин сердито подумал, что, наверное, она хотела, чтоб он взял ее. В любовнице Дронова есть сходство с Мариной — такая же стройная, здоровая.

«Научила думать о самом себе правдиво». Что это значит? О себе человек всегда правдиво думает».

Покуривая, он снова стал читать план и нашел, что — нет, нельзя давать слишком много улик против Безбедова, но необходимо, чтоб он знал какие-то Маринины тайны, этим знанием и будет оправдано убийство Безбедова как свидетеля, способного указать людей, которым Марина мешала жить.

Уже после Парижа он, незаметно для себя, начал вспоминать о Марине враждебно, и враждебность постепенно становилась сильнее.

«Что внесла эта женщина в мою жизнь?» — нередко спрашивал он и находил, что она подорвала, пошатнула его представление о самом себе. Ее таинственная смерть не сделала его участником громкого уголовного процесса, это только потому, что умер Безбедов. Участие на суде в качестве свидетеля могло бы кончиться для него крайне печально. Обвинитель воспользовался бы его прошлым, а там — арест, тюрьма, участие в Московском восстании, конечно, известное департаменту полиции. Конечно, прокурор воспользовался бы случаем включить в уголовное дело интеллигента-политика, — это диктуется реакцией и общим озлоблением против левых. Думая об этом, Клим Иванович Самгин ощущал нервный холодок где-то в спине и жадно глотал одуряющий дым крепкого табака.

«Да, эта бабища внесла в мою жизнь какую-то темную путаницу. Более того — едва не погубила меня. Вот если б можно было ввести Бердникова... Да, написать повесть об этом убийстве — интересное дело. Писать надо очень тонко, обдуманно, вот в такой тишине,

в такой уютной, теплой комнате, среди вещей, приятных для глаз».

Петербург встретил его не очень ласково, в мутноватом небе нерешительно сияло белесое солнце, капризно и сердито порывами дул свежий ветер с моря, накануне или ночью выпал обильный дождь, по сырым улицам спешно шагали жители, одетые тепло, как осенью, от мостовой исходил запах гниющего дерева, дома были величественно скучны. Тон газеты «Новое время» не совпадал с погодой, передовая по-весеннему ликовала, сообщая о росте вкладов в сберегательные кассы, далее рассказывалось, что количество деревенских домохозяев, укрепивших землю в собственность, достигло почти шестисот тысяч. Самгин, прочитав это, побарабанил по столу пальцами, посвистал.

«Надобно искать квартиру».

Пред вечером он пошел к Дронову и там, раздеваясь в прихожей, услышал голос чахоточного Юрина:

— Персы «низложили» шаха, турки султана, в Германии основан Союз Ганзы, союз фабрикантов для борьбы против «Союза сельских хозяев», правительство немцев отклонило предложение Англии о сокращении морских вооружений, среди нашей буржуазии замечен рост милитаризма... — ты думаешь, между этими фактами нет связи? Есть... и — явная...

— Подожди, кто-то пришел. О, это Клим Иванович!

Самгину восклицание Таисьи показалось радостным, рукопожатие ее особенно крепким, Юрин, как всегда, полулежал в кресле, вытянув ноги под стол, опираясь затылком в спинку кресла, глядя в потолок, Таисья на стуле, рядом с ним, пред нею тетрадь, в ее руке — карандаш. Он протянул Самгину бессильную руку, не взглянув на него.

— Это хорошо, что вы пришли, будем чай пить, расскажите про Москву. А то Евгений все учит меня.

— Учение — свет, — не очень остроумно напомнил Самгин.

— Ему вредно говорить...

— Мне — все вредно, — откликнулся Юрин, двигая ногами, и все-таки были слышны его короткие, хриплые вздохи.

— Куда ты? — тревожно спросила женщина, он ответил:

— Играть.

Таисья помогла ему <встать> на ноги, и осторожно, как слепой, он ушел в гостиную.

— Умирает — видите? — шопотом сказала женщина. Самгин молча пожал плечами и сообразил: «Она была рада, что я прервал его поучение».

Мелькнули неоформленно, исчезли слова:

«Марксизм... Смерть...»

В гостиной фисгармония медленно и неладно начинала выпевать мелодию какой-то знакомой песни, Тося, тихонько отбивая такт карандашом по тетради, спросила вполголоса:

— Хотите, чтоб я вам помогла найти квартиру? — Стена за окном осветилась солнцем и как будто отодвинулась подальше.

— Можно бы даже сейчас сходить, тут, недалеко, в нашей улице, но...

Она указала карандашом в сторону гостиной, там песня не удалась и ее сменил чей-то хорал.

«Да, наверное, она очень легко доступна. И даже развращена», — подумал Самгин, присматриваясь к лицу и бюсту женщины.

— О чем вы думаете?

— Слушаю.

— Он всегда играет скучное.

— Сколько вам лет? Это — нескромный вопрос?

— Почему — нескромный? Двадцать четыре. Но на вид я старше, да?

— Не нахожу.

В гостиной угрюмо выли басы.

— Все находят, что старше. Так и должно быть. На семнадцатом году у меня уже был ребенок. И я много работала. Отец ребенка — художник, теперь — говорят — почти знаменитый, он за границей где-то, а тогда мы питались чаем и хлебом. Первая моя любовь — самая голодная.

«Вот еще одна исповедь», — отметил Самгин, сочувственно покачав головой.

К басам фисгармонии присоединились альты, дисканта, выпевая что-то зловещее, карающее, звуки ползли в столовую, как дым, а дым папиросы, которую курил Самгин, был слишком крепок и невкусен. И вообще — все было неприятно.

— Иногда даже сахара не на что было купить. Но — бедный, он был хороший, веселый. Не шуми, Степанида Петровна. — Это было сказано старухе, которая принесла поднос с посудой.

— Петровна у меня вместо матери, любит меня, точно кошку. Очень умная и революционерка, — вам смешно? Однако это верно: терпеть не может богатых, царя, князей, попов. Она тоже монастырская, была послушницей, но накануне пострига у нее случился роман и выгнали ее из монастыря. Работала сиделкой в больнице, была санитаркой на японской войне, там получила медаль за спасение офицеров из горящего барака. Вы думаете, сколько ей лет — шестьдесят? А ей только сорок три года. Вот как живут!

Юрин играл, повторяя одни и те же аккорды, и от повторения сила их мрачности как будто росла, угнетая Самгина, вызывая в нем ощущение усталости. А Таисья ожесточенно упрекала:

— Ах, Клим Иванович, — почему литераторы так мало и плохо пишут о женских судьбах? Просто даже стыдно читать: все любовь, любовь...

— Но позвольте, любовь...

— Да, да, я знаю, это все говорят: смысл женской жизни! Наверное, даже коровы и лошади не думают так. Они вот любят раз в год.

Она — раздражала не тем, как говорила, а потому, что разрушала его представление о ней, ему было скучно и хотелось сказать ей что-нибудь обидное, разозлить еще больше.

— «Любовь и голод правят миром», — напомнил Самгин.

— Нет! Не верю, что это навсегда, — сказала женщина. Он отметил, что густой ее голос звучал грубо, малоподвижное лицо потемнело и неприятно расширились зрачки.

«Злитесь», — решил он.

— Вот — увидите, — говорила [она], — и голода не будет, и любовь будет редким счастьем, а не дурной привычкой, как теперь.

— Скучное будущее обещаете вы, — ответил он на ее смешное пророчество.

— Будет месяц любви, каждый год — месяц счастья. Май, праздник всех людей...

— Это кондитерская мечта, это от пирожного, — сказал Самгин, усмехаясь.

Таисья выпрямилась, точно готовясь кричать, но он продолжал:

— Вы сообразите: каково будет беременным работать на полях, жать хлеб.

Женщина встала, пересела на другой стул и, спрятав лицо за самоваром, сказала:

— Вот как? Вы не любите мечтать? Не верите, что будем жить лучше?

— «Хоть гирише, та инше», — сказал Дронов, появляясь в двери. — Это — бесспорно, до этого — дойдем. Прихрамывая на обе ноги по очереди, — сегодня на левую, завтра — на правую, но дойдем!

— Ты — как мышь, — встретила его Таисья и пошла в гостиную.

— Я в прихожей подслушивал, о чем вы тут... И осматривал карманы пальто. У меня перчатки вытащили и кастет. Кастет — уже второй. Вот и вооружайся. Оба раза кастеты в Думе украли, там в раздевалке, должно быть, осматривают карманы и лишнее — отбирают.

Юрин перестал играть, кашлял, Таисья что-то внушительно говорила ему, он ответил:

— Мне горячее вредно.

Дронов у буфета, доставая бутылки, позванивая стаканами, рассказывал что-то о недавно организованной фракции октябристов.

— Лидер у них Гололобов, будто бы автор весьма популярного в свое время рассказа, одобренного Толстым, — «Вор», изданного «Посредником». Рассказец едва ли автобиографический, хотя оный Гололобов был вице-губернатором.

Самгин нашел, что последняя фраза остроумна, и, усмехаясь, искоса посмотрел на Ивана, подумал:

«Злая дрянь».

— Н-да, — продолжал Дронов, садясь напротив Клина. — Правые — организуются, а у левых — деморализация. Эсеры взорваны Азефом, у эсдеков группа «Вперед», группочка Ленина, плехановцы издают «Дневник эсдека», меньшевики-ликвидаторы «Голос эсдека», да еще внефракционная группа Троцкого. Это — история или — кавардак?

Самгин слушал его невнимательно, его больше интересовала мягкая речь Таисьи в прихожей.

— Я тебя прошу — не приходи! Тебе надобно лежать. Хочешь, я завтра же перевезу тебе фисгармонию?

— Хорошо бы, — пробормотал Дронов.

Самгин все яснее сознавал, что он ошибся в оценке этой женщины, и его досада на нее росла.

— Умирает, — сказала она, садясь к столу и разливая чай. Густые брови ее сдвинулись в одну черту, и лицо стало угрюмо, застыло. — Как это тяжело: погибает человек, а ты не можешь помочь ему.

— Погибать? — спросил Дронов, хлебнув вина.

— Не балагань, Иван.

— Да — нет, я — серьезно! Я ведь знаю твои... вкусы. Если б моя воля, я бы специально для тебя устроил целую серию катастроф, войну, землетрясение, глад, мор, потоп — помогай людям, Тося!

Вздыхнув, Таисья тихо сказала:

— Дурак.

— Нет, — возразил Дронов. — Дуракам — легко живется, а мне трудно.

— Не жадничай, легче будет.

— Спасибо за совет, хотя я не воспользуюсь им.

И, подпрыгнув на стуле, точно уколотый гвоздем, он заговорил с патетической яростью:

— Клим Иванович — газету нужно! Большую демократическую газету. Жив быть не хочу, а газета будет. Уговаривал Семидубова — наиграй мне двести тысяч — прославлю во всем мире. Он — мычит, чорт его дери. Но — чувствую — колеблется.

— Я бы в газете — корректоршей или конторщицей, — помечтала Тося.

А в общем было скучно, и Самгина тихонько грызли тавтологические ощущения ненужности его присутствия в этой комнате с окнами в слепую каменную стену, глупости Дронова и его дамы.

«Почему я зависим от них?»

Минут через пять он собрался уходить.

— Значит — завтра ищем квартиру? — уверенно сказала Таисья.

— Да, — ответил он.

Квартиру нашли сразу, три маленьких комнаты во втором этаже трехэтажного дома, рыжего, в серых пятнах; Самгин подумал, что такой расцветки бывают коровы. По бокам парадного крыльца медные и эмалированные дощечки извещали черными буквами, что в доме этом обитают люди странных фамилий: присяжный поверенный Я. Ассикритов, акушерка Интралигатина, учитель танцев Волков-Воловик, настройщик роялей и починка деревянных инструментов П. Е. Скромного, «Школа кулинарного искусства и готовые обеды на дом Т. П. Федькиной», «Переписка на машинке, 3-й этаж, кв. 6, Д. Ильке», а на двери одной из квартир второго этажа квадратик меди сообщал, что за дверью живет Павел Федорович Налим.

«Демократия», — поморщился Самгин, прочитав эти вывески.

Но комнаты были светлые, окнами на улицу, потолки высокие, паркетный пол, газовая кухня, и Самгин присоединил себя к демократии рыжего дома.

В заботах по устройству квартиры незаметно прошло несколько недель. Клим Иванович обставлял свое жилище одинокого человека не торопясь, осмотрительно и солидно: нужно иметь вокруг себя все необходимое и — чтобы не было ничего лишнего. Петербург — сырой город, но в доме центральное отопление, и зимою новая мебель, наверно, будет сохнуть, трещать по ночам, а кроме того, новая мебель не нравилась ему по формам. Для кабинета Самгин подобрал письменный стол, книжный шкаф и три тяжелых кресла под «черное дерево», — в восьмидесятых годах эта мебель была весьма популярной среди провинциальных юристов либерального настроения, и замечательный знаток деталей быта П. Д. Боборыкин в одном

из своих романов назвал ее стилем разочарованных. Для гостиной пригodiлась мебель из московского дома, в маленькой приемной он поставил круглый стол, полдюжины венских стульев, повесил чей-то рисунок пером с Гудонова Вольтера, гравюру Матэ, изображавшую сердитого Салтыкова-Щедрина, гравюрку Гаварни — французский адвокат произносит речь. Эта обстановка показалась ему достаточно оригинальной и вполне удовлетворила его.

Разыскивая мебель на Апраксином дворе и Александровском рынке, он искал адвоката, в помощники которому было бы удобно приписаться. Он не предполагал заниматься юридической практикой, но все-таки считал нужным поставить свой корабль в кильватер более опытным плователям в море столичной жизни. Он поручил Ивану Дронову найти адвоката с большой практикой в гражданском процессе, дельца не очень громкого и — внепартийного.

— Понимаю! — догадался Дронов. — Не хочешь ходить под ручку с либералами и прочими жуликами из робких. Так. Найдем сурка. Животное не из редких.

Иван Дронов вертелся, точно кубарь. Самгин привык думать, что кнутик, который подхлестывает этого человека, — хамоватая жажда большого дела для завоевания больших денег. Но чем более он присматривался к нянькину внуку, тем чаще являлись подозрения, что Дронов каждый данный момент и во всех своих отношениях к людям — человечешка неискренний. Он не скрывает своей жадности, потому что прячет за нею что-то, может быть, гораздо худшее. Вспоминались те подозрения, которые возбуждала Марина, вспоминался Евно Азеф. Самгин отталкивал эти подозрения и в то же время невольно пытался утвердить их.

Реорганизация жизни. Общее стремление преодолеть хаос, создать условия правовой закономерности, условия свободного развития связанных сил. Для многих действительность стала соблазнительней мечты. Таисья сказала о нем: мечтатель. Был, но превратился в практика. Не следует так часто встречаться с ним. Но Дронов был почти необходим. Он знал все, о чем говорят в «кулуарах» Государственной думы, внутри фракций, в министерствах, в редакциях газет, знал множество анекдотических

глупостей о жизни царской семьи, он находил время читать текущую политическую литературу и, насканивая на Самгина, спрашивал:

— Ты читал «Общественное движение» Мартова, Потресова? Нет? Вышла первая часть второго тома. Ты — погляди — посмеешься!

Самгин вспоминал себя в Москве, когда он тоже был осведомителем и оракулом, было досадно, что эта позиция занята, занята легко, мимоходом, и не ценится захватчиком. И крайне тягостно было слышать возражения Дронова, которые он всегда делал быстро, даже пренебрежительно.

Однажды Ногайцев, вообще не терпевший противоречий, спорил по поводу земельной реформы Столыпина с длинным, семинарской выправки землемером Хотяинцевым. Ногайцев — красный, вспотевший — кричал:

— Зверски ошибочно рассуждаете! Или мужик будет богат, или — погибнем «яко обри, их же несть ни племени, ни рода».

Обнажив крупные неровные зубы, Хотяинцев предлагал могучим, но неприятно сухим басом:

— Поезжайте в деревню, увидите, как там миреды дуван дуванят.

Самгин, заметив, что Тося смотрит на него вопросительно, докторально сказал:

— Однако — создано пятьсот семьдесят девять тысяч новых земельных собственников, и, конечно, это лучшие из хозяев.

— Во-от! — подхватил Ногайцев. — Мы обязаны им великолепным урожаем прошлого года.

Тут и вмешался Дронов, перелистывая записную книжку; не глядя ни на кого, он сказал пронзительно:

— Ерунду плетешь, пан. На сей год число столыпинских помещиков сократилось до трехсот сорока двух тысяч! Сократилось потому, что сильные мужики скупают землю слабых и организуются действительно крупные помещики, это — раз! А во-вторых: начались боевые выступления бедноты против отрубников, хутора — жгут! Это надобно знать, почтенные. Зря кричите. Лучше — выпейте! Провидение божие не каждый день посылает нам бенедиктин.

В пронзительном голосе Ивана Самгин ясно слышал нечто озлобленное, мстительное. Непонятно было, на кого направлено озлобление, и оно тревожило Клим Самгина. Но все же его тянуло к Дронову. Там, в непрерывном вихре разнообразных систем фраз, слухов, анекдотов, он хотел занять свое место организатора мысли, оракула и провидца. Ему казалось, что в молодости он очень хорошо играл эту роль, и он всегда верил, что создан именно для такой игры. Он думал:

«Я слишком увлекся наблюдением и ослабил свою волю к действию. К чему, в общем и глубоком смысле, можно свести основное действие человека, творца истории? К самоутверждению, к обороне против созданных им идей, к свободе толкования смысла фактов».

Самгин, мысленно повторив последнюю фразу, решил записать ее в тетрадь, где он коллекционировал свои «афоризмы и максимы».

В квартиру Дронова, как на сцену, влекла его и Тося. За несколько недель он внимательно присмотрелся к ней и нашел, что единственно неприятное в ней — ее сходство с Мариной, быть может, только внешнее сходство, — такая же рослая, здоровая, стройная. Неумна, непоколебимо спокойна. По глупости откровенна, почти до неприличия. Если ее не спрашивать ни о чем, она может молчать целый час, но говорит охотно и порою с забавной наивностью. О себе рассказывает безжалостно, как о чужом человеке, а вообще о людях — бесстрастно, с легонькой улыбочкой в глазах, улыбка эта не смягчала ее лица. Клим Иванович Самгин стал думать, что это существо было бы нелишним и очень удобным в его квартире.

Она все обостряла его любопытство:

«Странная фигура. Глупа, но, кажется, не без хитрости».

И, сознавая, что влечение к этой женщине легко может расти, он настраивал свое отношение к ней иронически, полувраждебно.

Однажды, поздно вечером, он позвонил к Дронову. Дверь приоткрылась не так быстро, как всегда, и цепь, мешавшая вполне открыть ее, не была снята, а из щели раздался сердитый вопрос Таисьи:

— Кто это?

В прихожей надевал пальто человек с костлявым, аскетическим лицом, в черной бороде, пальто было узко ему. Согнувшись, он изгибался и покрывал, тихонько чертыхаясь.

— Дайте помогу, — предложила Таисья.

— Спасибо. Готово, — ответил ей гость. — Вот черти... Прощайте.

Шляпу он надел так, будто не желал, чтоб Самгин видел его лицо.

— Я знаю этого человека, — сообщил Самгин.

— Да? — спросила Таисья.

— Его фамилия — Поярков.

Таисья, помолчав, спросила:

— За границей познакомились?

— В Москве. Давно.

Таисья молча кивнула головой.

— Иван знаком с ним?

— Нет, — строго сказала Таисья, глядя в лицо его. — Я тоже не знаю — кто это. Его прислал Женя. Плохо Женьке. Но Ивану тоже не надо знать, что вы видели здесь какого-то Пожарского? Да?

— Пояркова.

— Не надо это знать Ивану, понимаете?

Самгин молча кивнул головой, сообразив:

«Очевидно — нелегальный. Что он может делать теперь, здесь, в Петербурге? И вообще в России?»

Привычная упрощенность отношения Самгина к женщинам вызвала такую сцену: он вернулся с Тосей из магазина, где покупали посуду; день был жаркий, полулежа на диване, Тося, закрыв глаза, расстегнула верхние пуговицы блузки. Клим Иванович подсел к ней и пустил руку свою под блузку. Тося спросила:

— Что это вас интересует там?

Спросила она так убийственно спокойно и смешно, что Самгин невольно отнял руку и немножко засмеялся, — это он позволял себе очень редко, — засмеялся и сказал:

— Мне кажется, у вас есть комический талант.

— Если есть, так — не там, — ответила она.

Самгин встал, отошел от нее, спросил:

— Вы не пробовали играть на сцене?

— Приглашали. Мой муж декорации писал, у нас

актеры стаями бывали, ну и я — постоянно в театре, за кулисами. Не нравятся мне актеры, все — герои. И в трезвом виде и пьяные. По-моему, даже дети видят себя вернее, чем люди этого ремесла, а уж лучше детей никто не умеет мечтать о себе.

Самгин послушал, подумал, затем сказал:

— А наверное, вы очень горячая женщина.

— Охладили уже. Любила одного, а живу — с третьим. Вот вы сказали — «любовь и голод правят миром», нет, голод и любовью правит. Всякие романы есть, а о нищих романа не написано...

— Это очень метко, — признал Самгин.

Он заметил, что после его шаловливой попытки отношение Тоси к нему не изменилось: она все так же спокойно, не суетясь, заботилась о благоустройстве его квартиры.

Клим Иванович Самгин понимал, что столь заботливое отношение к нему внушено Таисье Дроновым, и находил ее заботы естественными.

«И любит гнезда вить», — вспомнил он слова Ивана о Таисье.

Она нашла ему прислугу, коренастую, рябую, остроглазую бабу, очень ловкую, чистоплотную, но несколько излишне и запоздало веселую: волосы на висках ее были седые.

Осенью Клим Иванович простудился: поднялась температура, болела голова, надоедал кашель, истязала тихонькая скука, и от скуки он спросил:

— Сколько вам лет, Агафья?

— Лета мои будто небольшие: тридцать четыре, — охотно ответила она.

— Рано завели седые волосы.

Она усмехнулась и, облизав губы кончиком языка, не сказала ничего, но, видимо, ждала еще каких-то вопросов.

— Вы давно знаете Дронову?

— Давненько, лет семь-восемь, еще когда Таисья Романовна с живописцем жила. В одном доме жили. Они — на чердаке, а я с отцом в подвале.

Она стояла, опираясь плечом на косяк двери, сложив руки на груди, измеряя хозяина широко открытыми глазами.

Самгин лежал на диване, ему очень хотелось подробно расспросить Агафью о Таисье, но он подумал, что это надобно делать осторожно, и стал расспрашивать Агафью о ее жизни. Она сказала, что ее отец держал пивную, и, вспомнив, что ей нужно что-то делать в кухне, — быстро ушла, а Самгин почувствовал в ее бегстве нечто подозрительное.

При первой же встрече он поблагодарил Таисью:

— Славную прислугу нашли вы для меня.

— Ганька — очень хорошая, — подтвердила Таисья.

И на вопрос — кто она? — Таисья очень оживленно рассказала: отец Агафьи был матросом военного флота, боцманом в «добровольном», затем открыл пивную и начал заниматься контрабандой. Торговал сигарами. Он вел себя так, что матросы считали его эсером. Кто-то донес на него, жандармы сделали обыск, нашли сигары, и оказалось, что у него большие тысячи в банке лежат. Арестовали старика.

Самгин отметил, что она рассказывает все веселее и с тем удовольствием, которое всегда звучит в рассказах людей о пороках и глупости знакомых.

— Я его помню: толстый, без шеи, голова прямо из плеч растет, лицо красное, как разрезанный арбуз, и точно татуировано, в черных пятнышках, он был обожжен, что-то взорвалось, сожгло ему брови. Усатый, зубастый, глаза — точно у кота, ручки длинные, обезьяньи, и такой огромный живот, что руки некуда девать. Он все держал их за спиной. Наглый, грубый... Агафья с отцом не жила, он выдал ее замуж за старшего дворника, почти старика, но иногда муж заставлял ее торговать пивом в пивнухе тестя. Жила она очень несчастно, а я — голодно, и она немножко подкармливала меня с мужем моим, она — добрая! Она бегала к нам, на чердак. У нас бывало очень весело, молодые художники, студенты, Женя Юрин. Иногда мы с ней всю ночь до утра рассуждали: почему так скверно все? Но уже кое-что понимали.

— Когда Ганьку с ее стариком тоже арестовали за контрабанду, Женя попросил меня назваться «двоюродной» [сестрой] ее, ходить на свидание с ней и передавать записки политическим женщинам. Мы это наладили

очень удачно, ни разу не попались. Через несколько месяцев ее выпустили, а отец помер в тюрьме. Дворника осудили. После тюрьмы Ганька вступила в кружок самообразования, сошлась там с матросом, жила с ним года два, что ли, был ребенок, мальчугашка. Мужа ее расстреляли в конце пятого года... До военной службы он был акробатом в цирке, такой гибкий, легкий, горячий. Очень грамотный. Веселый, точно скворец, танцор. После его смерти Ганька захворала, ее лечили в больнице Святого Николая, это — сумасшедший дом.

Самгин слушал рассказ молча и внутренне протестуя: никуда не уйдешь от этих историй! А когда Таисья кончила, он, вынудив себя улыбнуться, сказал:

— Значит, мне будет служить... в некотором роде политическая деятельница и притом — сумасшедшая?

Нахмурясь, сдвинув брови в одну линию, Таисья возразила:

— Напрасно усмехаетесь. Никакая она не деятельница, а просто — революционерка, как все честные люди бедного сословия. Класса, — прибавила она. — И — не сумасшедшая, а... очень просто, если бы у вас убили любимого человека, так ведь вас это тоже ударило бы.

И, так как Самгин молчал, она сказала, точно утешая его:

— Зато около вас — человек, который не будет следить за вами, не побежит доносить в полицию.

— Это, конечно, весьма ценно. Попробую заняться контрабандой или печатать деньги, — пошутил Клим Иванович Самгин. Таисья, приподняв брови, взглянула на него.

— Рассердить меня хотите? Трудное дело.

— Нет, — поспешно сказал Самгин, — нет, я не хочу этого. Я шутил потому, что вы рассказывали о печальных фактах... без печали. Арест, тюрьма, человека расстреляли.

Она вопросительно посмотрела на него, ожидая еще каких-то слов, но не дождалась и объяснила:

— Что же печалиться? Отца Ганьки арестовали и осудили за воровство, она о делах отца и мужа ничего не знала, ей тюрьма оказалась на пользу. Второго мужа

ее расстреляли не за грабеж, а за участие в революционной работе.

И, помахивая платком в лицо свое, она добавила:

— Я не одну такую историю знаю и очень люблю вспоминать о них. Они уж — из другой жизни.

Самгин догадался, что подразумевает она под другой жизнью.

— Вы верите, что революция не кончилась? — спросил Самгин; она погрозила ему пальцем, говоря:

— Дурочкой считаете меня, да? Я ведь знаю: вы — не меньшевик. Это Иван качается, мечтает о союзе мелкой буржуазии с рабочим классом. Но если завтра снова эсеры начнут террор, так Иван будет воображать себя террористом.

Она усмехнулась.

— Я вам говорила, что он все хочет прыгнуть выше своей головы. Он — вообще... Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет.

«Она очень легко может переехать на другую квартиру, — подумал Самгин и перестал мечтать о переводе ее к себе. — Большевичка. Наверное — не партийная, а из сочувствующих. Понимает ли это Иван?»

Открытие тем более неприятное, что оно раздражило интерес к этой женщине, как будто призванной заместить в его жизни Марину.

Как всегда, вечером собрались пестрые люди и, как всегда, начали словесный бой. Орехова восторженно заговорила о «Бытовом явлении» Короленко, а Хотяинцев, спрятав глаза за серыми стеклами очков, встал:

— Три года молчал...

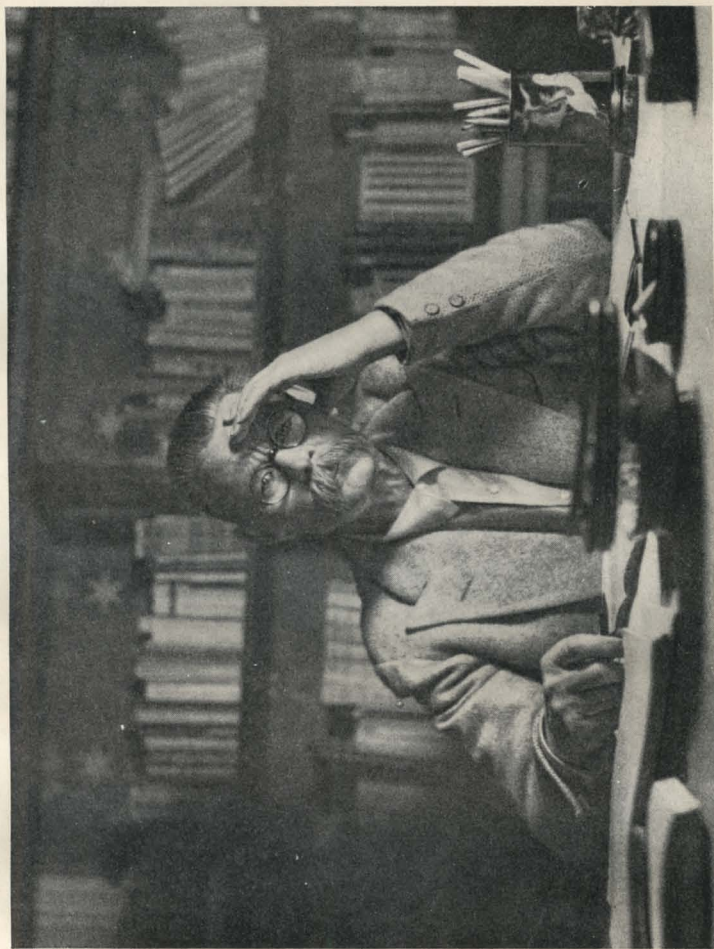
Орехова вскипела, замахала руками:

— Вы не имеете права сомневаться в искренности Короленко! Права не имеет.

— Да я — не сомневаюсь, только поздновато он почувствовал, что не может молчать. Впрочем, и Лев Толстой долго не мог, — гудел [он], не щадя свой бас.

— И вовсе неправда, что Короленко подражал Толстому, — никогда не подражал!

— Я не говорю, что подражал.



А. М. Горький за работой. Сорренто. 1931—1932 гг.

— Не говорите, но намекаете! Ах, какой вы озлобленный! Короленко защищал людей не меньше, чем ваш Толстой, такой... божественный путаник. И автор непротитительной «Крейцеровой сонаты».

Спорили долго, пока не пришел сияющий Ногайцев и не объявил:

— Господа! Имею копию потрясающе интересного документа: письмо московского градоначальника Рейнбота генералу Богдановичу.

Замолчали, и тогда он прочитал:

— «В Москве у нас тихо, спокойно. К выборам в Думу ровно никакого интереса. Даже предвыборных собраний кадеты не устраивают. Попробовали устроить одно, — председатель позволил себе оскорбительные выражения по адресу чина полиции, за что тот собрание закрыл, а я оратора, для примера, посадил на три месяца. Революционеры собирались недавно на съезд, на котором тоже признали, что в Москве дела стоят очень плохо, но, к сожалению, считают, что в Петербурге — хорошо, а в Черниговской, Харьковской и Киевской губерниях — очень хорошо, а в остальных посредственно. Главным образом мне приходится теперь бороться с простым политическим хулиганством — так все измельчало в революционном лагере. Университет учится, сходки совершенно непопулярны: на первой было около 2500 (из 9 тысяч), на второй — 700, третьего дня — 150, а вчера, на трех назначенных, — около 100 человек».

— Наверно — хвастает, — заметил тощенький, остроносый студент Говорков, но вдруг вскочил и радостно закричал: — Подождите-ка! Да я же это письмо знаю. Оно к 907 году относится. Ну, конечно же. Оно еще в прошлом году ходило, читалось...

Начали спорить по поводу письма, дым папирос и слов тотчас стал гуще. На столе кипел самовар, струя серого пара вырывалась из-под его крышки горячей пылью. Чай разливала курсистка Роза Грейман, смуглая, с огромными глазами в глубоких глазницах и ярким, точно накрашенным ртом.

Говорков, закинув пальцами черные пряди волос на затылок, подняв вверх надменное желтое лицо, предложил:

— Обратимся к фактам!

Обратились и — нашли, что Говорков — прав, а Хотяинцев утешительно сообщил, что для суждения о спокойствии страны существуют более солидные факты: ассигновка на содержание тюрем увеличена до двадцати девяти миллионов, кредиты на секретные расходы правительства тоже увеличены.

— Как видите, о спокойствии нашем заботятся не только Рейнботы в прошлом, но и Столыпин в настоящем. Назначение махрового реакционера Кассо в министры народного просвещения...

Но его не слушали. Человек в сюртуке, похожий на военного, с холеным мягким лицом, с густыми светлыми усами, приятным баритоном, но странно и как бы нарочно заикаясь, упрекал Ногайцева:

— Где вы достаете все эти-те-те — ваши апокрифы и — ффф-устрашающие бумажки, кого вы — пугаете и зачем?

— Я, Федор Васильевич, никаких апокрифов... И — никого...

— Н-нет, у вас тенденция заметна, вы именно испугать хотите меня.

— Я? Боже мой! Смешно слышать.

Орехова, раскаленная докрасна, размахивая белым платком, яростно внушала Келлеру и Хотяинцеву:

— Вы прочитайте Томаша Масарика, его «Философские и социологические основы марксизма».

— Милюкова «Очерки» читал и — ничего, жив! Даже Ле-Бона читал, — гудел Келлер.

— Марксизм — это не социализм, — настаивала Орехова и качалась, точно пол колебался под ее ногами.

— Нет, — упрямо, но не спеша твердил Федор Васильевич, мягко улыбаясь, поглаживая усы холеными пальцами, ногти их сияли, точно перламутр. — Нет, вы стремитесь компрометировать жизнь, вы ее опыливаете-те-те чепухой. А жизнь, батенька, надобно любить, именно — любить, как строгого, но мудрого учителя, да, да! В конце концов она все делает по-хорошему.

— Н-ничего подобного, — крикнула ему Орехова, — он прищурил в ее сторону ласковые, но несколько водянистые глаза и вполголоса сказал:

— Ах, эта добрая женщина... Какие глупые слова: «ничего подобного!» Все подобно чему-нибудь.

И, снова повысив голос, продолжал проповедовать:

— Вы, батенька, слишком легко подчиняетесь фактам, в ущерб идее. А — надо знать: принятие или неприятие той или иной идеи оправдывается чисто теоретическими соображениями, а отнюдь не степенью пригодности или непригодности этой идеи для обоснования практической деятельности.

Орехова уже снова втиснулась в спор Келлера и Хотьинцева, убеждая их:

— Маркс — не свободен от влияния расовой мысли, от мысли народа, осужденного на страдание. Он — пессимист и мститель, Маркс. Но я не отрицаю: его право на месть европейскому человечеству слишком обосновано, слишком.

— Верная мысль.

— Совершенно согласен, — одобрил красавец мужчина. Приятный баритон его звучал все самоуверенней, в пустоватых глазах светилась легкая улыбочка, и казалось, что пышные усы растут, становятся еще пышней.

«Лицо счастливца», — отметил Клим Иванович Самгин.

В двери, точно кариатида, поддерживая шум или не пуская его в соседнюю комнату, где тоже покрикивали, стояла Тося с папирсой в зубах и, нахмурясь, отмахивая рукою дым от лица, вслушивалась в неторопливую, самоуверенную речь красивого мужчины.

Клим Иванович Самгин пил чай, заставляя себя беседовать с Розой Грейман о текущей литературе, вслушиваясь в крики спорящих, отмечал у них стремление задеть друг друга, соображал:

«Что же объединяет их?»

Явился Дронов, с кульками и пакетами под мышкой, в руках; стоя спиной к гостям, складывая покупки в углубление буфета, он сердито объявил:

— Лев Толстой скрылся из дома. Ищут — нигде нет.

Это было встречено с большим интересом, всех примирило, а Орехова даже прослезилась:

— Домучили!

Стали расспрашивать Дронова о подробностях, но он лаконически ответил:

— Все, что знаю, — сказал...

Дронов сел рядом с Самгиным, попросил:

— Ты мне вина, Роза! Белого.

И глубоко вздохнул.

— Кто этот красавец?

— Шемякин, чорт его... После расскажу.

И, глядя, как Грейман силится вытащить пробку из горлышка бутылки, он забормотал:

— Был на закрытом докладе Озерова. Думцы. Редактора. Папаша Суворин и прочие, иже во святых. Промышленники, по производствам, связанным с сельским хозяйством, — настроены празднично. А пшеница в экспорт идет по 91 копейке, в восьмом году продавали по рубль двадцать. — Он вытащил из кармана записную книжку и прочитал: — «В металлургии капитал банков 386 миллионов из общей суммы 439, в каменноугольной — 149 из 199». Как это понимать надо?

— Я — не экономист, — откликнулся Самгин и подумал, что сейчас Иван напоминает Тагильского, каким тот бывал у Прейса.

Дронов спрятал книжку, выпил вина, прислушался к путанице слов.

— Величайший из великих, — истерически кричал Ногайцев. — Величайший! Не уступлю, Федор Васильевич, нет!

— Докажите... Дайте мне понять, какую идею-силу воплощал он в себе, какие изменения в жизни вызвала эта идея? Вы с учением Гюйо знакомы, да?

— Да-а! Толстой... Не трогает он меня. Чужой дядя. Плохо? Молчишь...

— Так — кто же этот Шемякин?

— Побочный сын какого-то знатного лица, чорт его... Служил в таможенном ведомстве, лет пять тому назад получил огромное наследство. Меценат. За Тоськой ухаживает. Может быть, денег даст на газету. В театре познакомился с Тоськой, думал, она — из гулящих. Ногайцев тоже в таможне служил, давно знает его. Ногайцев и привел его сюда, жулик. Кстати: ты ему, Ногайцеву, о газете — ни слова!

«Можно подумать, что он пользуется любовницей, чтоб привлекать богатых», — подумал Самгин.

— Гюйо? — гудел Говорков. — Кто же теперь читает Гюйо?

— О, господи! — с отчаянием восклицал Ногайцев. — Как же это? Всем известно: толстовство было...

— Толстого им надолго хватит, — сказал Дронов.

— Шумные люди, — заметил Самгин, чтобы не молчать.

Дронов, держа стакан в руке, как палку, прихлебывая вино, поправил Самгина:

— Пустые — хотел ты сказать. Да, но вот эти люди — Орехова, Ногайцев — делают погоду. Именно потому, что — пустые, они с необыкновенной быстротой вмещают в себя все новое: идеи, программы, слухи, анекдоты, сплетни. Убеждены, что «сеют разумное, доброе, вечное». Если потребуется, они завтра будут оспаривать радости и печали, которые утверждают сегодня...

— Совсем как вы, — неожиданно, вполголоса сказала Роза Грейман.

— Нет, Розочка, не совсем так, — серьезно возразил Дронов.

— Так, — твердо и уже громко сказала она. — Вы тоже из тех, кто ищет, как приспособить себя к тому, что нужно радикально изменить. Вы все здесь суетливые мелкие буржуа и всю жизнь будете такими вот мелкими. Я — не умею сказать точно, но вы говорите только о городе, когда нужно говорить уже о мире.

Говорила она с акцентом, сближая слова тяжело и медленно. Ее лицо побледнело, от этого черные глаза ушли еще глубже, и у нее дрожал подбородок. Голос у нее был бесцветен, как у человека с больными легкими, и от этого слова казались еще тяжелей. Шемякин, сидя в углу рядом с Таисьей, взглянув на Розу, поморщился, пошевелил усами и что-то шепнул в ухо Таисье, она сердито нахмурилась, подняла руку, поправляя волосы над ухом.

Орехова крикливо спросила:

— Что значит — о мире?

— Вы — не знаете?

И Роза начала перечислять:

— О революции турок, о разгоне меджлиса в Персии, об уничтожении финляндской конституции, об аннексии Боснии, Герцеговины Австрией, Кореи — Японией, о том, что немцы отвергли предложение Англии о сокращении морского флота, а социал-демократы не реагировали на это. Вот это — мир!

— И — что же прикажете мне делать с ним? — шутиливо спросил Ногайцев.

Не ответив ему, Грейман продолжала:

— И в Китае — движение. Вы говорите о Толстом. Что вы сказали о нем? У него — нехорошая жена, неудачные дети, и в нем много противоречивого между художником и мыслителем. Вот и все. А Толстой — человек мира, его читают все народы, — жизнь бесчеловечна, позорна, лжива, говорит он. Он еще не зарыт в землю, но вы уже торопитесь насыпать сора на его могилу. Это — возмутительно. Поймите: Толстой убеждает изменить мир, а вы? Вы стараетесь изолировать себя от жизни, ищите места над нею, в стороне от нее, да, да. Именно к этому сводится ваша критика.

Самгин еще в начале речи Грейман встал и отошел к двери в гостиную, откуда удобно было наблюдать за Таисьей и Шемякиным, — красавец, пошевеливая усами, был похож на кота, готового прыгнуть. Таисья стояла боком к нему, слушая, что говорит ей Дронов. Увидав по лицам людей, что готовится взрыв нового спора, он решил, что на этот раз с него достаточно, незаметно вышел в прихожую, оделся, пошел домой.

Было уже очень поздно. [На] пустынной улице застыл холодный туман, не решаясь обратиться в снег или в дождь. В тумане висели пузыри фонарей, окруженные мутноватым радужным сиянием, оно тоже застыло. Кое-где среди черных окон поблескивали желтые пятна огней.

«Демократия, — соображал Клим Иванович Самгин, проходя мимо фантастически толстых фигур дворников у ворот каменных домов. — Заслуживают ли эти люди, чтоб я встал во главе их?» Речь Розы Грейман, Поярков, поведение Таисьи — все это само собою слагалось в нечто единое и нежелаемое. Вспомнились слова кадета, которые Самгин мимоходом поймал в вестибюле Государственной

думы: «Признаки новой мобилизации сил, враждебных здравому смыслу».

«Да, — соображал Самгин. — Возможно, что где-то действует Кутузов. Если не арестован в Москве в числе «семерки» ЦК. Еврейка эта, видимо, злое существо. Большевичка. Что такое Шемякин? Таисья, конечно, уйдет к нему. Если он позовет ее. Нет, будет полезнее, если я займусь литературой. Газета не уйдет. Когда я приобрету имя в литературе, — можно будет подумать и о газете. Без Дронова. Да, да, без него...»

Это было одно из многих его решений, с ним он и заснул.

Но поутру, лежа в постели, раскуривая первую папиросу, он подумал, что Дронов — полезное животное. Вот, например, он умеет доставать где-то замечательно вкусный табак. На новоселье подарил отличный пейзаж Крымова, и, вероятно, он же посоветовал Таисье подарить этюд Жуковского — сосны, голубые тени на снегу. Пышное лето, такая же пышная зима.

Сквозь занавесь окна светило солнце, в комнате свежо, за окном, должно быть, сверкает первый зимний день, ночью, должно быть, выпал снег. Вставать не хотелось. В соседней комнате мягко топала Агафья. Клим Иванович Самгин крикнул:

— Дайте кофе сюда. «Да, Дронов — полезен. Как Санчо Панса. Хотя я и не дон-Кихот. Он — неглуп, Иван».

Дронов заочно знакомил его с присяжным поверенным Антоном Сергеевичем Прозоровым:

— Светило не из крупных и — угасающее. Изъеден многими болезнями, и скоро они его доедят до конца. Обжора и бабник. Живет с последней из десятка. Взял ее с эстрады, внушил, что она должна играть в драме, а в драме она оказалась совершенно бездарной и теперь мстит ему за то, что он испортил ей карьеру: не помешай он ей — она была бы знаменита, как Иветт Гильбер. Ежегодно возит его в Париж, — без Парижа она не может жить. Дела у него — запутаны, и предупреждаю — репутация неважная: гонорары — берет, но дважды пропустил сроки апелляции, и в одном случае пришлось уплатить клиенту сумму его иска: совет, рассмотрев жалобу клиента, признал иск беспорным.

Прозоров оказался мужчиной длинным, тонконогим, со вздутым животом, живот, выпирая из жилета и брюк, показывал белую полосу рубахи. Голова у него была не по росту большая, и в профиль он напоминал гвоздь, изогнутый посредине. На полуголом желтом черепе рассеяны седоватые остатки бывших кудрей ржавого цвета. Щеки украшала борода, ее прямые, редкие волосы на подбородке оканчивались острым клином. Измятое лицо, серые мешки оттягивали веки, обнажали выцветшие мокрые глаза. На переносье длинного, красноватого носа дрожало пенснэ, но Прозоров смотрел через него.

— Что же? Очень хорошо. Я — рад помочь коллеге. Иван Матвееч подробно рассказал мне... Я отберу дела, которые требуют... То есть несколько залежались... Пожалуйста.

Он смотрел на Самгина растерянно, даже как будто испуганно, выдувал воздух носом, вздыхал, вытирал глаза платком.

— Познакомил бы вас с женой, но она поехала в Новгород, там — какая-то церковь замечательная. Она у меня искусством увлекается, теперь искусство в моде... молодежь развлекаться хочет, устала от демонстраций, конституции, революции.

Он пугливо зашевелился в кресле, наморщил нос, сбросив с него пенснэ, и поспешно добавил:

— Я, конечно не отрицаю... Но «делу время, а потехе — час». Вот наступил час потехи. Это — нормально.

Было в нем, в костюме и в словах, что-то неряшливое, неуверенное, а вокруг его, в кабинете, неуютно, тесно, стоял запах бумажной пыли.

— Письмоводитель у меня — Миронов, юноша неглупый, милейший, хотя — бездельник. Вот-с.

Он устало вздохнул и посмотрел на Самгина так, что тот понял:

«Уйди. Надоел ты мне».

Когда Самгин пришел знакомиться с делами, его встретил франтовато одетый молодой человек, с длинными волосами и любезной улыбкой на смуглом лице. Прищурив черные глаза, он сообщил, что патрон нездоров, не выйдет, затем, указав на две стопы бумаг в синих обложках с надписью «Дело», сказал:

— Это он предлагает вашему вниманию. Я вам не нужен?

— Нет.

Юноша шаркнул ногой по полу, исчез, а Самгин, развернув «Дело о взыскании крестьянами Уховыми Иваном и Пелагеей с пот. почет. гражданина Левашова убытков за увечье», углубился в изучение дела. Оказалось, что гражданин, проезжая на паре собственных лошадей, переломил крестьянину ногу, помял ребра и причинил сотрясение мозга, вследствие чего крестьянин Алексей Ухов, ломовой извозчик, — помер. Отец и жена умершего желают получить с гражданина 5000 рублей. Дело рассматривалось в окружном суде, в иске отказано, подана апелляция. Из полицейского протокола Самгин увидал, что иск — безнадежен. На обороте дела он прочитал подсчет гонорара, полученного Прозоровым: 140 р.

«Дело о нарушении контракта фабрикантом Келлер...»

За спиною Самгина открылась дверь и повеяло крепкими духами. Затем около него явилась женщина среднего роста, в пестром облаке шелка, кружев, в меховой накидке на плечах, в тяжелой чалме волос, окрашенных в рыжий цвет, румяная, с задорно вздернутым носом, синеватыми глазами, с веселой искрой в них. Ее накрашенный рот улыбался, обнажая мелкие мышиные зубы, вообще она была ослепительно ярка.

— Елена Викентьевна, — сказала она, протянув коротенькую пухлую ручку, и пригласила Самгина завтракать.

Завтракали очень разнообразно и вкусно. Пили водку пополам с «пикон», пили вино, и Клим Иванович Самгин с удовольствием узнал немало интереснейших новостей из жизни высших сфер.

Первая из них: посланник Соединенных Штатов Америки в Париже заявил русскому послу Нелидову, что, так как жена графа Ностиц до замужества показывалась в Лондоне, в аквариуме какого-то мюзик-холла, голая, с рыбьим хвостом, — дипломатический корпус Парижа не может признать эту даму достойной быть принятой в его круге.

— Вы понимаете, какой скандал? Ностиц. Он, кажется, помощник посла. Вообще — персона важная. Нет — вы

подумайте [о] нашем престиже за границей. Послы жения на дамах с рыбьими хвостами...

Она засмеялась звонко, «рассыпчатым» смехом, очень приятным, а затем сообщила, что у молодой царицы развивается истерия и — нарывы на ногах.

— Все это — последствия ее ненормальных отношений с Вырубовой. Не понимаю лесбиянок, — сказала она, передернув плечами. — И там еще — этот беглый монах, Распутин. Хотя он, кажется, даже не монах, а простой деревенский мельник.

Она со вкусом, но и с оттенком пренебрежения произносила слова «придворные сферы», «наша аристократия», и можно было подумать, что она «вращалась» в этих сферах и среди аристократии. Подчеркнуто презрительно она говорила о министрах:

— Все какие-то выскочки с мещанскими фамилиями — Щегловитов, Кассо... Вы не видали этого Кассо? У него изумительно безобразные уши, огромные, точно галоши. А Хвостов, нижегородский губернатор, которого тоже хотят сделать министром, так толст, что у него автомобиль на особенных рессорах.

Сидели в большой полутемной комнате, против ее трех окон возвышалась серая стена, тоже изрезанная окнами. По грязным стеклам, по балконам и железной лестнице, которая изломанной линией поднималась на крышу, ясно было, что это окна кухонь. В одном углу комнаты рояль, над ним черная картина с двумя желтыми пятнами, одно изображало щеку и солидный, толстый нос, другое — открытую ладонь. Другой угол занят был тяжелым, черным буфетом с инкрустацией перламутром, буфет похож на соединение пяти гробов.

В комнате было душновато, крепкие духи женщины не могли одолеть запаха пыли, нагретой центральным отоплением.

Завтрак продолжался часа два. Клим Иванович Самгин вкусно покушал, немножко выпил, настроился благодушно и, слушая звонкий голосок, частый смех женщины, любезно улыбался, думал:

«Глупа, но — забавная».

А она с восторгом говорила ему о могучей красоте фресок церкви Спаса Нередицы в Новгороде.

Отпуская его, она сказала:

— По субботам у меня бывают артисты, литераторы, музицируем, спорим, — заходите!

«Да, у нее нужно бывать», — решил Самгин, но второй раз увидеть ее ему не скоро удалось, обильные, но запутанные дела Прозорова требовали много времени, франтоватый письмоводитель был очень плохо осведомлен, бездельничал, мечтал о репортаже в «Петербургской газете». Да и сам Прозоров, все более раскисая, потирал лоб, дергал себя за бороду и явно терял память. Письмоводителя рассчитали. Дронов поставил на его место угрюмого паренька, в черной суконной косоворотке, скуластого, с оскаленными зубами, и уже внешний вид его действовал Самгину на нервы.

Умер Лев Толстой. Агафья была первым человеком, который сказал это Самгину утром, подавая ему газеты:

— Лёв-то Николаич скончался.

Она сказала это вполголоса и пошла прочь, но, остановившись в двери, добавила:

— Слышите, как у всех в доме двери хлопают? Будто испугались люди-то.

— Вы читали Толстого? — спросил он.

— «Поликушку» читала, «Сказку о трех братьях», «Много ли человеку земли надо» — читала. У нас, на черной лестнице, вчера читали.

Как всегда, она подождала: не спросит ли барин еще о чем-нибудь. Барин — не спросил.

Он не слышал, что где-то в доме хлопают двери чаще или сильнее, чем всегда, и не чувствовал, что смерть Толстого его огорчила. В этот день утром он выступал в суде по делу о взыскании семи тысяч трехсот рублей, и ему показалось, что иск был признан правильным только потому, что его противник защищался слабо, а судьи слушали дело невнимательно, решили торопливо.

В комнате присяжных поверенных озабоченно беседовали о форме участия в похоронах, посылать ли делегацию в Ясную Поляну или ограничиться посылкой венка. Кто-то солидно напомнил, что теперь не пятый год, что существует Щегловитов...

Довольный тем, что выиграл дело, Клим Иванович Самгин позвонил Прозорову, к телефону подошла Елена и, выслушав его сообщение, спросила:

— А вы знаете, что в университете беспокойно, студенты шумят, требуют отмены смертной казни...

«Дура, — мысленно обругал ее Самгин, тотчас повесив трубку. — Ведь знает, что разговоры по телефону слушает полиция». Но все-таки сообщил новость толстенькому румянощекому человеку во фраке, а тот, прищурив глаз, посмотрел в потолок, сказал:

— Что ж? Предлог — хороший. «Смертию смерть поправ». Только бы на улицу не вылезали...

Явились еще двое фрачников с портфелями, и один из них, черноволосый, высоколобый, с провалившимися внутрь черепа глазами и желчным лицом, сердито говорил:

— Я утверждаю: сознание необходимости социальной дисциплины, чувство солидарности классов возможны только при наличии правильно и единодушно понятой национальной идеи. Я всегда говорил это... И до той поры, пока этого не будет, наша молодежь...

— Позволь, позволь! Конституционные иллюзии года три-четыре держали молодежь в состоянии покоя...

— Но вот оказалось достаточно умереть Толстому, чтоб она снова полезла на стену.

Румяный адвокат весело спросил:

— А где же это вы, Роман Осипович, наблюдали солидарность классов?

— Во Франции, друг мой, в Англии. В Германии, где организованный рабочий класс принимает деятельное участие в государственной работе. Все это — страны, в которых доминирует национальная идея...

— Это у вас — струвизм! Эрос в политике и прочее. Это романтика...

Самгин послушал спор еще минут пять и вышел на улицу под ветер, под брызги мелкого дождя. Ему казалось, что в обычном шуме города сегодня он различает какой-то особенный, глухой, тревожный гул. Люди обгоняли друг друга, выскакивали из дверей домов, магазинов, из-за углов улиц, и как будто все они искали, куда бы спрятаться от дождя, ветра. Мысли тоже суетились

поспешно, бессвязно. Думалось о том, что адвокаты столицы относятся к нему холодно, с любезностью очень обидной. В сером, мокром сумраке выростала фигура хмурого старика с растрепанной бородой.

«Уговаривал не противиться злу насилием, а в конце дней бежал от насилия жены, семьи. Снова начинаются волнения студентов».

Нанял извозчика, спрятался под кожу верха пролетки, закрыл глаза. Только что успел раздеться — вбежал Дронов, отирая платком мокрое лицо.

— Толстой-то, а? — заговорил он. — Студенты зашевелились, и будто бы на заводах сходки. Вот — штука! Чорт возьми...

Он почмокал губами и продолжал:

— Еду мимо, вижу — ты подъехал. Вот что: как думаешь — если выпустить сборник о Толстом, а? У меня есть кое-какие знакомства в литературе. Может — и ты попробуешь написать что-нибудь? Почти шесть десятков лет работал человек, приобрел всемирную славу, а — покая душой не мог заработать. Тема! Проповедовал: не противьтесь злему насилею, закричал: «Не могу молчать», — что это значит, а? Хотел молчать, но — не мог? Но — почему не мог?

— Сборник — это хорошая мысль, — сказал Самгин и, не желая углубляться в истоки моральной философии Толстого, деловито заговорил о плане сборника.

Дронов минут пять слушал молча, потирая лоб и ежовые иглы на голове, потом вскочил:

— Еду в Думу. Хочешь?

— Нет.

Выдернув из кармана какую-то газетку, он сунул ее Самгину:

— «Рабочая газета» Ленина, недавно — на-днях — вышла.

Исчез, но тотчас же, в пальто, в шапке, снова явился, пробормотал:

— Есть слушок: собираемся Персию аннексировать. Австрия — Боснию, Герцеговину схватила, а мы — Персию. Если англичане не накомстыляют нам шею — поеду к персам ковры покупать. Дело — тихое, спокойное. Торговля персидскими коврами Ивана Дронова. Я хожу по

ковру, ты ходишь пока врешь, они ходят пока врут, вообще все мы ходим пока врем. Газетку — сохрани.

Пробормотал и окончательно исчез, оставив Самгина в состоянии раздражения.

«Шут. Хитрый шут. Лживая натура».

Он уже не впервые замечал, что Иван, уходя, старается, как актер под занавес, сказать слова особенно раздражающие память и какие-то двусмысленные.

Грея спину около калорифера, Самгин развернул потрепанную, зачитанную газету. Она — не угашала его раздражения. Глядя на простые, резкие слова ее передовой статьи, он презрительно протестовал:

«Кого они хотят вести за собой в стране, где даже Лев Толстой оказался одиноким и бессильным...»

Вечером он пошел к Прозорову, старик вышел к нему в халате, с забинтованной шеей, двигался он хватаясь дрожащей рукой за спинки кресел, и сипел, как фagот, точно пьяный.

— «Печали и болезни вон полезли», как сказано у... этого, как его? «Бурса»? Вот, вот — Помяловский. Значит — выиграли мы? Очень приятно. Очень.

Говоря медленно, тягуче, он поглаживал левую сторону шеи и как будто подталкивал челюсть вверх, взгляд мутных глаз его искал чего-то вокруг Самгина, как будто не видя его.

— Теперь давайте, двигайте дело графини этой. Завтра напишем апелляцию... Это мы тоже выиграем. Ну, я, знаете, должен лежать, а вы к жене пожалуйста, она вас просила. Там у нее один... эдакий... Из этих, из модных... Искусство, философия и всякое прочее. Э-хе-хе...

Он махнул левой рукой, правую протянул Самгину и, схватив его руку, удержал ее:

— Толстой-то, а? В мое время... в годы юности, молодости моей, — Чернышевский, Добролюбов, Некрасов — впереди его были. Читали их, как отцов церкви, я ведь семинарист. Верования строились по глаголам их. Толстой незаметен был. Тогда учились думать о народе, а не о себе. Он — о себе начал. С него и пошло это... вращение человека вокруг себя самого. Каламбур тут возможен: вращение вокруг частности — отвращение от целого... Ну — до свидания... Ухо чего-то болит... Прошу...

Он указал рукой на дверь в гостиную. Самгин приподнял тяжелую портьеру, открыл дверь, в гостиной никого не было, в углу горела маленькая лампа под голубым абажуром. Самгин брезгливо стер платком со своей руки ощущение теплого, клейкого пота.

Дверь в столовую была приоткрыта, там, за столом, сидели трое мужчин и Елена. В жизни Клима Ивановича Самгина неожиданные встречи были часты и уже не удивляли его, но каждая из них вызывала все более тягостное впечатление ограниченности жизни, ее узости и бедности.

В толстом рыжеволосом человеке, с надутым, синеватого цвета бритым лицом утопленника, с толстыми губами, он узнал своего учителя Степана Андреевича Томилина, против него, счастливо улыбаясь, сидел приват-доцент Пыльников.

— И замалчивают крик отчаяния, крик физиолога дю-Буа-Реймона, которым он закончил свою речь «О пределах наших знаний» — сиречь «Игнорабимус» — не узнаем! — строго, веско и как будто сквозь зубы говорил Томилин, держа у бритого подбородка ложку с вареньем.

— Сов-вершенно верно, — с радостью подтвердил Пыльников, и вслед за его словами торопливо раздался тонкий детский голосок:

— Так, интересы профессии одних, привычка к легкомыслию других ограничивают свободу мысли.

— Именно — это! — снова подтвердил Пыльников. — То есть сначала это, затем уже политика власти — самодержавной власти, разумеется...

— О! — вскричала Елена, встречая Самгина. — Вот прекрасно! Знакомьтесь: Аркадий Козьмич Пыльников, Юрий Николаевич Твердохлебов.

— Мы знакомы, — сказал Самгин, подходя к Томилину, — не вставая, облизывая губы, Степан Томилин поднял на Самгина рыжие зрачки, медленно и важно поднял руку и недоверчиво спросил:

— Знакомы? Где же я имел честь?..

Обиженный его важностью, Самгин сухо напомнил ему.

— Ага! Да, да, я вспоминаю. Был репетитором вашим, и еще там были мальчики. Один из них, кажется, потонул или что-то такое...

Он отвернул лицо от Самгина и снова взял варенье. Клим Иванович сел против Твердохлебова, это был маленький, размеров подростка, человечек с личиком подвижным, как у мартышки, смуглое личико обросло темной бородкой, брови удивленно приподняты, темные глазки блестят тревожно. «Какой-то игрушечный, не настоящий», — определил Самгин, присматриваясь к Томилину неприязненно. Жесткие волосы учителя, должно быть, поредели, они лежали гладко, как чепчик, под глазами вздуты синеватые пузыри, бритые щеки тоже пузырились, он часто гладил щеки и нос пухлыми пальцами левой руки, а правая непрерывно подносила к толстым губам варенье, бисквиты, конфеты. Вазочки с вареньем и бисквитами, коробки конфет были тесно сдвинуты в его сторону. Весь он стал какой-то пузырчатый, вздутый живот его, точно живот Бердникова, упирался в край стола, и когда учителю нужно было взять что-нибудь, он приподнимался на стуле, живот мешал рукам, укорачивал. Но, несмотря на то, что он так ненормально, нездорово растолстел, Самгин, присматриваясь к нему, не мог узнать в нем того полусонного, медлительного человека, каким Томилин жил в его памяти. Говорил он так уверенно и властно, что его уже нельзя было назвать «личностью неизвестного назначения», как называл его Варава. И зрачки его глаз уже не казались наклеенными на белках, но как бы углубились в их молочное вещество, раскрашенное розоватыми жилками, — углубились, плавали в нем и светились как-то зловеще.

«Страшное и противное лицо», — определил Самгин, слушая.

— В докладе моем «О соблазнах мнимого знания» я указал, что фантастические, невообразимые числа математиков — ирреальны, не способны дать физически ясного представления о вселенной, о нашей, земной, природе, и о жизни плоти человеческой, что математика есть метафизика двадцатого столетия и эта наука влечется к схоластике средневековья, когда диавол чувствовался физически и считали количество чертей на конце иглы. Вопрос о достоверности знания, утверждаю я, должен быть поставлен вновь и строго философски. Надо проверить:

не есть ли знание ловушка дьявола, поставленная нам в наших поисках богопознания.

— Простите, что прерываю вашу многозначительную речь, — с холодной вежливостью сказал Самгин. — Но, помнится, вы учили понимать познание как инстинкт, третий инстинкт жизни...

— Учил, когда учился, и перестал учить, когда понял, что учил ошибочно, — ответил Томилин, развертывая конфекту и не взглянув на ученика, а Самгин почувствовал, что ему хочется говорить дерзости.

«Вот — хам!»

И, стараясь придать голосу своему ядовитость, произнес:

— Тогда разрешите поставить вопрос об ответственности учительства.

— Правильно. Вот и ставьте его пред Христом и Пирроном, пред блаженным Августином и Вольтером...

— Вот — удар! — вскричал Пыльников, обращаясь к Твердохлебову, а [Твердохлебов] тотчас же набросился на Самгина, крича:

— И вспомните о причине изгнания праотцев из рая! И о горьких плодах мира сего. Розанова — читали?

Томилин, разжевывая конфекту, докторально указал:

— Розанов — брехун, чувственник и еретик, здесь неуместен. Место ему уготовано в аду. — И, зло вспыхнувшими глазами покосясь в сторону Самгина, небрежно пробормотал:

— Есть две ответственности: пред богом и пред дьяволом. Смешивать их в одну — преступно. Умолчу о том, что и неумно.

Он облизал губы, потом вытер их платком и обратился к Елене.

— Возвращаясь к Толстому — добавлю: он учил думать, если можно назвать учением его мысли вслух о себе самом. Но он никогда не учил жить, не учил этому даже и в так называемых произведениях художественных, в словесной игре, именуемой искусством. Высшее искусство — это искусство жить в благолепии единства плоти и духа. Не отрывай чувства от ума, иначе жизнь твоя превратится в цепь неосмысленных случайностей и — погибнешь!

«Цепь неосмысленных случайностей» — это он взял у Льва Шестова», — отметил Самгин.

Клим Иванович не помнил себя раздраженным и озлобленным до такой степени, как был озлоблен в эти минуты. Раздражало и даже возбуждало безразличность поглощение Томилиным сладостей, он почти непрерывно и как бы автоматически подавал их пухлыми пальцами в толстогубый рот, должно быть, эта равнодушная жвачка и заставляла вероучителя цедить слова сквозь зубы. Проповедь его звучала равнодушно, и в этом равнодушии, ясно для Самгина, звучало пренебрежительное отношение к нему. Смысл проповеди бывшего учителя не интересовал, не задевал Самгина. Клим Ивановичу уже знакомо было нечто подобное, вопрос о достоверности знания, сдвиг мысли в сторону религии, метафизики — все это очень в моде. Но было что-то обидное в том, что Томилин оказался так резко не похожим на того, каким был в молодости. Обрывая краткие замечания и вставки Пыльников, Твердохлебов, бывший репетитор не замечал Самгина, и похоже было, что он делает это нарочно.

«Он мстит мне? За что? — подумал Самгин, вспомнил, как этот рыжий сластоежка стоял на коленях пред его матерью, и решил: — Не может быть. Варадка любил издеваться над ним...»

— «Человек рождается на страдание, как искра, чтоб устремиться вверх», — с восторгом вскричал маленький Твердохлебов, и его личико сморщилось, стало еще меньше. Обнажая шоколадную конфету, соскабливая с нее ногтем бумажку, Томилин погасил восторг этого человечка холодными словами:

— Не все в книге Иова мы должны понимать так прямолинейно, как написано, ибо эта книга иной расы и крови, — расы, непростительно согрешившей пред господом и еще милостиво наказанной...

Он встал и оказался похожим на бочку, облеченную в нечто темносерое, суконное, среднее между сюртуком и поддевкой. Выкатив глаза, он взглянул на стенные часы, крякнул, погладил ладонью щеку.

— Мне — пора. Надо немного подготовиться, в девять читаю в одном доме о судьбе, как ее понимает народ, и о предопределении, как о нем учит церковь.

Поцеловал руку хозяйки, остальным кивнул головой и пошел, тяжело шаркая ногами; хозяйка последовала за ним.

— Замечательно! — вполголоса сказал Твердохлебов.

— Весьма умный человек, — согласился Пыльников.

— А — какая эрудиция!

Возвратилась хозяйка.

— Оригинален? — спросила она и сама ответила: — Очень.

А Пыльников сказал Самгину:

— У Елены Викентьевны удивительный дар находить и собирать вокруг себя людей исключительно интересных...

— Счастлив, что нахожусь в их среде, — озлобленно и не скрывая иронии произнес Самгин. Елена усмехнулась, глядя на него.

— Ого, вы кусаетесь?

— Нет, право же, он недюжинный, — примирительно заговорила она. — Я познакомилась с ним года два тому назад, в Нижнем, он там не привился. Город меркантильный и ежегодно полтора месяца сходит с ума: всё купцы, купцы, эдакие огромные, ярмарка, женщины, потрясающие кутежи. Он там сильно пил, нажил какую-то болезнь. Я научила его как можно больше кушать сладостей, это совершенно излечивает от пьянства. А то он, знаете, в ресторанах философствовал за угощение...

Самгин слушал ее с удовольствием, ее слова освежали и успокаивали его, а выслушав дальнейшее, он даже тихонько засмеялся.

— Можете себе представить: подходит к вам эдакий страшный и предлагает: не желаете ли, бытие божие докажу? И за полбутылки водки утверждал и отвергал, доказывал. Очень забавно. Его будто бы даже били, отправляли в полицию... Но, вот видите, оказалось, что он... что-то значит! Философ, да?

— Весьма оригинальный, — грустно сказал Пыльников, а Клим Иванович Самгин с удовольствием посмотрел на лица Пыльникова и Твердохлебова, они как будто несколько поблекли. Пыльников надул губы и слушал разочарованно, а маленький человечек, передернув плечами, пробормотал:

— Испытание! Я — про алкоголизм. Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься.

— Мой муж — старый народник, — оживленно продолжала Елена. — Он любит все это: самородков, самоучек... Самоубийц, кажется, не любит. Самодержавие тоже не любит, это уж такая старинная будничная привычка, как чай пить. Я его понимаю: люди, отшлифованные гимназией, университетом, довольно однообразны, думают по книгам, а вот такие... храбрецы вламываются во все за свой страх. Варвары... Я — за варваров, с ними не скучно!

— Елена Викентьевна! — взывал Твердохлебов, подскочив на стуле. — Это говорите вы, вы, в гостиной которой собирается цвет...

— Елена Викентьевна шутит, — объяснил Пыльников, но слова его звучали вопросительно.

— Вот какой догадливый, — сказала женщина, обращаясь к Самгину; он встал, протянул ей руку.

— Ой, нет! Не отпущу, у меня к вам есть дело...

Те двое поняли, что они — лишние, поцеловали ее пухлую ручку с кольцами на розовых пальчиках и ушли. Елена несколько секунд пристально, с улыбкой в глазах рассматривала Самгина, затем скорчила рожицу в комически печальную гримасу и, вздохнув, спросила:

— Будем говорить о Толстом?

— Это — необязательно, — сказал Самгин.

— Спасибо. О Толстом я говорила уже четыре раза, не считая бесед по телефону. Дорогой Клим Иванович — в доме нет денег и довольно много мелких неоплаченных счетов. Нельзя ли поскорее получить гонорар за дело, выигранное вами?

— Я постараюсь.

— Пожалуйста, постарайтесь! Вот и все. Но это не значит, что вы должны уходить.

Она предложила перейти в гостиную. Ходила она легко и плавно, пружинистым танцующим шагом, одета она в платье оранжевого цвета, широкое, точно плащ. На ходу она смешно размахивала руками, оправляя платье, а казалось, что она отталкивает что-то.

«Приятная, — сказал себе Самгин и подумал: — она прячется в широкие платья, вероятно, потому, что у нее плохая фигура». Он был очень благодарен ей за то, что

она рассказала о Томилине, и смотрел на нее ласково, насколько это было доступно ему.

Гостиная освещалась лампой, заключенной в фонарь ажурной персидской меди, и все в комнате было покрыто мелким узором теней. По стенам на маленьких полочках тускло блестели медные кувшины, чаши, вазы, и это обилие меди заставило Самгина подумать:

«Оригинальничает».

Елена полулежала на тахте, под большой картиной, картина изображала желтые бугры песка, караван верблюдов, две тощие пальмы в лохмотьях листьев, изорванных ветром.

— Муж болеет, должно быть, серьезно, — говорила Елена.

Печали в словах ее Самгин не слышал. Он спросил: кто это — Твердохлебов?

— Так... бездельник, — сказала она полулежа на тахте, подняв руки и оправляя пышные волосы. Самгин отметил, что грудь у нее высокая. — Живет восторгами. Сын очень богатого отца, который что-то продает за границу. Дядя у него — член Думы. Они оба с Пыльниковым восторгами живут. Пыльников недавно привез из провинции жену, косую на правый глаз, и двадцать пять тысяч приданого. Вы бываете в Думе?

— Был, один раз, собираюсь на-днях.

— Идемте вместе. Там — забавно. Сидят и сочиняют законы очень знакомые люди, которых я видала пьяными у цыган, в кабинетах ресторанов.

Прищурясь, она спросила:

— Ведь вам Дронов, наверное, сказал, что я была эстрадной певицей? Ну, вот. В качестве таковой я имела весьма широкие знакомства среди лучших людей России, — сказала она, весело подмигнув. — И, разумеется, для того, чтоб хорошо одеться, приходилось совершенно раздеваться. Вас это шокирует?

— Ничуть, — поспешно сказал Самгин, а она, грозя пальцем, предупредила его:

— Но — не вздумайте сочувствовать, жалеть и тому подобное. И — не питайте амурных надежд, я уже достаточно устала от любви. И вообще от всякого свинства. Будем добрыми друзьями — хорошо?

— Очень хорошо. И очень благодарю вас за предложение, — говорил Самгин, думая:

«Муж умирает, ей нужен заместитель, который продолжал бы дело мужа — работать на нее».

— Ну, вот. Я встречаюсь с вами четвертый раз, но... Одним словом: вы — нравитесь мне. Серьезный. Ничему не учите. Не любите учить? За это многие грехи простятся вам. От учителей я тоже устала. Мне — тридцать, можете думать, что два-три года я убавила, но мне по правде круглые тридцать и двадцать пять лет меня учили.

Самгин, любезно улыбаясь, слушал ее задорную болтовню и видел, что, когда эта женщина щелкает пальцами, легкие слова ее тоже как будто металлически щелкают, точно маленькие ножницы, а веселая искра синих глаз вспыхивает ярче.

«Она интереснее Алины, — определял Самгин. — Характер более законченный. И — неглупа. Эта едва ли способна разыгрывать драмы. С ней необходимо держаться очень осторожно», — решил он.

Но он почти каждый день посещал Прозорова, когда старик чувствовал себя бодрее, работал с ним, а после этого оставался пить чай или обедать. За столом Прозоров немножко нудно, а все же интересно рассказывал о жизни интеллигентов семидесятых — восьмидесятых годов, он знал почти всех крупных людей того времени и говорил о них, грустно покачивая головою, как о людях, которые мужественно принесли себя в жертву Ваалу истории.

— Надсон пел: «Верь, погибнет Ваал», но вот — не погиб. Насилие Европы все быстрее разрушает крестьянскую нашу страну, н-да! Вы, наверное, марксист, как все теперь... Даже этот нахал... Столыпин...

— Налить еще чаю? — спрашивала Елена, она сидела обычно с книжкой в руке, не вмешиваясь в лирические речи мужа, быстро перелистывая страницы, двигая бровями. Читала она французские романы, сборники «Шиповника», «Фиорды», восхищалась скандинавской литературой. Клим Иванович Самгин не заметил, как у него с нею образовались отношения легкой дружбы, которая, не налагая никаких неприятных обязательств, не угрожала принять характер отношений более интимных и ответственных.

У Елены он отдыхал от впечатлений, которые угнетали его в квартире Дронова, куда, точно мутные ручьи дождя в яму, стекались слухи, мысли, факты, столь же неприятно разнообразные, как люди, которые приносили их. Количество людей непрерывно увеличивалось, они суетились, точно на вокзале, и очень трудно было понять, куда и зачем они едут?

Дронов вертелся, кипел, потел, он продолжал ожесточенно искать денег на издание газеты, а Тося, усмехаясь, говорила:

— Ищет сто тысяч, как иголку в стоге сена!

Но Иван был оптимистически уверен, что найдет иголку, и его оптимизм укреплял темные подозрения Самгина:

«На какие средства он живет?»

Гостеприимное жилище Ивана Самгин называл про себя «нелегальным рестораном», «бесплатным трактиром» и чувствовал, что ему не место в этом жилище. Он [видел], что все люди Ивана Дронова имеют какую-то черту, общую черту с Иваном, так же, как Иван, они встревожены чем-то и сеют тревогу. Видел, что эти люди гораздо более широко, чем он, Самгин, осведомлены о ходе событий текущей жизни, и оскорбленно убеждался, что они не слушают и даже не замечают его. Самгин привык быстро составлять для себя измерения, характеристики, оценки людей по их склонностям, насколько склонности выражались в словах, людей этих он разделил на организаторов и дезорганизаторов. Первую группу возглавлял сладкоречивый Ногайцев, возбуждаясь почти до слез, сложив пальцы правой руки щепотью, он потрясал ею пред своим лицом и убеждал:

— Пережив революцию, страна успокоилась, работает, богатеет — европеизируется. Столыпин действовал круто, но благодаря его аграрной реформе мы имеем отличный урожай хлеба...

— А также повешенных революционеров и обезземельных крестьян, — густым басом, спокойно вставил Говорков.

— Правильно! — поддержал его только что изгнанный из университета Борис Депсамес, кудрявый брюнет, широкоплечий, стройный, в поношенной студенческой

тужурке, металлические пуговицы на ней он заменил черными и серыми.

— Вы, Говорков, член партии, которая навсегда скопрометировала себя моральной слепотой, — огрызнулся Ногайцев и, продолжая потрясать щепотью пальцев пред своим носом, точно нюхая их, снова лирически запел:

— Мы, народные социалисты, чистейшие демократы, не мыслим рост культуры без участия деревни. Мы — не слепы и приветствуем развитие металлургии, ибо деревне нужны сельскохозяйственные машины. Лично я приветствую разрешение правительства ввозить чугуны из-за границы по тарифу пониженному, дабы преодолеть чугуный голод...

Дезорганизаторов возглавлял Тагильский, — сидя в темном углу, плохо видимый, он не торопясь и даже как будто лениво возражал:

— А может быть, чугун пойдет «Русскому обществу для изготовления снарядов» и другим фабрикам этого типа? У нас не хватает не только чугуна и железа, но также цемента, кирпича, и нам нужно очень много продать хлеба, чтоб купить все это.

Он сладострастно, с усмешечкой в глазах погружался в цифры, сдвигая миллионы рублей с десятками миллионов пудов.

— И не рано ли вы говорите об успокоении, имея налицо тысячи поджогов хуторов и прочих выступлений безземельного крестьянства против отрубников?

Вспоминая свое пристрастие к цифрам, Тагильский перечислял не спеша и солидно: 1 декабря в университете на сходку собралось около двух тысяч студентов, полицеймейстер Гессе ввел в университет двести пятьдесят полицейских, в Зерентуе и Вологде — тюремные бунты.

— К этому прибавьте две легальные газеты меньшевиков и большевистскую «Звезду» здесь. Это — что значит?

— Желают, чтоб социалисты сожрали друг друга, — сердито крикнул Хотяинцев.

За чайным столом Орехова, часто отирая платком красное, потное лицо, восхищалась деятельностью английских «суфражисток», восторженно рассказывала о своей встрече с Панкхерст, ее молча слушали Роза Грейман и Тося, Шемякин сидел рядом с Тосей, поглядывая на ее

бюст, покручивая левый ус, изредка вставлял барским тоном, вполголоса:

Говорили о господе Иисусе,
О жареном гусе,
О политике, поэзии,
Затем — водку пить полезли

— это, кажется, из Чехова?

Грейман сердито сказала:

— Чехов не писал стихов.

— Не писал? Напрасно.

Этот новорожденный барин особенно раздражал Самгина, и, если б Клим Иванович был способен ненавидеть, он ненавидел бы его. Раздражал он упорной и уверенной манерой ухаживать за Таисьей. Самгину было ясно, что сдобный этот мужчина достигнет желаемого. А Самгин, не сознаваясь себе в этом, посещал квартиру Дронова почти уже только для того, чтоб видеть эту спокойную, дородную, мягкую женщину. Никогда еще ни одна женщина не казалась ему такой удобной для сожительства с нею. Ему казалось, что она продолжает смотреть на него вопросительно, чего-то ожидая от него. Но каждый раз, когда он начинал говорить ей, что она ему приятна, — лицо ее становилось скучным, деревянным, и она молчала невозмутимо.

— Вам этот Шемякин нравится? — спросил он.

— Нет, — сказала она, и слово ее прозвучало правдиво.

— Что он делает?

Пожав плечами, она сказала:

— Богатый.

— А кроме этого?

— Не знаю. Да, — на скрипке играет..

— Вы слышали?

— Где же? У нас — не играл. Говорит — учился в консерватории, хотел концерты давать.

— Настоячиво ухаживает он за вами.

Она снова пожала плечами.

— Богатый, — скучно. Когда все есть, — что делать?

Наивные ее вопросы нравились Самгину, и почти всегда за вопросами ее он находил еще более детские мысли.

— Вам нравятся богатые люди?

— Конечно — нет.

— Почему?

— Ну — зачем они? Ведь им уж ничего не надо, все нашли, думать не о чем.

И, нахмурясь, она сказала:

— Вы всё дразните меня, как маленькую.

Он стал говорить, что богачи возбуждают в бедных желание тоже разбогатеть, но Таисья, нахмурясь, остановила его:

— Перестаньте! А то я подумаю, что вам хочется сделать меня глупой.

Нет, этого он не хотел, женщина нужна ему, и не в его интересах, чтоб она была глупее, чем есть. И недавно был момент, когда он почувствовал, что Таисья играет опасную игру.

Он почти неделю не посещал Дронова и не знал, что Юрин помер, он встретил процессию на улице. Зимою похороны особенно грустны, а тут еще вспомнились похороны Варвары: день такой же враждебно холодный, шипел ветер, сеялся мелкий, колючий снег, точно так же навстречу катафалку и обгоняя его, но как бы не замечая, поспешно шагали равнодушные люди, явилась та же унылая мысль:

«Вот и меня тоже так...»

Провожали Юрина восемь человек — пятеро мужчин и три женщины: Таисья, Грейман и коротконогая старуха в толстой ватной кофте, окутанная шалью. Таисья шагала высоко подняв голову, сердито нахмурясь, и видно было, что ей неудобно идти шаг в шаг с маленькой Розой и старухой, она все порывалась вперед или, отставая, толкала мужчин. Из них только один, в каракулевой шапке, прятал бородатое лицо в поднятом воротнике мехового пальто, трое — видимо, рабочие, а пятый — пожилой человек, бритый, седоусый, шел сдвинув мохнатую папаху на затылок, открыв высокий лоб, тыкая в снег суковатой палкой. Самгин на какие-то секунды остановился и этим дал возможность Таисье заметить его, — она кивнула головой. Неловко было бы не подойти к ней.

— Вот — помер, — тихо сказала она и тотчас же заговорила громко, угрюмо:

— Двадцать девять лет. Шесть просидел в тюрьме. С семнадцати лет начал. Шпионишка послали провожать, вон — ползет!

Она кивнула на панель.

— Брось, Таисья Романовна, — хрипло сказал человек с палкой.

Самгин искоса взглянул на панель, но не мог определить, кто там шпион.

— Это — мать? — спросил он, указав глазами на старуху.

— Квартирная хозяйка. У него родных — никого нет. Кроме вот этих.

И, взглянув на провожатых через плечо, спросила:

— Почему вас не видно?

Самгин сказал, что вечером придет, и пошел прочь.

«За внешней грубостью — добрая, мягкая душа. Тип Тани Куликовой, Любаши Сомовой, Анфимьевны. Тип человека, который чувствует себя созданным для того, чтоб служить, — определял он, поспешно шагая и невольно оглядываясь: провожает его какой-нибудь субъект? — Служить — все равно кому. Митрофанов тоже человек этой категории. Не изжито древнее, рабское, христианское. Исааки, как говорил отец...»

Было немножко досадно, что приходится ставить Таисью в ряд таких мелких людей, но в то же время [это] укрепляло его желание извлечь ее из среды, куда она случайно попала. Он шел, поеживаясь от холода, и скандировал Некрасова:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек...

«Да, необходимо говорить с нею решительно...»

Вечером он все-таки не очень охотно шагал к Дронову, — смущала возможность встречи с Тагильским. Он не мог забыть, что, увидав Тагильского у Дронова, постыдно испугался чего-то и несколько отвратительных секунд соображал: подойти к Тагильскому или не нужно? Но Тагильский сам подошел, кругленький, щеголевато одетый, с добродушной усмешкой на красной роже.

— Содом и Гоморра! — дурашливо поздоровался он, встряхнув руку Самгина, заглядывая под очки его. Настроенный весело, он в пять минут сообщил, что из прокуратуры его «попросили уйти» и что он теперь «свободный мальчик».

— Конституция замечательно успешно способствует росту банков, так я, в качестве любителя фокусов экономики, сочиняю разные доклады о перспективах и возможностях. Банки растут, как чирьи, сиречь — фурункулы.

Веселое его лицо, шутливый тон, несколько успокоив тревогу Самгина, все же не поколебали его убеждения, что Тагильский — человек темный, опасный.

«В деле Марины он обыграл меня, — угрюмо подумал Клим Иванович. — Обыграл».

К Дронову он пошел нарочно пораньше, надеясь застать Таисью одну, но там уже сидели за столом Хотяинцев и Говорков один против другого и наполняли комнату рычанием и визгом.

— Перестаньте защищать злостных банкротов, — гремел Хотяинцев, положив локти на стол и упираясь в него. — Партию вашу смазал дегтем Азеф, ее прикончили ликвидаторы группы «Почин» Авксентьев, Бунаков, Степа Слетов, бывший мой приятель и сожитель в ссылке, хороший парень, но не политик, а наивнейший романтик. Вон Егор Сазонов застрелился от стыда за вождей.

Ревущим голосом своим землемер владел очень легко, говорил он, точно читал, и сквозь его бас реплики, выкрики студента были не слышны. Первый раз Клим Иванович мог рассмотреть лица этих людей: у Хотяинцева лицо костлявое, длинное, некрасиво перерезано зубастым ртом, изрыто оспой, усеяно неряшливыми кустиками белобрысых волос, клочья таких же бесцветных волос встрепанно покрывали его череп, вытянутый вверх, похожий на дыню. Он сам называл себя человеком «неблагоустроенным», но его лицо освещали очень красивые большие глаза синеватого цвета с неопределимой усмешечкой в глубине их. Говорков — среднего роста, стройный, смуглолицый, черноглазый, с толстыми усами и квадратной бородкой, темные, бритые щеки его нервно дрожат, говорит он высоким голосом, крикливо и как бы откусывая

слова, курчавые волосы его лежат на голове гладко, поблескивают, как шелк, и в них немало седых. Он был преподавателем физики где-то в провинции и владельцем небольшой типографии, в которой печаталась местная газета. В конце седьмого года газету закрыли, Говорков был арестован, но вскоре освобожден с «лишением права заниматься педагогической деятельностью». Он приехал в Петербург хлопотать о восстановлении его права учить, нашел работу в Думе и хотя прекратил хлопоты, но жаловался:

— Подумайте, как это варварски бессмысленно — отнять у человека право заниматься его любимым делом, лишить его жизнь смысла!

Нервный, вспыльчивый, он, подсакивая на стуле, кричал:

— Ложь! Сазонов застрелился не потому...

— Мне нужно бы поговорить с вами, — вполголоса сказал Самгин Таисье, она посмотрела на него очень пристально и ответила:

— Хорошо. Вот послушаю, как они...

— Я деревню знаю, знаю, что говорили ваши на выборах в Думу, — оглушительно гремел Хотяинцев. — Вы соображаете, почему у вас оказалось так много попов? Ага!

Тут явились Дронов и Шемякин, оба выпивши, и, как всегда, прокричали новости: министр Кассо разгромил московский университет, есть намерение изгнать из петербургского чetyреста человек студентов, из варшавского — полтораста.

Хотяинцев, закусив длинные губы так, что подбородок высунулся вперед и серое лицо его сморщилось, точно лицо старика, выслушал новости, шумно вздохнул и сказал мрачно:

— Ты, Ванечка, радуешься, как пожарный, который давно не гасил огня... Ей-богу!

— Молчи, мордвин! — кричал Дронов. — А — италотурецкой войны — не хотите? Хо-хо-о! Все — на пользу... Итальянцы у нас больше хлеба купят...

Шемякин поставил пред Тосей большую коробку конфет и, наклонясь к лицу женщины, что-то сказал, — она отрицательно качнула головой.

— Нет, вы обратите внимание, — ревел Хотяинцев, взмахивая руками, точно утопающий. — В армии у нас командуют остзейские бароны Ренненкампы, Штакель-берги, и везде сколько угодно этих бергов, кампфов. В средней школе — чехи. Донской уголь — французы завоевали. Теперь вот бессарабец-царанин пошел на нас: Кассо, Пуришкевич, Крушеван, Крупенский и — чорт их сосчитает! А мы, русские, — чего делаем? Лапти плетем, а?

— А вы — русский? — ядовито спросил Говорков.

— Я? — Хотяинцев удивленно посмотрел на него и обратился к Дронову: — Ваня, скажи ему, что Мордвин — псевдоним мой. Деточка, — жалобно глядя на Говоркова, продолжал он. — Русский я, русский, сын сельского учителя, внук попа.

Самгин, искоса следя за Шемякиным и Таисьей, думал: «Продаст ее Дронов этому болвану».

Один за другим являлись люди, и каждый из них, как пчела взятку, приносил какую-нибудь новость: анекдот, факт, сплетню. Анекдоты отлично рассказывал только что исключенный студент Ерухимович, внук еврея-кантониста, юноша настолько волосатый, что, казалось, ему не меньше тридцати лет. В шапке черных и, должно быть, жестких волос с густосиними щеками и широкой синей полосой на месте усов, которые как бы заменялись толстыми бровями, он смотрел из-под нахмуренных бровей мрачно, тяжело вздыхал, его толстые яркокрасные [губы] смачно чмокали, и, спрятав руки за спину, не улыбаясь, звонким, но комически унылым голосом он рассказывал:

«Шли по Невскому два обывателя, и один другому сказал:

— Эх, дурак!

Подошел к ним полицейский:

— Пожалуйте в участок.

— За что?

— За оскорбление его величества.

— Да — ты, брат, с ума сошел? Это я приятеля обругал!

— Прошу не сопротивляться. Всем известно, кто у нас дурак!»

Это очень утешало людей, они охотно смеялись, просили:

— Ну, еще, Ерухимович! Еще, пожалуйста! Ах — как талантливо!

Ерухимович смотрел на всех неподвижным взглядом каменных глаз и рассказывал еще.

Самгину все анекдоты казались одинаково глупыми. Он видел, что сегодня ему не удастся побеседовать с Таисьей, и хотел уйти, но его заинтересовала речь Розы Грейман. Роза только что пришла и, должно быть, тоже принесла какую-то новость, встреченную недоверчиво. Сидя на стуле боком к его спинке, держась за нее одной рукой, а пальцем другой грозя Хотяинцеву и Говоркову, она говорила:

— Вы — как гимназисты. Вам кажется, что вы сделали революцию, получили эту смешную вашу Думу и — уже взрослые люди, уже европейцы, уже можете сжечь учебники, чтоб забыть, чему учились?

— Бей, Роза! — с натугой кричал Дронов, согнувшись, вытаскивая из бутылки пробку. — Бей, чтоб не зазнавались!

Она не требовала поощрений, ее не сильный, тонкий, но горячий голосок ввинчивался в шум, точно буравчик, и ворчливые, вполголоса, реплики Хотяинцева не заглушали его.

— Вы думаете: если вас не повесили, так вы победили? Да?

— Что вы хотите сказать? — закричал Говорков.

Шемякин взглянул на него и болезненно сморщил свое лицо, похожее на огромное румяное яблоко.

— Вы возвращаетесь к самодовольству старых народных, — говорила Роза. — Воображаете себя своеобразной страной, которая живет по своим каким-то законам.

— Ну-у, это неверно, — сказал Хотяинцев с явным сожалением.

— Неверно? Нет, верно. До пятого года — даже начиная с восьмидесятых — вы больше обращали внимания на жизнь Европы и вообще мира. Теперь вас Европа и внешняя политика правительства не интересует. А это — преступная политика, преступная по ее глупости. Что значит посылка солдат в Персию? И темные затеи на Балканах?

И усиление националистической политики против Польши, Финляндии, против евреев? Вы об этом думаете?

Самгин незаметно, ни с кем не простясь, ушел. Несносно было видеть, как любезничает Шемякин, как масляно блестят его котовы глаза и как внимательно вслушивается Таисья в его речь.

«Дронов выпросит у этого кота денег на газету и уступит ему женщину, подлец, — окончательно решил он. Не хотелось сознаться, что это решение огорчает и возмущает его сильнее, чем можно было ожидать. Он тотчас же позаботился отойти в сторону от обидной неудачи. — А эта еврейка — права. Вопросами внешней политики надобно заняться. Да».

Затем он подумал, что у Елены гораздо приятнее бы-
вать, чем у Дронова, но что вполне возможное сожительство с Еленой было бы не так удобно, как с Таисьей.

«Избалована. Жизнь с ней была бы очень шумной, хаотической. Но — она неглупа. И с ней — свободно...»

Дни, недели, месяцы текли с быстротой, которая как будто все усиливалась. Впечатление это создавалось, вероятно, потому, что здоровье Прозорова уже совершенно не позволяло ему работать, а у него была весьма обильная клиентура в провинции, и Клим Иванович часто выезжал в Новгород, Псков, Вологду. Провинция оставалась такой же, какой он наблюдал ее раньше: такие же осмотнительно либеральные адвокаты, такие же скучные клиенты, неумело услужливые лакеи в гостиницах, скучные, серые обыватели, в плену мелочей жизни, и так же, как раньше, как везде, извозчики округа петербургской судебной палаты жаловались на дороговизну овса.

Если исключить деревянный скрип и стук газеток «Союза русского народа», не заметно было, чтоб провинция, пережив события 905—7 годов, в чем-то изменилась, хотя, пожалуй, можно было отметить, что у людей еще более окрепло сознание их права обильно и разнообразно кушать.

Весной Елена повезла мужа за границу, а через семь недель Самгин получил от нее телеграмму: «Антон скончался, хороню здесь». Через несколько дней она приехала, покрасив волосы на голове еще более ярко, это совершенно не совпадало с необычным для нее простеньким

темным платьем, и Самгин подумал, что именно это раздражало ее. Но оказалось, что французское общество страхования жизни не уплатило ей деньги по полису Прозорова на ее имя.

— Чорт их знает, чего им нужно! — негодовала она. — Вот любят деньги эти милые французы. Со мной духовное завещание, хлопотал консул — не платят!

Затем, более миролюбиво, она добавила:

— То есть они — платят, но требуют скидки в 50 тысяч франков, а я хочу получить все двести.

И, уже счастливо улыбаясь:

— Да здесь получу 60 тысяч рублей. Можно жить, да?

Затем она предложила Самгину взять все дела и по старым делам Прозорова платить ей четверть гонорара.

— Много — четверть? — спросила она, внимательно глядя в его лицо. Самгин получал половину и сказал, что четверть — достаточно.

Она засмеялась.

— Я пошутила, милый мой Клим Иванович. Ничего не надо мне. Я не жадная. Антона уговорила застраховаться в мою пользу, это — да! Но уж если продавать себя, так — недешево. Верно?

— Что вы называете продаваться? — спросил он, пожимая плечами, желая показать, что ее слова возмущают его, но она, усмехаясь, обвела руками вокруг себя, встряхнула юбки и сказала:

— Вот это. Не любезничайте, милый человек, не фальшивьте, не надо! Я себе цену знаю.

Да, с ней было легко, просто. А вообще жизнь снова начала тревожить неожиданностями. В Киеве убили Столыпина. В квартире Дронова разгорелись чрезвычайно ожесточенные прения на тему — кто убил: охрана? или террористы партии эсеров? Ожесточенность спора удивила Самгина: он не слышал в ней радости, которую обычно возбуждали акты террора, и ему казалось, что все спорящие недовольны, даже огорчены казнью министра.

Это настроение определил Тагильский; поглаживая пальцами щеточку волос на подбородке, он сказал:

— Известно, что не один только Азеф был представителем эсеров в охране и представителем департамента полиции в партии. Есть слух, что стрелок — раскаяв-

шийся провокатор, а также говорят, что на допросе он заявил: жизнь — не бессмысленна, но смысл ее сводится к поглощению отбивных котлет, и ведь неважно — съем я еще тысячу котлет или перестану поглощать их, потому что завтра меня повесят. Так как Сазоновы и Каляевы ничего подобного не говорили, — я разрешаю себе оценить поступок господина Богрова как небольшую аварию механизма департамента полиции.

Его маленькая речь, сказанная спокойно и пренебрежительно, охладила настроение, а Ногайцев с радостью, в которой Самгин всегда слышал фальшивые ноты, — заявил:

— Совершенно верно!.. Это — дельце явно внутриведомственное! Развал, да. Ведь поступок Лопухина тоже, знаете, не очень... похвален!

Сказав это, он смутился и тотчас закричал:

— А вот послушайте, что узнала Мария Ивановна о Распутине.

Орехова немедленно, с точностью очевидца начала рассказывать о кутеже сибирского мужика, о его хвостовстве близостью к семье царя, о силе его влияния на царицу.

— Все это не очень похоже на государство, нормально функционирующее, не правда ли? — спросил Тагильский Самгина, подходя к нему со стаканом чаю в одной руке, с печеньем в другой.

— Да, чепуха какая-то, — ответил Самгин.

— Но — увеличиваем армию, воссоздаем флот. А молодой человек забавные стишки читает, — слышите?

Молодой человек, черноволосый, бледный, в черном костюме, с галстуком как будто из золотой парчи, нахмуря высокий лоб, напряженно возглашал:

Мы прячемся от страха жизни
В монастыри и кутежи,
В служение своей отчизне
И в утешенья книжной лжи.

— Сын, кажется, пермского губернатора, с польской четырехэтажной фамилией, или управляющего уделами. Вообще — какого-то крупного бюрократа. Дважды покушался на самоубийство. Мне и вам назначено заменить эдаких в жизни.

— Перспектива не из приятных, — осторожно сказал Самгин.

— Разве? А мне, знаете, хочется министром быть. Витте начал карьеру чем-то вроде стрелочника...

Поэт читал, полузакрыв глаза, покачиваясь на ногах, правую руку сунув в карман, левой ловя что-то в воздухе.

Нигде не находя приюта,
Мы прячемся в тумане слов...

— Дурак, — вздохнул Тагильский, отходя прочь.

Его поведение продолжало тревожить, и было в этом поведении даже нечто, обидно задевавшее самолюбие Самгина. Там, в провинции, он против воли Клим Ивановича устанавливал отношения, которые, очевидно, не хотел продолжать здесь. Почему не хотел?

«Там он исповедовался, либеральничал, а здесь довольствуется встречами у Дронова, не был у меня и не выражает желания быть. Положим, я не приглашал его. Но все-таки... — И особенно тревожило что-то недосказанное в темном деле убийства Марины. — Здесь он как будто даже избегает говорить со мной».

Новый, 912 год Самгин встретил у Блены.

Собралось не менее полусотни человек. Были актрисы, адвокаты, молодые литераторы, два офицера саперного батальона, был старичок с орденом на шее и с молодой женой, мягкой, румяной, точно оладья, преобладала молодежь, студенты, какие-то юноши мелкого роста, одетые франтовато. В трех комнатах было тесно и шумно, как в фойе театра во время антракта, но изредка, после длительных увещаний хозяйки, одетой пестро и ярко, точно фазан, после криков: «Внимание! Силенция! * Тише! Слово искусству!» — публика неохотно закрывала рты, и выступали артисты, ораторы.

Маленькая, тощенькая актриса Краснохаткина, окутанная пурпуровым шелком, из-под которого смешно выскакивали козьи ножки в красных туфельках, подняв к потолку черные глазки и щупая руками воздух, точно слепая, грустно читала:

Мы — плененные звери,
Голосим, как умеем.

* Тишина! (лат.). — Ред.

Ей благодарно рукоплескали, она охотно согласилась петь дуэт с Ерухимовичем, у него оказался приятный, гибкий баритон, и вдвоем с Краснохаткиной он безнадежно просил:

О, ночь! Поскорее укрой
Прозрачным твоим покрывалом,
Целебным забвенья фиалом
Томимую душу тоской,
Как мать дитя, успокой!

Снова хлопали ладонями, но раздалась и протестующие голоса:

— Гос-спода! Почему так много грусти?

— Правильно! — крикнул аккомпаниатор, молодой, но сильно лысоватый человек во фраке, с крупным зеленым камнем в булавке галстука и с такими же зелеными запонками.

— Долой уныние!

Старичок с орденом, держась за свою седую, остренькую бородку, внушал молодежи:

— Мы встречаем 12 год, год столетия победы нашей над Наполеоном и армиями Европы, встречаем седьмой год представительного правления — не так ли? Мы сделали замечательный шаг, и уж теперь...

— Правильно!

— Веселее, дети.

— Хор!

— Дружественные отношения наши с Францией помешают нам достойно отметить знаменательную дату, — настойчиво говорил старичок, а молодежь потолкалась и, соединясь плотной кучей, грянула:

Из страны, страны далекой...

Ерухимович, не двигая ни единой чертою каменного лица, отчетливо выводил:

Р-ради славного труда,
Р-ради вольности веселой
Собрались мы сюда...

— Довольно! — крикнул, выскочив вперед хора, рыжеватый юноша в пенсне на остром носу. — Долой безграмотные песни! Из какой далекой страны собрались мы? Мы все — русские, и мы в столице нашей русской страны.

- Пр-равильно!
- «Быстры, как волны» — аккомпаниатор!
- Просим волны!

Человек, украшенный зелеными камнями, взмахнув головой и руками, ударил по клавишам, а <Ерухимович> начал соло, и Самгин подумал, не издевается ли он над людьми, выпевая мрачные слова:

Что час, то короче
К могиле наш путь!

— Ну, знаете, — закричал кто-то из соседней комнаты, — встречать новый год такими песнями...

— «Более, чем оригинально» — как сказал царь Николай Второй, — поддержали его.

Но <Ерухимович> невозмутимо пел:

Умрешь — похоронят, как не жил на свете,
Сгниешь — не восстанешь...

— Довольно! — закричали несколько человек сразу, и особенно резко выделились голоса женщин, и снова выскочил рыжеватый, худощавый человечек, в каком-[то] странного покроя и глиняного цвета сюртучке с хлястиком на спине. Вертясь на ногах, как флюгер на шесте, обнаруживая акробатическую гибкость тела, размахивая руками, он возмущенно заговорил:

— Стыдно слушать! Три поколения молодежи пело эту глупую, бездарную песню. И — почему эта странная молодежь, принимая деятельное участие в политическом движении демократии, не создала ни одной боевой песни, кроме «Нагаечки» — песни битых?

— Bravo!

— Замечательно сказано!

— Правильно-о, — подтвердил аккомпаниатор с явной радостью.

— Bravo!

Оратору аплодировали, мешая говорить, но он кричал сквозь рыбий плеск ладоней.

Выделился голос Ерухимовича:

— Вот ты бы, Алябьев, и взял на себя роль Руже де-Лилия вместо того, чтоб в «Сатириконе» обывателя смешить...

— Довольно споров!
— Соединимы ли пессимизм и молодость?
— Да! — крикнули в ответ ему. — Большинство самоубийц — молодежь...

— Довольно!
— Давайте споем «Отречемся от старого мира».
— Попробуй, отрекись, болван, — проворчал <Ерухимович>, медные его глаза на вспотевшем лице смотрели в упор и точно отталкивая Самгина.

Нужно было сказать что-то этому человеку.

— У вас очень приятный голос, — сказал Самгин.

— А характер — неприятный, — ответил студент.

— Разве?

— Да.

«Груб и неумен», — решил Самгин, не пытаясь продолжать беседу.

«Марсельезу» не приняли, удовлетворились тем, что запели:

Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.

В комнате, где работал письмоводитель Прозорова, был устроен буфет, оттуда приходили приятно возбужденные люди, прожевывая закуску, облизывая губы, они оживленно вступали в словесный бой.

Шум возрастал, образовалось несколько очагов, из которых слова вылетали, точно искры из костра. В соседней комнате кто-то почти истерически кричал:

— Долой проповедников духовной нищеты, ограничителей свободы, изуверов рационализма!

У рояля ораторствовал известный адвокат и стихотворец, мужчина высокого роста, барской осанки, седовласый, курчавый, с лицом человека пресыщенного, утомленного жизнью.

— Деятнадцатый век — век пессимизма, никогда еще в литературе и философии не было столько пессимистов, как в этом веке. Никто не пробовал поставить вопрос: в чем коренится причина этого явления? А она — совершенно очевидна: материализм! Да, именно — он! Материальная культура не создает счастья, не создает. Дух не удовлетворяется количеством вещей, хотя бы они

были прекрасные. И вот здесь — пред учением Маркса встает неодолимая преграда.

«Ерухимович» рассказывал на украинском языке игривый анекдот о столкновении чрезмерной деликатности с излишней скромностью. Деликатностью обладал благовоспитанный человек либерального образа мысли, а скромностью Ерухимович наградила историю одной страны. История была дамой средних лет, по профессии — тетка дворянской семьи Романовых, любившая выпить, покушать, но честно вдовствовавшая. Суть отношений скромности и деликатности сводилась к бессилию одного и недостатку инициативы у другой. Кончилось тем, что явился некто третий и весьма дерзкий, изнасиловал тетку, оплодотворил и почувствовавшая себя исполнившей закон природы тетка сказала всем лишним людям:

— П-шли прочь, дураки!

Рядом с Климом Ивановичем покачивался на стуле длинный, тощий, гениально растрепанный литератор Орлов, «последний классик народничества», как он сам определил себя в анкете «Биржевых ведомостей». Глуховатым баском, поглаживая ладонью свое колено и дирижируя папиросой, он рассказывал молодой, скромно одетой и некрасивой актрисе на комические роли:

— Дураков выкармливают маком. Деревенской бабе некогда возиться с ребенком, кормить его грудью и вообще. Нажует маку, сделает из него соску, сунет ребенку в рот, он пососет и — заснул. Да. Мак — снотворное, из него делают опий, морфий. Наркотик.

— Все вы знаете, все! — вздыхая, восхищалась женщина.

— А — как же иначе? Вон они там о марксизме рассуждают, а спросите их, как баба живет? Не знают этого. Книжники. Фарисеи.

Книжники за спиною Самгина искали и находили сходство между «Многообразием религиозного опыта» Джемса и «Философией мистики» Дюпреля. У рояля сердился знаменитый адвокат:

— Позвольте-с! Англичане Шекспира выдумали, а у нас вот Леонид Андреев.

В соседней комнате кто-то очень веселый обещал:

— Подождите! Вздуют итальянцы турок, будут соседями нам в Черном море, откроют Дарданеллы...

— Потом — мы вздуем их...

— А — что вы думаете? Возможно!

К Самгину подошла Елена, спросила шепотком и улыбаясь:

— Не скучно?

— Нет.

— Это вы — искренно?

— Вполне.

Погрозив ему пальцем, она взглянула на часы.

— Пора садиться за стол.

Адвокат и стихотворец, ловко взяв ее под руку, внушительно говорил кому-то через плечо свое:

— События конца японской войны и 5—7 годов показали нам, что мы живем на вулкане, да-да, на вулкане-с!

Стол для ужина занимал всю длину столовой, продолжался в гостиной, и, кроме того, у стен стояло еще несколько столиков, каждый накрыт для четверых. Холодный огонь электрических лампочек был предусмотрительно смягчен розетками из бумаги красного и оранжевого цвета, от этого теплее блестело стекло и серебро на столе, а лица людей казались мягче, моложе. Прислуживали два старика лакея во фраках и горбоносая, похожая на цыганку горничная. Елена Прозорова, стоя на стуле, весело командовала:

— Дамы выбирают места и кавалеров.

— Несправедливо! На каждую приходится по два и даже, кажется, с лишком.

— А куда лишек?

— Найдется место.

— Под столом?

— Прислуги мало — призываю к самостоятельности, — кричала Елена, а Самгин соображал:

«Женщины — не уважают ее: певичка, любовница старика. Но она хорошо держится».

Металлический шум ножей и вилок, звон стекла как будто еще более оживил и заострил слова и фразы. Взмахивая рыжей головой, ораторствовал Алябьев:

— Представительное правление несовершенно, допустим. Но пример Германии, рост количества представителей рабочего класса в рейхстаге неопровержимо говорит нам о способности этой системы к развитию.

— Это — вне спора, — крикнул кто-то.

— Германия будет первым социалистическим государством мира.

В стеклах пенснэ Алябьева сверкали рыжие огоньки.

— Представительное правление освобождает молодежь от необходимости заниматься политикой. Политика делает Фаустов дон-Кихотами, а человек по существу своему — Фауст.

— Правильно, — сказал аккомпаниатор, сидевший против Самгина, тщательно намазывая кусок ветчины, — сказал и несколько раз одобрительно, с улыбкой на румяном лице, кивнул гладко причесанной головой.

Соседями аккомпаниатора сидели с левой руки — «последний классик» и комическая актриса, по правую — огромный толстый поэт. Самгин вспомнил, что этот тяжелый парень еще до 905 года одобрил в сонете известный, но никем до него не одобряемый, поступок Иуды из Кариота. Память механически подсказала Иудино дело Азефа и другие акты политического предательства. И так же механически подумалось, что в двадцатом веке Иуда весьма часто является героем поэзии и прозы, — героем, которого объясняют и оправдывают.

«Тор Гедбер, Леонид Андреев, Голованов, какая-то шведка, немец Драйзер», — думал он, потому что слушать споры было скучно, — думал и присматривался к людям.

Рядом с поэтом нервно подергивался, ковыряя вилкой сига и точно собираясь выскочить из-за стола, рыжий Алябьев, толкая солидную даму, туго зашитую в сиреневый шелк. Она уговаривала соседа:

— Не толкайтесь, Митя!

Чмокая губами, сосед Самгина раздумчиво говорил в ухо ему:

— В нашем поколении единомыслия больше было... Теперь люди стали... разнообразнее. Может быть, свободомысленней, а? Выпьемте английской горькой...

Пили горькую, пили еще какую-то хинную, и лысый сосед, тоже адвокат, с безразличным лицом, чернобровый, бритый, как актер, поучал:

— При диабете полезен коньяк, при расстройстве кишечника — черносмородиновая.

Ерухимович читал стихи, голос его звучал комически уныло, и когда он произнес со вздохом:

Велико, ваше величество,
Вашей глупости количество!

половина стола отрадно захохотала.

«Не много нужно им», — соображал Самгин.

— Тише! — крикнул кто-то.

Часы над камином начали не торопясь и уныло похоронный звон истекшему году. Все встали, стараясь не очень шуметь. И, пока звучали двенадцать однообразных нот пружины, Самгин подумал, упрекая себя:

«Прошел еще год бесследно...»

Закричали ура, зазвенели бокалы, и люди, как будто действительно пережив тяжелую минуту, оживленно поздравляли друг друга с новым годом, кричали:

— Речь! Господа — просим Платона Александровича... Речь!

Известный адвокат долго не соглашался порадовать людей своим талантом оратора, но, наконец, встал, поправил левой рукой полуседые вихры, утвердил руку на жилете, против сердца, и, высоко подняв правую, с бокалом в ней, начал фразой на латинском языке, — она потонула в шуме, еще не прекращенном.

— ...сказал Марк Аврелий. То же самое, но другими словами говорил Сенека, и оба они повторяли Зенона...

— Так ты бы с Зенона и начал, — пробормотал <Ерухимович>.

Глаза Платона Александровича, большие, красивые, точно у женщины, замечательно красноречивы, он владел ими так же легко и ловко, как языком. Когда он молчал, глаза придавали холеному лицу его выражение разочарованности, а глядя на женщин, широко раскрывались и как бы просили о помощи человеку, чья душа устала, истерзана тайными страданиями. Он пользовался славой покорителя женщин, разрушителя семей-

ного счастья, и, когда говорил о женщинах, лицо его сумрачно хмурилось, синеватые зрачки темнели и во взгляде являлось нечто роковое. Теперь, говоря [о] философах-моралистах, он прищурился и зажег в глазах надменную улыбочку, очень выгодно освещая ею покрасневшее лицо.

— Я прошу простить мне этот экскурс в область философии древнего мира. Я сделал это, чтоб напомнить о влиянии стоиков на организацию христианской морали.

Маленькая лекция по философии угрожала разрастись в солидную, Самгину стало скучно слушать и несколько неприятно следить за игрой лица оратора. Он обратил внимание свое на женщин, их было десятка полтора, и все они как бы застыли, очарованные голосом и многозначительной улыбочкой красноречивого Платона.

Все, кроме Елены. Буйно причесанные рыжие волосы, бойкие, острые глаза, яркий наряд выделял Елену, как чужую птицу, случайно залетевшую на обыкновенный птичий двор. Неслышно пощелкивая пальцами, улыбаясь и подмигивая, она шопотом рассказывала что-то бородатому толстому человеку, а он, слушая, вздувался от усилий сдерживать смех, лицо его туго налилось кровью, и рот свой, спрятанный в бороде, он прикрывал салфеткой. Почти голый череп его блестел так, как будто смех пробивался сквозь кожу.

«Не считается с модой. И — с людьми», — одобрительно подумал Самгин.

— И вот, наконец, мы видим, что эти вековые попытки ограничить свободу роста души привели нас к социализму и угрожают нам страшной властью равенства. Господа! Мы все здесь — благодарение богу! — неравны. Я уверен, что никто из вас не желает повторить меня, так же как я не хочу повторять кого-либо из вас, хотя бы этот некто был гениален. Мы все разнообразны, как цветы, металлы, минералы, как все в природе, и каждый из нас скромен в своем своеобразии, каждому дорога его неповторимая индивидуальность. Мой новогодний тост за разнообразие индивидуальностей, за свободу развития духа.

— Аминь, — густо сказал Ерухимович, но ироническое восклицание его было погашено, хотя и не очень дружным, но громким — ура. Адвокат, выпив вина,

вызывающе поглядывал на Ерухимовича, но тот, подливая в бокал шампанского красное вино, был всецело занят этим делом. Вскочил Алябьев и быстро, звонко начал:

— Я приветствую прекрасную речь многоуважаемого учителя и коллеги, но, приветствуя, должен...

Осталось неизвестным, что именно и кому он должен, ибо все уже охмелели и всем хотелось говорить.

— Комиссаржевскую перехвалили...

— Боже мой! Вы говорите что-то ужасное... Ее — не поняли и — я вижу — всё еще не понимают...

— Жорес уверен, что немецкие рабочие не позволят воевать...

— А — рабочие уверены в этом?

— Комиссаржевская — актриса для романтической драмы и погибла, не досказав себя, оттого что принуждена была тратить свой талант на реалистические пьесы. Наше искусство губит реализм.

— Ах, это верно! Это несчастье страны...

Ерухимович, пронзая воздух вилкой, говорил, мрачно нахмурясь:

— В макрокосме — кометы, в микрокосме — бактерии, микробы, — как жить нам, людям? А? Я спрашиваю: как жить?

— Это — балагурство! — закричал ему Алябьев, а Ерухимович спросил, оглядываясь вокруг:

— Разве?

Вмешался старичок с орденом, почти крикнув командующим тоном:

— Это — верно, верно! Болезни растут, да, да! У нас в министерстве финансов — за истекший год умерло..

Его дама напомнила:

— Но ведь все старики...

И тотчас поправилась:

— Гораздо старше тебя.

Какой-то белобрысый молодой человек застонал, точно раненый заяц:

— Боже мой! До чего мы бедны идеями... Где у нас орлы?

И кто-то, высунув голову из-за портьеры, обиженно возразил:

— А — Мережковский? Лев Шестов? Василий Васильевич Розанов?

— Н-да, — медленно, как сквозь дремоту, бормотал сосед Самгина. — Личность. Двигатель истории.

— У англичан Шекспир, Байрон, Шелли, наконец — Киплинг, а у нас — Леонид Андреев и апология босяков, — внушал известный адвокат.

— Но — это от Достоевского, от его «униженных и оскорбленных»...

— Наши литераторы не любят свою родину, ненавидят Россию...

Постепенно сквозь шум пробивался и преодолевал его плачущий, визгливый голос, он притекал с конца стола, от человека, который, покачиваясь, стоял рядом с хозяйкой, — тощий человек во фраке, с лысой головой в форме яйца, носатый, с острой серой бородкой, — и, потрясая рукой над ее крашеными волосами, размахивая салфеткой в другой руке, он кричал:

— Стыд и срам пред Европой! Какой-то проходимец, босяк, жулик Распутин хвастает письмом царицы к нему, а в письме она пишет, что ей хорошо только тогда, когда она приклонится к его плечу. Царица России, а? Этот шарлатан называет семью царя — мои, а?

— О Распутине существуют разные мнения...

— Не одни русские цари приближали к себе шутов, чудаков, блаженных...

— Нет, подождите! За ним ухаживают придворные, его слушаются министры, — а?

Кричал он так раздраженно и плачевно, как будто Распутин обидел лично его, занял его место. На него уже шипели, кто-то крикнул:

— К чорту Распутина...

Но он все взвизгивал, выл. Самгин почувствовал, что его плеча коснулась чья-то рука. Это — Елена.

— Милый Клим Иванович, скажите что-нибудь. Вас мало знают и будут слушать. Нужно прекратить этот кавардак. Уберут столы, потанцуем... Да? Пожалуйста!

Самгин, незаметно для себя, выпил больше, чем всегда позволял себе. У него приятно шумело в голове, и еще более приятно было сознавать, что никто из этих людей не сказал больше, чем мог бы сказать он, никто не сказал

ничего, что не было бы знакомо ему, продумано им. Он — богаче. Он — сильнее. И не требуется особенной храбрости, чтоб выступить пред ними. Над столом колебалось сизое облако табачного дыма, в дыму плавали разнообразные физиономии, светились мутноватые глаза, и все вокруг было туманно, мягко, подобно сновидению. Он встал, позвенел вилок о бокал и, не ожидая, когда люди несколько успокоятся, начал говорить, как говорил на суде, сухо, деловито.

— Господа! Из всего, что было сказано здесь, самое значительное — это слова о Фаусте и дон-Кихоте. Тема — издавна знакомая нам, тема Тургенева. Но здесь ее поставили иначе, так, как давно следовало поставить. Да, нас воспитывают дон-Кихотами. Начиная с детства, в семье, в школе, в литературе нам внушают неизбежность жертвенного служения обществу, народу, государству, идеям права, справедливости. Единственная перспектива, которую вполне четко и ясно указывают нам, — это перспектива библейского юноши Исаака — жертва богам отцов, жертва их традициям...

Чувствуя, что шум становится все тише, Клим Иванович Самгин воодушевился и понизил голос, ибо он знал, что на высоких нотах слабоватый голос его звучит слишком сухо и трескуче. Сквозь пелену дыма он видел глаза, неподвижно остановившиеся на нем, измеряющие его. Он ощутил прилив смелости и первый раз за всю жизнь понял, как приятна смелость.

— Вы знаете, что Исаак был заменен бараном. В наши дни баранов не приносят в жертву богу, с них стригут шерсть или шьют из овчины полушубки. Но к старым идолам добавлен новый — рабочий класс, и вера в неизбежность человеческих жертвоприношений продолжает существовать. Я не ставлю и не решаю вопроса: осуществим ли социализм посредством диктатуры пролетариата, как учит Ленин. Этот вопрос вне моей компетенции, ибо я не дон-Кихот, но, разумеется, мне очень понятна мысль, чувство уважаемого и талантливейшего Платона Александровича, чувство, высказанное в словах о страшной власти равенства. Я говорю о том, что наш разум, орган пирронизма, орган Фауста, критически исследующего мир, — насильственно превращали в орган веры. Но

вера, извлеченная из логики, лишенная опоры в чувстве, ведет к расколу в человеке, внутреннему раздвоению его. Именно отсюда, из этого раскола возникают качества, характерные для русской интеллигенции: шаткость, непрочность ее принципов, обилие разноречий, быстрая смена верований.

Клим Иванович Самгин был убежден, что говорит нечто очень оригинальное и глубоко свое, выдуманное, выношенное его цепким разумом за все время сознательной жизни. Ему казалось, что он излагает результат «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» красиво, с блеском. Увлекаясь своей смелостью, он терял привычную ему осторожность высказываний и в то же время испытывал наслаждение мести кому-то.

— Из этой шаткости основного критерия мы получаем такие факты, как смену марксизма Петра Струве его неославянофильским патриотизмом, смену его «Критических заметок» сборником «Вехи», разложение партии социал-демократов на две враждебные фракции, провокатора в центральном комитете партии террористов и вообще обилие политических провокаторов, обилие фактов предательства...

Он не мог продолжать речь свою, публика устала слушать, и уже все чаще раздавались хмельные восклицания:

— Ваш дон-Кихот и Фауст — бог и дьявол Достоевского...

— Правильно.

— В семидесятых годах признавали действующей силой истории — личность...

— А когда полсотни личностей было повешено...

— Вы говорите пошлости!

— Почему — пошлость?

— Через двадцать лет начали проповедовать, что спасение — в безличной воле масс...

— Правильно!

— Позвольте: что — правильно?

— Господа! Скажем спасибо оратору...

Десятка полтора мужчин и женщин во главе с хозяйкой дружно аплодировали Самгину, он кланялся, и ему казалось: он стал такой легкий, что рукоплескания,

поднимая его на воздух, покачивают. Известный адвокат крепко жал его руку, ласково говорил:

— Я — восхищен. Такие зрелые мысли...

Носатый человек во фраке почти истерически кричал на аккомпаниатора:

— Вы пятьдесят раз провозглашали правильно, а — что?

Последнее, что Самгин помнил ясно: к нему подошла пьяненькая Елена и, взяв его под руку, сказала:

— Я в политике ни черта не смыслю, но вы, милый мой, превосходно отделали их... А этот Платон — вы ему не верьте. Он — дурак, но хитрый. И — сластоежка. Идемте, сейчас я буду развлекать публику.

Она стояла около рояля, аккомпаниатор играл что-то зазорное, а она, еще более зазорно, пела, сопровождая слова весьма рискованными жестами, подмигивая, изгибаясь, точно кошка, вскидывая маленькие ноги из-под ярких юбок.

Да, пожить умела я!
Где ты, юность знойная?
Ручка моя белая?
Ножка моя стройная?

— Бр-раво-о! — кричала публика, заглушая звонкий, развеселый голосок.

Пиф-паф! Раздался
Ритурнель кадрили.
Пиф-паф! Вдруг меня
Всю воспламенили!

— Божественно-о! — рыдающим голосом крикнул кто-то.

Пиф-паф! Жизнь моя!
Пиф-паф! Знаю я
Кой-кого немного,
Да, немножко знаю я!

Старичок с орденом масляно хихикал и бормотал:

— Неувядаема! Ах, боже мой...

Франтику с картинки
Любо будет мне
Кончиком ботинки
С носа сбить пенсне, —

и нога ее взлетела в уровень плеча.

Под впечатлением этой специфически волнующей песенки Самгин шел домой и, проснувшись после полудня, тотчас же вспомнил ее.

Через день, в кабинете Прозорова, где принимал клиентов и работал Самгин, Елена, полулежа с папиросой в руке на кожаном диване, рассказывала ему:

— А вы здорово клюкнули [на] встрече. Вы — очень... свежий. И — храбрый.

Он подошел к ней, присел на диван, сказал как мог ласково:

— Очень хорошо спели вы Беранже!

— Да? Приятно, что вам понравилось.

Легла удобнее и сказала, подмигнув, щелкая пальцами:

— Это у меня — вроде молитвы. Как это по-латински? Кредо квиа абсурдум*, да? Антон терпеть не мог эту песню. Он был моралист, бедняга...

Затем произошло нечто, о чем, за несколько минут пред этим, Самгин не думал и чего не желал. Полежав некоторое время молча, с закрытыми глазами, женщина вздохнула и проговорила вполголоса, чуть-чуть приоткрыв глаза:

— Давайте отнесемся к факту просто. Он ни к чему не обязывает нас, ничем не стесняет, да? Захочется — повторим, не захочется — забудем? Идет?

— Прекрасно, — торопливо сказал Самгин.

— Поцелуйте, — приказала она.

Ее лаконизм очень понравился Климу Ивановичу и очень приподнял эту женщину в его глазах.

«Да, это не Алина. Просто, без тени фальши. Без истерики...»

Сознание, что союз с нею не может быть прочен, даже несколько огорчило его, вызвало досадное чувство, но эти чувства быстро исчезли, а тяготение к спокойной, крепкой Таисье не только не исчезло, но как будто стало сильнее. Но объясниться с Таисьей не удавалось, она стала почему-то молчаливее, нелюдимей. Самгин замечал, что она уже не смотрит на него спрашивающим взглядом и как будто избегает оставаться с ним вдвоем. Он был

* Верю, потому что это нелепо (*искаж. лат.*). — Ред.

уверен, что она решает вопрос о переезде от Ивана Дронова к нему, Климу Самгину, и уже не очень торопился услышать ее решительное слово. Уверен был и в том, что слово сказано будет именно то, какого он ждет.

«Честная женщина», — думал он.

Он не замечал ничего, что могло бы изменить простое и ясное представление о Таисье: женщина чем-то обязана Дронову, благодарно служит ему, и ей неловко, трудно переменить хозяина, хотя она видит все его пороки и понимает, что жизнь с ним не обеспечивает ее будущего.

«Последние годы жизни Анфимьевны Варвара относилась к ней очень плохо, но Анфимьевна все-таки не ушла на другое место», — напомнил он себе и подумал, что Таисья могла бы научиться печатать на машинке Ремингтона.

Его беспокоил Шемякин, но он был совершенно уверен, что Дронов не помешает ему, и его нисколько не смущал интерес Таисьи к политике.

— Это — от скуки. По доброте сердца. И это уже несвоевременно.

Тем более поразил его Дронов, когда он явился к нему поздно вечером полупьяный и, ошеломленно мотая головой, пробормотал хриплым голосом:

— Тоська ушла. Понимаешь?

Самгин вздрогнул, почувствовав ожог злости. Он сидел за столом, читая запутанное дело о взыскании Готлибом Кунстлер с Федора Петлина 15 000 рублей неустойки по договору, завтра нужно было выступать в суде, и в случае выигрыша дело это принесло бы солидный гонорар. Сердито и уверенно он спросил, взглянув на Ивана через очки:

— К Шемякину, да?

Дронов поставил перед собой кресло и, держась одной рукой за его спинку, другой молча бросил на стол измятый конверт, — Самгин защемил конверт концами ножиц, безглаголиво взял его. Конверт был влажный.

— На улице сыро?

— Дождь, черт его... Дождь, — бормотал Дронов, все качая головой и жмурясь.

«Иван, я уйду от тебя, — читал Самгин написанное крупными буквами, чем-то похожими на цифры. — Мне

надоели твои знакомые и вся эта болтовня и суета. Не понимаю, зачем это нужно тебе и вообще — зачем? Жулики, бездельники, и все больше их. Ты знаешь, что я относилась к тебе хорошо, очень дружелюбно и открыто, но вижу, что стала не нужна тебе и ты нисколько не уважаешь меня. Ты видишь, как Шемякин ухаживает за мной, а он — негодяй, и мне очень обидно, конечно, что тебе все равно, как негодяй обращается со мной. Конечно, я сама могла бы дать ему по роже, но я не знаю твоих дел с ним, и я вообще не хочу вмешиваться в твои дела, но они мне не нравятся. И ты все больше пьешь. Ты хороший, я знаю, что в корне — хороший, но мне стыдно, что я должна кормить, поить твоих гостей и в этом все для меня. Я думаю, что, может быть, гожусь для чего-то другого, я хочу жить серьезно. Прощай, Иван. Не сердись. Таисья».

Самгин прочитал письмо, швырнул его прочь и несколько секунд презрительно разглядывал Дронова. Иван тоже казался отсыревшим, обмякшим, он все держался за спинку кресла и посапывал носом, мигая, вздыхая.

«Дурак. Кажется, плакать готов», — подумал Самгин, а вслух сказал тоном судьи:

— Она — права. Ты устроил у себя какой-то трактир, вокзал. Клуб бездарнейших болтунов. Тебе кажется, что это — политический салон. Она — права...

— Кто не сволочь? — вдруг, не своим голосом, спросил Дронов, приподняв кресло и стукнув ножками его в пол. — Сначала ей нравилось это. Приходят разные люди, обо всем говорят...

— Ничего не понимая, — вставил Самгин.

— Это, брат, ты врешь, — возразил Иван, как будто трезвея. — Ошибаешься, — поправил он. — Все понимают, что им надо понять. Тараканы, мыши... мухи понимают, собаки, коровы. Люди — всё понимают. Дай мне выпить чего-нибудь, — попросил он, но, видя, что хозяин не спешит удовлетворить его просьбу, — не повторил ее, продолжая:

— Тоська все понимала.

— Очень хорошая женщина для тебя, — мстительно сказал Самгин Клим Иванович.

— Это я знаю, — согласился Дронов, потирая лоб. — Она, брат... Да. Она вместо матери была для меня.

Смешно? Нет, не смешно. Была, — пробормотал он и заговорил еще трезвей: — Очень уважала тебя и ждала, что ты... что-то скажешь, объяснишь. Потом узнала, что ты, под Новый год, сказал какую-то речь...

Дронов замолчал, ощупывая грудь, так, как будто убеждался в целостности боковых карманов.

— Ну, я — что же? — негромко спросил Самгин.

— Что?

— Речь?

— Ах, да! Огорчилась. Все спрашивала про тебя: разве он не большевик?

— А ты изобразил ей мея большевиком?

Дронов кивнул головой, вынул из кармана какую-то книжку.

— Речь передали ей, конечно, в искаженном виде, — заметил Самгин.

— Не знаю.

Дронов хлопнул книжкой по своей ладони и снова:

— Вот — сорок две тысячи в банке имею. Семнадцать выиграл в карты, девять — спекулировал кожей на ремни в армию, четырнадцать накопил по мелочам. Шемякин обещал двадцать пять. Мало, но все-таки... Семидубов дает. Газета — будет. Душу продам дьяволу, а газета будет! Ерухимович — фельетонист. Он всех Дорошевичей в гроб уложит. Человек густого яда. Газета — будет, Самгин. А вот Тоська... эх, чорт... Пойдем, поужинаем где-нибудь, а?

Ужинать Самгин отказался, но — спросил, не без надежды:

— Может быть, она вернется?

— Н-нет, не жду. Я ведь знаю, куда она... Это — Роза направила ее, — бормотал Дронов, засовывая книжку в карман.

Он ушел, оставив Самгина неспособным заниматься делом Кунстлера и Петлина. Закурив папиросу, сердито барабанил пальцами по толстому «Делу», Клим Иванович закрыл глаза, чтобы лучше видеть стройную фигуру Таисьи, ее высокую грудь, ее спокойные, уверенные движения и хотя мало подвижное, но красивое лицо, внимательные, вопрошающие глаза. Вспомнил, как, положив

руку на грудь ее, он был обескуражен ее спокойным и смешным вопросом: «Что вас там интересует?» Вспомнил, как в другой раз она сама неожиданно взяла его руку и, посмотрев на ладонь, сказала:

— Долго будете жить, линия жизни длинная.

«Менее интересна, но почти так же красива, как Марина. Еврейка, наверное, пристроит ее к большевикам, а от них обеспечен путь только в тюрьму и ссылку. Кажется, Евгений Рихтер сказал, что если красивая женщина неглупа, она не позволяет себе верить в социализм. Таисья — глупа».

Но это соображение не утешило.

«Все-таки я тоже дон-Кихот, мечтатель, склонен выдумывать жизнь. А она — не терпит выдумок, — не терпит», — убеждал он себя, продолжая думать о том, как спокойно и уютно можно бы устроить жизнь с Тосей.

Воображение Клима Ивановича Самгина было небогато, но, зная этот недостаток, он относил его к числу своих достоинств. После своего выступления под Новый год он признал себя обязанным читать социалистическую прессу и хотя с натугой, но более или менее аккуратно просматривал газеты: «Наша заря», «Дело жизни», «Звезда», «Правда». Две первые раздражали его тяжелым, неуклюжим языком и мелочной, схоластической полемикой с двумя вторыми, Самгину казалось, что эти газетки бессильны, не могут влиять на читателя так, как должны бы, форма их статей компрометирует идейную сущность полемики, дробит и распыляет материал, пафос гнева заменен в них мелкой, личной злобой против бывших единомышленников. Вообще это газетки группы интеллигентов, которые, хотя и понимают, что страна безграмотных мужиков нуждается в реформах, а не в революции, возможной только как «бунт, безжалостный и беспощадный», каким были все «политические движения русского народа», изображенные Даниилом Мордовцевым и другими народолюбцами, книги которых он читал в юности, но, понимая, не умеют говорить об этом просто, ясно, убедительно.

Клим Иванович Самгин был убежден, что все, что печатается в этих скучных газетках, он мог бы сказать внушительнее, ярче и острей.

Газеты большевиков раздражали его еще более сильно, раздражали и враждебно тревожили. В этих газетах он чувствовал явное намерение поссорить его с самим собою, (убедить его в) неправильности всех его оценок, всех навыков мысли. Они действовали иронией, насмешкой, возмущали грубостью языка, прямолинейностью мысли. Их материал освещался социальной философией, и это была «система фраз», которую он не в силах был оспорить.

Клим Иванович был мастер мелких мыслей, но все же он умел думать и понимал, что против этой «системы фраз» можно было поставить только одно свое:

«Не хочу!»

Каждый раз, когда он думал о большевиках, — большевизм олицетворялся пред ним в лице коренастого, спокойного Степана Кутузова. За границей существовал основоположник этого учения, но Самгин все еще продолжал называть учение это фантастической системой фраз, а Владимира Ленина мог представить себе только как интеллигента, книжника, озлобленного лишением права жить на родине, и скорее голосом, чем реальным человеком.

«Вероятно, что-то истерическое, вроде Гаршина или Глеба Успенского. Дон-Кихот, конечно».

Кутузов был величиной реальной, давно знакомой. Он где-то близко и действует как организатор. С каждой встречей он вызывает впечатление человека, который становится все более уверенным в своем значении, в своем праве учить, действовать.

Последняя встреча весьма усилила это впечатление.

Дня через два после выступления у Елены она, благоклонно улыбаясь, сказала:

— Вы знаете, Клим Иванович, ваша речь имела большой успех. Я в политике понимаю, наверно, не больше индюшки, о дон-Кихоте — знаю по смешным картинкам в толстой книге, Фауст для меня — глуповатый человек из оперы, но мне тоже понравилось, как вы говорили.

Она усмехнулась, подумала и определила:

— Точно мужичок, поживший в городе, (учил) деревенских, как надобно думать. Это вам не обидно?

— Напротив: весьма лестно, — откликнулся Самгин.

— У нас, на даче, был такой мужичок, он смешно говорил: «В городе все играют и каждый человек приспособлен к своей музыке».

Затем она сообщила:

— Вас приглашает Лаптев-Покатилов, — знаете, кто это? Он — дурачок, но очень интересный! Дворянин, домовладелец, богат, кажется, был здесь городским головой. Любит шансонеток, особенно — французских, всех знал: Отеро, Фужер, Иветт Гильбер, — всех знаменитых. У него интересный дом, потолок столовой вроде корыта и расписан узорами, он называет это «стиль бойяр». Целая комната фарфора, есть замечательно милые вещи.

— А зачем я нужен ему? — спросил Самгин, усмехаясь; женщина ответила:

— Ему нравятся оригинальные люди. Идемте? Я тоже приглашена, по старой памяти, — добавила она, подмигнув.

И вот Клим Иванович Самгин в большой комнате, под потолком в форме удлинённого купола, пестро расписаным старинным русским орнаментом.

В углу комнаты — за столом — сидят двое: известный профессор с фамилией, похожей на греческую, — лекции его Самгин слушал, но трудную фамилию вспомнить не мог; рядом с ним длинный, сухолицый человек с баками, похожий на англичанина, из тех, какими изображают англичан карикатуристы. Держась одной рукой за стол, а другой за пуговицу пиджака, стоит небольшой растрепанный человечек и, покашливая, жидким голосом говорит:

— Итак, мы видим...

Лицо у него серое, измятое, как бы испуганное, и говорит он, точно жалуюсь на кого-то.

Самгин знал, что промышленники, особенно москвичи, резко критикуют дворянскую политику Думы, что у Коновалова, у Рябушинских организованы беседы по вопросам экономики и внешней политики, выступали с докладами Петр Струве и какой-то безымянный, но крупный меньшевик. В этой комнате не заметно людей, похожих на купцов, на фабрикантов. Здесь собрались интеллигенты и немало фигур, знакомых лично или по иллюстрациям: профессора, не из крупных, литераторы, пощипывает

бородку Леонид Андреев, с его красивым бледным лицом, в тяжелой шапке черных волос, унылый «последний классик народничества», редактор журнала «Современный мир», Ногайцев, Орехова, «Ерухимович», Тагильский, Хотяинцев, Алябьев, какие-то шикарно одетые дамы, оригинально причесанные, у одной волосы лежали на ушах и на щеках так, что лицо казалось уродливо узеньким и острым. Все они среднего возраста, за тридцать, а одна старушка в очках, седая, с капризно надутыми губами и с записной книжкой в руке, — она действует книжкой, как веером, обмахивая темное маленькое личико. Елена исчезла куда-то.

В конце комнаты у стены — тесная группа людей, которые похожи на фабричных рабочих, преобладают солидные, бородатые, один — высокий, широкоплеч, почти юноша, даже усов не заметно на скуластом, подвижном лице, другой — по плечо ему, кудрявый, рыженький.

— В стране быстро развивается промышленность. Крупная буржуазия организует свою прессу: «Слово» — здесь, «Утро России» — в Москве. Москвичи, во главе с министром финансов, требуют изменения торговых договоров с иностранными государствами, прежде всего — с Германией, — жаловался испуганный человек и покашливал все сильнее.

Слушали его очень внимательно. Комната, где дышало не менее полусотни человек, наполнялась теплой духотой. Самгин невольно согнулся, наклонил голову, когда в тишине прозвучал знакомый голос Кутузова:

— Прибавьте к этому, что Дума поддерживает мероприятия правительства по увеличению флота и армии.

Затем Кутузов выдвинулся из группы рабочих и сказал:

— Так как почтенный оратор говорит не торопясь, но имеет, видимо, большой запас фактов, а факты эти всем известны, я же располагаю только пятью минутами и должен уйти отсюда, — так я прошу разрешить мне высказаться.

Самгин через плечо свое присмотрелся к нему, увидал, что Кутузов одет в шведскую кожаную тужурку, похож на железнодорожного рабочего и снова отрастил обширную бороду и стал как будто более узок в плечах, но

выше ростом. Но лицо нисколько не изменилось, все так же широко открыты серые глаза и в них знакомая усмешка.

«Все такой же. Удивительно, что сыщики не могут поймать его».

Затем отметил, что внешне, по костюму, Кутузов не выделяется из группы людей, окружающих его.

Кутузов курил, борода его дымилась, слова звучали внятно, четко.

— Есть факты другого порядка и не менее интересные, — говорил он, получив разрешение. — Какое участие принимало правительство в организации балканского союза? Какое отношение имеет к балканской войне, затеянной тотчас же после итало-турецкой и, должно быть, ставящей целью своей окончательный разгром Турции? Не хочет ли буржуазия угостить нас новой войной? С кем? И — зачем? Вот факты и вопросы, о которых следовало бы подумать интеллигенции.

Самгин сидел около почти незаметной двери, окрашенной, расписанной так же, как стена, потолок, — дверь была прикрыта неплотно, за нею кто-то ворковал:

— «Друг мой, говорю я ему, эти вещи нужно понимать до конца или не следует понимать, живи полужакрытыми глазами». — «Но — позволь, возражает он, я же премьер-министр!» — «Тогда — совсем закрой глаза!»

— Ой, это хорошо! — вскричала Елена.

Веселая беседа за дверью мешала Самгину слушать Кутузова, но он все-таки ловил куски его речи.

— Одно из основных качеств русской интеллигенции — сна всегда опаздывает думать. После того, как рабочие Франции в тридцатых и семидесятых годах показали силу классового пролетарского самосознания, у нас все еще говорили и писали о том, как здоров труд крестьянина и как притупляет рост разума фабричный труд, — говорил Кутузов, а за дверью весело звучал голос Елены:

— Я его видела у одной подруги моей без штанов...

— Очевидно, он уже тогда готовился предстать пред лицо Юпитера Романова.

— Совсем недавно наши легальные марксисты и за ними — меньшевики оценили, как поучителен для них пример французских адвокатов, соблазнительный пример Брианов, Мильеранов, Вивиани и прочих родных по духу

молодчиков из мелкой буржуазии, которые, погрозив крупной социализмом, предают пролетариат и становятся оруженосцами капиталистов...

Самгин подумал: не следовало бы человеку с бородой говорить в таком тоне.

— Клевета! — крикнул кто-то, вслед за ним два-три голоса повторили это слово, несколько человек, вскочив на ноги, закричали, размахивая руками в сторону Кутузова.

— Вы не смеете...

— Ложь!

— А — «Вехи»? «Вехи»?

— Ага!

— А определение демократии как «грядущего хама»?

— Как гуннов, от которых «хранители мысли и веры» должны бежать, прятаться в пещеры и катакомбы.

— В России нет катакомб!

— Неправда! Киевская лавра — катакомбы...

— В Одессе тоже катакомбы есть.

— Среди русской интеллигенции нет предателей.

— Сколько угодно!

— Начните со Льва Тихомирова...

— Героическая жизнь интеллигенции засвидетельствована историей...

— Позвольте! Он говорил не о всей интеллигенции в целом...

Кутузов смеялся, борода его тряслась, он тоже выкрикивал:

— Позвольте, я не кончил...

— И не надо.

— Знаем вас, ряженных!

Из маленькой двери вышла Елена, спрашивая:

— Что случилось?

За нею, подпрыгивая, точно резиновый мяч, выкатился кругленький человечек с румяным лицом и веселыми глазами счастливого.

Кутузов махнул рукой и пошел к дверям под аркой в толстой стене, за ним двинулось еще несколько человек, а крики возрастали, становясь горячее, обиженней, и все чаще, настойчивее пробивался сквозь шум знакомо звонкий голосок Тагильского.

Самгин тоже чувствовал себя задетым и даже угнетенным речью Кутузова. Особенно угнетало сознание, что он не решился бы спорить с Кутузовым. Этот человек едва ли поймет непримиримость Фауста с дон-Кихотом.

— Большевик. Большевики — не демократы, нет!

Елена, прищурив глаза, посмотрела на потолок, на людей и спросила:

— Похоже на пирог с грибами — правда?

Самгин, молча улыбаясь женщине, прислушивался к раздражающему голосу Тагильского:

— Оценки всех явлений жизни исходят от интеллигенции, и высокая оценка ее собственной роли, ее общественных заслуг принадлежит ей же. Но мы, интеллигенты, знаем, что человек стесняется плохо говорить о самом себе.

Вспыхнули сердитые восклицания:

— Неправда!

— Толстовщина!

— Демагогия какая-то!

Но голос Тагильского трудно было заглушить, он вливался в шум, как свист.

— Пожалуйста, не беспокойтесь! Я не намерен умалять чьих-либо заслуг, а собственных еще не имею. Я хочу сказать только то, что скажу: в первом поколении интеллигент являет собой нечто весьма неопределенное, текучее, неустойчивое в сравнении с мужиком, рабочим...

— Какое оригинальное открытие!

— Не тратьте иронию зря, у нас ее мало, — продолжал Тагильский, заставляя слушать его. — Я знаю: у нас — как во Франции — есть достаточное количество потомственных интеллигентов. Их деды — попы, мелкие торговцы, трактирщики, подрядчики, вообще — городское мещанство, но их отцы ходили в народ, судились по делу 193-х, сотнями сидели в тюрьмах, ссылались в Сибирь, их детей мы можем отметить среди эсеров, меньшевиков, но, разумеется, гораздо больше среди интеллигенции служилой, то есть так или иначе укрепляющей структуру государства, все еще самодержавного, которое в будущем году намерено праздновать трехсотлетие своего бытия.

— Короче! — приказал кто-то, а Тагильский спросил:

— Это приказание относится ко мне или к самодержавию?

Человека три засмеялось.

Кругленький Лаптев-Покатилов, стоя за спиной Елены и покуривая очень душистую папиросу, вынул <из> зубов янтарный мундштук и, наклонясь к плечу женщины, вполголоса сказал:

— Странно будет, если меня завтра не вызовут в жан-дармское управление.

— А вы не балуйте, папашка, — ответила Елена. — Я и подумать не могла, что у вас сегодня эдакое.

Тагильский, не видимый Самгину, продолжал:

— Бородатый человек, которому здесь не дали говорить, — новый тип русского интеллигента...

— Были, были у нас такие!

— Не встречал. Большевизм имеет свои оригинальные черты.

— Какие? Интересно знать.

— Читайте «Правду», — посоветовал Тагильский.

Тут сразу заговорили десятка два людей, Самгин выделил истерическое восклицание Алябьева:

— Совет неведьды! В тот век, когда Бергсон начинает новую эру в истории философии...

— Митя сердится, — сказала Елена, усмехаясь, Лаптеву. Он тоже усмехнулся:

— Митя чувствует демос личным своим врагом. Мы, старые дворяне, гораздо более терпимы, чем современная молодежь...

Где-то близко жаловался Ногайцев:

— Что же это? Не хватает своего ума — немецко-еврейским жить решили? Боже мой...

Старушка в очках, грозно потрясая записной книжкой, кричала Тагильскому мужским, басовитым голосом:

— Этот ваш приятель, нарядившийся рабочим, пытается изобразить несуществующее, фантазию авантюристов. Я утверждаю: учение о классах — ложь, классов — нет, есть только люди, развращенные материализмом и атеизмом, наукой дьявола, тщеславием, честолюбием.

— Вот! Верно, — выкрикивал Ногайцев. — Старики Лафарги, дочь Маркса и зять его, кончили самоубийством — вот он, материализм!

Все-таки сквозь шум голосов просверливался, просачивался тонкий голосок Тагильского:

— Мой вопрос — вопрос интеллигентам вчерашнего дня: страна — в опасном положении. Массовое убийство рабочих на Ленских промыслах вновь вызвало волну политических стачек...

— Это — экономические стачки.

— Нет. В экономических участвовало не больше полтора тысяч, в политических свыше полумиллиона...

Тагильский угрожал войной с Германией, ему возражали: в рейхстаге большинство социалисты, председатель Шейдеман, — они не позволяют буржуазии воевать.

— А если начнут французы?

— Вспомните манифестацию рабочих Берлина по поводу Агадира...

— Французы — не начнут!

— Сорок лет готовятся, а — не начнут? Шутите!

— К порядку, господа! Призываю к порядку, — кричал профессор, неслышно стуча карандашом по столу, и вслед за ним кто-то пронзительно, как утопающий, закричал, завывал:

— Никто из присутствующих здесь не произнес священное слово — отечество! И это ужасно, господа! Этим забвением отечества мы ставим себя вне его, сами изгоняемся из страны отцов наших.

— Не все отцы возбуждают любовь детей.

— Разве не по стопам отцов мы дошли туда, где находимся?

Но оратор, должно быть, оглушив себя истерическим криком своим, не слышал возражений.

— Господа, — взывал он. — Воздадим...

Было ясно, что люди уже устали. Они разбились на маленькие группки, говорили вполголоса, за спиною Самгина кипел горячий шопот:

— Почти сто лет историю Франции делают адвокаты...

— Господа! Воздадим должное партии конституционалистов-демократов, ибо эта партия знает, что такое отечество, чувствует отечество, любит его.

— Милоковцы уже не демократы, — крикнул кто-то, ему тотчас возразили:

— Но еще не буржуа!

— Дойдут!

— Однако это скучно, — сказала Елена, сморщив лицо, Лаптев тотчас поддержал ее:

— И давно уже — скучно!

Было очень душно, а люди все сильнее горячились, хотя их стало заметно меньше. Самгин, не желая встретиться с Тагильским, постепенно продвигался к двери, и, выйдя на улицу, глубоко вздохнул.

Только что прошел обильный дождь, холодный ветер, предвестник осени, гнал клочья черных облаков, среди них ныряла ущербленная луна, освещая на секунды мостовую, жирно блестел булыжник, тускло, точно оловянные, поблескивали стекла окон, и все вокруг как будто подмигивало. Самгина обогнали два человека, один из них шел точно в хомуте, на плече его сверкала медная труба — бас, другой, согнувшись, сунув руки в карманы, прижимал под мышкой маленький черный ящик, толкнув Самгина, он пробормотал:

— Извиняюсь, — и затем добавил: — Ни чорта не будет! Так вот: подудим, поедим, попьем, поспим, помрем...

— А вот увидишь, — громко сказал человек с трубой.

«Да, что-то будет, — подумал Самгин. — Война? Едва ли. Но — лучше война. Создалось бы единство настроения. Расширятся права Думы».

Как всегда, после пассивного участия в собраниях людей, он чувствовал себя как бы измятым словами, пестротой и обилием противоречий. И, как всегда, он вынес из собрания у Лаптева обычное пренебрежение к людям.

«Ни Фаусты, ни дон-Кихоты, — думал он и замедлил шаг, доставая папиросу, взвешивая слова Тагильского о Кутузове: — Новый тип русского интеллигента?»

Его настолько встревожила эта мысль, что он заставил себя не думать о Кутузове.

Остановился, закурил и, медленно шагая дальше, уговаривал себя:

«Таким типом, может быть, явился бы человек, гармонически соединяющий в себе дон-Кихота и Фауста. Тагильский... Чего хочет этот... иезуит? Тем, что он говорил, он, наверное, провоцировал. Хотел знать количество

сторонников большевизма. Рабочие — если это были действительно рабочие — не высказались. Может быть, они — единственные большевики в... этой начинке пирога. Елена — остроумна».

И почти уже озлобленно он подумал:

«Тусклые, мелкие люди. А между тем жизнь снова угрожает событиями, которые потребуют сопротивления им. Потребуют, ибо они — грозят порабощением личности, еще более тяжким порабощением. Да, да — каждая мысль имеет право быть высказанной, каждая личность обладает неоспоримым правом мыслить свободно, независимо от насилия эпохи и среды», — это Клим Иванович Самгин твердо помнил. Он мог бы одинаково свободно и с равной силой повторить любую мысль, каждую фразу, сказанную любым человеком, но он чувствовал, что весь поток этих мыслей требует ограничения в единую форму, включения в берега, в русло. Он видел, что каждый из людей плавает на поверхности жизни, держась за какую-то свою соломинку, и видел, что бесплодность для него словесных дождей и вихрей усиливала привычное ему полупрезрительное отношение к людям, обостряло это отношение до сухой и острой злости. Он опасался выступать в больших собраниях, потому что видел: многие из людей владеют искусством эристики изощреннее его, знают больше фактов, прочитали больше книг. Существуют люди, более талантливые, чем он. Да, к сожалению, существуют такие. И Клим Иванович Самгин вспоминал горбатенькую девочку, которая смело, с глубокой уверенностью в своем праве крикнула взрослым:

«Да — что вы озорничаете? Не ваши детеныши-то!»

Снова начал капать дождь. Самгин взял извозчика, спрятался под кожаный верх пролетки. Лошадь бежала тихо, уродливо подпрыгивал ее круп, цокала какая-то развинченная железина, по коже над головой седока серdito барабанил дождь.

«Какая скучная жизнь!» — обиженно думал Клим Иванович.

Но это его настроение держалось недолго. Елена оказалась женщиной во всех отношениях более интересной, чем он предполагал. Искусная в технике любви, она легко

возбуждала его чувственность, заставляя его переживать сладчайшие судороги не испытанной им силы, а он был в том возрасте, когда мужчина уже нуждается в подстрекательстве со стороны партнерши и благодарен женщине за ее инициативу.

— Я люблю любить, как угарная, — сказала она как-то после одной из схваток, изумившей Самгина. — Любить, друг мой, надо виртуозно, а не как животные или гвардейские офицеры.

Интересна была она своим знанием веселой жизни людей «большого света», офицеров гвардии, крупных бюрократов, банкиров. Она обладала неиссякаемым количеством фактов, анекдотов, сплетен и рассказывала все это с насмешливостью бывшей прислуги богатых господ, — прислуги, которая сама разбогатела и вспоминает о дураках.

Так как она любила читать и уже много читала, у нее была возможность сравнивать живых с умершими и настоящих с выдуманными.

— Ах, если б можно было написать про вас, мужчин, все, что я знаю, — говорила она, щелкая пальцами, и в ее глазах вспыхивали зеленоватые искры. Бойкая, настроенная всегда оживленно, окутав свое тело подростка в яркий китайский шелк, она, мягким шариком, бесшумно каталась из комнаты в комнату, напевая французские песенки, переставляя с места на место медные и бронзовые позолоченные вещи, и стрекотала, как сорока, — страсть к блестящему у нее была тоже сорочья, да и сама она вся пестро блестела.

К вещам она относилась почтительно, с любовью, ласково поглаживала их пальцами, предлагая Самгину:

— Посмотри, как ловко это сделано!

— Замечательно, — соглашался Клим Иванович, глядя сквозь очки на уродливого китайского божка и подозревая, что она его экзаменует, изучает его вкусы.

Устав бегать, она, с папиросой в зубах, ложилась на кушетку и очень хорошо рассказывала анекдоты, сопровождая звонкую игру голоса быстрым мельканием мелких гримас.

— Приезжает домой светская дама с гостьей и кричит на горничную: «Зачем это вы переставили мебель

и вещи в гостиной так глупо, бессмысленно?» — «Это не я-с, это барышня приказали». Тогда мамаша говорит гостю: «У моей дочери замечательно остроумная фантазия».

Самгин любезно усмехался, находил анекдоты такого типа плоскими, вычитанными из юмористических журналов, и немедленно забывал их. Но нередко он слышал анекдоты другого рода:

— Кутили у «Медведя» в отдельном кабинете, и один уездный предводитель дворянства сказал, что он [за] полную передачу земли крестьянам. «Надобно отдать им землю даром!» — «А у вас есть земля?» — «Ну, а — как же? Но — заложена и перезаложена, так что банк продает ее с аукциона. А я могу сделать себе карьеру в Думе, я неплохой оратор». Смешно?

— Смешно, — соглашался Клим Иванович.

— А знаешь, что сказал министр Горемыкин Суворину: «Неплохо, что мужики усадьбы жгут. Надо встряхнуть дворянство, чтоб оно перестало либеральничать».

Самгин, не интересуясь, откуда ей известно мнение министра, спросил:

— Когда это было?

— В пятом году. В этот год очень сильно кутили. А старик Суворин милый и умный. Такой замечательный знаток театра. Но актеров — не любит. В нем есть что-то мужицкое, суровое, актеров и актрис он считает блаженными негодниками. «У актера своей молитвы нет, а надобно, чтоб у каждого человека была своя молитва», — вот как он говорил. Я встречала его довольно часто, хотелось попасть в театр к нему. Но он сказал: «Нет, Лена, вы — для оперетки, для водевиля, но оперетку — не люблю, водевилей у меня не играют». Он — странный. Впрочем, все русские — странные: нельзя понять, чего они хотят: республики или всемирного потопа?

Самгин, слушая такие рассказы и рассуждения, задумчиво и молча курил и думал, что все это не к лицу маленькой женщине, бывшей кокетке, не к лицу ей и чем-то немножко мешает ему. Но он все более убеждался, что из всех женщин, с которыми он жил, эта — самая легкая и удобная для него. И едва ли он много проиграл, потеряв Таисью.

Свою биографию Елена рассказала очень кратко и прерывая рассказ длинными паузами: бабушка ее Ивонна Данжеро была акробаткой в цирке, сломала ногу, а потом сошлась с тамбовским помещиком, родила дочь, помещик помер, бабушка открыла магазин мод в Тамбове. Мать училась в гимназии, кончила, в это время бабушка умерла, задавленная пожарной командой. Мать преподавала в гимназии французский и немецкий языки, а ее отдала в балетную школу, откуда она попала в руки старичка, директора какого-то департамента министерства финансов Василия Ивановича Ланена.

— А после него — дальше! — просто закончила она.

— А — мать? — спросил Самгин.

— Умерла в Крыму от чахотки. Отец, учитель физики, бросил ее, когда мне было пять или шесть лет.

Самгину казалось, что теперь Елена живет чисто-плотно и хотя сохранила старые знакомства, но уже не принимает участия в кутежах и даже, как он заметил по отношению Лаптева к ней, пользуется дружелюбием кутил.

Он был с нею в Государственной думе в тот день, когда там слушали запрос об убийствах рабочих на Ленских промыслах.

— В ложе министров налево, крайний — премьер — Макаров, — знаешь? — шептала Елена. — Нет, подумай, — продолжала она шептать, — я этого гуся без штанов видела у одной подружки-француженки, а ему поручили Россией командовать... Вот это — анекдот!

Ее шопот досадно мешал Самгину сравнивать картину заседания парижского парламента с картиной, развернутой пред ним в этот час. Там, в Париже, сидели фигуры в большинстве однообразно тяжеловатые, коренастые, — сидели спокойно и свободно, как у себя дома, уверенные, что они воплощают в себе волю народа Франции. Среди них немало юристов, знатоков права, и юристы стоят во главе их, руководят ими. Эти люди живут на земле, которая не качается под ними. Они представляют давно организованные партии, каждая партия имеет свою историю, свои традиции.

Тут Самгину вспомнилось произнесенное на собрании слово — отечество.

«У этих людей с 789 года есть отечество. Они его завоевали».

— Вот уж кто умеет рассказывать анекдоты — это он, Макаров, — шептала Елена. — А посмотри, какая противная морда у Маркова. И этот бездарный паяц Пуришкевич. Вертится, точно его поджаривают. Не очень солидное сборище, а?

— Да, — согласился Самгин, напряженно рассматривая людей, которые хотят быть законодателями, и думая: «Что может дать мне Ногайцев?»

Ногайцев извивался в кресле рядом с толстым, рыжебородым, лысоватым человеком в поддевке. Самгину казалось, что шея этого человека гораздо шире головы и голова не покоится на шее, а воткнута в нее и качается на ней, точно арбуз на блюде, которое толкает кто-то. Отечество этого человека, вероятно, ограничено пределами его уезда или губернии. Марков похож на провинциального дьякона, у него скулы инородца, мордовские скулы. Родзянко — на метр-д-отеля. Преобладают какие-то люди без лиц и, вероятно, без речей. Эти люди, заполняющие амфитеатр, слишком разнообразно одетые, ведут себя нервозно, точно школьники в классе, из которого ушел учитель. Перешептываются, наклоняясь друг к другу, подсказывая в креслах. Вот обернулся к депутату, сидящему сзади его, профессор Милюков, человек с круглой серебряной головкой, красным личиком новорожденного и плотным рядом острых блестящих зубов. Он улыбается, как бы готовясь укусить. Этот имеет представление об отечестве. Это — величина. А — кто еще равен ему в разноплеменном сборище людей, которые перешептываются, оглядываются, слушая, как один из них, размахивая рукою, читает какую-то бумагу, прикрыв ею свое лицо? Впереди их, в большом ящике, блестят золоченые мундиры министров, и над одним мундиром трясется, должно быть, от смеха, седенькая бородка министра юстиции.

Клим Иванович Самгин был не настолько честолюбив, чтоб представить себя одним из депутатов или даже лидером партии, но он вспомнил мнение Лютова о нем и, нимало не напрягая воображение, вполне ясно увидел себя в ложе членов правительства.

Вот, наконец, произнесена фраза: «Так было, так будет». Она вызвала шум, сердитый, угрюмый, на левых скамьях, громкие рукоплескания монархистов. Особенно громко хлопал, стоя, широко размахивая руками, человек в поддевке, встряхивая маленькой головкой, точно пытаясь сбросить ее с шеи, неестественно толстой. Ногайцев сидел, спрятав голову в плечи, согнув спину, положив руки на пюпитр и как будто собираясь прыгнуть. Все люди в зале шевелились, точно весь зал встряхнул чей-то толчок. Фразу сказал министр с лицом солидного лакея первоклассной гостиницы, он сказал ее нахмурив лицо и тоном пророка.

— Ах, болтун! Это он у Леонида Андреева взял, — прошептала Елена, чему-то радуясь, и даже толкнула Самгина локтем в бок.

Самгин вспомнил наслаждение смелостью, испытанное им на встрече Нового года, и подумал, что, наверное, этот министр сейчас испытал такое же наслаждение. Затем вспомнил, как укротитель Парижской коммуны, генерал Галифе, встреченный в парламенте криками: «Убийца!» — сказал, топнув ногой: «Убийца? Здесь!» Ой, как закричали!

— Знал бы ты, какой он дурак, этот Макаров, — точно оса, жужжала Елена в ухо ему. — А вон этот, который наклонился к Набокову, Шура Протопопов, забавный человечек. Набоков очень элегантный мужчина. А вообще какие все неуклюжие, серые...

Клим Иванович согласно кивнул головой. Да, пожалуй, и не нужно обладать особенной смелостью для того, чтоб говорить с этими людьми решительно, тоном горбатой девочки. Пред ним, одна за другой, мелькали, точно падая куда-то, полузабытые картины: полиция загоняет московских студентов в манеж, мужики и бабы срывают зачок с двери хлебного «магазина», вот поднимают колокол на колокольню; криками ура встречают голубоватосерого царя тысячи обывателей Москвы, так же встречают его в Нижнем-Новгороде, тысяча людей всех сословий стоит на коленях пред Зимним дворцом, поет «Боже, царя храни», кричит ура. А этот царь, по общему мнению, — явное ничтожество, бездарный, безвольный человек, которым будто бы руководит немка-жена и ка-

кой-то проходимец, мужик из Сибири, может быть, потомок уголовного преступника. Вот, наконец, десятки тысяч москвичей идут под красными флагами за красным, в цветах, гробом революционера Николая Баумана, после чего их расстреливают.

«Здесь собрались представители тех, которые стояли на коленях, тех, кого расстреливали, и те, кто приказывает расстреливать. Люди, в массе, так же бездарны и безвольны, как этот их царь. Люди только тогда становятся силой, творящей историю, когда во главе их становится какой-нибудь смельчак, бывший поручик Наполеон Бонапарте. Да, — «так было, так будет».

Елена все шептала, называя имена депутатов, характеризуя их, Клим Иванович Самгин наклонил к лицу ее голову свою, подставил ухо, делая вид, что слушает, а сам быстро соображал:

«...Нужна смелость и — простой, ясный лозунг: Франция, отечество, страна отцов. Этот лозунг понятен только буржуазии, которая непрерывно, из рода в род, развивает промысла и торговлю своего отечества, командует его хозяйством, заставляет работать на свое отечество африканцев, индусов, китайцев. На каждого англичанина работает пятеро индусов. Возможен ли лозунг — Россия, отечество в стране, где непрерывно разворачивается драма раскола отцов и детей, где почти каждое десятилетие разрывает интеллигентов на шестидесятников, семидесятников, народников, народовольцев, марксистов, толстовцев, мистиков?..»

Клим Иванович чувствовал себя так, точно где-то внутри его прорвался нарыв, который мешал ему дышать легко. С этим настроением легкости, смелости он вышел из Государственной думы, и через несколько дней, в этом же настроении, он говорил в гостиной известного адвоката:

— Через несколько месяцев Романовы намерены устроить празднование трехсотлетия своей власти над Россией. Государственная дума ассигновала на этот праздник пятьсот тысяч рублей. Как отнесемся мы, интеллигенция, к этому праздничку? Не следует ли нам вспомнить, чем были наполнены эти три сотни лет?

Он старался говорить не очень громко, памятуя, что с годами суховатый голос его звучит на высоких нотах все более резко и неприятно. Он избегал пафоса, не позволяя себе горячиться, а когда говорил то, что казалось ему особенно значительным, — понижал голос, заметив, что этим приемом усиливает напряжение внимания слушателей. Говорил он сняв очки, что блеск и выражение близоруких глаз весьма выгодно подчеркивает силу слов.

Он сделал краткий очерк генеалогии Романовых, указал, что последним членом этой русской фамилии была дочь Петра Первого Елизавета, а после ее престол империи российской занял немец, герцог Гольштейн-Готторпский. Он был уверен, что для некоторых слушателей этот исторический факт будет новостью, и ему показалось, что он не ошибся, некоторые из слушателей были явно удивлены. Оценив их невежество презрительной усмешкой, господин Самгин стал говорить смелее. Перечислил все народные восстания от Разина до Пугачева, не забыв и о бунте Кондрата Булавина, о котором он знал только то, что был донской казак Булавин и был бунт, а чего хотел донской казак и в каких формах выразилось организованное им движение, — об этом он знал столько же, как и все.

— Юноша Михаил Романов был выбран боярами в цари за глупость, — докторально сообщал Самгин слушателям. — Единственный умный царь из этой семьи — Петр Первый, и это было так неестественно, что черный народ признал помазанника божия антихристом, слугой Сатаны, а некоторые из бояр подозревали в нем сына патриарха Никона, согрешившего с царицей. — Кратко изобразив царствование цариц, Александра, Николая Первого и еще двух Александров, он сказал: — Весьма похоже, что ныне царствующий Николай Второй — родня Михаилу Романову только по глупости.

Тут он сделал перерыв, отхлебнул глоток чая, почесал правый висок ногтем мизинца и, глубоко вздохнув, продолжал:

— Итак, Россия, отечество наше, будет праздновать триста лет власти людей, о которых в высшей степени трудно сказать что-либо похвальное. Наш конституцион-

ный царь начал свое царствование Ходынкой, продолжил Кровавым воскресеньем 9 Января пятого года и недавними убийствами рабочих Ленских приисков.

— Вы забыли о войне с Москвой, — крикнул кто-то, не видимый из темного угла.

— Нет, не забыл, — откликнулся Самгин. — Я все помню, но останавливаюсь на деяниях самодержавия наиболее эффектных.

— Уж чего эффектнее!

— Московские события пятого года я хорошо знаю, но у меня по этому поводу есть свое мнение, и — будучи высказано мною сейчас, — оно отвело бы нас далеко в сторону от избранной мною темы.

— Просим не прерывать, — мрачно и угрожающе произнес высокий человек с длинной, узкой бородой и закрученными в кольца усами. Он сидел против Самгина и безуспешно пытался поймать ложкой чайнику в стакане чая, давно остывшего.

Клим Иванович Самгин продолжал говорить. Он выразил — в форме вопроса — опасение: не пойдет [ли] верноподданный народ, как в 904 году, на Дворцовую площадь и не встанет ли на колени пред дворцом царя по случаю трехсотлетия.

— Мы, русские, слишком охотно становимся на колени не только пред царями и пред губернаторами, но и пред учителями. Помните:

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колена.

— Неверно цитируете, — с удовольствием отметил человек из угла.

— Заметив, как легко мы преклоняем колена, — этой нашей склонностью воспользовалась Япония, а вслед за нею — немцы, заставив нас заключить с ними торговый договор, выгодный только для них. Срок действия этого договора истекает в четырнадцатом году. Правительство увеличивает армию, усиливает флот, поощряет промышленность, работающую на войну. Это — предусмотрительно. Балканские войны никогда еще не обходились без нашего участия...

— Мне кажется возможным, что самодержавие в год своего трехвекового юбилея предложит нам — в качестве подарка — войну.

— А даже маленькая победа может принести нам большой вред, — крикнул человек из угла, бесцеремонно перебив речь Самгина, и заставил его сказать:

— Я — кончил.

Гости молчали, ожидая, что скажет хозяин. Величественный, точно индюк, хозяин встал, встряхнул полуседой курчавой головой артиста, погладил ладонью левой руки бритую щеку, голубоватого цвета, и, сбивая пальцем пепел папиросы в пепельницу, заговорил сдобным баритоном:

— Очень интересная речь. Разрешу себе подчеркнуть только один ее недостаток: чуть-чуть много истории. Ах, господа, история! — вполголоса и устало воскликнул он. — Кто знает ее? Она еще не написана, нет! Ее писали, как роман, для утешения людей, которые ищут и не находят смысла бытия, — я говорю не о временном смысле жизни, не о том, что диктует нам властное завтра, а о смысле бытия человечества, засеявшего плотью своей нашу планету так тесно. Историю пишут для оправдания и прославления деяний нации, расы, империи. В конце концов история — это памятная книга несчастий, страданий и вынужденных преступлений наших предков. И внимательное чтение истории внушает нам более убедительно, чем евангелие: будьте милостивы друг к другу.

Он устало прикрыл глаза, покачал головою, красивым движением кисти швырнул папиросу в пепельницу, — швырнул ее, как отыгранную карту, и, вздохнув глубоко, вскинув энергично красивую голову, продолжал:

— История жизни великих людей мира сего — вот подлинная история, которую необходимо знать всем, кто не хочет обольщаться иллюзиями, мечтами о возможности счастья всего человечества. Знаем ли мы среди величайших людей земли хоть одного, который был бы счастлив? Нет, не знаем... Я утверждаю: не знаем и не можем знать, потому что даже при наших очень скромных представлениях о счастье — оно не было испытано никем из великих.

Лицо его приняло горестное выражение, и в сочном голосе тоже звучала горечь. Он играл голосом и словами с тонким, отлично разработанным искусством талантливого лицедея, удивляя обилием неожиданных интонаций, певучестью слов, которыми он красиво облакал иронию и печаль, тихий гнев и лирическое сознание безнадежности бытия. С чувством благоговения и обожания он произносил имена — Леонардо Винчи, Джонатан Свифт, Верлен, Флобер, Шекспир, Байрон, Пушкин, Лермонтов, — бесконечное количество имен, — и называл всех носителей их великомучениками:

— Вот они, великомученики нашей церкви, церкви интеллектуалистов, великомученики духа, каких не знает и не имеет церковь Христа...

— Господа! — возгласил он с восторгом, искусно соединенным с печалью. — Чего можем требовать мы, люди, от жизни, если даже боги наши глубоко несчастны? Если даже религии в их большинстве — есть религии страдающих богов — Диониса, Будды, Христа?

Он замолчал, покачивая головой, поглаживая широкий лоб, правая рука его медленно опускалась, опустился на стул и весь он, точно растаяв. Ему все согласно аплодировали, а человек из угла сказал:

— Амины! Но — чорт с ней, с истиной, я все-таки буду жить. Буду, наперекор всем истинам...

— Вы, по обыкновению, глумитесь, Харламов, — печально, однако как будто и сердито сказал хозяин. — Вы — запоздалый нигилист, вот кто вы, — добавил он и пригласил ужинать, но Елена отказалась. Самгин пошел провожать ее. Было уже поздно и пустынно, город глухо ворчал, засыпая. Нагретые за день дома, остывая, дышали тяжелыми запахами из каждых ворот. На одной улице луна освещала только верхние этажи домов на левой стороне, а в следующей улице только мостовую, и это раздражало Самгина.

— Ты послушал бы, как он читает монолог Гамлета или Антония. Первокласный артист. Говорят, Суворин звал его в свой театр на любых условиях.

Самгин был недоволен собой, чувствуя, что этот красавец стер его речь, как стирают тряпкой надпись мелом на школьной доске. Казалось, что это понято и Еленой,

отчего она и говорит так, как будто хочет утешить его, обиженного.

«Дура», — мысленно сказал он ей и спросил: — Это он часто играет в пессимизм?

Она охотно ответила:

— Нет, он вообще веселый, но дома выдерживает стиль. У него нелады с женой, он женат. Она очень богатая, дочь фабриканта. Говорят — она ему денег не дает, а он — ленив, делами занимается мало, стишки пишет, статейки в «Новом времени».

Самгин уже не слушал ее, думая, что во Франции такой тип, вероятно, не писал бы стихов, которых никто не знает, а сидел в парламенте...

«Мы ленивы, не любопытны», — вспомнил он и тотчас подумал: «Он — никого не цитировал. Это — признак самоуверенности. Игра в пессимизм — простенькая игра. Но красиво сказать — он умеет. Мне нужно взять себя в руки», — решил Клим Иванович Самгин, чувствуя, что время скользит мимо его с такой быстротой, как будто все, наполняющее его, катилось под гору. Но быстрая смена событий не совпадала с медленностью, которая делала Клима Ивановича заметной фигурой. С ним любезно здоровались крупные представители адвокатуры, его приглашали на различные собрания, когда он говорил, его слушали внимательно, все это — было, но не удовлетворяло. Он очень хорошо мог развивать чужие мысли, подкрепляя их множеством цитат, нередко оригинальных, запас его памяти был неисчерпаем. Но он чувствовал, что его знания не сгруппированы в стройную систему, не стиснуты какой-то единой идеей. Он издавна привык думать, что идея — это форма организации фактов, результат механической деятельности разума, и уверен был, что основное человеческое коренится в таинственном качестве, которое создает исключительно одаренных людей, каноника Джонатана Свифта, лорда Байрона, князя Кропоткина и других этого рода. Это качество скрыто глубоко в области эмоции, и оно обеспечивает человеку полную свободу, полную независимость мысли от насилия истории, эпохи, класса. Клим Иванович Самгин понимал, что это уже — идея, хотя и не новая, но — его, продуманная, выношенная лично им. Но он был

все-таки настолько умен, что видел: в его обладании эта идея бесплодна. Она тоже является как будто результатом поверхностной, механической деятельности разума и даже не способна к работе организации фактов в стройную систему фраз — фокусу, который легко доступен даже бездарным людям. Как все талантливые люди, биографии которых он знал, он был недоволен жизнью, недоволен людьми, и он чувствовал, что в нем, как нарыв, образуется острое недовольство самим собою. Оно поставило перед ним тревожный вопрос:

«Неужели я эмоционально так беден, что останусь на всю жизнь таким, каков есть?»

Он вспоминал, как оценивали его в детстве, как замечен был он в юности, в первые годы жизни с Варварой. Это несколько утешало его.

Елена уехала с какой-то компанией на пароходе по Волге, затем она проедет в Кисловодск и там будет ждать его. Да, ему тоже нужно полечиться нарзаном, нужно отдохнуть, он устал. Но он не хотел особенно подчеркивать характер своих отношений с этой слишком популярной и богатой дамой, это может повредить ему. Ее прошлое не забыто, и она нимало не заботится о том, чтоб его забыли. И, телеграммами откладывая свой приезд, Самгин дождался, что Елена отправилась через Одессу в Александрию, а оттуда — через Марсель в Париж на осенний сезон. Тогда он поехал в Кисловодск, прожил там пять недель и, не торопясь, через Тифлис, Баку, по Каспию в Астрахань и [по] Волге поднялся до Нижнего, побывал на ярмарке, посмотрел, как город чистится, готовясь праздновать трехсотлетие самодержавия, с той же целью побывал в Костроме. Все это очень развлекло его. Он много работал, часто выезжал в провинцию, все еще не мог кончить дела, принятые от Прозорова, а у него уже явилась своя клиентура, он даже взял помощника Ивана Харламова, человека со странностями: он почти непрерывно посвистывал сквозь зубы и нередко начинал вполголоса разговаривать сам с собой очень ласковым тоном:

— Не чуешь, Ваня, где тут кассационный повод?

Он был широкоплечий, большоголовый, черные волосы зачесаны на затылок и лежат плотно, как склеенные,

обнажая высокий лоб, густые брови и круглые, точно вишни, темные глаза в глубоких глазницах. Кожа на костлявом лице его сероватая, на левой щеке — бархатная родинка, величиной с двадцатикопеечную монету, хрящеватый нос загнут вниз крючком, а губы толстые и яркие.

В числе его странностей был интерес к литературе контрреволюционной, он знал множество различных брошюр, романов и почему-то настойчиво просвещал патрона:

— Вот, Клим Иванович, примечательная штучка наших дней — «Чума», роман Лопатина. Весь читать — не надо, я отметил несколько страничек, — усмехнетесь!

Желая понять человека, Самгин читал:

«Старики фабричные, помнившие дни восстания на Пресне, устраивали пародии военно-полевого суда и расстреливали всякого человека, одетого в казенную форму».

— Послушайте, Харламов, это же ложь! — кричал Самгин в комнату, где, посвистывая, работал помощник.

— Так у него, у Лопатина, все — ложь.

— Почему вас интересуют такие книги?

— Учусь, — отвечал Харламов. — А вы читали «Наше преступление» Родионова, «Больную Россию» Мережковского, «Оправдание национализма» Локотя, «Речи» Столыпина?..

Харламов, как будто хвастаясь, называл десятки книг. Самгин лежал, курил, слушал и думал, что странностями обзаводяся люди пустые, ничтожные, для того, чтоб их заметили, подали им милостину внимания.

«Это Михайловский, Николай Константинович, сказал — милостина внимания».

Над повестью Самгин не работал, исписал семнадцать страниц почтовой бумаги большого формата заметками, характеристиками Марины, Безбедова, решил сделать Бердникова организатором убийства, Безбедова — фактическим исполнителем и поставить за ними таинственной фигурой Крейтона, затем начал изображать город, но получилась сухая статейка, вроде таких, какие обычны в словаре Брокгауза.

Изредка являлся Дронов, почти всегда нетрезвый, возбужденный, неряшливо одетый, глаза — красные, веки опухли.

— Тоську в Буй выслали, Костромской губернии, — рассказывал он. — Туда как будто раньше и не ссылали, чорт его знает что за город, жителя в нем две тысячи триста человек. Одна там, только какой-то поляк угрыз, опростился, пчеловодством занимается. Она — ничего, не скучает, книг просит. Послал все новинки — не угодил! Пишет: «Что ты смеешься надо мной?» Вот как... Должно быть, она серьезно втяпалась в политику...

Об издании газеты он уже не говорил, а на вопрос Самгина пробормотал:

— Какая теперь газета, к чорту! Я, брат, махнул деньгами и промахнулся.

«Кажется — лжет», — подумал Самгин и осведомился:

— Проиграл в карты?

— Цемент купил, кирпич... Большой спрос на строительные материалы... Надеялся продать с барышом. Надули на цементе...

Когда он рассказывал о Таисье, Самгин заметил, что Агафья в столовой перестала шуметь чайной посудой, а когда Дронов ушел, Самгин спросил рябую женщину:

— Слышали о судьбе Тоси?

— Слышала.

Хозяин смотрел на нее, ожидая, что она еще скажет. А она, поняв его, бойко сказала:

— Что ж — везде жить можно, была бы душа жива... У меня землячок один в ссылку-то пошел еле грамотным, а вернулся — статейки печатает...

«Это — не Анфимьевна», — подумал Самгин.

В должности «одной прислуги» она работала безукоризненно: вкусно готовила, держала квартиру в чистоте и порядке и сама держалась умело, не мозоля глаз хозяина. Вообще она не давала повода заменить ее другой женщиной, а Самгин хотел бы сделать это — он чувствовал в жилище своем присутствие чужого человека, — очень чужого, неглупого и способного самостоятельно оценивать факты, слова.

Как-то вечером Дронов явился с Тагильским, оба выпивши. Тагильского Самгин не видел с полгода и был неприятно удивлен его визитом, но, когда присмотрелся к его фигуре, — почувствовал злорадное любопытство:

Тагильский нехорошо, почти неузнаваемо изменился. Его округлая, плотная фигура потеряла свою упругость, легкость, серый, затейливого покроя костюм был слишком широк, обнаруживал незаметную раньше угловатость движений, круглое лицо похудело, оплыло, и широко открылись незнакомые Самгину жалкие, собачьи глаза. Он и раньше был внешне несколько похож на Дронова, такой же кругленький, крепкий, звонкий, но раньше это сходство только подчеркивало неуклюжесть Ивана, а теперь Дронов казался пригляднее.

Чмокая губами, Тагильский нетрезво, с нелепыми паузами между слов рассказывал:

— В Киеве серьезно ставят дело об употреблении евреями христианской крови. — Тагильский захохотал, хлопая себя ладонями по коленам. — Это очень уместно накануне юбилея Романовых. Вы, Самгин, антисемит? Так нужно, чтоб вы заявили себя филосемитом, — понимаете? Дронов — анти, а вы — фило. А я — ни в тех, ни в сех или — глядя по обстоятельствам и — что выгоднее.

— Он думает, что это затеяно с целью создать в обществе еще одну трещину, — объяснил Дронов, раскачиваясь на стуле.

— Именно! — вскричал Тагильский. — Разобщить, разъединить. Глупо, общества — нет. Кого разъединять?

— Выпить — нечего? — спросил Дронов, а когда хозяин ответил утвердительно и строго: «Нечего!» — «Сейчас будет!..» — сказал Дронов. И ушел в кухню.

Самгин не успел протестовать против его самовольства, к тому же оно не явилось новостью. Иван не впервые посылал Агафью за своим любимым вином.

Чмокая, шурясь, раздувая дряблое лицо гримасами, Тагильский бормотал:

— Общество, народ — фикции! У нас — фикции. Вы знаете другую страну, где министры могли бы саботировать парламент — то есть народное представительство, а? У нас — саботируют. Уже несколько месяцев министры не посещают Думу. Эта наглость чиновников никого не возмущает. Никого. И вас не возмущает, а ведь вы...

Тагильский визгливо засмеялся, грозя пальцем Самгину; затем, отдуваясь, продолжал:

— А, знаете, я думал, что вы умный и потому прячете себя. Но вы прячетесь в сдержанном молчании, потому что не умный вы и боитесь обнаружить это. А я вот понял, какой вы...

— Поздравляю вас с этим, — сказал Самгин, не очень задетый пьяными словами.

— Вы — не обижайтесь, я тоже дурак. На деле Зотовой я мог бы одним ударом сделать карьеру.

— Каким образом? — спросил Самгин, невольно подвигаясь к нему и даже понизив голос.

— Мог бы. И цапнуть деньги, — говорил Тагильский, как в бреду.

— Вы узнали, кто убил?

Тагильский сидел опираясь руками о ручки кресла, наклонясь вперед, точно готовясь встать; облизав губы, он смотрел в лицо Самгина помутневшими глазами и бормотал.

— Я — знал, — сказал он, потряхнув головой. — Это — просто. Грабеж, как цель, исключен. Что остается? Ревность? Исключена. Еще что? Конкуренция. Надо было искать конкурента. Ясно?

— Да, но — кто же?

Самгин торопился услышать имя, соображая, что при Дронове Тагильский не станет говорить на эту тему.

— Фактический убийца, наверное, — Безбедов, которому обещана безнаказанность, вдохновитель — шайка мерзавцев, впрочем, людей вполне почтенных.

— Ты — про это дело? — <сказал> Дронов, входя, и вздохнул, сядя рядом с хозяином, потирая лоб. — Дельце это — заноза его, — сказал он, тыкая пальцем в плечо Тагильского, а тот говорил:

— Дом Безбедова купил судебный следователь. Подозрительно дешево купил. Рудоносная земля где-то за Уралом сдана в аренду или продана инженеру Попову, но это лицо подставное.

В памяти Клима Ивановича встала мягкая фигура Бердникова, прозвучал его жирный брызгающий смешок: «П-фу-бу-бу-бу».

Вспомнить об этом человеке было естественно, но Самгин удивился: как далеко в прошлое отодвинулся

Бердников, и как спокойно пренебрежительно вспомнилось о нем. Самгин усмехнулся и отступил еще дальше от прошлого, подумав:

«И вся эта история с Мариной вовсе не так значительна, как я приучил себя думать о ней».

— Брось, — небрежно махнув рукой, сказал Дронов. — Кому все это интересно? Жила одинокая, богатая вдова, ее за это укокали, выморочное имущество поступило в казну, казна его продает, вот и все, и — к чорту!

— Ты — глуп, Дронов, — возразил Тагильский, как будто трезвея, и, ударя ладонью по ручке кресла, продолжал: — Если рядом со средневековым процессом об убийстве евреями воришки Ющинского, убитого наверняка воровкой Чеберяк, поставить на суде дело по убийству Зотовой и привлечь к нему сначала в качестве свидетеля прокурора, зятя губернатора, — р-ручаюсь, что означенный свидетель превратился бы в обвиняемого...

— Сказка, — сквозь зубы выговорил Дронов, ожидая поглядывая на дверь в столовую. — Фантазия, — добавил он.

— ...в незаконном прекращении следствия, которое не могло быть прекращено за смертью подозреваемого, ибо в делопроизводстве имелись документы, определенно говорившие о лицах, заинтересованных в убийстве более глубоко, чем Безбедов...

— Да поди ты к чертям! — крикнул Дронов, вскочив на ноги. — Надоел... как гусы! Го-го-го... Воевать хотим — вот это преступление, да-а! Еще Извольский говорил Суворину в восьмом году, что нам необходима удачная война все равно с кем, а теперь это убеждение большинства министров, монархистов и прочих... нигилистов.

Коротенькими шагами быстро измеряя комнату, заглядывая в столовую, он говорил, сердито фыркая, потирая бедра руками:

— Тыл готовим, чорт... Трехсотлетие-то для чего празднуется? Напомнить верноподданным, сукинým детям, о великих заслугах царей. Всероссийская торгово-промышленная выставка в Киеве будет.

— Война? — И — прекрасно, — вяло сказал Тагильский. — Нужно нечто катастрофическое. Война или революция...

— Нет, революцию-то ты не предвещай! Это ведь неверно, что «от слова — не станется». Когда за словами — факты, так неизбежно «станется». Да... Ну-ка, приглашай, хозяин, вино пить...

— Я — чаю, — сказал Тагильский.

— Есть и чай, идем!

Тагильский пошевелился в кресле, но не встал, а Дронов, взяв хозяина под руку, отвел его в столовую, где лампа над столом освещала сердито кипевший, ярко начищенный самовар, золотистое вино в двух бутылках, стекло и фарфор посуды.

— Ты — извини, что я привел его и вообще распоряжаюсь, — тихонько говорил Дронов, разливая вино.

— Можешь не извиняться, — разрешил Клим Иванович.

— Важный ты стал, значительная персона, — вздохнул Дронов. — Нашел свою тропу... очевидно. А я вот все болтаюсь в своей петле. Покамест — широка, еще не давит. Однако беспокожно. «Ты на гору, а чорт — за ногу». Тоська не отвечает на письма — в чем дело? Ведь — не бежала же? Не умерла?

Самгин слушал его невнимательно, думая: конечно, хорошо бы увидеть Бердникова на скамье подсудимых в качестве подстрекателя к убийству! Думал о гостях, как легко подчиняются они толчкам жизни, влиянию фактов, идей. Насколько он выше и независимее, чем они и вообще — люди, воспринимающие идеи, факты ненормально, болезненно.

— «Мы переносим жизнь, как боль» — кто это сказал?

Дронов выглянул в соседнюю комнату и сказал, усмехаясь:

— Спит. Плохо он кончит, сопьется, вероятно. Испортил карьеру себе этим убийством.

— Испортил?

— Ну да. Ему даже судом пригрозили за какие-то служебные промахи. С банком тоже не вышло: кому-то на ногу или на язык наступил. А — жалко его, умный! Вот, все ко мне ходит душу отводить. Что — в других странах отводят душу или — нет?

— Не знаю.

— Пожалуй, это только у нас. Замечательно. «Душу отвести» — как буяна в полицию. Или — больную в лечебницу. Как будто даже смешно. Отвел человек куда-то душу свою и живет без души. Отдыхает от нее.

Говорил Дронов как будто в два голоса — и сердито и жалобно, щипал ногтями жесткие волосы коротко подстриженных усов, дергал пальцами ухо, глаза его растерянно скользили по столу, заглядывали в бокал вина.

— Был вчера на докладе о причинах будущей войны. Докладчик — какой-то безымянный человек, зубы у него крупные, но посажены наскоро, вкривь и вкось. Докладец... неопределенного назначения. Осведомительный, так сказать: вот вам факты, а выводы — сами сделайте. Рассказывалось о нашей политике в Персии, на Балканах, о Дарданеллах, Персидском заливе, о Монголии. По-моему, вывод подсказывался такой: ежели мы не хотим быть колонией Европы, должны усердно заняться расширением границ, то есть колониальной политикой. Н-да, чорт...

Держа одной рукой стакан вина пред лицом и отмахивая другой дым папиросы Самгина, он помолчал, вздохнул, выпил вино.

— Был там Гурко, настроен мрачно и озлобленно, предвещал катастрофу, говорил, точно кандидат в Наполеоны. После истории с Лидвалем и кражей овса ему, Гурко, конечно, жить не весело. Идиот этот, октябрист Стратонов, вторил ему, требовал: дайте нам сильного человека! Ногайцев вдруг заявил себя монархистом. Это называется: уверовал в бога перед праздником. Сволочь.

Налив вино мимо бокала, он выругался матерными словами и продолжал, все сильнее озлобляясь:

— Целую речь сказал: аристократия, говорит, богом создана, он отбирал благочестивейших людей и украшал их мудростью своей. А социализм выдуман буржуазией, торгашами для устрашения и обмана рабочих аристократов, и поэтому социализм — ложь. Кадеты были, Маклаков, — брат министра, на выхолощенного кота похож, Шингарев, Набоков. Гучков был. Скука была, в большом количестве. Потом, десятка два, ужинать поехали, а после ужина возгорелась битва литераторов, кошкодав Куприн

с Леонидом Андреевым дрались, Муйжель плакал, и вообще был кавардак...

Он снова помолчал, затем вдруг подскочил на стуле и взвизгнул:

— Безмолствуешь... столп и утверждение истины! Ну, что ты молчишь... Эх, Самгин... Поди ты к чорту...

— Опомнись! Ты — пьян, — строго сказал Клим Иванович.

— Поди ты к чорту, — повторил Дронов, отталкивая стул ногой и покачиваясь. — Ну да, я — пьян... А ты — трезв... Ну, и — будь трезв... чорт с тобой.

Он, хватаясь за спинки стульев, выбрался в соседнюю комнату и там закрывал, дергая Тагильского:

— Идем... эй! Проснись... идем!

Самгин, крепко стиснув зубы, сидел за столом, ожидая, когда пьяные уйдут, а как только они, рыча, как два пса, исчезли, позвонил Агафье и приказал:

— Если Дронов придет в следующий раз, скажите, что я не желаю видеть его.

Лицо женщины, точно исклеванное птицами, как будто покраснело, брови, почти выщипанные оспой, дрогнули, широко открылись глаза, но губы она плотно сжала.

«Недовольна. Протестует», — понял Самгин Клим Иванович и строго спросил:

— Вы — слышали?

— Как же, слышала.

— Следовало ответить: слушаю или — хорошо.

— Слушаю, — не сразу ответила Агафья и ушла.

«Да, ее нужно рассчитать, — решил Клим Иванович Самгин. — Вероятно, завтра этот негодяй придет извиняться. Он стал фамильярен более, чем это допустимо для Санчо».

Но Дронов не пришел, и прошло больше месяца времени, прежде чем Самгин увидел его в ресторане «Вена». Ресторан этот печатал в газетах объявление, которое извещало публику, что после театра всех известных писателей можно видеть в «Вене». Самгин давно собирался посетить этот крайне оригинальный ресторан, в нем показывали не шансонеток, плясунов, рассказчиков анекдотов и фокусников, а именно литераторов.

И вот он сидит в углу дымного зала за столиком, прикрытым тощей пальмой, сидит и наблюдает из-под широкого, веероподобного листа. Наблюдать — трудно, над столами колеблется пелена сизоватого дыма, и лица людей плохо различимы, они как бы плавают и тают в дыме, все глаза обесцвечены, тусклы. Но хорошо слышен шум голосов, четко выделяются громкие, для всех произносимые фразы, и, слушая их, Самгин вспоминает страницы ужина у банкира, написанные Бальзаком в его романе «Шагреневая кожа».

— Господа! Здесь утверждается ересь...

— Предлагаю выпить за Льва Толстого.

— Он — помер.

— Смертью смерть поправ.

— Утверждаю, что Куприн талантливее нашего дорогого...

— Брось! Ничего не поправила его смерть.

— А ты — не хвастайся невежеством: попать — значит — победить, убить!

— Ой-ли? Вот — спасибо! А я не верил, что ты глуп.

— Еретикам — анафема — маранафа!

— Хорошо! Тогда за нашего дорогого Леонида...

— Долой тосты!

— Господа! Премудрость детей света — всегда против мудрости сынов века. Мы — дети света.

— Долой премудрость!

— Премудрость — это веселье!

— Возвеселимся!

— И воспоем славу заслужившим ее...

— Предлагаю выпить за Александра Блока!

— Зачем-ем? Пускай он сам выпьет.

— Позволь! Наука...

— Полезна только как техника.

— Верно! Ученые — это иллюзионисты...

— В чем различие между мистикой и атомистикой? Ато!

— У нас в гимназии преподаватель физики не мог доказать, что в безвоздушном пространстве разновесные предметы падают с одинаковой скоростью.

— А бессилие медицины?

— Господа! Мы все — падшие ангелы, сосланные на поселение во Вселенную.

- Плохо! Долой!
- Прошу слова! Имею сказать нечто о любви...
- К папе, к маме?
- К чужой маме не старше тридцати лет.
- Струился горячий басок:
- Дело Бейлиса, так же, как дело Дрейфуса...
- Долой киевскую политику — своей сыты по горло.
- Сейте разумное, мелкое — вечное!
- Но — позвольте! Для чего же делали революцию?
- Чтоб очеловечить Калибана...
- Миллионы — не разумны.
- Правильно!
- Разумен — пятак, пятачок...
- Я не о деньгах, о людях.
- Внимание!
- Правильно, миллион сверхразумен.
- Великое — безумно.
- Браво-о!
- Как бог.
- Да! Великое безумно, как бог. Великое опьяняет.
- Разумно — что? Настоящее, да?
- Хо-хо-хо! К чорту настоящее.
- Оно — безумно. Его создают искусственно.
- Его делают министры в Думе.
- Не надо трогать министров.
- Сначала очеловечьте Калибана.
- Когда до них дотронутся, они падают.
- Германия становится социалистической страной.
- Господи! Пронеси мимо нас горькую чашу сию.
- Этим нельзя шутить!
- Мы не шутим, а молимся.
- Мы плачем...
- Долой политику!
- Господа! Если...
- Жизнь становится дороже...
- И все более нервной...
- Вы — уничтожьте толпу! Уничтожьте это безличное, страшное нечто...
- Кал-либана!
- А я утверждаю, что Комиссаржевская гениальна...

— Послушай, я заказал гуся, гу-ся! Го-го-го, — понял?

— Господа, — самая современная и трагическая песня: «Потеряла я колечко». Есть такое колечко, оно связывает меня, человека, с цепью подобных ему...

— Нужно поставить вопрос о повышении гонорара.

— Подожди! Ничего не разберешь, кричат, как на базаре.

— Я потерял колечко, я не вижу подобных мне...

Рядом со столиком Самгина ядовито раскрашенная дама скандировала:

Мы — плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери...

— Не... надо, — просил ее растрепанный пьяненький юноша, черноглазый, с розовым лицом, — просил и гладил руку ее. — Не надо стихов! Будем говорить простыми, честными словами.

К даме величественно подошел высокий человек с лысой головой — он согнулся, пышная борода его легла на декольтированное плечо, дама откатнулась, а лысый отчетливо выговорил:

— Генерал Богданович написал в Ялту градоначальнику Думбадзе, чтоб Думбадзе утопил Распутина. Факт!

— Откуда это знаешь ты? — спросила дама, сильно подчеркнув ты.

— От самой генеральши...

— Ты снова был в этой трущобе?

— Но, милуша...

Юноша встал, не очень уверенно шаркая ногами, подошел к столу Самгина, зацепился встрепанными волосами за лист пальмы, улыбаясь, сказал Самгину:

— Извините.

А затем, нахмурясь, произнес:

— Нечего — меч его. Поэту в мире делать нечего — понимаете?

Он смотрел в лицо Самгина мокрыми глазами, слезы текли из глаз на румяные щеки, он пытался закурить папиросу, но сломал ее и, рассматривая, бормотал:

— Меч его. Меч, мяч. Мячом — мечем. Мечом — сечем. Слова уничтожают мысли. Это — Тютчев сказал.

Надо уничтожить мысли, истребить... Очиститься в безмыслии...

К столу за пальмой сел, спиной к Самгину, Дронов, а лицом — кудластый, рыжебородый, длиннорукий человек с тонким голосом.

— Марго, милый мой, бутылку, — приказал он лакею и спросил Дронова: — А — вы?

— «Грав», — белое.

— Так-то. И — быстро!

И снова обратился к Дронову:

— Это — для гимназиста, милый мой. Он берет время как мерило оплаты труда — так? Но вот я третий год собираю материалы о музыкантах восемнадцатого века, а столяр, при помощи машины, сделал за эти годы шестнадцать тысяч стульев. Столяр — богат, даже если ему пришлось по гривеннику со стула, а — я? А я — нищеврод, рецензийки для газет пишу. Надо за границу ехать — денег нет. Даже книг купить — не могу... Так-то, милый мой...

— Однако рабочий-то вопрос нужно решить, — хмуро сказал Дронов.

— Нужно? — Вот вы и решайте, — посоветовал рыжебородый. — Выпейте винца и — решите. Решаться, милый, надо в пьяном виде... или — закрыв глаза...

Дронов повернулся на стуле, оглядываясь, глаза его поймали очки Самгина, он встал, протянул старому приятелю руку, сказал добродушно, с явным удовольствием:

— Ба! Ты — здесь?

Самгин молча подал ему свою руку, а Дронов повернул свой стул, сел и спросил:

— Тагильский-то? Читал? Третьего дня в «Биржевке» было — застрелился.

— Умер?

— Ну, конечно! Жалко, несимпатичен был, а — умный. Умные-то вообще несимпатичны.

Самгин честно прислушался к себе: какое чувство пробудит, какие [мысли] вызовет в нем самоубийство Тагильского?

Он отметил только одно: навсегда исчез человек неприятный и даже — опасный чем-то. Это вовсе не плохо.

А Дронов еще более поднял его настроение, широко усмехаясь, он проговорил вполголоса:

— Ты вот тоже не очень симпатичен, а — умен очень.

«Напрасно я рассердился на него, — думал Самгин, разглядывая Дронова. — Он — хам, но он — искренний. Это его искренность на каком-то уровне становится хамством. И — он был пьян... тогда...»

К рыжебородому подошел какой-то толстый и увел за собой. Пьяный юноша исчез, к даме подошел высокий, худощавый, носатый, с бледным лицом, с пенсне, с прозрачной бородкой неопределенной окраски, он толкал в плечо румянощекую девушку, с толстой косой золотистых волос.

— Вот, милуша, разрешите представить. Горит и пылает в мечтах о сцене...

Его слова заглушил чей-то крик:

— «Ничтожный для времен — я вечен для себя» — это сказано Баратынским — прекрасным поэтом, которого вы не знаете. Поэтом, который, как никто до него, глубоко чувствовал трагическую поэзию умирания.

Дронов уже приступил к исполнению обязанностей Санчо, называя имена и титулы публики.

— Здесь — большинство «обозной сволочи», как назвал их в печати Андрей Белый. Но это именно они создают шум в литературе. Они, брат, здесь устанавливают репутации.

Говорил Дронов пренебрежительно, не очень охотно, как будто от скуки, и в словах его не чувствовалось озлобления против полупьяных шумных людей. Характеризовал он литераторов не своими словами, а их же мнениями друг о друге, высказанными в рецензиях, пародиях, эпиграммах, анекдотах.

Самгин слушал эти частью уже знакомые ему характеристики, слушал злорадно, ему все более приятно было видеть людей ничтожными, мелкими.

— Начнется война — они себя покажут! — хмуро выговорил Дронов.

— Почему ты уверен, что война неизбежна? — спросил Самгин, помолчав.

Дронов, взглянув на него, передернул плечи.

— Думаешь: немецкие эсдеки помешают? Конечно, они — сила. Да ведь не одни немцы воевать-то хотят... а и французы и мы... Демократия, — сказал он, усмехаясь.

— Помнишь, мы с тобой говорили о демократии?

— Да.

Он приподнялся на стуле, посмотрел кругом и раздраженно сказал:

— Расквашались, как лягушки в болоте. Заметил ты — вот уж который год главной темой литературных бесед служит смерть?

Самгин склонил голову, говоря:

— Солидная тема.

Неприглядное лицо Дронова исказила резкая гримаса.

— Ну, что там — солидная! Жульничество. Смерть никаких обязанностей не налагает — живи, как хочешь! А жизнь — дама строгая: не угодно ли вам, сукины дети, подумать, как вы живете? Вот в чем дело.

— Смешно, что ты — моралист, — неприязненно заметил Самгин.

— Нельзя, значит, с суконным рылом в калачный ряд? — безобидно спросил Дронов и усмехнулся. — Эх ты... аристократ! Нет, меня эта игра со смертью — возмущает. Ей-богу — подлая игра. Андреевский, поэт, из адвокатов, недавно читал отрывки из своей «Книги о смерти» — целую книгу пишет, — подумай! Нашел дело. Изображает все похороны, какие видел. Столыпин, «вдовствующий брат» министра, слушал чтение, говорит — чепуха и пошлость. Клим Иванов, а что ты будешь делать, когда начнется война? — вдруг спросил он, и снова лицо его на какие-то две-три секунды уродливо вздулось, остановились глаза, он весь напрягся, оцепенел.

— Буду делать то, что начнут честные люди, — спокойно ответил Самгин.

— Да-а... Разумеется, — неопределенно промычал, но тотчас же и очень напористо продолжал: — Это — не ответ! Чорт знает что такое — честные люди? Я — честный? Ну, скажи!

— Разумеется, — успокоительно произнес Самгин, недовольный оборотом беседы и тем, что Дронов мешал ему ловить слова пьяных людей; их осталось немного, но они

шумели сильнее, и чей-то резкий голос, покрывая шум, кричал:

— Помните пророчество Мережковского?

Непонятны наши речи.
Мы на смерть осуждены,
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

— Вот — слышишь? — спросил Дронов.

— Да. Но это — стихи, а смыслом стиха командуют ритм и рифма. Мне пора домой...

Дронов тоже молча встал и стоял опустив голову, перекладывая с места на место коробку спичек, потом сказал:

— Я еще посижу.

«Миниатюрное олицетворение Калибана, — думал Самгин, шагая по панели. — Выскачка. Не находит места себе, отсюда все эти его фокусы. Его роль — слесарь-водопроводчик. Ватерклозеты ремонтировать. Ну, наконец — приказчик в бакалейной лавке. А он желает играть в политику».

Прошел обильный дождь, и было очень приятно дышать освеженным воздухом, дождь как будто уничтожил неестественный, но характерный для этого города запах гниения. Ярко светила луна, шелково блестя камни площади, между камней извивались, точно стеклянные черви, маленькие ручьи.

«Голубое серебро луны», — вспомнил Самгин и, замедлив шаг, снисходительно посмотрел на конную фигуру царя в золотом шлеме.

«Это не самая плохая из историй борьбы королей с дворянством. Король и дворянство, — повторил он, ища какой-то аналогии. — Завоевал трон, истребив лучших дворян. Тридцать лет царствовал. Держал в своих руках судьбу Пушкина».

Выслушав за час времени так много глупостей, он чувствовал себя мудрецом и был настроен необычно благодушно. Все размолотые в пыль идеи, о которых кричали в ресторане, были знакомы ему, и он чувствовал себя в центре всех идей, владыкой их. Он чувствовал, что глупость и пошлость возвышают его и утверждают за ним право не думать о судьбах людей. Он все охотнее посе-

щал разные собрания и, воздерживаясь от споров, не вмешиваясь в разногласия, произносил краткие солидные речи, указывая, что, если за каждым человеком признается право на свободу мнения, — эта свобода вменяет каждому [в] обязанность уважать мнение противника.

«По отношению к действительности каждый из нас является истцом, каждый защищает интересы своего «я» от насилия над ним. В борьбе за материальные интересы люди иногда являются личными врагами, но ведь жизнь не сводится вся целиком к уголовному и гражданскому процессу, теория борьбы за существование не должна поглощать и не поглощает высших интересов духа, не угашает священного стремления человека познать самого себя».

Разнообразно варьируя эту мысль, украшая ее множеством цитат, он искусно скрывал словами ее изношенность, дряхлость, убеждался, что его слушают внимательно, относятся к нему с уважением. Он был «честен с собой», понимал, что платит за внимание, за уважение дешево, мелкой, медной монетой, от этого его отношение к людям, становясь еще более пренебрежительным, принимало оттенок благодушия, естественного человеку зрелому, взрослому в его беседах с подростками. В общем ему жилось весьма спокойно, уютно, и все, что в различной степени искренно тревожило людей, для него служило средством усиления роста его значительности, популярности.

В конце января приехала Елена и в первую же встречу, не скрывая удивления, сказала ему:

— Можешь представить — мне было скучно без тебя! Да, да. Ты у меня такой соленький... кисленький, освежающий, — говорила она, целуя его. — Притерпелся ко всем человеческим глупостям и очень умеешь не мешать, а я так не люблю, когда мне мешают.

«Умная», — предостерегающе и уже не впервые напомнил себе Клим Иванович; комплимент ее не показался ему особенно лестным, но он был рад видеть Елену. Одетая, по обыкновению, пестро, во что-то шерстяное, мягкое, ловкая, точно котенок. Полулежа на диване с папирсой в зубах, она оживленно рассказывала, прищелкивая пальцами правой руки:

— В Париже очень интересуются нами, но не одобряют! Не нравится этот глупый еврейский суд в Киеве. Ковцов в Берлине сказал, что Дума и печать вовсе еще не народ, и вообще осуждают отношение министров к Думе. Я там попала в круг политиков, моя старая подруга вышла замуж за адвоката, а он — в парламенте, страшный патриот, ненавидит немцев. Толстый, страшно легко злится, краснеет, так и ждешь, что сейчас его разорвет от злости. А она тоже такая тетёха, из Костромы, по-французски говорит, точно овца, муж хохочет, как сумасшедший. Жаловался мне: какой трудный и страшный русский язык. И рычал: кровь, кровля, кор-рова, кр-руглый, круг, кр-расиво, кроткий, кр-рыса, крепко. Отлично понимает по-русски. Очень хвалил, что у нас в Думе только тринадцать — чортова дюжина — социалистов, да и те не ладят друг с другом, а все остальные — в Сибири или эмигранты.

— Говорят о войне? — спросил Самгин.

— Французы всегда говорят о войне, — уверенно ответила она и, усмехаясь, вплетая пальцы свои в сухие пальцы Самгина, объяснила: — Очень много адвокатов, а ваше ремесло нападать, защищать. А у француза, кроме обычной клиентуры, еще бель Франс, патри... *

— Отечество — не шутка, — педагогически заметил Самгин.

Раскачивая руку его, как бы взвешивая тяжесть руки, она продолжала:

— Должно быть, есть люди, которым все равно, что защищать. До этой квартиры мы с мужем жили на Басейной, в доме, где квартировала графиня или княгиня — я не помню ее фамилии, что-то вроде Мейендорф, Мейенберг, вообще — мейен. Так эта графиня защищала право своей собачки гадить на парадной лестнице...

Клим Иванович Самгин слушал ее веселую болтовню с удовольствием, но он не любил анекдотов, в которых легко можно найти смысл аллегорический. И поэтому он заставил женщину перейти от слов к делу, которое для нее, так же как для него, было всегда приятно.

Он понимал, что надвигаются какие-то новые и крупные события. Для него имел значение тот факт, что

* Прекрасная Франция, отечество.. (франц.) — Ред.

празднование трехсотлетнего юбилея царствующей династии в столицах прошло более чем скромно, праздновала провинция, наиболее активная участница событий 1613 года, — Ярославль, Кострома, Нижний-Новгород. Но [и] в провинции праздновали натянуто, неохотно, ограничиваясь молебнами, парадами и подчиняясь террору монархических союзов «Русского народа» и «Михаила Архангела», — было хорошо известно, что командующая роль в этих союзах принадлежит полиции, духовенству и кое-где — городским головам, в большинстве — крупным представителям торговой, а не промышленной буржуазии. Можно было думать, что «народ» правильно оценил бездарность Николая Второго и помнил главнейшие события его царствования — Ходынку, 9 Января, войну с Москвой, расстрел на Лене, бесчисленные массовые убийства крестьян и рабочих. Европейские короли, родственники Романовых, отнеслись к этому юбилею тоже очень осторожно, должно быть, считаясь с отношениями царя и Думы, представляющей интересы крупной буржуазии. В общем было ясно, что самодержавие отжило свой век не только политически и морально, но и физически, наследник престола неизлечимо болен болезнью дегенератов. И, очевидно, будет война, которая, окончательно уничтожив царизм, заменит его республикой.

Клим Иванович Самгин был недостаточно реалистичен для того, чтоб ясно представить себя в будущем. Он и не пытался делать это. Но он уже не один раз ставил пред собой вопрос: не пора ли включиться в партию. Но среди существующих партий он не видел ни одной, достаточно крепко организованной и способной обеспечить ему место, достойное его. Обеспечить — не может, но способна компрометировать каким-нибудь актом, вроде поездки ка-де в Выборг.

Он внимательно следил за жизнью Думы, посещал ее, и ему казалось, что все партии реорганизуются, подвигаясь в общем налево. Конференция ка-де признала необходимым: демократизировать избирательные права, реформировать Государственный совет, требовать ответственного министерства. Раскололись «октябристы» на «левых», «земцев» и «правых». «Октябрист» Гучков публично заявил, что «правительство ведет страну к ката-

строфе». Не меньшее значение имели съезды: приказчиков, десятидневный — учителей, городских деятелей и сельскохозяйственный. Дронов ликовал:

— Демократия пошевеливается!

Он становился все богаче, это явно было по разнообразию и добротности костюмов, по осанке дельца, по рассказам его.

— У Тагильского оказалась жена, да — какая! — он закрыл один глаз и протяжно свистнул. — Стиль модерн, ни одного естественного движения, говорит голосом умиряющей. Я попал к ней по объявлению: продаются книги. Книжки, брат, замечательные. Все наши классики, переплеты от Шелля или Шнелля, чорт его знает! Семьсот целковых содрала. Я сказал ей, что был знаком с ее мужем, а она спросила: «Да?» И — больше ни звука о нем, стерва!

— Тебе жениться надобно, — посоветовал Самгин. Дронов удивился:

— Как это? А — Тоська? Я, брат, ее выручу, скоро. Мне уже категорически обещали.

— Она к большевикам уйдет, — поддразнивал Самгин, не веря ему. Дронов, вопросительно глядя на него, помолчал и вдруг сказал:

— Ну так — что? И я тоже с ней. Литературу издавать будем. Толстую литературу.

Он недавно начал курить, и это очень не шло к нему, — коротенький, круглый, он, с папирсой в зубах, напоминал о самоваре. И в эту минуту, неловко закуривая, сморщив лицо, он продолжал:

— Я, знаешь, думаю, что у нас рабочие-то за Лениным пойдут, — уж очень соблазнительно ясно доказывает он необходимость диктатуры пролетариата...

Самгин предусмотрительно воздерживался от выявления своих мнений по острым вопросам, но Иван чем-то раздражал его, и, не стерпев, он произнес сквозь зубы:

— Против необходимости поставлена невозможность, — это очень полезно для воспитания здравого смысла...

Дронов снова вопросительно остановил на его лице беспокойные глаза свои, и Самгин, неожиданно для себя, дополнил свою мысль:

— Ленин осуждает свою фракцию на нелегальное существование.

— М-м, — промычал Дронов и, захлебнувшись дымом, начал кашлять, присвистывая.

О рабочем классе Клим Иванович Самгин думал почти так же мало, как о жизни различных племен, входивших в состав империи, — эти племена изредка напоминали о себе такими фактами, каково было «Андижанское восстание», о рабочих думалось, разумеется, чаще — каждый раз, когда их расстреливали. Эти думы обладали свойством мимолетности, они, проходя сквозь сознание, не возбуждали в нем идеи ответственности за жизнь, основанную на угнетении людей, на убийстве их. Но с той поры, как социал-демократия Германии получила большинство в рейхстаге и Шейдеман сел в кресло председателя, — Клим Иванович Самгин вспомнил, что он живет в эпоху, когда возможны фигуры Жореса, Вандервельде, Брантинга, Пабло Иглезиаса, Евгения Дебса, Бебеля и еще многих, чьи имена уже стали достоянием истории. Вспомнив об этом, он не ощутил желания поставить свое имя в ряд с этими, но почувствовал, что в суждениях о рабочем классе потребна осторожность, которая предусмотрена старинной моралью: «Не плюй в колодезь — пригодится воды напиться». Он понимал, что в этой пословице пропущено слово «самоу» и что она не запрещает плевать в колодезь, из которого будут пить другие. Сказав Дронову о том, что Ленин осуждает революционный пролетариат на нелегальное бытие, он как бы намекнул о своей надежде и за это упрекнул себя в неосторожности.

К лету 14 года Клим Иванович Самгин был весьма заметным человеком среди людей, основным качеством которых являлось строго критическое отношение к действительности, текущей все более быстро и бурно. О нем весьма единодушно говорили:

— Умный человек.

Он понимал, что у этих людей под критикой скрывается желание ограничить или же ликвидировать все попытки и намерения свернуть шею действительности направо или налево, свернуть настолько круто, что критики останутся где-то в стороне, в пустоте, где не обитают

надежды и нет места мечтам. Среда, в которой он вращался, адвокаты с большим самолюбием и нищенской практикой, педагоги средней школы, замученные и раздраженные своей практикой, сытые, но угнетаемые скукой жизни эстеты типа Шемякина, женщины, которые читали историю Французской революции, записки m-me Роллан и восхитительно путали политику с кокетством, молодые литераторы, еще не облаянные и не укушенные критикой, собакой славы, но уже с признаками бешенства в их отношении к вопросу о социальной ответственности искусства, представители так называемой «богеми», какие-то молчаливые депутаты Думы, причисленные к той или иной партии, но, видимо, не уверенные, что программы способны удовлетворить все разнообразие их желаний. Один из них, лобастый, худощавый, с лицом аскета, очень определенно выразил свое отношение к политике, заявив:

— В тех формах, как она есть, политика идет мимо коренных вопросов жизни. Ее основа — статистика, но статистика не может влиять, например, на отношения половые, на положение и воспитание детей при разводе родителей и вообще на вопросы семейного быта.

А почти все они обычно начинали речи свои словами: «Мы, демократы... Мы, русская демократия...»

«Разночинец — выродился, — соображал Самгин. — Он был хорош рядом с дворянином, но не с купцом. Для того, чтоб достичь равенства с дворянином, необходимо иметь земельную собственность. Равенство с буржуа достижимо гораздо легче».

Среди них немалое количество неврастеников, они читали Фрейда и, убежденные, что уже «познали себя», особенно крепко были уверены в своей исключительности. Все эти люди желали встать над действительностью, почти все они были беспартийны, ибо опасались, что дисциплина партии и программы может пагубно отразиться на своеобразии их личной «духовной конституции». Социальная самооценка этих людей была выражена Алябьевым:

— Мы — последний резерв страны, — сказал он, и ему не возражали.

На одном из собраний этих людей Самгин вспомнил: в молодости, когда он коллекционировал нелегальные

эпиграммы, карикатуры, запрещенные цензурой статьи, у него была гранка, на которой слово «соплеменники» было набрано сокращенно — «соплеки», а внимательный или иронически настроенный цензор, зачеркнув е, четко поставил над ним красное — я. Он стал замечать, что у него развивается пристрастие к смешному и желание еще более шаржировать смешное.

Зрелище ничтожества людей не огорчало Клима Ивановича Самгина, но и не радовало его, он давно уже внушил себе, что это зрелище — нормально. Не огорчился он и в июле, когда огромная толпа манифестантов густо текла по Невскому к Зимнему дворцу, чтоб выразить свое доверие царю и свое восхищение равнодушием его мужества, с которым он так щедро, на протяжении всего царствования, тратил кровь своих подданных. Тяжелый, дробный шаг тысяч людей по дереву невской мостовой создавал своеобразный шум, лишенный ритма, как будто в торцы проспекта забивали деревянные колья. Мостовая глухо гудела, над обнаженными головами людей вздымался разноголосый вой.

— «Спаси, господи, люди твоя...»

— Ур-ра-а-у-у!

— «Победы благоверному императору нашему...»

— Ур-ра-а-у-у!

Впереди толпы шагали, подняв в небо счастливо сияющие лица, знакомые фигуры депутатов Думы, люди в мундирах, расшитых золотом, красноногие генералы, длинноволосые попы, студенты в белых кителях с золочеными пуговицами, студенты в мундирах, нарядные женщины, подпрыгивали, точно резиновые, какие-то толстяки и, рядом с ними, бедно одетые, качались старые люди с палочками в руках, женщины в пестрых платочках, многие из них крестились и большинство шагало открыв рты, глядя куда-то через головы передних, наполняя воздух воплями и воем. В окнах домов и на балконах женщины, дети, они тоже кричат, размахивают руками, но, пожалуй, больше фотографируют.

«Morituri te salutant, — подумал Самгин и усумнился: — Нет, это не так».

— Вот оно, единение царя с народом, — сказал кто-то сзади его.

— Тоже едва ли так... Но совершенно ясно — это стихийное движение...

Елена что-то говорила вполголоса, но он не слушал ее и, только поймав слова: «Каждый привык защищать что-нибудь», — искоса взглянул на нее. Она стояла под руку с ним, и ее подкрашенное лицо было озабочено, покрыто тенью печали, как будто на нем осела серая пыль, поднятая толпой, колебавшаяся над нею прозрачным облаком.

— Ах, напрасно я не уехала в Париж, — вздохнула она. — Здесь теперь начнется чорт знает что...

— Это может сыграть роль оздоравливающей встряски, — докторально сказал Самгин. — Знаешь, как раствор, насыщенный солью; она не кристаллизуется, если ее не встряхнуть...

— Нет, я — не соль и не желаю, чтоб меня трясли, — с досадой сказала она.

Самгин замолчал, отмечая знакомых: почти бежит, толкая людей, Ногайцев, в пиджаке из чесунчи, с лицом, на котором сияют восторг и пот, нерешительно шагает длинный Иеронимов, держа себя пальцами левой руки за ухо, наклонив голову, идет Пыльников под руку с высокой дамой в белом и в необыкновенной шляпке, важно выступает Стратонов с толстой палкой в руке, рядом с ним дергается Пуришкевич, лысенький, с бесцветной бородкой, и шагает толсторожий Марков, похожий на празднично одетого бойца с мясной бойни. Очень заметны были группы рабочих.

«Не злопамятны», — подумал Самгин и затем иронически спросил кого-то: — «Пролетариат — не имеет отечества?»

Прошло человек тридцать каменщиков, которые воздвигали пятиэтажный дом в улице, где жил Самгин, почти против окон его квартиры, все они были, по Брюсову, «в фартуках белых». Он узнал их по фигуре артельного старосты, тощего старичка с голым черепом, с плюшевой мордочкой обезьяны и пронзительным голосом страдальца.

— Дармоеды-ы, — завывал он и матерно ругался, за это, по жалобе обывателей, его вызвали в полицию, но, просидев там трое суток, на четвертые рано утром он

снова пронзительно завыл: — Дармоеды-ы, — бесовы дети-и... — И снова понеслись в воздухе запретные слова.

Сзади его шагал тоже очень приметный каменщик, высокий, широкоплечий, в чалме курчавых золотого цвета волос, с большой, аккуратной бородой, с приятной, добродушной улыбкой на румянном лице, в прозрачных глазах голубого цвета, — он работал ближе других к окнам Самгина, и Самгин нередко любовался картинной его фигурой.

Мелко шагали мальчики и девочки в однообразных пельмено-серых костюмах, должно быть сиротский приют, шли почтальоны, носильщики с вокзала, сиделки какой-то больницы, чиновники таможни, солдаты без оружия, и чем дальше двигалась толпа, тем очевиднее было, что в ее хвосте уже действовало начало, организующее стихию. С полной очевидностью оно выявилось в отряде конной полиции.

— Идем в «Медведь», — требовательно сказала Елена. — Я наглоталась пыли, но все-таки хочу есть.

В «Медведе» кричали ура, чокались, звенело стекло бокалов, хлопали пробки, извлекаемые из бутылок, и было похоже, что люди собрались на вокзале провожать кого-то. Самгин вслушался в торопливый шум, быстро снял очки и, протирая стекла, склонил голову над столом.

— Знакомый голос, — сказала Елена, щелкнув пальцами.

Самгину тоже знаком был пронзительный и сладковатый голосок, — это Захар Петрович Бердников сверлил его уши:

— Мы воюем человеколюбиво, побеждаем тем, что прикармливаем. Среднюю-то Азию всю завоевали сахарком да ситчиком...

Самгин сквозь очки исподлобья посмотрел в угол, там, среди лавров и пальм, возвышалась, как бы возносясь к потолку, незабвенная, шарообразная фигура, сиял красноватый пузырь лица, поблескивали остренькие глазки, в правой руке Бердникова — бокал вина, ладонью левой он шлепал в свою грудь, — удары звучали мягко, точно по тесту.

— Немец воюет железом, сталью, он — машиной и — главное — умом! Ум-мом!

— Вспомнила — Бердников. Делец, распутник, каких мало...

Самгин слушал не ее, а тихий диалог двух людей, сидевших за столиком, рядом с ним; один худощавый, лысый, с длинными усами, златозубый, другой — в синих очках на толстом носу, седобородый, высоколобый.

— Захар-то в петельку попал, — говорил златозубый.

— Вывернется. У него — связи.

— Ну, что там связи! У нас министры еженедельно меняются. А в Думе — завистники действуют.

— Ничего. Война торговлю не разоряет.

Замолчали, а около Бердникова кто-то неистово крикнул:

— Удовлетворите мужика!

— Так полагаете: придержать? — спросил златозубый негромко, старик, глядя на часы, ответил еще тише:

— Торопиться некуда. Сейчас Митя должен приехать, послушаем, что он узнал.

— Почему ты такой рассеянный? — сердито спросила Елена.

— Слушаю, — объяснил Самгин и слышал!

— Гуманитарная, радикальная интеллигенция наша весь свой век пыталась забежать вперед истории, — язвительно покрикивал Бердников. — Историю делать училась она не у Карла Маркса, а у Емельки Пугачева...

— Закрыть Думу!.. — рявкнул кто-то.

— Уже напились, — решила Елена. — Нет, я не могу здесь — душно! Я хочу на воздух, на острова, — как признавила она.

Самгину тоже хотелось уйти, его тревожила возможность встречи с Бердниковым, но Елена мешала ему. Раньше чем он успел изложить ей причины, почему не может ехать на острова, — к соседнему столу торопливо подошел светлокудрый, румянощекий юноша и вполголоса сказал что-то.

— Вот вам Захар, — похвально сказал старик. — Вы говорите — петля, а он уж заскочил вперед нас...

Златозубый человек побледнел, съежился, развел руками.

— Можно ли было представить...

— Да-с, это — удар! Тысяч триста возьмет, не меньше...

— Но — позвольте, Мирон Васильев, кто же мог сказать ему?..

— У него везде рука ..

Златозубый человек вскочил со стула, крикнув:

— Ты сказал, подлец! Ты!

Он громко, матерно выругался, и от его ругательства по залу начала распространяться тишина.

— Идем же, — сказала Елена очень нетерпеливо.

На улице простились. Самгин пошел домой пешком. Быстро мчались лихачи, в экипажах сидели офицера, казалось, что все они сидят в той же позе, как сидел первый, замеченный им: голова гордо вскинута, сабля поставлена между колен, руки лежат на эфесе.

«Бердников, — думал Самгин, присоединяя к этой фигуре слова порицания: — Мерзавец, уголовный тип...»

Он заметил, что ругает толстяка механически и потому, что на обиду отвечают обидой. Но у него нет озлобления против Бердникова, осталось только чувство легкой брезгливости.

— Давно это было. И — очень похоже на анекдот.

В стороне Исакиевской площади ухала и выла медь военного оркестра, туда поспешно шагали группы людей, проскакал отряд конных жандармов, бросалось в глаза обилие полицейских в белых мундирах, у Казанского собора толпился верноподданный народ, Самгин подошел к одной группе послушать, что говорят, но полицейский офицер хотя и вежливо, однако решительно посоветовал:

— Расходитесь, господа!

— Здра-ссите, — сказал Шемякин, прикасаясь к локтю Самгина и к панаме на своей голове. — Что ж, уйдем с этого пункта дурных воспоминаний? Вот вам война...

— Мне ее не нужно, — сухо сказал Самгин.

— Разве? Нет, я считаю войну очень своевременной, чрезвычайно полезной, — она индивидуализирует народы, объединяет их...

Шемякин говорил громко, сдобным голосом, и от него настолько сильно пахло духами, что и слова казались

надушенными. На улице он казался еще более красивым, чем в комнате, но менее солидным, — слишком щеголеват был его костюм светлосиреневого цвета, лихо измятая дорогая панама, тросточка, с рукой из слоновой кости, в пальцах руки — черный камень.

— Война уничтожает сословные различия, — говорил он. — Люди недостаточно умны и героичны для того, чтобы мирно жить, но пред лицом врага должно вспыхнуть чувство дружбы, братства, сознание необходимости единства в игре с судьбой и для победы над нею.

За железной решеткой, в маленьком, пыльном садике, маршировала группа детей — мальчики и девочки — с лопатками и с палками на плечах, впереди их шагала, играя на губной гармонике, музыкант лет десяти, сбоку шла женщина в очках, в полосатой юбке.

— Сережа — такт! — кричала она. — Асс, два, асс, два!

— Немецкие социалисты — наши учителя, — ворковал Шемякин, — уже в прошлом году голосовали за новые налоги специально на вооружение...

Из переулка, точно дым из трубы, быстро, одна за другою, выкатывались группы людей с иконами в руках, с портретом царя, царицы, наследника, затем выехал, расталкивая людей лошадью, пугая взмахами плети, чернобородый офицер конной полиции, закричал:

— Вам сказано: отставить! Наза-ад! Марш назад!

— Зашевелилась Русь, — неугомонно объяснял Шемякин, притиснутый к стене людьми в пиджаках, в ситцевых рубашках, один из них, седобородый, широкоплечий, с толстой палкой, обиженно говорил, разглядывая Самгина:

— Один — так, другой — эдак, понять нельзя ничего! А время — идет!

— Вы — куда собрались? — спросил Шемякин.

— То-то вот и не знаем.

— А кто вы?

— Разные.

— Городской парк — обоз, значит.

— Мостовщики.

— А какая причина войны, господин? — спросил Самгина старик с палкой.

— В манифесте сказано.

Самгин, пользуясь толкотней на панели, отодвинулся от Шемякина, а где-то близко посыпалась дробь барабанов, ядовито засвистела дудочка, и, вытесняя штатских людей из улицы, как поршень вытесняет пар, по бульвару мостовой затопали рослые солдаты гвардии, сопровождая полковое знамя.

— Преображенцы, — почтительно сказал кто-то, другой голос:

— Семеновцы.

— Ребята! Православному... христолюбивому воинству — ур-ра!

На вызов этот ответило не более десятка голосов. Обгоняя Самгина, толкая его, женщина в сером халате, с повязкой «Красного Креста» на рукаве, громко сказала:

— В солдатах-то жида, татары...

И тотчас же рядом с Самгиным коротконогий человек в белом переднике, в соломенной шляпе закричал вслед женщине:

— В гвардии все крещенные, дура!

— Сам — дурак! — откликнулась женщина, повернув к нему белое, мучнистое лицо. — Ты, что ли, крестил?

— Постой, постой! Ты как смеешь...

Самгин свернул в какой-то переулок, снял шляпу и, вытирая платком потные виски, подумал:

«Невежественные люди... Ради таких людей...»

Мысль не находила конца, ей мешало угрюмое раздражение.

Вспомнилось, как, недели за три до этого дня, полиция готовила улицу, на которой он квартировал, к проезду президента Французской республики. Были вызваны в полицию дворники со всей улицы, потом, дня два, полицейские ходили по домам, что-то проверяя, в трех домах произвели обыски, в одном арестовали какого-то студента, полицейский среди белого дня увел из мастерской, где чинились деревянные инструменты, приятеля Агафьи Беньковского, лысого, бритого человека неопределенных лет, очень похожего на католического попа. Рано утром выкрасили синеватой краской забор, ограждавший стройку, затем помыли улицу водой и нагнали

в нее несколько десятков людей, прилично одетых, солидных, в большинстве — бородатых. Среди их оказались молодые, и они затеяли веселую игру: останавливая прохожих, прижимали их к забору, краска на нем еще не успела высохнуть, и прохожий пачкал одежду свою на боку или на спине.

Около полудня в конце улицы раздался тревожный свисток, и, как бы повинувшись ему, быстро проскользнул сияющий автомобиль, в нем сидел толстый человек с цилиндром на голове, против него — двое вызолоченных военных, третий — рядом с шофером. Часть охранников изобразила прохожих, часть — зевак, которые интересовались публикой в окнах домов, а Клим Иванович Самгин, глядя из-за косяка окна, подумал, что толстому господину Пуанкаре следовало бы приехать на год раньше — на юбилей Романовых.

В соседней комнате оказалась Агафья, и когда он в халате, в туфлях вышел туда, — она, сложив на груди руки, голые по локти, встретила его веселой улыбкой.

— Радуетесь, что видели главу Французской республики?

— Да у него и не видно головы-то, все только живот, начиная с цилиндра до сапог, — ответила женщина. — Смешно, что царь — штатский, вроде купца, — говорила она. — И черное ведро на голове — чего-нибудь другое надо бы для важности, хоть камилавку, как протопы носят, а то у нас полицеймейстер красивее одет.

Самгин редко разрешал себе говорить с нею, а эта рябая становилась все фамильярнее, навязчивей. Но работала она все так же безукоризненно, не давая причины заменить ее. Он хотел бы застать в кухне мужчину, но, кроме Беньковского, не видел ни одного, хотя какие-то мужчины бывали: Агафья не курила, Беньковский — тоже, но в кухне всегда чувствовался запах табака.

Дня через два Елена показала ему карикатуру, грубо сделанную пером: в квадрате из сабель и штыков — бомба с лицом Пуанкаре, по углам квадрата, вверх — рубль с полустертым лицом Николая Романова, кабанья голова короля Англии, внизу — короли Бельгии и Ру-

мынии и подпись «Точка в квадрате», сиречь по-французски — Пуанкаре.

— Харламов дал посмотреть, — сказала она. — У него всегда есть какие-то интересные штучки.

— В молодости я тоже забавлялся, собирая подобные... шалости пера и карандаша, — неодобрительно сказал Самгин, но не добавил, что теперь это озорство возбуждает в нем чувство почти враждебное к озорникам. Такое же чувство постепенно будил и Харламов его подчеркнутым интересом к различным проявлениям обывательского консерватизма и контрреволюционных настроений. Его тихое посвистывание и беседы вполголоса с самим собою, даже его гладкий, черный, точно чугуновый, чепчик волос на голове, весь он вызывал какие-то странные, даже нелепые подозрения: хотелось думать, что он красит волосы, живет по чужому паспорту, что он — эсер, террорист, максималист, бежавший из ссылки. Но Елена знала, что Харламов — двоюродный племянник Прозорова, что его отец — ветеринар, живет в Курске, а мать, арестованная в седьмом году, умерла в тюрьме.

За несколько дней до разгрома армии Самсонова Харламов предложил Самгину листок папиросной бумаги.

— Желаете поинтересоваться?

Самгин прочитал напечатанное ремингтоном:

Отречемся, друзья, от марксизма,
От доктрины великой, святой.
Нам дороже кумир шовинизма,
Нам не надо борьбы классово́й!

Вставай, поднимайся, эсдек-патриот,
Иди на врага-иноземца
И бей пролетария-немца.

(Дважды.)

Мы пойдем к нашим новеньким братьям,
Мы к Гучкову пойдем в комитет,
Что нам стоны людей и проклятья,
Что нам Маркса великий завет?

Вставай и т. д.

Так кричит сам Георгий Плеханов,
Шейдеман, Вандервельде и Гед,

В Государственной думе Бурьянов
Повторяет с трибуны их бред.

Вставай и т. д.

Бросим красное знамя свободы
И трехцветное смело возьмем,
И свои пролетарские взводы
На немецких рабочих пошлем.

— Плохо,— сказал Самгин.
— Уж — чего хуже! — откликнулся Харламов.
— Грубо,— добавил Самгин.
— Прimitив,— пожав плечами, как будто извиняясь, объяснил Харламов.

«Издевается?» — спросил Клим Иванович сам себя и впервые отметил, что нижняя губа Харламова толще верхней, а это придает его лицу выражение брезгливое, а глаза у него мало подвижны и смотрят бесцеремонно прямо. Тотчас же вспомнилось, что фразы Харламова часто звучат двусмысленно.

О разгроме германского посольства он рассказывал так:

— Разрушали каменный дом, неприятного стиля. Могли бы разрушить и соседние дома. А — разреши полиция, так и Зимний дворец растрепали бы. Знакомый помощник частного пристава жаловался мне: «Война только что началась, а уж говорят о воровстве: сейчас задержали человека, который уверял публику, что ломают дом с разрешения начальства за то, что хозяин дома, интендант, сорок тысяч солдатских сапог украл и немцам продал». А когда с крыши посольства сбросили бронзовую группу, старичок какой-то заявил: «Вот бы и с Аничкова моста медных-то голых парней убрать».

Самгин сухо спросил:

— Вы отрицаете в этом акте наличие народного гнева?

— Не заметил я гнева,— виновато ответил Харламов, уже неприкрыто издеваясь, и добавил: — Просто — забавляются люди с разрешения начальства.

— Это, разумеется, неверно, это — шарж! — заявил Самгин, а Харламов еще добавил:

— А вот газетчики — гnevаются: запретили им публичное выражение ощущений, лишили дара слова, — даже благонамеренную сваху «Речь» — и ту прихлопнули.

Для Самгина было совершенно ясно, что всю страну охватил взрыв патриотических чувств, — в начале войны с японцами ничего подобного он не наблюдал. А вот теперь либеральная буржуазия единодушно приняла лозунг «единение царя с народом». Государственная дума торжественно зачеркнула все свои разногласия с правительством, патриотически манифестируют студенты, из провинций на имя царя летят сотни телеграмм, в них говорится о готовности к битве и уверенности в победе, газетами сообщаются факты «свирепости тевтонов», литераторы в прозе и в стихах угрожают немцам гибелью и всюду хвалебно говорят о героизме донского казака Козьмы Крючкова, который изрубил шашкой и пронзил пикой одиннадцать немецких кавалеристов.

— Десяток наверное прибавили для накаливания штатских людей воинской храбростью, — сказал Харламов.

«Играет роль скептика, потому что хочет подчеркнуть себя», — определил Самгин. Было неприятно, что Елена все более часто говорит о Харламове:

— Интересный. Забавный. Чудак.

— Чудаков у нас слишком много, от них устаешь, — заметил Самгин, а через несколько дней услышал:

— Талантливый! Вчера читал мне что-то вроде оперетки — очень смешно! Там хор благочестивых банкиров уморительно поет:

О, какая благодать
Кости ближнего глотать!

— В эти дни едва ли уместно балаганить, — сказал Самгин, а она твердо возразила:

— Нет, именно в такие дни нужно жить веселее, чем всегда! Кстати: ты понимаешь что-нибудь в биржевой игре? Я в четверг выиграла восемь тысяч, но предупреждают, что это — опасно и лучше покупать золото, золотые вещи...

— Да, конечно, золото, — равнодушно подтвердил Клим Иванович.

Действия этой женщины не интересовали его, ее похвалы Харламову не возбуждали ревности. Он был озабочен решением вопроса: какие перспективы и пути открывает пред ним война? Она поставила под ружье такое количество людей, что, конечно, продлится недолго, — не хватит средств воевать года. Разумеется, Антанта победит австро-германцев. Россия получит выход в Средиземное море, укрепится на Балканах. Все это — так, а — что выиграет он? Твердо, насколько мог, он решил: поставить себя на видное место. Давно пора.

— Я обязан сделать это из уважения к моему житейскому опыту. Это — ценность, которую я не имею права прятать от мира, от людей.

Но эти формулы не удовлетворяли его. Он чувствовал, что не от людей, а от самого себя пытается спрятать нечто, всю жизнь беспокоившее его. Он не считал себя честолюбивым и не чувствовал обязанным служить людям, он не был мизантропом, но видел большинство людей ничтожными, а некоторых — чувствовал органически враждебными. Поползли мрачные слухи о разгроме в Восточной Пруссии армии Самсонова, он упрекнул себя в торопливости решения. А через несколько дней Елена, щелкая пальцами, показала ему фотоснимок:

— Посмотри, какой курез!

Снимок — мутный, не сразу можно было разобрать, что на нем — часть улицы, два каменных домика, рамы окон поломаны, стекла выбиты, с крыльца на каменную площадку высунулись чьи-то ноги, вся улица засорена изломанной мебелью, валяется пианино с оторванной крышкой, поперек улицы — срубленное дерево, клен или каштан, перед деревом — костер, из него торчит крышка пианино, а пред костром, в большом, вольтеровском кресле, поставив ноги на пишущую машинку, а винтовку между ног, сидит и смотрит в огонь русский солдат. На заднем фоне расплывчато изображены еще двое солдат, они впрягают или распрягают бесформенную лошадь.

— Можно подписать: победитель — не правда ли? — спросила Елена, Самгин сердито сказал:

— Я уверен, что все это... безобразие устроено нарочно, для того чтоб снять. Какие-нибудь прапорщики, корреспонденты, — говорил Самгин. Елена возразила:

— Нет, это снял доктор Малиновский. У него есть другая фамилия — Богданов. Он — не практиковал, а, знаешь, такой — ученый. В первый год моей жизни с мужем он читал у нас какие-то лекции. Очень скромный и рассеянный.

Встряхнув плечами и грудью, щелкнув пальцами, она с удовольствием сказала:

— А — знаешь, это очень интересно — война, очень захватывает! Утром проснешься — думаешь: кто — кого? И газеты ждешь, как забавного знакомого.

— Для тех, кого бьют, это едва ли забавно, — докторально заметил Самгин, а Елена философски откликнулась:

— Пусть устроят так, чтоб не драться.

А через несколько дней она с удивлением сообщила:

— Представь — Харламов идет на войну добровольцем!

Непонятно было: почему в ее удивлении звучит радость?

Он спросил:

— Почему это приятно тебе?

И получил ответ:

— Ты забываешь, что я немножко француженка.

И было очень досадно: Самгин только что решил послать Харламова в один <из> уездов Новгородской губернии по делу о незаконном владении крестьянами села Песочного пахотной землей, а также лугами помещицы Левашевой. Помещица умерла, ее наследник, депутат Государственной думы Ногайцев, нашел какой-то старый план, поручил Прозорову предъявить его иск к обществу села. Прозоров предъявил иск, в окружном суде выиграл дело. Но палата отменила решение суда, и в то же время [иск] о праве на владение частью спорной земли по дарственной записи Левашевой предъявил монастырь, доказывая, что крестьяне в продолжение трех лет арендовали землю у него.

В довершение путаницы крестьянин Анисим Фроленков заявил, что луга, которые монастырь не оспаривает, Ногайцев продал ему тотчас же после решения окружного суда, а монастырь будто бы пользовался сеном этих лугов в уплату по векселю, выданному Фроленковым.

Клим Иванович Самгин и раньше понимал, что это дело темное и что Прозоров, взявшись вести его, поступил неосторожно, а на-днях к нему явился Ногайцев и окончательно убедил его — дело это надо прекратить. Ногайцев был испуган и не скрывал этого.

— Признаю, дорогой мой, — поступил я сгоряча. Человек я не деловой да и [с] тонкостями законов не знаком. Неожиданное наследство, знаете, а я человек небогатый и — семейство! Семейство — обязывает... План меня смутил. Теперь я понимаю, что план — это еще... так сказать — гипотеза.

Он был как-то особенно чисто вымыт, выглажен, скромно одет, туго застегнут, как будто он час тому назад мылся в бане. Говоря, он поглаживал бороду, бедра, лацканы толстого пиджака, доброе лицо его выражало смущение, жалость, а в глазах жуликовато играла улыбочка.

Самгин сердито спросил: чего ж он хочет?

— Мира! — решительно и несколько визгливо заявил Ногайцев и густо покраснел. — Неудобно, знаете, несвоевременно депутату Думы воевать с мужиками в эти дни, когда... вы понимаете? И я вас убедительно прошу: поехать к мужичишкам, предложить им мировую. А то, знаете, узнают газеты, подхватят. А так — тихо, мирно...

«Это не плохое предложение, — сообразил Самгин. — И это последнее из дел, принятых мною от Прозорова».

Было очень приятно напомнить себе, что, закончив это дело, он освобождается от неизбежности частых встреч с Еленой, которая уже несколько тяготила своей близостью, а иногда и обижала слишком бесцеремонным, слишком фамильярным отношением к нему.

И вот он трясется в развинченной бричке, по избитой почтовой дороге от Боровичей на Устюжну. Сквозь туман иногда брызгает на колени мелкий, холодный дождь, кожаный верх брички трясется, задевает голову, Самгин выставил вперед и открыл зонтик, конец зонтика, при толчках, упирается в спину старика возничего, и старик хрипло вскрикивает:

— Но-о, пошел, пошел!

Конь был хороший, бежал бойко, в понуканиях не нуждался, и очень нелепо было видеть, что его заставляли везти такой изношенный экипаж.

По бокам дороги в тумане плывут деревья, качаются черные ветки, оголенные осенним ветром, суетливо летают и трещат белобокие сороки, густой запах болотной гнили встречается и провожает гремучую бричку, сырость, всасываясь в кожу, вызывает тягостное уныние и необычные мысли. Как ничтожны делишки Ногайцевых, Фроленковых и крестьян села Песочного в сравнении с драмой, которая разыгрывается на севере Франции и угрожает гибелью Парижу — «Афинам мира»! Если немцы победят, французы не только снова будут ограблены экономически, но будут поставлены на колени перед народом менее талантливым, чем они. Да, это будет удар, который отразится на судьбах всей Европы и, конечно, на судьбе всего человечества. Возможно, что немцы, минуя революцию, создадут своего Наполеона и поставят целью завоевание всей Европы. А в это время Япония начнет покорение Азии. В дальнейшем человечеству угрожают столкновения и битвы рас. И если вспомнить, что все это совершается на маленькой планете, затерянной в безграничии вселенной, среди тысяч грандиозных созвездий, среди миллионов планет, в сравнении с которыми земля, быть может, единственная пылинка, где родился и живет человек, существо, которому отведено только пять-шесть десятков лет жизни...

Мысли этого порядка являлись у Самгина не часто и всегда от книг на темы «мировой скорби» о человеке в космосе, от системы фраз того или иного героя, который по причинам, ясным только создателю его, мыслил, как пессимист. Клим Иванович не любил эти мысли и остерегался останавливаться на них, чувствуя, что они могут подчинить его так же, как подчиняет людей всякое программное мышление. Но он держал их в резерве, признавая за ними весьма ценное качество — способность отводить человека далеко в сторону от действительности, ставить его над нею. Он хорошо видел, что люди кажутся друг другу умнее, когда они говорят о «теории относительности», о температуре внутри Солнца, о том, имеет ли Млечный Путь фигуру бесконечной спирали или дуги, и о том, сгорит Земля или замерзнет. Незаметно для себя, в какой-то момент, он раз навсегда определил ценность этих щеголеватых [мыслей] словами:

— Допустимо, что все это так, а может быть, и не так. Но можно жить и не решая эти вопросы.

В эти часы, в пузыре тумана, который нищенски ограничивал пространство, под визг и дребезг железа брички, Самгин впервые и очень охотно подумал о том, что бытие человека — загадочно и что эта загадочность весьма похожа на бессмыслие. В состоянии физической усталости и уныния под вечер въехал в небольшой, тесно скученный городок, он казался прикрепленным к земле, точно гвоздями, колокольнями полутора десятков церквей. Молчаливый возница решительно гнал коня мимо каких-то маленьких кузниц, в темноте их пылали угли горнов, дробно стучали молотки, на берегу серой реки тоже шумела работа, пилили бревна, тесали топоры, что-то скрипело, и в быстром темпе торопливо звучало:

Эх, дубинушка — ухни!
Эх, зеленая — сама идет!
Подернем, подернем
Да ух-нем!

— Пошла, пошла, пошла! Бегом пошла, ух ты!

В сумраке десятка два людей тащили с берега на реку желтое, только что построенное судно — «тихвинку».

«Все еще старинная, примитивная жизнь, — думал Самгин. — Отстали от Европы. Мешаем ей жить. Пугаем обилием людей, возбуждаем зависть богатством».

Вспомнил солдата, в кресле, с ногами на пишущей машинке.

«Дикари. Дикари».

— В гостиницу, — сказал Самгин, несколько оживленный шумом. Возница спокойно ответил:

— Зачем? Я знаю — куда надо!

Он остановил коня перед крыльцом двухэтажного дома, в пять окон на улицу, наличники украшены тонкой резьбой, голубые ставни разрисованы цветами и кажутся оклеенными обоями. На крыльцо вышел большой бородатый человек и, кланяясь, ласково сказал:

— Милости прошу! Устали, поди-ко? Олька! Живо...

Человек — скрылся, явилась Олька, высокая, стройная девица, с толстой косой и лицом настолько румяным,

что пышные губы ее были почти незаметны. Она оказалась тоже неразговорчивой и на вопрос: «Это чей дом?» — ответила:

— Хозяйина.

И вот Клим Иванович Самгин сидит за столом в светлой, чистой комнате, обставленной гнутыми «венскими» стульями, оклеенной голубыми обоями с цветами, цветы очень похожи на грибы рыжики. У одной стены — «горка», стеклянный шкаф, верхняя его полка тесно заставлена чайной посудой, среди ее — стеклянный графин с церковью, искусно построенной в нем из раскрашенных лучинок. На задней стенке висят пасхальные яйца из сахара и огромное, красное, из дерева, обвязанное зеленой ленточкой. На двух остальных полках какие-то ящички, коробки, тарелки, блюда, пустые бутылки, одна — в форме медведя. На другой стене две литографии «Святое семейство» и царь Николай Второй с женой, наследником, дочерьми, — картинка, изданная в ознаменование 300-летнего царствования его фамилии. Между картинами в гробоподобном ящике красного дерева безмолвно раскачивался маятник старинных английских часов. В переднем углу пять штук икон, две в серебряных ризах и в киотах с виноградами. На столе кипел самовар, но никто не являлся налить чаю, и в доме было тихо, точно все спали.

Самгин — недоумевал: это не гостиница, что ж это значит?

Но вот снова явился этот большой человек с роскошной, светловолосой густой бородой, ей мог бы позавидовать Варавка.

— Пожалуйста чайку выпить, — предложил он звучным голосом, садясь к столу, против самовара.

— Простите, я не понимаю: почему меня привезли к вам? — спросил Самгин.

— Правильно привезли, по депеше, — успокоил его красавец. — Господин Ногайцев депешу дал, чтобы послать экипаж за вами и вообще оказать вам помощь. Места наши довольно глухие. Лошадей хороших на войну забрали. Зовут меня Анисим Ефимов Фроленков — для удобства вашего.

Говорил он легко, плавно, голос у него был альтовый, точно у женщины, но это очень шло к его красивой, статной фигуре и картинному лицу. Вмешательство Ногайцева возбудило у Самгина какие-то подозрения, но Фроленков погасил их.

— Судостроитель, мокшаны строю, тихвинки и вообще всякую мелкую посуду речную. Очень прошу прощения: жена поехала к родителям, как раз в Песочное, куда и нам завтра ехать. Она у меня — вторая, только весной женился. С матерью поехала с моей, со свекровью, значит. Один сын — на войну взят писарем, другой — тут помогает мне. Зять, учитель бывший, сидел в винопольке — его тоже на войну, ну и дочь с ним, сестрой, в Кресте Красном. Закрыли винопольку. А говорят — от нее казна полтора миллиарда дохода имела?

— Кажется — миллиард...

— Тоже — сумма... Война-то, наверно, больших денег будет стоить?

Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Очень хорошо, что канительное дело это согласились прекратить, разоряло оно песоченских мужиков-то. Староста песоченский здесь, в тюрьме сидит, земский его закатал на месяц, нераспорядителен старик. Вы, ваше благородие, не беспокойтесь, я в Песочном — лицо известное.

«Какой приятный, — подумал Самгин. — И, видимо, неглупый...»

— Несколько непонятна политика нам, простецам. Как это: война расходы усиливает, а — доход сократили? И вообще, знаете, без вина — не та работа! Бывало, чуть люди устанут, посулишь им ведерко, они снова оживут. Ведь — победим, все убытки взыщем. Только бы скорее! Ударить разок, другой, да и потребовать: возместите протори-убытки, а то — еще раз стукнем.

Самгин напомнил о гибели армии Самсонова.

— Н-да, промахнулись. Ну — ничего, народа у нас хватит. — Подумал, мигнул: — Ну, все ж особо торопиться не следует. Война ведь тоже имеет свои качества. Уж это всегда так: в одну сторону — вред, в другую — польза.

— А — в чем видите пользу? — спросил Самгин.

— Да ведь сказать — трудно! Однако — как не скажешь? Народу у нас оказывается лишнего много, а земли — мало. На сытую жизнь не хватает земли-то. В Сибирь крестьяне самовольно не идут, а силком переселять у начальства... смелости нет, что ли? Вы простите! Говорю, как думаю.

— Пожалуйста, — оживленно и поощрительно сказал Самгин. — Чем искреннее, тем лучше.

— К тому же один на один беседуем, — продолжал Фроленков, широко улыбаясь. — Нами сказано, с нами и останется, так ведь?

— Именно, — согласился Самгин и подумал: «Очень умный».

Все нравилось ему в этом человеке: его прозрачные голубые глаза, широкая, мягкая улыбка, тугая, румяная кожа щек. Четыре неглубоких морщинки на лбу расположены аккуратно, как линейки нот.

«Вот что значит — открытое лицо», — решил он.

Нравилась пышная борода, выгодно оттененная синим сатином рубахи, нравилось, что он пьет чай прямо из стакана, не наливая в блюдечко. Любуясь человеком, Клим Иванович Самгин чувствовал, как легко вздуваются пузырьки новых мыслей:

«Мужик-аристократ. Потомок старинных ушкуйников, землепроходцев. Садко. Василий Буслаев. Дежнев. Человек расы, которую тевтоны хотят поработить, уничтожить...»

— Я к тому, что крестьянство, от скудости своей, бунтует, за это его розгами порют, стреляют, в тюрьмы гонят. На это — смелость есть. А выселить лишок в Сибирь али в Азию — не хватает смелости! Вот это — нельзя понять! Как так? Бить не жалко, а переселить — не решаются? Тут, на мой мужицкий разум, политика шалит. Балует политика-то. Как скажете?

Глаза [Фроленкова] как будто сузились, потемнели.

— Мысль о принудительном переселении — весьма оригинальная мысль, — сказал Клим Иванович, торопясь слушать.

— Пятый год и мужика приучил думать, — с улыбочкой и поучительно заметил Фроленков. — Думать-то — научились, а поговорить — не с кем, и такой гость,

как вы, конечно, для меня праздник. Городок у нас — издревле промысловой: суденышки строим, железо болотное добываем, гвоздь и всякую мелочь куем, плотниками славимся. — Он замолчал, вздохнул и, размахнув бороду обеими руками, точно желая снять ее с лица, добавил: — Вообще интерес для жизни — имеется. А — край глухой, болота, озера, речки, притоки Мологи — Чагодоша, Ковжа, Песь, леса кое-какие — все это, конечно, помаленьку кормит. Однако жить тесновато, а утеснение — оно и во храме и в бане одинаково. Душевно сказать — народ здесь дикой. Особо — молодежь. За границей, слышать, молодых-то лишних отправляют к неграм, к индейцам, в Америку, а у нас — они дома толпятся... Теперь вот на войну отобрали их, ну, потише стало...

— А что — стачки были? — спросил Самгин.

— Нет, стачек у нас теперь не бывает, а — пьянство, драки, это вот путает дела!

Фроленков, расширив прозрачные глаза, взглянул на часы и встал, говоря:

— Прошу извинить! Вам требуется отдых с дороги, вот в соседней комнате все готово. Если что понадобится — вскричите Ольку.

И, усмехаясь широко, показав плотные желтые зубы, он сказал:

— Проповедник публичный прибыл к нам, братец Демид, — не слышали о таком? Замечательный, говорят. Иду послушать.

Самгин, чувствуя себя отдохнувшим, спросил:

— А мне — можно?

— Да — сделайте милость! — ответил Фроленков с радостью. — Тут — близко, почти рядом!

Через несколько минут Самгин оказался в комнате, где собралось несколько десятков людей, человек тридцать сидели на стульях и скамьях, на подоконниках трех окон, остальные стояли плечо в плечо друг другу настолько тесно, что Фроленков с трудом протискался вперед, нашептывая строго, как человек власть имущий:

— Посторонись! Пропусти...

Комната служила, должно быть, какой-то канцелярией, две лампы висели под потолком, освещая головы

людей, на стенах — <документы> в рамках, на задней стене [нрзб.], портрет царя.

Фроленков провел Самгина в первый ряд. Он пошептал в ухо лысому старичку, тот покорно освободил стул. Самгин сел, протер запотевшие очки, надел их и тотчас опустил голову. Прижатый к стене маленьким столом, опираясь на него руками и точно готовясь перепрыгнуть через стол, изогнулся седоволосый Диомидов в белой рубашке, с расстегнутым воротом, с черным крестом, вышитым на груди. Над столом покачивался, задевая узкую седую бороду, — она отросла еще длинней, — большой, вершков трех, золоченый или медный крест, висевший на серебряной шейной цепочке.

Глухим, бесцветным голосом он печально говорил:

— Люди Иисуса Христа, царя и бога нашего, миродавца, миролюбца, принявшего смерть за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна, и воскресшего...

Белизна рубахи резко оттеняла землистую кожу сухого, костлявого лица и круглую, черную дыру беззубого рта, подчеркнутого седыми волосами жиденьких усов. Голубые глаза проповедника потеряли былую ясность и казались маленькими, точно глаза подростка, но это, вероятно, потому, что они ушли глубоко в глазницы.

«Узнает?» — соображал Самгин, не желая, чтоб Диомидов узнал его, затем подумал, что этот человек, наверное, сознательно делает себя похожим на икону Василия Блаженного.

— И от Христа мы, рабы его, плутая в суете земной, оттолкнулись, отверглись. Что же понудило нас к этому?

Диомидов выпрямился и, потрясая руками, начал говорить о «жалких соблазнах мира сего», о «высокомерии разума», о «суемудрии науки», о позорном и смертельном торжестве плоти над духом. Речь его обильно украшалась словами молитв, стихами псалмов, цитатами из церковной литературы, но нередко и чуждо в ней звучали фразы светских проповедников церковной философии:

«Разум, убийца любви к ближнему»...

«Не считает ли слово за истину эхо свое?»

Самгин определил, что Диомидов говорит так же бесстрастно, ремесленно и привычно, как обвинители на суде произносят речи по мелким уголовным преступлениям.

«Все-таки он — верен сам себе. И богу своему», — подумал Самгин.

В комнате стоял тяжкий запах какой-то кислой сырости. Рядом с Самгиным сидел, полузакрыв глаза, большой толстый человек в поддевке, с красным лицом, почти после каждой фразы проповедника, сказанной повышенным тоном, он тихонько кричал и уже два раза пробормотал:

— А — скажи, пожалуйста...

Диомидов начал говорить, сердито взвизгивая:

— Немцы считаются самым ученым народом в мире. Изобретательные — ватерклозет выдумали. Христиане. И вот они объявили нам войну. За что? Никто этого не знает. Мы, русские, воюем только для защиты людей. У нас только Петр Первый воевал с христианами для расширения земли, но этот царь был врагом бога, и народ понимал его как антихриста. Наши цари всегда воевали с язычниками, с магометанами — татарами, турками...

Откуда-то из угла, из темноты, донесся веселый, звонкий голосок:

— Против народа — тоже...

Слушатели молча пошевелились, как бы ожидая еще чего-то, и — дождались: угрюмый голос сказал:

— Однако и турок хочет спокойно жить.

Некий третий человек напомнил:

— А с японцами из-за чего драку начали?

Толстый сосед Самгина встал и, махая рукой, тяжелым голосом, хрипло произнес:

— Тише, публика!

Но в углу уже покрикивали:

— Ну, и — что? Ну, сказал! Правду сказал...

— Кузнецы шумят, гвоздари, — сообщил Фроленков, появляясь сзади Самгина. — Может, желаете уйти?

— Да, хотел бы...

— Скушно говорит старец, — не стесняясь, произнес толстый человек и обратился к Диомидову, который стоял, воткнув руки в стол, покачиваясь, пережидая

шум: — Я тебя, почтенный, во Пскове слушал, в третьем году, ну, тогда ты — ядовито говорил!

Диомидов искоса взглянул на него и, тряхнув бородой, обратился к женщинам, окружавшим его, и одна из них, высокая, тощая, крикливо упрасивала:

— Скажи-ко ты нам, отец, кто это там явился около царя, мужичок какой-то расторопный?

В углу сердито выкрикивали:

— Заместо того, чтоб нас, дураков, учить, — шел бы на войну, под пули, уговаривать, чтоб не дрались...

— Верно!

— Всех лошадей хороших обобрали...

Самгин торопился уйти, показалось, что Диомидов присматривается к нему, узнает его. Но уйти не удавалось. Фроленкова окружали крупные бородатые люди, а Диомидов, помахивая какими-то бумажками, зажатыми в левой руке, протягивал ему правую и бормотал:

— Здравствуй, Клим. Ты еси Клим, и ты — сам? Каждый есть — сам, каждая — сама. Не-ет, меня не соблазнишь... нет!

Кто-то прокричал:

— По бумажкам проповедует, глядите-ко! Бумажки... Э-эх ты, пустосвят!

Широко улыбаясь, Фроленков обратился к Самгину:

— Разрешите познакомиться: это — градской голова наш, скотовод, гусевод, Денисов, Василий Петров.

Втроем вышли на крыльцо, в приятный лунный холод, луна богато освещала бархатный блеск жирной грязи, тусклое стекло многочисленных луж, линию кирпичных домов в два этажа, пестро раскрашенную церковь. Денисов сжал руку Самгина широкой, мягкой и горячей ладонью и спросил:

— Скажите, пожалуйста — поужинать ко мне не согласитесь ли?

— Побеседовать, — поддержал Фроленков.

Самгин согласился, тогда Денисов взял его под руку, передвинул толстую руку свою под мышку ему и, сообщив:

— Подмораживает! — повел гостя через улицу, почти поднимая над землей.

На улице Денисов оказался еще крупнее и заставил Самгина подумать:

«Из него вышло бы двое таких, как я».

Фроленков шлепал подошвами по грязи и ворчал:

— А гвоздари опять на стену полезли! Что ты будешь делать с ними?

— Сделаем, — уверенно обещал голова.

Потом минут десять сидели в полутемной комнате, нагруженной сундуками, шкафами с посудой. Денисов, заглянув в эту комнату, — крикнул и скрылся, а Фроленков, ласково глядя на гостя из столицы, говорил:

— Вот чем люди кормятся, между прочим. Очень много проповедующих у нас: братец Иванушка Чуриков, отец Иоанн Кронштадтский был...

И, поискав третьего, он осторожно добавил:

— Тоже и Лев Толстой. Теперь вот все говорят, Распутин Григорий будто бы, мужик сибирский, большая сила, — не слыхали?

— Значение Распутина — преувеличивается, — сказал Самгин и этим очень обрадовал красавца.

— Вот и мы здесь тоже думаем — врут! Любят это у нас — преувеличить правду. К примеру — гвоздари: жалуются на скудость жизни, а между тем — зарабатывают больше плотников. А плотники — на них ссылаются, дескать — кузнецы лучше нас живут. Союзы тайные заводят... Трудно, знаете, с рабочим народом. Надо бы за всякую работу единство цены установить...

В двери, заполнив всю ее, встал Денисов, приглашая:

— Пожалуйста!

Перешли в большую комнату, ее освещали белым огнем две спиртовые лампы, поставленные на стол среди многочисленных тарелок, блюд, бутылок. Денисов взял Самгина за плечо и подвинул к небольшой, толстенькой женщине в красном платье с черными бантиками на нем.

— Супруга моя, Марья Никаноровна, а это — дочь, Софья.

Дочь оказалась на голову выше матери и крупнее ее в плечах, пышная, с толстейшей косой, румянощекая, ее большие ласковые глаза напомнили Самгину горничную Сашу.

— Крестница моя, — объявил Фроленков и обратился к жене Денисова: — Ну-ко, кума, командуй!

Самгина посадили рядом с нею, и она тотчас спросила его:

— Вам понравился старец?

— Я не поклонник людей этой профессии.

— Я — тоже. И говорит он плохо. «Миродавец» — как будто Христос давил мир. У нас глаголы очень коварные: давать, давить...

— Нет, погоди, — сказал ей отец. — Сначала мы выпьем..

Но она не ждала, продолжая звучным, сдобным голосом:

— Ах, как замечательно говорят в Петербурге! Даже когда не все понимаешь, и то приятно слушать.

Родители и крестный отец, держа рюмки в руках, посматривали на гостя с гордостью, но — недолго. Денисов решительно произнес:

— Нуте-ко, благословясь, положим основание травничком!

Травник оказался такой жгучей силы, что у Самгина перехватило дыхание и померкло в глазах. Оказалось, что травник этот необходимо закусывать маринованным стручковым перцем. Затем нужно было выпить «для осадки» рюмку простой водки с «рижским бальзамом» и закусить ее соловецкой селедкой.

— Нежнейшая сельдь, первая во всем мире по вкусу, — объяснил Денисов. — Есть у немцев селедка Бисмарк, — ну, она рядом с этой — лыко! А теперь обязательно отбить вкус английской горькой.

Выпили горькой. На столе явился суп с гусяными потрохами, Фроленков с наслаждением закачался, потирая колена ладонями, говоря:

— Любимое мое хлебово!

А Денисов сказал:

— У нас, по стародавнему обычаю, ужин сытный, как обед. Кушаем не по нужде, а для удовольствия.

После трех, солидной вместимости, рюмок Самгин почувствовал некую благодушную печаль. Хотелось сказать что-то необычное, но память подсказывала странные, неопределенные слова.

«Да, вот оно...»

И мешала девица Софья, спрашивая:

— Вы читали роман Мережковского об императоре Юлиане? А — «Ипатию» Кингслея? Я страшно люблю историческое: «Бен Гур», «Камо грядеши», «Последний день Помпеи»...

Это не мешало ей кушать, и Самгин подумал, что, если она так же легко и с таким вкусом читает, она действительно много читает. Ее мамаша кушала с таким увлечением, что было ясно: ее интересы, ее мысли на сей час не выходят за пределы тарелки. Фроленков и Денисов насыщались быстро, пили часто и перебрасывались фразами, и было ясно, что Денисов — жалуется, а Фроленков утешает:

— Солдат все съест.

— Гуся ему не дадут.

— И для гуся найдется брюхо.

Комнату наполняло ласковое, душистое тепло, медовый запах ласкал обоняние, и хотелось, чтоб вся кожа погрузилась в эту теплоту, подышала ею. Клим Иванович Самгин смотрел на крупных людей вокруг себя и вспоминал чьи-то славословия:

«Русь наша — страна силы неистощимой»... «Нет, не мы, книжники, мечтатели, пленники красивого слова, не мы вершим судьбы родины — есть иная, незримая сила, — сила простых сердцем и умом...»

Девица Денисова озабоченно спрашивала:

— Вы не знаете: есть в продаже копии с картины «Три богатыря»?

Самгин не успел ответить, — к нему обратился отец девицы:

— Мы вот на войну сетуем, жалобимся. Подрывает война делишки наши. У меня на декабрь поставка немцам, десять тысяч гусей...

— А у меня — забрали лошадей. Лес добыть нечем, а имею срочные заказы. Вот оно, дело-то какое, — сообщил Фроленков, радостно улыбаясь.

— Не угодные мы богу люди, — тяжело вздохнул Денисов. — Ты — на гору, а чорт — за ногу. Понять невозможно, к чему эта война затеяна?

— Понять — трудно, — согласился Фроленков. — Чего надобно немцам? Куда лезут? Ведь — вздуем. Торговали — хорошо. Свободы ему, немцу, у нас — сколько угодно! Он и генерал, и управляющий, и булочник, будь чем хошь, живи как любишь. Скажите нам: какая причина войны? Король царем недоволен, али что?

— Можно курить? — спросил Самгин хозяйку, за нее, и даже как будто с обидой, ответила дочь:

— Пожалуйста, мы не староверы.

— Просвещенные, — сказал Фроленков, улыбаясь. — Я, в молодости, тоже курил, да зубы начали гнить, — бросил.

На круглом, тоже красном, лице супруги Денисова стремительно мелькали острые, всевидящие глазки, синеватые, как лед. Коротенькие руки уверенно и быстро летали над столом, казалось, что они обладают вездесущностью, могут вытягиваться, как резиновые, на всю длину стола.

— Кушайте, пожалуйста, — убеждала она гостя вполголоса. — Кушайте, прошу вас!

Закурив, Самгин начал изъяснять причины войны. Он еще не успел серьезно подумать об этих причинах, но заговорил охотно.

— Немцы давно завидуют широте пространств нашей земли, обилию ее богатств...

— Да ведь какие же пространства-то? Болота да леса, — громко крикнув, вставил Денисов, кум весело поддержал его:

— А богатства нам самим нужны.

Пропустив эти фразы мимо ушей, Самгин заговорил об отношении германцев к славянам и, говоря, вдруг заметил, что в нем быстро разгорается враждебное чувство к немцам. Он никогда не испытывал такого чувства и был даже смущен тем, что оно пряталось, тлело где-то в нем и вот вдруг вспыхнуло.

— Их ученые, историки нередко заявляли, что славяне — это удобрение, грубо говоря — навоз для немцев, и что к нам можно относиться, как американцы относятся к неграм...

— Гляди-ко ты! — удивленно вскричал Фроленков, толкнув кума локтем. Денисов, крикнув, проворчал:

— Да ведь что же они, ученые-то...

— Нет! Мне это — обидно! Не согласен я.

Клим Иванович Самгин говорил и, слушая свою речь, убеждался, что он верует в то, что говорит, и, делая паузы, быстро соображал:

«Наступило время, когда необходимо верить, и я подчиняюсь необходимости? Нет, не так, не то, а — есть слова, которые не обладают тенью, не влекут за собою противоречий. Это — родина, отечество... Отечество в опасности».

Сквозь свои слова и мысли он слышал упрямое бормотанье Денисова:

— В торговле немец вражду не показывает, в торговле он — аккуратный.

— Экой ты, кум, несуразный! — возражал Фроленков, наполняя рюмки светложелтой настойкой медового запаха. — Тебе все бы торговать! Ты весь город продать готов...

— Города — не продаются, — угрюмо откликнулся Денисов, а дочь его доказывала Самгину, что Генрик Сенкевич историчен более, чем Дюма-отец.

После двух рюмок золотистой настойки Клим Иванович почувствовал, что у него отяжелел язык, ноги как будто отнялись, не двигаются.

«Как же я встану и пойду?» — соображал он, слушая настойчивый голосок:

— Дюма совершенно игнорирует пейзаж...

Денисов глухо кричал:

— Сказано: «Не убей!»

— Кем сказано? — весело спрашивал Фроленков. — Ведь — вот он, вопрос-от, — кем сказано?

— Богом!

— Он — разнородно говорил. Он Иисусу-то Навину иначе сказал: «Бей, я солнце в небе задержу».

— Ни-че-го подобного бог не говорил!

— Задержу солнце, чтоб тебе видно было — кого бить!

— Вы, крестный, путаете, — убеждала Софья.

Затем все померкло, растаяло, исчезло.

К сознательному бытию Клим Иванович Самгин возвратился разбуженный режущей болью в животе, можно

было думать, что в кишках двигается и скрежещет битое стекло. Он лежал на мягчайшей, жаркой перине, утопая в ней, как в тесте, за окном сияло солнце, богато освещая деревья, украшенные инеем, а дом был наполнен непоколебимой тишиной, кроме боли — не слышно было ничего. Самгин застонал, — кроме боли, он испытывал еще и конфуз. Тотчас же в стене лопнули обои, отлетел в сторону квадратный их кусок, обнаружилась дверь, в комнату влез Денисов, сказал:

— Ага! — и этим положил начало нового трудного дня. Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватерклозета, ибо унитаз промывался водой из бака. Рядом с этим учреждением оказалось не менее культурное — ванна, и вода в ней уже была заботливо согрета.

Большой, тяжелый человек оказался очень ловким, быстро наполнил ванну водою, принес простыни, полотенца, нижнее белье, попутно сообщил, что:

— Морозец ударил на одиннадцать градусов, слава богу!

И даже попытался успокоить сконфуженного гостя:

— Это — медовуха действует. Ешь — сколько хочешь, она как метлой чистит. Немцы больше четырех рюмок не поднимают ее, балдеют. Вообще медовуха — укрощает. Секрет жены, он у нее в роду лет сотню держится, а то и больше. Даже и я не знаю, в чем тут дело, кроме крепости, а крепость — не так уж велика, 65—70 градусов.

Когда Самгин вышел к чаю — у самовара оказался только один городской голова в синей рубашке, в рыжем шерстяном жилете, в широчайших шароварах черного сукна и в меховых туфлях. Красное лицо его, налитое жиром, не очень украшала жидкая серая борода, на шишковатом черепе волосы, тоже серые, росли скупо. Маленькие опухшие желтые глазки сияли благодушно.

— Ваши еще спят? — спросил Самгин.

— Мои-то? Не-ет, теперь ведь время позднее, одиннадцать скоро. Дочь — на лепетицию ушла, тут любители театра имеются, жена исправника командует. А мать где-нибудь дома, на той половине.

— Не представляю, как я с расстроенным желудком поеду в это село, — прискорбно сказал Самгин.

— А — и не надо ехать! Кум правильно сообразил: устали вы, куда вам ехать? Он лошадь послал за уполномоченными, к вечеру явятся. А вам бы пришлось ехать часов в шесть утра. Вы — как желаете: у меня останетесь или к Фроленкову перейдете?

Состояние желудка не позволяло Самгину путешествовать, он сказал, что предпочел бы остаться.

— Сделайте одолжение! За честь сочту, — с радостью откликнулся Денисов и даже, встав со стула, поклонился гостю. А после этого начал:

— Непонятна некоторым нам здесь причина войны. Конечно, это — как вы вчера говорили — немцы, русских не любят, да — ведь какие немцы-то? Торговцу, особенно оптовому, крупному... ведь ему это не надобно — любить. Ведь — извините наше понимание — торговец любит торговлю, фабрикант — фабрикацию. Кум Фроленков суда строить любит. У него вот имеется мысль построить баржу для мелкой воды, такую, чтоб она скользила по воде, не оседа в нее, — понимаете? Каждый должен любить свое дело... Да. Вот я, например, торгую гусем. Гусь мой живет — кормится у минчуков, у литваков, это — к немцам близко.

Говорил он с паузами, в паузах надувал щеки и, оттопыривая губы, шипел, выпускал длинную струю воздуха.

— Изжога мучает, — объяснил он шипение. Тяжелый, бесцветный голос его звучал напряженно, и казалось, что глава города надеется не на смысл слов, а только на силу голоса. — У нас тут говорят, что намерение царя — возместить немцам за ихнюю помеху в турецкой войне. Будто в ту пору дедушка его протянул руку, чтобы Константинополь взять, а немцы — не дали. Англичане тогда заодно с немцами были, а теперь вот против и царю сказано: бери Константинополь, мы — не против этого, только — немцев побей. И французы — тоже, французы — они уж прямо: что хошь бери, да — избавь от немцев...

Слушать Денисова было скучно, и Клим Иванович Самгин, изнывая, нетерпеливо ждал чего-то, что остановило бы тугую, тяжелую речь. Дом наполнен был непоколебимой, теплой тишиной, лишь однажды где-то красноречиво прозвучал голос женщины:

— Иди, скажи ему, сукину сыну...

— Жена воюет, — объяснил Денисов. — Беда с работниками, совсем беда!

И, тяжело вздохнув, добавил:

— Покойник отец учил меня: «Работник должен ходить пред тобой, как монах пред игуменом». Н-да... А теперь он, работник, — разбойник, все чтобы бить да ломать, а кроме того — жрать да спать.

Тут Самгин вспомнил, что у него есть хороший предлог спрятаться от хозяина, и сказал ему, что до приезда уполномоченных он должен кое-что прочитать в деле.

— Пожалуйста, пожалуйста, — торопливо откликнулся Денисов. — Чемоданчик ваш кум прислал сюда...

«Предусмотрительно», — подумал Самгин, осматриваясь в светлой комнате, с двумя окнами на двор и на улицу, с огромным фикусом в углу, с картиной Якобия, премией «Нивы», изображавшей царицу Екатерину Вторую и шведского принца. Картина висела над широким зеленым диваном, на окнах — клетки с птицами, в одной хлопотал важный красногрудый снегирь, в другой грустно сидела на жердочке аккуратненькая серая птичка.

«Соловей, должно быть», — решил Самгин.

Сел на диван, закурил и, прищурясь, задумался. Но желудок беспокоил, мешал думать, и мысль лениво одевалась в неопределенные слова:

«Да, вот они...»

Память показывала десятка два уездных городов, в которых он бывал. Таких городов — сотни. Людей, подобных Денисову и Фроленкову, наверное, сотни тысяч. Они же — большинство населения городов губернских. Люди невежественные, но умные, рабочие люди... В их руках — ремесла, мелкая торговля. Да и деревня в их руках, они снабжают ее товарами.

«Их, разумеется, значительно больше, чем фабрично-заводских рабочих. Это надобно точно узнать», — решил Клим Иванович, тревожно прислушиваясь, как что-то бурчит в животе, передразнивая гром. Унизительно было каждые полчаса бегать в уборную, прерывая ход важных дум. Но, когда он возвращался на диван, возвращались и мысли.

Он подумал, что гимназия, а особенно — университет лишают этих людей своеобразия, а ведь, в сущности,

именно в этом своеобразии языка, мысли, быта, во всем, что еще сохраняет в себе отзвуки исторического прошлого, именно в этом подлинное лицо нации.

«Изображая отрицательные характеры и явления, наша литература прошла мимо этих людей. Это — главный грех критического, морализирующего искусства. Наше искусство — насквозь морально».

Явилась кругленькая хозяйка с подносом в руках и сказала сухим, свистящим сквозь зубы голосом, совершенно не совпадающим с ее фигурой, пышной, как оладья:

— Вот, выпейте-ко бульончику — обязательно закрепит!

Выпил и уже через десяток минут почувствовал себя менее тревожно, точно смазанным изнутри.

Уже смеркалось, когда явился веселый, румяный Фроленков и с ним трое мужиков: один — тоже высокий, широколобый, рыжий, на деревянной ноге, с палочкой в мохнатой лапе, суровое, носатое лицо окружено аккуратно подстриженной бородой, глаза спрятаны под густыми бровями, на его могучей фигуре синий кафтан; другой — пониже ростом, лысый, седобородый, курносый, в полукафтанье на вате, в сапогах из какой-то негнущейся кожи, точно из кровельного железа.

«Таких много», — определил Самгин, внимательно присматриваясь к третьему.

Третий — в женской кацавейке, подпоясанной шалью, свернутой жгутом, в серых валяных сапогах. На первый взгляд он показался ниже товарищей, но это потому, что был очень широк в плечах. Голова его в шапке седых курчавых волос, такими же волосами густо заросло лицо, в бороде торчал нос, большой и прямой, точно у дятла, блестели черные глаза. Начиная с головы, человек этот удивлял своей лохматостью, из дырявой кацавейки торчали клочья ваты, на животе — бахрома шали, — как будто его пытались обтесать, обстрогать, сделать не таким широким и угловатым, но обтесать не удалось, он так и остался весь в затесах, в стружках.

— Вот, значит, мы и здесь, — сообщил Фроленков. — Вот это вот и есть самые они — уполномоченные...

Черные глаза лохматого мужика побегали по лицу Самгина и, найдя его глаза, неприятно остановились на них, точно приклеенные.

— Это — герой японский Дудоров, Степан, это — мудрец наш Егерев, Михайло Степанов...

— А я — Ловцов, Максим, — звучно сказал лохматый. — Эти двое уполномочены были дело вести, а меня общество уполномочило на мировую.

На товарищей своих он пренебрежительно махнул рукой: они стояли по обе стороны двери, как стража.

— Садитесь, — неохотно сказал им Денисов, они покорно сели, а Ловцов выступил шага на два вперед, пошаркал ногами по полу, как бы испытывая его прочность, и продолжал:

— И чтобы не мямлить, не хитрить, так я сразу...

— Ты погоди, — куда ты? — вскричал Фроленков.

— Сразу и требую: объявите — какие ваши условия?

— Ах ты, господи! — вскричал Фроленков.

— Ты, Анисим, — не поймана щука, ты не трепещи! Бери кума за пример — сидит, как чугунный памятник на кладбище.

— А тебе бы не задиаться, Ловцов! — угрюмо посоветовал голова.

— Как это я задираюсь? Я — просто объяснил господину адвокату, зачем я послан...

На высоких нотах голос Ловцова срывался, всхрипывал. Стоял этот мужик «фертом», сунув ладони рук за опояску, за шаль, отведя локти в сторону. Волосы на лице его неприглядно шевелились, точно росли, пристальный взгляд раздражал Самгина.

— Доверитель мой предлагает: отказаться от предъявленного им иска к обществу крестьян села Песочного, а общество должно отказаться от встречного иска к нему, Ногайцеву.

— Тут и все? — спросил Ловцов.

— Да. Все.

— Дешево. А — как же убытки наши? Убытки-то кто возместит нам?

— Что вы называете убытками? — осведомился Самгин и немедленно получил подробное объяснение:

— Убытками называются цифры денег. Адвокат, который раньше вас тянул это дело три года с лишком и тоже прятал под очками бесстыжие глаза...

— Ведь вон как говорит, смутьян! — весело подчеркнул Фроленков.

— Он перебрал у нас цифру денег в 1160 рублей — раз! На 950 рублей у нас расписки его имеются.

— Он — помер, — напомнил Самгин.

— Наследников потревожим, — сообщил лохматый мужик. — Желаем получить сумму за четырехлетнее пользование лугами — два. Рендатель лугов — вот он!

Ловцов указал кивком головы в сторону Фроленкова, — веселый красавец вытянул в его сторону руку, сложив пальцы кукишем, но Ловцов только головой тряхнул, продолжая быстро и спокойно:

— У нас — все сосчитано.

— У меня — тоже, — сказал Фроленков.

— С господина Ногайцева желаем получить пятьсот целковых за расходы, за незаконное его дело, за стачку с монахами, за фальшивые планы.

— Все это, все ваши требования... наивны, не имеют под собой оснований, — прервал его Самгин, чувствуя, что не может сдерживать раздражения, которое вызывал у него упорный, непоколебимый взгляд черных глаз. — Ногайцев — гасит иск и готов уплатить вам две-сти рублей. Имейте в виду: он может и не платить...

— За-аплотит! — спокойно возразил Ловцов. — И Фроленков заплотит.

— Да — ну? — игриво спросил Фроленков.

— Обязательно заплотишь, Анисим! 1930 целковых. Хошь ты и с полицией сено отбирал у нас, а все-таки оно краденое...

— Вот — извольте видеть, как он говорит, — пожаловался Фроленков. — Эх ты, Максим, когда ты угомонишься, сумасшедший таракан?..

Самгин встал, сердито сказав, что дело сводится исключительно к прекращению иска Ногайцева, к уплате им двухсот рублей.

— Больше ни о чем я не могу и не буду говорить, — решительно заявил он.

— А вы — чего молчите? — строго крикнул Фроленков на хромого и Егерев.

— Да ведь мы — что же? Мы вроде как свидетели, — тихо ответил Егеров, а Дудоров — добавил:

— Нам — не верят, вот — Максима послали.

— Меня послали того ради, что вы — трусы, а мне бояться некого, уж достаточно пуган, — сказал Ловцов.

Денисов тоже попробовал встать, но только махнул рукой:

— Идите в кухню, Егеров, пейте чай.

А Ловцов повернулся спиной к солидным людям и сказал:

— Вы — не можете? Понимаю: вы противоположная сторона. Мы против вас своего адвоката поставим.

Ушли. Фроленков плотно притворил за ними дверь и обратился к Самгину:

— Вот, не угодно ли...

Но его речь угрюмо прервал Денисов.

— Напрасно ты, кум, ко мне привел их. У меня в этом деле интересу нет. Теперь станут говорить, что и я тоже в чепуху эту впутался...

— А ты будто не впутан? — спросил Фроленков, усмехаясь. — Вот, Клим Иванович, видели, какой характерный мужичонка? Нет у него ни кола, ни двора, ничего ему не жалко, только бы смутянить! И ведь почти в каждом селе имеется один-два подобных, бездушных. Этот даже и в тюрьмах сживал, и по этапам гоняли его, теперь обязан полицией безвыездно жить на родине. А он жить вовсе не умеет, только вредит. Беда деревне от эдаких.

— Все пятый год нагрешил... Москва насорила, — хмуρο вставил Денисов.

— Верно! — согласился Фроленков. — Много виновата Москва пред нами, пред Россией... ей-богу, право!

— Послушать бы, чего он там говорит, — предложил Денисов, грузно вставая на ноги, и осторожно вышел из комнаты, оставив за собой ворчливую жалобу:

— Ты все-таки, Анисим, напрасно привел их ко мне...

— Ну, ничего, потерпишь, — пробормотал красавец вслед ему и присел на диван рядом с Самгиным. — Н-да, Москва... В шестом году прибыл сюда слободской здеш-

ний мужик Постников, Сергей, три года жил в Москве в дворниках, а до того — тихой был работник, мягкой... И такие начал он тут дела разворачивать, что схватили его, увезли в Новгород да там и повесили. Поспешно было сделано: в час дня осудили, а наутро — казнь. Я свидетелем в деле его был: сильно удивлялся! Стоит он, эдакой, непричесанный, а говорит судьям, как власть имущий.

Рассказывал Фроленков мягко, спокойно поглаживал бороду обеими руками, раскладывал ее по жилету, румяное лицо его благосклонно улыбалось.

«Поучает меня, как юношу», — отметил Самгин, тоже благосклонно.

— Конечно — Москва. Думу выпорили. Дума, конечно... может пользу принести. Все зависимо от людей. От нас в Думу Ногайцев попал. Его, в пятом году, потрепали мужики, испугался он, продал землишку Денисову, рожицу я купил. А теперь Ногайцева-то снова в помещики потянуло... И — напугал. Смирennemудрый, в графа Толстого верует, а — жаден. Так жаден, что нам даже и смешно, — жаден, а — неумелый.

Дверь тихонько приоткрылась, заглянул городской голова, поманил пальцами — Фроленков встал, улыбаясь, подмигнул Самгину.

— Приглашает. Идемте.

Вышли в коридор, остановились в углу около большого шкафа, высоко в стене было вырезано квадратное окно, из него на двери шкафа падал свет и отчетливо был слышен голос Ловцова:

— Ты, Егоров, старше меня на добрый десяток лет, а будто дураковатее. Может — это ты притворяешься для легкости жизни, а?

— Брось, Максим, речи твои нам известны...

— Разве мужик может верить им? Видел ты когда-нибудь с их стороны заботу об нас? Одна у них забота — шкуру драть с мужика. Какую выгоду себе получил? Нам от них — нет выгоды, есть только убыток силы.

Самгин понимал, что подслушивать под окном — дело не похвальное, но Фроленков прижал его широкой спиной своей в угол между стеной и шкафом. Слышно было, как схлебывали чай с блюдец, шаркали ножом

о кирпич, правя лезвие, старушечий голос ворчливо проговорил:

— А ты пей, пей, говорун! Гляди, опять в полицию отправят.

Жирные, удушливые кухонные запахи густо вытекали из окна.

— Вот Дудорову ногу отрезали «церкви и отечеству на славу», как ребятенки в школе поют. Вот снова начали мужикам головы, руки, ноги отрывать, а — для чего? Для чьей пользы войну затеяли? Для тебя, для Дудорова?

— Вот — собака! — радостно шепнул Фроленков. Клим Иванович Самгин выскользнул из-за его спины и, возвращаясь в комнату, подумал:

«Да, вредный мужичонка. В эти дни, когда снова поставлен вопрос: «славянские ручьи сольются ль в русском море, оно ль иссякнет...»

Посредине комнаты стоял Денисов, глядя в пол, сложив руки на животе, медленно вертя большие пальцы; взглянув на гостя, он тряхнул головой.

— Не будет толку — с Максимкой дела не свяжешь!

— Я думаю поехать в Песочное, поговорить с крестьянами непосредственно, — заявил Самгин. Денисов оживился, разнял руки и, поглаживая бедра свои, уверенно сказал:

— Тоже не будет толку. Мужики закона не понимают, привыкли беззаконно жить. И напрасно Ногайцев беспокоил вас, ей-богу, напрасно! Сами судите, что значит — мириться? Это значит — продажа интереса. Вы, Клим Иванович, препоручите это дело мне да куму, мы найдем средство мира.

Явился Фроленков и, улыбаясь, сказал:

— Ругаются. Бутылочку выпили, и — пошла пылать словесность.

— Вот тоже и вино: запретили его — везде самогон начался, ханчу гонят, древесный спирт пьют, — сердито заговорил Денисов. Фроленков весело, но не без зависти дополнил:

— А монастырь тихо-тихо продает водочку по пятишнице склянку.

— Чай пить, чай пить! — пригласила франтовато разодетая Софья и, взяв Самгина под руку, озабоченно начала спрашивать:

— Вы согласны с тем, что поворот интеллигенции к религиозному мышлению освобождает ее из тумана философии Гегеля и Маркса, делает более патриотичной и что это заслуга Мережковского?

— И понять даже нельзя, о чем спрашивает! — с восхищением прорычал Денисов, шлепнув дочь ладонью по спине. Фроленков, поддержав его восхищение звучным смехом, прибавил:

— Иной раз соберутся они, молодежь, да и начнут козырять! Сидишь, слушаешь, и — верно! Все слова — русские, а смысл — не поймать!

Клим Иванович Самгин видел, что восторги отцов — плотского и духовного — не безразличны девице, румяное лицо ее самодовольно пылает, кругленькие глазки сладостно шурются. Он не любил людей, которые много спрашивают. Ему не нравилась эта пышная девица, мягкая, точно пуховая подушка, и он был доволен, что отцы, помешав ему ответить, позволили Софье забыть ее вопрос, поставить другой:

— Вы знаете профессора Пыльников? Да? Не правда ли — какой остроумный и талантливый? Осенью он приезжал к нам на охоту... тут у нас на озере масса диких гусей...

— Н-да, диких, — скептически вставил Денисов. Дочь рассказывала:

— Их было трое: один — поэт, огромный такой и любит покушать, другой — неизвестно кто.

— Известно, — сказал Фроленков. — Разжалованный чиновник какой-то, Тагильский фамилия.

«Однофамилец», — подумал Самгин, но все-таки спросил: — Каков он собой?

— Неприятный, — сказала девушка, наморщив переносье. Самгин невольно и утвердительно кивнул головой.

— Небольшой такой, хворый. Седой. Молчаливый, — добавил Фроленков к слову крестницы.

Девица снова начала ставить умные вопросы, и Самгин, достаточно раздраженный ею, произнес маленькую речь:

— Вас очень многое интересует, — начал он, стараясь говорить мягко. — Но мне кажется, что в наши дни интел-

ресы всех и каждого должны быть сосредоточены на войне. Воюем мы не очень удачно. Наш военный министр громогласно, в печати заявлял о подготовленности к войне, но оказалось, что это — неправда. Отсюда следует, что министр не имел ясного представления о состоянии хозяйства, порученного ему. То же самое можно сказать о министре путей сообщения.

Указав на отсутствие согласованности дорожного строительства с целями военной обороны, он осторожно поговорил о деятельности министерства финансов.

— Живем — в долг, на займы у французских банкиров, задолжали уже около двадцати миллиардов франков.

Начал он свою речь для того, чтоб заткнуть рот просвещенной девицы, но быстро убедился, что он репетирует, и удачно. Убедило его в этом напряженное внимание Фроленкова и Денисова, кумовья сидели не шевелясь, застыв в неподвижности до того, что Фроленков, держа в одной руке чайную ложку с медом, а другой придерживая стакан, не решался отправить ложку в рот, мед таял и капал на скатерть, а когда безмолвная супруга что-то прошептала ему, он, в ответ ей, сердито оскалил зубы. Денисов сидел отваливаясь на спинку стула, выкатив глаза, положив тяжелую руку на круглое плечо дочери, и вздыхал, посапывая. Внимание, так наглядно выраженное крупными жителями маленького, затерянного в болотах города, возбуждало красноречие и чем-то обнадеживало Клима Ивановича, наблюдая за ними, он попутно напомнил себе, что таких — миллионы, и продолжал говорить более смело, твердо.

— Прибавьте к этому, что у нас возможно нечто фантастическое, уродливое, недопустимое в Европе. Я имею в виду Распутина. Вероятно, половину всего, что говорится о его влиянии на царицу, царя, — половина этого — выдумки, сплетни. Но все же остается факт: в семье царя играет какую-то роль... темный человек, малограмотный, продажный. Вы слышали вчера проповедника, которого я знал юношей, когда он был столяром. Это человек... жалкий, человек, так сказать, засоренного ума. Но он — честный, искренно верующий в бога, возлюбивший людей. Распутин, по всей видимости, не таков.

Фроленков больше не мог молчать, он сунул ложку в стакан, схватив рукой бороду у подбородка, покачиваясь, под ним заскрипел стул.

— Ведь вот ведь как правда-то звенит!..

— Что же делать-то? — прискорбно спросил Денисов. — Ах ты, господи!..

— Надобно расширить круг внимания к жизни, — докторально посоветовал Клим Иванович. — Вы, жители многочисленных губерний, уездов, промысловых сел, вы — настоящая Русь... подлинные хозяева ее, вы — сила, вас миллионы. Не миллионеры, не чиновники, а именно вы должны бы править страной, вы, демократия... Вы должны посылать в Думу не Ногайцевых, вам самим надобно идти в нее.

— А — дела-то? Дела-то — как? — ноющим тоном спросил Фроленков.

— В делах — стеснение! — угрюмо зарычал Денисов. — Война эта... Покою нет! Дела покоя требуют.

— Да, вот — мужики там, в кухне, — вспомнил Фроленков.

— Да пошли ты их к чертовой матери, — мрачно зарычал Денисов. — Пускай на постоянный идут. Завтра, скажи, завтра поговорим! Вы, Клим Иванович, представьте нам все это. Мы Ногайцеву скажем... напишем. Пустяковое дело. Вы — не беспокойтесь. Мужика мы насквозь знаем!

Фроленков послал к мужикам жену, а сам встал и, выходя в соседнюю комнату, позвал:

— Кум, поди-ко сюда!

Воспользовавшись уходом отцов, девица Софья тотчас спросила:

— Вы читали книгу Родионова «Наше преступление»?

— Нет, — сухо сказал Самгин.

Ей было жарко. Сильно подрумяненная теплом и чаем, она обмахивала толстенькое личико платком в кружевах, — пухлая ручка мелькала в глазах Самгина.

«Горничная», — определил он, а девица говорила бойко и торопясь:

— Замечательная. Он — земский начальник в Боровичах. Он так страшно описал своих мужиков, что профес-

сор Пыльников — он тоже из Боровичей — сказал: «Все это — верно, но Родионов уже хочет восстановить крепостное право». Скажите: крепостное право нельзя уже возобновить?

— А — вам хочется, чтоб восстановили?

— Я не понимаю политики, не люблю. Но надо же что-нибудь делать с мужиками, если они такие...

Выглянув из двери, Фроленков спросил:

— В стуколку не играете?

— Нет.

— А в рамс?

— Кажется — могу.

— Тогда — пожалуйста! До ужина схватимся, поиграем.

Клим Иванович был удовлетворен своим выступлением, кумовья все больше нравились ему, он охотно сел играть, играл счастливо, выиграл 83 рубля, и, когда прятал деньги, — у него даже мелькнуло подозрение:

«Точно взятку дали. Впрочем — за что? Я иногда бываю несправедлив к людям».

Потом сытно ужинали, крепко выпили. Самгин лег спать не помня себя и был разбужен Денисовым около полудня.

— Надо вставать, а то не поспеете к поезду, — предупредил он. — А то — может, поживете еще денечек с нами? Очень вы человек — по душе нам! На ужин мы бы собрали кое-кого, человек пяток-десяток, для разговора, ась?

Самгин сказал, что он тоже очень рад знакомству с такими почтенными людьми, но остаться не может, надо ехать в Ригу.

— Все по военным делам? Э-эх, война, война...

Часа три до Боровичей он качался в удобном, на мягких рессорах, тарантасе, в Боровичи попал как раз к поезду, а в Новгороде повторилось, но еще более сугубленно, испытанное им.

В буфете, занятом офицерами, маленький старичок-официант, бритый, с лицом католического монаха, нашел Самгину место в углу за столом, прикрытым лавровым

деревом, две трети стола были заняты колонками тарелок, на свободном пространстве поставил прибор; делая это, он сказал, что поезд в Ригу опаздывает и неизвестно, когда придет, станция загромождена эшелонами сибирских солдат, спешно отправляемых на фронт, задержали два санитарных поезда в Петроград.

— А тут еще беженцы из Польши толкуются...

«Знает, что говорит члену Союза городов», — отметил Самгин и спросил:

— Беспорядок?

— Сами в себе запутались — тяжело глядеть, — сказал старичок.

Обычный шум мирной работы ножей и вилок звучал по-новому, включая в себя воинственный лязг ножен сабель. За окнами, на перроне, пела, ревела и крякала медь оркестра, музыку разрывали пронзительные свистки маневренных паровозов, тревожные сигналы стрелочников, где-то близко гудела солдатская песня. Офицерство, туго связанное ремнями портупей, вело себя размашисто и очень крикливо. Было много женщин и цветов, стреляли бутылки шампанского, за большим столом посредине ресторана стоял человек во фраке, с раздвоенной бородой, высоколобый, лысый, и, высоко, почти над головою, держа бокал вина, говорил что-то. До Самгина долетали только отдельные слова:

— Наша ошибка... Не следовало... И мы в 71 году могли... И вместо группы маленьких государств — получили Германию.

— Ус-спокойся, папаша! — кричал молодой, звонкий голос. — Воз-звратим пруссаков в первобытное состояние. За нашу армию — ур-ра!

Ура кричали охотно, хотя и нестройно. Кто-то предложил:

— Здоровье его величества...

— Отставить!

— Па-ачему?

— Кто это смел?

— В кабаке не место славить государя!

— Верно!

— Нет, позвольте...

Блаженно улыбаясь, к лавровому дереву подошел маленький, тощий офицер и начал отламывать ветку лавра. Весь он был новенький, на нем блестящие ремни, пряжки. Сияли большие глаза. Смуглое, остроносое лицо с маленькой черной бородкой «заставило Самгина подумать):

«Д'Артаньян».

Он был сильно пьян, покачивался, руки его действовали неверно, ветка не отрывалась, — тогда он стал вытаскивать саблю из ножен. Самгин встал со стула, сообщив, что, если воин начнет пилить или рубить лавр... Самгин поспешно шагнул прочь, остановился у окна.

Подбежал старичок-официант:

— Позвольте — я ножичком...

Офицер, улыбаясь, посмотрел на него, пробормотал:

— Пшел прочь! — взмахнул саблей, покачнувшись назад и рубнул дерево, — отлетело несколько листьев, сабля ударила по тарелкам на столе.

Сбоку Клима Ивановича что-то рявкнуло и зарычало, он взглянул в окно, отделенные от него только стеклами двойных рам, за окном корчились, страшно гримасничая, бородатые, зубастые лица. Сабля офицера не испугала его, но эти два лица заставили вздрогнуть. Вот их уже не два, а пять, десять и больше. Оскаливая зубы, вероятно быстро умножились они. Двое рассказывают, взмахивая руками, возбуждают неслышный смех группы тесно прижавшихся друг к другу серых, точно булыжник, бесформенных людей. Они все плотнее наваливаются на окно, могут выдавить стекла, вломиться в ресторан.

Какие-то секунды Самгин чувствовал себя в состоянии, близком обмороку. Ему даже показалось, что он слышит ревущий нечеловеческий смех и что смех погасил медный вой и покрякивание труб оркестра, свист паровозов, сигналы стрелочников.

Два дородных жандарма вели рубаку, их сопровождал толстый офицер; старичок, собирая осколки тарелок, рассказывал ворчливо:

— Каждый день что-нибудь эдакое вытворяют. Это — второй сегодня, одного тоже отвели в комендатуру: забрался в дамскую уборную и начал женщинам показывать свою особенность.

— Кофе дайте мне, кофе, — попросил Самгин, искоса поглядывая на окно, стирая платком пот с лица и шеи.

За большим столом военные и штатские люди, мужчины и женщины, стоя, с бокалами в руках, запели «Боже, царя храни» отчаянно громко и оглушая друг друга, должно быть, не слыша, что поют неверно, фальшиво. Неистовое пение оборвалось на словах «сильной державы» — кто-то пронзительно закричал:

— Как вы смее сомневаться в силе императорской армии?

— Следует занавешивать окна, — сказал Самгин, когда старик подал ему кофе.

— Занавеси взяли для госпиталя. А конечно, следует. Солдатам водки не дают, а офицера, извольте видеть... Ведь не одним шампанским питаются, употребляют напитки и покрепче...

Самгин искоса поглядывал на окно. Солдат на перроне меньше, но человека три стояло вплоть к стеклам, теперь их неясные, расплывшиеся лица неподвижны, но все-таки сохраняют что-то жуткое от безмолвного смеха, только что искажавшего их.

«Собраны защищать отечество, — думал Самгин. — Как они представляют себе отечество?»

Этот интересный вопрос тотчас же и с небывалой остротой встал пред ним, обращаясь к нему, и Клим Иванович торопливо нашел ответ:

«Представление отечество недоступно человеку массы. «Мы — не русские, мы — самарские». Отечество — это понятие интеллектуальной силы. Если нет знания истории отечества, оно — не существует».

Людей в ресторане становилось все меньше, исчезали одна за другой женщины, но шум возрастал. Он сосредоточивался в отдаленном от Самгина углу, где собрались солидные штатские люди, три офицера и высокий, лысый человек в форме интенданта, с сигарой в зубах и с крестообразной черной наклейкой на левой щеке.

— Учиться нам следовало бы, учиться, а не драться, — гулким басом говорил он. — Драться мы умеем только с турками, да и тех не дают нам бить...

— Бисмарк сказал...

— И — помер.

— И все мы помрем...

«История — результат культурной деятельности интеллигенции. Конечно — так. Учение о роли классов в истории? Это — одна из бесплодных попыток теоретического объяснения социальных противоречий. Не буржуа, не пролетарии пишут историю, а некто третий».

«Некто в сером?» — неуместно подсказала память.

Он смотрел в маленький черный кружок кофе, ограниченный краями чашки, и все более торопливо пытался погасить вопрос, одновременно вылавливая из шума различные фразы.

— Для меня отечество — нечто, без чего я не могу жить полной жизнью.

— Господа! Разрешите напомнить: здесь не место для политических споров, — внушительно крикнул кто-то.

«И для споров с самим собою», — добавил Самгин, механически продолжая спор. «Неверно: в Париже интереснее, приятнее жить, чем в Петербурге...»

— Мы проиграли в Польше потому, что нас предают евреи. Об этом еще не пишут газеты, но об этом уже говорят.

— Газеты в руках евреев...

— Предательство этой расы, лишенной отечества богом, уже установлено, — резко кричал, взвизгивая на высоких нотах, человек с лысой головой в форме куриного яйца, с красным лицом, реденькой серой бородкой.

— Чорт возьми! Но позвольте же: имею я, землевладелец, право говорить об интересах моего хозяйства?

— Не имеете. Во дни войны все права граждан законно узурпирует государь император.

Пронзительно зазвенел колокольчик, и раздался крик:

— Поезд на Ригу подходит...

Суматошно заскрипели стулья и столы, двигаясь по полу, задребезжала посуда, кто-то истерически завопил:

— Господа! В этот роковой час...

— Почему — роковой, чорт возьми?

Через десяток минут Самгин сидел в вагоне второго класса. Вагон был старый, изъезженный, скрипел, гремел и подпрыгивал до того сильно, как будто хотел соскочить с рельс. Треск и судороги его вызвали у Самгина

впечатление легкости, ненадежности вагона, туго нагруженного людьми. Три лампочки — по одной у дверей, одна в середине вагона — тускло освещали людей на диванах, на каждом по три фигуры, люди качались, и можно было подумать, что это они раскачивают вагон. Самгина толкала, наваливаясь на его плечо, большая толстая женщина в рыжей кожаной куртке с красным крестом на груди, в рыжем берете на голове; держа на коленях обеими руками маленький чемодан, перекачивая голову по спинке дивана, посвистывая носом, она спала, ее грузное тело рыхло колебалось, прыжки вагона будили ее, и, просыпаясь, она жалобно вполголоса бормотала:

— Ах, боже мой, пардон...

У окна сидел и курил человек в поддевке, шелковой шапочке на голове, седая борода его дымилась, выпуклыми глазами он смотрел на человека против него, у этого человека лицо напоминает благородную морду датского дога — нижняя часть слишком высунулась вперед, а лоб опрокинут к затылку, рядом с ним дремали еще двое, один безмолвно, другой — чмокая с сожалением и сердито. Сумрак показывал всех людей уродливыми, и это очень совпадало с настроением Самгина, — он чувствовал себя усталым, разбитым, встревоженным и опускающимся в бессмыслицу Иеронима Босха. Грустно вспоминался маленький городок, прикрепленный к земле десятком церквей, теплый, ласковый дом Денисова, умный красавец Фроленков.

Человек с лицом дога, окутанный клетчатым пледом, вполголоса говорил:

— Понимаешь — хозяин должен знать хозяйство, а он — невежда, ничего не знает. Закладывали казармы императорских стрелков, он, конечно, присутствовал. «Удивительное, говорит, дело: кладут в одно место всякую дрянь, поливают чем-то, и выходит крепко».

— Постой, погоди, — басом и с радостью негромко вскричал седобородый. — Это же — замечательно, это его представление о государстве!

— Ну, он едва ли способен на иронию!

«Это о царе говорят», — решил Самгин, закрывая глаза. В полной темноте звуки стали как бы отчетливей. Стало слышно, что впереди, на следующем диване,

у двери, струится слабенький голосок, прерываемый сухим, негромким кашлем, — струится, выговаривая четко.

— Мы почти уже колония. Металлургия наша на 67 процентов в руках Франции, в деле судостроения французский капитал имеет 77 процентов. Основной капитал всех банков наших 585 миллионов, а иностранного капитала в них 434; в этой — последней — сумме 232 миллиона — французских.

«Вероятно, какой-нибудь нищий, — подумал Самгин. — Еще один Тагильский, помешанный на цифрах».

— Мы воюем потому, что господин Пуанкаре желает получить реванш за [18]71 год, желает получить обратно рудоносную местность, отобранную немцами сорок три года тому назад. Наша армия играет роль наемной...

Негромкую речь прервал возмущенный возглас:

— Ах, вот в чем дело! Вы излагаете воззрения анархиста Ленина, да? Вы — так называемый большевик?

— Нет, я не большевик.

— О, полноте! Я — грамотен...

— Но Ленин — человек, который отлично умеет считать...

— Подожди, Игорь, — вмешался третий голос, а четвертый сказал басовито:

— Поспорить — успеем.

— Так, говорите, — Ленин?

— Считают у нас — плохо, — сказал седобородый, кивнув головой.

— Основная наша промышленность — текстиль — вся в наших руках!

— То есть в руках Второвых и Рябушинских.

— Ну, а — как же иначе?

Снова и сначала невнятно, сквозь оживленные голоса, пробился слабый голос, затем Самгин услышал:

— Если откинуть фантастическую идею диктатуры пролетариата — у Ленина многому могли бы поучиться наши министры, он экономист исключительных знаний и даровитости... Да, на мой взгляд, и диктатура рабочего класса...

Резко свистнул локомотив и тотчас же как будто наткнулся на что-то, загрохотали вагоны, что-то лопнуло, как выстрел, заскрежетал тормоз, кожаная женщина

с красным крестом вскочила на ноги, ударила Самгина чемоданом по плечу, закричала:

— Ой, боже мой, боже мой, — что это, что?

Все люди проснулись, вскочили на ноги, толкая друг друга, побежали к дверям.

— Крушение, — сказал Самгин, плотно прижимаясь к спинке дивана, совершенно обессиленный встряской, треском, паникой людей. Кто-то уже успокаивал взволнованных.

— Перед самым входом на станцию — закрыли семафор. Машинист — молодчина ..

— Вот видите? — упрекнула дама Самгина. — А вы кричите крушение!

— Я не кричал.

— Ну, — как же это? Я слышала! Вы из Союза городов?

И она тотчас же возмущенно заговорила, что Союз городов — организация, не знающая, зачем она существует и что ей нужно делать, какие у нее права.

Самгин сердито заявил, что критика Союза преждевременна, он только что начинает работу, но женщина убежденно возразила:

— Вы уже мешаете нам, «Кресту», мешаете интендантству ..

А человек с лицом дога небрежно вставил:

— Союзы, земский и городов, очень хорошо знают, чего хотят: они — резерв армии Милюкова, вот кто они. Закроют Думу — они явятся как организация политическая, да-с!

Самгин возражал неохотно, междометиями, пожиманием плеч, вопросами. Он сам не совсем ясно представлял себе цели Союза, и ему понравилась мысль о возможности широкого объединения демократии вне партий Думы. Тотчас же и помимо его воли память, развращенная и угодливая, иронически подсказала. «Кладут в одно место всякую дрянь, поливают чем-то, и выходит крепко»... Но спорить и думать о такой организации ему мешало неприятное, даже тягостное впечатление: он был уверен, что пять минут тому назад мимо его прошел Тагильский. Да, это был несомненно Тагильский, но уменьшенных размеров. Шел он медленно, глядя под ноги себе,



А. М. ГОРЬКИЙ
Сорренто. 1932 г.

его толкали, он покачивался, прижимаясь к стене вагона, и секунды стоял не поднимая головы, почти упираясь в грудь свою широким бритым подбородком.

Поезд стоял, голоса разбуженных людей звучали более внятно и почти все раздраженно, сердито; слышнее струилась неторопливая речь Тагильского:

— Национальное имущество России исчисляется суммой 120 миллиардов, если не ошибаюсь. В это имущество надо включить изношенные заводы Урала и такие предметы, как, например, сверлильный станок 1845 [года] и паровой молот 1837 [года], работающие в екатеринбургских железнодорожных мастерских...

— Казенное, чиновничье хозяйство...

— В текстильном производстве у нас еще уцелели станки семидесятых годов. В национальное имущество надо включить деревянный рабочий инвентарь крестьянства — сохи, бороны...

«Все считает, считает... Странная цель жизни — считать», — раздраженно подумал Клим Иванович и перестал слушать сухой шорох слов Тагильского, они сыпались, точно песок. Кстати — локомотив коротко свистнул, дернул поезд, тихонько покатыл его минуту, снова остановил, среди вагонов, в грохоте, скрежете, свисте, резко пропела какой-то сигнал труба горниста, долетел отчаянный крик:

— Смирно-о!

И еще раз напомнил сердитый голосок горбатенькой девочки:

«Да — что вы озорничаете? Не ваши детеныши-то!»

Вот локомотив снова свистнул и как будто озлобленно дернул вагоны, заставив кожаную даму схватить Самгина за колено, а седобородого пассажира — за плечо.

— Ах, боже мой... Пардон. Ужас, как у нас ездят машинисты, — сказала она и, подумав, объяснила: — Точно по проселочной дороге.

— Поезд отправляется через две минуты, — возгласил кондуктор, проходя по вагону.

Никогда еще минуты не казались Климу Ивановичу Самгину так истязające длительными. Впоследствии он нередко вспоминал эту бессонную тревожную ночь, —

ему казалось, что именно с этой ночи окончательно установилось его отношение к жизни, к людям.

Резкий толчок, рванув поезд, заставил его подумать о машинисте:

«Полуграмотному человеку, какому-нибудь слесарю, поручена жизнь сотен людей. Он везет их сотни верст. Он может сойти с ума, прыгнуть на землю, убежать, умереть от паралича сердца. Может, не щадя своей жизни, со зла на людей устроить крушение. Его ответственность предо мной... пред людьми — ничтожна. В пятом году машинист Николаевской дороги увез революционеров-рабочих на глазах карательного отряда...»

«Власть человека, власть единицы — это дано навсегда. В конце концов, миром все-таки двигают единицы. Массы пошли истреблять одна другую в интересах именно единиц. Таков мир. «Так было — так будет».

«Мне следует освободить память мою от засоренности книжной... пылью. Эта пыль радужно играет только в лучах моего ума. Не вся, конечно. В ней есть крупинцы истинно прекрасного. Музыка слова — ценнее музыки звука, действующей на мое чувство механически, разнообразием комбинаций семи нот. Слово прежде всего — оружие самозащиты человека, его кольчуга, броня, его меч, шпага. Лишние фразы отягощают движение ума, его игру. Чужое слово гасит мою мысль, искажает мое чувство».

Ничего нового не было в этих мыслях, но они являлись в связи более крепкой и с большей уверенностью, чем когда-либо раньше.

На рассвете поезд медленно вкатился в снежную метель, в свист и вой ветра, в суматоху жизни города, тесно набитого солдатами. Они толпились на вокзале, ветер гонял их по улицам, группами и по одному, они шагали пешком, ехали верхом на лошадях и на зеленых телегах, везли пушки, и всюду в густой, холодно кипевшей снежной массе двигались, мелькали серые фигуры, безоружные и с винтовками на плече, горбатые, с мешками на спинах. Снег поднимался против них с мостовой, сыпался на головы с крыш домов, на скрещении улиц кружились и свистели вихри.

Клим Иванович Самгин был одет тепло, удобно и настроен мужественно, как и следовало человеку, призванному участвовать в историческом деле. Осыпанный снегом необыкновенный извозчик в синей шинели с капюшоном, в кожаной финской шапке, краснолицый, усатый, очень похожий на портрет какого-то исторического генерала, равнодушно, с акцентом латыша заявил Самгину, что в гостиницах нет свободных комнат.

Седые усы его росли вверх к ушам, он был очень большой, толстый, и экипаж был большой, а лошадь — маленькая, тощая, и бежала она мелким шагом, как старушка. Извозчик свирепо выкрикивал:

— Оё, оё! — его крепко ругали, один солдат даже толкнул в бок лошади прикладом ружья.

В трех гостиницах места действительно не оказалось, в четвертой заявили, что дают каждую комнату на двоих. В комнате, отведенной Самгину, неряшливо разбросана была одежда военного, на столе лежала сабля и бинокль, в кресле — револьвер, привязанный к ремню, за ширмой кто-то всхрапывал, как ручная пила. Самгин постоял перед мутным зеркалом, приводя в порядок измятый костюм, растрепанные волосы, нашел, что лицо у него достаточно внушительно, и спустился в ресторан пить кофе. К нему тотчас же подошел высокий человек с подвязанной челюстью и сквозь зубы спросил: не он ли эвакуирует какой-то завод? А вместе с официантом, который принес кофе, явился и бесцеремонно сел к столу рыжеватый и, задумчиво рассматривая ногти свои, спросил скучным голосом:

— Что же вы намерены делать с вашим сахаром? Ой, извините, это — не вы. То есть вы — не тот... Вы — по какому поводу? Ага! Беженцы. Ну вот и я тоже. Командирован из Орла. Беженцев надо к нам направлять, вообще — в центр страны. Но — вагонов не дают, а пешком они, я думаю, перемерзнут, как гуси. Что же мы будем делать?

Говорил он так, что было ясно: думает не о том, что говорит. Самгин присмотрелся к его круглому лицу с бородавкой над правой бровью и подумал, что с таким лицом артисты в опере «Борис Годунов» поют роль Дмитрия.

Самгин отметил, что только он сидит за столом одиноко, все остальные по двое, по трое, и все говорят негромко, вполголоса, наклоняясь друг к другу через столы. У двери в биллиардную, где уже шелкали шары, за круглым столом завтракают пятеро военных, они, не стесняясь, смеются, смех вызывает дородный, чернобородый интендант в шелковой шапочке на голове, он рассказывает что-то, густой его бас звучит однотонно, выделяется только часто повторяемое:

— Я говрю: ваш прес-тво...

— Чудовищная путаница, — говорил человек с бородавкой. — Все что-то теряют, чего-то ищут. Из Ярославля в Орел прибыл вагон холста, немедленно был отправлен сюда, а немедленно здесь — исчез.

— Мыло, — сказал кто-то за спиной Самгина.

— Что? — небрежно спросил сосед Самгина, заглядывая через его плечо.

— Мыло тоже украли.

— Почему — украли?

— Почему воруют? Очевидно — спорт...

— Почему вы думаете, что украли?

— А как прикажете думать?

Клим Иванович Самгин был утомлен впечатлениями бессонной ночи. Равнодушно слушая пониженный говор людей, смотрел в окно, за стеклами пенился густой снег, мелькали в нем бесформенные серые фигуры, и казалось, что вот сейчас к стеклам прильнут, безмолвно смеясь, бородастые, зубастые рожи.

— Послушайте, — обратился он к официанту, — нельзя ли достать рюмку водки?

— Не надо, — дай две чашки, — сказал человек с бородавкой и вынул из-за пазухи плоскую флягу: — Коньяк, Мартель. А они вас денатуратом угостят.

— Благодарю, но...

— Ну, что там? Мы — на войне.

Затем, наливая коньяк в чашки, он назвал себя:

— Яков Петрович Пальцев. — Посмотрев в лицо Самгина тяжелым стесняющим взглядом мутноватых глаз неопределимого цвета, он взмахнул головой, опрокинул коньяк в рот и, сунув за щеку кусок сахара, болезненно наморщил толстый нос. Бесцеремонность Пальцева, его

небрежная речь, безучастный взгляд мутных глаз — все это очень возбуждало любопытство Самгина; слушая скучный голос, он определял:

«Ему — лет сорок. Неудачник. Вероятно — «все равно, все наскучило давно».

— Здесь — множество спекулянтов и жуликов, — рассказывал Пальцев, закуривая папиросу с необыкновенно длинным мундштуком. — Некоторые одеты земгоргусарами, так же, как вы. Я не успел сшить форму. Человек, который сидел сзади вас, — Изаксон, Изаксон и Берман — техническая контора, импорт машин, станков, электроарматуры и прочее и тому подобное. Оба — мощенники, состоят под судом.

Он снова вынул флягу, налил коньяку в чашки, Самгин поблагодарил, выпил и почувствовал, что коньяк имеет что-то родственное с одеколоном. Поглаживая ладонью рыжие волосы, коротко стриженные и вихрастые, точно каракуль, двигая бровями, Пальцев предупреждал:

— Изаксон, конечно, предложит услужить вам, — это значит: обжулить. Меня уже нагрел на две тысячи.

— А как могут сделать это? — спросил Самгин.

— Уж они знают — как. В карты играете? Нет. Это — хорошо. А то вчера какой-то болван три вагона досок проиграл: привез в подарок «Красному Кресту», для гробов, и — проиграл...

Все время непрерывно в ресторане колебался приглушенный, озабоченный говорок, в бильiardной щелкали шары, в буфете торопливо дребезжала посуда, и вдруг весь этот шум одним взмахом смел звонко ликующий тенор:

— Ур-ра!

Эх, бузулукцы удалые
Помнят верные слова...

Десяток голосов дружно, на плясовой мотив подхватил:

Наша матушка Россия
Всеми свету голова!

И по паркету в бильiardной дробно, под свист и рев голосов застучали каблуки.

— Должно быть — газеты, — пробормотал Пальцев, встал и ушел торопливо. Самгин отметил, что торопливость не совпадает с коренастой тяжелой фигурой и поведением этого человека. Клим Иванович упрекнул себя за то, что не успел спросить Пальцева, где расквартированы беженцы, каков порядок и техника их эвакуации, и вообще ознакомиться с приемами этой работы. Ему хотелось знать все это раньше, чем он встретит местных представителей Союза городов, хотелось явиться к ним человеком осведомленным и способным работать независимо от каких-то, наверное, подобных ему. Он посидел еще десяток минут, слушая, как в бильярдной яростно вьется, играет песня, а ее режет удалой свист, гремит смех, барабанят ноги плясунов, и уже неловко было сидеть одному, как бы демонстрируя против веселья героев. Хотелось взглянуть туда, но дверь была плотно заткнута, почти все, кто был в ресторане, сгрудились около нее.

Он встал, пошел к себе в комнату, но в вестибюле его остановил странный человек, в расстегнутом пальто на меху, с каракулевой шапкой в руке, на его большом бугристом лице жадно вытаращились круглые, выпуклые глаза, на голове — клочья полуседой овечьей шерсти, голова — большая и сидит на плечах, шеи — не видно, человек кажется горбатым.

— Простите, — сказал он тихо, поспешно, с хрипотцой. — Меня зовут — Марк Изаксон, да! Лицо весьма известное в этом городе. Имею предупредить вас: с вами говорил мошенник, да. Местный парикмахер, Яшка Пальцев, да. Шулер, игрок. Спекулянт. Вообще — мерзавец, да! Вы здесь новый человек... Счел долгом... Вот моя карточка. Извините...

Он повернулся спиной к Самгину и хрипло спросил или сообщил кому-то:

— Готово.

На карточке Самгин прочитал знакомые слова: «М. Изаксон и К. Берман, техническая контора».

«Этот — явный мошенник», — решил Клим Иванович. Через несколько минут он сидел в экипаже, щедро осыпaeмый снегом. Вьюга бушевала все так же яростно, тучи снега казались тяжелее, гуще, может быть, потому, что день стал светлее. Сквозь быстро летевшие облака

без конца, отряд за отрядом, шли солдаты, штыки расчесывали облака снега, как зубцы гребенки. Снег сыпался на них с крыш, бросался под ноги, налетал с боков, <а солдаты> шли и шли, утаптывая сугробы, шли безмолвно, неслышным шагом, в глубокой каменной канаве, между домов, бесчисленные окна которых ослеплены снегом. Было нечто очень жуткое, угнетающее в безмолвном движении тысяч серых фигур, плечи, спины солдат обросли белым мохом, и выюга как будто старалась стереть красные пятна лиц. Самгину показалось, что никогда еще он не слышал, чтоб ветер свистел и выл так злобно, так непрерывно.

Затем Клим Иванович целый час сидел в теплом и солидно обставленном кабинете, слушая жалобы большого, рыхлого человека, с двойным подбородком, с благодушным лицом престарелой кормилицы. Холеное, голое лицо это, покрытое туго натянутой, лоснящейся, лайковой кожей, голубоватой на месте бороды, наполненное розовой кровью, с маленьким пухлым ртом, с верхней губой, капризно вздернутой к маленькому, мягкому носу, ласковые, синеватые глазки и седые, курчавые волосы да и весь облик этого человека вызывал совершенно определенное впечатление — это старая женщина в костюме мужчины.

Беспомощно разводя руками над столом, он говорил лирическим сопрано, кротко, хотя и обиженно:

— Все мои сочлены по Союзу — на фронте, а я, по силе обязанностей управляющего местным отделением Русско-Азиатского банка, отлучаться из города не могу, да к тому же и здоровье не позволяет. Эти беженцы сконцентрированы верст за сорок, в пустых дачах, а оказалось, что дачи эти сняты «Красным Крестом» для раненых, и «Крест» требует, чтоб мы немедленно освободили дачи.

Речь его текла гладко, спокойно, и было ясно, что ему нравится говорить.

— Совершенно невозможно понять — кто это направил сюда беженцев? А они, знаете, все евреи, бедняки и эдакие истерические, кричат. Масса детей у них, дети умирают, холодно, и кушать нечего! И затем какие-то плотники, их выписали в Брест-Литовск, а оттуда —

выгнали, подрядчик у них сбежал, ничего не заплатив, и теперь они тоже волнуются, требуют денег, хлеба, рубят там деревья, топят печи, разобрали какие-то службы, делают гроба, торгуют — смертность среди беженцев высокая! И вообще — своевольничают. А латыши народ черствый, и эта рубка деревьев, порча надворных служб... это, конечно, и не латышу обидно! Так что вы, уважаемый Клим Иванович, пожалуйста, развяжите... этот... гордиев узел! Главное — плотники! Там у них есть эдакий ходатай, неприятнейший молодой человек, но — он знает всю эту историю. Телефонирую, чтоб он встретил вас. Его фамилия — Лосев.

Покончив с этими жалобами, он в тоне гораздо более бодром заговорил о недостатке товаров, повышении цен на них, о падении цены рубля.

— Начали воевать — рубль стоил 80 копеек на золото, а сейчас уже 62 и обнаруживает тенденцию опуститься до полтинника. Конечно, «нет худа без добра», дешевый рубль тоже способен благотворно отразиться... но все-таки, знаете... Финансовая политика нашего министерства... не отличается особенной мудростью. Роль частных банков слишком стеснялась.

И, постепенно понижая голос, он вдруг воскликнул:

— А ведь мы встречались! Помните? Где-то в провинции — в Нижнем, в Самаре? Я тогда носил бороду, и меня интересовало сектантство...

— Кормилицын! — вспомнил Клим Самгин и вспомнил, что уже тогда человек этот показался ему похожим на женщину.

— Вот именно! — подтвердил финансист, обрадованно улыбаясь. — Но это мой псевдоним.

Для Самгина это была встреча не из тех, которые радуют, да и вообще он не знал таких встреч, которые радовали бы. Однако в этот час он определенно почувствовал, что, когда встречи с людьми будили в нем что-то похожее на зависть, на обиду пред легкостью, с которой люди изменяли свои позиции, свои системы фраз, — это было его ошибкой.

«Неправильность самооценки, недостаток уверенности в себе. Факты эти не должны были смущать меня. Напротив: я имею право гордиться моей устойчи-

востью», — соображал он, сидя в вагоне дороги на Варшаву.

Вьюга все еще бесилась, можно было думать, что это она дергает и раскачивает вагон, пытается сорвать его с рельс. Локомотив, натужно посвистев, осторожно подтащил поезд к перрону дачного поселка. Самгин вышел из вагона в кипящую холодную пену, она тотчас залепила его очки, заставила снять их.

— Смир-рно! — взревел высокий военный, одной рукой отдавая честь, другой придерживая саблю, но тотчас же испуганно крикнул:

— Отставить!

Сзади его стояло десятка три солдат, вооруженных деревянными лопатами, пробежал кондуктор, командуя:

— Сажай, сажай! Вагон рядом с почтовым! Живо!

— Бегом — арш!

Солдаты исчезли, на перроне остались красноголовая фигура начальника станции и большой бородатый жандарм, из багажного вагона прыгали и падали неуклюжие мешки, все совершалось очень быстро, вьюга толкнула поезд, загребели сцепления вагонов, завизжали рельсы. Самгин стоял, защищая рукой в перчатке лицо от снега, ожидая какого-то молодого человека, ему казалось, что время ползет необыкновенно медленно и даже не ползет, а как бы кружится на одном месте. И он догадывался, что не имеет ясного представления о том, что должен делать здесь. К нему подошел начальник станции, спросил хриплым голосом:

— Вы от Союза к беженцам? Так — пожалуйста: они тут, сейчас же за вокзалом, серый дом.

— Меня должен был встретить некто Лосев.

— Локтев, вероятно. Михаил Иванов Локтев, — очень громко сказал начальник станции, и неподвижно стоявший жандарм крупным, но неслышным шагом подошел к Самгину.

— Локтев временно выехал. В сером доме — русские есть, — сообщил жандарм и, махнув рукой на мешки, покрытые снегом, спросил: — Это ваш печеный хлеб?

— Нет. Вы проводите меня?

— Пожалуйста, — согласился жандарм и заворчал: — На тысячу триста человек прислали четыре мешка,

а в них десять пудов, не больше. Деятели... Третьи сутки народ без хлеба.

Прошли сквозь вокзал, влезли в глубокие сугробы.

«Локтев, — соображал Самгин, припоминая неприятного юношу, которому он любил делать выговоры. — Миша. Кажется, я знаком уже с половиной населения страны».

Явилась мысль очень странная и даже обидная: всюду на пути его расставлены знакомые люди, расставлены как бы для того, чтоб следить: куда он идет? Ветер сбросил с крыши на голову жандарма кучу снега, снег попал за ворот Клима Ивановича, набился в ботинки. Фасад двухэтажного деревянного дома дымился белым дымом, в нем что-то выло, скрипело.

— Здесь — поляки и жидаы, — сердито сказал жандарм. — У жидов помер кто-то. Всё — слышите — воют?

В комнате, кроме той двери, в которую вошел Самгин, было еще две, и в нее спускалась из второго этажа широкая лестница в два марша. Из обеих дверей выскочили, точно обожженные, подростки, девицы и юноши, расталкивая их, внушительно спустились с лестницы бородатые, тощие старики, в длинных одеждах, в ермолках и бархатных измятых картузах, с седыми локонами на щеках поверх бороды, старухи в салопках и бурнусах, все они бормотали, кричали, стонали, кланяясь, размахивая руками. В истерическом хаосе польских и еврейских слов Самгин ловил русские:

— И что делать с дэти?..

— Мы умираем.

— Дайте какой-нибудь хлеб!

— И где этот Мише, который понимает...

С лестницы молодой голос звонко кричал:

— Носите очки, чтоб ничего не видеть.

Стиснутые в одно плотное, многоглавое тело, люди двигались всё ближе к Самгину, от них исходил густой, едкий запах соленой рыбы, детских пеленок, они кричали:

— Почему нас не пускают в город?

— Мы виноваты, что война?

— Нас грабят.

— Тут ничего нельзя купить...

— Мы бедные люди.

— Нам сказали: идите, и все будет...

— Нам гнали по шее...

— Учите сеять разумное, доброе и делаете войну, — кричал с лестницы молодой голос, и откуда-то из глубины дома через головы людей на лестнице изливалось тягучее скорбное пение, напоминая вой деревенских женщин над умершим.

— Н-ну, знаете, это... чорт знает что! — пробормотал Клим Иванович, обращаясь к жандарму.

— Сумасшедший дом, — угрюмо откликнулся жандарм и упрекнул: — Плохо у вас в Союзе организовано.

— Но — куда же исчез этот болван, Локтев? Он должен был встретить меня, объяснить.

Жандарм, помолчав, очень тихо сказал:

— Локтев отправлен во Псков, по требованию тамошнего жандармского правления.

Сквозь мятежный шум голосов, озлобленные, рыдающие крики женщин упрямо пробивался глухой, но внятный бас:

— Уже седьмой человек умирает от ужаса глупости...

Говорил очень, высокий старик, с длинной острокопечной бородой, она опускалась с темного, костлявого лица, на котором сверкали круглые, черные глаза и вздрагивал острый нос.

— Мы просим: разрешите нам, кто имеет немножко гроши, ехать на Орел, на Украину. Здесь нас грабят, а мы уже разоренные.

Рядом с ним явился старичок, накрытый красным одеялом, поддерживая его одною рукой у ворота, другую он поднимал вверх, но рука бессильно падала. На сморщенном, мокром от слез лице его жалобно мигали мутные, точно закоптевшие глаза, а веки были красные, как будто обожжены.

Самгин старался не смотреть на него, но смотрел и ждал, что старичок скажет что-то необыкновенное, но он прерывисто, тихо и певуче бормотал еврейские слова, а красные веки его мелко дрожали. Были и еще старики, старухи с такими же обнаженными глазами. Маленькая женщина, натягивая черную сетку на растрепанные рыжие волосы одной рукой, другой размахивала пред лицом Самгина, кричала:

— За что страдают дети? За что-о?

Старик ловил ее руку, отбрасывал в сторону и говорил:

— Нужно, чтоб дети забыли такие дни... Ша! — рывкнул он на женщину, и она, закрыв лицо руками, визгливо заплакала. Плакали многие. С лестницы тоже кричали, показывали кулаки, скрипело дерево перил, оступались ноги, удары каблуков и подошв по ступеням лестницы шелкали, точно выстрелы. Самгину казалось, что глаза и лица детей особенно озлобленны, никто из них не плакал, даже маленькие, плакали только грудные.

— Что же тут можно сделать? — осведомился Самгин. Жандарм искоса посмотрел на него и ответил:

— Отправлять на Орел, там разберут. Эти еще зажиточные, кушают каждый день, а вот в других дачах...

— Несчастный народ, — пробормотал Самгин.

— Контрабандисты и шпионы...

Крик и плач раздражали Самгина, запах, становясь все тяжелее, затруднял дыхание, но всего мучительнее было ощущать, как холод жжет ноги, пальцы сжимались, точно раскаленными клещами.

Он сказал об этом жандарму, тот посоветовал:

— Сойдите на двор, там в пекарне русские плотники тепло живут.

— А гостиницы — нет?

— Гостиницы — под раненых отведены.

Обширная булочная-пекарня наполнена приятно кисловатой теплотой. Три квадратных окна, ослепленные снегом, немного пропускали света под низкий потолок, и в сероватом сумраке Самгину показалось, что пекарня тоже тесно набита людьми. Но их было десятка два, пятеро играли в карты, сидя за большим рабочим столом, человек семь окружали игроков, две растрепанных головы торчали на краю приземистой печи, невидимый, в углу, тихонько, тенорком напевал заунывную песню, ему подыгрывала гармоника, на ларе для теста лежал, закинув руки под затылок, большой кудрявый человек, подсвистывая песне. В трубе печи шершаво вздыхал, гудел, посвистывал ветер. Картежники выкрикивали:

— А у меня — хлюст, с досадой!

— Фаля и две шлюхи!

— Бардадын десятками, чорт...

— Тише, — сказал старичок, сбрасывая с колен какую-то одежду, которую он чинил, и, воткнув иглу в желтую рубашу на груди, весело поздоровался:

— Приятный день, Семен Гаврилыч!

— Такой бы день на всю зиму, чтоб немцы перемерзли, — сердито заворчал жандарм и, оглянувшись, спросил:

— Переборку-то сожгли?

— Переборочку мы на гробики пустили.

— Придется ответить вам за истребление чужого имущества.

— Ответим. По этому очевидному вопросу ответить легко — война разрешает всякое истребление.

— Краснобай, вроде старосты у них, — угрюмо сказал жандарм. — Я отправляюсь на вокзал, — добавил он, глядя на часы. — Ежели нужда будет — пошлите за мной.

Сидя на скамье, Самгин пытался снять ботинки, они как будто примерзли к ботинкам, а пальцы ног нестерпимо ломило. За его усилиями наблюдал, улыбаясь ласково, старичок в желтой рубаше. Сунув большие пальцы рук за пояс, кавказский ремень с серебряным набором, он стоял по-солдатски, «пятки — вместе, носки — врозь», весь гладенький, ласковый, с аккуратно подстриженной серой бородкой, остроносый, быстроглазый.

Картежники перестали играть, тоже глядя на возню Самгина, только голосок певца да гармоника согласно и скорбно ныли.

— Не слезают? — сочувственно спросил он.

В этом вопросе Самгин услышал нечто издевательское, да и вообще старичок казался ему фальшивым, хитрым. Однако он принужден был пробормотать:

— Вы не могли бы помочь?

— Алексей, подь-ка сюда, — позвал старик. С ларя бесшумно соскочил на пол кудрявый, присел на корточки, дернул Клима Ивановича за ногу и, прихватив брюки, заставил его подпрыгнуть.

— Потеше, Алексей, эдак ты ногу оторвешь, — сказал старичок все так же ласково и еще более раздражая Самгина. Ботинки сняты, Самгин встал.

— Благодарю вас.

— На здоровье, — сказал Алексей трубным гласом; был он ростом вершков на двенадцать выше двух аршин, широкоплечий, с круглым, румяным лицом, кудрявый, точно ангел средневековых картин.

«Красавец какой», — неодобрительно отметил Самгин, шагая по цементному полу.

— Из Союза будете? — осведомился старик.

— Да.

— Четвертый, — сказал старик, обращаясь к своим, и даже показал четыре пальца левой руки. — В замещение Михаила Локтева посланы? Для беженцев, говорите? Так вот, мы — эти самые очевидные беженцы. И даже — того хуже.

Он легко подскочил, сел верхом на угол стола и заговорил очень легко, складно:

— Хуже, потому как над евреями допущено изгаляться, поляки — вроде пленные, а мы — русские, казенные люди.

Самгин шагал мимо его, ставил ногу на каблук, хлопал подошвой по полу, согревая ноги, и ощущал, что холод растекается по всему телу. Старик рассказывал: работали они в Польше на «Красный Крест», строили бараки, подрядчик — проворовался, бежал, их порядили продолжать работу поденно, полтора рубля в день.

— Дешево на своих-то харчах. Ну, нам предусмотрительно говорят — дескать, война, братья ваши, очевидно, сражаются, так уже не жадничайте. Ладно — где наше не пропадало?

Рядом с рассказчиком встал другой, выше его, глазастый, лысый, в толстой ватной куртке и серых валенках по колено, с длинным костлявым лицом в рыжеватой, выцветшей бороде. Аккуратный старичок воодушевленно действовал цифрами:

— Сорок три дня, 1225 рублей, а выдали нам на харчи за все время 305 рублей. И — командуют: поезжайте в Либаву, там получите расчет и работу. А в Либаве предусмотрительно взяли у нас денежный документ да, сосчитав беженцами, отправили сюда.

— Нехорошо сделали с нами, ваше благородие, — глухим басом сказал лысый старик, скрестив руки, поло-

жив широкие ладони на плечи свои, — тяжелый голос его вызвал разнообразное эхо; кто-то пробормотал:

— Обижают трудников, как пленных...

— Жалости нет к народу.

А чей-то визгливый голосок возгласил:

— Народ — картошка!

— Эй, вы, там! — рявкнул лысый, взмахнув правой рукой. — Помолчите, когда о деле говорят. И гармонье не зудеть бы.

Но его не послушали, среди плотников, сидевших за столом, быстро разгорался спор, визгливый голос настойчиво твердил:

— Народ — картошка, его все едят: и барин ест, и заяц ест.

— Заяц — не ест, червь ест.

— Сказывай! Грызет и заяц.

— Жук — тоже.

— Народ всех боле сам себя жрет.

Покуда аккуратный старичок рассказывал о злоключениях артели, Клим Иванович Самгин успел сообразить, что ведь не ради этих людей он терпит холод и всякие неудобства и не ради их он взял на себя обязанность помогать отечеству в его борьбе против сильного врага. В бойком рассказе старичка, в его явно фальшивой ласковости он отметил ноты едкие, частое повторение слов «очевидно» и «предусмотрительно» оценил как нечто наигранное, словно выхваченное из старинных народных рассказов. Вот теперь эти люди начали какой-то дурацкий спор, он напоминает диалоги очерков Глеба Успенского.

«Подозрительный старичишка...»

Ноги согрелись, сыроватая теплота пекарни позволила расстегнуть пальто. Самгин сел на скамью и строго спросил:

— Что же вы делаете здесь? Почему не едете куда-нибудь работать?

Его вопросы тотчас оборвали спор, в тишине внятию и насмешливо прозвучал только один негромкий голос:

— Догадался спросить...

— Это я вам, ваше благородие, позволю объяснить, — заговорил аккуратный, подпрыгнув на столе, точно на

коне. — Привыкшие ежедневно кушать, заботимся, чтоб было чего. Службы разобрали в трех хозяйствах, сарайчики разные — на дрова. Деревья некоторые порубили. Дела наши очевидные незаконные, как сказано жандармом. Однако тут детей много, и они от холода страдают, даже и кончаются иные, так мы им — гробики сколачиваем. Тем и кормимся. Предусмотрительно третьего дня женщина-полька не разродилась — померла, сегодня утром старичок скончался... Так, потихоньку, и живем.

Он говорил уже не скрывая издевательства, а Самгин чувствовал, что его лицо краснеет от негодования и что негодование согревает его. Он закурил папиросу и слушал, ожидая, когда наиболее удобно будет сурово воздать рассказчику за его красноречие. А старичок, передохнув, продолжал:

— А пребываем здесь потому, ваше благородие, как, будучи объявлены беженцами, не имеем возможности двигаться. Конечно, уехать можно бы, но для того надобно получить заработанные нами деньги. Сюда нас доставили бесплатно, а дальше, от Риги, начинается тайная торговля. За посадку в вагоны на Орел с нас требуют полсотни. Деньги — не малые, однако и пятак велик, ежели нет его.

— Этого не может быть, — строго сказал Самгин. — Беженцев возят бесплатно.

— Вот и предвестник ваш, Миша, так же думал, он даже в спор вступил по этому разногласию, так его жандармская полиция убрала, в погреб, что ли, посадила; а нам — допрос: бунтовал вас Михаил Локтев? Вот как предусмотрительно дело-то налажено...

— Вероятно, он говорил вам... какую-нибудь чепуху.

— Не заметили, — откликнулся старичок.

Но могучий красавец Алексей напомнил упрекающим тоном:

— Он говорил, что война — всенародная глупость и что германе тоже дураки...

— Это, Алеша, приснилось тебе, — ласково сказал старичок. — Никто от него не слышал таких слов.

— Это парень предусмотрительно сам выдумал, — обратился он к Самгину, спрятав глаза в морщинах улыбки. — А Миша — достоверно деловой! Мы, стало

быть, жалобу «Красному Кресту» втапали — заплатите нам деньги, восемь сотен с излишком. «Крест» требует: документы! Мы — согласились, а Миша: нет, можно дать только копии... Замечательно казенные хитрости понимает...

Бойкий голосок его не заглушал сердитого баса лысого старика:

— Ты бы, дурак, молчал, не путался в разговор старших-то. Война — не глупость. В пятом году она вон как народ расковыряла. И теперь, гляди, то же будет... Война — дело страшное...

Клим Иванович Самгин решил, что пора прекратить все это.

— Война — явление исторически неизбежное, — докторально начал он, сняв очки и протирая стекла платком. — Война свидетельствует о количественном и качественном росте народа. В основе войны лежит конкуренция. Каждый из вас хочет жить лучше, чем он живет, так же и каждое государство, каждый народ...

— Народ — картошка, — пробормотал визгливый голосок.

— Но бывает, что человек обманывается, ошибочно считая себя лучше, ценнее других, — продолжал Самгин, уверенный, что этим людям не много надобно для того, чтоб они приняли истину, доступную их разуму. — Немцы, к несчастью, принадлежат к людям, которые убеждены, что именно они лучшие люди мира, а мы, славяне, народ ничтожный и должны подчиняться им. Этот самообман сорок лет воспитывали в немцах их писатели, их царь, газеты...

— Газеты мы читаем, — вставил аккуратный старичок. — Конечно, газеты пишут предусмотрительно...

На сей раз старик говорил медленно, как будто устало или — нехотя. И сквозь его слова Самгин поймал чьи-то другие:

— Нет, этот очковый пожиже будет Локтева...

— Вы напрасно употребляете слова «предусмотрительно» и «очевидно», — с раздражением сказал Клим Иванович Самгин. — Значение их не совсем ясно вам.

— Что же — слова? — вздохнув, возразил старик. — Слово, как его ни скажи, оно так и останется словом.

А уж ежели мы, ваше благородие, от дела нашего откачнулись в сторону и время у вас до завтра много...

— Почему — до завтра? — беспокойно осведомился Самгин.

Старик объяснил ему, что поезд в Ригу только один, утром. Этим он как бы оглушил Самгина, уничтожил его желание поучать, вызвал ряд существенно важных вопросов:

— Где же я буду пить, есть, спать?

— Для спанья — не много места надобно, — успокоительно сказал старик. — Чайком можем угостить вас, ежели не побрезгуете. Олеша, Фома, — крикнул он, — нуте-ко, ставьте самовары, пора!

Он стоял пред Самгиным, почти прижимая его к печке, и, возбуждая негодование, внушая подозрения, рассказывал:

— Странствуем, как цыганы, а имеем весь хозяйственный снаряд: два самовара выработали у евреев, рухляди мягкой тоже... Беженцы эти имущество не ценят, только бы жизнь спасти...

Печь дышала в спину Клима Ивановича, окутывая его сухим и вкусным теплом, тепло настраивало дремотно, умиротворяло, примиряя с необходимостью остаться среди этих людей, возбуждало какие-то быстрые, скользкие мысли. Идти на вокзал по колено в снегу, под толчками ветра — не хотелось, а на вокзале можно бы ночевать у кого-нибудь из служащих.

«Испытание различных неудобств входит в число обязанностей, взятых мною на себя», — подумал он, внутренне усмехаясь. И ко всему этому Осип раздражал его любопытство, будил желание подорвать авторитет ласкового старичка.

«Что может внести в жизнь вот такой хитренький, полуграмотный человечиска? Он — авторитет артели, он тоже своего рода «объясняющий господин». Строит дома для других, — интересно: есть ли у него свой дом? Вообще — «объясняющие господа» существуют для других в качестве «учителей жизни». Разумеется, это не всегда паразитизм, но всегда — насилие, ради какого-нибудь Христа, ради системы фраз».

В пекарне началось оживление, кудрявый Алеша и остролицый, худенький подросток Фома налаживали

в прямке два самовара, выгребали угли из печи, в углу гремели эмалированные кружки, лысый старик резал каравай хлеба равновесными ломтями, вытирали стол, двигали скамейки, по асфальту пола звучно шлепали босые подошвы, с печки слезли два человека в розовых рубашках, без поясов, одинаково растрепанные, одновременно и как будто одними и теми же движениями надели сапоги, полущубки и — ушли в дверь на двор. Все это совершалось [в] синеватом сумраке, наполненном дымом махорки, сумрак становился гуще, а вздохи, вой и свист ветра в трубе печи — слышнее.

Самгин наблюдал шумную возню людей и думал, что для них существуют школы, церкви, больницы, работают учителя, священники, врачи. Изменяются к лучшему эти люди? Нет. Они такие же, какими были за двадцать, тридцать лет до этого года. Целый угол пекарни до потолка загроможден сундучками с инструментом плотников. Для них делают топоры, пилы, шерхебели, долота. Телеги, сельскохозяйственные машины, посуду, одежду. Варят стекло. В конце концов, ведь и войны имеют целью дать этим людям землю и работу.

«Эта мысль, конечно, будет признана и наивной и еретической. Она — против всех либеральных и социалистических канонов. Но вполне допустимо, что эта мысль будет руководящей разумом интеллигенции. Иерархическая структура человеческого общества обоснована биологией. Даже черви — неодинаковы...»

Думалось неохотно, автоматически и сумрачно.

В сыроватой и сумрачной духоте, кроме крепкого дыма махорки, был слышен угарный запах древесного угля. Мысли не мешали Самгину представлять себя в комнате гостиницы, не мешали слушать говор плотников.

Серdito гудел глубокий бас лысого старика:

— Ты, Осип, балуешь словами, вот что! А он — правильно сказал: война — необходимая история, от бога посылается.

— Про бога — не говорилось, — возразил аккуратный.

— Мало ли чего не говорим, о чем думаем. Ты тоже не всякую правду скажешь, у всех она — для себя красненька, для других темненька. Народ...

— Картошка — народ! — взвизгнул голосок мужика средних лет с глазами совы, с круглым красным лицом в рыжей щетине.

— Да ну те к бесу! Заладил одно слово. Как сумашедший ты, Семен! — озлобленно рявкнул лысый.

— Погоди, Григорий Иванович, — попросил Осип.

— Чего это годить? Ты — слушай: господь что наказывал евреям? Истребляй врага до седьмого колена, вот что. Стало быть — всех, поголовно истреби. Истребляли. Народов, про которые библия сказывает, — нет на земле...

— А все-таки, Григорий, картошка мы! Что хошь с нами, то и делай...

— Однако в пятом году народ-от...

— Лошадям хвосты резал.

— Ну, брось, Семен! Бунтовали здорово...

— Ты — бунтовал?

— Я? Нет, я тогда...

— Почему не бунтовал?

— Причина, значит, была...

— Ты в причину не прячься, ты прямо скажи: почему не бунтовал?

— Дай объяснить!

— Эх, картофелина!

В прямке у ног Самгина негромко беседовали Алексей и Фома.

— Кабы Миша, он бы объяснил...

А за столом продолжали покрикивать:

— Бунты и до пятого года в ходу были. Богатые мужики очень злобились на господ.

— Сами в господа лезли.

— Это вам Миша назудил про богатых...

— А — что, неверно?

— Нет, Миша достоверно говорил, — вмешался Осип, вытирая полотенцем синюю эмалированную кружку.

— Парень — тихий, а ум смелый...

— Н-да. Я, как слушал его, думал: «Тебе, шельме, два десятка лет и то — много, а мне сорок пять!»

— Грамота!

— То-то и есть. Он — понимает, а мы с тобой не удосужились о своей судьбе подумать...

— Опаздываем...

Плотники усаживались за стол, и ряд бородатых лиц напомнил Самгину о зубастых, бородатых рожах за стеклами окна в ресторане станции Новгород.

«Рассуждают при мне так смело, как будто не видят меня. А я одет, как военный...»

К нему подошел Осип и вежливо попросил:

— Пожалуйста к столу...

И даже ручкой повел в воздухе, как будто вел коня за узду. В движениях его статного тела, в жестах ловких рук Самгин наблюдал такую же мягкую вкрадчивость, как и в его гибком голосе, в ласковых речах, но, несмотря на это, он все-таки напоминал чем-то грубого и резкого Ловцова и вообще людей дерзкой мысли.

— Угощайтесь на здоровье, — говорил Осип, ставя пред Самгиным кружку чая, положив два куска сахара и ломоть хлеба. — Мы привыкли на работе четыре раза кушать: утром, в полдни, а вот это вроде как паузин, а между семью-восемью часами — ужин.

Два самовара стояли на столе, извергая пар, около каждого мерцали стеариновые свечи, очень слабо освещая синеватый сумрак.

Лысый Григорий Иванович, показывая себя знатоком хлеба и воды, ворчал, что хлеб — кисел, а вода — солона, на противоположном конце стола буянил рыжий Семен, крикливо доказывая соседу, широкоплечему мужику с бельмом на правом глазе:

— В лаптях до рая не дойдешь, не-ет!

— Интересен мне, ваше благородие, вопрос — как вы думаете: кто человек на земле — гость али хозяин? — неожиданно и звонко спросил Осип. Вопрос этот сразу прекратил разговоры плотников, и Самгин, отметив, что на него ожидающе смотрит большинство плотников, понял, что это вопрос знакомый, интересный для них. Обняв ладонями кружку чая, он сказал:

— Жизнь человека на земле так кратковременна, что, разумеется, его надобно признать гостем на ней.

— Что? — торжествуя, рявкнул лысый Григорий. — Я те говорил...

— Постой, погоди! — веселым голосом попросил Осип, плавно поводя рукою в воздухе. — Ну, а если взять

человека в пределах краткой жизни, тогда — как? Кто он будет? Вот некоторые достоверно говорят, что, дескать, люди — хозяева на земле...

— А они — гости до погоста, — вставил Григорий и обратился к Самгину: — Он, ваше благородие, к тому клонит, чтобы оправдать бунт, вот ведь что! Он, видите, вроде еретика, раскольник, что ли. Думает не божественно, а — от самого себя. Смутьян вроде... Он с нами недавно, месяца два всего.

— Дай ответ послушать, Григорий Иваныч! — мягко попросил Осип. — Так как же, кто будет человек в пределе жизни своей?

— Хозяин своей силы, — не сразу ответил Самгин и с удовольствием убедился, что этот ответ очень смутил философа, а лысого обрадовал.

— Ага? — рывкнул он и громогласно захохотал, указывая пальцем на Осипа. — Понял? Всяк человек сам себе хозяин, а над ним — царь да бог. То-то!

Все молчали, Осип шевелился так, как будто хотел встать со скамьи, но не мог.

— Значит — так, — негромко заговорил он. — Который силу свою может возвеличить, кто учен науками, тот — хозяин, а все прочие — гости.

Но тотчас же голос его заиграл звонко и напористо:

— Значит, я — гость. И все мы, братцы, гости. Так. Ну, а — какое же угощение нам? Гости — однако — не нищие, верно? Мы — нищие? Никогда! Сами подаем нищим, ежели копейка есть. Мы — рабочие, рабочая сила... Вот нас угощают войной...

Словами о науке Самгин почувствовал себя лично задетым.

— Неверно, что науки обогащают ученых. Подрядчики живут богаче профессоров, из малограмотного крестьянства выходят богатые фабриканты и так далее. Удача в жизни — дело способностей.

Осип шумно вздохнул и сказал:

— Нам, предусмотрительно скажу, конечно, не подобает спорить с вами. Мы, очевидные, неученые и, что верно, — думаем от себя...

— Что ты мычишь — мы, мы? — грозно закричал Григорий Иваныч. — Кто тут с тобой согласный? Где он?

— Вот я согласен, — ответил в конце стола человек маленького роста, он встал, чтоб его видно было; Самгину издали он показался подростком, но от его ушей к подбородку опускались не густо прямые волосы бороды, на подбородке она была плотной и, в сумраке, казалась тоже синеватой.

— Вот я при барине говорю: согласен с ним, с Осипом, а не с тобой. А тебя считаю вредным за твое кумовство с жандармом и за навет твой на Мишу... Эх, старый бес!

Высунув из-за самовара голову, визгливо закричал рыжий Семен:

— Я тоже скажу тебе, червь подлая...

Заворчали еще два-три голоса, кто-то сурово сказал:

— Тебя, Григорий, мы старостой не выбирали, а ты — командуешь...

— Осип-то Ковалев — грамотнее тебя и хозяйственней.

Высокий, лысый старик согнулся над столом, схватил кружку пальцами обеих рук и, покачивая острием бородой головой направо, налево, невнятно, сердито рычал, точно пес, у которого хотят отнять кость.

Ковалев встал, поднял руки жестом дирижера и звонко заговорил:

— Стойте, братья! Достоверно говорю: я в начальство вам не лезу, этого мне не надо, у меня имеется другое направление... И давайте прекратим посторонний разговор. Возьмем дело в руки.

Он откачнулся от соседа — от Самгина — и, поклонясь ему, вежливо попросил:

— Ваше благородие, — содействуйте нам в получении денег с «Креста» и в освобождении отсюда...

Все люди за столом сдвинулись теснее, некоторые встали, ожидая, глядя на его благородие. Клим Иванович Самгин уверенно и властно заявил, что завтра он сделает все, что возможно, а сейчас он хотел бы отдохнуть, он плохо спал ночь, и у него разбаливается голова.

— Здесь — угарно. И — душно.

— Нуте-ко, ребята, действуй! — предложил Осип Ковалев.

Через пяток минут Самгин лежал в углу, куда передвинули ларь для теста, на крышку ларя постлали

полубубок, завернули в чистые полотенца какую-то мягкую рухлядь, образовалась подушка.

Клим Иванович был доволен тем, что очутился в стороне от этих людей, от их мелких забот и малограмотных споров.

«Жизнью большинства руководят надежды, которые возбуждаются обещаниями. Так всегда было, и трудно представить, что когда-то будет иначе», — думал он.

Лежать было жестко, крышка ларя поскрипывала, один из ее углов тихонько хлопал обо что-то.

«Вот как приходится жить», — думал он, жалея себя, обижаясь на кого-то и в то же время немножко гордясь тем, что испытывает неудобства, этой гордостью смягчалось ощущение неудачи начала его службы отечеству.

В пекарне колебался приглушенный шумок, часть плотников укладывалась спать на полу, Григорий Иванович влез на печь, в прямке подогревали самовар, несколько человек сидело за столом, слушая сверлящий голос.

— Единодушность надобна, а картошка единодушность тогда показывает, когда ее, картошку, в землю закопают. У нас деревня шестьдесят три двора, а богато живет только Евсей Петров Кожин, бездонно брюхо, мужик длинной руки, охватистого ума. Имеются еще трое, ну, они вроде подручных ему, как ундера — полковнику. Он, Евсей, весной знает, что осенью будет, как жизнь пойдет и какая чему цена. Попросишь его: дай на семена! Он — дает...

— Эти фокусы — известны.

— То-то вот. Дяде моему восемьдесят семь лет, так он говорит: при крепостном праве, за барином, мужику легче жилось...

— Эдак многие старики говорят...

— Ну вот. Откуда же, Осип, единодушность явится?

«Разумный мужик», — одобрил Самгин безнадежную речь.

Одну свечку погасили, другая освещала медную голову рыжего плотника, каменные лица слушающих его и маленькое, в серебряной бородке, лицо Осипа, оно выглядывало из-за самовара, освещенное огоньком свечи более ярко, чем остальные, Осип жевал хлеб, прихлебывая чай, шевелился, все другие сидели неподвижно. Сам-

гин, посмотрев на него несколько секунд, закрыл глаза, но ему помешала дремать, разбудила негромкая четкая речь Осипа.

Не спалось, хотя Самгин чувствовал себя утомленным. В пекарне стоял застарелый запах квашеного теста, овчины, кишечного газа. Кто-то бормотал во сне, захлебываясь словами, кто-то храпел, подвывая, присвистывая, точно передразнивал вой в трубе, а неспавшие плотники беседовали вполголоса, и Самгин ловил заплывавшиеся слова:

— Закон... Добыча... Леший — не зверь.

Звонкий голосок Осипа:

— Одному земля — нужна, а другому она — нужна...

— За ноги держит.

— Ну, да...

Кожу Самгина покалывало, и он подозревал, что это насекомые.

«Какое дело ему до этих плотников и евреев? Почему он должен тратить время и силы? Служение народу! Большевики!» [нрзб.]

Голова действительно была наполнена шумом, на языке чувствовалась металлическая кисловатая пыль.

— Я — старик не глубокий, всего пятьдесят один год, а седой не от времени — от жизни.

«Разве твоя жизнь шла вне времени?» — мысленно возразил Самгин.

— Отец — кузнецом был, крутого характера человек, неуживчивый, и его по приговору общества выслали в Сибирь, был такой порядок: не ладит мужик с миром — в Сибирь мужика как вредного. Ну, в Сибири отец и пропал навсегда. Когда высылали его, я уже в годах был, земскую школу кончил. Взяла меня к себе тетка и сплывила в Арзамас, в монастырь, там у нее подруга была, монашка. Из монастыря я предусмотрительно убежал, прополз, ужом, в Нижний и там пригвоздился к плотнику Асафу Андреичу, — великой мудрости был старик и умелец в деле своем редкостный, хоша — заливной пьяница. Лет до семнадцати бил он меня так, что я даже предусмотрительно утопиться хотел, — вытащили, откачали. Побьет и утешает: «Это я не со зла, а для примера. Достоверно говорю тебе, Оська, кроме скорби, не имею

средства для обучения твоего, а — должно быть средство, и ты сам ищи его». Был я глуп, как полагается, и глуп я был долго, работал, водку пил, с девками валандался, ни о чем не думал.

В пекарне становилось все тише, на печи кто-то уже храпел и выл, как бы вторя гулкому вою ветра в трубе. Семь человек за столом сдвинулись теснее, двое положили головы на стол, пузатый самовар возвышался над ними величественно и смешно. Вспыхивали красные огоньки папирос, освещая красивое лицо Алексея, медные щеки Семена, чей-то длинный, птичий нос.

— Думать я начал в Париже, нас туда восемьдесят семь человек предусмотрительно отправили на Всемирную выставку, русский отдел строить. Четверо даже померло там, от разных болезней, а главное — от вина. Человек пять осталось на постоянное житье. Париж, братцы, город достоверно прелестный, он затемняет все наши, даже и Петербург. Прежде всего он — веселый город, и рабочие люди в нем — тоже веселые. Редчайший город, наверное, первый на земле по красоте и огромности. И вот там приходил к нам человек один, русский, по фамилии Жан, придет и расспрашивает, как Россия живет. Я в ту пору даже слово павильон не мог правильно сказать, все говорил: поливьён. Так вот этот самый Жан. Он тоже, как отец мой, выслан был из России по закону начальства. Великий был знаток жизни!

Клим Иванович Самгин усмехнулся.

— После я встречал людей таких и у нас, на Руси, узнать их — просто: они про себя совсем не говорят, а только о судьбе рабочего народа.

— Иные картошку больше хлеба уважают...

— У них такая думка, чтоб всемирный народ, крестьянство и рабочие, взяли всю власть в свои руки. Все люди: французы, немцы, финляндцы...

— Это выдумка детская...

— Погоди, Семен Павлыч.

— Ну, — чего там годить? Даже — досадно. У каждой нации есть царь, король, своя земля, отечество... Ты в солдатах служил? присягу знаешь? А я — служил. С японцами воевать ездил, — опоздал, на мое счастье, воевать-то. Вот кабы все люди евреи были, у кого нет земли-отечества,

тогда — другое дело. Люди, милый человек, по земле ходят, она их за ноги держит, от своей земли не уйдешь.

— Это — верно, — угрюмо сказал кто-то.

— Она и не твоя, не моя, а все-таки мы с тобой в ней — картошка...

«Какой умный», — снова и одобрительно подумал Самгин, засыпая, и последние слова, которые слышал он, — слова Осипа:

— Какое же это отечество, если это — каторга тебе?

Спал Клим Иванович крепко и долго, проснулся бодрым, разбудил его Осип:

— Пора на вокзал. Вот я снежку припас вам, — умойтесь. И чаек готов. Я тоже с вами еду, у меня там дельце есть.

— Отлично, — сказал Самгин, потирая плечи и бока, намятые жестким ложем.

До Риги ехали в разных вагонах, а в Риге Самгин сделал внушительный доклад Кормилицыну, настрашал его возможностью и даже неизбежностью разных скандалов, несчастий, убедил немедленно отправить беженцев на Орел, сдал на руки ему Осипа и в тот же вечер выехал в Петроград, припоминая и взвешивая все, что дала ему эта поездка.

Из людей, которых он видел в эти дни, особенно выделялась монументальная фигура красавца Фроленкова. Приятно было вспоминать его ловкие, уверенные движения, на каждое из них человек этот тратил силы именно столько, сколько оно требовало. Многозначительно было пренебрежение, «с которым» Фроленков говорил о кузнецах, слушал дерзости Ловцова.

«Мужественный и умный человек. Во Франции он был бы в парламенте депутатом от своего города. Ловцов — деревенский хулиган. Хитрая деревня посылает его вперед, ставит на трудные места как человека, который ей не нужен, которого не жалко».

Память неуместно, противоречиво выдвинула сцену взлома дверей хлебного магазина, печника Кубасова; опасаясь, что рядом с печником встанут такие же фигуры, Клим Иванович «предусмотрительно» подумал:

«Едва ли в деревне есть люди, которых она жалеет... Может быть, она выдвигает людей вперед только для

того, чтоб избавиться от них... Играет на их честолюбии. Сознательно и бессознательно играет». Утешительно вспомнились рассказы Чехова и Бунина о мужиках...

Но механическая работа перенасыщенной памяти продолжалась, выдвигая дворника Николая, аккуратного, хитренького Осипа, рыжего Семена, грузчиков на Сибирской пристани в Нижнем, десятки мимоходом отмеченных дерзких людей, вереницу их закончили бородатые, зубастые рожи солдат на перроне станции Новгород. И совершенно естественно было вспомнить мрачную книгу «Наше преступление». Все это расстраивало и даже озлобляло, а злиться Клим Самгин не любил.

«Жизнь обтекает меня, точно река — остров, обтекает, желая размыть», — грустно сказал он себе, и это было так неожиданно, как будто сказал не он, а шепнул кто-то извне. Люди, показанные памятью, стояли пред ним враждебно.

«Именно на таких людей рассчитывают Кутузов, Поярков, товарищ Яков... Брюсов назвал их — гуннами. Ленин — Аттила...»

Озлобление возрастало.

«Революция силами дикарей. Безумие, какого никогда не знало человечество. И пред лицом врага. Казацкая мечта. Разин, Пугачев — казаки, они шли против Москвы как государственной организации, которая стесняла их анархическое своеволие. Екатерина правильно догадалась уничтожить Запорожье», — быстро думал он и чувствовал, что эти мысли не могут утешить его.

Петроград встретил оттепелью, туманом, все на земле было окутано мокрой кисеей, она затрудняла дыхание, гасила мысли, вызывала ощущение бессилия. Дома ждала неприятность: Агафья, сложив, как всегда, руки на груди, заявила, что уходит работать в госпиталь сиделкой.

— Очень жаль, — с досадой пробормотал Самгин. Эта рябая женщина очень хорошо исполняла работу «одной прислуги», а деньги на стол тратила так скромно, что, должно быть, не воруя у него, довольствовалась только процентами с лавочников.

— Сколько там, в госпитале, платят? — спросил он. — Я могу заплатить вам столько же.

— Я — не из-за денег, — сказала Агафья усмехаясь, глядя ладонями плечи свои. — Ведь вы не за жалованье работаете на войну, — добавила она.

Захотелось сказать что-нибудь обидное в ее неглупое лицо, погасить улыбку зеленоватых глаз. Он вспомнил Анфимьевну, и вспыхнула острая мысль:

«В данной общественной структуре должны быть люди, лишенные права личной инициативы, права самостоятельного действия».

— Я вам присмотрела девицу из кулинарной школы, — сказала Агафья, не переставая улыбаться.

Она ушла, оставив хозяина смущенным острою его мысли. Нужно было истолковать ее, притупить.

«К чему сводится социальная роль домашней прислуги? Конечно — к освобождению нервно-мозговой энергии интеллекта от необходимости держать жилище в чистоте: уничтожать в нем пыль, сор, грязь. По смыслу своему это весьма почетное сотрудничество энергии физической...»

«Нужно создать некий социальный катехизис, книгу, которая просто и ясно рассказала бы о необходимости различных связей и ролей в процессе культуры, о неизбежности жертв. Каждый человек чем-нибудь жертвует...»

Но тут он вспомнил слова отца о жертвоприношении Авраама и сердито закурил папиросу.

Возвратилась Агафья со своей заместительницей. Девица оказалась толстенькой, румянощечкой, курносой, круглые глаза — неясны, точно покрыты какой-то голубоватой пылью; говоря, она часто облизывала пухлые губы кончиком языка, голосок у нее тихий, мягкий. Она понравилась Самгину.

На другой день, в небольшом собрании на квартире одного из членов Союза, Клим Иванович докладывал о своей поездке. В большой столовой со множеством фаянса на стенах Самгина слушало десятка два мужчин и дам, люди солидных объемов, только один из них, очень тощий, но с круглым, как глобус, брюшком стоял на длинных ногах, спрятав руки в карманах, покачивая черноволосой головою, сморщив бледное, пухлое лицо в широкой раме черной бороды. Он обращал на себя внимание еще и тем, что имел нечто общее с длинным, пухатым кувшином, который возвышался над его плечом.

За длинным столом, против Самгина, благодушно глядя на него, сидел Ногайцев, лаская пальцами свою бороду, рядом с ним положил на стол толстые локти и приподнял толстые плечи краснощекий человек с волосами дьякона и с нагловатым взглядом, — Самгину показалось, что он знает эти маленькие зрачки хорька и грязноватые белки в красных жилках.

Клим Иванович Самгин, деловито изобразив положение плотников, почувствовал, что это слишком ничтожный факт и следует углубить его значение.

— Справедливое их негодование уже пробовал разжечь какой-то юный пропагандист, его арестовали.

— Вероятно — прапорщик, — произнес сосед Ногайцева. — Все прапорщики — социалисты.

— Это — преувеличение! — решительно крикнула дама в очках. — Мой сын — прапорщик.

— Вы — кадетка, а дети интеллигентов — всегда левее отцов, и значит...

Длинный человек, похожий на кувшин, покачнулся и сказал глухим басом:

— Не будем прерывать докладчика...

Самгин начал рассказывать о беженцах-евреях и, полагаясь на свое не очень богатое воображение, об условиях их жизни в холодных дачах, с детьми, стариками, без хлеба. Вспомнил старика с красными глазами, дряхлого старика, который молча пытался и не мог поднять бессильную руку свою. Он тотчас же заметил, что его перестают слушать, это принудило его повысить тон речи, но через минуту-две человек с волосами дьякона, гулко крикнув, заявил:

— Филосемитом вы не сделаете меня.

Какой-то лысенький, с бородкой, неряшливо рассеянной по серому лицу, держа себя за ухо, торопливо и обиженно кислым голосом заговорил:

— Да, пожалуйста, не надо! Зачем же дразнить? С фронта идут тревожные слухи о них, о евреях.

— Шпионы, — басом сказала толстая дама.

— Да, вот видите? Нам нужно отказаться от либерального шаблона...

— До войны — контрабандисты, а теперь — шпионы. Наша мягкотелость — вовсе еще не Христова любовь

к людям, — тревожно, поспешно и как-то масляно говорил лысоватый. — Ведь когда было сказано «несть ни эллина, ни иудея», так этим говорилось: все должны быть христианами...

— Дело Бейлиса доказало, какова сплоченность этих людей...

— А — дело Дрейфуса?

Самгина ошеломил этот неожиданный и разноголосый, но единодушный взрыв злости, и, кроме того, [он] понимал, что, не успев начать сражения, он уже проиграл его. Он стоял, глядя, как люди все более возбуждают друг друга, пальцы его играли карандашом, скрывая дрожь. Уже начинали кричать друг на друга, а курносый человек с глазами хорька так оглушительно шлепнул ладонью по столу, что в буфете зазвенело стекло бокалов.

Чей-то молодой голос резко крикнул:

— Вы сами изуродовали их чертой оседлости.

— В Риме было гетто...

Люди продолжали спор, выбрасывая друг пред другом слова, точно козырей в игре.

— Азеф!

— Распутин!

— Гейне!

— Дизраели!

— Позор погромов...

— Погромы были и в Германии.

— Предлагаю прекратить эту... сумятицу, — звучно и властно заговорил человек, похожий на кувшин. Он покачнулся к столу, но тотчас же, вынув руки из карманов брюк, спрятал их за спину, выпрямился. — Мы собрались не для того, чтоб просмотреть наше отношение к еврейскому вопросу. Не время решать этот... вопрос, пред нами стоит другой, более значительный и трагический, это — наш вопрос, вопрос многострадальной родины нашей. Думая о нем, решая его, мы должны быть объективными... Конечно, среди евреев шпионы так же возможны, как среди русских. Допустим, что в процентном отношении к единокровной массе евреев-шпионов больше, чем русских, это можно объяснить географически — евреи живут на границе. Но я напомним саркастическую шутку Бодуэна-де-Куртене: когда русский

украдет, говорят: «Украл вор», а когда украдет еврей, говорят: «Украл еврей».

Самгин услышал чей-то шопот:

— Слышите? Сказалась примесь жидовской крови.

— У него? Может ли быть? Князь...

— Титул не гарантирует от заразы. Мать великого князя Александра Михайловича жила с евреем...

Где-то близко дребезжал звонок, мягко хлопала дверь, в столовую осторожно входили.

Спокойно и уверенно звучал голос длинного человека, все более напоминая жужжание шмеля.

— И надобно помнить, что у нас, в армии, вероятно, не один десяток тысяч евреев. Если неосторожные, бестактные слухи проникнут в печать, они могут вызвать в армии очень вредный резонанс.

— Ловко завернул...

— Либерал! Их тактика — пугать.

— Не следует забывать и о том, что, если пять депутатов-социалистов осуждены на каторжные работы, так это еще не значит, что зло вырвано с корнем. Учреждение, которое призвано к борьбе с внутренним врагом, хотя и позволило случаями Азефа и Богрова несколько скомпрометировать технические приемы своей работы, но все же достаточно осведомлено о движении и намерениях враждебных сил, а силы эти возбуждают протесты и забастовки рабочих, пропагандируют анархическую идею пораженчества. Я считаю весьма ценным сообщение докладчика о том, что среди беженцев тоже обнаружена пропаганда...

Клим Иванович Самгин почувствовал себя несколько смущенным.

«Об этом я мог бы умолчать. Но ведь я не назвал пропагандиста».

И тотчас же спросил себя:

«А — почему следовало молчать?»

Искать ответа не было времени. За спиною Самгина, в углу комнаты, шептали:

— Ой, как пугает...

— Да-а... Однако все-таки, знаете...

Оратор медленно вытащил руки свои из-за спины и скрестил их на груди, продолжая жужжащим голосом:

— Что же нам делать? Некоторые из присутствующих здесь уже знакомы с идеей, которую я прокламирую. Она очень проста. Союзы городов и земств должны строго объединиться как организация, на которую властью исторического момента возлагается обязанность замещать Государственную думу в течение сроков ее паралича. Этот единый союз прогрессивно настроенных людей имел бы пред Думой преимущество широты и, так сказать, всеобъемлемости. Он вовлекает в свои пределы все ценное, здравомыслящее, что осталось за дверями Думы. Одним словом — широко демократическое объединение, куда входят мелкие служащие, грамотные рабочие и так далее. Создав такую организацию, мы отнимаем почву у «ослов слева», как выразился Милуков, и получим широкую возможность произвести во всей стране отбор лучших людей.

— Значит — левых? — спросил толстый с глазами хорька. Оратор, не взглянув на него и не изменяя тона, спросил:

— Разве вы себя и товарищей по вашей партии включаете в число худших?

Он замолчал, но, когда человека два-три попробовали аплодировать, он поднял руку запрещающим жестом.

— Еще несколько слов. Очень хорошо известно, что евреи — искусные пропагандаторы. Поэтому расселение евреев черты оседлости должно иметь характер изоляции, то есть их нужно отправлять в местности с населением крестьянским и не густым.

— А что они будут делать там? — сердито спросил молодой голос.

— Они — найдут дело, — сказал курносый.

— Это — легенда, что евреи с голода умирают...

Самгину очень понравилась идея длинного оратора и его манера говорить. В шмелином, озабоченном жужжании его чувствовалась твердая вера человека в то, что он исполняет трудную обязанность проповедника единой несокрушимой истины и что каждое его слово — ценнейший подарок людям. Клим Иванович даже пожалел, что внешность оратора не совпадает с его верой, ему бы огненно-рыжие волосы, аскетическое, бескровное лицо, горящие глаза, широкие жесты. Маслянистый, лысый

старичок объявил перерыв, люди встали из-за стола и немедленно столкнулись в небольшие группочки. Самгин отметил, что количество их возросло почти вдвое. К нему подошел краснощекий толстяк.

— Не узнаете? Стратонов. Вы, батенька, тоже постарели. А я вот хвораю — диабет у меня.

Название болезни он произнес со вкусом, с важностью и облизал языком оттопыренные синеватые губы. Курносый он казался потому, что у него вспухли, туго надулись щеки и нос утонул среди них.

— Приятно было слышать, что и вы отказались от иллюзий пятого года, — говорил он, щупая лицо Самгина пристальным взглядом наглых, но уже мутноватых глаз. — Трезвеем. Спасибо немцам — бьют. Учат. О классовой революции мечтали, а про врага-соседа и забыли, а он вот напомнил.

Подошла дама в золотых очках, взяла его под руку и молча повела куда-то.

— Ну, куда ты, куда? — бормотал он, тяжело шагая.

Следующая неприятная встреча — Тагильский. Досадно было видеть его в такой же форме военного чиновника, с золотыми погонами на плечах.

— А я читал в газетах, что вы...

— В каких газетах? — спросил Тагильский.

— Не помню.

— В петербургской было это напечатано только в одной. Поторопилась газета умертвить меня.

— Зачем это вы?

— По пьяному делу. Воюем, а? — спросил он, взмахнув стриженной, ежовой головой. — Кошмар! В двенадцатом году Ванновский говорил, что армия находится в положении бедственном: обмундирование плохое, и его недостаточно, ружья устарели, пушек — мало, пулеметов — нет, кормят солдат подрядчики, и — скверно, денег на улучшение продовольствия — не имеется, кредиты — запаздывают, полки — в долгах. И при всем этом — втюрились в драку ради защиты Франции от второго разгрома немцами.

Говоря довольно громко, Тагильский тыкал пальцем в ремень пояса Клима Ивановича и, заставляя его отступать, прижал к стене, где, шопотом и оба улыбаясь, беседовали масляный старичок с Ногайцевым.

Он сильно изменился в сравнении с тем, каким Самгин встретил его здесь в Петрограде: лицо у него как бы обтаяло, высохло, покрылось серой паутиной мелких морщин. Можно было думать, что у него повреждена шея, — голову он держал наклоня и повернув к левому плечу, точно прислушивался к чему-то, как встревоженная птица. Но острый блеск глаз и задорный, резкий голос напомнил Самгину Тагильского товарищем прокурора, которому поручено какое-[то] особенное расследование темного дела по убийству Марины Зотовой.

«Пытался он втиснуть меня в это дело и утопить в нем или — спасал?» — подумал Клим Иванович, слушая бесцеремонную речь.

— Помните Струве «Эрос в политике»? — спросил Тагильский и, сверкнув зубами, широким жестом показал на публику. — Эротоманы, а?

— Язычок у вас, Антон Никифорович, несправедливый, — вздыхая, сказал Ногайцев.

— Годится для сотрудничества в «Новом времени»? — спросил Тагильский, — маслянистый старичок, дважды качнув головой вверх и вниз, смерив Тагильского узенькими глазками, коротко сказал:

— В нашем органе социалисты не сотрудничают.

— Почему? Социализм — не страшен после того, как дал деньги на войну. Он особенно не страшен у нас, где Плеханов пошел в историю под ручку с Милюковым.

Старичок не спеша отклеился от стены и молча пошел прочь.

— Меньшиков, — назвал его Тагильский, усмехаясь. — Один из крупнейших в лагере мошенников пера и разбойников печати, как знаете, разумеется. В словаре Брокгауза о нем сказано, что, будучи нравственно чутким человеком, он одержим искренним стремлением познать истину.

Ногайцев, играя пальцами в бороде, благосклонно улыбаясь, сказал негромко:

— Лицемерие в нем заметно, фарисей!

— Толстовец, — добавил Тагильский. Ногайцев фыркнул в бороду и удалился, позволив Самгину отметить, что сапоги носит он бархатные, на мягкой подошве.

— Недавно в таком же вот собрании встретил Струве, — снова обратился Тагильский к Самгину. — Этот, сообразно своей натуре, продолжает быть слепым, как сыч днем. Осведомился у меня: как мысля? Я сказал: «Если б можно было выкупать идеи, как лошадей, которые гуляли в барском овсе, я бы дал вам по пятаку за те мои идеи, которыми воспользовался сборник «Вехи».

Давно уже заметив, что солидные люди посматривают на Тагильского хмуро, Клим Иванович Самгин сообразил, что ему тоже следует отойти прочь от этого человека. Он шагнул вперед, но Тагильский подхватил его под руку:

— Куда вы? Подождите, здесь ужинают, и очень вкусно. Холодный ужин и весьма неплохое вино. Хозяева этой старой посуды, — показал он широким жестом на пестрое украшение стен, — люди добрые и широких взглядов. Им безразлично, кто у них ест и что говорит, они достаточно богаты для того, чтоб участвовать в истории; войну они понимают как основной смысл истории, как фабрикацию героев и вообще как нечто очень украшающее жизнь.

Он возбуждал в Самгине не новые подозрения.

«Ведет себя нагло и, кажется, хочет вызвать скандал, потому что обозлен неудачами. А может быть, это его способ реабилитировать себя в глазах общества».

Но, рядом с этой догадкой и не устранив [ее], ожила другая:

«Разведчик. Соглядатай. Делает карьеру радикала, для того чтоб играть роль Азефа. Но как бы то ни было, его насмешка над красивой жизнью — это насмешка хама, о котором писал Мережковский, это отрицание культуры сыном трактирщика и содержателя публичного дома».

— Ага, явился наш мудрец, бесстрашный мудрец, послушаем неизреченное, — не понижая голоса, проговорил Тагильский.

Мудрецом назвал он маленького человечка с лицом в черной бородке, он сидел на стуле и, подскакивая, размахивая руками, ощупывая себя, торопливо и звонко выбрасывал слова:

— Но вдруг окажется, что он — тот самый Иванушка-дурачок, Иван-царевич, которого издревле ласкала мечта народа о справедливом царе, — святая мечта?

Его лицо, слепленное из мелких черточек и густо покрытое черным волосом, его быстро бегающие глаза и судорожные движения тела придавали ему сходство с обезьяной «мартышкой», а говорил он так, как будто одновременно веровал, сомневался, испытывал страх, обжигающий его.

— «Глас народа — глас божий»? Нет, нет! Народ говорит только о вещественном, о материальном, но — таинственная мысль народа, мечта его о царствии божием — да! Это святые мысль и мечта. Святость требует притворства — да, да! Святость требует маски. Разве мы не знаем святых, которые притворялись юродивыми Христа ради, блаженными, дурачками? Они делали это для того, чтоб мы не отвергли их, не осмелили святость их пошлым смехом нашим...

Его молча слушали человек десять, слушали, искоса поглядывая друг на друга, ожидая, кто первый решится возразить, а он непрерывно говорил, подскакивая, держа, умоляюще складывая ладони, разводя руки, обнимая воздух, черпая его маленькими горстями, и казалось, что черненькие его глазки прячутся в бороду, перекатываясь до ушей, опускаясь к ноздрям.

«В нем есть нечто от Босха, от гротеска», — нашел Самгин, внимательно слушая тревожный звон слов.

— И, может быть, все позорное, что мы слышим об этом сибирском мужичке, только юродство, только для того, чтоб мы преждевременно не разгадали его, не вовлекли его в наши жалкие споры, в наши партии, кружки, не утопили в омуте нашего безбожия... Господа, — творится легенда...

Хорошо поет, собака,
Убедительно поет!

— сказал Тагильский, и в ту же секунду раздался жужжащий голос человека с брюшком на длинных ногах:

— Менее всего, дорогой и уважаемый, менее всего в наши дни уместна мистика сказок, как бы красивы ни были сказки. Разрешите напомнить вам, что с января Государственная дума решительно начала критику действий правительства, — действий, совершенно недопустимых в трагические дни нашей борьбы с врагом, сила которого грозит нашему национальному бытию, да, именно так!

Угрожает нам порабощением. Вы, конечно, знаете о росте злоупотреблений провинциальной администрации, — злоупотреблений, вызвавших сенатские ревизии, о немецком погроме в Москве, о поведении Горемыкина, закрытии Вольно-экономического общества и других этого типа мероприятиях, которые еще более усиливают тягостное впечатление наших неудач на фронтах.

Говорил он все более сердито, и теперь голос его стал похож на холодное свистящее шипение водяной струи, когда она, под сильным давлением, вырывается из брандспойта.

— Вы знаете также, что нам, не без труда, удалось соединить шесть фракций Думы в единый прогрессивный блок и что назревает необходимость слияния Земского и Городского союзов в одну организацию. Деревня и город, помещик и фабрикант имеют пред собой одного и того же врага. Как патриоты, мы вправе надеяться, что все подлинно прогрессивные силы страны поймут значение этого блока. Мы не только вправе надеяться, но считаем себя вправе требовать. Поэтому я с глубоким огорчением выслушал вашу литературно остроумную, но политически, безусловно, вредную попытку как-то оправдать Распутина именно в то время, когда его гнусное, разрушающее влияние возрастает.

— Я те задам! — проворчал Тагильский, облизнул губы, сунул руки в карманы и осторожно, точно кот, охотясь за птицей, мелкими шагами пошел на оратора, а Самгин «предусмотрительно» направился к прихожей, чтоб, послушав Тагильского, в любой момент незаметно уйти. Но Тагильский не успел сказать ни слова, ибо толстая дама возгласила:

— Пожалуйте к столу, господа! Закусите чем бог послал...

Не только Тагильский ждал этого момента — публика очень единодушно двинулась в столовую. Самгин ушел домой, думая о прогрессивном блоке, пытаясь представить себе место в нем, думая о Тагильском и обо всем, что слышал в этот вечер. Все это нужно было примирить, уложить плотно одно к другому, извлечь крупички полезного, забыть о том, что бесполезно.

Время шло с поразительной быстротой. Обнаруживая свою невещественность, оно бесследно исчезало в потоках

горячих речей, в дыме слов, не оставляя по себе ни пепла, ни золы. Клим Иванович Самгин много видел, много слышал и пребывал самим собою как бы взвешенный в воздухе над широким течением событий. Факты проходили пред ним и сквозь него, задевали, оскорбляли, иногда — устрасали. Но — все проходило, а он непоколебимо оставался зрителем жизни. Он замечал, что чувство уважения к своей стойкости, сознание независимости все более крепнет в нем. Он не мог бы назвать себя человеком равнодушным, ибо все, что непосредственно касалось его личности, очень волновало его. Так, например, повторилось нечто пережитое им лет за десять до этого года.

По дороге на фронт около Пскова соскочил с расшатанных рельс товарный поезд, в составе его были три вагона сахара, гречневой крупы и подарков солдатам. Вагонов этих не оказалось среди разбитых, но не сохранилось и среди уцелевших от крушения. Климу Ивановичу Самгину предложили расследовать это чудо, потому что судебное следствие не отвечало на запросы Союза, который послал эти вагоны одному из полков ко дню столетнего юбилея его исторической жизни.

Следствие вел провинциальный чиновник, мудрец весьма оригинальной внешности, высокий, сутулый, с большой тяжелой головой, в ключьях седых волос, стрепанных, точно после драки, его высокий лоб, разлинованный морщинами, мрачно украшали густейшие серебряные брови, прикрывая глаза цвета ржавого железа, горбатый, ястребиный нос прятался в плотные и толстые, точно литые, усы, седой волос усов очень заметно пожелтел от дыма табака. Он похож был на военного в чине не ниже полковника.

— Евтихий Понормов, — отрекомендовался он, протянув Самгину руку как будто нехотя или нерешительно, а узнав, зачем приехал визитер, сказал: — Не могу вас порадовать: чорт их знает куда исчезли эти проклятые вагоны.

Голос у него был грубый, бесцветный, неопределенного тона, и говорил он с сожалением, как будто считал своей обязанностью именно радовать людей и был огорчен тем, что в данном случае не способен исполнить обязанность эту.

— Установлено, что крестьяне села, возле коего потерпел крушение поезд, грабили вагоны, даже избили кондуктора, проломили череп ему, кочегару по морде попало, но ведь вагоны-то не могли они украсть. Закатили их куда-то, к чорту лешему. Семь человек арестовано, из них — четыре бабы. Бабы, сударь мой, чрезвычайно обозлены событиями! Это, знаете, очень... Не радуется, так сказать.

Самгин спросил: солдаты сопровождали поезд?

— А — как же? Одиннадцать человек. Солдат арестовал военный следователь, установив, что они способствовали грабежу. Знаете: бабы, дело — ночное и так далее. Н-да. Воровство, всех форм, весьма процветает. Воровство и мошенничество.

Самгин видел, что этот человек, согбенный трудом обличения воров и мошенников, давно устал и относится к делу своему с глубоким равнодушием.

— Могу я ознакомиться с протоколами допросов?

— Вообще это не принято, но — война и ваше официальное положение... Я думаю — можно. — Он заговорил более оживленно: — Кстати: вы где остановились? Нигде еще — н-да! Чемодан на вокзале? Ага.

И уже с оттенком торжества в голосе он сообщил:

— Остановиться здесь — негде. Город натискан беженцами, ранеными, отдыхающими от военных трудов, спекулянтами, шулерами и всяким мародерством и дерьмом. Но могу вас обрадовать: тут все обыватели, даже и зажиточные, зарабатывают, сдавая комнаты. Ценные, мелкие вещи прячут, сами выселяются в сарай, бани, садовые беседки. Моя квартирохозяйка тоже из эдаких. Можете остановиться у нее, но в комнате, уже занятой одним военным; подпоручик, ранен и — дурак. С обедом, чаем или кофе, с ужином она взимает по двадцать пять рублей — деньги дешевы.

Когда Самгин сказал, что он согласен, следователь как будто удивился:

— Хотя, в сущности, что вы будете делать здесь? Впрочем — это меня не касается. Позовем хозяйку.

Передвинув языком папиросу из правого угла рта в левый, он снял телефонную трубку:

— Да. Сейчас же.

Явилась хозяйка, маленькая, ловкая, рыжеволосая,

в зеленом переднике, с кукольным румяным личиком и наивными глазами серого цвета.

— Полина Петровна Витовт, — сказал о ней следователь.

Она очень ласково улыбнулась и отвела Самгина в комнату с окнами на двор, загроможденный бочками. Клим Иванович плохо спал ночь, поезд из Петрограда шел медленно, с препятствиями, долго стоял на станциях, почти на каждой толпились солдаты, бабы, мохнатые старики, отвратительно визжали гармошки, завывали песни, звучал дробный стук пляски, и в окна купе заглядывали бородатые рожи запасных солдат. Утомительно было даже вспомнить этот день, весь в грохоте и скрежете железа, в свисте, воплях песен, криках, ругательствах, в надсадном однообразном вое гармоник. Клим Иванович, сняв френч, прилег на кушетку и почти немедленно уснул и проснулся от странного ощущения — какая-то сила хочет поставить его вверх ногами. Самгин приподнял голову и в ногах у себя увидел другую; черная, она была вставлена между офицерских погон на очень толстые, широкие плечи. Легко было понять, что офицер, приподнимая и встряхивая кушетку, трудится с явным намерением сбросить с нее человека. Самгин быстро подобрал свои ноги, спустив их на пол, и поспешно осведомился:

— Что вы делаете? Что вам угодно?

— Книга, тут должна быть книга, — громко чмокнув, объяснил офицер, выпрямляясь. Голос у него был сиплый, простуженный или сорванный; фигура — коренастая, широкогрудая, на груди его ползал беленький крестик, над низеньким лбом щеткой стояли черные волосы.

— Подпоручик Валерий Николаев Петров, — сказал он, становясь против Самгина. Клим Иванович тоже назвал себя, протянул руку, но офицер взмахнул головой, добавил:

— Я не могу пожать вашу руку.

— Почему?

— Вы — сидите, я — стою. Допустимо ли, чтоб офицер стоял пред штатским с протянутой рукой?

— Я — близорук, да еще со сна, — миролюбиво объяснил Самгин, видя пред собой бритое, толстогубое лицо с монгольскими глазками и широким носом.

— Вам следовало объяснить мне это, — сказал офицер, спрятав руки свои за спину.

— Вот я и объясняю.

— Поздно. Вы дали мне право думать, что ваше поведение — это обычное поведение штатских либералов, социалистов и вообще этих, которые прячутся в Земском и Городском союзах, путаясь у нас в ногах...

Поднимая голос, он сипел и свистел все громче:

— Вы даже улыбнулись, подчеркнув этим неуважение к защитнику родины и чести армии, — неуважение, на которое я вправе ответить револьверной пулей.

«Этот — может», — подумал Самгин и, стараясь подавить тревожное чувство, миролюбиво выговорил: — Да, армия в наши дни заслуживает...

Петров вкусно чмокнул.

— В наши дни? А в шестом-седьмом годах, уничтожая революционеров, — не заслуживала, нет?

— Разумеется, и тогда, — торопливо согласился Самгин.

— Рад слышать, — сказал поручик Петров. — Рад, — повторил он. — Иначе... Я — сторонник дуэлей. А — вы?

— Не приходилось решать этот вопрос, — осторожно ответил Самгин. — Но ведь, кажется, во время войны дуэли — запрещены?

— Да. А — почему? — настойчиво спросил поручик.

— О-очень понятно, — сказал Самгин, чувствуя, что у него вспотели виски. — Представьте, что штатский вызывает вас и вы... человек высокой ценности, становитесь под его пулю...

Поручик Петров ослепленно мигнул, чмокнул и, растянув толстые губы широкой улыбкой, протягивая Самгину руку с короткими пальцами, одобрительно, даже с радостью просипел:

— Bravo! Вашу руку... Приятно встретить разумного человека... Мы — выпьем! Пива, да? Отличное пиво.

Он ткнул пальцем в стену, явилась толстая, белобрысая женщина.

— Бир, — сказал Петров, показывая ей два пальца. — Цвей бир! * Ничего не понимает, корова. Чорт их знает,

* Пару пива! (нем.). — Ред.

кому они нужны, эти мелкие народы? Их надобно выселить в Сибирь, вот что! Вообще — Сибирь заселить инородцами. А то, знаете, живут они на границе, все эти латыши, эстонцы, чухонцы, и тяготеют к немцам. И все — революционеры. Знаете, в пятом году, в Риге, унтер-офицерская школа отлично расчесала латышей, били их, как бешеных собак. Молодцы унтер-офицеры, отличные стрелки...

Кошмарное знакомство становилось все теснее и тяжелей. Поручик Петров сидел плечо в плечо с Климом Самгиным, хлопал его ладонью по колену, толкал его локтем, плечом, радовался чему-то, и Самгин убеждался, что рядом с ним — человек ненормальный, невменяемый. Его узенькие, монгольские глаза как-то неестественно прыгали в глазницах и сверкали, точно рыба чешуя. Самгин вспомнил поручика Трифонова, тот был менее опасен, простодушнее этого.

«Тот был пьяница, неудачник, а этот — нервнобольной. Безумный. Герой».

Толстая женщина принесла пиво и вазочку соленых сухарей. Петров, гремя саблей, быстро снял портупею, мундир, остался в шелковой полосатой рубашке, засучил левый рукав и, показав бицепс, спросил Самгина:

— Утешительно? Пьем за армию! Ну, расскажите-ка, что там, в Петрограде? Что такое — Распутин и вообще все эти сплетни?

Но он не стал ждать рассказа, а, выдернув подол рубахи из брюк, обнажил левый бок и, щелкая пальцем по красному шраму, с гордостью объяснил:

— Штыком! Чтоб получить удар штыком, нужно подбежать вплоть ко врагу. Верно? Да, мы, на фронте, не щадим себя, а вы, в тылу... Вы — больше враги, чем немцы! — крикнул он, ударив дном стакана по столу, и матерно выругался, стоя пред Самгиным, размахивая короткими руками, точно пловец. — Вы, штатские, сделали тыл врагом армий. Да, вы это сделали. Что я защищаю? Тыл. Но, когда я веду людей в атаку, я помню, что могу получить пулю в затылок или штык в спину. Понимаете?

— Я слышал о случаях убийства офицеров солдатами, — начал Самгин, потому что поручик ждал ответа.

— Ага, слышали?

— Да, но я не верю в это...

— Наивно не верить. Вы, вероятно, притворяетесь, фальшивите. А представьте, что среди солдат, которых офицер ведет на врага, четверо были выпороты этим офицером в 907 году. И почти в любой роте возможны родственники мужиков или рабочих, выпоротых или расстрелянных в годы революции.

Мысль о таких коварных возможностях была совершенно новой для Клима Ивановича, и она ошеломила его.

«Люди вроде Кутузова, конечно, вспомнили бы о Немезиде», — тотчас сообразил он и затем сказал:

— Никогда не думал об этом.

— Не думали? А теперь что думаете?

Клим Иванович Самгин развел руками и вполне искренно выговорил:

— Это положение вдвое возвышает мужество и героизм офицерства. Защищать отечество...

— При условии — одна пуля в лоб, другая в затылок, — так? Да? Так?

— Да-а, — протяжно откликнулся Самгин в ответ на свистящий шопот.

Поручик Валерий Николаевич Петров заглянул в лицо его, положил руки на плечи ему и растроганно произнес:

— Дайте, я вас поцелую, голубчик!

Толстые губы его так плотно и длительно присосались, что Самгин почти задохнулся, — противное ощущение засасывания обострялось колющей болью, которую причиняли жесткие, подстриженные усы. Поручик выгонял мизинцем левой руки слезы из глаз, смеялся всхлипывающим смехом, чмокал и говорил:

— Спасибо, голубчик! Ситуация, чорт ее возьми, а? И при этом мой полк принимал весьма деятельное участие в борьбе с революцией пятого года — понимаете?

В правой руке он держал стакан, рука дрожала, выплескивая пиво, Самгин прятал ноги под стул и слушал сипящее кипение слов:

— Но полковник еще в Тамбове советовал нам, офицерству, выявить в ротах наличие и количество поротых и прочих политически неблагонадежных, — выявить их, в первую голову, употреблять их для разведки и вообще — ясно? Это, знаете, настоящий отец-командир! Войну он кончит наверняка командиром дивизии.

Он очень долго рассказывал о командире, о его жене, полковом адъютанте; приближался вечер, в открытое окно влетали, вместе с мухами, какие-то неопределенные звуки, где-то далеко оркестр играл «Кармен», а за грудой бочек на соседнем дворе сердитый человек учил солдат петь и яростно кричал:

— Болван! Слушай — такт! Ать, два, левой, левой! Делай — ать, два!

И визгливый тенорок выпевал:

Жизни тот один достоин,
Кыто н-на смерть всегда готов.

— Хор — делай!

Хор громко, но не ладно делал на мотив «Было дело под Полтавой»:

Православный русский воин,
Не считая, бьет врагов..
Так громчей, музыка,
Играй победу...

— Отставить, болваны!

— Я повел двести тридцать, осталось — шестьдесят два, — рассказывал поручик, притопывая ногой.

Самгин слушал его и пытался представить себе — скоро ли и чем кончится эта беседа.

— Сто восемьдесят шесть... семнадцать... — слышал он. — Войну мы ведем, младшее офицерье. Мы — впереди мужиков, которые ненавидят нас, дворянство, впереди рабочих, которых вы, интеллигенты, настраиваете против царя, дворян и бога...

Он пошатнулся, точно одна нога у него вдруг стала короче, крепко потер лоб, чмокнул, подумал.

— Я не персонально про вас, а — вообще о штатских, об интеллигентах. У меня двоюродная сестра была замужем за революционером. Студент-горняк, башковатый тип. В седьмом году сослали куда-то... к чорту на кулички. Слушайте: что вы думаете о царе? Об этом жулике Распутине, о царице? Что — вся эта чепуха — правда?

— Отчасти, видимо, правда...

— Отчасти, — проворчал Петров. — А — как велика часть?

— Трудно сказать.

Поручик Петров сел на кушетку, взял саблю, вынул до половины клинок из ножен и вложил его, сталь смачно чмокнула, он повторил и, получив еще более звучный чмок, отшвырнул саблю, сказав:

— Скучно все-таки. В карты играете? Ага! Этот тип, следовательно, тоже играет. И жена его... Идемте к ним, они нас обыграют.

Самгин не решился отказаться да и не имел причины, — ему тоже было скучно. В карты играли долго и скучно, сначала в преферанс, а затем в стуколку. За все время игры следовательно сказал только одну фразу:

— В конце концов — нельзя понять: ты играешь, или тобой карты играют?

— Так же и обстоятельства, — добавил поручик.

Выиграв кучу почтовых марок и бумажных денег, рыженькая, смущенно улыбаясь, заявила:

— Больше — не могу.

— Тогда — давай еще пива, — сказал следовательно. Она ушла, начали играть в девятку. Петров непрерывно глотал пиво, но не пьянел, а только урчал, мурлыкал:

Ж-жизни тот один достоин...

Кто всегда, да-да-да-да...

Ни туда и ни сюда, и никуда, —

И ерунда...

Играл он равнодушно, нелепо рискуя, много проигрывая. Сидели посредине комнаты, обставленной тяжелой жесткой мебелью под красное дерево, на книжном шкафе, возвышаясь, почти достигая потолка, торчала гипсовая голова <Мицкевича>, над широким ковровым диваном — гравюра: Ян Собесский под Веной. Одно из двух окон в сад было открыто, там едва заметно и беззвучно шевелились ветви липы, в комнату втекал ее аптечный запах, вползали неопределенные [шорохи?], заплутавшиеся в ночной темноте. Самгин отказался играть в девятку, курил и, наблюдая за малоподвижным лицом поручика, пробовал представить его в момент атаки: впереди — немцы, сзади — мужики, а он между ними один. Думалось о поручике грустно.

«Один между двух смертей и — остается жив».

— Скажите, — спросил он, — идя в атаку, вы обнажаете шашку, как это изображают баталисты?

— Обнажаю, обнажаю, — пробормотал поручик, считая деньги. — Шашку и Сашку, и Машку, да, да! И не иду, а — бегу. И — кричу. И размахиваю шашкой. Главное: надобно размахивать, двигаться надо! Я, знаете, замечательные слова поймал в окопе, солдат солдату эдак зверски крикнул: «Что ты, дурак, шевелишься, как живой?»

Поручик сипло захохотал, раскачиваясь на стуле:

— Хорошенькое бон мо? * То-то! Вот как действуют обстоятельства...

Вторя его смеху своим густо охающим, следовательно объявил:

— По банку.

И сорвал банк.

Поручик Петров встал, потряс над столом руками, сказал:

— Всё.

Затем, тихонько свистнув сквозь зубы, отошел к дивану, сел, зевнул и свалился на бок.

— Вот так — вторую неделю, — полушопотом сказал следовательно, собирая карты. — Отдыхает после госпиталя. Ранен и контужен.

Петров храпел.

— Домовладелец здешний, сын советника губернского правления, уважаемого человека. Семью отправил на Волгу, дом выгодно сдал военному ведомству. Из войны жив не вылезет — порок сердца нажил.

В свистящем храпе поручика было что-то жуткое, эту жуть усиливал полушопот следователя.

— Это — Мицкевич, — говорил он. — Жена у меня полька.

Уже светало. Самгин пожелал ему доброй ночи, ушел в свою комнату, разделся и лег, устало думая о чрезмерно словоохотливых и скучных людях, о людях одиноких, героически исполняющих свой долг в тесном окружении врагов, о себе самом, о себе думалось жалобно, с обидой на людей, которые бесцеремонно и даже как бы мстительно перебрасывают тяжести своих впечатлений

* Острое словцо (франц.). — Ред.

на плечи друг друга. Он, Клим Иванович Самгин, никогда не позволяет себе жалоб на жизнь, откровенностей, интимностей. Даже с Мариной Зотовой не позволял. Он уже дремал, когда вошел Петров, воюще зевнул, не стесняясь шуметь, разделся и, сидя в ночном белье, почесывал обеими руками волосатую грудь.

— Спите? — спросил он.

— Нет.

— А — между нами — жизнь-то, дорогой мой, — бессмысленна. Совершенно бессмысленна. Как бы мы ни либеральничали. Да-да-да. Покойной ночи.

— Спасибо, — тихонько откликнулся Самгин, крайне удивленный фразой поручика о жизни, — фраза эта не совпадала с профессией героя, его настроением, внешностью, своей неожиданностью она вызывала такое впечатление, как будто удар в медь колокола дал деревянный звук. Клим Иванович с некоторого времени, изредка, в часы усталости, неудач, разрешал себе упрекнуть жизнь в неясности ее смысла, но это было похоже на преувеличенные упреки, которые он допускал в ссорах с Варварой, чтоб обидеть ее. С той поры как Тагильский определил его роль и место в жизни как роль и место аристократа от демократии, он, Самгин, конечно, не мог уже серьезно думать, что его жизнь бессмысленна. А поручик думает так серьезно.

— Главное, голубчик мой, в том, что бога — нет! — бормотал поручик, закулив папиросу, тщательно, как бы удовлетворяя давнюю привычку, почесывая то грудь, то такие же мохнатые ноги. — Понимаете — нет бога. Не по Вольтеру или по этому... как его? Ну — чорт с ним! Я говорю: бога нет не по логике, не вследствие каких-то доказательств, а — по-настоящему нет, по ощущению, физически, физиологически и — как там еще? Одним словом... В детстве у меня сложилось эдакое крепкое верование: в Нижнем-Новгороде знаменитый монумент Минину — Пожарскому. Один — в Москве, другой, лучший, в Нижнем. Приехал я туда в кадетский корпус учиться, а памятника-то — нет! Был? И не было никогда... Вот так и бог.

Когда Самгин проснулся, разбуженный железным громом, поручика уже не было в комнате. Гремела артиллерия, проезжая рысью по булыжнику мостовой, с громом железа как будто спорил звон колоколов, настолько мощ-

ный, что казалось — он волнует воздух даже в комнате. За кофе следователь объяснил, что в городе назначен смотр артиллерии, прибывшей из Петрограда, а звонят, потому что — воскресенье, церкви зовут к поздней обедне.

— Жена ушла в костел, — ненужно сообщил он, а затем деловито рассказал, что пропавшие вагоны надобно искать не здесь, а ближе к фронту.

— Да, вероятно, и там не найдете, — равнодушно добавил он. — Пищевое довольствие воруют изумительно ловко, воруют спекулянты, интенданты, солдаты, вообще — все, кому это нравится.

Но все-таки он представил несколько соображений, из которых следовало, что вагоны загнали куда-нибудь в Литву. Самгину показалось, что у этого человека есть причины желать, чтоб он, Самгин, исчез. Но следователь подкрепил доводы в пользу поездки предложением дать письмо к брату его жены, ротмистру полевых жандармов.

— Он может сильно помочь вам.

Первая поездка по делам Союза вызвала у Самгина достаточно неприятное впечатление, но все же он считал долгом своим побывать ближе к фронту и, если возможно, посмотреть солдат в их деле, в бою.

И вот он сидит на гряде старых шпал, в тени огромного дерева с мелкими листьями, светлозелеными с лицевой стороны, оловянного цвета с изнанки. Эти странные, легкие листья совершенно неподвижны, хотя все вокруг охвачено движением: в мутноватом небе ослепительно и жарко тает солнце, освещая широкую кочковатую равнину. Ее с одной стороны ограничивает невысокая песчаная насыпь железной дороги, с другой — густое мелколесье, еще недавно оно примыкало вплоть к насыпи, от него осталось множество пней разной высоты, они торчат по всей равнине.

В сотне шагов от Самгина насыпь разрезана рекой, река перекрыта железной клеткой моста, из-под него быстро вытекает река, сверкая, точно ртуть, река не широкая, болотистая, один ее берег густо зарос камышом, осокой, на другом размыт песок, и на всем видимом протяжении берега моются, ходят и плавают в воде солдаты, моют лошадей, в трех местах — ловят рыбу бреднем, натирают груди, ноги, спины друг другу теплым, жирным

илом реки. Солдат еще больше, чем пней и кочек, их так много, что кажется: если они лягут на землю, земля станет невидимой под ними. В одном месте на песке идет борьба, как в цирке, в другом покрывают крышу барака зелеными ветвями, вдали, почти на опушке леса, разбирают барак, построенный из круглых жердей. Палатки, заброшенные ветвями деревьев, зелеными и жухлыми, осенних красок, таких ветвей много, они втоптаны в сырую землю, ими выложены дорожки между пней и кочек. Дымят трубы полковых кухонь, дымят костры. Самгин насчитал восемь костров, затем — одиннадцать и перестал считать, были еще и маленькие костры, на них кипятились чайники, около них сидели солдаты по двое, трое. Они в белых и сероватых рубахах, очень много совсем нагих чинит белье. Заметно было, что многие солдаты бродят одиноко, как бы избегая общения. Дым, тяжело и медленно поднимаясь от земли, сливается с горячим, влажным воздухом, низко над людьми висит серое облако, дым напитан запахами болота и человеческого навоза. Люди кричат, их невнятные крики образуют тоже как бы облако разнообразного шума, мерно прыгает солдатская маршевая песня, уныло тянется деревенская, металлически скрипят и повизгивают гармоники, стучат топоры, где-то учатся невидимые барабанщики, в трех десятках шагов от насыпи собралось толстое кольцо, в центре его двое пляшут, и хор отчаянно кричит старинную песню:

Деревенски мужики —
Хамы, свиньи, дураки.
Эх, — кáлина, эх, — мáлина.

Пальцы режут, зубы рвут.
В службу царскую нейдут.
Не хочут! Кáлина, ой — мáлина.

Дирижирует хором прапорщик Харламов. Самгин уже видел его, говорил с ним. Щеголеватый читатель контрреволюционной литературы и любитель острых неблагонадежных анекдотов очень похудел, вытянулся, оброс бородой неопределенной окраски, но не утратил своей склонности к шуточкам и клоунадам.

— Упражняюсь в патриотизме, — ответил он на вопрос: как чувствует себя?

— Воюете?

— В непосредственную близость с врагом не вступал. Сидим в длинной мокрой яме и сообщаемся посредством выстрелов из винтовок. Враг предпочитает пулеметы и более внушительные орудия истребления жизни. Он тоже не стремится на героический бой штыками и прикладами, кулаками.

Говоря в таком глумливом и пошловатом тоне, он все время щурился, покусывал губы. Но иногда между плоских фраз его фельетонной речи неуместно, не в лад с ними, звучали фразы иного тона.

— Моя роль сводится к наблюдению за людьми, чтоб они строго исполняли свои обязанности: не говорили глупостей, стреляли — когда следует, не дезертировали.

— А — дезертируют?

— Представьте — весьма охотно и зная, что за это расстреливают.

Он первый сказал Самгину, что дальше к фронту его не пустят.

— Происходит перегруппировка частей, для того чтоб выровнять фронт, вы, конечно, понимаете, что это значит. Участок фронта, где сидел мой полк, отодвигается ближе к тылу.

Широким взмахом руки он показал на равнину, где копошились солдаты.

— Это — тыл. Здесь — отдыхают. Батальон, в котором я служу, направлен сюда именно для отдыха, но похоже, что и нам вместе с другими отдыхающими тоже надо будет попятиться дальше в болота.

Самгин спросил: почему выбрано такое сырое, скучное место?

— Это — неизвестно мне. Как видите — по ту сторону насыпи сухо, песчаная почва, был хвойный лес, а за остатками леса — лазареты «Красного Креста» и всякое его хозяйство. На реке можно было видеть куски розовой марли, тампоны и вообще некоторые интимности хирургов, но солдаты опротестовали столь оригинальное засорение реки, воду которой они пьют.

Помолчав несколько секунд, Харламов спросил:

— Вы не знаете некоего Антона Тагильского?

— Встречал.

— Он тоже имеет какое-то отношение к Земгору? Не знаете? Присвоенной формы не носит, имеет какое-то отношение к вопросам продовольствия и вообще что-то вроде негласного инспектора. Все знает, все считает.

— Он любит цифры, — сообщил Самгин.

— Вот — именно! Чрезвычайно интересный и умный человек. Офицерство — не терпит его и даже поговаривает, что он будто бы имеет отношение к департаменту полиции. Не похоже, судя по его беседам с солдатами.

— А разве такие беседы допускаются?

— Какие? — наивно спросил Харламов, но Клим Иванович понял, что наивность искусственна.

— Беседы со штатскими?

— Смотря по тому — о чем? — усмехаясь, сказал Харламов. — Например: о социализме — не велят беседовать. О царе — тоже.

— Ах, вот что! Он — об этом?

— Нет, — серьезно и быстро возразил Харламов. — Я не сказал, что именно об этих вопросах. Он — о различных мелочах жизни, интересных солдатам.

— А офицера относятся к нему отрицательно? — спросил Самгин.

— Да. Как вообще к штатским.

— Однако не каждого подозревают в шпионстве, — сухо сказал Самгин и — помимо желания — так же сухо добавил: — Я знал его, когда он был товарищем прокурора.

— Вот как! — вполголоса произнес Харламов.

Через два часа после этой беседы Самгин видел, как Тагильского убили. Самгин пил чай в бараке — столовой офицеров. В длинном этом сарае их было человек десять, двое сосредоточенно играли в шахматы у окна, один писал письмо и, улыбаясь, поглядывал в потолок, еще двое в углу просматривали иллюстрированные журналы и газеты, за столом пил кофе толстый старик с орденами на шее и на груди, около него сидели остальные, и один из них, черноусенький, с кошачьим лицом, что-то вполголоса рассказывал, заставляя старика усмехаться. Он только что кончил беседовать с ротмистром Рушиц-Стрыйским, человеком такого богатырского объема, что невозможно

было вообразить коня, верхом на котором мог бы ездить этот огромный, тяжелый человек. Череп его оброс густейшей массой седых курчавых волос, круглое, румяное лицо украшали овечьи глаза, красный нос и плотные, толстые, черные усы, красиво прошитые серебряной нитью. Выслушав Самгина, он сказал густейшим подземным голосом, добродушно и любезно:

— Бросьте, батенька! Это — дохлое дело. Еще раньше дня на три, ну, может быть... А теперь мы немножко танцуем назад, составы кормежных поездов гонят куда только возможно гнать, все перепуталось, и мы сами ничего не можем найти. Боеприпасы убирать надобно, вот что. Кое-что, пожалуй, надобно будет предать огню.

Именно в эту минуту явился Тагильский. Войдя в открытую дверь, он захлопнул ее за собою с такой силой, что тонкие стенки барака за спиною Самгина вздрогнули, в рамках заныли, задребезжали стекла, но дверь с такой же силой распахнулась, и вслед за Тагильским вошел высокий рыжий офицер со стеклом в правой руке.

— Извольте ответить, — кричал он высоким голосом, топая ногами так, что даже сквозь шум в столовой, гулкой, точно бочка, был слышен звон его шпор.

— Прошу оставить меня в покое, — тоже крикнул Тагильский, сядя к столу, раздвигая руками посуду. Самгин заметил, что руки у него дрожат. Толстый офицер с седой бородкой на опухшем лице, с орденами на шее и на груди, строго сказал:

— Прошу не шуметь! В чем дело?

У рыжего офицера лицо было серое, с каким-то синеватым мертвенным оттенком, его искажали судорожные гримасы, он, как будто от боли, пытался закрыть глаза, но глаза выкатывались.

— Вчера этот господин убеждал нас, что сибирские маслоделы продают масло японцам, заведомо зная, что оно пойдет в Германию, — говорил он, похлестывая стеклом по сапогу. — Сегодня он обвинил меня и капитана Загуляева в том, что мы осудили невинных...

— Да, — крикнул Тагильский, подскочив на стуле. — Вы расстреляли сумасшедших, а не дезертиров.

— Молчать! — свирепо крикнул толстый офицер. — Кто вам дал право...

— Таких дезертиров здесь — десятки, вон они ходят! Это — больные. Они — обезумели. Они не знают, куда...

Остались сидеть только шахматисты, все остальное офицерство, человек шесть, постепенно подходило к столу, становясь по другую сторону его против Тагильского, рядом с толстяком. Самгин заметил, что все они смотрят на Тагильского хмуро, сердито, лишь один равнодушноковыряет зубочисткой в зубах. Рыжий офицер стоял рядом с Тагильским, на полкорпуса возвышаясь над ним... Он что-то сказал — Тагильский ответил громко:

— Да. Я — юрист и отдаю себе отчет в том, что говорю. Именно так: убийство психически невменяемых...

Офицер взмахнул стеком, но Тагильский подскочил и, взвизгнув: «Не смей!» — с большой силой толкнул его, офицер пошатнулся, стек хлопнул по столу, старик, вскочив, закричал, задыхаясь:

— Ротмистр Рущиц...

В эту секунду хлопнул выстрел. Самгин четко видел, как вздрогнуло и потеряло цвет лицо Тагильского, видел, как он грузно опустился на стул и вместе со стулом упал на пол, и в тишине, созданной выстрелом, закричала, сломалась ножка стула. Затем толстый негромко проговорил:

— Эх, капитан Вельяминов, всегда вы...

Рыжий офицер положил на стол револьвер, расстегнул португую, снял саблю и ее положил на стол, вполголоса сказав Рущицу:

— К вашим услугам, ротмистр...

— Как это вы не удержали! — негромко, но сердито спросил толстый.

— Виноват, — сказал Рущиц, тоже понизив голос, отчего он стал еще более гулким. Последнее, что осталось в памяти Самгина, — тело Тагильского в измятом костюме, с головой под столом, его желтое лицо с прихмуренными бровями...

Самгину казалось, что, если он попытается подняться со стула, так тоже упадет.

«Я не первый раз вижу, как убивают», — напомнил он себе, но это не помогло, и, согнувшись над столом, он глотал остывший, противный чай, слушая пониженные голоса.

— Разве к штатским применим военно-полевой суд?

— Что это вы, друг мой? А как судили революционеров в шестом, седьмом...

— Ах, да! Я забыл.

— Главное — огласка...

— Солдаты...

Самгин не заметил, как рядом с ним очутились двое офицеров и один из них сказал:

— Мы все, во главе с генералом, просим вас не разглашать этот печальный случай.

— Да. Я — понимаю.

Они заговорили в два голоса:

— По крайней мере — здесь.

— А особенно — среди нижних чинов.

— Я не общаюсь с солдатами, — сказал Самгин.

— Можно объяснить самоубийством, — ласково предложил один из офицеров, а другой спросил:

— Вы знали этого человека?

— Да, знал.

— Он ведь в одном Союзе с вами?

— Близко знали?

— Нет, не близко, — ответил Самгин и механически добавил: — Года за полтора, за два до этого он действительно покушался на самоубийство. Было в газетах.

— Это — замечательно! — с тихой радостью сказал один, а другой в таком же тоне прибавил:

— Великолечно! Не помните, какая газета, когда?

— Нет, не помню.

— Это — жалко! Итак — ваше слово?

— Да, да, — сказал Клим Иванович.

Затем один из них сказал, шаркнув ногой:

— Честь имею!

Другой — тоже шаркнул, но молча, и оба очень быстро отошли к своему столу.

Самгин встал, вышел из барака, пошел по тропе вдоль рельс, отойдя версты полторы от станции, сел на шпалы и вот сидел, глядя на табор солдат, рассеянный по равнине. Затем встал не легкий для Клим Ивановича вопрос: кто более герой — поручик Петров или Антон Тагильский?

Убийство Тагильского потрясло и взволновало его как почти моментальное и устрашающее превращение живого, здорового человека в труп, но смерть сына трактирщика

и содержателя публичного дома не возбуждала жалости к нему или каких-либо «добрых чувств». Клим Иванович хорошо помнил неприятнейшие часы бесед Тагильского в связи с убийством Марины.

«Он вел тогда какую-то очень темную и оскорбительную игру со мной. Он типичный авантюрист, но неудачник, и вполне естественно, что, в своем стремлении к позе героической, он погиб так нелепо».

Вспомнилось, как после разгрома армии Самсонова на небольшом собрании в квартире весьма известного литератора Тагильский говорил:

— Я принадлежу к числу интеллигентов, пролетаризированных более, чем любой рабочий. Обладая даже и не очень высокой технической квалификацией, мастеровой человек не только хозяин своей физической энергии, но и человек, который может ценить свои технические знания как некую правду, как явную полезность. Я квалифицирован как юрист, защитник общества против покушений на его социально-политический порядок, на собственность, на жизнь его членов. Но представьте, что у меня исчезло сознание необходимости защищать этот порядок, представьте, что я чувствую порядок этот враждебным мне? Уродующим меня?

— Ну — что ж? Значит, вы — анархист, — пренебрежительно сказал его оппонент, Алексей Гогин; такой же щеголь, каким был восемь лет тому назад, он сохранил веселый блеск быстрых глаз, но теперь в блеске этом было нечто надменное, ироническое, его красивый мягкий голос звучал самодовольно, решительно. Гогин заметно пополнил, и красиво прихмуренные брови делали холеное лицо его как-то особенно значительным.

— Возможно, что анархист, но не потому, что знаком с этой теорией, кстати, очень плоской, примитивной и даже пошловатой...

— Вот как? — недоверчиво удивился Гогин.

— Да, так. Вы — патриот, вы резко осуждаете пораженцев. Я вас очень понимаю: вы работаете в банке, вы — будущий директор и даже возможный министр финансов будущей российской республики. У вас — имеется что защищать. Я, как вам известно, сын трактирщика. Разумеется, так же как вы и всякий другой гра-

жданin славного отечества нашего, я не лишен права открыть еще один трактир или дом терпимости. Но — я ничего не хочу открывать. Я — человек, который выпал из общества, — понимаете? Выпал из общества.

— Как молочный зуб у ребенка? Или? — спросил Гогин.

— Как вам угодно, — устало сказал Тагильский, а литератор, нахмуря брови красивого, но мало подвижного лица, осведомленно и пророчески произнес:

— В словах ваших слышен зов смерти, вы идете к самоубийству.

Тагильский молча пожал плечами.

«Нет, конечно, Тагильский — не герой, — решил Клим Иванович Самгин. — Его поступок — жест отчаяния. Покушался сам убить себя — не удалось, устроил так, чтоб его убили... Интеллигент в первом поколении — называл он себя. Интеллигент ли? Но — сколько людей убито было на моих глазах!» — вспомнил он и некоторое время сидел, бездумно взвешивая: с гордостью или только с удивлением вспомнил он об этом?

«Я имею право гордиться обширностью моего опыта», — думал он дальше, глядя на равнину, где непрерывно, неумоимо шевелились сотни серых фигур и над ними колебалось облако разноголосого, пестрого шума. Можно смотреть на эту бессмысленную возню, слушать ее звучание и — не видеть, не слышать ничего сквозь трепетную сетку своих мыслей, воспоминаний.

Он действительно не слышал, как подошел к нему высокий солдат в шинели, с палочкой в руке, подошел и спросил вполголоса:

— Ваше благородие — газетки почитать нету?

Самгин торопливо оглянулся — вокруг никого не было, но в сотне шагов двигались медленно еще трое.

— Нет, — сухо ответил он.

Солдат шумно вздохнул и, ковыряя палкой гнилую шпалу, снова спросил:

— Вы — из Земсоюза будете?

— Да.

И, сознавая, что отвечает обидно кратко, спросил:

— Ранен?

— Ревматизма грызет. Она, в окопах, нещадно дей-

ствуется. Сырая тут область. Болотная, — пробормотал солдат, подождал еще вопроса, но не дождался и сочувственно сказал, взмахнув палкой:

— Давно гляжу на вас, оттуда вон, — сидит человек одиночно, думает про наши несчастливые дела...

Самгин молчал. Длительно и еще более шумно солдат вздохнул еще раз и, тыкая палкой землю, пошел прочь, в сторону станции.

После него осталось глухое раздражение, а от раздражения зажглись, затлели странные мысли:

«Сколько ценнейших сил, упрямого учительства тратится на эту полудикую, полуграмотную массу людей. В сущности, они не столько помогают, как мешают жить».

Каким-то куском мозга Клим Иванович понимал комическую парадоксальность таких мыслей, но не мешал им, и они тлели в нем, как тлеет трут или сухие гнилушки, вызывая в памяти картины ограбления хлебного магазина, подъем колокола и множество подобных, вплоть до бородатых, зубастых на станции Новгород, вплоть до этой вот возни сотен солдат среди древесных, наскоро срубленных пней и затоптанного валежника.

Трое солдат подвигались все ближе. Самгин встал и быстро пошел вслед за солдатом, а тот, должно быть, подумав, что барин догоняет его, — остановился, ожидая. Тогда Клим Иванович, высмотрев наиболее удобное место, спустился с насыпи и пошел в город. По эту сторону насыпи пейзаж был более приличен и не так густо засорен людьми: речка извивалась по холмистому дерновому полю, поле украшено небольшими группами берез, кое-где возвышаются бронзовые стволы сосен, под густой зеленью их крон — белые палатки, желтые бараки, штабеля каких-то ящиков, покрытые брезентами, всюду красные кресты, мелькают белые фигуры сестер милосердия, под окнами дощатого домика сидит священник в лиловой рясе — весьма приятное пятно. Дорога от станции к городу вымощена мелким булыжником, она идет по берегу реки против ее течения и прячется в густых зарослях кустарника или между тесных группочек берез. В полуверсте от города из кустарника вышел солдат в синей рубашке без пояса, с длинной, гибкой полосой железа на плече, вслед за ним — Харламов.

— Вы слышали? — вполголоса и тревожно сказал он Самгину. — Капитан Вельяминов застрелил Тагильского... — Случайно? — спросил Клим Иванович, искоса взглянув на чумазое лицо солдата.

— Да — нет! Спорили...

Солдат, пошевелив усами, чуть заметно и отрицательно потряс головой.

«Яков, — вспомнил Самгин Москву, пятый год, баррикаду. — Товарищ Яков...»

А Харламов, упрекая кого-то, говорил:

— Тагильский правильно утверждал, что осудили и расстреляли больных, а не дезертиров, а этот Вельяминов был судьей.

— Вы... присутствовали при этом? — строго спросил Самгин.

Товарищ Яков тоже спросил Харламова:

— Можно идти, ваше благородие?

— Да, иди, иди...

Яков перешел дорогу, полоса железа как будто подгоняла его, раскачиваясь за спиной. Сняв фуражку, обмахивая ею лицо свое, Харламов говорил торопливо и подавленно, не похоже на себя:

— Почти каждый артиллерийский бой создает людей психически травмированных, оглушенный человек идет куда глаза глядят, некоторые пробираются далеко, их ловят — дезертир! А он — ничего не понимает, даже толково говорить разучился, совершенно невменяем!

Самгин, слушая, сообразил: он дал офицерам слово не разглашать обстоятельств убийства, но вот это уже известно, и офицера могут подумать, что разглашает он.

— Вы давно знаете этого... солдата? — спросил он, чувствуя, как его сжимает сухая злость.

Не без удивления и вопросительно глядя в лицо Самгина, Харламов сказал, что знает Якова как слесаря, который руководит мастерской по ремонту обоза, полковых кухонь и прочего.

— Весьма толковый человек, грамотный. А — что?

— Удобно ли, что вы при нем рассказываете об этом... случае с Тагильским? — спросил Самгин и тотчас понял, что форма вопроса неудачна.

— Хор-рошенький случай! — воскликнул Харламов,

вытаращив глаза. — Но — он знал об этом раньше, чем я, он там работает.

Клим Иванович Самгин весьма строго произнес:

— Если он уже знал, тогда... другое дело! А вообще я думаю, что в эти дни, печальные для нас, мы не должны бы подрывать в глазах рядовых авторитет офицерства...

— Ага-а, — медленно и усмехаясь, протянул Харламов. — Вы — оборонец?

— Да, — мужественно сказал Самгин и тотчас же пожалел об этом.

— Тогда, это... действительно — другое дело! — выговорил Харламов, не скрывая иронии. — Но, видите ли: мне точно известно, что в 905 году капитан Вельяминов был подпоручиком Псковского полка и командовал ротой его, которая расстреливала людей у Александровского сквера. Псковский полк имеет еще одну историческую заслугу пред отечеством: в 831 году он укрощал польских повстанцев...

Клим Иванович Самгин прервал его рассказ вопросом:

— Что же из этого следует? Нужно разлагать армию, да?

Харламов с явным изумлением выкатил глаза, горбосое лицо его густо покраснело, несколько секунд он молчал, облизывая губы, а затем обнаружил свою привычку к легкой клоунаде: шаркнул ногой по земле, растянул лицо уродливой усмешкой, поклонился и сказал:

— Не смею задерживать!

Круто повернулся спиной к Самгину и пошел прочь.

«Нахал, — молча проводил его Самгин. — Клоун. Опереточный клоун. Нигилист, конечно. Анархист».

Он смотрел вслед быстро уходящему, закуривая папиросу, и думал о том, что в то время, как «государству грозит разрушение под ударами врага и все должны единодушно, необоримой, гранитной стеной встать пред врагом», — в эти грозные дни такие безответственные люди, как этот хлыщ и Яковы, как плотник Осип или Тагильский, сеют среди людей разрушительные мысли, идеи. Вполне естественно было вспомнить о ротмистре Рушиц-Стрыйском, но тут Клим Иванович испугался, чувствуя себя в опасности.

Он мог бы сказать, что с некоторого времени действительность начала относиться к нему враждебно. Встряхивая его, как мешок, она приводила все, что он видел, по-

мнил, в состояние пестрого и утомительно разноречивого хаоса. Ненадолго, на час, даже на десяток минут, он вдруг и тревожно ощущал бессвязность своего житейского опыта, отсутствие в нем скрепляющего единства мысли и цели, а за этим ощущением пряталась догадка о бессмысленности жизни. Многие казалось лишним, даже совершенно лишенным смысла, мешающим сложиться чему-то иному, более крепкому и ясному. Клим Иванович Самгин воздерживался от определений точных, но сознавал, что это новое, ясное требует настроения органически чуждого ему, требует решимости, которой он еще не обладает. Он понимал, что внезапно вспыхнувшее намерение сообщить ротмистру Рушиц-Стрыйскому о Харламове и Якове не многим отличается от сообщения Харламову о том, что Тагильский был товарищем прокурора. Такие мимолетные намерения являлись все чаще, они не объяснялись личной антипатией, у них должно быть иное объяснение. Клим Иванович Самгин не находил его, потому что остерегался искать.

В тени группы молодых берез стояла на высоких ногах запряженная в крестьянскую телегу длинная лошадь с прогнутой спиной, шерсть ее когда-то была белой, но пропылилась, приобрела грязную сероватость и желтоватые пятна, большая, костлявая голова бессильно и низко опущена к земле, в провалившейся глазнице тускло блестит мутный, влажный глаз.

Самгин остановился, рассматривая карикатурную, но печальную фигуру животного, вспомнил «Холстомера» Л. Толстого, «Изумруд» Куприна и решил, что будет лучше, если он с ближайшим поездом уедет отсюда.

«Офицерство, наверное, подумает, что о случае с Тагильским я рассказал...»

Из-за стволов берез осторожно вышел старик, такой же карикатурный, как лошадь: высокий, сутулый, в холщовой, серой от пыли рубахе, в таких же портках, закатанных почти по колено, обнажавших ноги цвета заржавленного железа. Серые волосы бороды его — из толстых и странно прямых волос, они спускались с лица, точно нитки, глаза почти невидимы под седыми бровями. Показывая Самгину большую трубку, он медленно и негромко, как бы нехотя, выговорил:

— Не маете спички, ваше благородье?

Взял коробку из рук Самгина, двумя спичками тщательно раскурил трубку, а коробку сунул в карман штанов.
— Возвратите спички, — предложил Самгин, — старик пощупал пальцами — в кармане ли они? — качнул головой:

— А вы подарите мне.

И, осмотрев Самгина с головы до ног, он вдруг сказал:

— А — не буде ниякого дела с войны этой... Не буде. Вот у нас, в Старом Ясене, хлеб сжали да весь и сожгли, так же и в Халомерах, и в Удрое, — весь! Чтoб немцу не досталось. Мужик плачет, баба — плачет. Чтo плакать? Слезой огонь не погасишь.

Говоря задумчиво, он смотрел в землю, под ноги Самгина, едкий зеленоватый дым облекал его слова.

— Лес рубят. Так беззаботно рубят, что уж будто никаких людей сто лет в краю этом не будет жить. Обижают землю, ваше благородье! Людей — убивают, землю обижают. Как это понять надо?

Надо было что-то сказать старику, и Самгин спросил:

— Вы что делаете тут?

— Я солому вожу раненым. Жду вот бабу свою, она деньги получает... А они уже и не нужны, деньги... Плохо, ваше благородие. Жалобно стало жить...

— Терпеть надо, — благоразумно посоветовал Самгин. — Всем трудно, — строго добавил он, а затем уверенно предрек: — Скоро все это кончится и снова заживем спокойно...

Притронулся пальцем к фуражке и пошел прочь, сердито возражая кому-то:

«Едва ли страна выиграет от того, что безграмотные люди начнут рассуждать».

Шел он торопливо, хотелось обернуться, взглянуть на старика, но — не взглянул, как бы опасаясь, что старик пойдет за ним. Мысли тоже торопливо являлись, исчезали, изгоняя одна другую.

«Харламов, вероятно, заботится о том, чтоб рассуждали. Из каких побуждений он делает это?»

«...Можно думать, что стремление заставить крестьянство и рабочих политически мыслить — это жест отчаяния честолюбивых людей. Проиграв одну ставку, хотят взять реванш».

Через час он ехал в санитарном поезде, стоя на площадке вагона, глядя на поля, уставленные палатками — белыми пузырями. Он чувствовал себя очень плохо, нервный шок вызвал физическую слабость, урчало в кишечнике, какой-то странный шум кипел в ушах, перед глазами мелькало удивленно вздрогнувшее лицо Тагильского, раздражало воспоминание о Харламове. Все это разрешилось обильным поносом, Самгин испугался, что начинается дизентерия, пять дней лежал в железнодорожной больнице какой-то станции, а возвратясь в Петроград, несколько недель не выходил из дома.

Неудачные поездки на фронт создали в нем глухое, угрюмое раздражение против бородатых солдат, плотников, евреев. В этом раздражении было нечто уже враждебное людям, как бы ни были одеты они — в рубахи защитного цвета или в холст и ситец. Раньше он к евреям относился равнодушно, дело Бейлиса было для него делом, которое компрометирует страну, а лицо страны — это ее интеллигенция. Он был уверен, что относится к антисемитизму правительства так же, как большинство интеллигентов, и что это — правильное отношение. Но, когда с фронта хлынула угарная, отравляющая волна животной ненависти к евреям, он — подумал:

«В самом деле: почему — евреи занимают такое видное место у нас?.. Почему не татары или грузины, армяне?»

Вспомнил, что грузины и армяне служат в армии, дослуживаются до генеральства. У нас нет генералов-семи-тов, а вот в Англии нередко евреи становятся лордами, даже один из вице-королей Индии был еврей.

В лице Христа еврейство является основоположником религии, которую исповедует вся Европа и [которая] проповедуется католической церковью во всем мире. В лице Карла Маркса еврейство сеет на земле сокрушительное учение о непримиримости интересов капитала и труда, о неизбежном росте классовой ненависти, о неустранимой социально-революционной катастрофе.

«В конце концов вопрос об истоках антисемитизма крайне темный вопрос, но я вовсе не обязан решать его. И — вообще: что значит социальная обязанность личности, где начало этой обязанности, чем ограничены ее пределы?»

В Петрограде он чувствовал себя гораздо <больше> на месте, в Петрограде жизнь кипела все более круто, тревожно, вздымая густую пену бешенства страстей человеческих и особенно яростно — страсть к наживе. В этой пене мелькал, кувыркался и плавал Иван Дронов, всегда полупьяный, видимо, не столько от вина, сколько от успехов своей деятельности. Самгин не встречался с ним несколько месяцев, даже не вспоминал о нем, но однажды, в фойе театра Грановской, во время антракта, Дронов наскочил на него, схватил за локоть, встряхнул руку и, веселыми глазами глядя под очки Самгина, выдыхая запах вина, быстро выразил радость встречи, рассказал, что утром приехал из Петрозаводска, занят поставками на Мурманскую дорогу.

— Работают вчетвером: Ногайцев, Попов, инженер, — он тебя знает, — и Заусайлов, тоже инженер, «техническая контора Заусайлов и Попов». Люди — хоть куда! Эдакая, знаешь, богема промышленности, веселый народ! А ты — земгусар? Ну, как на фронте, а? Слушай, — идем ужинать! Поговорим, а?

Дронов был выпивши. Он обрил голову, уничтожил усы, красное лицо его опухло, раздулось, как пузырь, нос как будто стерся, почти незаметен, а толстые, мясистые губы высунулись вперед и жадно трепетали, показывая золото зубов, точно еще не прожеванную, не проглоченную пищу. И под рыжими бровями блестели, перекатываясь, подпрыгивая, быстрые, косенькие глазки. Поговорить с ним было интересно. Пошли в «Европейскую» гостиницу. Там было тесно, крикливо, было много красивых, богато одетых женщин, играл небольшой струнный оркестр, между столов плутали две пары, и не сразу можно было понять, что они танцуют. Около эстрады стоял, с бокалом в руке, депутат Думы Валяй-Марков, прозванный Медным Всадником за его сходство с царем Петром, — стоял и, пронзая пальцем воздух над плечом своим, говорил что-то, но слышно было не его слова, а слова человека, небольшого, рядом с Марковым.

— Мы презирали материальную культуру, — выкрикивал он, и казалось, что он повторяет беззвучные слова Маркова. — Нас гораздо больше забавляло создавать мировую литературу, анархические теории, неподражаемо

великолепный балет, писать стихи, бросать бомбы. Не умея жить, мы научились забавляться... включив террор в число забав...

— Это, кажется, Шульгин, — нетерпеливо бормотал Дронов. — Говорят, он — умный... А — что значит быть умным в наши дни? Вот вопрос!

— Целое столетие мы боролись против самодержавия, — нетрезвым голосом прокричал кто-то, а женщина с неестественно длинной спиной, как бы лишенная ягодич, громко, но неправильно цитировала:

Мы, дети страшных лет России,
Рожденные в года глухие...

И вдруг Самгин поймал хорошо памятный высокий голосок Бердникова.

— Да — чепуха же это, чепуха-а! — выпевал он, уговаривая, успокаивая кого-то. — У нас есть дивизия, которую прозвали «беговым обществом», она — как раз — все бегаёт от немцев-то. Да — нет, какая же клевета? Спросите военных, — подтвердят!

— Вот это — волк! — почтительно сообщил Дронов. — Это — Бердников, знаменитость, совершенно уголовный тип, необыкновенного ума. С ним даже министры считаются.

Самгин, наклонясь над столом и приподняв плечи, слушал.

— Ну — чего ж вы хотите? С начала войны загнали целую армию в болото, сдали немцам в плен. Винтовок не хватает, пушек нет, аэропланов... Солдаты все это знают лучше нас...

— Предлагаю прекратить эти мерзостные речи, — свирепо закричал Марков.

— А — пожалуйста, — согласился Бердников, и Самгин, искоса глядя влево, увидал, как Бердников легко несет огромный живот свой, пробираясь между столов, подняв голову, освещая рыхлое лицо благожелательно сияющей улыбкой.

Высокий чернобородый человек в поддевке громко говорил Маркову через головы людей:

— Надобно знать правду! Солдаты — знают: чтобы убить одного немца, теряем троих наших...

— Ложь!

— Нервничают, — сказал Дронов, вздыхая. — А Бердников — видишь? — спокоен. Нужно четыре миллиона сапогов, а кожа в его руке. Я таких ненавижу, но — уважаю. А таких, как ты, — люблю, но — не уважаю. Как женщин. Ты не обижайся, я и себя не уважаю.

Самгин, строго взглянул в расплывшееся лицо, хотел сказать ему нечто отрезвляющее, но, вместо этого, спросил:

— А — Тося — где?

— Тосю я уважаю. Единственную. Она в Ростове-на-Дону. Недавно от нее посланец был с запиской, написала, чтоб я выдал ему деньжата ее, 130 рублей. Я дал 300. У меня много их, денег. А посланец эдакий... топор. Сушеная рыба. Ночевал у меня. Он и раньше бывал у Тоси. Какой-то Тырков, Толчков...

— Поярков, — машинально поправил Самгин.

— Может быть. Она прятала его от меня. Я даже подумал: старый любовник. Но он — сушеная рыба. Протопоп Аввакум.

Как всегда, Самгин напряженно слушал голоса людей — источник мудрости. Людей стало меньше, в зале — просторней, танцевали уже три пары, и, хотя вкрадчиво, нищенски назойливо ныли скрипки, виолончель, — голоса людей звучали все более сильно и горячо.

Самгин следил, как соблазнительно изгибается в руках офицера с черной повязкой на правой щеке тонкое тело высокой женщины с обнаженной до пояса спиной, смотрел и привычно ловил клочки мудрости человеческой. Он давно уже решил, что мудрость, схваченная непосредственно у истока ее, из уст людей, — правдивее, искренней той, которую предлагают книги и газеты. Он имел право думать, что особенно искренна мудрость пьяных, а за последнее время ему казалось, что все люди нетрезвы.

— Господа! — взывал маленький, круглолицый человек с редкими, но длинными усами кота, в пенсне, дрожавшем на горбатом носу. — Господа, — еще более убедительно возгласил он трепетным тенорком. — Мы ищем причину болезни и находим ее в одном из симптомов — Распутин! Но ведь это смешно, господа, это смешно! Распутин — маленький прыщ, ничтожное воспаление клетчатки.

— Это — пессимизм!

— Слышишь? — спросил Дронов. Клим Иванович утвердительно кивнул головой.

— Пред нами — дилемма: или сепаратный мир или полный разгром армии и революция, крестьянская революция, пугачевщина! — произнес оратор, понизив голос, и тотчас же на него закричали двое:

— Ну, знаете, мир...

— Это — возмутительно!

— Нервничают, — снова сказал Дронов, усмехаясь, и поднял стакан вина к толстым губам своим. — А знаешь, о возможности революции многие догадываются! Факт. Ногайцев даже в Норвегию ездил, дом купил там на всякий случай. Ты — как считаешь: возможна?

— Нет, — строго и решительно ответил Самгин и предложил: — Не мешай слушать.

— А я, брат, выпью за революцию, — пробормотал Дронов. — Она — решение. Разрешение путаницы... Личной... И — вообще...

К маленькому оратору подошла высокая дама и, опираясь рукою о плечо, изящно согнула стан, прошептала что-то в ухо ему, он встал и, взяв ее под руку, пошел к офицеру. Дронов, мигая, посмотрев вслед ему, предложил:

— Поедем к девицам?

Самгин отказался, он ночевал у Елены, где почти каждый вечер собирались и кричали разнообразные люди, огорченные и утомленные событиями. Заметно возросло количество таких, которые тоскливо говорили:

— Ох, когда же конец этой войне?

Вертелся Ногайцев, щедро сеял ласковые слова, улыбки и согласно говорил:

— Да, да! Пушки стреляют далеко, а конца войне — не видно. Вот вам и немецкая техника!

Ногайцев старался утешать, а приват-доцент Пыльников усиливал тревогу. Он служил на фронте цензором солдатской корреспонденции, приехал для операции аппендикса, с месяц лежал в больнице, сильно похудел, оброс благочестивой светлой бородкой, мягкое лицо его подсохло, отвердело, глаза открылись шире, и в них застыло нечто постное, унылое. Когда он молчал, он сжимал челюсти, и борода его около ушей непрерывно, неприятно шевелилась, но молчал он мало, предпочитая говорить.

— Вы не можете представить себе, что такое письма солдат в деревню, письма деревни на фронт, — говорил он вполголоса, как бы сообщая секрет. Слушал его профессор-зоолог, угрюмый человек, смотревший на Елену хмурясь и с явным недоумением, точно он затруднялся определить ее место среди животных. Были еще двое знакомых Самгину — лысый, чистенький старичок, с орденом и длинной поповской фамилией, и пышная томная дама, актриса театра Суворина.

— Разумеется, о положении на фронте запрещено писать, и письма делятся приблизительно так: огромное большинство совершенно ни слова не говорит о войне, как будто авторы писем не участвуют в ней, остальные пишут так, что их письма уничтожаются...

— А некоторые, вероятно, приходится направлять прокуратуре? — прищурясь, уверенно спросил земгусар с длинным лицом и неровными зубами.

— Да, бывает и это, — подтвердил Пыльников и, еще более понизив голос, продолжал:

— Господа, наш народ — ужасен! Ужасно его равнодушие к судьбе страны, его прикованность к деревне, к земле и зоологическая, непоколебимая враждебность к барину, то есть культурному человеку. На этой вражде, конечно, играют, уже играют германофилы, пораженцы, большевики э цетера * э цетера...

Пыльников выхватил из кармана пиджака записную книжку и, показав ее всем, попросил разрешения прочитать образцы солдатских писем.

— Просим, — сказал старичок тоненьким голоском и очень благосклонно.

— «Что дядю Егора упрятали в каторгу туда ему и дорога а как он стал лишенный права имущества ты не зевай», — читал Пыльников, предупредив, что в письме, кроме точек, нет других знаков препинания.

— «И хлопочи об наследстве по дедушке Василье, улещай его всяко, обласкивай покуда он жив и следи чтобы Сашка не украла чего. Дети оба поумирали на то скажу не наша воля, бог дал, бог взял, а ты первое дело сохраняй мельницу и обязательно поправь крылья к осени

* И тому подобные (лат.). — *Ред.*

да не дранкой, а холстом. Пленнику не потакай, коли он попал, так пусть работает сукин сын коли чорт его толкнул против нас». Вот! — сказал Пыльников, снова взмахнув книжкой.

— Не понимаю, что вас беспокоит, — сказал старичок, пожав плечами. — Это писал очень хозяйственный мужик.

— И очень простодушно, — подтвердила Елена, остальные выжидательно молчали, а Пыльников, подпрыгнув на стуле, печально усмехнулся.

— Автор — кашевар, обслуживает походную кухню. Но вот, в пандан, другое письмо рядового, — сказал он и начал читать повышенным тоном:

— «Война тянется, мы всё пятимся и к чему придем — это непонятно. Однако поговаривают, что солдаты сами должны кончить войну. В пленных есть такие, что говорят по-русски. Один фабричный работал в Питере четыре года, он прямо доказывал, что другого средства кончить войну не имеется, ежели эту кончат, все едино другую начнут. Воевать выгодно, военным чины идут, штатские деньги наживают. И надо все власти обезоружить, чтобы утверждать жизнь всем народом согласно и своею собственной рукой».

Пыльников сунул книжку за пазуху, а старичок сказал, усмехаясь:

— Да, это... другой тон! С этим необходимо бороться. — И, грозя розовым кулачком с рубином на одном пальце, он добавил: — Но прежде всего нужно, чтоб Дума не раздражала государя.

— Ваше превосходительство, — взныл Пыльников, изобразив всем лицом и даже фигурой состояние человека, который случайно выпил рюмку уксуса. — Но как же германофильские тенденции его супруги и это грязное пятно, Распутин?..

— Профессор, вероятно, вы не верите в бытие бога и для вас бога — нет! — мягко произнес старичок и, остановив жестом возражение Пыльникова, спросил: — Вы попробуйте не верить в Распутина?..

— Замечательно сказано! — вскричала актриса, тотчас же прикрыв рот платком, глаза ее смеялись.

— Мы говорим о зле слишком много — и этим превеличиваем силу зла, способствуем его росту.

Елена, полулежа в кресле, курила, ловко пуская в воз

дух колечки дыма. Пыльников стоял перед стариком, нетерпеливо слушая его медленную речь.

— Самодержавие имеет за собою трехсотлетнюю традицию. Не забывайте, что не истекло еще трех лет после того, как вся Россия единодушно праздновала этот юбилей, и что в Европе нет государства, которое могло бы похвастать стойкостью этой формы правления.

Самгин знал, что старичок играет крупную роль в министерстве финансов, Елена сообщила, что недавно он заработал большие деньги на какой-то операции с банками и предлагает ей поступить на содержание к нему.

— На содержание я — не пойду, но деньжонок около него поклюю немножко. Он любит ласку и хорошо платит...

Старичок напомнил Самгину эти ее слова, он поучительно говорил:

— Государь — одинок, друзей у него — нет, родственники относятся враждебно, а он — человек мягкий, он любит ласку...

Самгин, сидя рядом с Еленой, слушал и усмехался.

Возвратясь домой, он нашел записку Елены: «Еду в компании смотреть Мурманскую дорогу, может быть, оттуда морем в Архангельск, Ярославль, Нижний — посмотреть хваленую Волгу. Татаринцов, наконец, заплатил гонорар. Целую. Ел.».

Самгин поморщился и мысленно обругал ее:

«Жулик», — потому что, хотя деньги получены по делу, которое принято было ее мужем, но закончил его он, Самгин, и по условию полгонорара принадлежало ему, но он знал, что Елена не поделится с ним, как это уже неоднократно бывало.

Связь с этой женщиной и раньше уже тяготила его, а за время войны Елена стала возбуждать в нем определенно враждебное чувство, — в ней проснулась трепетная жадность к деньгам, она участвовала в каких-то крупных спекуляциях, нервничала, говорила дерзости, капризничала и — что особенно возбуждало Самгина — все более резко обнаруживала презрительное отношение ко всему русскому — к армии, правительству, интеллигенции, к своей прислуге — и все чаще, в разных формах, выражала свою тревогу о судьбе Франции:

— Чорт их возьми, немцев, с их длинными пушками!

Если они разрушат Париж — где я буду жить? Ваша армия должна была немцев утопить в болоте вместо того, чтоб самой тонуть. Хороши у вас генералы, которые не знают, где сухо, где болото...

Самгин находил излишним возражать, но эти речи Елены отталкивали его. Но однажды он заметил:

— Что же, для тебя Франция — только Париж?

— Да, конечно. И кто не понимает этого, тот не понимает Францию. Это у вас возможны города, вот такие, пришитые сбоку, как этот. Я не понимаю: что выражает Петербург? Вы потому все такие растрепанные, что у вас нет центра, нет своего Парижа. Поэтому все у вас — неясно, запутано, бессвязно. Вот, например, — ты. Почему ты не депутат, не в Думе? Ты — умный, знающий, но — где, в чем твое честолюбие?

Это уже до того неприятно было слушать, что являлось враждебное чувство к Елене. Но бывать у нее он считал полезным, потому что у нее, вечерами, собиралось все больше людей, испуганных событиями на фронтах, тревога их росла, и постепенно к страху пред силою внешнего врага присоединялся страх пред возможностью революции. Среди этих людей Самгин чувствовал себя дьяволом — умнее, значительнее их. Откуда-то все больше появлялось иностранцев «сердечного согласия». Особенно много англичан, они всюду бывали, всех поучали, и вообще они вели себя как «старшие в доме». Самгин не удивился, встретив у Елены человека в форме английского офицера, в зубах его дымилась трубка, дым окутывал лицо голубоватой вуалью, не сразу можно было вспомнить, что это — мистер Крэйтон. Самгин помнил его лицо круглым, освещенным здоровым румянцем, теперь оно вытянулось, нижняя челюсть как будто стала тяжелей, нос — больше, кожа обветрела, побурела, а глаза, прежде спокойно внимательные, теперь освещались усталой, небрежной и иронической улыбкой. Держался он генеральски важно, говорил без жестов. Глядя на его стройную фигуру, Самгин подумал, что, вероятно, Крэйтон и до войны был офицером. Англичанин смотрел на него улыбаясь, но не подходил к нему, как бы ожидая, что подойти должен русский.

— Узнали? — повелительно спросил он, показывая среди крепких, плотных зубов два в кофонках из пла-

тины, и, после неизбежных фраз о здоровье, погоде, войне, поставил — почему-то вполголоса — вопрос, которого ожидал Клим Иванович.

— Осталось неизвестно, кто убил госпожу Зотову? Плохо работает ваша полиция. Наш Скотланд-ярд узнал бы, о да! Замечательная была русская женщина, — одобрил он. — Несколько... как это говорится? — обремененными знаниями, которые не имеют практического значения, но все-таки обладала сильным практическим умом. Это я замечаю у многих: русские как будто стыдятся практики и прячут ее, украшают религией, философией, этикой...

Он говорил очень громко, говорил с уверенностью, что разнообразные люди, собранные в этой комнате для китайских идиологов, никогда еще не слышали речей настоящего европейца, старался произносить слова четко, следя за ударениями.

— Недавно я прочитал очень интересный труд «Философия хозяйства», это — любопытная и фантастическая попытка изложить учение Маркса теологически. Нормальный британец не станет тратить свой юмор на эту тему... Возможно, что тевтон соблазнится и задачей теологизации материализма, немцы иррациональны не менее русских, но привычка к философии не мешает им еще раз грабить французов. У них есть Кант, Гегель, но наиболее родственной им философией служит философия Фихте, Штирнера, Ницше. И они твердо знают: практика — это борьба за жизнь, за свободу жизни.

— Крайний европеец, — почтительно, вполголоса сказал Пыльников Елене. — Географически и интеллектуально крайний.

— Я не склонен преувеличивать заслуги Англии в истории Европы в прошлом, но теперь я говорю вполне уверенно: если б Англия не вступила в бой за Францию, немцы уже разбили бы ее, грабили, зверски мучили и то же самое делали бы у вас... с вами.

Он перестал развертывать мудрость свою потому, что пригласили к столу, но через некоторое время за столом снова зазвучал его внушительный голос, и в памяти легко укладывались его фразы.

Крейтона слушали, не возражая ему, Самгин думал, что это делается из вежливости к союзнику и гостю.

Англичанин настолько раздражал Самгина, что Клим Иванович, отказываясь от своей привычки не принимать участия в спорах, уже искал наиболее удобного момента, удобной формы для того, чтоб [ответить] Крэйтону.

Но вдруг дерзко и насмешливо заговорила Елена:

— Вы считаете немцев — разбойниками, зверями, но ведь это ваше правительство помогало пруссакам разгромить Францию, вы поддерживали их против Австрии, поддерживали Бисмарка.

Наклонясь вперед, чуть-чуть прищурив глаза, отчего взгляд стал острее, она продолжала:

— У меня был знакомый араб-ученый; он сказал: «Англичанин в Европе — лиса, в колониях — зверь, не имеющий имени...»

— Вы, мистер Крэйтон, не обижайтесь, вы ведь, конечно, знаете, что англичан не очень любят, и они это заслужили. Сто два года тому назад под Ватерлоо ваши солдаты окончательно погасили огонь французской революции. Вы гордитесь этой сомнительной заслугой пред Европой, которой вы помешали сделаться Соединенными Штатами, я верю, что Наполеон хотел этого. За сто лет вы, «аристократическая раса», люди компромисса, люди непревзойденного лицемерия и равнодушия к судьбам Европы, вы, комически чванные люди, сумели поработить столько народов, что, говорят, на каждого англичанина работает пятеро индусов, не считая других, порабощенных вами.

Самгин слушал изумленно, следя за игрой лица Елены. Подкрашенное лицо ее густо покраснело, до того густо, что обнаружился слой пудры, шея тоже налилась кровью, и кровь, видимо, душила Елену, она нервно и странно дергала головой, пальцы рук ее, блестя камнями колец, растягивали шипчики для сахара. Самгин никогда не видел ее до такой степени озлобленной, взволнованной и, сидя рядом с нею, согнувшись, прятал голову свою в плечи, спрашивал себя:

«Чем это кончится?»

Кончилось молчанием. Крэйтон, готовясь закурить папиросу, вопросительно осматривал людей, видимо ожидая: кто возразит?

— Давайте прекратим разговор о политике, пока она еще не перессорила нас, — сказала Елена, утомленно вздохнув.

Крэйтон, качаясь вместе со стулом, смеялся. Пыльником смотрел на Елену с испугом, остальные пять-шесть человек ждали — что будет?

— Да, — сказала актриса, тяжело вздохнув. — Кто-то где-то что-то делает, и вдруг — начинают воевать! Ужасно. И, знаете, как будто уже не осталось ничего, о чем можно не спорить. Все везде обо всем спорят и — до ненависти друг к другу.

Самгин слышал эти грустные слова, точно сквозь сон. Искося поглядывая в подкрашенное лицо Елены, он соображал: как могло хвастовство Крэйтона задеть ее, певичку, которая только потому не стала кокеткой, что предпочла пойти на содержание к старику? Он целовал ее, когда хотел, но никогда не слышал от нее суждений о политике иначе как в форме анекдота или сплетни. Он очень верил в свою изощренную способность наблюдать, верил в точность наблюдений своих, в правильность оценок. В Елене он чего-то недосмотрел, и было очень неприятно убедиться в этом: считая ее глуповатой, он, возможно, был с нею более откровенен, чем следовало. Наблюдая, как тщательно мистер Крэйтон выковыривает из трубки какой-то ложечкой пепел в пепельницу, слушал, как четко он говорит:

— В сущности, войну начали вы, русские. Если б в переговоры не вмешался ваш темперамент...

Фразы представителя «аристократической расы» не интересовали его. Крэйтон — чужой человек, случайный гость, если он примкнет к числу хозяев России, тогда его речи получат вес и значение, а сейчас нужно пересмотреть отношение к Елене: быть может, не следует прерывать связь с нею? Эта связь имеет неоспоримые удобства, она все более расширяет круг людей, которые со временем могут оказаться полезными. Она, оказывается, способна нападать и защищать.

Охотно посещая различные собрания, Самгин вылавливал из хаоса фраз те, которые казались ему наиболее разумными, и находил, что эти фразы слагаются у него в нечто стройное, крепкое. Он видел, что мрачные события на фронтах возбуждают все более мятежную тревогу в людях и они становятся все искреннее в своей трусости и наглости, в цинизме своем, в сознании ими

невозможности влиять на события. Он чувствовал себя дьяволом среди них, но дьяволом, который желает и может помочь им жить. Как всегда, сдержанный, скупой на слова, он привычно вылавливал ходовые фразы, ловко находя удобный момент для выступлений своих, и сухохвато, докторально давал советы.

— Наши дни — не время для расширения понятий. Мы кружимся пред необходимостью точных формулировок, общезначимых, объективных. Разумеется, мы должны избегать опасности вульгаризировать понятия. Мы единодушны в сознании необходимости смены власти, это уже — много. Но действительность требует еще более трудного — единства, ибо сумма данных обстоятельств повелевает нам отчислить и утвердить именно то, что способно объединить нас.

Такие заявления удовлетворяли, то есть успокаивали тревоги тех людей, которым необходимо было чувствовать, что, говоря, они делают нечто полезное и даже исторически необходимое. Изредка пред ним ставили вопрос:

— В чем же и как должно выразиться это единство?

— Вот это и есть тема, подлежащая нашему обсуждению, — отвечал он и, если видел, что совопросник не удовлетворен, вслед за этим, взглянув на часы, уходил.

На одном из собраний против него выступил высокий человек, с курчавой, в мелких колечках, бородой серого цвета, из-под его больших нахмуренных бровей строго смотрели прозрачные голубые глаза, на нем был сборный костюм, не по росту короткий и узкий, — клетчатые брюки, рыжие и черные, полосатый серый пиджак, синяя сатинетовая косоворотка. Было в этом человеке что-то смешное и наивное, располагающее к нему.

— Слушайте-ко, — заговорил он, — вот вы все толкуете насчет объединения интеллигентов, а с кем надо объединяться-то? Вот у нас большевики есть и меньшевики, одни с Лениным, другие — с Плехановым, с Мартовым, — так — с кем вы?

Самгин, почувствовав опасность, ответил не сразу. Он видел, что ответа ждет не один этот, с курчавой бородой, а все три или четыре десятка людей, стесненных в какой-то барской комнате, уставленной запертыми шкафами красного [дерева], похожей на гардероб, среди

которого стоит длинный стол. Закурив не торопясь папиросу, Самгин сказал:

— Для меня лично корень вопроса этого, смысл его лежит в противоречии интернационализма и национализма. Вы знаете, что немецкая социал-демократия своим вотумом о кредитах на войну скомпрометировала интернациональный социализм, что Вандервельде усилил эту компрометацию и что еще раньше поведение таких социалистов, как Вивiani, Мильеран, Бриан э цетера, тоже обнаружили, как бессильна и как, в то же время, печально гибка этика социалистов. Не выяснено: эта гибкость — свойство людей или учения?

Практика судебного оратора достаточно хорошо научила Клима Ивановича Самгина обходить опасные места, удаляясь от них в сторону. Он был достаточно начитан для того, чтоб легко наполнять любой термин именно тем содержанием, которого требует день и минута. И, наконец, он твердо знал, что люди всегда безграмотнее тех мыслей и фраз, которыми они оперируют, — он знал это потому, что весьма часто сам чувствовал себя таким.

— Для того, чтоб говорить об интернационализме, следует сначала выяснить, каково содержание понятия — нация. Возьмем Англию. Англичане — наиболее отвечают понятию нация, это народ одной крови, крепко спаянный этим единством в некую монолитную силу, которая заставляет работать на нее сотни миллионов людей иной крови. Можно думать, что именно поэтому Англия — страна, где социализм прививается с трудом. Там есть социалисты-фабианцы, но о них можно и не упоминать, они взяли имя себе от римского полководца Фабия Кунктатора, то есть медлителя, о нем известно, что он был человеком тупым, вялым, консервативным и, предоставляя драться с врагами Рима другим полководцам, бил врага после того, как он истощит свои силы. По его примеру вели себя англичане в начале девятнадцатого столетия...

Человек с курчавой бородой смущенно посмотрел на внимательную публику и пробормотал:

— Вот уж я и не понимаю — зачем вы это рассказываете?

Самгину очень не нравился пристальный взгляд прозрачно-голубых глаз, — блеск взгляда напоминал сине-

ватый огонь раскаленных углей, в бороде человека шевелилась неприятная подстерегающая улыбка.

— Американцы Соединенных Штатов еще не нация, — продолжал он. — Это механически соединенное и еще не спрессованное в единый конгломерат сборище англичан, немцев, евреев, итальянцев, славян и так далее. Между Америкой и Россией есть много общего, но Россия являет собою государство еще менее целостное, еще более резко и глубоко разобщенное. Население Соединенных Штатов — в огромном большинстве и за исключением негров — европейцы. Население нашей страны включает пятьдесят семь народностей, совершенно и ничем не связанных: поляки не понимают грузин, украинцы — башкир, киргиз, татары — мордву и так далее, и так далее. Нет ни одного государства, которое в такой степени нуждалось бы в культурной центральной власти, в наличии благожелательной, энергичной интеллектуальной силы...

— Ну вот теперь — понятно, — сказал курчавый, медленно вставая со стула. Он вынул из кармана пиджака измятый картуз, хлопнул им по колену и угрюмо сказал кому-то:

— Айда, Митя!

Встал какой-то небольшого роста плотный человек с круглым, добродушным лицом, с растрепанной головой, одетый в черную суконную рубаху, в сапогах до колен, — проходя мимо Самгина, он звонко сказал:

— Уже вы столько знаете, что...

— Слушать стыдно, — угрюмо дополнил курчавый.

— Да-а! Знаете — много, а понимаете — мало! — сказал чернорубашечник, и оба пошли к двери, топая по паркету, как лошади.

— Следовало бы послушать до конца, — сказал Самгин вслед им. Митя откликнулся:

— Слышали. Читаем.

— Я знаю их, — угрожающе заявил рыженький подпоручик Алябьев, постукивая палкой в пол, беленький крестик блестел на его рубахе защитного цвета, блестели новенькие погоны, золотые зубы, пряжка ремня, он весь был как бы пронизан блеском разных металлов, и даже голос его звучал металлически. Он встал, тяжело опираясь на палку, и, приведя в порядок медные, длинные

усы, продолжал обвинительно: — Это — рабочие с Выборгской стороны, там все большевики, будь они прокляты!

— Рабочих не надо раздражать, — миролюбиво, но твердо встала Марья Ивановна Орехова.

— Что? Не раздражать? Вот как? — закричал Алябьев, осматривая людей и как бы заранее определяя, кто решится возразить ему. — Их надо посылать на фронт, в передовые линии, — вот что надо. Под пули надо! Вот что-с! Довольно миндальничать, либеральничать и вообще играть словами. Слова строптивых не укрощают...

— Что ж кричать? — печально качая голым черепом и вздыхая тяжело, спросил адвокат Вишняков, театрал и шахматист. — Поздно кричать, — ответил он сам себе и широко развел руки. — Все разрушается, все! Клим Иванович замечательно правильно указал, что Русь — глиняный горшок, в котором кипят, но не могут свариться разнообразные, несоединимые...

— Колосс на глиняных ногах, — сообщила, как новость, Орехова, три дамы единодушно согласились с ней, а четвертая с явным страхом спросила:

— Что же, при республике все эти бурята, калмыки и дикари получают право жениться на русских? — Она была высокая, с длинным лицом, которое заканчивалось карикатурно острым подбородком, на ее хрящеватом носу дрожало пенсне, на груди блестел шифр воспитанницы Смольного института.

Заговорили сразу человек десять. Алябьев кричал все более бешено, он вертелся, точно посаженный на кол, стучал палкой, двигал стул, встряхивая его, точно таскал человека за волосы, блестел металлами.

— Изуверство, авиакумовщина, — кричал он.

Толстый человек в старомодном сюртуке, поддерживая руками живот, гудел глухим, жирным басом:

— Лапотное, соломенное государство ввязалось в драку с врагом, закованным в сталь, — а? Не глупо, а? За одно это правительство подлежит низвержению, хотя я вовсе не либерал. Ты, дурова голова, сначала избы каменные построй, железом их покрой, ну, тогда и войю...

Кто-то кричал:

— Шевелимся, как живые, а — уже...

И, наконец, все крики покрыл пронзительный голос Алябьева:

— Я — не купец, я — дворянин, но я знаю: наше купечество оказалось вполне способным принять и продолжать культуру дворянства, традиции аристократии. Купцы начали поощрять искусство, коллекционировать, огиочно издавать книги, строить красивые дома...

— Н-ну, знаете! Хомяков желал содрать с Москвы двести тысяч за его кусок земли в несколько сажен, — крикнул кто-то.

— Прошу не перебивать меня пустяками, — бешено заорал Алябьев, и, почувствовав возможность скандала, люди начали говорить тише, это заставило и Алябьева излагать мудрость свою спокойней.

— Социализм, по его идее, древняя, варварская форма угнетения личности. — Он кричал, подвывая на высоких нотах, взбрасывая голову, прямые пряди черных волос обнажали на секунду угловатый лоб, затем падали на уши, на щеки, лицо становилось узеньким, трепетали губы, дрожал подбородок, но все-таки Самгин видел в этой маленькой тощей фигурке нечто игрушечное и комическое.

— Социализм предполагает равенство прав, но это значит: признать всех людей равными по способностям, а мы знаем, что весь процесс европейской культуры коренится на различии способностей... Я приветствовал бы и социализм, если б он мог очеловечить, организовать наивного, ленивого, но жадного язычника, нашего крестьянина, но я не верю, что социализм применим в области аграрной, а особенно у нас.

Самгин, видя, что этот человек прочно занял его место, — ушел; для того, чтоб покинуть собрание, он — как ему казалось — всегда находил момент, который должен был вызвать в людях сожаление: вот уходит от нас человек, не сказавший главного, что он знает. Он был вполне уверен, что растет в глазах людей, замечал, что они смотрят на него все более требовательно, слушают все внимательней. Эта уверенность, вызывая в нем чувство гордости, в то же время и все более ощутимо тревожила: нужно иметь это «главное», а оно все еще не слагалось из его пестрого опыта. Он все более часто чувствовал, что из массы сырого материала, накопленного [им],

крайне трудно выжать единый смысл, придать ему своеобразную форму, явиться пред людьми автором нового открытия, которое объединит все передовые силы страны.

Недавно Дронов, растрепанный, небритый и, как всегда, полупьяный, жаловался ему:

— Обстрогали меня компаньоны на двести семьдесят восемь тысяч. Ногайцев — потомственный жулик, чорт с ним! Но — жалко Заусайлова и Попова, хорошие ребята, знаешь эдакие — разбойники. Заусайлов по Сологубу живет: жизнь — «закон моей игры». Попов — рохля, мяготь, несчастный игрок, но симпатичный пес. В общем — скучно. Главное, не знаю: что делать? Надобно иметь ясную, реальную цель. А у меня цели-то и нет. Деньги? Деньги — есть, но — деньги тают: сегодня рубль стоит сорок три копейки. Да и вообще деньги для меня — не цель. Если б Тоська была, я бы ее вызолотил и бралиантами разгвоздил — гуляй!

— Она — большевичка? — спросил Самгин.

— Похоже, — ответил Дронов, готовясь выпить. Во внутреннем боковом кармане пиджака, где почтенные люди прячут бумажник, Дронов носил плоскую стеклянную флягу, украшенную серебряной сеткой, а в ней какой-то редкостный коньяк. Бережно отвинчивая стаканчик с горлышка фляги, он бормотал:

— Скляночку-то Тагильский подарил. Наврали газеты, что он застрелился, с месяц тому назад братишка Хотяинцева, офицер, рассказывал, что случайно погиб на фронте где-то. Интересный он был. Подсчитал, сколько стоит аппарат нашего самодержавия и французской республики, — оказалось: разница-то невелика, в этом деле франк от рубля не на много отстал. На респуб[лике] не сэкономишь.

«Рассказать? — спросил себя Самгин. — А зачем?» — Вторым вопросом первый был уничтожен, и вместе с ним исчезла память об Антоне Тагильском. Но вспыхнула [мысль]: «Дронов интеллиг[ент] первого поколения».

При каждой встрече Дронов показывал Самгину бесчисленное количество мелкой чепухи, которую он черпал из глубины взболтанного житейского болота. Он страшился <ее> со своей плотной фигуры, точно пыль, но почти всегда в чепухе оказывалось нечто ценное для Самгина.

— Прислала мне Тося парня, студент одесского университета, юрист, исключен с третьего курса за невзнос платы. Работал в порту грузчиком, купорил бутылки на пивном заводе, рыбу ловил под Очаковым. Умница, весельчак. Я его секретарем своим сделал.

Лаская флягу правой рукой, задумчиво почесывая пальцем бровь, он продолжал:

— Вот это — правове́рный большевик! У него — цель. Гражданская война, бей буржуазию, делай социальную революцию в полном, парадном смысле слова, вот и все!

— Ты — что же, веришь в такую возможность? — равнодушно спросил Самгин.

— Я-то? Я — в людей верю. Не вообще в людей, а вот в таких, как этот Кантонистов. Я, изредка, встречаю большевиков. Они, брат, не шутят! Волнуются рабочие, есть уже стачки с лозунгами против войны, на Дону — шахтеры дрались с полицией, мужичок устал воевать, дезертирство растет, — большевикам есть с кем разговаривать.

Он вздохнул тяжело и вдруг встал, сердито говоря:

— Ты все испытываешь меня, Клим Иванов! А, конечно, сам лучше, чем я, все знаешь. Чего же испытывать? Насколько я дурак, я сам знаю, ты помоги мне понять: почему я дурак?

— Ты — пьян, — сказал Самгин.

Он обиделся и ушел, надув губы. Самгин, проводив его хмурым взглядом, даже бросил вслед ему окурок папиросы.

«Харламов тоже, наверное, большевик», — подумал он, потом вспомнил Хотяинцева, который недавно на собрании в одной редакции оглушительно проповедовал:

— Еще Сен-Симон предрекал, что властителями жизни будут банкиры. В каждом государстве они сметут в кошель свои все капиталы, затем сложат их в один кошелек, далее они соединят во единый мешок концентрированные капиталы всех государств, всех наций и тогда великодушно организуют по всей земле производство и потребление на законе строжайшей и даже святой справедливости, как это предрекают некие умнейшие немцы, за исключением безумных фантазеров — Карла Маркса и других, иже с ним. Итак: чего страшимся и почему трепещем? Не благоразумней ли будет уверенно и спокойно ожидать благостных результатов энергической

деятельности банков, реформаторской работы банкиров? Наивно бояться, что банкир снимет с нас рубахи и штаны! Он снимет их — да! — но лишь на краткое время, для концентрации, монополизации, а затем он заставит нас организованно изготавливать обувь и одежду, хлеб и вино, и оденет и обует, напоит и накормит нас. К чему же нам заботиться о проливах из моря в море и о превращении балканских государств в русские губернии, к чему?

Климу Ивановичу Самгину казалось, что в грубом юморе этой речи скрыто некое здоровое зерно, но он не любил юмора, его отталкивала сатира, и ему особенно враждебны были типы людей, подобных Хотяинцеву, Харламову. Он видел их чудаками, озорниками, которые под своим словесным озорством скрывают нигилистическую страсть к разрушению. Харламов притворялся серьезно изучающим контрреволюционную литературу, поклонником Леонтьева, Каткова, Победоносцева. Хотяинцев играл роль чудака, которому нравится, не щадя себя, увеселять людей нелепостями, но с некоторого времени он все более настойчиво облекает в нелепейшие словесные формы очень серьезные мысли. Так же, как Харламов, он «пораженец», враг войны, человек равнодушный к судьбе своего отчества, а судьба эта решается на фронтах.

Наполненное шумом газет, спорами на собраниях, мрачными вестями с фронтов, слухами о том, что царица тайно хлопочет о мире с немцами, время шло стремительно, дни перескакивали через ночи с незаметной быстротой, все более часто повторялись слова — отечество, родина, Россия, люди на улицах шагали поспешнее, тревожней, становились общительней, легко знакомились друг с другом, и все это очень и по-новому волновало Клима Ивановича Самгина. Он хорошо помнил, когда именно это незнакомое волнение вспыхнуло в нем.

Ночевал у Елены, она была выпивши, очень требовательна, капризна и утомила его, плохо и мало спал, проснулся с головной болью рано утром и пошел домой пешком.

Давно уже на улицах и площадях города с утра до вечера обучались солдаты, звучала команда:

— Смир-рно-о!

Он помнил эту команду с детства, когда она раздавалась в тишине провинциального города уверенно и

властно, хотя долетала издали, с поля. Здесь, в городе, который командует всеми силами огромной страны, жизнью полутораэта миллионов людей, возглас этот звучал раздраженно и безнадежно или уныло и бессильно, как просьба или же точно крик отчаяния.

Самгин встряхнул головой, не веря своему слуху, остановился. Пред ним по булыжнику улицы шагали мелкие люди в солдатской, гнилого цвета, одежде не по росту, а некоторые были еще в своем «цивильном» платье. Шагали они как будто нехотя и не веря, что для того, чтоб идти убивать, необходимо особенно четко топать по булыжнику или по гнилым торцам.

— Лево! Лево! — хрипло советовал им высокий солдат с крестом на груди, с нашивками на рукаве, он прихрамывал, опирался на толстую палку. Разнообразные лица мелких людей одинаково туго натянуты хмурой скукой, и одинаково пусты их разноцветные глаза.

— Смир-но-о! — кричат на них солдаты, уставшие командовать живою, но неповоротливой кучкой людей, которые казались Самгину измятыми и пустыми, точно испорченные резиновые мячи. Над канавами улиц, над площадями висит болотное, кочковатое небо в разодранных облаках, где-то глубоко за облаками расплылось блеклое солнце, сея мутноватый свет.

— Смир-но! — командуют офицера.

Город уже проснулся, трещит, с недостроенного дома снимают леса, возвращается с работы пожарная команда, измятые, мокрые гасители огня равнодушно смотрят на людей, которых учат ходить по земле плечо в плечо друг с другом, из-за угла выехал верхом на пестром коне офицер, за ним, перерезав дорогу пожарным, громяхая железом, поползли небольшие пушки, явились солдаты в железных шлемах и прошла небольшая толпа разнообразно одетых людей, впереди ее чернобородый великан нес икхну, а рядом с ним подросток тащил на плече, как ружье, палку с национальным флагом.

Самгин стоял на панели, курил и наблюдал, ощущая, что все это не то что подавляет, но как-то стесняет его, вызывая чувство уныния, печали. Солдат с крестом и нашивками негромко скомандовал:

— Вольно! Закуривай...

Прихрамывая, тыкая палкой в торцы, он перешел с мостовой на панель, присел на каменную тумбу, достал из кармана газету и закрыл ею лицо свое. Самгин отметил, что солдат, взглянув на него, хотел отдать ему честь, но почему-то раздумал сделать это.

— Обучаете? — спросил он. Солдат, взглянув на него через газету, ответил вполголоса и неохотно:

— Да, вот... оболваниваю. Однако — в месяц человека солдатом не сделаешь. Сами видите.

Самгин ушел, но после этого он, видя, как обучают солдат, останавливался на несколько минут, смотрел, прислушивался к замечаниям прохожих и таких же наблюдателей, как сам он, — замечания звучали насмешливо, сердито, уныло, угрюмо.

— Мелкокалиберный народ...

— Крупных-то, видно, всех перебили.

— Эдакие герои едва ли немцев побьют.

Женщины вздыхали:

— Господи, когда же кончится это!

Наблюдения Клима Ивановича Самгина все более отчетливо и твердо слагались в краткие фразы:

«Обыватель относится к армии, к солдатам скептически». — «Страна, видимо, исчерпала весь запас отборной живой силы». — «Война — надоела, ее нужно окончить».

Слухи о попытках царицы заключить сепаратный мир с Германией утверждали его выводы, но еще более утверждались они фактами иного порядка. Заметно уменьшалось количество здоровых молодых людей, что особенно ясно видно было на солдатах, топавших ногами на всех площадях города. Крупными скоплениями мелких людей командовали, брезгливо гримасничая, истерически вскрикивая, офицера, побывавшие на войне, полубольные, должно быть, раненые, контуженые... Неуклюжесть, недогадливость рядовых болезненно раздражала их, они матерно ругались, негромко, оглядываясь на зрителей. Самгину казалось, что им хочется бить палками будущих солдат, и эти надорванные, изношенные люди возбуждали в нем сочувствие.

«Интеллигенция армии, — думал он. — Интеллигенция, организующая массу на защиту отечества».

Память показывала картину убийства Тагильского, эф-

фектный жест капитана Вельяминова, — жест, которым он положил свою саблю на стол пред генералом.

С некоторого времени он мог, не выходя из своей квартиры, видеть, как делают солдат, — обучение происходило почти под окнами у него, и, открыв окно, он слышал:

— Смирно-о! Эй, ты, рябой, — подбери брюхо! Что ты — беременная баба? Носки, носки, чорт вас возьми! Сказано: пятки — вместе, носки — врозь. Харя чортова — как ты стоишь? Чего у тебя плечо плеча выше? Эх вы, обормоты, дураково племя. Смирно-о! Равнение налево, шагом... Куда тебя черти двигают, свинья тамбовская, куда? Смирно-о! Равнение направо, ша-агом... арш! Ать — два, ать — два, левой, левой... Стой! Ну — черти не нашего бога, ну что мне с вами делать, а?

Командовал большой, тяжелый солдат, широколицый, курносый, с рыжими усами и в черной повязке, закрывавшей его правый глаз. Часа два он учил шагистике, а после небольшого отдыха — бою на штыках. Со двора дома, напротив квартиры Самгина, выносили деревянное сооружение, в котором болтался куль, набитый соломой. Солдаты, один за другим, кричали «ура» и, подбегая, вытаращив глаза, тыкали в куль штыками — смотреть на это было неприятно и смешно. Самгин много слышал о мощности немецкой артиллерии, о силе ее заградительного огня, не представлял, как можно достать врага штыком, обучение бою на куле соломы казалось ему нелепостью постыдной. Он был уверен, что так же оценивают эти неуклюжие прыжки прохожие и обыватели, выглядывая из окон.

Сырым, после ночного дождя, осенним днем, во время отдыха, после нескольких минут тишины, на улице затренькала балалайка, зашелестел негромкий смех. Самгин подошел к окну, выглянул: десяток солдат, плотно окружив фонарный столб, слушали, как поет, подыгрывая на балалайке, курчавый, смуглый, точно цыган, юноша в рубашке защитного цвета, в начищенных сапогах, тоненький, аккуратный. Пел он вполголоса, и трудно было <разобрать> слова бойкой плясовой песенки, мешала балалайка, шарканье ног, сдерживаемый смех. Но, прислушавшись, Самгин поймал двустиишие:

Чем разнится, например,
От собаки унтер-цер?

— Ух, ты-и, — вскричал один из слушателей и даже выбил дробь ногами. Будущие солдаты, негромко и оглядываясь, посмеивались, и в этот сдержанный смешок как бы ввинчивались веселые слова:

Мы друг друга бить умеем,
А кто нас бьет — тех не смеем!

Самгин возмутился.

«Уши надрать мальчишке», — решил он. Ему, кстати, пора было идти в суд, он оделся, взял портфель и через две-три минуты стоял перед мальчиком, удивленный и уже несколько охлажденный, — на смуглом лице брюнета весело блестели странно знакомые голубые глаза. Мальчик стоял, опустив балалайку, держа ее за конец грифа и раскачивая, вблизи он оказался еще меньше ростом и тоньше. Так же, как солдаты, он смотрел на Самгина вопросительно, ожидающе.

— Можно узнать, почему вы одеты военным? — строго спросил Самгин. Мальчик звучно ответил:

— Доброволец, числюсь в команде музыкантов.

— Ах, вот что! Ваша фамилия?

— Спивак, Аркадий, — сказал мальчик и, нахмурясь, сам спросил: — А — зачем вам нужно знать, кто я? И какое у вас право спрашивать? Вы — земгусар?

— Земгусар, — механически повторил Самгин. — Ваша мать — Елизавета Львовна?

— Да.

— Она — здесь?

— Она умерла. Вы знали ее? — мягко спросил Спивак.

— Да, знал, — сказал Самгин и, шагнув еще ближе к нему, проговорил полушопотом:

— Я слышал, что вы поете. Вы очень рискуете...

— Разве? — шутливо и громко спросил Спивак, настраивая балалайку. Самгин заметил, что солдаты смотрят на него недружелюбно, как на человека, который мешает. И особенно пристально смотрели двое: коренастый, толстогубый, большеглазый солдат с подстриженными усами рыжего цвета, а рядом с ним прищурился и закусил губу человек в синей блузе с лицом еврейского типа. Коснувшись пальцем фуражки, Самгин пошел прочь, его проводил возглас:

— Гусар без шашки, одни бляшки.

Потом дважды негромко свистнули.

«Ему не больше шестнадцати лет. Глаза матери. Красивый мальчик», — соображал Самгин, пытаясь погасить чувство, острое, точно ожог.

«Что меня смутило? — размышлял он. — Почему я не сказал мальчишке того, что должен был сказать? Он, конечно, научен и подослан пораженцами, большевиками. Возможно, что им руководит и чувство личное — месть за его мать. Проводится в жизнь лозунг Циммервальда: превратить войну с внешним врагом в гражданскую войну, внутри страны. Это значит: предать страну, разрушить ее... Конечно так. Мальчишка, полуребенок — ничтожество. Но дело не в человеке, а в слове. Что должен делать я и что могу делать?»

Ответа на этот вопрос он не стал искать, сознавая, что ответ потребовал бы от него действия, для которого он не имеет силы. Ускорив шаг, он повернул за угол.

«Но — до чего бессмысленна жизнь!» — мысленно воскликнул он. Это возмущенное восклицание успокоило его, он снова вспомнил, представил себе Аркадия среди солдат, веселую улыбку на смуглом лице и вдруг вспомнил:

«А этот, с веснушками, в синей блузе, это... московский — как его звали? Ученик медника? Да, это — он. Конечно. Неужели я должен снова встретить всех, кого знал когда-то? И — что значат вот эти встречи? Значат ли они, что эти люди так же редки, точно крупные звезды, или — многочисленны, как мелкие?»

Он полюбовался сочетанием десятка слов, в которые он включил мысль и образ. Ему преградила дорогу небольшая группа людей, она занимала всю панель, так же как другие прохожие, Самгин, обходя толпу, перешел на мостовую и остановился, слушая:

— Отступали из Галиции, и все время по дороге хлеб горел: мука, крупа, склады провианта горели, деревни — все горело! На полях хлеба вытоптали мы неисчислимо! Господи же боже наш! Какая причина разрушению жизни?

Самгин привстал на пальцах ног, вытянулся и через головы людей увидал: прислонясь к стене, стоит высокий солдат с забинтованной головой, с костылем под мышкой, рядом с ним — толстая сестра милосердия в темных очках

на большом белом лице, она молчит, вытирая губы углом косынки.

— Господа мои, хорошие, — взывает солдат, дергая ворот шинели, обнажая острый кадык. — Надобно искать причину этого разрушительного дела, надо понять: какая причина ему? И что это значит: война?

Самгин поспешно двинулся дальше, думая: что, если люди, так или иначе пострадавшие от войны, увидят причину ее там, куда указывают большевики?

«В двадцатом столетии пугачевщина едва ли возможна, даже в нашей, крестьянской стране. Но всегда нужно ожидать худшего и торопиться с делом объединения всех передовых сил страны. Россия нуждается не в революции, а в реформах. Революцию нельзя понять иначе как болезнь, как воспаление общественного организма... Англия, родина представительного правления и социального компромисса, выросла без революции, завоевала полмира. Не новые мысли, но их плохо помнят. Роль английского либерализма в истории Европы за последние два столетия. Надобно сделать доклад на эту тему».

Здесь Клим Иванович Самгин предостерег себя:

«Я размышляю, как рядовой член партии конституционалистов-демократов».

Он знал, что его личный, житейский опыт формируется чужими словами, когда он был моложе, это обижало, тревожило его, но постепенно он привык не обращать внимания на это насилие слов, которые — казалось ему — опошляют подлинные его мысли, мешают им явиться в отличных формах, в оригинальной силе, своеобразном блеске. Он незаметно убедил себя, что, когда обстоятельства потребуют, он легко сбросит чужие словесные одежды со всего, что пережито, передумано им. Но вот наступили дни, когда он чувствовал, что пора уже освободить себя от груза, под которым таилось его настоящее, неповторимое.

«Я прожил полстолетия не для того, чтоб признать спасительность английского либерализма», — подумал он с угрюмой иронией. Шагал он быстро, ему казалось, что на ходу свободней являются мысли и легче остаются где-то позади. Улицы наполняла ворчливая тревога, предлавками съестных припасов толпились, раздраженно по-

крикивая, сердитые, растрепанные женщины, на углах небольшие группы мужчин, стоя плотно друг к другу, бормотали о чем-то, извозчик, сидя на козлах пролетки и сморщив волосатое лицо, читал газету, поглядывая в мутное небо, и всюду мелькали солдаты... Они шагали на ученье, поблескивая штыками, шли на вокзалы, сопровождаемые медным ревом оркестров, вереницы раненых тянулись куда-то в сопровождении сестер милосердия.

«Если я хочу быть искренним с самим собою — я должен признать себя плохим демократом, — соображал Самгин. — Демос — чернь, власть ее греки называли охлократией. Служить народу — значит руководить народом. Не иначе. Индивидуалист, я должен признать законным и естественным только иерархический, аристократический строй общества».

Было найдено кое-что свое, и, стоя у окружного суда, Клим Иванович Самгин посмотрел, нахмурясь, вдоль Литейного проспекта и за Неву, где нерешительно, негусто дымили трубы фабрик. В комнате присяжных поверенных кипел разноголосый спор, человек пять адвокатов, прижав в угол широколицего, бородатого, кричали в лицо ему:

— Договаривайте до конца!

— Да, да!

— Не-ет, это мысль опасная!

Из-под густых бровей, из широкой светлорусой бороды смущенно и ласково улыбались большие голубые глаза, высоким голосом, почти сопрано, бородач виновато говорил:

— Я ведь — в форме вопроса, я не утверждаю. Мне кажется, что со врагом организованным, как армия, бороться удобнее, чем, например, с партизанскими отрядами эсеров.

Солиднейший адвокат Вишняков, юрисконсульт одного из крупнейших банков, решительно, баритоном, заявил:

— Немцы навсегда скомпрометировали интернациональное начало учения Маркса, показав, что социал-демократы вполне могут быть хорошими патриотами...

— Однако — Циммервальд...

— Судорога...

За столом среди комнаты сидел рыхлый, расплывшийся старик в дымчатых очках и, почесывая под мыш-

кой у себя, как бы вытаскивая медленные слова из бокового кармана, говорил, всхрапывая:

— Карено, герой трилогии Гамсуна, анархист, ницшеанец, последователь идей Ибсена, очень легко отказался от всего этого ради места в стортинге. И, знаете, тут не столько идеи, как примеры... Франция, батенька, Франция, где властвуют правоведа, юристы...

— И умеют одевать идеи, как женщин, — добавил его собеседник, носатый брюнет, причесанный под Гоголя; перестав шелестеть бумагами, он прижал их ладонью и, не слушая собеседника, заговорил гневно, громко:

— Нет, вы подумайте: девятнадцатый век мы начали Карамзиным, Пушкиным, Сперанским, а в двадцатом у нас — Гапон, Азеф, Распутин... Выродок из евреев разрушил сильнейшую и, так сказать, национальную политическую партию страны, выродок из мужиков, дурак деревенских сказок, разрушает трон...

— Ну — едва ли дурак...

Самгин, еще раз просматривая документы, приготовленные для судоговорения, прислушивался к нестройному говору, ловил фразы, которые казались ему наиболее ловко сделанными. Он все еще не утратил способности завидовать мастерам красивого слова и упрекнул себя: как это он не догадался поставить в ряд Гапона, Азефа, Распутина? Первые двое представляют возможность очень широких толкований...

Рыхлый старик сорвал очки с носа, размахивал ими в воздухе и, надуваясь, всхрапывая, выкрикивал:

— Нет, извините. Если Плеханов высмеивает пораженцев и Каутский и Вандервельде — тоже, так я говорю: пораженцев — брить! Да-с. Брить половину головы, как брили осужденным на каторгу! Чтоб я видел... чтоб все видели — пораженец, сиречь — враг! Да, да!

Кто-то засмеялся, тогда старик закричал еще более истерично:

— Нет, извините, это не смешно, это — прием обороны общества против внутреннего врага...

— Казимир Богданович — прав: люди эти должны быть отмечены какой-то каиновой печатью.

— Большевиков — депутатов Думы осудили в каторгу... но кого это удовлетворило?

— Только нарушен принцип неприкосновенности депутатов.

— Вчера — они, завтра — мы.

— Вспомните Выборг.

— Им нужно поражение России для того, чтоб повторить безумие парижан 871 года.

— Ну да, конечно! Они этого не скрывают...

— Нам — необходимо поражение самодержавия...

— Не — нам, а всему народу русскому!

— Интернационализм — учение людей, у которых атрофировано чувство родины, отечества...

Количество людей во фраках возрастало, уже десятка полтора кричало, окружая стол, — старик, раскинув руки над столом, двигал ими в воздухе, точно плавая, и кричал, подняв вверх багровое лицо:

— Я не купец, не дворянин, я вне сословий. Я делаю тяжелую работу, защищая права личности в государстве, которое все еще не понимает культурного значения широты этих прав.

— Социальная революция — утопия авантюристов.

— Русских, русских...

— И — евреев. Маркс — еврей.

— Ленин — русский. Европейские соц[иалисты] о социа[льной] рев[олюции] не мечтают.

Не впервые Самгин слышал, что в голосах людей звучит чувство страха пред революцией, и еще вчера он мог бы сказать, что совершенно свободен от этого страха. Скептическое и даже враждебное отношение к человеческим массам у него сложилось давно. Разговоры и книги о несчастном, забитом, страдающем народе надоели ему еще в юности. Он не однажды убеждался в бесплодности демонстраций и вообще массовых действий. Невольное участие в событиях 905 года привило ему скептическое отношение к силе масс, Московское восстание он давно оценил как любительский спектакль. Подчиняясь требованию эпохи, он, конечно, посмотрел в книги Маркса, читал Плеханова, Ленина. Он неохотно и [не] очень много затратил времени на этот труд, но затраченного оказалось вполне достаточно для того, чтоб решительно не согласиться с философией истории, по-новому изображающей процесс развития мировой культуры. Нет, историю дви-

гают, конечно, не классы, не слепые скопища людей, а — единицы, герои, и англичанин Карлейль ближе к истине, чем немецкий еврей Маркс. Марксизм не только ограничивал, он почти уничтожал значение личности в истории. Это умонастроение слежалось у Клима Ивановича Самгина довольно плотно, прочно, и он свел задачу жизни своей к воспитанию в себе качеств вождя, героя, человека, не зависимо от насилий действительности.

Но вот уже более года он чувствовал смутную тревогу, причины которой не решался определить. А сегодня, в тревожном шуме речей коллег своих, он вдруг поймал себя на том, что, слушая отчаянные крики фразников, он ведет счет новым личностям, которые неприемлемы для него, враждебны ему. Аркадий Спивак, товарищ Яков, Харламов — да, очевидно, и Харламов. Должно быть, и Тагильский тоже защитник угнетенного народа — такая изломанная фигура вроде Лютова. Макаров, бандит Иноков, Поярков, Тося. И еще многие. И — наконец, Кутузов, старый знакомый. Кутузов — тяжелый, подавляющий человек. Все это люди, которые верят в необходимость социальной революции, проповедуют ее на фабриках, вызывают политические стачки, проповедуют в армии, мечтают о гражданской войне.

«Историю делают герои... Безумство смелых... Харламов...»

К нему подошел в облаке крепких духов его противник по судебному процессу Нифонт Ермолов, красавец, богач, холеный, точно женщина, розовощекий, с томным взглядом карих глаз, с ласковой улыбкой под закрученными усами и над остренькой седой эспаньолкой.

— Дорогой мой Клим Иванович, не можете ли вы сделать мне великое одолжение отложить дело, а? Сейчас я проведу одно маленькое, а затем у меня ответственное заседание в консультации, — очень прошу вас!

Он протянул руку с розовыми полированными ногтями. Самгин с удовольствием согласился, не чувствуя никакого желания защищать права своих клиентов. Он сунул в портфель свои бумаги и пошел домой. За время, которое он провел в суде, погода изменилась: с моря влетал сырой ветер, предвестник осени, гнал над крышами домов грязноватые облака, как бы стараясь затискать их в коридор Литейного проспекта, ветер толкал людей в

груди, в лица, в спины, но люди, не обращая внимания на его хлопоты, быстро шли встречу друг другу, исчезали в дворах и воротах домов. Самгин обогнал десятка три арестантов, окруженных тюремным конвоем с обнаженными саблями, один из арестантов, маленький, шел на костылях, точно на ходулях. Он казался горбатым, ветер шелестел, посвистывал, как бы натачивая синеватые клинки сабель и нашептывая:

— Смирно-о!

Потом на проспект выдвинулась похоронная процессия, хоронили героя, медные трубы выпевали мелодию похоронного марша, медленно шагали черные лошади и солдаты, зеленоватые, точно болотные лягушки, размахивал кистями и бахромой катафалк, держась за него рукою, деревянно шагала высокая женщина, вся в черной кисее, кисея летала над нею, вокруг ее, ветер как будто разрывал женщину на куски или хотел подбросить ее к облакам. Люди поспешно, озабоченно идут к целям своего дня, не обращая внимания на похороны героя, на арестантов, друг на друга. Идет вереница раненых, во главе их большая, толстая сестра милосердия в золотых очках. Самгин уже когда-то видел ее.

«Харламов, — думал Клим Иванович Самгин, и в памяти его звучали шуточные, иронические слова, которыми Харламов объяснял Елене намерения большевиков: «Все, что может гореть, — горит только тогда, когда нагрето до определенной температуры и лишь при условии достаточного притока кислорода. Исключив эти два условия, мы получим гниение, а не горение. Гниение — это, по Марксу, процесс, который рабочий класс должен превратить в горение, во всемирный пожар. В наши дни рабочие и крестьяне достаточно нагреты, роль кислорода отлично исполняют большевики, и поэтому рабочий народ должен вспыхнуть». — Он — не один таков, Харламов. Шутники, иронисты его типа, родственны большевикам. Он, вероятно, интеллигент в первом поколении, как Тагильский. Как Дронов. Люди без традиций, ничем, кроме школы, не связанные с историей своего отечества. Случайные люди».

Он даже вспомнил министра Делянова, который не хотел допускать в гимназии «кухаркиных детей», но тут его

несколько смутил слишком крутой поворот мысли, и, открывая дверь в квартиру свою, он попытался оправдаться:

«Я ведь встревожен не тем, что меня обгоняют нигилисты двадцатого столетия...»

Но мысль самосильно скользила по как бы наклонной плоскости:

«Рим погубили варвары, воспитанные римлянами».

Затем в десятый раз припомнились стихи Брюсова о «грядущих гуннах» и чьи-то слова по поводу осуждения на каторгу депутатов-социалистов:

«Пятерых — осудили в каторгу, пятьсот поймут этот приговор как вызов им...»

Сидя за столом, поддерживая голову ладонью, Самгин смотрел, как по зеленому сукну стелются голубые струйки дыма папирсы, если дохнуть на них — они исчезают. Его думы ползли одна за другой так же, как этот легкий дымок, и так же быстро исчезали, когда над ними являлись мысли другого порядка.

«Необходимо веретено, которое спрягало бы мысли в одну крепкую, ровную нить... Паук тклет свою паутинку, имея точно определенную цель».

Эти неприятные мысли прятали в себе некий обидный упрек, как бы подсказывая, что жизнь — бессмысленна, и Самгин быстро гасил их, как огонек спички, возвращаясь к думам о случайных людях.

«Гапон, Азеф, Распутин. Какой-то монах Илиодор. Кандидатом в министры внутренних дел называют Протопопова».

Он припомнил все, что говорилось о Протопопове: человек политически неопределенный и даже не очень грамотный, но ловкий, гибкий, бойкий, в его бойкости замечают что-то нездоровое. Провинциал, из мелких симбирских дворян, владелец суконной фабрики, наследовал ее после смерти жандармского генерала Сильверстова, убитого в Париже поляком-революционером Подлевским. В общем — человек мутный, ничтожный.

«Очевидно, страна израсходовала все свои здоровые силы... Партия Милюкова — это все, что оказалось накопленным в девятнадцатом веке и что пытается организовать буржуазию... Вступить в эту партию? Ограничить

себя ее программой, подчиниться руководству дельцов, потерять в их среде свое лицо...»

О том, чтоб вступить в партию, он подумал впервые, неожиданно для себя, и это еще более усилило его тревожное настроение.

«Партии разрушаются, как всё вокруг», — решил он, ожесточенно тыкая окурком папиросы в пепельницу.

За последнее время, устраивая смотр мыслям своим, он все чаще встречал среди них такие отрезвляющие, какковы были мысли о веретене, о паутине, тогда он чувствовал, что высота, на которую возвел себя, — шаткая высота и что для того, чтоб удержаться на этой позиции, нужно укрепить ее какими-то действиями. Нужно предъявить людям неоспоримые доказательства своей силы и права своего на их внимание. Но каждый раз, присутствуя на собраниях, он чувствовал, что раздраженные речи, сердитые споры людей изобличают почти в каждой из них такое же кипение тревоги, такой же страхок перед завтрашним днем, такие же намерения развернуть свои силы и отсутствие уверенности в них. Он видел вокруг себя людей, в большинстве беспартийных, видел, что эти люди так же, как он, гордились своей независимостью, подчеркивали свою непричастность политике и широко пользовались правом критиковать ее. Количество таких людей возрастало. Иногда ему казалось, что <таких людей> излишне много, но он легко убеждался, что является наиболее законченным и заметным среди них. Особенно характерно было недавнее собрание в квартире Леонида Андреева, куда его затащил Иван Дронов.

Иван Дронов — всегда немножко выпивший и всегда готовый выпить еще, одетый богато, но неряшливо, растрепанный, пестрый галстук сдвинут влево, рыжие волосы торчат, скуластое лицо содрогается. Настроение его колебалось неестественно резко, за последний год он стал еще более непоседлив, суетлив, но иногда являлся совершенно подавленным, унылым, опустошенным. Клим Иванович привык смотреть на него как на осведомителя, на измерителя тона событий, на аппарат, кот[орый] отмечает температуру текущей действительности, и видел, что Иван теряет эту способность, занятый судорожными попытками перепрыгнуть куда-то через препятствие, невидимое

и непонятное для Самгина, и вообще был поглощен исключительно самим собою. В таком настроении он был тем более неприятен, что смотрел исподлобья, как бы укоряя в чем-то.

— С похмелья? — спрашивал Самгин.

— Н-нет, так... Устал.

Но иногда он являлся в состоянии как бы веселого ужаса, — если такой ужас возможен. Многоречивый, посмеиваясь и как-то юмористически ощипывая, одергивая себя, щелкая ногтями по пуговицам жилета, он высыпал новости, точно из мешка.

— Нет, Клим Иванович, ты подумай! — сладостно воеет он, вертясь в комнате. — Когда это было, чтоб премьер-министр, у нас, затевал публичную говорильню, под руководством Гакебуша, с участием Леонида Андреева, Короленко, Горького? Гакебушу — сто тысяч, Андрееву — шестьдесят, кроме построчной, Короленке, Горькому — по рублю за строчку. Это тебе — не Европа! Это — мировой аттракцион и — масса смеха!

Затем он рассказал странную историю: у Леонида Андреева несколько дней прятался какой-то нелегальный большевик, он поссорился с хозяином, и Андреев стрелял в него из револьвера, тотчас же и без связи с предыдущим сообщил, что офицера-гвардейцы избили в модном кабаке Распутина и что ходят слухи о заговоре придворной знати, — она решила снять царя Николая с престола и посадить на его место — Михаила.

— Меня бы посадили! — весело сказал он и, пародируя Шаляпина, пропел фальшиво:

Я б им царство-то управил!
Я б казны им поубавил!
Пожил бы я всласть,
Ведь на то и власть!..

— Чему ты рад? — спросил Самгин.

— Да я... не знаю! — сказал Дронов, втискивая себя в кресло, и заговорил несколько спокойней, вдумчивее: — Может — я не радуюсь, а боюсь. Знаешь, человек я пьяный и вообще ни к чорту не годный, и все-таки — не глуп. Это, брат, очень обидно — не дурак, а никуда не годен. Да. Так вот, знаешь, вижу я всяких людей, одни делают политику, другие — подлости, воров развелось до того

много, что придут немцы, а им грабить нечего! Немцев — не жаль, им так и надо, им в наказание — Наполеонов счастье. А Россию — жалко.

Он выскочил из кресла, точно мяч, и, наливая вино в стакан, сказал уверенно:

— Здоровенная будет у нас революция, Клим Иванович. Вот — начались рабочие стачки против войны — знаешь? Кушать трудно стало, весь хлеб армии скормили. Ох, все это кончится тем, что устроят европейцы мир про- между себя за наш счет, разрежут Русь на кусочки и начнут глотать с ее костей мясо.

Поговорив еще минуты три на эту тему, он предложил Самгину пойти на совещание по организации министерской газеты. Клим Иванович отказался, его утомляли эти почти ежедневные сборища, на которых люди торопливо и нервозно пытались избыть, погасить свою тревогу. Он видел, что источником тревоги этой служит общее всем им убеждение в своей политической дальнзоркости и предчувствие неизбежной и разрушительной катастрофы. Он отмечал, что по составу своему сборища становятся все пестрее, и его особенно удовлетворял тот факт, что к основному, беспартийному ядру таких собраний все больше присоединялось членов реформаторских партий и все более часто, открыто выступали люди, настроенные революционно. Самгину казалось, что партии крошились, разрушались, происходит процесс какой-то самосильной организации. Появились меньшевики, которых Дронов называл «гоц-либер-данами», а Харламов давно уже окрестил «скромными учениками немецких ортодоксов предательства», появлялись люди партии конституционалистов-демократов, появлялись даже октябристы — Стратонов, Алябьев, прятался в уголках профессор Платонов, мелькали серые фигуры Мякотина, Пешехонова, покашливал, притворяясь больным, нововременец Меньшиков, и еще многие именитые фигуры. Царила полная свобода мнений. Провинциальный кадет Адвокатов поставил вопрос: «Есть ли у нас демократия в европейском смысле слова?» и в полчаса доказал, что демократии в России — нет. Его слушали так же внимательно, как всех, чувствовалось, что каждому хочется сказать или услышать нечто твердое, успокаивающее, найти какое-то историческое,

объединяющее слово, а для Самгина в метелице речей, слов звучало простое солдатское:

«Смир-рно!»

Особенно тяжело памятной осталась для него одна из таких бесед в квартире Леонида Андреева.

В большой комнате с окнами на Марсово поле собралось человек двадцать — интересные дамы, с волосами, начесанными на уши, шикарные молодые люди в костюмах, которые как бы рекламировали искусство портных, солидные адвокаты, литераторы. Комната была неудобная, как будто в нее только что вселились и еще не успели наполнить вещами. Самгин сел у окна. За окнами — осенняя тьма и такая тишина, точно дом стоит в поле, далеко за городом. И, как всегда, для того, чтоб подчеркнуть тишину, существовал звук — поскрипывала проволока по железу водосточной трубы.

В пустоватой комнате голоса звучали неестественно громко и сердито, люди сидели вокруг стола, но разобщенно, разбитые на группки по два, по три человека. На столе в облаке пара большой самовар, слышен запах углей, чай порывисто, угловато разливает черноволосая женщина с большим жестким лицом, и кажется, что это от нее исходит запах углекислого газа.

Хозяин квартиры в бархатной куртке, с красивым, но мало подвижным лицом, воинственно встряхивая головой, положив одну руку на стол, другою забрасывая за ухо прядь длинных волос, говорил:

— Я не хочу быть чижом, который лгал и продолжает лгать. Только трусы или безумные могут проповедовать братство народов в ту ночь, когда враги подожгли их дом.

— Да ведь проповедуют это бездомные, — сказал сидевший в конце стола светловолосый человек, как бы прижатый углом его к стене под тяжелую раму какой-то темной картины).

Литератор поднимал и опускал густые темные брови, должно быть, стараясь оживить этим свое лицо.

— Отечество в опасности, — вот о чем нужно кричать с утра до вечера, — предложил он и продолжал говорить, легко находя интересные сочетания слов. — Отечество в опасности, потому что народ не любит его и не хочет защищать. Мы искусно писали о народе, задушевно гово-

рили о нем, но мы плохо знали его и узнаём только сейчас, когда он мстит отечеству равнодушием к судьбе его.

— Чепуха какая, — невежливо сказал человек, прижатый в угол, — его слова тотчас заглушил вопрос знакомого Самгину адвоката:

— А что вы скажете о евреях, которые погибают на фронтах от любви к России, стране еврейских погромов?

— Меня не удивляет, что иноверцы, инородцы защищают интересы их порабитителей, римляне завоевали мир силами рабов, так было, так есть, так будет! — очень докторально сказал литератор.

— Ой, не надо пророчеств! Поймите, еврей дерется за интересы человека, который считает его, еврея, расовым врагом.

Ему возразил редактор Иерусалимский, большой, склонный к тучности человек, с бледным лицом, украшенным нерешительной бородкой.

— Кричать, разумеется, следует, — вяло и скучно сказал он. — Начали с ура, теперь вот караул придется кричать. А куда мы кричим, немцы схватят нас за шиворот и поведут против союзников наших. Или союзники помирятся с немцами за наш счет, скажут: «Возьмите Польшу, Украину, и — ну вас к чорту, в болото! А нас оставьте в покое».

Коренастый человек с шершавым лицом, тоже литератор, покрякивая, покашливая, растирая ладонью темя, покрытое серым пухом, сообщил:

— Летом уже велись переговоры с немцами о сепаратном мире.

Беседа тянулась медленно, неохотно, люди как будто осторожничали, сдерживались, может быть, они устали от необходимости повторять друг пред другом одни и те же мысли. Большинство людей притворялось, что они заинтересованы речами знаменитого литератора, который, утверждая правильность и глубину своей мысли, цитировал фразы из своих книг, причем выбирал цитаты всегда неудачно. Серенькая старушка вполголоса рассказывала высокой толстой женщине в пенсне с волосами, начесанными на уши:

— Он у меня очень нервный. Ночей не спит, все думает, все сочиняет да крепкий чай пьет.

И лишь изредка, но все чаще и всегда в том углу, под темной картиной, вспыхивало раздражение, звучали недобрые голоса, колющие словечки и разматывался, точно шелковая лента, суховатый тенористый голосок:

— Ведь это, знаете, даже смешно, что для вас судьба стопятидесятимиллионного народа зависит от поведения единицы, да еще такой, как Гришка Распутин...

К таким голосам из углов Самгин прислушивался все внимательней, слышал их все более часто, но на сей раз мешал слушать хозяин квартиры, — размешивая сахар в стакане очень крепкого чая, он пророчески громко и уверенно говорил:

— Люди почувствуют себя братьями только тогда, когда поймут трагизм своего бытия в космосе, почувствуют ужас одиночества своего во вселенной, соприкоснутся прутьям железной клетки неразрешимых тайн жизни, жизни, из которой один есть выход — в смерть.

Он хлебнул ложечку чая и, найдя, что он недостаточно горяч или не сладок, выплеснул половину влаги из стакана в полоскательную чашку, подвинул стакан свой под кран самовара, увещывая торжественно, мягко и вкрадчиво:

— Социалисты, большевики мечтают объединить людей на всеобщей сытости. Нет, нет! Это — наивно. Мы видим, что сытые враждуют друг с другом, вот они воюют! Всегда воевали и будут! Думать, что люди могут быть успокоены сытостью, — это оскорбительно для людей.

— Это, знаете, какая-то рыба философия, ей-богу! — закричал человек из угла, — он встал, взмахнув рукой, приглаживая пальцами встрепанные рыжеватые волосы. — Это, знаете, даже смешно слушать...

— Разрешите мне кончить, — очень вежливо сказал литератор.

— Нет, уже кончать буду я... то есть не — я, а рабочий класс, — еще более громко и решительно заявил рыжеватый и, как бы отталкиваясь от людей, которые окружали его, стал подвигаться к хозяину, говоря:

— Вы уж — кончили! Ученая ваша, какая-то там литературная, что ли, квалификация дошла до конца концов, до смерти. Ставьте точку. Слово и дело дается вновь прибывшему в историю, да, да!

— Батюшки, неприятный какой, — забормотала серая старушка, обращаясь к Самгину. — А Леонидушка-то не любит, если спорят с ним. Он — очень нервный, ночей не спит, все сочиняет, все думает да крепкий чай пьет.

— Рабочий класс хочет быть сытым и хочет иметь право на квалификацию, а для этого, извините, он должен вырвать власть из рук сытых людей. Вырвать. С боем! Вот как. Довели до того, что равноценной человеку является грошовая бумажка, на которой напечатано, что она — рубль, а то и сто рублей. Даже марки почтовые как деньги ходят. Сказано: господство банков над промышленностью — это значит монополия финансового капитала, значит — вся работа превращается в деньги, в бессмысленность, в идиотство. Господствует банкир, миллионщик, чорт его душу возьми, разорвал трудовой народ на враждебные нации... вон какую войнищу затеял, а вы — чаек пьете и рыбью философию разводите... Как не стыдно!

На оратора смотрели сердито хмурясь, пренебрежительно улыбаясь, а сидевший впереди Самгина бритый и какой-то насквозь серый человек бормотал, точно окуная выудив:

— Ага, вот он, вот он...

Литератор откинулся пред ним на спинку стула, его красивое лицо нахмурилось, покрылось серой тенью, глаза как будто углубились, он закусил губу, и это сделало рот его кривым; он взял из коробки на столе папиросу, женщина у самовара вполголоса напомнила ему: «Ты бросил курить!», тогда он, швырнув папиросу на мокрый медный поднос, взял другую и закурил, исподлобья и сквозь дым глядя на оратора. Оратор — небольшого роста, узкогрудый, в сереньком пиджаке поверх темной косоворотки, подпоясан широким ремнем, растрепанные, вихрастые волосы делают голову его не по росту большой, лицо его густо обрызгано веснушками. Самгин в несколько секунд узнал его:

«Лаврушка. Ученик медника».

— Вот ради спокойя и благоденствия жизни этих держателей денег, торговцев деньгами вы хотите, чтоб я залез куда-то в космос, в нутро вселенной, к чортовой матери...

— Позвольте напомнить — здесь женщины, — обиженно заявила толстая дама с волосами, начесанными на уши.

— Я — вижу! А что?

— Нужно выражаться приличней...

— Ничего неприличного я не сказал и не собираюсь, — грубовато заявил оратор. — А если говорю смело, так, знаете, это так и надобно, теперь даже кадеты пробуют смело говорить, — добавил он, взмахнув левой рукой, большой палец правой он сунул за ремень, а остальные четыре пальца быстро шевелились, сжимаясь в кулак и разжимаясь, шевелились и маленькие медные усы на пестром лице.

— Я не своевольно пришел к вам, меня позвали умных речей послушать.

— Кто позвал, кто? — пробормотал человек со стесанным затылком.

— А вместо умных — безумные слышу, — извините! В классовом обществе о космосах и тайнах только для устрашения ума говорят, а другого повода — нет, потому что космосы и тайны прибылей буржуазии не наращивают. Космические вопросы эти мы будем решать после того, как разрешим социальные. И будут решать их не единицы, уstraшенные сознанием одиночества своего, беззащитности своей, а миллионы умов, освобожденных от забот о добыче куска хлеба, — вот как! А о земном заточении, о том, что «смерть шатается по свету» и что мы под солнцем «плененные звери», — об этом, знаете, обо всем Федор Сологуб пишет красивее вас, однако так же убедительно.

Он замолчал, облизнул нижнюю губу, снова взмахнул рукой и пошел к двери, сказав:

— Ну, и — прощайте!

До двери его проводили молчанием, только стесанный затылок, шумно вздохнув, прошептал:

— Ага, ушел.

Гости ждали, что скажет хозяин. Он поставил недокурную папиросу на блюдечко, как свечку, и, наблюдая за струйкой дыма, произнес одобрительно, с небрежностью мудреца:

— Интересный малый. Из тех, которые мечтают сделать во всем мире одинаково приятную погоду...

Журналист, брат революционера, в свое время заподозренного в провокации, поддержал:

— ...забывая о человеке из другого, более глубокого подполья, — о человеке, который признает за собою право дать пинка ногой благополучию, если оно ему наскучит.

— Да, — забывая о человеке Достоевского, о наиболее свободном человеке, которого осмелилась изобразить литература, — сказал литератор, покачивая красивой головой. — Но следует идти дальше Достоевского — к последней свободе, к той, которую дает только ощущение трагизма жизни... Что значит одиночество в Москве сравнительно с одиночеством во вселенной? В пустоте, где только вещество и нет бога?

Самгину казалось, что хозяина слушают из вежливости, невнимательно, тихонько рыча и мурлыкая. Хозяин тоже, должно быть, заметил это, встряхнув головой, он оборвал свою речь, и тогда вспыхнули раздраженные голоса.

— Каков? — спросил серый человек с квадратным затылком. — Бандит 906 года! Ага?

Особенно возмущались дамы, толстая говорила, болезненно сморщив лицо:

— А язык! Вы обратили внимание, какой вульгарный язык?

Ей вторила дама меньших объемов, приподняв плечи до ушей, она жаловалась:

— Отрава материализмом расширяется с удивительной быстротой...

Говорили все и, как всегда, невнимательно слушая, перебивая друг друга, стремясь обнародовать свои мысли. Брюнетка, туго зажатая в гладкое, как трико, платье красного цвета, толстогубая, в пенсне на крупном носу, доказывала приятным грудным голосом:

— Мы обязаны этим реализму, он охладил жизнь, приплюснул людей к земле. Зеленая тоска и плесень всяких этих сборников реалистической литер[атуры] — сделала людей духовно нищими. Необходимо вернуть человека к самому себе, к источнику глубоких чувств, великих вдохновений...

Хозяин слушал, курил и в такт речи кивал головой.

Самгин не был удивлен появлением Лаврушки, он только вспомнил свое сравнение таких встреч со звездами:

«Мало их или много? Кажется — уже много...»

— Боже мой, — кто это, откуда? — с брезгливым недоумением, театрально спросила толстая дама. Шершавый литератор, покрякивая, покашливая, ответил:

— Поэт, стихи пишет, даже, кажется, печатает в большевистских газетках. Это я его привел — показать...

Андреев утвердительно кивнул головою:

— Да, мне захотелось посмотреть: кто идет на смену нежному поэту Прекрасной Дамы, поэту «Нечаянной радости». И вот — видел. Но — не слышал. Не нашлось минуты заставить его читать стихи.

— Боже мой, боже! Куда мы идем? — драматически спросила дама.

Самгин, как всегда, слушал, курил и молчал, воздерживаясь даже от кратких реплик. По стеклам окна ползал дым папиросы, за окном, во тьме, прятались какие-то холодные огни, изредка вспыхивал новый огонек, скользил, исчезал, напоминая о кометах и о жизни уже не на окраине города, а на краю какой-то глубокой пропасти, неисчерпаемой тьмы. Самгин чувствовал себя как бы наполненным густой, теплой и кисловатой жидкостью, она колебалась, переливалась в нем, требуя выхода.

— Мы никуда не идем, — сказал он. — Мы смятенно топчемся на месте, а огромное, пестрое, тяжелое отечество наше неуклонно всей массой двигается по наклонной плоскости, скрипит, разрушается. Впереди — катастрофа.

Он замолчал, посмотрел — слушают ли? Слушали. Выступая редко, он говорил негромко, сухо, избегая цитат, ссылок на чужие мысли, он подавал эти мысли в других словах и был уверен, что всем этим заставляет слушателей признавать своеобразие его взглядов и мнений. Кажется, так это и было: Клима Ивановича Самгина слушали внимательно и почти не возражая.

— Мы, интеллигенты, аристократы духа, аристократия демоса, должны бы стоять впереди, у руля, единодушно, не разбиваясь на партии, а как единая культурно-политическая сила и, прежде всего, как сила культурная. Мы — не собственники, не корыстны, не гонимся за наживой...

— Крупной, — негромко вставил кто-то, но другой голос, погромче, тотчас же строго произнес:

— Неправда!

Самгин продолжал, чувствуя, что он говорит более откровенно, чем всегда.

— Я не против собственности, нет! Собственность — основа индивидуализма, культура — результат индивидуального творчества, это утверждается всею силой положительных наук и всей красотой искусства. Не нужно быть большевиком, марксистом по-русски, анархо-марксистом для того, чтоб видеть: власть крупных собственников становится пагубной, разрушающей, а не творящей. Война показывает нам их безумие. Но есть другая группа собственников, их — большинство, они живут в непосредственной близости с народом, они знают, чего стоит превращение бесформенного вещества материи в предметы материальной культуры, в вещи, я говорю о мелком собственнике глухой нашей провинции, о скромных работниках наших уездных городов, вы знаете, что их у нас — сотни.

Он очертил фигуры и продолжал, подчиняясь чувству вражды:

— Литераторы наши, выходцы из этой здоровой среды, стремясь к славе, изображают провинциальную, уездную Русь легкомысленно, карикатурно...

— Там живут Тюхи, дикие рожи, кошмарные подопбля людей, — неожиданно и очень сердито сказал <Андреев>. — Не уговаривайте меня идти на службу к ним — не пойду! «Человек рождается на страдание, как искра, чтоб устремляться вверх» — но я предпочитаю погибать с Наполеоном, который хотел быть императором всей Европы, а не с безграмотным Емелькой Пугачевым. — И, выговорив это, он выкрикнул латинское:

— Dixi! *

Его слова развязали языки, люди как будто очнулись от дремоты, первым выступил редактор, он, растирая ладонью сероватую бородку, сказал:

— Это можно понять. Демократия как будто опоздала, да! Мы накануне стол[кновения] пролетария с капиталистом.

— Для нас, в нашей стране, это — преждевременно...

— Но как будто уже неизбежно...

Серый человек говорил наклонясь к литератору, схва-

* Я сказал! — Ред.

тив его за колено и собакой глядя в красивое, мрачно нахмуренное лицо:

— Вам, родимый мой, надобно познакомиться с умнейшим, с гениальнейшим...

Брюнетка в красном платье спорила с толстой дамой.

— Нам нужен вождь, — кричала брюнетка, а толстая, обмахивая красное лицо платком:

— Каждый должен быть вождем своих чувств и мыслей...

— Вот — именно: вождь! Захар Петрович Бердников...

— Я встречался с ним...

— Он сторонник союза с немцами, в соединении с ними мы бы взяли за горло всю Европу! Что надобно понять?

— Не нужно брать за горло...

— Нет — что нужно понять? Антанта имеет в наших банках свыше 60 процентов капитала, а немцы — только 37! Обидно, а?

Против Самгина стоял редактор и, дергая пуговицу жилета своего, говорил:

— Большевизм — жест отчаяния банкрота — социал-демократии. Вы знаете, что сказал Вандервельде?

— Пожалуйте кушать, что бог послал, — возгласила старушка. — Продукты теперь — ох, скудные стали! И — дорогие, дорогие...

Люди пошли в соседнюю комнату, а Самгин отказался кушать дорогие, но скудные продукты и, ни с кем не прощаясь, отправился домой. Он чувствовал себя нехорошо, обиженный тем, что ему помешали высказать мысли, которые он считал особенно ценными и очень своими. Помешали тогда, когда хотелось говорить вполне откровенно. Раньше бывало так, что, высказав свои мысли вслух, пропустив их пред собою, как на параде, он видел, какие из них возбуждают наиболее острое внимание, какие проходят неясными, незаметно, и это позволяло ему отсеивать зерно от плевел. А на этот раз, прислушиваясь, он думал:

«Власть идей, очевидно, кончилась, настала очередь возмущенных чувств...»

Когда он вышел из дома на площадь, впечатление пустоты исчезло, сквозь тьму и окаменевшие в ней де-

ревья Летнего сада видно было тусклое пятно белого здания, желтые пятна огней за Невой.

Город молчал, тоже как бы прислушиваясь к будущему. Ночь была холодная, сырая, шаги звучали глухо, белые огни фонарей вздрагивали и краснели, как бы собираясь погаснуть.

«Где чувства — там трагедии... Все эти люди бесильны, жалки. Что они могут сделать? Они — не для трагедий. Андреев — понимает трагизм бытия слишком физиологически, кожно; он вульгаризирует чувство трагического, уродливо опрощает его. Трагическое не может и не должно быть достоянием демократии, трагическое всегда было и будет достоянием исключительных людей». Он отводил Андрееву место в ряду «объясняющих господ», которые упрямо навязывают людям свои мысли и верования. Есть настроения, мысли, есть идеи, совершенно не нужные Ивану Дронову. И Тагильскому. Поставив Тагильского рядом с Дроновым, он даже замедлил шаг, чувствуя, что натолкнулся на некое открытие.

«Оба — интеллигенты в первом поколении. Так же и Кутузов...»

Среди «объясняющих господ» Кутузов был особенно враждебным. Он действует здесь, в Петрограде, и недавно Самгин слышал его речи. Это было у Шемякина, который затеял книгоиздательство и пригласил Самгина для составления договора с фабрикантом бумаги. Уже в прихожей, раздеваясь, услышал знакомый голос, богатый ироническими интонациями. Кутузов говорил в приемной издателя, там стоял рояль, широкий ковровый диван, кожаные кресла и очень много горшков с геранью. Кутузов сидел у рояля, за его спиной оскалилась клавиатура, голова его четко выделялась на черной поднятой крышке, как будто замахнувшейся на него. Кроме его, в комнате находилось еще несколько человек.

— Наша армия уже разбита, и мы — накануне революции. Не нужно быть пророком, чтоб утверждать это, — нужно побывать на фабриках, в рабочих казармах. Не завтра — послезавтра революция вспыхнет. Пользуясь выступлением рабочих, буржуазия уничтожит самодержавие, и вот отсюда начнется нечто новенькое. Если буржуазия, при помощи военщины, генералов,

сумеет организовать — пролетариат будет иметь перед собой врага более опасного, чем царь и окружающие его.

Самгин, наклонясь над столом, следил исподлобья за оратором. В Кутузове его возмущало все: нелепая демократическая тужурка, застегнутая до горла, туго натянутая на плечах, на груди, придавала Кутузову сходство с машинистом паровоза, а густая, жесткая борода, коротко подстриженные волосы, большое, грубое обветренное лицо делало его похожим на прасола. Но особенно возмущали иронические глаза, в которых неугасимо светилась давно знакомая и обидная улыбочка, и этот самоуверенный, крепкий голос, эти слова человека, которому все ясно, который считает себя вправе пророчествовать.

— У пролетариата — своя задача. Его передовые люди понимают, что рабочему классу буржуазные реформы ничего не могут дать, и его дело не в том, чтоб заменить оголтелое самодержавие — республикой для всячего удобства жизни сытеньких, жирненьких.

Он погладил одной ладонью бороду, другой провел по черепу со лба до затылка.

— Мне поставлен вопрос: что делать интеллигенции? Ясно: оставаться служащей капиталу, довольствуясь реформами, которые предоставят полную свободу слову и делу капиталистов. Так же ясно: идти с пролетариатом к революции социальной. Да или нет, третье решение логика исключает, но психология — допускает, и поэтому логически беззаконно существуют меньшевики, эсеры, даже какие-то народные социалисты.

Его слушали молча, и Самгин был уверен, что слушают враждебно. Жена издателя тихонько говорила:

— Просто — до ужаса... А говорят про него, что это — один из крупных большевиков... Вроде полковника у них. Муж сейчас приедет, — его ждут, я звонила ему, — сказала она ровным, бесцветным голосом, посмотрев на дверь в приемную мужа и, видимо, размышляя: закрыть дверь или не надо? Небольшого роста, но очень стройная, она казалась высокой, в красивом лице ее было что-то детский неопределенный, синеватые глаза смотрели вопросительно.

«Лет восемнадцать, — подумал Самгин, мысленно обругал Шемякина: — Скот».

— Почему интеллигенту будет легче жить с рабочим классом? — спросил кто-то вдруг и азартно.

Кутузов ответил:

— Вот это — ясный, торговый постанов вопроса! Но я не думаю, что пролетариат будет кормить интеллигентов мармаладом. Но — вот что: уже даны технические условия, при наличии коих трудовая, производственная практика рабочего класса может быть развернута чрезвычайно широко и разнообразно. Классовый идиотизм буржуазии выражается, между прочим, в том, что капитал не заинтересован в развитии культуры, фабрикант создает товар, но нисколько не заботится о культурном воспитании потребителя товаров у себя дома, для него идеальный потребитель — живет в колониях... Пролетариат-хозяин — особенно же наш пролетариат — должен будет развернуть широчайшую работу промышленно-технической организации своего огромнейшего хозяйства. Для этого дела потребуются десятки, даже сотни тысяч людей высокой, научной, интеллектуальной квалификации. Вопрос о мармаладе оставляю открытым.

— Мармалад? А, кажется, надобно говорить — мармелад, — пробормотала супруга издателя. — Хотите чаю? — предложила она.

Люди исчезали из приемной, переходя в другую комнату, исчезли, оставив за собой синюю пелену дыма. Самгин отказался от чая, спросил:

— Этот, который говорил, предлагает издать какие-то книги?

— Да, муж говорит: ходкие книги, кажется, уже купил... Распутин, большевики... бессарабские помещики, — говорила она, вопросительно глядя в лицо Самгина. — Все это поднимается, как будто из-под земли, этой... Как ее? Из чего лава?

— Магма?

— Да, магма. Ужасно странно все.

Она сидела положив ногу на ногу, покачивая левой, курила тонкую папироску с длинным мундштуком, бесцветный ее голос звучал тихо и почти жалобно.

— Я всего второй год здесь, жила в Кишиневе, это тоже ужасно, Кишинев. Но здесь... Трудно привыкнуть. Такая противная, злая река. И всем хочется революции.

Пришел Шемякин. Он показался Самгину еще более красивым, холеным, его сопровождал Дронов, как бы для того, чтоб подчеркнуть парадность фигуры Шемякина. Снимая перчатки манерой премьера драмы, он весело говорил:

— Последняя новость: полное расстройство транспорта! Полнейшее, — прибавил он и взмахом руки начертил в воздухе крест. — Четверть всех локомотивов требует капитального ремонта, сорок процентов постоянно нуждаются в мелком.

Расправляя смятые в комок перчатки, жена смотрела на него, сдвинув брови, лоб ее разрезала глубокая морщина, и все лицо так изменилось, что Самгин подумал: ей, наверное, под тридцать.

— Там кто шумит? — приятельски спросил ее Дронов, она ответила:

— Писатели и еще один. — Она обратилась к мужу: — Этот, большевик...

— Ага! Ну — с ним ничего не выйдет. И вообще — ничего не будет! Типограф и бумажник сбесились, ставят такие смертные условия, что проще сразу отдать им все мои деньги, не ожидая, когда они вытянут их по сотне рублей. Нет, я, кажется, уеду в Японию.

— Поезжай, — одобрительно сказал Дронов. — Дай мне денег, я налажу издательство, а ты — удались и сибаритствуй. Налажу дело, приведу отечество в порядок — телеграфирую: возвращайся, все готово для сладкой жизни, чорт тебя дерит!

— Шут, — сказал Шемякин, усмехаясь. — Итак, Клим Иванович, беседа о договорах с типографией и бумагой — откладывается...

— Пойдемте чай пить, — предложила жена. Самгин отказался, не желая встречи с Кутузовым, вышел на улицу, в сумрачный холод короткого зимнего дня. Раздраженный бесплодным визитом к богатому барину, он шагал быстро, пред ним вспыхивали фонари, как бы догоняя людей.

— От кого бежишь? — спросил Дронов, равняясь с ним, и, сняв котиковую шапку с головы своей, вытер ею лицо себе. — Зайдем в ресторан, выпьем чего-нибудь, поговорить надо! — требовательно предложил он и, не ожидая согласия, заговорил:

— В Японию собирается. Уедет и увезет большие деньги, бык! Стратонов наковырял денег и — на Алтай, будто бы лечиться, вероятно — тоже в Японию. Некоторые — в Швецию едут.

— Ты все о деньгах, — сердито заметил Самгин.

— Да, да, я все о них! Приятно звучат: донь-динь-дон-бо-омм — по башке. Кажется, опоздал я, — теряют силу деньги, если они не золото... Видел брата?

— Какого брата?

— Дмитрия? Не видел? Идем сюда...

Вошли в ресторан, сели за стол в уголке, Самгин терпеливо молчал, ожидая рассказа, соображая: сколько лет не видел он брата, каким увидит его? Дронов не топясь выбрал вино, заказал сыру, потом спросил:

— Хочешь глинтвейна? Здесь его знаменито делают.

Самгин, закуривая папиросу, кивнул головой, спросил, не вытерпев:

— Где ты видел Дмитрия?

— Ночевал у меня, Тося прислала. Сильно постарел, очень! Вы — не переписывались?

— Нет. Что он делает?

Дронов усмехнулся.

— Не знаю, не спрашивал. В девятом году был арестован в Томске, выслан на три года, за попытку бежать дали еще два и — в Березов.

— Пробовал бежать? — спросил Самгин, попытка к бегству не совпадала с его представлением о брате.

— Ты — что: не веришь?

Самгин промолчал.

— Спросил твой адрес, я — дал.

— Естественно.

— А Тося действует в Ярославле, — задумчиво произнес Дронов.

— С большевиками?

— Повидимому — да.

Беседа не разгоралась. Самгин не находил вопросов, чувствуя себя подавленным иронической непрерывностью встреч с прошлым.

«Дмитрий... Бесцветный, бездарный... Зачем? Брат. Мать».

Подумалось о том, как совершенно одинок человек: с возрастом даже родовые связи истлевают, теряют силу.

Дронов молча пил вино, иногда кривил губы, прищуривал глаза, усмехаясь, спрашивал вполголоса:

— Слышишь?

Да, Самгин слышал:

— Я утверждаю: искусство только тогда выполнит свое провиденциальное назначение, когда оно начнет говорить языком непонятным, который будет способен вызывать такой же священный трепет пред тайной — какой вызывается у нас церковнославянским языком богослужений, у католиков — латинским.

Это говорил высоким, но тусклым голосом щегольски одетый человек небольшого роста, черные волосы его зачесаны на затылок, обнажая угловатый высокий лоб, темные глаза в глубоких глазницах, желтоватую кожу щек, тонкогубый рот с черненькими полосками сбритых усов и острый подбородок. Говорил он стоя, держась руками за спинку стула, раскачивая его и сам качаясь. Его слушали, сидя за двумя сдвинутыми столами, три девицы, два студента, юнкер, и широкоплечий атлет в форме ученика морского училища, и толстый, светловолосый юноша с румяным лицом и счастливой улыбкой в серых глазах. Слушали нервно, несогласно, прерывая его речь криками одобрения и протеста.

— Да, да — я утверждаю: искусство должно быть аристократично и отвлеченно, — настойчиво говорил оратор. — Мы должны понять, что реализм, позитивизм, рационализм — это маски одного и того же дьявола — материализма. Я приветствую футуризм — это все-таки прыжок в сторону от угнетающей пошлости прошлого. Отравленные ею, наши отцы не поняли символизма...

— И Тося где-нибудь тоже ораторствует, — пробормотал Дронов, встряхивая в бокале белое вино. — Завтра поеду к ней. Знаю, как найти, — сказал он, как будто угрожая. — Интересно рассказывал Дмитрий Иванов, — продолжал он, вздохнув и мешая Самгину слушать.

Самгин проглотил последние капли горячего вина, встал и ушел, молча кивнув головой Дронову.

Дмитрий явился в десятом часу утра, Клим Иванович еще не успел одеться. Одеваясь, он посмотрел в щель

неприкрытой двери на фигуру брата. Держа руки за спиной, Дмитрий стоял пред книжным шкафом, на сутулых плечах висел длинный, до колен, синий пиджак, черные брюки заправлены за сапоги.

«Машинист. Сцепщик вагонов...»

Потребовалось усилие — хотя и небольшое — для того, чтоб подойти к брату. Ковер и мягкие зимние туфли заглушали шаги, и Дмитрий обернулся лишь тогда, когда брат произнес:

— Здравствуй!

Дмитрий порывисто обнял его, поцеловал в щеку и — оттолкнув, чихнул. Это вышло нелепо, серое лицо Дмитрия покраснело, он пробормотал:

— Извини... Одеколон. — Чихнул еще два раза и <сказал>: — Очень крепкий.

— Постарели мы! — сказал Клим Самгин, садясь к столу, зажигая спиртовку под кофейником.

— Ничего, поживем! — бодро ответил Дмитрий и похвалил, усмехаясь: <— А ты — молодец!>

Клим Самгин нашел, что такая встреча братьев знакома ему, описана в каком-то романе, хотя там не чихали, но там тоже было что-то нелепое, неловкое.

— Ну, рассказывай, — предложил он, присматриваясь к брату. Дмитрий, видимо, только что постригся, побрился, лицо у него простонародное, щетинистые седые усы делают его похожим на солдата, и лицо обветренное, какие бывают у солдат в конце лета, в лагерях. Грубоватое это лицо освещают глаза серовато-синего цвета, в детстве Клим называл их овечьими.

— Место — неудобное. Тоскливо. Смотришь вокруг, — говорил Дмитрий, — и возмущаешься идиотизмом власти, их дурацкими приемами гасить жизнь. Ну, а затем, присмотришься к этой пустынной земле, и как будто почувствуешь ее жажду человека, — право! И вроде как бы ветер шепчет тебе: «Ага, явился? Ну-ко, начинай...»

«Все еще фантазирует, поэтизирует», — подумал Клим. Говорил Дмитрий голосом очень гулким, но шепеляво, мятыми словами, точно у него язык болел.

— Как странно говоришь ты, — заметил он.

— Это — от зубов, — объяснил Дмитрий, — две протезы вставил в Ярославле, почти весь заработок истратил

на эту реформу... Природные зубы цынга уничтожила. Там насчет овощей — слабо, и мясо — редкость, даже оленье. Все — рыба, рыба. И погода там рыбья, сухопутному человеку обидно: на земле — болота, сверху — дождь. И грибы, грибы... Речка Сосьва — это просто живорыбный садок. А в сорока верстах — Обь, тоже рыбе царство, — говорил Дмитрий, с явным наслаждением прихлебывая кофе и зачем-то крепко нажимая кулаком левой руки на крышку стола.

Он, кратко и точно топором вырубая фигуры, рассказывал о сыне местного купца, капитане камского парохода, высланном на родину за связи с эсерами.

— Большой, волосатый, рыжий, горластый, как дьякон, с бородой почти до пояса, с глазами быка и такой же силой, эдакое, знаешь, сказочное существо. Поссорится с отцом, старичком пудов на семь, свяжет его полотенцами, втащит по лестнице на крышу и, развязав, посадит верхом на конек. Пьянствовал, разумеется. Однако — умеренно. Там все пьют, больше делать нечего. Из трех с лишком тысяч населения только пятеро были в Томске и лишь один знал, что такое театр, вот как!

Дмитрий замолчал, должно быть, вспомнив что-то волнующее, тень легла на его лицо, он опустил глаза, подвинул чашку свою брату.

«Заполняет выдумками пустые года жизни своей», — определил Клим, наливая кофе в чашку, и спросил:

— Ну, что же этот... богатырь?

— Его цынга сожрала, в полгода, — ответил брат.

— Странное дело, — продолжал он, недоуменно вздернув плечи, — но я замечал, что чем здоровее человек, тем более жестоко грызет его цынга, а слабые переносят ее легче. Вероятно, это не так, а вот сложилось такое впечатление. Прокаженные встречаются там, меряченье нередко... Вообще — край не из веселых. И все-таки, знаешь, Клим, — замечательный народ живет в государстве Романовых, чорт их возьми! Остяки, например, и особенно — вогулы...

Он долго и с жаром рассказывал о вогулах, о их племенном родстве с мадярами, остяках, о ежегодной ярмарке, на которой местные торгаши нагло грабят инородцев.

— Грабить — умеют, да! Только этим умением они и возвышаются над туземцами. Но жадность у них коротенькая, мелкая — глупая и даже как-то — беспцельна. В конце концов кулачки эти — люди ни к чему, дрянцо, временно исполняющее должность людей.

Клим Иванович Самгин присматривался к брату все более внимательно. Под пиджаком Дмитрия, как латы, — жилет из оленьей или лосиной кожи, застегнутый до подбородка, виден синий воротник косоворотки. Ладони у него широкие, точно у гребца. И хотя волосы седые, но он напоминает студента, влюбленного в Марину и служившего для всех справочником по различным вопросам.

«Жил в пустом месте и вот наполняет его своими измышлениями», — настойчиво повторял Клим Самгин, слушая.

— Какие-то одноклеточные организмы без функции, — произнес Дмитрий и добродушно засмеялся. — Это, знаешь, мой титул, меня наградил им один товарищ в Полтаве, марксист. Я тогда был — помнишь? — настроен реформаторски, с большевизмом — не ладил. И как-то в споре он мне и сказал: «Знаете вы, Самгин, много, но это — бесплодное знание, оно у вас не функционирует. Материю на костюмчик приобрели хорошую, а сшить костюм — не умеете и вообще, говорит, вы — одноклеточный организм, без функции». Возражаю: «Нет организма без функции!» Не уступает: «Есть, и это — вы!» Насмешил он меня, но — я задумался, а потом серьезно взялся за Маркса и понял, что его философия истории совершенно устраняет все буржуазные социологии и прочие хитросплетения. Затем — Ленин, это, знаешь, крупнейший политический мыслитель...

Он замолчал, отмахиваясь от дыма, потом заметил:

— Много ты куришь!

И спросил:

— Про тебя говорят — отошел от партии?

Клим Самгин ответил вопросом:

— Кто это говорит?

— Тося, Антонида...

— Я никогда не был членом партии... какой-либо и о политике с этой дамой не беседовал.

— Ну, она — не дама, нет, — пробормотал Дмитрий,

а Клим, чтоб избежать дальнейшей беседы на эту тему, спросил:

— Ты знаешь, что Марину убили?

— Да, знаю, как же! Степан сказал. Так и не известно — кто, за что?

— Нет.

— Любопытно, — вполголоса произнес Дмитрий, сунув руки в карманы пиджака и глядя поверх головы брата в окно, — за окном ветер, посвистывая, сорил снегом.

— Ты ведь — семейный? — спросил Клим.

— Нет, нет, — быстро ответил брат и даже отрицательно потряс головой.

— Но, кажется, ты говорил...

— Это — не вышло. У нее, то есть у жены, оказалось множество родственников, дядя — помещики, братья — чиновники, либералы, но и то потому, что сепаратисты, а я представитель угнетающей народности, так они на меня... как шмели, гудят, гудят! Ну и она тоже. В общем она — славная. Первое время даже грустные письма писала мне в Томск. Все-таки я почти три года жил с ней. Да. Ребят — жалко. У нее — мальчик и девочка, отличнейшие! Мальчугану теперь — пятнадцать, а Юле — уже семнадцать. Они со мной жили дружно...

Он выговорил все это очень быстро, а замолчав, еще раз подвинул чашку Климу и, наблюдая, как брат наливает кофе, сказал тише и — с удивлением или сожалением:

— А я, знаешь, привык думать о тебе как о партийце. И когда, в пятом году, ты сказал мне, что не большевик, я решил: конспирируешь...

От дальнейшего спас Клима Дронов, — он вбежал в комнату так, как будто его сильно толкнули в спину, взмахнул шапкой и пронзительно объявил:

— Сегодня ночью Пуришкевич, князь Юсупов и князек из Романовых, Дмитрий Павлов, убили Распутина.

Несколько секунд все трое молчали, затем Дронов, глядя на братьев, стирая шапкой снег с пальто, потребовал:

— Ну — что скажете, а?

Довольный тем, что Иван явился в неприятную минуту да еще с такой новостью, Клим Иванович Самгин усмехнулся:

— Ты кричишь об этом, как о событии мирового значения.

— Любопытно, — Дмитрий и второй раз произнес это слово вполголоса, а Дронов, снимая пальто, обиженно пробормотал:

— А — что, это — финал оперетки? Ты — сообрази: вчера они Распутина, а завтра — царя Николая.

Дмитрий, махнув рукой, вынул из кармана брюк серебряные часы без цепочки и, глядя на циферблат, сказал медленно и скучно:

— Романовых — много, всех истребить не успеют, который-нибудь испугается и предложит Гучковым-Милюковым: сажайте меня на престол, я буду слушаться ваших указаний.

— Конечно, событие незаурядное, — примирительно заметил Клим, Дронов возбужденно потирал руки, подпрыгивал, играл глазами, как бы стараясь спрятать их, Самгин наблюдал за ним, не понимая: чем испуган или доволен Иван?

Дмитрий, протянув руку брату, сказал:

— Мне — пора.

Дронов пошел вслед за ним и дал Климу Самгину время подумать:

«Мне следовало сказать ему: заходи или что-нибудь в этом роде. Но — нелепо разрешать брату посещать брата. Мы не ссорились», — успокоил он себя, прислушавшись к разговору в прихожей.

— Как же я найду ее? — спрашивал Дронов.

Дмитрий неохотно ответил:

— Я же говорю вам: укажет доктор Изаксон.

— Ага...

Возвратясь, Дронов быстро спросил:

— Как ты его находишь, а?

И раньше, чем Самгин нашел, как следует ответить, Дронов, бегая от стены к стене, точно мышь в мышеловке, забормотал, потирая руки:

— Я его помню таким... скромным. Трещит все, ломается. Революция лезет из всех щелей. Революция... мобилизует. Правые — левеют, замечаешь, как влиятелен становится прогрессивный блок?

Слепо наткнулся на кресло, сел и, хлопая ладонями по коленям своим, вопросительно и неприятно остановил глаза на лице Самгина, — этим он заставил Клима Ивановича напомнить ему:

— Городской и земский съезды разогнаны.

— А — обыватели? Рабочие?

— Обыватели революции не делают. Рабочие — на фронтах.

Дронов, тяжело вздохнув, чмокнул губами.

— На фронтах тоже неладно. Дмитрий Иванов почти всю ночь рассказывал мне. Признаки — грозные. И убийство Распутина — не шуточка! Нет...

— Чего ты боишься? — спросил Самгин, усмехаясь.

— А я — не знаю, — сказал Дронов. — Я, может быть, и не боюсь.

Он встал, оглянулся, взял с дивана шапку и, глядя внутрь ее, сообщил, приподняв плечи:

— Завтра поеду в Ярославль. Поглядеть на Тосю. Смешно?

— Не очень.

— Да. Первая и единственная. Жил я с ней... замечательно хорошо. Почти три года, а мне скоро пятьдесят. И лет сорок прожил я... унижительно.

— Не ожидал, что ты заговоришь в таком... плачевном тоне, — насмешливо и сухо заметил Самгин.

— Расстроил меня Дмитрий Иванов, — пробормотал Дронов, надевая пальто, и, крикнув, произнес более внятно: — А знаешь, Клим Иванов, не легкое дело найти в жизни смысл.

Наконец он ушел, оставив Самгина утомленным и настроенным сердито. Он перешел в кабинет, сел писать апелляцию по делу, проигранному им в окружном суде, но не работалось. За окном посвистывал ветер, он все гуще сорил снегом, снег шаркал по стеклам, как бы нашептывая холодные, тревожные думы.

«Да, найти в жизни смысл не легко... Пути к смыслу страшно засорены словами, сугробами слов. Искусство, наука, политика — Тримутри, Санкта Тринита — Святая Троица. Человек живет всегда для чего-то и не умеет жить для себя, никто не учил его этой мудрости». Он

вспомнил, что на тему о человеке для себя интересно говорил Кумов: «Его я еще не встретил».

«Дмитрий нашел [смысл] в политике, в большевизме. Это — можно понять как последнее прибежище для людей его типа — бездарных людей. Для неудачников. Обилие неудачников — характерно для русской интеллигенции. Она всегда смотрела на себя как на средство, никто не учил ее быть самоцелью, смотреть на себя как на ценнейшее явление мира».

Он сидел, курил, уставая сидеть — шагал из комнаты в комнату, подгоняя мысли одну к другой, так провел время до вечерних сумерек и пошел к Елене. На улицах было не холодно и тихо, мягкий снег заглушал звуки, слышен был только шорох, похожий на шопот. В разные концы быстро шли разнообразные люди, и казалось, что все они стараются как можно меньше говорить, тише топать.

У Елены, как всегда к вечернему чаю, гости: профессор Пыльников и какой-то высокий, тощий, с козлиной, серого цвета, бородкой на темном, точно закоптевшем лице. Елена встретила веселым восклицанием:

— Слышали о Распутине? Вот это — трюк! Знакомьтесь.

— Воинов, — глубоким басом, неохотно назвал себя лысый; пожимая его холодную жесткую руку, Самгин видел над своим лицом круглые, воловьи глаза, странные глаза, прикрытые синеватым туманом, тусклый взгляд их был сосредоточен на конце хрящеватого, длинного носа. Он согнулся пополам, сел и так осторожно вытянул длинные ноги, точно боялся, что они оторвутся. На узких его плечах френч, на ногах — галифе, толстые спортивные чулки и уродливые ботинки с толстой подошвой.

Пыльников в штатском костюме из мохнатой материи зеленоватого цвета как будто оброс древесным лишаем, он сильно похудел; размахивая черной, в серебре, записной книжкой, он тревожно говорил Елене:

— Я почти три года был цензором корреспонденции солдат, мне отлично известна эволюция настроения армии, и я утверждаю: армии у нас больше не существует.

— Лимона — нет, — сказала Елена, подвигая Самгину стакан чая, прищутив глаза, в зубах ее дымилась

папироса. — Говорят, что лимонами торгует только итальянский посол. Итак?

Подскакивая на стуле, Пыльников торопливо продолжал:

— Василий Кириллович цензурует год и тоже может подтвердить: есть отдельные части, способные к бою, но армии как целого — нет!

— Да, — сказал Воинов, качнув головой, и, сунув палец за воротник френча, болезненно сморщил лицо.

— Они меня пугают, — бросив папиросу в полоскательницу, обратилась Елена к Самгину. — Пришли и говорят: солдаты ни о чем, кроме земли, не думают, воевать — не хотят, и у нас будет революция.

— Дорогая, вы — шаржируете!

— Нисколько. Я — уже испугана. Я не хочу революции, а хочу — в Париж. Но я не знаю, кому должна сказать: эй, вы, прошу не делать никаких революций, и — перестаньте воевать!

Она шутила, но Самгин знал, что она сердится, искусно раскрашенное лицо ее улыбалось, но глаза сверкали сухо, и маленькие уши как будто распухли, туго налитые фиолетовой кровью.

Небольшая, ловкая, в странном платье из разномерных красных лоскутков, она напоминала какую-то редкую птицу.

— Вы очень мило шутите, — настойчиво прервал ее Пыльников, но она не дала ему говорить.

— Вам хочется, чтоб я говорила серьезно? Да будет!

И, сжав пальцы рук в кулачок, положив его на край стола пред собой, она крепким голосом сказала:

— Насколько я знаю, — солдаты революции не делают. Когда французы шли на пруссаков, они пели:

Мы идем, идем, идем,
Точно бараны на бойню.
Нас перебьют, как крыс,
Бисмарк будет смеяться!

Пересказав песню по-французски, она продолжала:

— Так это и случилось: пруссаки вздули их. Но, возвратясь в Париж, они немедленно перебили коммунаров. Вот — солдаты! Вероятно, так же будет и у вас. Будет или нет — увидим. А до той поры я дьявольски устала

от этих почти ежедневных жалоб на солдат, от страха пред революцией, которым хотят заразить меня. Я — оптимистка или — как это называется? — фаталистка. Будет революция? Значит: нужно, чтоб она была. И чтоб встряхнула вас. Заставила бы что-нибудь делать для революции, против революции — что больше нравится вам. Понятно?

Самгин бесшумно аплодировал ей, так что можно было думать — у него чешутся ладони.

«Это не Алина, не выдает себя жертвой и страдалицей...»

— Да, — уныло начал Пыльников, почесывая висок. — Но, видите ли...

Воинов подобрал ноги свои, согнул их, выпрямил, поднялся во весь рост и начал медленно, как бы заикаясь, выжимать из себя густые, тяжелые слова:

— Война жестоко обнаружила основное, непримиримое противоречие истории, которое нас учат понимать превратно. Существует меньшинство, творящее культуру, и большинство, которое играет в этом процессе роль подчиненную, механическую. Автоматы. Физическая сила. Но, в то же время, — Спартак. Стенька Разин. Почти непрерывный Разин. Дикарь, который хочет украсить себя и жену золотом. Только этого хочет. Да, этого. Ницше, гениальный мыслитель, Прометей конца девятнадцатого столетия, первый глубоко понял и указал нам ошибочность нашего понимания логики. И философии истории. Смысла жизни.

Воинов сунул за воротник френча указательные пальцы и, потянув воротник в разные стороны, на секунду закрыл глаза, он делал это, не прерывая натужную речь.

— Интеллигент-революционер считается героем. Прославлен и возвеличен. А по смыслу деятельности своей он — предатель культуры. По намерениям — он враг ее. Враг нации. Родины. Он, конечно, тоже утверждает себя как личность. Он чувствует: основа мира, Архимедова точка опоры — доминанта личности. Да. Но он мыслит ложно. Личность должна расти и возвышаться, не опираясь на массу, но попирая ее. Аристократия и демократия. Всегда — это. И — навсегда.

Он шагнул к Елене, согнулся и, опираясь о стол рукою, выдавил на нее строгие слова:

— Мы — накануне катастрофы. Шутить уже преступно...

— Даже преступно? — спросила женщина, усмехаясь.

— Даже. И преступно искусство, когда оно изображает мрачными красками жизнь демократии. Подлинное искусство — трагично. Трагическое создается насильем массы в жизни, но не чувствуется ею в искусстве. Калибану Шекспира трагедия не доступна. Искусство должно быть более аристократично и непонятно, чем религия. Точнее: чем богослужение. Это — хорошо, что народ не понимает латинского и церковнославянского языка. Искусство должно говорить языком непонятным и устрашающим. Я одобряю Леонида Андреева.

— Ну, а я терпеть не могу и не читаю его, — довольно резко заявила Елена. — И вообще все, что вы говорите, дьявольски премудро для меня. Я — не революционерка, не пишу романов, драм, я просто — люблю жить, вот и все.

— Я тоже не могу согласиться, — заявил Пыльников, но не очень решительно, и спросил: — А вы, Клим Иванович?

— Когда так часто говорят о Марксе, естественно вспомнить Ницше, — не сразу ответил Самгин и затем предложил: — Послушаем дальше.

Он не мог определить своего отношения к смыслу сказанного Воиновым, но он почувствовал, что в разное время и все чаще его мысли кружились близко к этому смыслу.

Он вспомнил мораль басни «Пустынник и медведь»: «Услужливый дурак опаснее врага».

Воинов снова заставил слушать его, манера говорить у этого человека возбуждала надежду, что он, может быть, все-таки скажет нечто неслыханное, но покамест он угрюмо повторял уже сказанное. Пыльников, согласно кивая головой, вкрадчиво вмешивал в его тяжелые слова коротенькие реплики с ясным намерением пригладить угловатую речь, смягчить ее.

— Кто это? — тихонько спросил Самгин Елену, она, глядя на свое отражение в серебре самовара, приглаживая пальцем брови, ответила вполголоса:

— Кажется, земский начальник, написал или пишет книгу, новая звезда, как говорят о балете. Пыльников таскает всяких... эдаких ко мне, потому что жена не велит

ему заниматься политикой, а он думает, что мне приятно терпеть у себя...

Оборвав слова усмешкой, она закончила фразу не очень остроумным, но крепким каламбуром на тему о домах терпимости и тотчас перешла к вопросу более важного характера:

— Послушайте, сударь, — что же будет с деньгами? Надобно покупать золото. Ты понимаешь что-нибудь в старинных золотых вещах?

Нет, Самгин не понимал, но сегодня Елена очень нравилась ему, и, желая сделать приятное ей, он сказал, что пришлет человека, который, наверно, поможет ей в этом случае.

— Иван Дронов, я пришлю его завтра, послезавтра...

Величественно, как на сцене театра, вошла дама, в костюме, отделанном мехом, следом за нею щеголеватый студент с бескровным лицом. Дама тотчас заговорила о недостатке съестных продуктов и о дороговизне тех, которые еще не съедены.

— Двенадцать рублей фунт! — с ужасом в красивых глазах выкрикивала она. — Восемнадцать рублей! И вообще покупать можно только у Елисеева, а еще лучше — в замечательном магазине офицеров гвардии...

Пыльников уже строго допрашивал студента:

— Кто ваши учителя жизни? Не персонально ваши...

Студент кротко, высоким тенором отвечал:

— Наиболее охотно читаются: Розанов, Лев Шестов, Мережковский... Из иностранцев — Бергсон, мне кажется.

Воинов вытягивал слова о доминанте личности, снова напоминая Самгину речи Кумова, дама с восторгом рассказывала:

— Есть женщина, продающая вино и конфеты из запасов Зимнего дворца, вероятно, жена какого-нибудь дворцового лакея. Она ходит по квартирам с корзиной и — пожалуйста! Конфеты — дрянь, но вино — отличное! Бордо и бургонь. Я вам пришлю ее.

— Этот — Андронов? Антонов? — не очень жулик? — спросила Елена, — Самгин успокоительно сказал:

— Нет, нет.

Воинов гудел:

— Социалисты прокламируют необходимость растворения личности в массе. Это — мистика. Алхимия.

В помощь ему и вслед за ним быстро бежал бойкий голосок Пыльникова:

— Возвращение человека назад, в первобытное состояние, превращение существа, тонко организованного веками культурной жизни, в органическое вещество, каким история культуры и социология показывает нам стада первобытных людей...

Клим Иванович Самгин чувствовал себя человеком, который знает все, что было сказано мудрыми книжниками всего мира и многократно в раздробленном виде повторяется Пыльниковыми, Воиновыми. Он был уверен, что знает и все то, что может быть сказано человеком в защиту от насилия жизни над ним, знает все, что сказали и способны сказать люди, которые утверждают, что человека может освободить только коренное изменение классовой структуры общества.

«Дмитрий Самгин, освободитель человечества», — подумал Клим Иванович Самгин в тон речам Воинова, Пыльникова и — усмехнулся, глядя, как студент, слушаая речи мудрецов, повертывает неестественно белое лицо от одного к другому.

Ему казалось, что люди становятся все более мелкими, ничтожными, война подавила, расплющила их. В сравнении с любым человеком он чувствовал себя богачом, человеком огромного опыта, этот опыт требовал других условий, для того чтоб вспыхнуть и ярко осветить фигуру его носителя. Но бесполезно говорить с людьми, которые не умеют слушать и сами — он видел это — говорят лучше него, смелее. Опыт тяготил, он истлевал бесплодно, и, несмотря на то, что жизнь была обильна событиями, — Самгину жилось скучно. Все знакомо, все надоело. Хотелось какого-то удара, набатного звона, тревоги, которая испугала бы людей, толкнула, перебросила в другое настроение. Хотелось конца неопределенности.

Конец как будто приближался, но неравномерно, прыжками, прыжок вперед и тотчас же назад. В конце ноября Дума выступила довольно единодушно оппозиционно, но тотчас же последовал раскол «прогрессивного блока», затем правительство разогнало Союзы городов и

земств. Аппаратом, который отмечал колебания событий, служил для Самгина Иван Дронов. Жил он недалеко и почти ежедневно, утром отправляясь на охоту за деньгами, являлся к Самгину и точно стрелял в него новостями, слухами, сплетнями. Однажды Самгин спросил его:

— В конце концов — что ты делаешь, Иван?

— Деньги.

— И — что же?

— Ничего.

— То есть?

— Ну что — то есть? — сердито откликнулся Дронов. — Ну, — спекуляю разной разностью. Сорву пяток-десяток тысяч, потом — с меня сорвут. Игра. Азарт. А что мне еще делать? Вполне приятно и это.

Он сильно старел, на скуластом лице, около ушей, на висках явились морщины, под глазами набухли сизые мешки, щеки, еще недавно толстые, тугие, — жидко тряслись. Из Ярославля он возвратился мрачный.

— Ну, рассказывай, как — Тося?

Глядя в пол, Дронов сказал:

— Ходит в худых башмаках. Работает на фабрике махорку. Живет с подругой в лачуге у какой-то ведьмы.

Говорил он дергая пуговицы жилета, лацканы пиджака, как бы ошупываясь, и старался говорить смешно.

— Ведьма, на пятой минуте знакомства, строго спросила меня: «Что не делаете революцию, чего ждете?» И похвасталась, что муж у нее только в прошлом году вернулся из ссылки за седьмой год, прожил дома четыре месяца и скончался в одночасье, хоронила его большая тысяча рабочего народа. Часа два беседовала она со мной, я мычал разное, и казалось мне, что она меня изобьет, выгонит. Пришла Тося, она потемнела, стала как чугунная, а вообще — такая же, как была. Подруга — курчавая, носатая, должно быть — еврейка, интеллигентка. Вокруг них вращается на одной ноге ведьмин сын, весь — из костей, солдат, наступал, отступал, получил Георгия. Все — единомышленны, намерены превратить просто войну в гражданскую войну, как заповедано в Циммервальде.

Он замолчал, раскачивая на золотой цепочке карманные часы. Самгин, подождав, спросил:

— Что же говорит Тося?

— Вероятно, то, что думает. — Дронов сунул часы в карман жилета, руки — в карманы брюк. — Тебе хочется знать, как она со мной? С глазу на глаз она не удостоила побеседовать. Рекомендовала меня своим как-то так: человек не совсем плохой, но совершенно бестолковый. Это очень понравилось ведьмину сыну, он чуть не задохнулся от хохота.

И, мигая в попытках остановить блуждающие глаза на лице Самгина, он заговорил тише:

— Кажется, ей жалко было меня, а мне — ее. Худые башмаки... У нее замечательно красивая ступня, пальчики эдакие аккуратные... каждый по-своему — молодец. И вся она — красивая, эх как! Будь кокоткой — нажила бы сотни тысяч, — неожиданно заключил он и даже сам, должно быть, удивился, — как это он сказал такую дрянь? Он посмотрел на Самгина, открыв рот, но Клим Иванович, нахмуясь, спросил:

— Алину Телепневу помнишь? Тоже красавица...

— Да. Где она?

— Не знаю. Была кокоткой, служила у Омона, сошлась с одним богатым... уродом, он застрелился...

— Чорт знает как это все, — пробормотал Дронов, крепко поглаживая выцветшие рыжие волосы на черепе. — Помню — нянька рассказывала жития разных преподобных отшельниц, великомучениц, они уходили из богатых семей, от любимых мужей, детей, потом римляне мучили их, травили зверями...

Клим Иванович Самгин вспомнил рассказанную ему отцом библейскую легенду о жертвоприношении Авраама, вспомнил себя дон-Кихотом, а Дронова — Санчо и докторально сказал:

— Всегда были — и будут — люди, которые, чувствуя себя неспособными сопротивляться насилию над их внутренним миром, — сами идут встречу судьбе своей, сами отдают себя в жертву. Это имеет свой термин — мазохизм, и это создает садистов, людей, которым страдание других — приятно. В грубой схеме садисты и мазохисты — два основных типа людей.

Он замолчал, чувствуя, что сказанное двусмысленно и отводит его, Самгина, куда-то в сторону от самого себя. Но он тотчас же нашел выход к себе:

— Поставим вопрос: кто больше страдает? Разумеется, тот, кто страдает сильнее. Байрон, конечно, страдал глубже, сильнее, чем ткачи, в защиту которых он выступал в парламенте. Так же и Гауптман, когда он писал драму о ткачах.

Прихлебывая кофе, он продолжал:

— Необходимо различать жертвенность и героизм. Римлянин Курций прыгнул в пропасть, которая разверзлась среди Рима, — это наиболее прославленный акт героизма и совершенно оправданный акт самоубийства. Ничто не мешает мне думать, что Курция толкнул в пропасть страх, вызванный ощущением неизбежной гибели. Его могло бросить в пропасть и тщеславное желание погибнуть первому из римлян и брезгливое нежелание погибать вместе с толпой рабов.

— Н-да, — скучно сказал Дронов, — иной раз очень хочется прыгнуть куда-то...

«Ничего не понял», — с негодованием подумал Клим Иванович и осудительно сказал:

— Ты, кажется, уже излишне много прыгаешь и бегаешь.

Дронов, застегивая пуговицы пиджака, пробормотал уходя:

— В детстве — не доиграл. Благородные дети не принимали меня в свои игры. Вот и доигрываю...

«Что это он — обиделся?» — подумал Самгин и тотчас забыл о нем, как забывают о слуге, если он умело исполняет свои обязанности. Дронов существовал для него только в те часы, когда являлся пред ним и рассказывал о многообразных своих делах, о том, что выгодно купил и перепродал партию холста или книжной бумаги, он вообще покупал, продавал, а также устроил вместе с Ногайцевым в каком-то мрачном подвале театрик «сатиры и юмора», — заглянув в этот театр, Самгин убедился, что юмор сведен был к случаю с одним нотариусом, который на глазах своей жены обнаружил в портфеле у себя панталоны какой-то дамы. Театр, не просуществовав месяца, превратился в кафе-шантан. Самгин спросил Дронова:

— Что же — потерял ты на этом?

— Нет, — Ногайцев потерял. Это не первый раз он теряет. Он глуп и жаден, мне хочется разорить его, чтоб

он, собачий сын, в кондуктора трамвая или в почтальоны пошел. Терпеть не могу толстовцев.

Дронов энергично и брезгливо потряс головой, а затем спросил:

— Тебе денег не надо?

— Зачем?

— Вообще. У меня много накопилось. Денег скоро много будет, хотя и выпустить на миллиард или на два...

В деньгах Клим Самгин не нуждался, но очень ценил Дронова как осведомителя. Растрепанный, невыспавшийся, с воспаленными глазами, он являлся по утрам и сообщал:

— Вожаки прогрессивного блока разговаривают с «черной сотней», с «союзниками» о дворцовом перевороте, хотят царя Николая заменить другим. Враги становятся друзьями! Ты как думаешь об этом?

— Я в это не верю, — сказал Самгин, избрав самый простой ответ, но он знал, что все слухи, которые приносит Дронов, обычно оправдываются, — о переговорах министра внутренних дел Протопопова с представителем Германии о сепаратном мире Иван сообщил раньше, чем об этом заговорила Дума и пресса.

— Откуда ты знаешь это? — спросил он. Дронов, приподняв плечи к оттопыренным ушам своим, небрежно сказал:

— Дамы. Они мало понимают, но — им все известно.

Клим Иванович Самгин жил скучновато, но с каждым [днем] определеннее чувствовал, что уже скоро пред ним откроется широкая возможность другой жизни, более достойной его, человека исключительно своеобразного.

Недостаток продовольствия в городе принимал характер катастрофы, возбуждая рабочих, но в январе была арестована рабочая группа «Центрального военно-промышленного комитета», а выпущенная 6 февраля прокламация Петроградского комитета большевиков, призывавшая к забастовке и демонстрации на десятое число, в годовщину суда над социал-демократической фракцией Думы, — эта прокламация не имела успеха.

«Все идет правильно, работает логика истории, разрушая одно, укрепляя другое», — думал Клим Самгин.

Но 14 февраля, в день открытия Государственной думы, начались забастовки рабочих, а через десять дней — вспыхнула всеобщая забастовка и по улицам города бурно, как весенние воды реки, хлынули революционные демонстрации.

Клим Иванович Самгин мужественно ожидал и наблюдал. Не желая, чтоб темные волны демонстрантов, захлестнув его, всосали в свою густоту, он наблюдал издали, из-за углов. Не было смысла сливаться с этой грозно ревущей массой людей, — он очень хорошо помнил, каковы фигуры и лица рабочих, он достаточно много видел демонстраций в Москве, видел и здесь 9 января, в воскресенье, названное «кровавым».

Он смотрел, как мимо его течет стиснутая камнем глазастых стен бесконечная, необыкновенно плотная, серая, мохнатая толпа мужчин, женщин, подростков, и слышал стройное пение:

Вставай, проклятьем заклеянный,
Весь мир голодных и рабов...

— Хлеба! Хлеба! — гулко кричали высокие голоса женщин. Иногда люди замедляли шаг, даже топтались на месте, преодолевая какие-то препятствия на пути своем, раздавался резкий свист, крики:

— Что там? Долой! Товарищи — смело!

Это будет последний
И решительный бой...

Хор был велик, пел непрерывно. Самгин отметил, что, пожалуй, впервые демонстранты поют так стройно, согласно и так бесстрашно открывается ими грозный смысл рабочего гимна. В пятом году, 9 января, не пели. Вероятно, и не могли бы петь вот так. Однако не исключена возможность, что это Воскресенье будет повторено... Не исключена. От плоти демонстрантов отрывались, отскакивали отдельные куски, фигуры, смущенно усмехаясь или угрюмо хмурясь, шли мимо Самгина, но навстречу им бежали, вливались в массу десятки новых людей.

Самгин посматривал на тусклые стекла, но не видел за ними ничего, кроме сизоватого тумана и каких-то

бесформенных пятен в нем. Наконец толпа исчезала, и было видно, как гладко пригнан ею снег на мостовой.

«Новая метла чисто метет», — вспоминал Самгин, направляясь домой, и давал волю мыслям, наивность которых была ему понятна.

«Гораздо больше людей, которые мешают жить, чем людей необходимых и приятных мне. Легко избрать любую линию мысли, но трудно создать удовлетворительное окружение из ближних».

Дома его встречало праздничное лицо [девицы]. Она очень располнела, сладко улыбалась, губы у нее очень яркие, пухлые, и в глазах светилась неиссякаемо радость. Она была очень антипатична, становилась все более фамильярной, но — Клим Иванович терпел ее, — хорошая работница, неплохо и дешево готовит, держит комнаты в строгой чистоте. Изредка он спрашивал ее:

- Чему вы радуетесь?
- Очень интересно стало, Клим Иванович.
- Что — интересно? Война?
- Война прекратится скоро.
- Это кто же ее прекратит?
- Рабочие и мужики не хотят больше воевать.
- Вот как? А кто им позволит прекратить?
- Ну, уж они сами.
- Ах, вот как...

Говорить с ней было бесполезно. Самгин это видел, но «радость бытия» все острее раздражала его. И накануне 27 февраля, возвратясь с улицы к обеду, он, не утерпев, спросил:

- Ну, что скажете?
 - Революция началась, Клим Иванович, — сказала она, но, облизнув губы кончиком языка, спросила: — Верно?
 - Возможно. Но не менее возможно и то, что было в пятом году, 9 января. Вы знаете, что тогда было?
 - Да, нам читали.
 - Что — читали? Кто и где?
 - Внизу в столовой, Аркаша, там газеты объясняет молодой человек, Аркаша...
 - Давайте обедать, — строго сказал Самгин.
- Он хорошо помнил опыт Москвы пятого года и не

выходил на улицу в день 27 февраля. Один, в нетопленной комнате, освещенной жалким огоньком огарка стеариновой свечи, он стоял у окна и смотрел во тьму позднего вечера, она в двух местах зловеще, докрасна раскалена была заревами пожаров и как будто плавилась, зарева росли, растекались, угрожая раскалить весь воздух над городом. Где-то далеко не торопясь вползали вверх разноцветные огненные шарики ракет и так же медленно опускались за крыши домов.

Беселая [девица], приготовив утром кофе, — исчезла. Он целый день питался сардинами и сыром, съел все, что нашел в кухне, был голоден и обозлен. Непривычная темнота в комнате усиливала впечатление оброшенности, темнота вздрагивала, точно пытаясь погасить огонь свечи, а ее и без того хватит не больше, как на четверть часа. «Чорт вас возьми...»

Прыжки осветительных ракет во тьму он воспринимал как нечто пошлое, но и зловещее. Ему казалось, что слышны выстрелы, — быть может, это хлопали двери. Сотрясая рамы окон, по улице с грохотом проехали два грузовых автомобиля, впереди — погруженный, должно быть, железом, его сопровождал грузовик, в котором стояло десятка два людей, некоторые из них с ружьями, тускло блеснули штыки.

«Кого арестуют?» — соображал Клим Иванович, давно сняв очки, но все еще протирая стекла замшей, напряженно прислушиваясь и недоумевая: почему не слышно выстрелов?

Клим Иванович был сильно расстроен: накануне, вечером, он крепко поссорился с Еленой; человек, которого указал Дронов, продал ей золотые монеты эпохи Римской империи, монеты оказались современной имитацией, а удостоверение о подлинности и древности их — фальшивым; какой-то старинный бокал был не золотым, а только позолоченным. Елена топала ногами, истерически кричала, утверждая, что Дронов действовал заодно с продавцом.

— У него лицо мошенника, у вашего друга! — кричала она и требовала, чтоб он привлек Дронова к суду. Она обнаружила такую ярость, что Самгин испугался.

«Если она затеет судебное дело, — не избежать мне участия в нем», — сообразил он, начал успокаивать ее, и

тут Елена накричала на него столько и таких обидных слов, что он, похолодев от оскорблений, тоже крепко обругал ее и ушел.

Когда раздался торопливый стук в дверь, Самгин не сразу решил выйти в прихожую, он взял в руку подсвечник, прикрывая горстью встревоженный огонек, дождался, когда постучат еще раз, и успел подумать, что его не за что арестовать и что стучит, вероятно, Дронов, больше — некому. Так и было.

— Что ты — спал? — хрипло спросил Дронов, задышавшись, кашляя; уродливо толстый, с выпученным животом, он, расстегивая пальто, опустив к ногам своим тяжелый пакет, начал вытаскивать из карманов какие-то свертки, совать их в руки Самгина. — Пища, — объяснил он, вешая пальто. — Мне эта твоя толстая дурында сказала, что у тебя ни зерна нет.

— Что делается в городе? — сердито спросил Самгин.

— Революция делается! — ответил Иван, стирая платком пот с лица, и ткнул пальцем в левую щеку свою.

— Павловский полк, да — говорят — и другие полки гарнизона перешли на сторону народа, то есть Думы. А народ — действует: полицейские участки разгромлены, горят, окружный суд, Литовский замок — тоже, министров арестуют, генералов...

Самгин стоял среди комнаты, слушал и не верил, а Дронов гладил ладонью щеку и не торопясь говорил:

— Кавардак и катавасия. Ко мне в квартиру влезли, с винтовками, спрашивают: «Это вы генерал Голомбьевский?» — такого, наверно, и в природе нет.

— Полиция, жандармы? — спросил Самгин, пощипывая бородку и понимая, что скандал с Еленой погашен.

— Какая, к черту, полиция? Полиция спряталась. Говорят, будто бы на чердаках сидит, готовится из пулеметов стрелять... Ты что — нездоров?

— Голова...

— Ну, головы у всех... кружатся. Я, брат, тоже... Я ночевать к тебе, а то, знаешь...

И, хлопнув себя ладонью по колену, Дронов огорченно сказал:

— Говоря без фокусов — я испугался. Пятеро человек — два студента, солдат, еще какой-то, баба с револь-

вером... Я там что-то сказал, пошутил, она меня — трах по роже!

Самгин сел, чувствуя, что происходит не то, чего он ожидал. С появлением Дронова в комнате стало холоднее, а за окнами темней.

— Арест министров — это понятно. Но — почему генералов, если войска... Что значит — на стороне народа? Войска признали власть Думы — так?

Дронов, склонив голову на плечо, взглянул на него одним глазом, другой почти прикрыт был опухолью.

— Завтра всё узнаем, — сказал он. — Смотри — свеча догорает, давай другую...

Он развертывал пакеты, раскладывал на столе хлеб, колбасу, копченую рыбу, заставил Самгина найти штопор, открыл бутылки, все время непрерывно говоря:

— В общем настроение добродушное, хотя люди голодны, но дышат легко, охотно смеются, мрачных ликов не видно, преобладают деловитые. Вообще начали... круто. Ораторы везде убеждают, что «отечество в опасности», «сила — в единении» — и даже покрикивают «долой царя!» Солдаты — раненые — выступают, говорят против войны, и весьма зажигательно. Весьма.

Самгин вставлял свечу в подсвечник, но это ему не удавалось, подсвечник был сильно нагрет, свеча обтаивала, падала. Дронов стал помогать ему, мешая друг другу, они долго и молча укрепляли свечу, потом Дронов сказал:

— Ну, будем ужинать. Я с утра не ел.

И снова молча выпили коньяку, поели ветчины, сардин, сига. Самгин глотнул вина и сказал:

— Знакомое вино.

— Царских подвалов, — пробормотал Дронов. — Дама твоя познакомила меня с торговкой этим приятным товаром.

— Купил ты золота ей?

— Зачем я буду покупать? Послал антиквара.

— Он ее — обманул, — сообщил Самгин. Дронова это не удивило:

— Ну, а — как же? Антиквор...

Дронов перестал есть, оттолкнул тарелку, выпил большую рюмку коньяка.

— Ну, вот, дожили мы до революции, — неприятно громко сказал он, — так громко, что даже оглянулся, точно не поверил, что это им сказано. — Мне революция — не нужна, но, разумеется, я и против ее даже пальца не подниму. Однако случилось так, что — может быть — первая пощечина революции попала моей роже. Подарочек не из тех, которыми гордятся. Знаешь, Клим Иванович, ушли они, эти... ловцы генералов, ушли, и очень... прискорбно почувствовал я себя. Дурацкая жизнь. Ты жил во втором этаже, я — в полуподвале, в кухне. Вы, благородные дети, паршиво относились ко мне. Как будто я негр, еврей, китаец...

Память Клима Самгина подсказала ему слова Тагильского об интеллигенте в третьем поколении, затем о картинах жизни Парижа, как он наблюдал ее с высоты третьего этажа. Он усмехнулся и, чтоб скрыть усмешку от глаз Дронова, склонил голову, снял очки и начал протирать стекла.

— Только один человек почти за полсотни лет жизни — только одна Тося...

«Я мог бы рассказать ему о Марине, — подумал Самгин, не слушая Дронова. — А ведь возможно, что Марина тоже оказалась бы большевичкой. Как много людей, которые не вросли в жизнь, не имеют в ней строго определенного места».

А Иван Дронов жаловался, и уже ясно было, что он пьянеет.

— Дунаев, приятель мой, метранпаж, уговаривал меня: «Перестаньте канителиться, почитайте, поучитесь, займитесь делом рабочего класса, нашим большевистским делом».

— Не соблазнился? — спросил Самгин, чтоб сказать что-нибудь.

— Я — не соблазнился, да! А ты — уклонился... Почему?

— Подожди, — попросил Самгин, встал и подошел к окну. Было уже около полуночи, и обычно в этот час на улице, даже и днем тихой, укреплялась невозмутимая, провинциальная тишина. Но в эту ночь двойные рамы окон почти непрерывно пропускали в комнату приглушенные, мягкие звуки движения, шли группы людей, гудел автомобиль, проехала пожарная команда. Самгина заставил

подойти к окну шум, необычно тяжелый, от него тонко за-
ныли стекла в окнах и даже задребезжала посуда в буфете.

Самгин видел, что в темноте по мостовой медленно
двигаются два чудовища кубической формы, их окру-
жало разорванное кольцо вооруженных людей, колеба-
лись штыки, прокалывая, распарывая тьму.

«Броневики», — тотчас сообразил он. — Броневики
едут, — полным голосом сказал он, согретый странной
радостью.

— Ты думаешь — будут стрелять? — сонно пробормо-
тал Дронов. — Не будут, надоело...

Броневики проехали. Дронов расплылся в кресле и
бормотал:

— Ничего не будет. Дали Дронову Ивану по морде,
и — кончено!

Самгин посмотрел на него, подумал:

«Сопьется».

Сходил в спальню, принес подушку и, бросив ее на ди-
ван, сказал:

— Ляг.

— Можно. Это — можно.

Он встал, шагнул к дивану, вытянув руки вперед, как
слепой, бросился на него, точно в воду, лег и забормотал:

Вырыта заступом яма глубокая...

Жизнь... бестолковая, жизнь одинокая...

Самгин, чьи стихи?

— Никитина.

— Чорт. Ты — всё знаешь. Всё.

Он заснул. Клим Иванович Самгин тоже чувствовал
себя охмелевшим от сытости и вина, от событий. Заку-
рил, постоял у окна, глядя вниз, в темноту, там, быстро
и бесшумно, как рыбы, плавали грубо оформленные
фигуры людей, заметные только потому, что они были
темнее темноты.

«Итак — революция. Вторая на моем веку».

Он решил, что завтра, с утра, пойдет посмотреть на ре-
волюцию и определит свое место в ней.

Утром, сварив кофе, истребили остатки пищи и вышли
на улицу. Было холодно, суетился ветер, разбрасывая
мелкий, сухой снег, суетился порывисто минуту, две,

подует и замрет, как будто понимая, что уже опоздал сеять снег.

Самгин шагал впереди Дронова, внимательно оглядываясь, стараясь уловить что-то необычное, но как будто уже знакомое. Дронов подсказал:

— Замечаешь, как обеднел город?

— Да, — согласился Самгин и вспомнил: вот так же было в Москве осенью пятого года, исчезли чиновники, извозчики, гимназисты, полицейские, исчезли солидные, прилично одетые люди, улицы засорились серым народом, но там трудно было понять, куда он шагает по кривым улицам, а здесь вполне очевидно, что большинство идет в одном направлении, идет поспешно и уверенно. Спешат темнолицые рабочие, безоружные солдаты, какие-то растрепанные женщины, — люди, одетые почище, идут не так быстро, нередко проходят маленькие отряды солдат с ружьями, но без офицеров, тяжело двигаются грузовые автомобили, наполненные солдатами и рабочими. Мелькают красные банты на груди, повязки на рукавах.

— Эй, эй — Князев, — закричал Дронов и побежал вслед велосипедисту, с большой бородой, которую он вез на левом плече. Самгин минуту подождал Ивана и пошел дальше.

Проехал воз, огромный, хитро нагруженный венскими стульями, связанные соломой, они возвышались почти до вторых этажей, толстая рыжая лошадь и краснорожий ломовой извозчик, в сравнении с величиной воза, были смешно маленькими, рядом с извозчиком шагал студент в расстегнутом пальто, в фуражке на затылке, размахивая руками, он кричит:

— Ты — подумай: народ...

— Мы на свой пай думаем, — басом, как дьякон, гудит извозчик. — Ты с хозяином моим потолкуй, он тебе все загадки разгадает. Он те и про народ наврет.

Ломовой счастливо захохотал, Клим Иванович пошел тише, желая послушать, что еще скажет извозчик. Но на панели пред витриной оружия стояло человек десять, из магазина вышел коренастый человек, с бритым лицом под бобровой шапкой, в пальто с обшлагами из меха, взмахнул рукой и, громко сказав: «В дантиста!» — выстрелил. В проходе во двор на белой эмалированной вы-

веске исчезла буква а, стрелок, самодовольно улыбаясь, взглянул на публику, кто-то одобрил его:

— Метко!

А уса́тый человек в толстой замасленной куртке, протянув руку, попросил:

— Позвольте взглянуть!

Взглянул, определил: «Кольт!» — и, сунув оружие в карман куртки, пошел прочь.

— К-куда? — взревел стрелок, собираясь бежать за похитителем, но перед ним встали двое, один — лицом, другой спиной к нему.

— Вы — видели? — сердито спросил он.

— Зачем вам игрушка эта? — миролюбиво ответил ему молодой парень, а тот, который стоял спиной, крикнул:

— Гордеев, вернись!

И обратился к стрелку:

— Вы, барин, идите-ка своей дорогой, вам тут делать нечего. А вы — что? — спросил он Самгина, измеряя его взглядом голубоватых глаз. — Магазин не торгует, уходите.

Самгин покорно и охотно пошел прочь, его тотчас же догнал стрелок, говоря:

— Ничего не понимаю! Кто такие? Чорт их знает!

Переходя на другую сторону улицы, он оглянулся, к магазину подъехал грузовик, люди, стоявшие у витрины, выносили из магазина ящики.

— Грабеж среди белого дня, — бормотал стрелок, Самгин промолчал, он не нуждался в собеседнике. Собеседник понял это и, дойдя до поворота в другую улицу, насмешливо выговорил:

— Вы, кажется, тоже... что-то такое...

После чего скрылся за углом.

Ближе к Таврическому саду люди шли негустой, но почти сплошной толпою, на Литейном, где-то около моста, а может быть, за мостом, на Выборгской, немножко похлопали выстрелы из ружей, догорал окружный суд, от него остались только стены, но в их огромной коробке все еще жадно хрустел огонь, догрызая дерево, изредка в огне что-то тяжело вздыхало, и тогда от него отрывались стайки мелких огоньков, они трепетно вылетали на воздух, точно бабочки или цветы, и быстро

превращались в темносерый бумажный пепел. Против пожарища на панели собралось человек полсотни, почти все пожилые, много стариков, любясь игрой огня, они беседовали равнодушно, как привычные зрители, которых уж ничем не удивить.

— Воры подожгли.

— Ну конечно.

— И Литовский замок — они.

— А — кто же! И полицейские участки — их дело!

— Политические тоже, наверно, руку приложили...

— У тех заноза — жандармы.

— Департамент полиции...

— Не подожгли его.

— Подожгут.

Самгин свернул на Сергиевскую, пошел тише. Здесь, на этой улице, еще недавно, контуженные, раненые солдаты учили новобранцев, кричали:

«Смирно!»

Вдоль решетки Таврического сада шла группа людей, десятка два, в центре, под конвоем трех солдат, шагали двое: один без шапки, высокий, высоколобый, лысый, с широкой бородой медного блеска, борода встрепана, широкое лицо измазано кровью, глаза полуприкрыты, шел он, согнув шею, а рядом с ним прихрамывал, качался тоже очень рослый, в шапке, надвинутой на брови, в черном полушубке и валенках. Люди шли молча, серьезные, точно как на похоронах, а сзади, как бы конвоируя всех, подпрыгивая, мелко шагал человечек с двустволкой на плече, в потертом драповом пальто, туго подпоясанный красным кушаком, под финской шапкой пряталось маленькое глазастое личико, стиснутое темной рамкой бородки, негустой, но аккуратной. Самгин спросил: кого арестовали и за что?

— Который повыше — жандарм, второй — неизвестный. А забрали их — за стрельбу в народ, — громко, приятным голосом сказал человечек и, примеряя свой шаг к шагу Самгина, добавил вразумительно: — Манера эта — в своих людей стрелять — теперь отменяется даже для войска.

— Куда же их ведут?

— В Государственную думу, на расчет. Конечно, знаете, что государь император пожаловал Думе власть

для установления порядка, вот, значит, к ней и стекается... все хорошее-плохое, как я понимаю.

Самгин заглянул в лицо его — костистое, остроглазое, остроносое лицо приятно смягчали веселые морщинки.

— Вы — охотник? — спросил Самгин. Приятный человек шагал уже в ногу с ним, легонько поталкивая локтем.

— Нет, я имею ремесло — обойщик и драпировщик. Федор Прахов, лицо небезызвестное. Охота не ремесло, она — забава.

Клим Иванович Самгин не испытывал симпатии к людям, но ему нравились люди здравого смысла, вроде Митрофанова, ему казалось, что люди этого типа вполне отвечают характеристике великоросса, данной историком Ключевским. Он с удовольствием слушал словоохотливого спутника, а спутник говорил поучительно и легко, как нечто давно обдуманное:

— Охота — звериное действие, уничтожающее. Лиса — тетеревей и всякую птицу истребляет, волк — барашков, телят, и приносит нам убыток. Ну, тогда человек, ревнуя о себе, обязан волков истреблять, — так я понимаю...

У входа в ограду Таврического дворца толпа, оторвав Самгина от его спутника, вытерла его спиной каменный столб ворот, втиснула за ограду, затолкала в угол, тут было свободнее. Самгин отдышался, проверил целость пуговиц на своем пальто, оглянулся и отметил, что в пределах ограды толпа была не так густа, как на улице, она прижималась к стенам, оставляя перед крыльцом дворца свободное пространство, но люди с улицы все-таки не входили в ограду, как будто им мешало какое-то невидимое препятствие.

«А еще вчера как пусто и смирно было на улицах».

Его окружали люди, в большинстве одетые прилично, сзади его на каменном выступе ограды стояла толстенькая синеглазая дама в белой шапочке, из-под каракуля шапочки на розовый лоб выбивались черные кудри, рядом с Климом Ивановичем стоял высокий чернобровый старик в серой куртке, обшитой зеленым шнурком, в шляпе странной формы пирогом, с курчавой сероватой бородой. Протискался высокий человек в котиковой шапке, круглолицый, румяный, с веселыми усиками золотого цвета, и шипящими словами сказал даме:

— Совершенно верно: Шидловский, Шингарев, Шульгин, конечно — Милюков, Львов и твой дядя. Это и есть Бюро прогрессивного блока. Решили бороться с властью и принять все меры, чтобы армия спокойно дралась.

— Спокойно драться — нельзя! — заметил кто-то.

— Пардон! Было сказано: чтобы армия спокойно делала свое дело на фронте, а рабочие могли спокойно подавать снаряды.

— А кормить — чем? — спросил маленький желтолицый сосед Самгина.

— Дума берет борьбу на себя.

— А кормить солдат — чем? — громче, настойчивее спросил желтолицый; человек, расшитый шнурками, согнулся, шепнул что-то.

— Мне все равно — кто, сегодня это не считается, — заявил желтолицый и, сняв шапку, взмахнул ею над лысой головой.

Человека с веселыми усами слушали многие, а он говорил:

— Милюков... очень умно...

— Милюков — не солдат, а — санитар, да и то...

— Нужно, чтоб страна молчала, говорить за нее будем мы, Дума. Сейчас началось заседание старейшин с Родзянкой во главе...

Румяное лицо человека с усами побелело, он повернулся к лысому:

— Послушайте — что вам угодно, чорт вас возьми?

— Уйдем, уйдем, — торопливо сказала дама, прыгнув на землю, она сильно толкнула Самгина и, не извиняясь, дергая усатенького за рукав, потащила его прочь ко входу во дворец.

— Кто это? — спросил Самгин старика, обшитого шнурками. Старик внушительно ответил:

— Господа. Его сиятельство... — старик не договорил слова, оно окончилось тихим удивленным свистом сквозь зубы. Хрипло, по-медвежьки рявкая, на двор вкатился грузовой автомобиль, за шофера сидел солдат с забинтованной шеей, в фуражке, сдвинутой на правое ухо, рядом с ним — студент, в автомобиле двое рабочих с винтовками в руках, штатский в шляпе, надвинутой на глаза, и толстый, седобородый генерал и еще студент. На улице

стало более шумно, даже прокричали ура, а в ограде — тише.

— Это — что же значит? — тихонько спросил Самгина серый старик.

— Арестованы, — неуверенно ответил Клим Иванович и, глядя, как рабочие снимают штатского, добавил: — Штатский, кажется, — министр юстиции...

— Кто же... распоряжается?

— Дума, — громко сказал желтолицый. — Ее хотели закрыть, а она — вот...

Самгин наблюдал. Министр оказался легким, как пустой, он сам, быстро схватив протянутую ему руку студента, соскочил на землю, так же быстро вбежал по ступенькам, скрылся за колонной, с генералом возились долго, он — круглый, как бочка, — громко кряхтел, сидя на краю автомобиля, осторожно спускал ногу с красным лампасом, вздергивал ее, спускал другую, и наконец рабочий крикнул ему:

— Да — прыгайте смело! Ведь — не в море...

Рядом с Самгиным встал Дронов и, как будто заикаясь, побрякивая, вполголоса говорил:

— Толпа идет... тысяч двадцать... может, больше, ей-богу! Честное слово. Рабочие. Солдаты, с музыкой. Моряки. Девятый вал... чорт его... Кое-где постреливают — факт! С крыш...

Было ясно — Дронов испуган, у него даже плечи дрожали, он вертел головой, присматриваясь к людям, точно искал среди них знакомого, бормотал:

— А этот... Марков-Валей, бурнопламенный дурак, говорят, ведет из Ораниенбаума пулеметный полк. Слушай — кто здесь сила?

— Вот и я тоже не могу понять, — вмешался старик, обшитый зелеными шнурками.

— Надобно идти во дворец, — сказал Самгин.

Дронов немедленно согласился.

— Верно! Там, в случае ежели...

Он пошел впереди Самгина, бесцеремонно расталкивая людей, но на крыльце их остановил офицер и, заявив, что он начальник караула, охраняющего Думу, не пустил их во дворец. Но они все-таки остались у входа в вестибюль, за колоннами, отсюда, с высоты, было очень

удобно наблюдать революцию. Рядом с ними оказался высокий старик.

— Ежели — караул есть, стало быть, власть имеется, — сказал успокаивающим тоном. Дронов покосился на него и спросил:

— Егерь?

— Так точно, двадцать семь лет его сиятельству Мекленбургу-Стрелицкому служил, и другим господам.

Он был явно рад, что на него обратили внимание, и, наклонясь над головой Дронова, перечислял:

— Граф Капнист или, например, Михаил Владимирович Родзянко...

Вдруг где-то, близко, медь оркестра мощно запела «Марсельезу», все люди в ограде, на улице пошевелились, точно под ними дрогнула земля, и кто-то истерически, с радостью или с отчаянием, закричал:

— Солдаты идут!

Самгин почувствовал нечто похожее на толчок в грудь и как будто пошевелились каменные плиты под ногами, — это было так нехорошо, что он попытался объяснить себе стыдное, малодушное ощущение физически и сказал Дронову:

— Тише, не толкай.

— Не я толкаю, — пробормотал Дронов, измятое похмельем лицо его вытянулось, полуоткрылся рот и дрожал подбородок. Самгин, отметив это, подумал:

«Должно быть, он тоже не считает исключенным повторение 9 Января».

На улице люди быстро разделились, большинство, не очень уверенно покрикивая ура, пошло встречу музыке, меньшинство быстро двинулось направо, прочь от дворца, а люди в ограде плотно прижались к стенам здания, освободив пред дворцом пространство, покрытое снегом, истоптанным в серую пыль.

Нахмурясь, Клим Иванович Самгин подумал, что эта небольшая пустота сделана как бы нарочно для того, чтоб он видел, как поспешно, молча, озабоченно переходят один за другим, по двое рядом, по трое, люди, которых безошибочно можно признать рабочими. На верхней ступеньке их останавливал офицер, солдаты преграждали дорогу, скрещая штыки, но они называли себя депута-

тами от заводов, и, зябко пожимая плечом, он уступал им дорогу. Все громче звучала медная мелодия гимна Франции, в воздухе колебался ворчливый гул, и на него иронически ненужно ложились слова егеря:

— Настоящих господ по запаху узнаешь, у них запах теплый, собаки это понимают... Господа — от предков сотнями годов приспособлялись к наукам, чтобы причины понимать, и достигли понимания, и вот государь дал им Думу, а в нее набился народ недостойный.

Курчавая борода егеря была когда-то такой же черной, как его густейшие брови, теперь она была обескрашена сединой, точно осыпана крупной солью; голос его звучал громко, но однотонно, жестяно, и вся тусклосерая фигура егеря казалась отлитой из олова.

Егеря молча слушало человек шесть, один из них, в пальто на меху с поднятым воротником, в бобровой шапке, с красной тугой шеей, рукою в перчатке пригладил усы, сказал, вздохнув:

— Эх, старина, опоздал ты...

— Вот я и сокрушаюсь... Студенты генерала арестуют, — разве это может быть?

Самгин слушал речи егеря и думал:

«Это похоже на голос здравого смысла».

За оградой явилась необыкновенной плотности толпа людей, в центре первого ряда шагал с красным знаменем в руках высокий, широкоплечий, черноусый, в полушубке без шапки, с надорванным рукавом на правом плече. Это был, видимо, очень сильный человек: древко знамени толстое, длинное, в два человеческих роста, полотнище — бархатное, но человек держал его пред собой легко, точно свечку. По бокам его двое солдат с винтовками, сзади еще двое, первые ряды людей почти сплошь вооружены, даже Аркадий Спивак, маленький фланговой первой шеренги, несет на плече какое-то ружье без штыка. В одну минуту эта толпа заполнила улицу, влилась за ограду, человек со знаменем встал пред ступенями входа. Кто-то закричал:

— Не наклоняй знамя-то, эй, не наклоняй!

Сквозь толпу, точно сквозь сито, протискивались солдаты, тащили на плечах пулеметы, какие-то жестяные коробки, ящики, кричали:

— Сторонись!

Никто не командовал ими, и, не обращая внимания на офицера, начальника караульного отряда, даже как бы не видя его, они входили в дверь дворца.

С приближением старости Клим Иванович Самгин утрачивал близорукость, зрение становилось почти нормальным, он уже носил очки не столько из нужды, как по привычке; всматриваясь сверху в лицо толпы, он достаточно хорошо видел над темносерой массой под измятыми картузами и шапками костлявые, чумазые, закоптевшие, мохнатые лица и пытался вылепить из них одно лицо. Это не удавалось и, раздражая, увлекало все больше. Неуместно вспомнился изломанный, разбитый мир Иеронима Босха, маски Леонардо да-Винчи, страшные рожи мудрецов вокруг Христа на картине Дюрера.

«Нет, все это — не так, не то. Стиснуть все лица — в одно, все головы в одну, на одной шее...»

Вспомнилось, что какой-то из императоров Рима желал этого, чтоб отрубить голову.

«Мизантропия, углубленная до безумия. Нет, — каким должен быть вождь, Наполеон этих людей? Людей, которые видят счастье жизни только в сытости?»

— Родзянко-о! — ревели сотни глоток. — Давай Родзянку-у!

Клим Иванович Самгин так увлекся процессом создания фигуры вождя, что лишь механически отмечал происходящее вокруг его: вот из дверей дворца встречу солдатам выскочил похожий на кого-то адвокат Керенский и прокричал:

— Граждане солдаты! Поздравляю вас с высокой честью — охранять Государственную думу. Объявляю вас первым революционным караулом...

В толпе закричали ура, а молодой солдат, нагруженный жестяными коробками, крикнул Керенскому:

— Посторони-ись!

— Чего ж они пулеметы внутрь тащат? Из окошек стрелять хотят, что ли? — недоуменно спросил егеря.

— Не будут стрелять, старина, не будут, — сказал человек в перчатках и оторвал от снятой с правой руки большой палец.

— Раззянка-а! — кричал Федор Прахов, он стоял у первой ступени лестницы, его толкали вперед, [он] пово-

рачивался боком, спиной и ухитрялся оставаться на месте, покрикивая, подмигивая кому-то:

— Раззянка-а!

Из дверей дворца вышел большущий, толстый человек и зычным, оглушающим голосом, с яростью закричал:

— Гр-раждане!

Он был так велик, что Самгину показалось: человек этот, на близком от него расстоянии, не помещается в глазах, точно колокольня. В ограде пред дворцом и даже за оградой, на улице, становилось все тише, по мере того как Родзянко все более раздувался, толстое лицо его набухало кровью, и неистощимый жирный голос ревел:

— Хаос...

Два звука: а, о — слились в единый нечеловечий зык, в «трубный глас».

Самгину показалось, что обойщик Прахов даже присел, а люди, стоявшие почти вплоть к оратору, но на ступень ниже его, пошатнулись, а человек в перчатках приподнял воротник пальто, спрятал голову, и плечи его задрожали, точно он смеялся.

— Враг у врат града Петрова, — ревел Родзянко. — Надо спасти Россию, нашу родную, любимую, святую Русь. Спокойствие. Терпение... «Претерпевый до конца — спасется». Работать надо.. Бороться. Не слушайте людей, которые говорят... Великий русский народ...

Клим Иванович Самгин первый раз видел Родзянко, ему понравился большой, громогласный, отлично откормленный потомок запорожской казацкой знати. Должно быть, потому, что он говорил долго, у русского народа не хватило терпения слушать, тысячеустое ура заглушило зычную речь, оратор повернулся к великому народу спиной и красным затылком.

— Его, Родзянку, голым надо видеть, когда он купается, — удовлетворенно и как будто даже с гордостью сказал егерь. — Или, например, когда кушает, — тут он сам себе царь и бог.

«Неизбежная примесь глупости и пошлости», — определил Самгин спокойно и даже с чувством удовлетворения.

Человек в перчатках разорвал правую, резким движением вынул платок, вытер мокрое лицо и, пробираясь к дверям во дворец, полез на людей, как слепой. Он толкнул

Самгина плечом, но не извинился, лицо у него костистое, в темной бородачке, он глубоко закусил нижнюю губу, а верхняя вздернулась, обнажив неровные, крупные зубы.

Сви́репо рыча, гудя, стреляя, въезжали в гущу толпы грузовики, привозя генералов и штатских людей, бережливо выгружали их перед лестницей, и каждый такой груз как будто понижал настроение толпы, шум становился тише, лица людей задумчивее или сердитей, усмешливее, угрюмей. Самгин ловил негромкие слова:

— Чего же с ними делать будут?

— Нас не спросят.

— Спрячут до легких дней...

— Конечно. Потом — выпустят...

— Тогда они за беспокойство... возместят!

— В монастыри бы их, на сухой хлеб.

— Придумал.

— Выслать куда-нибудь...

— А то — ответить в Ладожско озеро да и потопить, — сказал, окая, человек в изношенной финской шапке, в потертой черной кожаной куртке, шапка надвинута на брови, под нею вздулись синеватые щеки, истыканные седой щетиной; преодолевая одышку, человек повторял:

— Монастыри... У нас — третьего дня бабы собрались в Александро-Невску лавру хлеба просить для ребятшек, ребятшки совсем с голодадохнут, — терпения не хватает глядеть на них. Ну, так вот пошли. Там какой-то монах, начальник, даже обиделся, сукин сын: «У нас, говорит, не лавочка, мы хлебом не торгуем». — «Ну, дайте даром, бога ради. Хоть мешок ржаной муки...» — «Что вы, говорит, женщины, мы, говорит, сами живем милостыней мирской». Вот — сволочь! А у них — склады! Понимаете? Склады. Сахар, мука, греча, картошка, масло подсолнечно и конопляно, рыба сушена — воза!.. Богу служат, а?

Его поддержали угрюмые голоса:

— Да-а, все богу служат, а человеку — никто!

— Ну, человеку-то мы служим, работаем...

— Путилов — человек все-таки.

— Парвизайнен...

— Много их...

— Народу — никто не служит, вот что! — громко ска-

зала высокая, тощая женщина в мужском пальто. — Никто, кроме есеровской партии.

— А — большевики?

— Они сами — рабочие, большевики-то.

— Много ли их?

— Мальчишки, мелочь...

— Мелкое-то бывает крепко: перец, порох...

— Глядите — еще арестованных везут.

Когда арестованные, генерал и двое штатских, поднялись на ступени крыльца и следом за ними волною хлынули во дворец люди, — озябший Самгин отдал себя во власть толпы, тотчас же был втиснут в двери дворца, отброшен в сторону и ударил коленом в спину солдата, — солдат, сидя на полу, держал между ног пулемет и ковырял его каким-то инструментом.

— Простите, — сказал Самгин.

— Ничего, ничего — действуй! — откликнулся солдат, не оглядываясь. — Тесновато, брат, — бормотал он, скрежеща по железу сталью. — Ничего, последние деньки теснимся...

Пол вокруг солдата был завален пулеметами, лентами к ним, коробками лент, ранцами, винтовками, связками амуниции, мешками, в которых спрятано что-то похожее на булыжники или арбузы. Среди этого хаоса вещей и на нем спали, скорчившись, солдаты, человек десять.

— Викентьев! — бормотал солдат, не переставая ковырять пулемет и толкая ногою в плечо спящего, — проснись, дьявол! Эй, где ключик?

Подошел рабочий в рыжем жилете поверх черной суконной рубахи, угловатый, с провалившимися глазами на закопченном лице, закашлялся, посмотрел, куда плюнуть, не найдя места, проглотил мокроту и сказал хрипло, негромко:

— Савёл, дай, брат, буханочку! Депутатам...

— Нет, не имею права, — сказал солдат, не взглянув на него.

— Чудак, депутатам фабрик, рабочим...

— Не имею...

Но тут реставратор пулемета что-то нашел и обрадовался:

— Ага, собачка? Так-так-так...

Он встал на колени, поднял круглое, веселое сероглазое лицо, украшенное редко рассеянным по щекам золотистым волосом, и — разрешил:

— Бери одну.

— А — две?

— А — вот?..

Он поднял длинную руку, на конце ее — большой, черный, масляный кулак. Рабочий развязал мешок, вынул буханку хлеба, сунул ее под мышку и сказал:

— Спрятать бы, завидовать будут.

— А требуешь — две! Держи газету, заверни...

Клим Иванович Самгин поставил себя в непрерывный поток людей, втекавший в двери, и быстро поплыл вместе с ним внутрь дворца, в гулкий шум сотен голосов, двигался и ловил глазами наиболее приметные фигуры, лица, наиболее интересные слова. Он попал в какой-то бесконечный коридор, который, должно быть, разрезал весь корпус Думы. Здесь было свободней, и чем дальше, тем все более свободно, — по обе стороны коридора непрерывно хлопали двери, как бы выкусывая людей, одного за другим. Было как-то странно, что этот коридор оканчивался изящно обставленным рестораном, в нем собралось десятка три угрюмых, унылых, сердитых и среди них один веселый — Стратонов, в каком-то очень домашнем, помятом костюме, в мягких сапогах.

— О-о, здравствуйте! — сказал он Самгину, размахнув руками, точно желая обнять.

Самгин, отступя на шаг, поймал его руку, пожал ее, слушая оживленный, вполголоса, говорок Стратонова:

— А меня, батенька, привезли на грузовике, да-да! Арестовали, чорт возьми! Я говорю: «Послушайте, это... это нарушение закона, я, депутат, неприкосновенен». Какой-то студентик, мозгляк, засмеялся: «А вот мы, говорит, прикасаемся!» Не без юмора сказал, а? С ним — матрос, эдакая, знаете, морда: «Неприкосновенный? — кричит. — А наши депутаты, которых в каторгу закатали, — прикосновенны?» Ну, что ему ответишь? Он же — мужик, он ничего не понимает...

Подошел солидный, тепло одетый, гладко причесанный и чрезвычайно, до блеска вымытый, даже полинявший человек с бесцветным и как будто стертым лицом, разду-

вая ноздри маленького носа, лениво двигая сизыми губами, он спросил мягким голосом:

— Что на улицах? Войска — идут?

— Нет, никаких войск! — крикнул маленький, позванивая чайной ложкой в пустом стакане. — Предали войска. Как вы не понимаете!

— Не верю! — сказал Стратонов, улыбаясь. — Не могу верить.

— Заставят... — [сказал] солидный, пожав толстыми плечами.

— Солдаты революции не делают.

— Нет армии! Я был на фронте... Армии нет!

— Вы — верите? — спросил Стратонов. Самгин оглянулся и сказал:

— Хлеба нет. Дайте хлеб — будет армия.

Он тотчас же догадался, что ему не следовало говорить так, и неопределенно добавил:

— И все вообще... найдет свой естественный путь.

— Пулеметов надо, пулеметов, а не хлеба! — негромко, но четко сказал изящно одетый человек.

Вошел еще кто-то и — утешил:

— Пулеметы — действуют! В Адмиралтействе какой-то генерал организовал сопротивление. Полиция и жандармы стреляют с крыш.

Откуда-то из угла бесшумно явился старичок, которого Самгин изредка встречал у Елены, но почему-то не твердо помнил его фамилию: Лосев, Бросов, Барсов? Постучав набалдашником палки по столу, старичок обратил внимание на себя и поучительно сказал:

— Господа! Разрешите напомнить, что сегодня выражения наших личных симпатий и взглядов требуют особенно осторожной формы... — Он замолчал, постукал в пол резиновым наконечником палки и печально качнул седой головой. — Если мы не желаем, чтоб наше личное отразилось на оценке врагами программы партии нашей, на злом искажении ее благородной, русской национальной цели. Я, разумеется, не советую «с волками жить — по-волчьи выть», как советует старинная и политически мудрая пословица. Но вы знаете, что изменить топ еще не значит изменить смысл и что отступление на словах не всегда вредит успехам дела.

Самгин, не желая дальнейшего общения со Стратоновым, быстро <ушел> из буфета, недовольный собою, намереваясь идти домой и там обдумать все, что видел, слышал.

По коридору шел Дронов в расстегнутом пальто, сунув шапку в карман, размахивая руками.

— Подожди, куда ты? — остановил он Самгина и тотчас начал: — Власть взял на себя Временный комитет Ду-мы, и образовался — как в пятом году — Совет рабочих депутатов. Это — что же будет: двоевластие? — спросил он, пытаясь остановить на лице Самгина дрожащие глаза.

Самгин внушительно ответил:

— С какой стати? У Совета рабочих — свои профессиональные интересы...

.....

[ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ]

10 лет.

Когда впервые прошел слух о возможности приезда В[ладимира] Ильича в Р[оссию], человек один — сказал весьма ворчливо:

— Н-ну, этот начнет варить кашу.

Скороходов:

— Конечно — Ленин вполне наш и настоящий революционер. Только — доросли мы до настоящего-то рев[олюционера] или нет?

Мужик рядом с Кли[мом]

— Вот какой... прибыл. Кряжистый.

— Ну, — пускай ему бог поможет, а он — помог бы нам.

— Вид у него хозяйский.

— Пропустите! Дайте взглянуть.

А там, вокруг броневика, тесная, как единое тело...

— Да здравствует с[оциалистическая] р[еволюция]! Негромко, но так, что слышно было на всей площади. Покачнулись.

— Ага? Слышал?

Толкался, лез вперед и кричал:

— Товарищ Ленин, мы готовы. Мы понимаем, товарищ, — верно?

— Ильич! — Просто, — подошел и говорит: — Здорово, Ильич! А?

Л е н и н.

Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней, но толпа стала еще более грозной и как бы выросла.

Сам[гин] вспомнил Гапона.

Л е н и н.

Все, что он говорил, было очень просто и убедительно — тем более не хотелось соглашаться с ним.

В. И. Ленин — для Самгина:

Объясняющий господин, один из многих среди русских] инт[еллигентов] с[оциал-] д[емократов], толкователей Маркса и т. д.

Да, фигура, жесты, голос, дворянская картавость. «Что-то вроде Бакунина».

В дальнейшем: все более резкая критика реформизма меков, нападки на вождей II Инт[ернационала], явная к ним враждебность. «Что-то новое, то есть что-то самобытное, наше провинциальное, дикое».

Кутуз[ов]. Спивак.

Любаша? Любаша... померла. Скончалась. Не идет к ней — померла. Зря жила девушка. Рубашки эсерам шила и чинила, а ей надо бы на заводах, на фабр[иках] работать.

Ощущение: Л[енин] — *личный* враг.

Было странно и очень досадно вспомнить, что имя этого человека гремит, что к словам его прислушиваются тысячи людей.

Ф и н а л.

Широколицая женщина в клетчатой юбке, в черной кофте, перевязанной накрест красной лентой, в красном платке на рыжеватых волосах, шагая рядом с мужиком без шапки и лысоватым, счастливо улыбаясь, смотрела в его кругло открытый, ошетилившийся рот.

Мужик грозно пел:

Отр[еваемся...]

К о н е ц.

— Уйди! Уйди, с дороги, таракан. И — эх, тар-ракан!

Он отставил ногу назад, размахнулся ею и ударил Самгина в живот...

Ревел густым басом:

— Делай свое дело, делай!

— Порядок, товарищи, пор-рядок. Порядка хотите. Мешок костей.

С[амгин]

Грязный мешок, наполненный мелкими, угловатыми вещами.

Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то, у ног его росла кровавая лужа, и казалось, что он тает.

Женщина наклонилась и попробовала пальцем прикрыть глаз, но ей не удалось это, тогда она взяла дощечку от разбитого снарядного ящика, положила ее на щеку.

ПРИМЕЧАНИЯ

В двадцать второй том собрания сочинений вошла четвертая часть «Жизни Клима Самгина», не вполне законченная автором и впервые опубликованная после его смерти Комиссией ЦК ВКП(б) и СНК СССР по приемке литературного наследства и переписки А. М. Горького.

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

(Сорок лет)

Повесть

Часть четвертая

Четвертая часть произведения «Жизнь Клима Самгина» не была закончена автором. Отрывок из этой части (начиная со слов: «Он стоял у окна...», стр. 61 настоящего издания, и кончая словами: «И звучал сырой булькающий смех», стр. 93 настоящего издания) под названием «*Бердникова*. Из книги «Жизнь Клима Самгина» опубликован в альманахе «Год шестнадцатый», альманах второй, М. 1933. После смерти М. Горького, начиная с декабря 1936 года, отдельные отрывки из четвертой части в течение шести месяцев публиковались в центральных, республиканских и областных газетах. В 1937 году четвертая часть повести была напечатана отдельной книгой со следующим предисловием:

«В оставленном М. Горьким художественном литературном наследстве наибольшее значение имеет рукопись последней, четвертой, части «Жизни Клима Самгина». Всего в рукописи 164 четырехстраничных листа большого формата с широкими полями. К рукописи приложены отдельные заметки — о приезде Ленина в Россию и смерти Самгина. Этими сценами Алексей Максимович, видимо, хотел закончить работу над четвертой частью. Мы помещаем их в конце книги.

Первые 82 [стр. 7—93 данного тома. — *Ред.*] страницы настоящего издания окончательно отредактированы и в рукописи имеют надпись Алексея Максимовича: «Последняя редакция».

При подготовке книги к печати редакция встретила с рядом недоработанных мест. Автор, недовольный изложением, зачеркивает

иной раз часть текста, но не дает новой редакции его. В тех случаях, когда зачеркнутое является необходимым звеном изложения, оно восстанавливается нами в угловых скобках. Иногда Алексей Максимович пропускает отдельные слова. Эти пропуски восстанавливаются по смыслу текста и заключаются в прямые скобки. В рукописи изредка один и тот же персонаж имеет два-три разных имени. Для единообразия приходилось здесь руководствоваться редакцией последних частей рукописи или останавливаться на имени, написанном наибольшее количество раз.

В одном случае различие фамилий представило более серьезную трудность. В первых частях повести «Жизнь Клима Самгина» имеется персонаж Никонова, связанная с департаментом полиции. В четвертой части повести, при известии о взрыве дачи Столыпина, Самгин поражается тем фактом, что при взрыве погибает Любимова. По одной детали в дальнейшем изложении совершенно ясно, что речь идет о Никоновой, и хотя разъясняется, что Любимова — новая ее фамилия «по мужу», но появление ее для читателя все же остается неподготовленным. Дело осложняется тем, что, придав ей фамилию по мужу — Любимова, «по отцу» автор дает ей фамилию Истомина. Мы ограничиваемся здесь только указанием на это, оставляя без изменения фамилию Любимовой.

Встречается в четвертой части повести условная сдвинутость времени, законная в художественном произведении, когда, например, исторические происшествия, имевшие место на протяжении двух лет, проходят в повести в течение одного года, и т. п. Но в одном случае эта сдвинутость времени обусловила хронологические противоречия, когда день нового 1912 года сближается несколькими днями с ленинскими событиями (апрель 1912 года), а затем и с наступлением осени. Здесь приходится считаться с тем, что рукопись (стр. 82—459 настоящего издания) не является последней редакцией. [Речь идет о стр. 93—552 данного тома. — *Ред.*]

Четвертая часть повести начинается по времени действия с лета 1906 года, в то время как третья часть кончается событиями лета 1907 или даже 1908 года. Объясняется это тем, что автор предполагал переработать третью часть, перенес в нее часть материала из четвертой.

В том месте четвертой части, где Самгин впервые едет на фронт, пропущены сцены, из которых было бы видно, что Самгин поступает на службу в Земгорсоюз, по командировке которого он и едет на фронт. Объясняется этот пропуск тем, что Алексей Максимович, нуждаясь в каких-то дополнительных справках, отложил написание

этих сцен, перейдя непосредственно к дальнейшему изложению. Этот пропуск на стр. 328 [стр. 393 данного тома. — *Ред.*] мы отмечаем односторонним пробелом.

Перечисленные недоработки по отношению к общему объему рукописи все же настолько незначительны, что ни в малой мере, как увидит читатель, не лишают четвертую часть повести «Жизнь Клима Самгина» художественной цельности.

Комиссия ЦК ВКП(б) и СНК СССР по приемке литературного наследства и переписки А. М. Горького.

К работе над четвертой частью «Жизни Клима Самгина» М. Горький приступил, по видимому, не позже начала 1931 года.

29 октября 1935 года М. Горький писал И. А. Груздеву, что предполагает окончить повесть зимой, не позднее февраля — марта 1936 года (Архив А. М. Горького).

В настоящем издании четвертая часть повести «Жизнь Клима Самгина» печатается по рукописи (Архив А. М. Горького) с учетом изменений, внесенных Комиссией ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Тексты, вычеркнутые М. Горьким и не замененные другим вариантом, воспроизводятся в угловых скобках в том случае, когда они необходимы для связности повествования. Грамматические особенности рукописного текста (мимо *его*, *офицера*, *со врагом* и т. п.) сохраняются. Случайно пропущенные автором слова, отсутствие которых затрудняет понимание текста, даны в прямых скобках.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. А. М. Горький. Москва. 1934 г.
2. А. М. Горький за работой. Сорренто. 1931 —
1932 гг.
3. А. М. Горький. Сорренто. 1932 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь Климa Самгина (Сорок лет). <i>Повесть.</i>	
Часть четвертая	7
Примечания	553
Иллюстрации :	558

Подписано к печати 2/II-52 г.

A01015. Тираж 300 000.

Бумага $84 \times 108^{1/32} = 8,75$ бум. лист.
28,7 печ. лист. Уч.-изд. лист. 28,34 +
3 вкл. = 28,5. Заказ № 1403. Цена 12 р.

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР.
Ленинград, Гатчинская, 26.